Йон Друцэ

1



Иондруцэ

Избранное

том 1

Повести

•

Рассказы



Москва
«Молодая гвардия»
1984

84Мол7
Д76

Оформление Ю. БОЯРСКОГО
Иллюстрации Ю. ИВАНОВА

Д $\frac{4702010200-215}{078(02)-84}$ 82—84

© Издательство «Молодая гвардия», 1984 г.

ДРЕВО НАРОДНОЙ ЖИЗНИ

Днестр ты наш, Днестринушка,
Священная вода!

«Стоял тот орех, могучий и задорный, с лозовым плетнем под мышкой и, едва завидя меня, весело подбадривал:

— Вот это по-нашему, вот это здорово!

Было, конечно, здорово, хотя поди же ты разбери, что именно здорово...»

Может, то, что мальчишка доводился сыном тем, кому доводился; что мать зашила ему рубашку, не спросив, где и как он ее разодрал; что под шепот листвы вдруг взлетала на крыльях фантазия — и вот уже он ни с того ни с сего становится королем всего государства («Что за радость в румынском государстве — забросали шапками все небо. А я хожу по дворцу и бублики жую»); созывает он советников и наказывает дать отцу пару коней молодых и две коровы («Вдруг одна яловая или еще не отелилась — вторая как раз и доится...»); потом идет войной против тех, кто все притеснял да чинил одну пакость за другой, — словом, устраивает мальчишка вместе с орехом весь мир по своему разумению, и само детство его словно вытканo из этого ласкового и чуть грустного шепота: «А все-таки здорово!»

Сколько времени, сколько людей, сколько дорог ушло с той поры! Другие теперь дороги проходят через село, другие деревья ласкают тенью другие дома, а орех тот живет и поныне.

«Пронес я его с собой через все эти годы, по всем дорогам — как и когда-то, роняет он осенью листву, а весной учит ее шептать. Такой же он ласковый, такой же говорливый... И всегда, когда трудно мне или хорошо, когда начинаю или заканчиваю что-либо, слышу рядом одобрительный шепот:

— Вот это по-нашему, вот это здорово!»

Мы намеренно передали канву рассказа Друцэ «Ореховый шепот», дабы нагляднее показать, как под пером писателя орех превращается в емкий ассоциативный образ, вбирающий и милую память детства, и осмысленную наполненность бытия, и мудрую красоту природы, и властный разбег времени, и щемящую призывность мечты, и, конечно же, самое дорогое — Родину.

Чем-то знаком нам этот орех (вспомним могучий дуб из «Войны и мира» Л. Толстого, старую мать Облога — сосну из «Русского леса» Л. Леонова, дубового великана из «Липяг» С. Крутилина, наконец, воспетую в десятках произведений русскую березу) и в то же время незнаком — как все, что отмечено печатью самобытности. Что-то есть в нем заветное для писателя и вместе с тем понятное и близкое нам.

UNIVERSITY OF WASHINGTON
LIBRARY
SEATTLE

И в этом Друцэ: в умении выразить общезначимое и глубоко личное, в тяготении к емкому символу и широкозахватному тропу, в приверженности к лукавой улыбке и раздумчивой грусти, — весь в потребности высказаться так, как это свойственно только ему («Калитка наша всегда была открыта, чтоб каждый прохожий мог взять этого щедеста сколько захочет»; «Редко теперь встретишь старого коня, что побывал на войне и помнит кое-что о ней, — рассказывает молодым коням, а те смеются и считают, что это все сказки...»).

В произведениях Друцэ, писателя преимущественно деревенской темы, нашел свое воплощение взволнованный сказ о судьбах трудового молдавского крестьянства в переломные периоды его жизни, о крутых перевалах его социально-исторического пути — от убогого патриархального уклада (когда хлебопашца изматывали «сборы поземельных налогов», «дикая погоня за землей», нескончаемые земельные тяжбы, выкармливавшие «до розовых лоснящихся щек огромное количество адвокатов»; когда весь мир его суживался до двух металлических звуков — «...звона медяков» и «скрипа плуга»), до нового, социалистического жизнеустройства (когда вчерашний крестьянин осознает свою причастность к историческому процессу обновления жизни: «Вместе со своими односельчанами мы выбрались из большой бедности, мы перестроили заново поля, деревню и саму крестьянскую жизнь. Каждое утро я просыпался с сознанием той новизны, которая нас окружает, и я чувствовал то, что можно назвать счастьем...») *.

Заметим, критика не раз вменяла в вину Друцэ этакую склонность к абстрактному гуманизму, элегичность и благостность в изображении жизни, умиленное любование патриархальной стариной, недостаточно глубокое освещение социальных процессов и т. п. Такого рода суждения нет-нет да и появляются еще в печати.

Наличие спорных точек зрения на понимание природы творчества Друцэ обязывает нас чаще апеллировать к тексту произведений, который не только делает разговор более конкретным, но и убедительно говорит сам за себя.

«Конкретное, — писал К. Маркс, — потому конкретно, что оно есть сочетание многочисленных определений, являясь единством многообразного» **.

Думается, что сложное, самобытное творчество писателя (кстати, с трудом поддающееся пересказу, ибо оно не так сюжетно, как лирично и эмоционально) нуждается в более внима-

---

* Друцэ И. П. Именем земли и солнца. Пьесы. — М.: «Искусство», 1977, с. 191.

** Маркс К. К критике политической экономии. — М.: Госполитиздат, 1949, с. 213.

тельном прочтении, в более доказательной оценке его бесспорных достоинств и спорных недостатков, с непременным учетом того, что не все общепринятые схемы иной раз приложимы к поправшему их дарованию.

Но вернемся к сказанному выше.

Старое и новое в жизни бессарабского села — это прежде всего утраты и приобретения, беды и радости Сорокской степи, олицетворяющей в произведениях писателя правобережное Приднестровье.

Мы не оговорились, соотнеся Сорокскую степь не со всей Молдавией, а с ее правобережной частью, находившейся более двух десятилетий под игом румынских бояр и вновь воссоединенной с Советской страной лишь в 1940 году. Данное обстоятельство имеет важное значение для осмысления писательской трактовки как социальных характеров, так и исторических судеб этого края, что, к сожалению, не всегда учитывается критиками.

Итак, о Сорокской степи. «Здесь все могло быть. Говорят даже, что много тысяч лет тому назад стояло тут широкое, ласковое море. Но и у морей есть свои сроки, они тоже в положенное время собирают свои пожитки. Ушло и это море, оставив степи в наследство широкий, огромный простор с мелкой, едва прописанной волной» *.

О многом могла бы рассказать Сорокская степь: и как «старательно носит сотни лет, от зерна к зерну, вкус хлеба насущного»; и как «гул земли вдруг вырвался наружу, засвистел пулями, загрохотал взрывами, и земля запросила глоток, последний глоток воды...»; и как «...опустошенная двухлетней засухой, захороненная в собственной пыли», лежала она «бездыханная и, казалось, вымерла вся»; и как ныне «старательно отдается из года в год стихии изобилия, и нет конца этим тоннам, этим гектолитрам, этим вагонам и цистернам».

С подлинно лирической проникновенностью воспеваются автором летние ночи Сорокской степи: «Когда натруженные руки вдруг заноют сладко-сладко и им до боли захочется кого-то приласкать, когда затарахтит по деревне последняя запоздалая телега и ты вдруг почувствуешь себя бесконечно одиноким и станет жалко самого себя, — вот тогда-то и наступают они на севере Молдавии, эти летние степные ночи».

Степные ночи тебя «и пожалеют, и похвалят, и на улицу выманят. Напоят до одури густой синевой, пропоют тебе все песни, что в том году поются, и променяешь ты все, что тебе в жизни любо, на одну только синеву, на одну только тишь»; они

---

* Здесь и далее цитаты, не сопровождаемые сносками, даются по изданию: Друцэ Ион. Белая церковь. Бремя нашей доброты. — М.: Мол. гвардия, 1983.

очень любят «прибедняться, эти летние ночи. Им вечно не хватает хороших парней и красивых озорных девушек, и они их все разыскивают, выманивают из дому, и бедные матери ходят в ужасе: с ума сошли эти ночи...».

Ну а какая же степь не имеет дорог, что связывают ее с остальным миром? У Сорокской их множество. «Новые и старые, безыменные и с громкими именами, проселки, тропинки и перекрестки — весь этот ползущий, идущий, бегущий мир лежит, намертво сцепившись друг с другом, как вздувшиеся вены на руках старого землепашца».

У дорог тоже есть свое прошлое и настоящее, свой норов и свое имя («История этой тропинки была сложной и запутанной, из-за нее над чутурянами часто посмеивались, хотя если во все это вдуматься, то смешного окажется мало»; тропинка, напоминавшая «своей шершаво-мягкой поверхностью человеческую кожу, была с характером»; «она была хорошей дорогой с добрым именем... сделавшей много хорошего людям»). И становятся эти «исхоженные с детства дороги... такими родными, такими близкими...».

Разные писатели по-разному вплетают в свои произведения дорогу. У одних она — многоплановый образ-символ («Баллада о дороге» из «Липяг» С. Крутилина), у других — излюбленный художественный прием («Владимирские проселки», «Капля росы», «Терновник» В. Солоухина).

У Друцэ дорога — и чисто композиционный прием (повесть «Последний месяц осени») и емкий образ-символ (роман «Бремя нашей доброты»).

Она, как и степные ночи, — существо одушевленное: «...хороший товарищ дорога. Когда молчишь — молчит и она, когда заговоришь — она слушает, а что узнала — никому не проболтает»; «Ее все время подмывало выкинуть нечто необычное, и она то игриво, будто с испугу, бросалась в сторону, то останавливалась у пересохшей речки и с большой мудростью выбирала место перехода, то пряталась в сумерках подсолнечного массива и, притаившись, дремала в прохладной духоте, дожидаясь путников»; «Ведет в деревню исхоженная за долгие годы, по-деревенски вертkая тропинка».

С разными именами деревень встречаемся мы в произведениях писателя, что в числе «тридцати деревень» Сорокской степи «то ли... бежали куда, то ли прибежали откуда-то и вдруг, увидев степь, замерли, да так и стоят». Но все они, в сущности, одно и то же село. И не вследствие какой-то их однообразной схожести (уж в чем-чем, а в игре воображения автору не откажешь!), а в силу той их символической обобщенности, когда, выражаясь словами Друцэ, сказанными в отношении «Капли росы»

В. Солоухина, автор показывает «нам самое дорогое... в его жизни, свою родную деревню» *, когда в ней воплощается «частица земли, согретая... прадедами и переданная тебе», без которой, может, «весь земной шар — одна сырая глина...»

Наиболее впечатляюще обрисована эта деревня в новой редакции романа «Бремя нашей доброты», где от страницы к странице Чутура обрастает своеобычными национальными приметами, где от главы к главе она все больше обретает обобщенное звучание.

Автор менее всего озабочен описанием внешнего облика Чутуры — ее улочек, проулков, дворов и т. п. Из всех возможных примет писатель отобрал для нее наиболее общие: церквушку, колодцы на перекрестках, глинобитные завалинки, плетеные калитки и, может быть, еще два-три штриха. Правда, на окраине села лежало с незапамятных времен несколько каменных глыб, притулившихся к высокому холмику и служивших чутурянам своего рода смотровой башней, но, и то сказать, вряд ли они были такими уж уникальными в Сорокской степи.

Иными словами, своей «внешностью» Чутура выдалась ровно настолько, чтобы как можно больше походить на все тридцать степных деревень: чтобы любая из них могла быть Чутурой, а Чутура — любой из них.

Таким образом, делая упор не столько на внешнем описании Чутуры, сколько на изображении «того огромного, необъятного мира, имя которому — Сорокская степь», автор тем самым как бы раздвигает место действия в романе, распространяя его на всю степь, где наиболее ощутимы сквозные ветры истории.

Такая переакцентировка способствовала лучшему взаимодействию в произведении единичного и общего, малого (например, Чутуры) и большого (Сорокской степи), а следовательно, и созданию емких обобщенных образов.

Чутура в романе — образ собирательный, наделенный многими человеческими свойствами: она нередко «печалилась о чужой судьбе» и временами «становилась жестокой и мстительной»; она иной раз «скулила, как нищая» и «выглядела... разбогатевшей» в дни воссоединения с Советской Родиной; она чувствовала «лютую ненависть к фашистам» и с тревогой подсчитывала, «сколько поставки сдала»; она за годы засухи стала «...хмурой, усталой, отупевшей» и при первых же колхозных сдвигах — «успокоенной» и «веселой».

Трудно перечислить все характеристики, которые автор — то с улыбкой и иронией, то с сочувствием и укором — адресует Чутуре. Она и охает, и удивляется, и переглядывается, и по-

* Друцэ Ион. В гостях у Солоухиных. — Дружба народов, 1960, № 7, с. 252.

смеивается, и радуется, и стонет, и придуривается, и хитрит, и сплетничает, и ссорится, и издевается, и хвалит, и тревожится, и веселится, и не дает спуску, и чешет затылки, и следит краешком глаза... — словом, если внешностью Чутура не выдалась, то уж норова и разумения ей не занимать!

Нравилась ей, к примеру, дочь Карабуша Нуца. Стройная, как тростиночка, привораживала она парней, словно знала колдовство какое. Сосватался к ней красавец Ника, сын преуспевающего чутурянина Харалампия Умного. Но перед самой свадьбой стряслась с Нуцей беда — стала она хромоножкой. Свадьба у Харалампия хотя и состоялась, только танцевала на ней другая невеста. И Чутура не остается безучастной к горю Нуцы.

«...Чутура впервые в жизни видела эту невесту, и ей не понравилось, как она танцует. Чутура ничего не хотела запомнить. Чутура удрученно смотрела на низенькую смуглую невесту с коротко остриженными каштановыми волосами...»

Но Чутура не всегда выказывает свое сострадание сельчанам. Она хорошо «запоминает, когда человек норовит выйти из-под ее власти», и при случае старается платить ему тем же. Так, она упорно не прощает Нуце ее былого легкомыслия солдатки. Долгие годы не получала она вестей от мужа («...попробуйте прожить в одиночестве пять с лишним лет! Тут и околеешь и ума лишишься»). И теперь, когда ее Мирча должен вот-вот вернуться с войны, Чутура наотрез отказывается замолвить за нее словечко. И чего только не предпринимает Нуца, и какие колкости не выслушивает она от «любимой» Чутуры, пока та, наконец, не сдается.

Глухой стеной молчания отгораживается Чутура от рождественских крестин в доме Мирчи. Был он в свое время «крепко сбитым парнем», хорошим солдатом, но вот вышел в бригадиры — и стал «упиваться жизнью» да заискивать перед начальством. Даже крестины устроил не иначе как из корысти — наготовил «тысячу всяких всячин» и пригласил «самого Василия Андреевича». И хотя ночь выдалась на редкость сказочной, таких «ночей в году бывает мало, крестьяне их, как правило, чувствуют, и просыпаются, и выходят на улицы, и радуются, но теперь Чутура была не в духе, она спала».

Надо сказать, что от понимания образа Мирчи Морару в значительной мере зависит уяснение всей проблематики романа «Бремя нашей доброты». Ведь одним из основных его нравственных конфликтов является именно конфликт между Карабушем и Мирчей.

Из романа явствует, что, будучи еще подростком, Мирча Морару с жадностью внимал обещанию учителя Микулеску своим ученикам — «сделать их помещиками», «довести до фаэто-

нов»; что парню Мирче синее небо «было ни к чему, ему нужна была земля. Он с детских лет приобщил себя к земельной карусели, ему не терпелось залезать в эту отчаянную драку, все остальное его не трогало»; что именно «...из-за этой земли стал он солдатом Советской Армии и прошел долгий путь, всю Европу почти обошел»; что, намаявшись с трактором, Мирча «вернулся к профессии своих дедов и прадедов; что в погоне за должностью он зачастил в правление на наряды и довольно «быстро смекнул, что к чему в этих представлениях, уловил все подспудные течения, сообразил, кто кого и почему поддерживает, кто кого был не прочь утопить», а что до подножек, то подножками «смурные» Морару издавна славились; что, выбравшись таким образом «на поверхность», Мирча «дорвался до хорошей жизни» и предстал перед сельчанами в «новом облике»: за один год построил себе большой дом с огромной верандой, сам «поправился, налился соком» и стал что ни вечер возвращаться навеселе.

Такова доминанта образа Мирчи с его прогрессирующей опухолью собственничества, с его нисходящей кривой духовного и нравственного обнищания.

Правда, в одной из точек эта кривая на время выпрямилась, даже подскочила вверх, когда замешанная на пороховой гари фронтовая закваска Мирчи как бы нейтрализовала ноющую в нем издавна опухоль. Это было сразу после войны, когда Мирча, сержант Советской Армии, вернулся домой «уже другим, стал танкистом по профессии» и впервые так «долго снившиеся» ему гектары не обрадовали его. «Теперь нужно было запрячь лошадку, сесть в дребезжащую телегу, а он привык ездить в грозной машине. Нужно было, сидя по вечерам с соседями, гадать о дождях, об урожае, а у него были свои дела с Черчиллем, он не мог простить англичанину так поздно открытый второй фронт».

Эта терпкая солдатская закваска давала о себе знать и в трудные послевоенные годы, когда тракторист Мирча, изнуренный вконец работой, засыпал «тяжелым сном пшеничного колоса».

Однако в том-то, видно, и злокачественность опухоли, что однажды она вдруг заявит о себе, обернется в «простую до удивления мысль» и скажет устами спасовавшей перед трудностями жертвы: «Как глупо все это было...»

Но, может быть, можно списать бывшему фронтовику Мирче эту его душевную дряблость, его вспыхнувшую с новой силой страсть к наживе, его все утончающуюся склонность к изворачиванию, корысти и т. п.?

Нет, советская действительность, сопрягающая в себе лучшие гуманистические заветы прошлого и дерзновенную революционную практику настоящего, требует предельной чувствительности

как к подлинным, так и мнимым человеческим ценностям, и наши писатели чутко отзываются на это веление времени.

Следуя бесспорному убеждению, что «человек меняется не так быстро, как может измениться среда, обстоятельства, профессия»* (напомним в связи с этим, что Правобережье Молдавии, где происходили описываемые в романе события, вступило на путь социалистических преобразований лишь в 40-е годы, т. е. намного позже, чем Левобережье), Друцэ нарисовал образ Мирчи в той его заостренной противоречивости, которая позволила резче сфокусировать внимание на проблеме оценки нравственной сущности человека и его деятельности — оценки особенно актуальной в период развитого социализма, особенно злободневной с высоты требований сегодняшнего дня! Ведь важно не только то, что Мирча — как представитель массы — осуществляет общее дело этой массы, но и то, как Мирча — уже в качестве индивидуального представителя массы — осуществляет это общее дело.

«Личность — подчеркивал Ф. Энгельс, — характеризуется не только тем, *что* она делает, но и тем, *как* она это делает» **.

Заметим, заострение образа Мирчи, одного из главных действующих лиц романа, позволило Друцэ и резче обозначить проблему, и вместе с тем, выражаясь словами самого писателя, «избежать ремесленничества и штампов» ***.

В отличие от Мирчи Онаке Карабуш, воплощающий в себе многие примечательные черты молдавского крестьянства, наделен той мудрой осмысленностью первостепенности труда, когда «счастье простых рук землепашца» становится единственным, ради чего живешь; тем деятельным брюньоновским жизнелюбием, когда «по первой просьбе одариваешь людей» душевной щедростью; тем чувством внутреннего достоинства, которое придает горделивую «размеренность» походке и сохраняет ее до глубокой старости; наконец, тем осознанием своего жизненного предназначения, которое позволяет до конца выполнить свой долг на земле.

Человек сложной судьбы (Карабуш не раз смотрел смерти в глаза, трижды попадал в плен, пережил гибель на фронте двух сыновей, схоронил жену Тинкуцу, которая после засушливых послевоенных лет ушла из жизни «легкой, бесшумной походкой матери»), он через всю жизнь пронес трудническую стойкость к невзгодам, свое обращенное к людям «улыбающееся нутро», свою, карабушевскую, неприязнь к стяжательству. Онаке устоял перед искушением заполучить за клочок земли неслыханные, по

---

* Друцэ Ион. Хлебопашцы в Кишиневе. — Комс. правда, 1971, 21 марта.

** Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 29, с. 492.

*** Друцэ Ион. Хлебопашцы в Кишиневе. — Комс. правда, 1971, 21 марта.

чутурским ценам, деньги. Он и «по гектарам... никогда не сходил с ума». Карабуш «привык пользоваться только тем, что сработано его руками, что он оплатил сам, своим потом», и «просто не понимал, каким образом может стать его собственностью мак, который был посеян другими». Перебирая перед смертью прожитое, Карабуш мягко улыбался «своему богатству»: «И все-таки он не изменил себе, несмотря ни на что. Он исполнил свой труд, перепахал свое поле...»

В противоположность Мирче, Карабуш был «человеком светлым, открытым» по натуре. Не страдая назойливостью «...учить других уму-разуму», он легко сходился с людьми, «любил часто и подолгу общаться с ними, умел прощать, умел помочь, умел дружить». Карабуш в свое время и Мирчу принял «как родного, когда нужно было — защищал, когда нужно — помогал, и долгие годы старался если не перевести его полностью в свою веру, то по крайней мере утихомирить...»

Хранивший всю жизнь верность своим «бедным... достойным предкам», Онаке Карабуш не только примечает, как «...по-новому нарядилась земля, и светятся по оврагам новые деревни, и новые люди в них живут», но и испытывает причастность к этой нови («Он не находил себе места и сам себе удивлялся, потому что ведь не он же пахал под эту кукурузу, не он сеял ее», а вот, поди ж ты, его волнует, что «односельчане затянули с уборкой»), но и осознает это новое как свое достояние: и «всю эту землю, комок за комочком, и небо, и все теплые, весенние дожди, и грохот тракторов, и песни девушек, и все то, о чем те девушки мечтали», и «то, что веками вызревало на этих полях, и даже то, что в будущих веках созреет...»

И тот факт, что Карабуш, для которого «может быть, самым важным в жизни» было одолеть пырей, отказался от участия в рождественских крестинах в доме Мирчи, что он не осуждал и своих односельчан, отвернувшихся от этой гулянки у его зятя, «наоборот, он относился к ним с некоторым пониманием, потому что и у него самого не было никакой охоты веселиться в ту ночь», — этот факт не может не свидетельствовать о том, что приговор Мирче выносит не только Чутура, но и сам Карабуш.

В этом духовном просветлении Карабуша, освобождающегося от гнета собственничества и приобщающегося к историческому процессу обновления жизни, и заключен идейно-художественный пафос романа Друцэ.

Есть особый смысл в том, что сложный жизненный путь Карабуша — как труженика земли, как представителя крестьянской массы — пролег, в сущности, не по задворкам истории, а по столбовой дороге человечества, неизбежно ведущей к социалистическому переустройству бытия.

В этом — глубинная правда образа Карабуша, его жизненная и художественная обусловленность, его социальная и эстетическая значимость.

Вызволенная из беды русским солдатом-освободителем, Чутура, естественно, тянется к новому, социалистическому жизнеустройству, но в то же время не хочет видеть его в обличье Мирчи и ему подобных (что ж, случайные попутчики исторически нового еще не есть его истинные носители!). И в этом отказе Чутуры — не разочарование, не крушение надежд (в таком случае она просто была бы бездеятельной), а проявление активной заинтересованности в утверждении подлинно справедливых форм жизни.

В том-то и непогрешимость авторского разрешения конфликтов Мирчи — Карабуша и Мирчи — Чутуры, что корыстолюбцу Мирче в романе противостоит не один Карабуш, но и Чутура, то есть подавляющее большинство людей труда, извечная тяга к свету которых и питает исторический оптимизм писателя.

Чем же обусловлено сложное своеобразие романа Друцэ? В чем сильные и слабые стороны творческой манеры писателя?

В одном из интервью «Литературной газете» за 1966 год Друцэ признается, касаясь работы над второй частью романа «Бремя нашей доброты»: «...последний год был трудным — пришлось решить уйму чрезвычайно сложных творческих, и не только творческих, проблем» *.

Далее, в статьях о Чехове, Паустовском, Солоухине, а также в литературных этюдах Ион Друцэ не только делится мыслями о творчестве того или иного художника, но и в определенной мере выражает собственное писательское кредо. Оно проступает и в ясном понимании того, что «хлеб искусства не так легок, каким он кажется многим. Не все в мире просто, не все можно с ходу разгадать и расставить по полочкам»; и в остром осознании, что писатель не может не стремиться к масштабности, к искусству «концентрации большого содержания на маленькой площади»**, к поиску «наиточнейшей и наикратчайшей формулы человеческой сути»; и в глубокой уверенности, что «...подлинному искусству всегда присущ элемент загадочности»***, что «сущность красоты» должна оставаться «скрытой, чтобы ее искали и другие...»; и в неизменности принципу — «чтобы постичь улыбку, надо пройти сквозь слезы, и сквозь них же лежит об-

---

* См.: Лит. газ., 1966, 22 сент., с. 3.

** Друцэ И. П. Власть художника. — В кн.: Литература и современность. Сб. восьмой. Статьи о литературе 1967 года. — М.: Худ. литература, 1968, с. 335.

*** Друцэ И. П. Литовские березы. — Лит. газ., 1970, 27 мая, с. 7.

ратная дорога» *; и в страстной убежденности, что «...художественная температура письма может самый частный случай, самую незаметную деталь поднять до широчайших обобщений и, наоборот, самое сложное, волнующее огромные массы, если изложить его сухо, покажется очень местным, частным» **; и, наконец, в неотступном желании следовать самому трудному в писательском деле — «найти новое и неповторимое, избежав ремесленничества и штампов».

Эти высказывания, естественно, не исчерпывают творческих устремлений и пристрастий писателя. Тем не менее они позволяют лучше понять, что лежит в основе его своеобычной манеры письма, наиболее явственно проявившейся в таких произведениях, как пьесы «Каса маре», «Святая святых», «Птицы нашей молодости», повести «Последний месяц осени», «Возвращение на круги своя», «Недолгий век зеленого листа», романы «Бремя нашей доброты», «Белая церковь», рассказы «Сани», «По-молдавски», «Бадя Чиреш» и другие.

Обращаясь к «сложным проблемам», исследуя такой жизненный материал, где «не все можно с ходу разгадать и расставить по полочкам», Друцэ и впрямь стремится сконцентрировать содержание на ограниченной площади, заставить деталь подняться до широких обобщений, раскрыть изображаемое через диалектику взаимосвязей («чтобы постичь улыбку, надо пройти сквозь слезы»), облечь его в ту форму искусства, сущность красоты которого должна «оставаться скрытой».

Отсюда — условная образность лирического письма Друцэ, его емкая ассоциативная многоплановость, его подернутая загадочностью символика.

Если, по меткому замечанию А. М. Горького, художественный образ «почти всегда шире и глубже идеи (писателя. — *В. К.*), он берет человека со всем разнообразием его духовной жизни, со всеми противоречиями его чувствований и мыслей» ***, то применительно к Друцэ этот образ, преломленный через призму условности, к тому же еще и вступает в сложные опосредствованные связи с образным строем произведения, отсвечивая всякий раз новыми гранями своих ассоциативных качеств.

В этой живой диалектике конкретно-чувственного и абстрактно-ассоциативного подчас нелегко выделить доминирующую черту (такую же, как приспособленчество и корыстолюбие — у Мирчи, как «улыбающееся нутро» и «счастье простых рук землепаш-

---

* Друцэ И. П. Улыбка Чехова. — Днестр, 1960, № 1, с. 90, 87.

** Друцэ И. П. В гостях у Солоухиных. — Дружба народов, 1960, № 7, с. 259.

*** Горький М. История русской литературы. — М.: Гослитиздат, 1939, с. 26.

па» — у Карабуша), служащую, как известно, ключом к пониманию художественного образа.

И уж совсем бывает невозможно свести к определенному значению условный образ, намеренно наделенный автором «элементом загадочности». Последний проявляется у Друцэ не только в недосказанности или скрытой «сущности красоты» изображаемого, но и в самой полисемичности образа — его смысловой и художественной многоплановости.

Этот своеобразный прием условно-реалистического письма Друцэ (реалистического, ибо условность у него опирается, как правило, на жизненную основу) несет в себе особые разрешающие возможности. Там, где он диктуется сущностью изображаемого, развитием сюжета, раскрытием характеров, образностью языка, нас буквально завораживает лирико-поэтическое дарование прозаика. Там же, где он недостаточно обусловлен у писателя, нас порой озадачивает либо неоправданное сгущение красок, либо иная изобразительная неточность.

Вот уж где поистине уместны слова В. И. Ленина: «...если достоинства продолжаются больше, чем надо, обнаруживаются не тогда, когда надо, и не там, где надо, то они являются недостатками» *.

Можно, разумеется, проиллюстрировать взаимообусловленность как достоинств, так и недостатков в творчестве Друцэ, проникнуть в механизм их взаимоперехода (скажем, перенаселение некоторых произведений персонажами стариков — недостаток, а вот раскрытие посредством этих образов типических черт национального характера — достоинство), отметить, наконец, смысловые и художественные просчеты писателя, но нельзя не считаться и с тем, как нелегко художнику, решительно отметающему упрощенчество и эпигонство, избежать в многоплановом полотне ошибочного суждения, неточной мысли, неудачного штриха.

Но как противоестественно рассматривать достоинства и недостатки вне их сцепления друг с другом, так и противоестественно «рассматривать одну книгу, как бы бесспорна и значительна она ни была, без учета того, что было автором создано до нее и что за ней последовало» **.

Другими словами, если творчество писателя — книга, то отдельные произведения — ее страницы. И как страницу невозможно уяснить в отрыве от всей книги, так и книгу нельзя осмыслить без отдельных ее страниц.

---

* Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 44, с. 323.

** Друцэ И. П. Литовские березы. — Лит. газ., 1970, 27 мая, с. 7.

В самом деле, разве такая страница творчества Друцэ, как роман о XVIII столетии «Белая церковь», не дополнила наши представления о сложности переплетения исторических путей и жизненных судеб молдавского и русского народов, об истоках единения старожилов многострадального края и «северных единоверцев» (т. е. русских), вызволивших его из оков Оттоманской империи?! Разве это произведение не углубило наше понимание существа трактовки писателем острейших социальных и нравственных, общечеловеческих и национальных проблем народного бытия?!

В густонаселенном романе о самой жестокой в истории Молдавии эпохе фанариотов есть та многомерность изображения, которая позволяет взглянуть на события, людские жизни, человеческие страсти не только в их исторически и индивидуально обусловленной конкретности, но и в их ассоциативной сопряженности с «великой рекой по имени Время».

Ключом к пониманию этой многомерности могут служить в определенном смысле следующие авторские слова: «У каждого из них (т. е. героев романа. — *В. К.*), была своя тропка, свои мысли», ибо «как там ни толкуй, жизнь у каждого своя».

Своя жизнь, свои мысли (но, подчеркнем, в контексте времени, в контексте истории) были у добродетельной, «смышленой от природы» селянки Екатерины Маленькой и своенравной, молодящейся императрицы Екатерины II; у не знающего страха и раболепия перед власть имущими казака Кресало и могущественнейшего «баловня судьбы» князя Потемкина; у несломленного духом трансильванского повстанца Иоанна и «недалекого умом» придворного фаворита Платона Зубова; у высокоблагонравного патриота пастыря Паисия Величковского и тщедушного в своей вере церковного служителя Гэинэ; у озабоченного судьбой соотечественников боярина Мовилэ и наживавшегося на лихолетии торгаша Тайки; у небезгрешного, но сохранившего гражданское достоинство священника Никандру и алчного, без бога и срама в душе, старика Пэсаре...

Что-то заведомо уготованное, по понятиям людей того времени (купаться ли в роскоши или маяться в нищете, наслаждаться ли почестями или страдать от унижений), разделяет одних героев и что-то извечно ценностное сближает других, как сближает простодушную Екатерину Маленькую и великого полководца Суворова та свобода человеческого духа, которая «иной раз запрашивает за вмиг рожденное хлесткое слово совершенно немыслимую цену, и тому, кто этой свободой дорожит, приходится платить».

Это он, гениальный Суворов, на обращенный к нему вопрос, чем наградить его за взятие Измаила, дерзко ответил всесильно-

му Потемкину: «—...За свершение дел невозможных наградить может один только бог».

Это она, простая селянка из Околины Екатерина Маленькая, заявляет при народе стяжателю Тайке, «до смерти хотевшему прослыть основателем ее деревни: «—...Бог, хоть и не копается в чужом достатке, всегда отличает то, что добыто трудом, от того, что подкинуто луканым».

И уж совсем негодующие слова бросает Екатерина Маленькая в лицо «обобравшему храм как липку» и «дающему дёру» священнику Гэинэ: «—...Теперь что же получается — они, православные (т. е. русские. — *В. К.*), идут к нам на помощь, а мы, тоже православные, улепетываем? Да это же все равно, что пригласить к себе человека в гости, а самому, заперев дом, сделать вид, что идешь на ярмарку!»

Оба они, Суворов и Екатерина Маленькая, поплатились за хлесткие реплики: полководец — фельдмаршальским жезлом, селянка — оскорбительными прозвищами и насмешками свадебной толпы.

Но через всю эту многослойную полярность событий, характеров, поступков (достаточно вспомнить блистательный екатерининский двор в Петербурге и заваленный бревнами «екатерининский» двор в Околине, где простолюдины заново воздвигают церковь, но уже не как олицетворение былой терпимости, а как олицетворение крепнущей стойкости) все отчетливее звучит мотив пробуждения в народе чувства национального достоинства.

Этот мотив обретает свою плоть и в могучем басе отца Никандру, колоколом прогремевшем в зверски истребленной янычарами Салкуце: «—...Мы не сосульки, свисающие с застрехи, не куст плакучей ивы, не холм пустой и бесплодной глины. Мы — народ...»

И в вещих проповедях глубоко сострадающего обездоленному люду пастыря Нямецкого монастыря Паисия Величковского:

«— ...Народы гибнут, когда слишком долго остаются неотмщенными. И потому в этом краю каждая травинка, каждый росток только тем и живет, что вот-вот придут единоверцы с востока и принесут избавление».

И в деятельных мечтах и заботах Екатерины Маленькой о строительстве новой церкви (что ж, для гонимых безотцовщиной простолюдинов вера в церковь — общую как для молдаван, так и для «северных единоверцев» — не могла быть не спасительной в тот «безумный, не признававший ничего святого восемнадцатый век»), но церкви непременно «белой», ибо «белое в этом краю — это не просто цвет. Это еще и судьба»; ибо «белый

дом — это... честный дом, вечный дом, святой дом...»; ибо «белая церковь» — это еще и символ объединения людей, без которого «что за жизнь...»; символ возрождения нации (если «помочь нашему храму подняться из руин», то и он «в свою очередь, поможет нам встать на ноги...»).

И в каждом стуке топора на строительстве белой церкви, наказывавшем «им (салкучанам. — *В. К.*) верить и жить. Жить и верить» и извещавшем край о том, что пришла пора его старожилам выбираться «из трясины разрушения», приобщаться «к нелегкому, но святому делу созидания», «делу не столько рук, сколько духа человеческого».

И, наконец, в лирико-эпическом сказе автора, то исповедально-взволнованном, то песенно-поэтическом, навеянном разве что старинными молдавскими летописями. Сказе о неподвластной времени истории, о неистребимости народной жизни, о бессмертии человеческого духа:

«Заброшенная вместе с отчим домом, запущенная вместе с родными полями, забытая вместе с мечтой о лучшей доле, эта славная лоза в назначенный срок нашла в себе силу и выпрямилась, расцвела, завязала плод и теперь стоит счастливая, согнутая в три погибели под бременем своего сладкого, хмельного груза. Вместе с ней ожил, заулыбался мир тружеников земли».

И полнятся смыслом те короткие фразы, которыми обменялись при виде церквушки на высокой круче возвращавшиеся в родные пределы русские солдаты:

— Гляди-ко, молдаванцы куда забрались!

— А такова планида человеческая! Чем ниже гнет тебя судьбина, тем выше дух взлетает!

...Да, мы «никогда не поймем внутренней архитектуры творчества, если не найдем того единого мотива, того нерва беспокойства, который переходит от книги к книге» *.

А писателя ведет от произведения к произведению поиск. Поиск и емкой «формулы человеческой сути», и «хорошей мысли», что «наверняка стоит полгектара хорошей вспашки», и искусной формы, что немыслима без чувства «внутренней мускулатуры слова», без дара «владеть его многоплановостью, его взрывчатой силой» ** — то есть всего того, что способно «открыть перед читателем двери в новый для него мир» ***.

И лучшими страницами своего творчества Друцэ открывает нам

---

* Друцэ И. П. Литовские березы. — Лит. газ., 1970, 27 мая, с. 7.

** Друцэ И. П. Цена слова реченного. — Искусство кино, 1972, № 6, с. 41.

*** Там же, с. 37.

новый мир, такой же добрый и мудрый, щедрый и улыбчивый, красочный и поэтичный, как и сама Сорокская степь. И мы не спутаем этот мир ни с каким другим, ибо только у Друцэ можно найти «...тихий торопливый говор, умеющий одинаково складно благодарить и проклинать, смеяться и плакать», увидеть, как «дорога растянулась лениво, грея спину на солнце, уверенная, что кому нужно, тот уже пришел», как старик обучал бестолковую лопату «заново всему, что нужно в хозяйстве», как жеребенок «склонил голову набок, как бы прислушиваясь, в каком ухе у него звенит»; узнать, «для чего же люди строят калитки, как не для того, чтобы выставить на радость всему миру хорошее настроение, когда оно у тебя водится...»; испытать чувство: «Вроде сказала что-то, а вроде ничего и не сказала, словно позвала куда-то, а словно и не звала, будто ласково посмотрела на него, а будто и не смотрела...»; познать, «что истинная суть людская, так же, как и море, не ведает границ своих»; наконец, открыть страну, которая умеет влюблять в себя первой и последней любовью» *, пробуждать неуемную потребность в прекрасном, раскрывать «величайшее таинство» труда, постигать «молчаливую сосредоточенность, когда усталые ладони стирают пот со лба» и человек «наслаждается содеянным им», дарить людям ту безграничную радость, что под стать ясному летнему небу, которое «льет на землю потоки света, а не знающая устали земля превращает этот свет в душистые цветы, в вековые дубовые леса, в тяжелые пшеничные колосья — во все, что названо человеком жизнью»; услышать, как тихо шепчет орех — это вечное древо народной жизни: «Вот это по-нашему, вот это здорово!»

Друцэ действительно несет свой орех сквозь годы, его мудрую и добрую крону мы угадываем в каждом произведении, его лукавый и чуть грустный шелест слышим в каждой строке писателя.

В. КРАВЧЕНКО

---

* Друцэ И. П. Наша первая, наша последняя любовь. — Огонек, 1960, № 21, с. 9.

Рассказы



По-молдавски

Когда прилежные работяги уже успели нажить свежие мозоли, а лентяи еще не проснулись, тогда и бадя * Андрей начинал собираться в поле. Бросит охапку соломенной трухи на дно телеги, разложит в виде гнездышка и залезет попробовать, ладно ли будет сидеть. Ничего, сойдет. Потом щелкнет кнутом над лошадиными спинами. Если они тут же срываются с места, кричит: «Тпру, чертово семя!» — а если стоят неподвижно, говорит: «И то хорошо».

Однако прежде чем забраться на телегу, бадя Андрей усаживается на завалинке, чтобы засучить ицары **. Такие у него толстые ицары, что даже гвоздем их не проткнешь, разве что накалить тот гвоздь на огне, а потом пристукнуть молотком. Много с ицарами хлопот, и он обещает жене, что нынче надевает их в последний раз. Вечером забросит на чердак и не снимет их оттуда, пока воробьи гнезд не совьют в карманах и не снесут в каждом по четыре яичка.

— Двенадцать яиц, стало быть.

Наконец ицары засучены. Бадя Андрей залезает на телегу. «Хатя-я!» — и дело двинулось. Только выехал за ворота, лихо сдвинул шляпу на левую бровь, — может, пройдет хорошенькая молодка, а он ей чего-нибудь соврет. Побалагурит. И любят же эти бабенки, когда шляпа набекрень и мужик к тому же хорош собою!

Шутка готова, но молодки что-то не видать, — должно быть, остановил ее какой-то умник в другом конце деревни и заговаривает ей зубы. Хей, случится великая беда, если бадя Андрей узнает, кто этот умник!

Кони еле плетутся, тащат телегу у самых заборов, где гуще тень, и бадя Андрей очень доволен их сообразительностью. Он важно восседает на охапке соломенной

---

* Бадя — уважительное обращение к старшему мужчине.
** Ицары — толстые шерстяные домотканые брюки.

трухи и кидает по два-три слова каждому встречному-поперечному.

— Куда собрался, малец?

— К бабушке.

— Так, хорошо... К бабушке, стало быть... Достань хворостинку из забора, чтоб собака не набросилась... А ты, Ион, чего гоняешься за котом?

— Ворует, баде Андрей. Как учует кусок мяса в доме, не угомонится, пока не утащит.

— Трепку хочешь задать?

— Уж я ему всыплю!

— Хорошенько отлупи! Есть и у меня дома кот, — если бы знал, что ворует, с дороги вернулся бы отлупить... Добрый день, дед Фэнуцэ! Как живешь-можешь?

— Могу, милый, да знаешь ведь как на старости...

— Да, на старости неважнец... Хорошо хоть, что еще можешь... Как поживаешь, Иленуцэ? Когда замуж?

— Позднее, когда виноград поспеет.

— Осенью, значит? А то, может, подождешь, пока у меня сын подрастет?

— Сколько ему?

— Три года, на днях пошел четвертый... Хатя-я!.. Чего с чугунком завозилась, кума Аника?

— Галушек хочу сготовить.

— Не забудь и меня позвать... С добрым утром, баде Тимофте!

На окраине села дорога сворачивает в узкую улочку, которая взбирается на холм. Большая морока с этой улочкой. Узкая, зажатая меж двумя глинистыми срывами. Двум подводам ни за что не разъехаться, пока одна не осадит назад.

Бадя Андрей свернул в улочку и начал похваливать лошадей, чтобы быстрее взобраться на эту горку. Но кони не могли договориться, кому из них тянуть, а кому притвориться, что тянет. Бадя Андрей хотел помирить их кнутом, но кнут соскочил с кнутовища. Пока нашел, пока тронулся с места, видит — другая подвода медленно спускается с горы и катит прямо на него. Бадя Андрей предостерегающе закашлял, а она все катит и катит себе вниз. Ладно. Заметил в той подводе вишневую кепку — значит, Лисандру Дырлог. Вздохнул бадя Андрей:

«Не сообразит же, дурья голова, завернуть в какой-нибудь двор, чтобы я мог проехать».

А в той подводе Лисандру тоже вздохнул:

«Не сообразит же, чучело соломенное, завернуть в какой-нибудь двор...»

Но бадя Андрей не печалится: «Заставлю его уступить дорогу...»

И Лисандру не стал долго тужить: «Любо будет посмотреть, как повернет Андрей подводу...»

Сидели спокойно, пока кони не остановились грудь в грудь, а телеги — дышло в дышло.

— Салют, Андрей!

— Здорово, Лисандру!

Немного помолчали, следя, как обнюхиваются кони, норовя укусить друг друга.

— Так ты, значит, Лисандру, не мог подождать на холме, пока я проеду?

— А ты чего не подождал в низине?

Бадя Андрей воткнул кнут в охапку трухи. «Забавный тип...»

— И как могло тебе прийти в голову, что я уступлю тебе дорогу?

Лисандру засмеялся. Воткнул и он кнут в солому, на которой сидел.

— Когда вот это дышло родит двух гнедых жеребцов, вот тогда, Андрей, я уступлю дорогу. А до тех пор не знаю, право, не знаю...

Бадя Андрей сворачивает цигарку.

— Ты меня, Лисандру, не нервируй.

Закуривает и Лисандру.

— Ничего. Я со вчерашнего хожу нервный — и то ничего...

Молча курят, одергивая коней, чтоб не затеяли драку.

— Послушай, Лисандру, что я тебе скажу, только хорошенько слушай. Слазь, возьми коней за уздечки и потихоньку, чтоб не споткнуться, подымай в гору. Там немного подождешь.

— Что ж, Андрей... потерпи несколько лет, подрастут сыновья, и тогда будет кого учить уму-разуму.

— А все-таки, Лисандру, придется тебе подать назад. Ты ведь на год моложе меня.

— То-то и оно, что моложе. К чему тебе связываться с несмышленым? Вернись и пропусти меня с богом...

— Лисандру, у тебя две дочки, а у меня два сына... Может статься, захочешь уступить мне дорогу, да неизвестно, захочу ли я пройти.

Лисандру заливается смехом.

— Это ты, Андрей, мне дорогу уступишь. Во всей Сэлиште одни хлопцы, а девчат попробуй сыщи!

Бадя Андрей размышляет: верно, хлопцев многовато...

Вдруг неизвестно откуда появляется Феофан, известный в Сэлиште болтун. Он носится как гончая по селу, кончик его носа улавливает малейшее напряжение атмосферы, и, может, потому он всегда все знает: и чья собака чью укусила, и кто у кого взял топор и забыл отдать. Едва начинают ссориться две соседки, вернее, еще и не начинают, еще только одна заявляет: «Раз уж на то пошло, то я вот что тебе скажу...» — а Феофан уж тут как тут.

Бог весть, как он разнюхал, что в улочке остановились две подводы, а раз остановились, непременно что-то последует. Прошел мимо них, поздоровался. Сделал еще несколько шагов и подался в кусты. Ждет.

Что ж! Андрей затянул ремень.

— Эй, Лисандру, пока подрастут наши дети, вздую-ка я тебя хорошенько.

Лисандру смеется. Поправляет пояс, а пояс у него широкий, старинный, с медной чеканкой.

— Брось, Андрей. Раз я на год моложе и нет мамы дома, так ты уж и пугать?

— Я не пугаю, Лисандру. А ты помнишь, когда чинили мотор на мельнице, кто поднял большое колесо и всадил его на место?

Лисандру помнит, но добавляет маленькую подробность:

— А когда Терентьев бугай проломил загон, ты знаешь, кто его поймал и загнал обратно?

Так-то оно так, и тем не менее...

— Вот ты, Лисандру, все кичишься своим поясом. Что-то захотелось мне схватить тебя за этот самый пояс и положить вон на той полянке, да так положить, чтоб козырек твой полетел направо, а кепка вместе с пуговкой — налево.

Лисандру натянул кепку на лоб и засмеялся:

— Эти видения у тебя оттого, что ты плохо выспался. Что до меня, то ухватил бы я тебя за твои ицары и так брякнул, что остались бы от них четыре передничка — два спереди, два сзади...

Ну уж если зашла речь об ицарах... Бадя Андрей спрыгнул с телеги. Он терпеть не мог, когда поминали худым словом его славные ицары. Слезает и Лисандру —

ему тоже не нравится, когда его кепку кидают куда вздумается.

Бадя Андрей заправляет ицары под ремень, Лисандру затягивает пояс еще на четыре дырки.

— Честно или с подножкой?

— Без подножки. Честно.

Так.

Подставили под колеса камни, чтобы не держать лошадей в напряжении, сняли уздечки, привязали вожжи. Трынта * — дело такое: знаешь, когда начинается, а кончается, когда ей вздумается.

Вышли на поляну, опустились на колени и принялись ощупывать траву, нет ли где пенька... Еще неизвестно, кому лежать на лопатках, но грешно было б оставить сиротами двух детей, будь то мальчики или девочки...

Трава ничего, хорошая. Поплевали в ладони, потерли, еще поплевали. Бадя Андрей хватает Лисандру за чеканный пояс, Лисандру норовит ухватить Андрея за ицары.

— Погоди, погоди... Так-таки сразу...

— Смотри, ицары помнешь...

— Будь спокоен. Гляди только, не набей мозоли на чеканке.

Феофан замер за кустом. Видел он своими глазами, какое колесо поднял на мельнице Андрей, видел и того бугая. А вот чем кончится эта трынта? Тут, должно, без смертоубийства не обойдется.

Скрипит чеканный пояс, трещат ицары. Печет над самой головой солнце. Четыре лошадиных хвоста гоняют мух, и четыре лошадиные морды пытаются уразуметь, что вокруг происходит.

— Ниже пояса не хватай.

— Ты что, подножку?!

Зеленый коврик, который они так старательно ощупывали, сначала лишился угла, потом треснул пополам, потом разорвался в клочья.

Четыре руки воровски скользят, четыре ноги ощупывают землю, и две груди врастают одна в другую. Но вот нога нашла опору, сливаются мышца с мышцей, и из двух живых существ возникает одно — немое, застывшее. Оно качается, загребает землю ногами, чтобы не упасть. Затем сдает какая-то мышца, срезается чье-то дыхание, и на полянке снова двое... Дышат глухо, на-

---

* Трынта — молдавская национальная борьба.

тужно. Две капли пота стекают с подбородка Андрея на спину Лисандру, и другие две капли скатываются с подбородка Лисандру на спину Андрея.

— Я утрусь о твое плечо, можно?

— Валяй. Я давно вытираюсь твоим рукавом.

Феофан прямо измучился за кустом. Вытащил и он полу рубахи — так вспотел, как будто поборол десятерых и десятеро его побороли. Нет, думает, тут без убийства не обойдется — лучше держаться от них подальше. Уходя, все оглядывается: не кончилось ли? Но трынта в самом разгаре.

Трещат ицары, скрипит чеканный пояс, и стонет, стоном стонет земля под ногами.

— Лисандру, отвезти тебя на подводе домой или тут отлежишься?

— Воля твоя... Что до меня, то я оставлю тебя здесь.

— Жене хоть скажи, чтоб знала...

— Скажу. Отчего не сказать...

К закату на поляне живой травинки не осталось. Земля разворочена, словно ее вспахали, дважды боронили и опять перепахали... Устал страшно бадя Андрей, но и Лисандру устал. Теперь ицары легко выскальзывают из рук Лисандру. Зато и чеканный пояс быстро убегает от рук Андрея. Но борьба остается борьбой, и один из двоих должен лежать на земле. Хорошо бы остаться Андрею с четырьмя передничками вместо ицаров, но неплохо бы и кепке Лисандру разлететься, как было обещано: козырек направо, а все остальное с пуговкой вместе налево...

Вдруг рука бади Лисандру повисла, сведенная судорогой. В тот же миг уронил руку и бадя Андрей. Затем Лисандру уступил, дав Андрею передохнуть, а бадя Андрей не такой человек, чтобы оставаться в долгу, когда его уважат. А потом одна рука потянулась поправить ицары, другая взялась за чеканный пояс.

— Коня отдам за одну затяжку...

— И я отдаю коня...

Оба отступают на шаг, оба садятся на развороченную землю. Задумались, погрустили, потом вяло стали крутить цигарки, собирая крохи табака с распаренных пальцев.

— А ты сильный, Лисандру.

— Да и ты хорош. Кряжистый.

Курят молча, поглядывая на коней, которые давно стоят, положив головы друг дружке на спину.

— Лисандру, не хотелось бы тебе выпить стакан розового вина? Прохладненького?

— Не откажусь.

— Тогда поехали ко мне.

Развернули телегу бади Андрея, запрягли и поехали. Лисандру очень понравился розовый прохладный напиток, и он попросил Андрея потрудиться зайти к нему попробовать мускатного. А поскольку бади Андрей души не чаял в мускатном, он, конечно, пошел...

К осени жена бади Андрея родила ему еще одного сына, и Лисандру позвали на крестины. А к весне жена Лисандру родила еще одну дочь, и тогда бадя Андрей был приглашен в крестные отцы...

Потом повелось, что всякий раз Лисандру сдувал через край стакана несколько капель вина на счастье Андреевых сыновей, а Андрей отливал несколько капель за здоровье Лисандровых дочек.

Затем жена Андрея пришла к жене Лисандру с деревенскими новостями, а на другой день жена Лисандру принесла жене Андрея новости еще похлестче. Потом мальчишки бади Андрея сделали змея девочкам Лисандру, а девчонки Лисандру сделали три куклы мальчишкам бади Андрея...

И с некоторых пор, когда бадя Лисандру торопливо спускался в долину, никто его не спрашивал, куда он идет. Никто не спрашивал также и бадю Андрея, когда он подымался на гору... И такая между ними завязалась дружба, что люди, не знавшие, в чем дело, удивлялись:

— Чего это они зачастили — то Андрей к Лисандру, то Лисандру к Андрею?

А те, до кого дошли кое-какие слухи, охотно объясняли:

— Да они ж кумовья... Так заведено у нас, у молдаван...

Пошел, гнедой, пошел...

В голове колонны шагает капрал Харабаджиу. Обмоткой закутана шея, полы шинели заправлены под ремень. Идет медленно, понуро, изредка приговаривая ласково одно и то же:

— Пошел, гнедой, пошел...

Вслед за капралом катят четыре военные повозки, оплакивая свою участь тягучим перезвоном. С трудом плетутся истощенные подстриженные кони, то и дело оставляя на ледяных заплатах дороги мягкие пенельные оскользни — подковы бог знает где остались...

Следом за повозками три лошади с трудом тащат полевую пушку. Кто-то от нечего делать заткнул ей дуло пучком соломы. Пушка беспрерывно подпрыгивает на ухабах, и кажется, что ствол без конца силится, да никак не проглотит солому...

За пушкой бежит тощая собачонка, прихрамывая то на одну, то на другую лапу. Видать, болят все четыре, но она прихрамывает по очереди, давая каждой передохнуть. Чья она и откуда, кто знает?.. Должно быть, почуяла, что войско возвращается домой, и увязалась за ним: а вдруг дома солдаты вспомнят, что была она им товарищем в пути, и подыщут ей какую-нибудь конурку...

Замыкает колонну капитан Фулжер. Едет медленно на рыжей кобылке. Бросил поводья, запрятал руки в рукава и сидит зажмурившись, — может, дремлет, может, пытается собрать все военные дороги в одну-единственную, а может, просто спит в седле...

Крым...

Простуженное солнце медленно сползает за гребешок холмов, чуть-чуть золотя узкую замерзшую дорогу, и нет у этой дороги ни конца ни края. Из-за моря дует влажный, холодный ветер. То стонет, то по-собачьему завоет, и порою в этой бродячей скорби его слышатся знакомые грустные мелодии... Солдаты вдыхают его полной грудью — наш, родной ветер. Пронел, бедняжка, целое море, полсвета обежал, а все-таки нашел... Должно быть, жена его послала или, может, дети...

Вязкая, залежавшаяся тишина. Ни человеческого голоса, ни лошадиного ржания. Только повозки отстукивают мягкий крестьянский перезвон: хай-хай, хай-хай. Одна лишь дорога — домой — звенит таким ласковым перезвоном, и все без устали слушают его. Слушает Харабаджиу, слушают солдаты, слушает капитан Фулжер, дремлющий в седле. Этот перезвон колес — их хлеб, их печка, их родня и их дети. И солдаты слушают, сеют по ветру неровную струйку старческих своих грехов. Капитан заложил два пальца за ворот шинели, подыскивая место для кадыка. Сказал вялым, скучным голосом:

— Капрал Харабаджиу.

Собачка, зная, что это длинная история, побежала в поле, опустив голову к земле: авось найдется что-нибудь съедобное.

Харабаджиу идет к капитану, глядя куда-то в пустынное поле, будто жалуется оставшемуся дома куму: «Сто раз меня вызывал этот капитан, а потом взял да вызвал еще раз...»

— Слушаюсь, господин капитан.

— Опять свалился гнедой, Харабаджиу?

— Упал, господин капитан.

— Почему не пристрелишь?

— Пристрелю, господин капитан. Ей-богу, пристрелю.

— Бегом. И пристрели. Иначе сорвешь операцию.

Сорвать отступление — это, конечно, очень опасно, но Харабаджиу и не думает бежать. Идет все тем же усталым шагом, вглядывается в широкое поле, отыскивая кума: «...И ты думаешь, что́ он мне сказал? Все то же...»

Гнедой уже на ногах. Дышит часто, но его дыхание уже не может растопить изморозь вокруг ноздрей. Столько он падал, бедняга, что казалось, проделал всю дорогу, волочась на спине. Дышит часто, словно ему опостылело это дыхание, ниспосланное лошадям на мучение. Ему будто все равно, как с ним обойдется Харабаджиу, — может, пристрелит, может, простит и на этот раз...

Все же, учуяв шаги хозяина, он поворачивается и долго смотрит полузакрытыми глазами на ремень капрала. Харабаджиу не замечает гнедого. Он принимается разворачивать обмотку на шее, а потом снова наматывает ее с таким расчетом, чтобы и капле ветра не просочиться.

Капитан Фулжер, ожидая исполнения приказа, достает окурок сигареты и закуривает. Солдат из артиллерийского расчета подходит понюхать табачный дымок и еще раз попытаться, в сотый раз попытаться:

— Господин капитан, а по мне — бросить бы к черту эту пушку.

— Нельзя, Михалаке.

— Отчего ж нельзя?

— А если случится бой?

— Так нет снарядов.

— Это знаешь ты, а противник не знает. Увидит пушку и испугается...

Михалаке смеется. Станет кто пугаться пушки, в которую воткнута уже солома...

Наконец Харабаджиу завязал обмотку, вышел в голову колонны, бросил три слова:

— Пошел, гнедой, пошел...

Гнедой будто понял, что и на этот раз его простили. Навалился всем телом на упряжь, поднял ногу, подержал ее, дрожащую, потом медленно опустил, затем другая нашла себе место, и колонна двинулась. Откуда-то с поля, хромая, прибежала собачонка, будто жалуясь солдатам: черта с два, и на этот раз ничего не нашла... Заняла свое место позади пушки, и повозки начали свой перезвон. Солдаты медленно шагают, слушая его, и мастерят из этого перезвона караван хлеба, теплые печки, детей, похожих на них. Изредка, когда попадется особо трудный подъем, слышится голос Харабаджиу:

— Пошел, гнедой, пошел...

Небо на западе еще румянится, но где-то вдали, над морем, уже засияли две звездочки. Мигают, прижались друг к дружке и дрожат, — видно, боятся упасть в море. Ветер бьет то сбоку, то в лицо, но капитан не достает больше свою замусоленную карту. Дорога домой — единственная дорога, которую войско проделывает без карты. Надобно только идти, чтобы беспрерывно звучало: хай-хай, хай-хай...

Когда дорога начала спускаться с кручи, звон повозок снова стал дробиться и снова рыжая кобылка остановилась у ствола орудия. Капитан Фулжер опять помотал головой, как бы говоря кому-то: нет, ни в коем случае, нет! — и, когда место для кадыка было найдено, позвал:

— Капрал Харабаджиу!

И опять собачонка побежала в поле, и опять шел Харабаджиу, глядел куда-то в пространство. «После этого взял капитан и позвал меня еще раз».

— Слушаюсь, господин капитан.

— Опять свалился гнедой?

— Упал, господин капитан.

— Почему не пристрелишь?

— Пристрелю, господин капитан. Ей-богу, пристрелю. Только дойду до телеги и тут же пристрелю...

— Бегом.

Харабаджиу и не думает бежать. Идет медленно, глядя в поле: «...И что, ты думаешь, он мне сказал?..»

Теперь гнедой лежит на дороге. Стерегут его с одной

стороны ноги солдат, а с другой — ноги лошадей. Лежит с закрытыми глазами, безразличный ко всему. Солдаты стоят рядом озадаченные, теперь все, теперь крышка... Харабаджиу подошел к повозке, достал топорик. Попробовал тыльной стороной ладони, хорошо ли наточен. Потом отошел на несколько шагов в сторону, стал тесать мерзлую землю. Набрал мерзлой стружки в полу шинели, высыпал под ноги гнедому. Достал откуда-то веревки, пропустил их гнедому под брюхо.

— Ну-ка, взяли! Раз! Хуп, еще разок!

Гнедой на ногах. Дрожат мышцы, дрожат губы, долго смотрит полузакрытыми глазами на ремень Харабаджиу, будто удивляется: как это удалось его поднять? Но Харабаджиу не обращает на него внимания. Снова уложил обмотку вокруг шеи — уж на этот раз черта с два залезет холод... Вышел в голову колонны, сказал тихо, с таким расчетом, чтобы не услышали остальные кони:

— Пошел, гнедой, пошел...

Повозки двинулись. С поля бежит собачонка, мордочка в сторону: подумать только — и на этот раз ничего не нашла. Ну прямо-таки ничего...

Прошел еще день, — может, был вторник, а может, суббота; может, восьмое, а может, одиннадцатое... Ясное, чем-то похожее на домашнее, небо, полная луна выгоняет звезды из ледяных заплат, рассеянных по обочинам дороги. Выгоняет, выбрасывает их сотнями, но справиться не может — нет конца дороге, нет конца ни заплатам, ни звездам...

Капитан Фулжер уже не дремлет. Он ищет поводья в гриве рыжей кобылки, но не находит. Нет так нет. Смотрит печально куда-то в глубь поля — война приучила его спать днем, а ночью он бодрствует. Вдруг мелькнул Харабаджиу — бежал смешно, по-бабьему разбрасывая в сторону руки-ноги.

— Господин капитан! Господин капитан!

— Что такое?

Харабаджиу идет некоторое время рядом с рыжей кобылкой, потом шепчет, чтоб не слышали нижние чины:

— По шоссе проходят войска, господин капитан. Похоже, что наши, румыны...

Капитан наконец нашел поводья.

— Харабаджиу, погоняй мою кобылку, а то размечталась старая кляча.

Рыжая кобылка свернула с дороги и благодаря большому усердию капрала поскакала в голову колонны. По долине медленно, устало тек нескончаемый поток войск.

— Они что, домой, господин капитан?

— Отступают.

Отступала и часть капитана Фулжера. Значит, тоже домой...

— Ну-ка, ребята, к ним...

Рыжая кобылка сама перешла на рысь, и вслед за ней заторопилась вся колонна.

Разбуженные повозки зазвенели совсем по-иному. Побежал и гнедой, очень смущенный: ну конечно, какой это бег?..

— Пошел, гнедой, пошел...

Вскоре часть капитана Фулжера влилась в поток. Последовало небольшое оживление среди солдат: кто откуда, кто с каких пор не курил... Вечная история: из соседних сел — сколько угодно, из своего — ни души... А что до курева — попробуй упомни такую уйму времени...

Добрую половину ночи шли молча по шоссе, слушая все тот же перезвон — теперь он был полновесней, решительней.

На рассвете, взобравшись на пригорок, колонна остановилась. С хвоста понесся вопрос, который солдаты, едва ловя озябшими губами, передавали друг другу:

— Что случилось?

Через некоторое время из середины к хвосту таким же образом отправлен был ответ:

— Пала лошадь...

Несколько солдат, довольные передышкой, собрались вокруг и лениво следили, как Харабаджиу тащит мерзлую землю в полах шинели... Сделав две ходки и собравшись в третью, Харабаджиу вдруг услышал:

— Разойдись!

В бледном свете луны мелькнул короткий ствол. Харабаджиу как ни в чем не бывало продолжал рассыпать землю под ноги гнедому, краем глаза поглядывая на погоны того, кто велел расходиться.

— Лучше суньте ливорверт на место, господин лейтенант, пока не остыл. А то железо, когда остынет, от него холодом несет...

Кто-то в темноте усмехнулся. Сухо щелкнул взведенный курок, и Харабаджиу вдруг сообразил, что от

капитана до лейтенанта все равно что из Крыма до дома...

— Погодите, господин лейтенант... Если пристрелите тут, кто его стащит с дороги? Вы, что ли?

Курок, придерживаемый пальцем, мягко вернулся на свое место.

— Тогда убери его к дьяволу.

— А я что делал, когда вы пришли с ливорвертом?

Гнедой на ногах. Харабаджиу распрягает его. Сгребает со дна повозки охапку соломы, берет коня за уздечку.

— Пошел, гнедой, пошел...

Молча стоят солдаты, глядя, как капрал уводит гнедого в поле. Шагах в тридцати остановились. Гнедой, будто понимая, о чем шла речь, мягко опустился на колени, затем лег, уронив голову на промерзшую, голую землю.

Харабаджиу приподнял ее, подстелив соломки.

Щелкнул кнут на шоссе, разбудив повозку, затем скрипнула другая, и колонна двинулась. Гнедой подобрал ноги, чтобы подняться, — ждал трех мягких, ласковых слов...

Но капрал Харабаджиу молчал. Торопливо шарил по карманам, достал окурок, припрятанный на самый что ни на есть черный день, закурил...

— Война, гнедой, война... И ты уж прости меня...

Повернулся и медленно побрел к колонне. Гнедой высоко поднял голову, провожая хозяина, шаг за шагом, пока поток не поглотил капрала.

Война... Таково на войне, и гнедой не жалуется. Был солдатом и он, и его благословил генерал Антонеску.

Его ни о чем не спрашивали. Положили на спину седло, в седло посадили солдата, щелкнул кнут —и пошел гнедой... Честно разделил судьбу своей армии, и не его вина, что пал он в последней военной операции — пал при отступлении...

Колонна исчезла меж холмами. Ее уже почти совсем не слышно. Гнедой опускает голову на солому, закрывает глаза. Светает. Откуда-то из-за моря, из дому, доносится ветер, усталый ветерок. Он принес запах зеленых лугов, дыхание свежих борозд, но поздно принес... Скиталец ветер опустился на колени подле гнедого, и из его бродячей скорби начала вырастать новая мелодия, никем еще не петая, но выстраданная сполна.

Следы

Кирикэ задремал на заре, но тут же проснулся.

— Что, повалил снег?

Паша, его супруга, приподнявшись на локте, долго и пристально вглядывалась во двор.

— Нет еще. А что, плечо заломило?

— К кости подбирается, — обреченно сказал Кирикэ.

Встал, оделся, умылся. Накинул тулуп на плечи и вышел. Шел и сокрушался: «Чего надумала эта зима — не поймешь. Со дня на день люди ждут, что пойдет снег, а его все нет. Три недели не идет, и три недели ломит кости так, что прямо спасу нету!»

Эти привезенные с войны хворобы измучили его несказанно. Когда они его обступали, Кирикэ бледнел, сатанел, у него менялся и голос, и характер, и привычки. Вот и в то утро он проскочил мимо тропинки, протореннoй им через двор Параскицы, хотя он и любил ходить в конюшни напрямик, любил по утрам поздороваться с вдовой погибшего фронтового товарища, любил ободряюще-ласково спрашивать, как дела, и только после этого шел на конюшни начинать свой день. Но теперь он был не в духе. Правда, увидев среди стволов старых вишен исхоженную тропку, все его существо кинулось туда, чтобы спросить Параскицу, как дела, но ноги-то, ноги несли его по совсем другой дороге...

Как обычно, едва он переступил порог, из глубины колхозных конюшен донеслось веселое ржание Ройбу. Это был его любимчик. Кирикэ каждое утро баловал его, принося из дому в кармане что-нибудь вкусное, но на этот раз он ему ничего не принес, и даже ржание этого стригунка его раздражало.

— Ну-ну, я вот тебе побалую...

С мельницы послышался короткий гудок, возвещающий, что сегодня мелют на крупу, а не на муку. На пороге конюшен появился Максимаш — веселый почтальон. Парень он был чернявый, бедовый, вечно ходил без пуговиц, подпоясанный ремешком, чтобы ветер не разметал полы в разные стороны. По дороге в район за почтой он захаживал на конюшни рассказать небылицы, до которых был большой охотник. Все свои побасенки он начинал одинаково: «А я вот на днях слышал, так это да... Значит, так...»

Ничего не различая со света, Спиридон стоял на пороге, всматриваясь в сумрак конюшен. Потом, заприметив ушанку Кирикэ меж лошадьми, лихо заправил пальто под ремешком и начал:

— А вот я на днях слышал, ну обхохочешься... Значит, так: уехала жена на курорт, а мужа оставила дома...

— Ну и пусть сидит дома, ежели он такой дурак, — донеслось сердито из глубины конюшен, и почтальон осекся. Затем, обиженно посопев, сказал как бы про себя: — Ну как знаешь, — и пошел по своим делам, на ходу сбивая свисающие с соломенной стрехи сосульки.

Когда наконец кони были накормлены, Кирикэ вышел из конюшен, глянул вверх, осмотрелся вокруг. Середина декабря, а снега все нет. Небо серое, низкое, кажется, вот-вот полетят снежинки, а их все нет и нет... Плечо ноет — прямо невмоготу. Вот уже скоро десять лет как мучается он с ним. Когда меняется погода — прямо хоть на стенку лезь. За неделю вперед может сказать, когда пойдет дождь, когда пойдет снег, но теперь что-то вот произошло — ныть-то ноет, а погода ни с места. К чему бы это?

Солнце еле-еле выглянуло из-за холма и теперь устало висело, запутавшись в ветвях старой вишни. Наступало время пойки лошадей. Кирикэ идет к колодцу, немного выдвинув вперед больное плечо, и, хотя колодец рядом, на этой маленькой тропке вспоминается ему многое-многое... Перед глазами всплывают старые друзья и торжественно-тихие мгновения перед атакой. Белое поле, по которому до самой зари бегут змейкой окопы, серый дымок над лежащей впереди равниной и запах пушечного дыма. Артиллерия смолкла, теперь слово за пехотой. В окопе стоят притихшие солдаты. Митруцэ в спешке, присев на корточки, пишет письмо своим. Антон, маленький, щуплый парнишка, в десятый раз переобувается, а сапоги все жмут, и чернявый ефрейтор из второй роты ходит по траншеям с клочком газеты и спрашивает:

— Кто даст закурить? Научу, как пускать дым через глаза...

«Озорной был! В самую трудную минуту придет и развеселит!»

Возвращается Кирикэ с полным ведром, перебирая фронтовые дороги, и вдруг останавливается, точно с ним происходит что-то совершенно непривычное и удивительное. Стоит оглядываясь, стараясь сообразить: в чем

же дело? Да ведь ведро же, господи, ведро у него в левой руке! А плечо что же? Молчит плечо? Что ж, добро.

Снега все не было.

Паша, жена, ждала его с теплой мамалыгой. Как только вошел, сразу накинулась на него:

— Ты почему не приходишь вовремя обедать?

Сын же его, Коля, лежа на печи, рисовал животное, которое не хотело быть похожим ни на кошку, ни на козу, и потому с нетерпением ждал отца.

— Пап, а лошади красные бывают?

— Нет.

— А у меня только красные карандаши.

Паша хлопотала у печи:

— Раздевайся, чего стоишь как жених... Я сейчас...

Кирикэ некоторое время постоял посреди своей маленькой хаты, раздумывая и прикидывая, как бы ему получше устроить все это, затем, бросив шапку на лавку, решительно сказал:

— Вот что, Паша... Горячая вода в доме есть?

— Есть немного...

— Тогда вот что... Коля, слазь давай с печки. Сходишь с мамой к соседке.

— К какой соседке? — застыла Паша в изумлении.

— Да к Параскице же.

— А чего мы с Колей поплетемся туда?

— Ну, посудачите, посплетничаете... Живо валяйте.

Когда жена, в испуге и недоумении, вместе с сыном вышла, Кирикэ запер дверь на запор, подошел к печке и разделся. Дом был маленький, зимой топилась всего одна комната, так что в случае необходимости остальных членов семьи приходилось выпроваживать к соседям.

— Нечего им глядеть, — бормотал Кирикэ, снимая рубашку. — Паша уже стала забывать все эти шрамы, а сыну и глядеть на них нечего...

Снимая рубашку, ощутил легкий укол в плече. В сплетеньях старых шрамов учуял острый зубец осколка, наполовину высунувшегося из живого тела. «Нужны клещи, — подумал он. — Без клещей не обойдусь».

«А вот неправ оказался товарищ капитан», — думал Кирикэ, прицеливаясь клещами, чтобы ухватить край осколка, и вспоминая при этом врача из медсанбата, кото-

рый лет десять тому назад перевязывал его в польской деревушке. Он говорил тогда, что маленький осколочек, застрявший в плече, беспокоить не будет, но вот поди ж ты, сколько с ним мороки... Хотя мужик он был неплохой, тот врач, подумал Кирикэ, и тут, приловчившись клещами, рванул. Боль была адская, все помутнело и качнулось в его глазах, но крови, как ни странно, почти не было. Вскоре плечо было перевязано, и тут же донеслись с улицы шаги — вернулась Паша с сыном. Послышался голос Коли:

— И почему тетя Параскица плакала, когда чистила лук?

Кирикэ открыл им. Некоторое время постоял на пороге, держа в руке острый тяжелый обломок. Хотелось все-таки посмотреть на кусочек металла, который почти десять лет мучил его и грыз по ночам.

Паша, выглянув, спросила:

— Ты чего стоишь там?

Кирикэ на ощупь старался угадать, что это за металл. Кажется, сталь. «А, черт с ним», — подумал он и швырнул осколок в сторону колодца.

Сели ужинать. Кирикэ уплетал с аппетитом все, что было перед ним. Боль отступила, и это был опять веселый, задушевный человек.

— Ты вот говоришь, Паша, мол, годы и все такое... А мне вот сейчас так хорошо, как в ту осень, когда мы поженились. Помнишь? Восемь пудов поднимал!

Заглянул Максимаш. Принес письмо от родичей из соседней деревни. Парень был еще обижен, даже присесть не захотел, зато Кирикэ был теперь расположен к балагурству.

— Так ты говоришь, она уехала на курорт, а он остался дома...

Почтальон мигом выпалил свой анекдот и сверх того рассказал еще несколько небылиц. Потом Кирикэ подозвал сына, который уже рыскал по дому в поисках луковицы, чтобы выяснить, отчего люди плачут, когда чистят ее, и нарисовал ему в тетрадку козу и дерево. Хотел было еще и овчарню изобразить, но не вышло. Нет так нет.

...На другое утро, как обычно, он встал чуть свет и, натягивая сапоги, спросил Пашу:

— Как там у нас насчет гостинцев?

Паша знала, что речь идет о том стригунке, и ответила:

— Да поищи там, на полочке...

Кирикэ взял заготовленный ломоть, сунул в карман и вышел.

— Забавно все же... — прошептал он, остановившись у колодца. Хотелось все-таки подержать в руке и разглядеть тот кусочек металла. Ночью, однако, пошел снег, и теперь трудно было его найти. Кирикэ то идет, то возвращается, разгребая носком сапога снежок.

Приоткрылась дверь, и в щелке показалось белое круглое лицо Паши.

— Кирикэ, а что там такое?

— Да так, следы какие-то...

— И в самом деле?! А что за следы?

— Шут их знает... Кажется, волчьи...

— Да что ты говоришь... Погоди, я сейчас выйду...

— Да нет, не стоит, кажется, другая какая зверюга прошла...

Когда Паша, прикрыв дверь, ушла в дом, Кирикэ засыпал сапогами снег там, где еще можно было найти следы, после чего, натянув шапку и весело раскачиваясь, пошел к конюшням напрямик, через двор Параскицы, жены своего лучшего друга.

— Доброе утро, соседка! Ну как оно?..

Тоска по людям

И стонет, и воет, и плачет метель, свернувшись калачиком у самых дверей землянки. Якоб поправляет накинутый на плечи кожух, засовывает в печку еще пару хворостин.

— Вот взбесилась зима-то! Слышь?

Но слушать некому: он один в землянке, и сама землянка одинока в этом снежном потопе. Однако бадя Якоб не может допустить, чтобы сказанные им слова умерли безответно в тишине, и поэтому отвечает сам себе:

— Да, зима жуткая...

Вот уже две недели подкармливает он маленькую печку хворостом, две недели разговаривает сам с собой, две недели прислушивается, не забредет ли сюда какой-нибудь путник. Но слышит только вой метели и трескотню хвороста в печке.

Спустя много времени захрустела мышь за потолочной балкой.

«И что это она там, чертова кукла, нашла погрызть? Хотя мышь всегда отыщет себе еду...» Эти существа, умеющие только жульничать, всегда были ему противны, и поэтому Якоб бросает сучок в чуть прогнувшийся потолок землянки.

— Хать туды тебя!..

Но когда мышь замолкла, ему вдруг стало жаль, что он напугал ее. Теперь еще скучнее. Искрится жар в печке, сиротливо шипит, закипая, горшок, и беспрерывно воет на улице метель, как выгнанный из дому щенок. Изредка Якоб оставляет печку, чтоб посмотреть в маленькое, не больше ладони, окошечко на скирду оставшейся неочищенной кукурузы. «Хоть бы кто воровать пришел, поболтал бы с ним часок-другой, разузнал бы, что там нового в деревне...»

И снова усаживается на скамеечке возле печки. Жар начинает тускнеть. Якоб долго выбирает пучок веток и подкладывает их в печку. Хворост трещит, как стая воробьев; огонь, растревожив его мысли, гонит их далеко, за три холма и три долины, в большую, красивую деревню.

Там, в этой деревне, есть дом, который он выстроил, есть щенок, который, издали почуяв его, бежит ему навстречу, чтобы ткнуться мордочкой в полы его кожуха, и есть там дверь с отлично сработанной ручкой — нечего ему было делать в тот день, и он провозился с ней до самого вечера.

«А интересно, как там мои поживают?»

И поскольку в печке опять потускнел жар, он набивает ее снова хворостом, и как только она затрещала, где-то в гуще пламени он увидел своих. Жена Артина усадила детей ужинать. Ужинают на печке: когда его нет дома, они всегда ужинают на печке — там теплее, уютней. Младший, Петрикэ, берет себе кусочек, садится в сторонке и, горько задумавшись, собирает с колен крошки. Артина, улыбаясь, поглядывает на него — она-то знает, в чем дело. Потом подзадоривает его:

— Петрикэ, ты нынче будешь спать с нами на печке?

Петрикэ, не глядя на нее, отрицательно мотает головой. Артина притворяется обиженной — подумаешь, мужчины, им кровати подавай!

— Ну если так, можешь одеваться и идти к своему отцу...

Петрикэ поднимает свои живые глазенки и уже готов спрыгнуть с печки.

— А далеко это?

И когда она начинает рассказывать ему, сколько дорог нужно пройти, и когда откидывает занавеску, показывая расцветшие толстыми ледяными цветами окна, и когда умолкает, дав ему послушать, как ревет на улице метель, Петрикэ сдается; садится поближе к еде и говорит, что, видно, так уж суждено, поспит и эту ночь на печке. Потом Артина начинает прясть, а дочь Веруца берет свои книжки и начинает читать о том, что турки снова пошли войной — сколько этих войн они затевали, ну сущие дьяволы! А когда дочка кончит уроки, Артина станет им рассказывать, как заблудилась она однажды, когда была еще маленькой девочкой...

«А сочиняет она здорово... И у кого это научилась?»

Может, разомлевшая печка, а может, мысли о доме согрели его немного, и он уже не слышит ни воя метели, ни вкрадчивого хруста за балкой. Подкладывает еще хворосту, и думы, как неутомимый работник, выходят с его двора и начинают спускаться по той тропинке, по которой он часто хаживал. Обогнув три усадьбы, останавливаются возле домика Профиры. И он уже видит чисто прибранную комнату, видит уснувшего мальчика с бумажным голубем рядом. Профира самая молодая и красивая вдовица в деревне. В молодости дружила она с его женой Артиной и после замужества осталась ее подругой. Когда одна из них печет плэчинты *, едят их все вместе и на гулянья ходят вместе.

Якоб набивает печку хворостом до отказа и видит Профиру, сидящую с вязальными спицами в руках. Стройная, круглолицая, два черных глаза — омуты, а не глаза. Вяжет что-то и тихо поет — она всегда поет, когда одна дома. А голос у нее красивый, низкий, глубоко волнующий мужскую кровь, и песен она знает великое множество, и как начнет, сразу вспомнишь молодость, засыпающую на заре Медведицу и дороги вспомнишь, хоженые и нехоженые дороги...

Поет она тихо, еле слышно, а сколько народу перемерзло возле ее калитки, сколько девушек потеряли там

---

* Плэчинты — пироги из слоеного теста.

своих женихов, сколько бочек вина было выпито из-за тех черных глаз!..

«А все-таки она молодец, эта Профира... Пусть лучше мерзнут два дурака, чем будет страдать добрая половина деревни. Красота не отдается, красота завоевывается!»

Профира потушила свет.

Якоб снова подкладывает хворосту, и мысли сами идут дальше. По садам устало шагает напрямик низенький человек — его кум, бригадир Прикоки. Ни одна собака во всей окраине не лает на него, будто всех он вырастил у себя во дворе. Входит в свой дом, ужинает, потом садится на кровать, берет к себе на колени целый ворох бумаг и начинает считать. Считает он долго, пока не засыпает все село, и когда жена его Аника начинает ругаться, что он жжет по литру керосину за вечер, Прикоки спрашивает:

— Послушай, Аника, ты не посоветуешь, где достать еще одну телегу?

Каждый вечер ему не хватает телег, и каждый вечер он без конца перелистывает свои бумаги. Якоб как-то помог ему найти одну повозку, и с тех пор Прикоки здоровается с ним за руку. Хороший человек и во многом помог ему. Взять хотя бы эту сторожку. Приходит он как-то вечером и говорит: «Чего ты, Якоб, будешь всю зиму лежать на печке да слушать бабьи россказни, если можешь подзаработать трудодни?» И это точно — снег, метель на улице, а ты сидишь в тепле, и за сутки полтрудодня получаешь.

Поздней ночью, когда в землянке кончается хворост, когда уснула вся деревня и больше ему некуда идти, когда утихает метель на улице, тогда только начинает Якоб укладываться спать. Стелет старые мешки на низенькую кровать, которую сколотил сам, укрывается кожухом и засыпает.

Через некоторое время разбудил холод. В землянке темно, и снова метель завывает у порога. Якоб быстро поднялся, ощупью подобрал свалившийся на пол кожух. И хотя понятия не имел, сколько спал, решил больше не ложиться. Хотел было умыться, но вода замерзла в ведре. Ни воды, ни хворосту, и он даже не знает, сколько времени осталось еще до утра.

— Вот чертова зима!

Надел кожух, вышел. Ни земли, ни неба, ни луны, ни звезд. Только снег да снег, и чего только не вытворяет

ветер с этим снегом! То сложит в сугробы, то начнет вздымать его столбами вверх, то гонит понизу маленькими волнами, и кажется, будто бежит отара серых овечек.

— Да, это зима...

Утопая в сугробах, обходит скирды нечищенной кукурузы, разгребает снег под маленьким навесом между ними, достает оттуда хворостины и, разламывая, складывает их. Трудная работа при таком собачьем холоде. Якоб вспоминает вчерашний вечер, уютную трескотню печки, вспоминает все дороги, по которым мысленно блуждал... Думает о том, что все те, которых он видел вчера, спят теперь в теплых домах, и сердито сплевывает — что за глупости! Сидит, как мальчишка, возле печки, мечтая черт знает о чем!

Мерзлый хворост ломается с трудом, а метель все сыплет снизу и сверху, так что он уже не чувствует рук до самых локтей.

Пощупал, все ли пуговицы на кожухе застегнуты, и вдруг — верхней пуговицы, которую совсем недавно пришивала Артина, уже нет на месте. «И как это она их пришивает, что на второй день ходишь без пуговиц!» Потом вспомнил, что его жена, кроме того, что не умеет пришивать пуговицы, всегда забывает поить скотину и, когда несет солому в дом, оставляет след от скирды до самого порога, так что недели через две им уж нечем топить будет.

«Только и умеет, что выдумывать всякую чепуху... Ничего, приеду — научу, как пришивать пуговицы...»

Потом, растапливая печку, подумал, что все женщины таковы. Будто эта Профира лучше ее? Чего она, скажите на милость, не выходит замуж? Был бы хозяин в доме, а то растет этот парень, и некому будет научить его обуть сапоги как следует, некому будет крышу перекрыть, — как начинается дождик, бежит с посудой на чердак.

— Известное дело — бабы! Капризы да болтовня... Иногда еще поют...

С горем пополам растопил печку, но та вдруг почему-то стала гнать дым в землянку. Якоб закашлялся, заслезились глаза, и в темноте уже не мог найти ни дверей, ни печки.

— Сразу видно, Прикоки мастерил. У него в доме печка горит со звоном, а тут задыхаешься от дыма... Ему-то что? Бригадир — трудодни идут, а он сидит и все ищет повозки в этих несчастных бумагах...

И вообще этот Прикоки, хоть и доводится ему кумом, никогда ни в чем не помог, еще посылает туда, куда другие отказываются идти... Только круглый дурак мог согласиться зимовать один-одинешенек в этой пустыне, мерзнуть и голодать из-за какого-то полтрудодня. Черт знает, дадут ли за него что и когда дадут!

Казалось, что прошли уже две ночи подряд с тех пор, как проснулся, а на улице все не светало. За это время Якоб успел перессориться со всем селом. Вернул все долги, потребовал себе то, что одалживал, и кончилось тем, что подал в правление заявление — дескать, уходит со своего поста. К Прикоки даже не зашел. Вызовет его сам председатель и сообщит, в чем дело.

Покончив с этим, он стал заниматься хозяйством, так как ухаживать за ним было некому, а он замерз и проголодался.

К обеду то ли ветер подул с другой стороны, то ли печка нагрелась, но снова хворост затрещал. В землянке тепло, вьюга утихла, греясь у порога, и на печке закипел горшок с фасолью.

В конце концов обиды стали забываться, и одинокого сторожа опять стала манить растопленная печка, чтобы заставить его размечтаться. Это детское раздолье взрослому человеку как будто и ни к чему, однако делать больше нечего, и он сдается. Снова напихивает в печку хворост, садится на низенькую скамеечку, и, когда пламя начинает быстро пробиваться сквозь надломленные ветки и трещит печка вовсю, на давно не бритом его лице появляется виноватая улыбка.

— Ну таков уж человек! Иногда рассердится, потом отойдет. На то мы и люди...

И снова бежит ему навстречу щенок, смешно размахивая маленьким хвостиком, и обнимает колени мальчик, которому не с кем было спать, и глядит на него черными очами вдовица, тревожа воспоминания молодости, и опять Прикоки, встретив, пожимает ему руку — единственному человеку в бригаде, с которым здоровается за руку.

И плачет, и стонет, и воет метель, гоняя по долинам бесконечную отару снежных овечек, и снова появилась мышь за балкой и втихомолку что-то грызет, но бадя Якуб уже ничего не слышит. Его мысли, пробежав три долины и три холма, снова бродят по большой, красивой деревне...

Клен-он знает свое дело...

— Ну как твои овечки, дед Чобан?

Седой, с нависшими бровями, старик молча проходит мимо — может, не слышит, может, притворяется, что не слышит.

Когда-то его звали Андрей Чобан, а то и просто Андриеш. Однако прошло время, это имя совсем износилось, и с тех пор, как ему перевалило за семьдесят, все зовут его дед Чобан. Даже за глаза его Чобаном называют, и он не сердится, потому что чабаном был всю свою жизнь. С малых лет рос на овчарне, на овчарне вырастил и детей своих.

Всю жизнь он пас овец. Пас чужих, потом — недолго — своих, потом опять чужих. Пересыхали одни родники, и пробивались другие, выгорал один зеленый холм, и зацветал другой, а дед Чобан все ходил с флуером*, забытым за поясом, и овцы тянулись следом за ним.

Затем он постарел, и люди увели его из овчарни. Показали домик на краю села и сказали, что это его домик. Он поселился и живет в нем. Не жалуется на одиночество, но только воздуха ему что-то все мало. Иногда забывает закрыть дверь на ночь, и тогда ему снятся овчарня и рыжая собака, пристреленная во время войны. Застрелил ее немец, застрелил потому, что пес кинулся с лаем за проезжавшей колонной. Жаль, хороший был пес...

— Все это так, а как же овцы? Есть еще хоть одна у тебя?

Дед притворяется, что не слышит, потому что даже не знает, как ответить. Нет у него во дворе ни одной овечки, и все же есть... Семь овечек в его большом, пушистом тулупе. Набросит на плечи, вдохнет всей грудью острый, едкий запах — и согреваются плечи. Положит овечку на колени — согреваются и колени...

Он помнит их, всех семерых помнит. Родились они давным-давно, теплой весной. Отдал он им тогда все луга, чтоб порезвились вволю. Кормил их, когда

---

* Флуер — пастушья свирель.

были голодные, уводил под навес, когда небо хмурилось.

А еще есть у него в куртке серый барашек. Когда надевает куртку, дед Чобан всегда улыбается: большой озорник был тот барашек...

— Так, стало быть, ты все еще при овцах, дед Чобан?

Нету, откуда им быть... Вот были у него колхозные овцы, но сказали, что он слишком стар, и уже года два-три он не пасет их. И все-таки просыпается несколько раз за ночь — посмотреть, как они там, его овцы. Овечки спят спокойно, спит и барашек... Засыпает и дед Чобан, но через некоторое время опять просыпается...

Все лето дед Чобан спит во дворе. Когда найдет свежую рубашонку от кукурузного початка или горстку сена, непременно прихватит ее — то-то полакомятся зимой его овечки! Весь его двор покрыт ковриком сочной травы, и дед бережет ее — тяжко остаться чабану без пастбища.

Зазывал он к себе всех сельских щенят, сажал их на колени и прикармливал — из любого щенка можно вырастить доброго товарища на овчарне.

Дед Чобан не курит, но всегда носит с собой коробок спичек, спрятанный где-то глубоко в кармане, чтобы дождь не намочил.

Поздней осенью, когда его овечкам уже негде пастись, дед Чобан приносил охапку сена и расстилал по комнате. Потом коротко подстригал седые усы и выпивал кувшин вина — это означало, что он завершил еще один год и вступил в новый.

— Так водятся еще овечки у тебя, дед Чобан?

Оставьте вы деда в покое. Сколько их там есть — все его, а если нет, ну так, стало быть, и нет...

Как-то зимним днем, возвращаясь от своих племянников, дед Чобан вдруг заметил клен у чужого забора. Сразу остановился и отломил кончик ветки, снял с него мокрое платьице, потом голенького положил на язык. С минуту постоял с закрытыми глазами, выплюнул и сказал:

— Осталась еще неделя...

Лицо его посветлело — слышь, всего неделя осталась... Он мог поспорить с кем угодно, что осталось именно семь дней, хоть и не смог бы сразу сказать, что имен-

но произойдет через семь дней... Девяносто два года загородили мыслям дорогу, но дед Чобан не боялся, хоть и было их девяносто два... Начал их перебирать, раскидывая в стороны, затем улыбнулся — осталась еще неделя до окота овец.

— Водятся еще у тебя овцы, дед Чобан?

Зачем торопите вы деда, не видите разве, как быстро несет он свои девяносто два года? Первый ягненок... Великое чудо этот ягненок, который появляется раньше остальных, становится на непослушные ножки и оглядывает загон, отыскивая мать. Хороший чабан угадывает по первому ягненку, каким будет год.

Есть годы, когда первым рождается барашек, а другой раз овечка. Первенцы порой бывают серые, другой раз черные. Это тоже примета.

Семь овечек лежат на топчане, но все они яловые. Он ли не кормил их, он ли не поил, он ли не берег их, а остались яловыми. Что поделаешь?.. Но он был чабаном, шла весна, и ему нужно было знать, каким будет нынешний год. А оставалось всего семь дней... То и дело просыпался он среди ночи — трудная эта неделя для овечек. Выкапывал корешок травы, чтобы посмотреть, наливается ли он соком — скоро пастьба, и трава должна быть сочная.

Каким будет он, этот год?

Шесть последних дней дед не находил себе места. Иногда ему казалось, что нынешняя весна начнется черными барашками, а может, серыми, но непременно барашками... Хорошая примета, да все-таки не очень.

А на седьмой день он встал на заре, накинул на плечи семь серых овечек, взял тутовую палку и отправился в дорогу.

Далеко до фермы — около леса она. Тяжело ступал по чуть оттаявшим бороздам, но все шел и шел, потому что все его девяносто два года хотели узнать, какой будет девяносто третий, если суждено ему быть...

К полудню пришел на овчарню. Его встретил загон, сколоченный его руками, большая, сильная собака ластилась к его ногам — собака, оставленная им когда-то щенком на овчарне. Он принес чабанам табак и спички — чабану всегда это пригодится.

Потом прислонился к загону. Ему очень хотелось пройтись между овцами, расспросить, как они тут зимовали, чувствовать их коленями. Но нельзя. В загон может войти только хозяин.

— Пройди сюда, дед Чобан.

Ну раз приглашают, тогда можно... Он чувствует их вокруг себя. Теплом отдает овечья шерсть, покачиваются рожки, мягко переливаются по загону серые волны.

Подходят овцы и барашки понюхать семерых овечек, радуются. Радуются и эти семь, ведут деда Чобана из одного конца загона в другой, останавливают его возле каждой овцы: ведь все вокруг их родичи, вместе резвились, вместе паслись. Тем временем дед Чобан рассказывает чабанам, что нового у них дома, но едва он успевает закончить, как кто-то кричит из глубины загона:

— Серая, хлопцы!

Девяносто два года одним махом слетели с плеч, и дед Чобан поднялся и отправился к месту происшедшего чуда. Высоко поднял теплого серого ягненка. Почувствовал ладонью, как прилежно стучит маленькое сердечко. Затем рука уловила легкую дрожь — он быстро скинул куртку и укутал ягненка. В тепле ягненок задремал, потом нашел палец старика и намекнул, чтоб ему дали сосок. «Красивый... И примета важная...»

В сумерках родилась еще одна овечка, и тоже серая, и вся она была расчерчена от затылка до хвостика ровными рядами завитушек.

Велика была радость деда. То снимал, то надевал он куртку и наконец, выпив с ребятами стаканчик на дорогу, отправился домой, потому что стало темнеть — в темноте овечкам трудно пробираться, а до села еще идти да идти...

Он быстро спустился в долину. Когда поднимался на холм, окликнули с овчарни. Родилась еще одна, тоже овечка, и тоже серая...

Сильно удивлялся дед Чобан:

— Давно не было таких хороших примет. А клен-то, клен не обманул...

Не окотились эти его семь овечек. Зато принесли потомство их родичи, значит, множится их же род. Теперь надо беречь овечек, и дай бог теплый дождик, чтобы выросла трава во дворе...

Он шел домой просветленный, и девяносто два года уже знали, что их станет больше и все будет хорошо.

Начался год с трех овечек, и все три серые...

Видно, вам хочется узнать, что это означает, ког-



да весна начинается тремя овечками или тремя барашками? А это значит, что и в том году будет полный колос, будут сочные гроздья и будут у людей радости.

Или, думаете, этого мало для одного года?

Клочок своей земли

Никто не верил, что у него болит нога. Не верила жена, хотя несколько раз прикладывала припарки. Не верил и кум Трофим, хотя именно он посоветовал сходить к доктору. Не верил и доктор, хоть и спросил, не болел ли он оспой в детстве. А нога все-таки болела. Болели подушечки. Болела чашечка. И каждая коленная связочка болела.

Много раз уходил он в город узнать у докторов, отчего это заболела нога. Шел когда через Богешты, когда через Варницу. Если не подворачивалась машина, ходьба была напрасной: в город он добирался к семи, после того, как врачи расходились. Возвращался тоже пешком. Порою, проделав дорогу в два конца, он чувствовал, как боль подымается к бедру. Тогда просиживал дома несколько дней и опять отправлялся в город.

Как-то в среду вечером, возвращаясь из города, он застал у ворот плачущую дочку. Хотел спросить, что случилось, но девочка, увидев его, притихла. Он прошел мимо нее во двор и сам увидел, что случилось. Ряды больших и свежих борозд покрыли огород, крайняя борозда лежала под самой стеной дома. Отрезали огород. А он ведь и картошку посадил, и огурцы. Все перепахали. Огород отрезало село. Дочка сказала, что село. Оставили только место, где стоит дом, и узкую тропинку, чтобы можно было выйти на дорогу.

Велел девочке не плакать. Потом пошел просить председателя вернуть огород. У каждого человека есть клочок земли вокруг дома, а у него нет. Председатель предложил сесть. Угостил папиросой. Дал прикурить. Сказал, что отрезали за долгий невыход на работу. Село решило отрезать. Решило потому, что есть такой закон. Председатель показал даже строчки этого закона, и он прочел. Так и писалось: не работает — отрезать огород. Председатель сказал, что если все будут ходить по врачам, урожай останется в поле. Что будут кушать дети? Что бу-

дут кушать солдаты? Да так оно и есть: если их село, хлеба не даст и другие села не дадут, кто же даст?

Он шел домой, повторяя про себя прочитанный закон, и думал, как сделать, чтобы вернули огород. У каждого человека есть возле дома клочок земли, а у него забрали. Когда нет огорода, кажется, что и дома нет. А разве можно без дома? У него жена. У него ребенок.

Решил заглянуть к куму Трофиму, посоветоваться. Тот выслушал. Дал папиросу. Огня не дал, потому что спички вышли. По дороге остановили прохожего, прикурили. Кум сказал, что и он подал голос, чтобы отрезали огород. Ведь ежели все будут ходить по врачам, что тогда будет? Урожай сгинет в поле. Что будут кушать дети? Что будут кушать солдаты? Так оно и есть: если ты и я не будем работать, кто же будет?

Возвращался домой он поздно, когда уже густо стемнело. Мерещилось, что у каждых ворот стоят проголодавшиеся дети и солдаты. И все-таки он хотел, чтобы вернули огород, — у каждого человека есть клочок земли вокруг дома, а у него нет. Решил спросить у жены, что делать, но ее дома не было. Она поздно пришла с работы. Тихо открыла калитку, осторожно прошла по тропинке меж бороздами, боясь оступиться. Сготовила поесть. Затем нагрела воды, приложила ему припарку к ноге. Перед сном она попросила его собраться с силами и выйти в поле на другой день. Ведь если походить на работу изо дня в день, хотя бы недельку, к осени вернут огород. У Антона тоже отобрали, а потом вернули.

В самом деле, у Антона тоже отобрали, а потом вернули. Он лег, но сон не приходил. В голову лезли разные несуразности. Казалось, что, если уснет, борозды как черные змеи через оконце проникнут в дом. Боль опять стала подыматься к бедру, и он подумал, что хорошо бы, если б можно было вскрыть ногу, показать врачам и людям всю ту боль, которая так долго его донимает. Тогда бы вернули огород. И доктор знал бы, как лечить. Да ногу не вскроешь... Несуразные мысли, но они лезли в голову, и он не мог их гнать прочь. Заснул под утро, но сразу же проснулся — встала жена и начала стряпать. Встал и он. Глянул в окно — борозды лежали, прижавшись одна к другой, будто караулили, чтобы домик не удрал. Умылся и сказал, что идет в город. Идет просить, чтобы вернули огород. Жена сказала: «Не

отдадут». Он сказал: «Могут отдать. Попрошу начальство».

Отбил мотыгу жене. Нарисовал дочке Черное море: вчера она весь день ревела и не успела сама нарисовать. А в школе каждому велели нарисовать по Черному морю. Потом пошел в город.

Часто оглядывался назад — может, машина догонит. Ломили суставы, болела чашечка. И вокруг колена болело. Не видно было никакой машины. Он свернул к вишням и отломил себе палку. Ножа не было, и веточки он отодрал зубами. Веточки у вишни отдираются трудно. Да и палка оказалась тонкой. Он опирался на нее слегка, боясь сломать. Но вишня не так-то просто ломается — палка гнулась, но не сдавала. Он подумал, что у него уже были в жизни три палки. Одна из акации, с ручкой, гнутой на огне. Он был мальчишкой и пас коров. В одно лето он вырос, и палка стала мала. Как-то бросил ею в скотину, да так и не нашел. Может, и нашел бы, если бы лучше поискал. Но не стал.

Потом, когда сделался парнем, он вырезал себе другую. Однажды ночью кто-то налетел на него и вырвал ту палку. Так и не узнал кто. Затем, после женитьбы, он нашел хорошую кизиловую палку, но ее украли из сеней. Эта четвертая. Или пятая. Хорошая палка. Пока доберется до района, они подружатся, и он уже будет иногда вспоминать эту вишневую палку, с которой ходил в район.

Он думал, что сказать городскому начальству, но в голову ничего не шло. Попросит, чтобы вернули огород. Дошел к вечеру, когда в управлении уже никого не было. Двери не заперты, но никого нет. Заметил во дворе шофера, мывшего руки в ведре с бензином. Спросил, можно ли ему пожаловаться. Шофер сказал, что можно. Он рассказал, как болит нога, как всю весну ходил по докторам. Даром ходил. Шофер обругал докторов. Тогда он ему рассказал, что у него отобрали огород. Село отобрало. Шофер обругал и село, но сказал, что огород не вернут. И тогда он спросил:

— Что же мне теперь делать?

— Ступай домой, лечи свою ногу.

— Так... ногу... Но ведь огород у меня отобрали, как же я могу вылечить ногу!

Шофер пристально посмотрел на него. Вытер руки о штаны и угостил папиросой. Щелкнул немецкой зажигалкой — сразу вспыхнула. Нажал кнопку — и уже

горит. Затем шофер повел его в управление и дал чистый лист писать жалобу. Начальник еще придет. Только врачи заканчивают в шесть — начальники работают и дольше.

Он уселся и начал писать. Едва дошел до середины, пришел начальник. Прочел написанное, затем пригласил в кабинет. Попросил рассказать вторую половину устно. Выслушал.

— И что тебе в том клочке земли?!

— А как же без огорода? Когда нет огорода, будто и дома нет, а если нету дома, то и жизни как бы нет...

Начальник вышел в соседнюю комнату и вернулся с алюминиевой коробочкой.

— Закурите.

Взял. Хотел положить ее в карман. Надо было раньше узнать, что будет с огородом. Но тот не дал сунуть в карман — протянул огонек.

— И что мне делать теперь?

— Надо работать — тогда вернут.

— Нога ведь болит.

У начальника погасла папироса. Он опять прикурил.

— А на работу, думаешь, ходят одни здоровяки? У каждого, если присмотреться, что-нибудь да болит. Нельзя цацкаться с каждой хворью. Чем больше цацкаешься с ней, тем для тебя же хуже.

Затем он сказал, что если все будут ходить по врачам, кто будет работать? Что будут кушать дети, солдаты? Вот так вот. Остается одно — работать до осени, тогда вернут огород. А если не вернут, пусть тогда придет еще раз.

Он поблагодарил начальника и вышел.

Пока он сидел в помещении, палка подсохла на солнышке и теперь не гнулась так легко. Что ж, он поработает до осени, а потом опять пойдет к доктору... В самом деле, нужно быть мужчиной, нельзя цацкаться с болезнью...

«И ты посмотри — этот тоже угостил папироской!»

Он шел домой и думал, что это за славный обычай — когда курильщик, встречая курильщика, угощает папиросой. Он шел, и курил, и думал об этом хорошем и древнем обычае, а кто-то далеко-далеко, за угасающим горизонтом, просил его же голосом, чтобы ему вернули клочок земли вокруг дома.

Гусачок

По улицам райцентра ходит бабуся с гусачком под мышкой. Ходит и расспрашивает, где тут живет главный начальник над всеми начальниками. Одни отправляют ее вниз, другие посылают наверх. Надоело это наконец бабусе, и не стала она больше спрашивать: приметила дом повиднее, открывает калитку и входит с гусем под мышкой.

— Люди добрые!

Вышла особа в длинном цветастом халате.

— Послушайте, что я спрошу, — хозяин у вас начальник?

— Начальник.

Бабуся опустила гусачка.

— Ну так вот... Скажете ему — приходила тетушка Чимпоеш отблагодарить.

Она собрала по карманам горстку крошек, высыпала гусачку и, отряхнув ладони, пошла своей дорогой.

Удивленный гусачок остался посреди двора, поглядывая то на халат с синими цветами, то на прикрытую бабусей калитку. Видимо, не мог решиться: пойти за старушкой следом или остаться здесь? Все стоял и раздумывал, как вдруг услышал — капает со стрехи. Под утро прошел дождик, и гусачок вразвалку подошел к стене, задрал клюв и стал ловить капли. А стреха озорничает — то ударит каплей по хвосту, то по голове. Гусачок, однако, стоит на своем — хочет поймать каплю клювом.

«Пить хочет».

Халат с синими цветами скрылся в доме, потом вернулся с тарелкой воды и двумя детишками, у которых горели глазенки. Гусачок окунул клюв в тарелку, но пить не стал. Вернулся к стене и опять давай ловить капли со стрехи.

«И на что они ему дались?»

Глазенки тоже диву даются:

— ???

Потом все трое сообразили — балуется! Гусачок балуется! Подумать только, какого гусачка принесла им бабушка Чимпоеш!

Вечером, когда вернулся Фома Фомич, самый главный начальник над всеми начальниками, посуда со все-

го дома была расставлена в кухне на полу, кругом летали брызги, а разгулявшийся гусачок прыгал из тазика в тазик к великому удовольствию всего семейства.

Гусачок понравился и Фоме Фомичу, хотя он понятия не имел, кто такая тетушка Чимпоеш и чем он ей услужил. Но раз уж принесла гуся, значит, чем-то помог. Час спустя он уже держал на весу мокрую тряпку, выжимая ее, чтобы гусачок ловил капли.

Но ненадолго хватило гусачку развлечения. На другой день подарок тетушки Чимпоеш грустно расхаживал по двору, и было ему не до тазиков, не до капель. Только под вечер чуть оживился — мимо ворот прошла пара гусей.

В тот же вечер халат с синими цветами попросил Фому Фомича заскочить в какой-нибудь колхоз и привезти гусачку напарницу.

— Ты что, маленькая? Нельзя!

Что ж, раз нельзя, так нельзя... Но с того дня она больше не надевала халат с синими цветами. Перенесла свою постель в другую комнату, и когда дети ласкались к ней, гладила их по головкам, будто жалея, что остались сиротами в столь раннем возрасте...

Фома Фомич ходил вдовцом несколько дней, но потом ему опостылела бобылья жизнь. Вытащил из-под кровати хромовые сапоги, слегка надраил головки, натянул синие штаны и поехал в колхоз «Новый путь».

Николай Чокырлие, председатель колхоза «Новый путь», был человек мягкий, стеснительный. Он не пил, не курил и очень страдал от этой своей неполноценности. Его все время в чем-то обвиняли, все время к нему придирались, и, измученный, он старался как можно реже бывать в правлении собственного колхоза. Но когда не везет, так и не везет. Однажды утром, едва он вошел в правление и уселся за стол, как на пороге кабинета возник Фома Фомич.

— Салют, Чокырлие!

Достал пачку папирос, щелчком выбил парочку, и у Чокырлие что-то холодное проскочило мимо печени. Фома Фомич похвалил и его самого, и его ореховый стол, а потом, когда остались с глазу на глаз, сделал первый намек:

— Послушай, мне нужен гусачок... У меня есть дома один, но ему скучно. Как ты думаешь?

Чокырлие залился румянцем, как красная девица, но не понял намека. Фома Фомич собрался было яснее из-

ложить суть вопроса, но Чокырлие позвал каких-то людей распутать одно дело — было оно старое и до того запутанное, что Фома Фомич в конце концов пошел слоняться по селу, размышляя о суете сует и ее корнях. Тут его остановил Артимон, местный активист, и спросил, может ли он один на один сказать ему два слова. Это можно было, и Артимон вздохнул в виде предисловия. Потом сказал, что дела вообще-то ничего, да вот впал Чокырлие в неслыханный пессимизм... На прошлой неделе гулял на крестинах, а возвращаясь, распевал по селу:

И ничего меня не ждет,
Кроме сырой могилы...

Но этой песни ему не хватило до дому, и он завел другую, еще хуже — слов Артимон не помнит, а звучала она примерно так...

Фома Фомич не стал слушать, как звучала вторая песня, снова пошел в правление и, войдя в кабинет, повернул ключ.

— Послушай, Чокырлие, чего это на тебя хандра напала? Председатель должен быть жизнерадостный, как жених после свадьбы, а ты, как баба, ходишь по селу, о сырых могилах распеваешь...

Чокырлие залился румянцем, почесал правый висок, потом левый.

— Видите ли, человек остается человеком, а песню, конечно, не следовало петь, хотя, в сущности...

Фоме Фомичу некогда было следить за ходом мыслей Чокырлие. Он встал, закурил. Видя, что он собирается уходить, Чокырлие намекнул:

— Если можно, пусть этот случай останется между нами...

Фома Фомич не понял намека. На пороге, однако, помедлил чуточку.

— Так с гусачком, говоришь, не выйдет?

— Как не выйдет!

Позвал Параскицу, заведующую фермой, и немного спустя Фома Фомич уже возвращался в райцентр с пакетом под мышкой. Когда Фома Фомич перекладывал его из одной руки в другую, пакет радовался: га-га-га!

Отделался Чокырлие легким испугом. Обошлась ему грустная песня в гусачка, но ведь это не так уж много. Осталось вернуть папиросу, ну да ладно, при случае отдаст... И вдруг заметил на скамеечке в углу Параскицу — сидит и сучит бахрому платка.

— В чем дело?

— У меня к тебе разговор, баде Некулай... Если возможно... Надобно мне цветной капустки — килограмм так не больше ста...

Чокырлие смеется. У этой женщины губа не дура. Только успел колхоз достать несколько мешков цветной капусты, а она уж тут как тут... Не нашел, что ответить, — впрочем, и не очень искал, просто вынул ключ и начал запирать стол.

— Вот, баде Некулай, ты уже и серчаешь... А я ведь не серчала, когда велел ты принести гусачка. Лопнуть мне на месте, если хоть кому сказала.

Чокырлие пожелтел.

«Уж эта растрезвонит по селу...»

Пришлось написать записку Прикоки, бригадиру огородников. Женщина остается женщиной. Ни за что не угадаешь, какая блажь на нее найдет...

Параскица оставила в покое бахрому платка и ушла с бумажкой, но на другой день чуть свет Прикоки пришел в правление, чтобы внимательно прочесть новый плакат о выращивании кроликов.

— Чего это спозаранку взялся за чтение?

— С горя читаю, баде Некулай. Жена хворает...

Прикоки не мог сказать, чем болеет его жена, потому что и врачи пока не определили. Но хворь у нее жуткая, и тает она как свечка, а жаль — ведь трое детей... Хорошо, если б кто поговорил с Икимашем. Пусть допишет ей штук двадцать трудодней, а то изводят ее бабы со всей околицы, болтают всякую напраслину...

Чокырлие был глух. Перебирает бумаги на столе. Прикоки вернулся к кроликам, но на сей раз быстро дочитал.

— Баде Некулай! Может, поговоришь с Икимашем насчет трудодней? Люди, если они понимающие, всегда столкуются. Вот взять меня — душа болела, когда отдавал капусту. А ведь доставал ее этими руками...

Он показал свои руки. Показывал их еще два раза, а когда в четвертый вынул из карманов, Чокырлие послал за Икимашем.

В тот же вечер, только собрался Чокырлие домой, на пороге вырос Икимаш.

— А, здорово, кум! Как поживаешь?

И, не дожидаясь, что скажет Чокырлие о своем житье, стал сам рассказывать:

— Гость у меня. Приехал шурин из города, с семьей,

жить будет тут. Вот голова — умеет расписываться на десяти языках! Так как бы получить в колхозе хоть три улья?.. Может, в виде премии?.. Страсть как он пчелок любит. Ему бы дома немного попрактиковаться — и стал бы пасечником хоть куда.

Чокырлие посинел, но просьбу об ульях словно не слышал. Икимаш не обиделся. Только на следующий день он пришел досказать то, что не успел накануне, а потом зашел растолковать все сначала... Никуда не денешься. Чокырлие велел позвать Згэрдишоарэ, пчеловода.

Но с того дня Згэрдишоарэ начал обхаживать Чокырлие, как шестнадцатилетнюю красотку, — то обласкает его взглядом, то нечаянно встретит на пути и, наконец, в подходящий момент вздохнул.

— Тяжко нам, интеллигентам, все имущество в чемодане, ни тебе дома, ни сада...

Домик, собственно говоря, он бы себе поставил, но пока вырастет сад... Может, Чокырлие замолвит словечко, чтобы ему дали уголок, какой ни есть, пусть яблони, пусть груши, — ведь и груши, в конце концов, имеют свой вкус.

Чокырлие почернел, повернулся к пчеловоду спиной и ушел. Но Згэрдишоарэ продолжал ухаживать, и шестнадцатилетняя красотка, как говорится, не устояла... Позвали Василие Лупу, колхозного землемера, который отделил для Згэрдишоарэ угол колхозного сада...

Но с той поры заметил Чокырлие, что Лупу зачастил к нему в кабинет и вдруг ни с того ни с сего сказал:

— Дай справку.

— Какую еще справку?

— Отцу в Бельцы перебраться. Тут климат ему вреден. Болеет.

Чокырлие улыбнулся: здесь родился человек, здесь жизнь прожил, а теперь, видите ли, климат ему не в прок.

Но Лупу тоже был не дурак.

— Ничего, справку ты дашь. Поразмыслишь — и дашь...

Чокырлие побелел. Понял, что в конце концов даст справку... А что следует после справки? Ведь это обвал, из-под которого может и не выбраться!! Ходил он пару дней по полям, насвистывал грустные мелодии, да что проку в этой печали? Тут вспомнил, что и у него есть в селе отец, человек, который на своем веку многое распутал...

Чокырлие пришел и излил ему свое горе. Отец не поверил. Не поверил, что его сын так запутался. Чокырлие не стал его ни в чем разубеждать. Вернулся, позвал Лупу и сказал при людях, что не видать ему справки как своих ушей. Лупу не обиделся. Сказал: «Ладно» — и ушел.

Зато через полчаса прибежал Згэрдишоарэ. От ярости у него даже выскочили веснушки. Как, у него отбирают сад?! Пожалуйста, пусть берут, но хотел бы он знать, кто возместит убытки.

— Какие убытки?

Убытки действительно были велики... Прежде всего Згэрдишоарэ позаботился купить козу — в саду росла всякая трава, а зачем зелени даром пропадать? Затем привез две машины камня — огородить сад со стороны дороги. Наконец, послал телеграмму в Харьков — пригласил тещу сторожить сад; хорошо, если она еще не выехала, но если она в пути, тогда прикиньте билет из Харькова, туда и обратно...

Через два дня пришла весть, что теща выехала вместе с племянницами, коза оказалась яловой, а камень стащил откуда-то шофер, так что его надо вернуть да еще объяснение написать.

Чокырлие вынул бумажник, расплатился до копеечки, но Згэрдишоарэ, возместив убытки, потребовал, чтоб вернули ульи. Пошли к шурину Икимаша, который умел расписываться на десяти языках. Тот оказался человеком деликатным — вместо того чтобы выйти из себя, спокойно, не повышая голоса, сказал, что вернул бы с огромным удовольствием, да нет их.

— Были ульи, да сплыли...

— Как сплыли? Куда?

Известно, куда... Один улей продал, а на вырученные деньги застраховал жизнь, потому что каждый уважающий себя человек должен быть застрахован от всяких случайностей. Мало ли что! Второй выменял на радиоприемник, потому что не может заснуть без последних известий, а в третий залез поросенок, рой улетел, а поросенок хворает — что, если издохнет, бедняга?

Похоже, он валял дурака. Чокырлие решил сам во всем убедиться, но дела обстояли еще хуже... Госстрах может вернуть деньги через десять лет, с условием, что за это время шурин Икимаша не пострадает физически; радиоприемник забыли выключить на ночь, и лампы перегорели; третий улей, верно, мог еще пригодиться, да, пока они все проверяли, поросенок издох.

Опять пришлось Чокырлие тряхнуть мошной. Расплатился сполна, но теперь Икимаш пристал к нему: зачеркни, мол, двадцать трудодней жене Прикоки, это ж лентяйка, каких свет не видывал.

Легко сказать — зачеркни. Но как это сделать, если жена Прикоки успела получить и пшеницы, и сто рублей деньгами, и две тонны винограда?..

Пшеницу она уже смолола, на деньги купила сыну патефон, виноград дала одним добрым людям, чтоб отвезли в Ленинград.

И это бы еще ничего, но из муки жена Прикоки испекла бублики — только они и помогают ей от болезни, сын подарил патефон однокласснице, с которой дружит, — не может же он пойти к девушке и отобрать патефон, а добрые люди прислали письмо, что виноград испортился. Могут и справку представить...

Чокырлие еще раз достал бумажник — в последний раз, решил он, — но не успел отсчитать денег, как Прикоки заявил, что рассердится, если Параскица не вернет капусту. А когда сердится Прикоки, сказал он тогда, дело дрянь...

Параскица милая женщина. Она бы с дорогой душой вернула капусту, но... Во-первых, капуста уже в подвале, а кроме того, даже если б ее не было там, все равно она бы не вернула, пока Прикоки не заплатит за кролика — был у нее кролик с пепельными ушками, а его придушил кот Прикоки. Пусть заплатит за кролика. Всем известно, что кролик с пепельными ушками стоит втрое дороже простого...

Дорого ли, дешево — заплатил Чокырлие, и капуста вернулась назад.

Но на другой день рано утром пришла Параскица в правление.

— А гусачок?

— Какой гусачок?

— Скажите пожалуйста. Не я ли взяла гусачка и отдала тому начальнику?

Чокырлие пришел домой, поймал своего собственного гусачка — дети и теща помогли — и был наконец спасен.

Два дня приходил в себя. Почти совсем оправился, когда в одно прекрасное утро увидел Фому Фомича на пороге кабинета.

— Послушай, Чокырлие, ты дал гусачка, а для разводу мне гусынька нужна. Ну так как же насчет гусыньки?

Падурянка

Собственно, что такое большое село? Пятьсот дворов достаточно? Ну если пятьсот дворов достаточно, то Кумпэна Беке по-настоящему большое село, так как насчитывает оно тысячу дворов с лишком. А сколько там того лишку, один бог знает. Над этим бились до седины уже четыре секретаря в сельсовете, теперь и у пятого проседь, а ясной картины, увы, все еще нет.

Все дело в том, что кумпэнцы народ чрезвычайно подвижный. Почти каждый день здесь кого-то провожают и кого-то встречают, почти каждый день в одном конце села рушится избушка, а в другом конце уже глядит чистыми окнами новый домик.

Кроме того, жители Кумпэна любят ношутить. Допустим, идет перепись. Одни, более чувствительные к славе, записываются по два-три раза, а другие вовсе не записываются, чтобы полюбопытствовать, кто и когда о них вспомнит. Проделывать такие штуки очень легко, ибо добрая половина этих кумпэнцев носит одинаковые фамилии — Падурару. Есть даже четыре Ивана Ивановича Падурару. В двух местных школах треть учителей и больше половины учеников тоже Падурару, а в классных журналах добрые две трети списка на букву «П».

Говорят, лет триста тому назад в селе был всего-навсего один Падурару, а все нынешние — его потомство. Теперь этому трудно поверить, ибо, хотя среди Падурару масса родичей, но есть и такие, что даже не кумовья.

Однако происходят они, вероятно, от одного и того же Падурару, так как все без исключения обладают удивительным дарованием: народ они на редкость голосистый. У всех такие звонкие, мелодичные голоса, что, если случиться встретить нескольких Падурару, обязательно нужно дождаться, пока они запоют. И тогда, может, впервые в жизни наскучит тебе твоя собственная фамилия и ты подумаешь: а что, могло ведь так случиться, чтоб и ты родился Падурару?

В сельском хоре поют одни только Падурару. Злые языки говорят, что это вполне понятно, так как хором руководит тоже Падурару. Хорошие голоса завоевали широчайшую славу этому селу, но, по правде говоря, доставляют они и немало хлопот. Уж если на собрании добе-

рется до трибуны какой-нибудь Падурару, то будет говорить до тех пор, пока самому не наскучит, — прервать его обыкновенному человеку не под силу. Сами же падуряне единодушны, когда дело касается их таланта, и не любят ставить подножки друг другу. Зато уж если сцепятся две женщины-падурянки, то кумушкам решительно нечего делать — и без них все село будет знать, с чего начался спор и чем он кончился.

Все это, конечно, еще куда ни шло, но, как было сказано выше, Кумпэна по-настоящему большое село и больше половины ее Падурару. Что ни день, то появляются на свет маленькие падурарчики, зато самые старые, случается, и помирают. И уж как устроят похороны, как начнут женщины голосить! Голосят они так, что сердце сжимается в маковое зернышко, и хотя понятия не имеешь, кого хоронят, будешь убиваться, словно потерял своего лучшего друга.

Ну, похороны есть похороны, тут, как говорится, сам бог велел, но беда в том, что в Кумпэна Веке женщины вообще любят голосить. Уму непостижимо, какие они только не находят предлоги! Провожают племянника в армию — голосят. Заблудится теленок в лесу, поссорилась с мужем из-за свекрови или со свекровью из-за мужа — и опять голосит. И если учесть, что Кумпэна село большое, а больше половины жителей падуряне, если помнить при этом, какие у них звонкие, мелодичные голоса...

Правда, падурянки очень любят, если и кто другой голосит. Стоят тихо и слушают внимательно с начала до конца, потом разбирают с точки зрения литературной, музыкальной и исполнительской. Что до мужчин, то им приходится туго. Мужчины вообще с трудом переносят слезы, а причитания падурянки — это целое море.

Особенно трудно приходится местной интеллигенции. Правда, ее представители относятся к причитаниям каждый по-своему. Директор средней школы, например, историк по специальности, рассматривает причитания в их историческом разрезе, и эти научные размышления действуют на него несколько успокаивающе. Местный врач, занимающийся, кроме всего прочего, и сбором фольклора, радуется каждому причитанию, как новой страничке в объемистой рукописи, кратко озаглавленной «Печальная мудрость». Что до председателя колхоза, молоденького агронома по фамилии, конечно, Падурару, то у него еще нет твердой позиции относительно причитаний. Они просто вызывают у него спазмы в горле. В конце концов он

решил, что человек есть человек и если что с ним случается, нельзя не дать ему излить свое горе так, как он находит нужным.

Но, конечно, сами падурянки причитают по-разному. Одни голосят рифмованно, другие — прозой. Те, что поталантливее, сочиняют тут же, во время причитания, другие умело используют старое. Случаются, конечно, и компиляции, а то бывают даже случаи безусловного плагиата. Авторитеты поднимаются и рушатся на каждом шагу.

Несколько старых падурянок, знающих толк в этом деле, оспаривают первенство. Правда, речь идет только о втором месте и ниже — первое место сохраняет за собой уже лет десять Иляна Падурару, низенькая вдовушка с красивыми черными глазами. Это может показаться странным — сама Иляна голосила не более двух-трех раз в своей жизни. Последний раз это было года три тому назад, на похоронах ее мужа, умершего после тяжелой операции. Голосила она недолго, пока несли гроб, но эти дни останутся в истории села как самые грустные после нашествия гуннов.

Повезло-таки молодому председателю — тогда он был еще студентом и не слышал того знаменитого причитания. Трудно б ему пришлось: даже в кратком пересказе оно вызвало у него такие спазмы, что он стал избегать вдовушку и, откровенно говоря, даже побаивался ее.

Иляна была скромной, тихой женщиной и такой старательной, что по осени получала на трудодни вровень с бригадиром. Трое ее ребятишек, оставшиеся от мужа, ходили чистенькие, опрятные; старший, ученик второго класса, даже возымел желание стать отличником, за что его очень невзлюбили другие падуларчики.

Домик Иляны на самой окраине был маленький, уютный, покрытый ржаной соломой. Правда, жили в нем мало — вечно висел на дверях, греясь на солнце, старый замок. Хозяйка работала в поле с утра до ночи, дети были в детском саду. Только под самый вечер возвращались ребятишки — шли молча, крепко держась друг за дружку. Следом за ними приходила и Иляна — окна светились, из трубы шел дым, а назавтра чуть свет опять висел замок, дожидаясь, пока взойдет солнце, чтобы погреться немножко.

Однажды летом, в самую жару, неизвестно отчего загорелся этот домик. Хозяйки, конечно, не было дома. Когда сбежались соседи, они нашли только голые стены и

теплую золу. Старик Никита, самый старый на селе Падурару, подобрал горячий замок, каблуком загнал его в землю, чтоб остыл, и сказал вслух:

— Вот будет голосить-то!

Председатель приехал тут же. Правда, по переулку машина шла очень медленно, готовая в любую минуту повернуть обратно. Иляны еще не было, но сам домик был такой жалкий, такой безысходностью веяло от его голых закопченных стен, что спазмы все же перехватили горло председателя. Он большими затяжками выкурил папиросу, выпил стакан воды, принесенный соседями, еще закурил. Спросил, где работает хозяйка. Иляна была в соседнем колхозе, просеивала семена, приобретенные в обмен. Тогда председатель посадил самого старого Падурару в машину, и они поехали к соседям. О чем они говорили дорогой, неизвестно, да им, пожалуй, и некогда было особо разговориться: соседний колхоз рядом, дорога ровная.

Когда подъехали к зерновым складам, мош Никита вышел из машины очень взволнованный, а председатель присел возле кучи семян и стал медленно просеивать зерна сквозь пальцы, будто пересчитывал их. Иляна только расстелила на траве чистый платочек и собралась закусить... Увидев их, она замерла, встревоженно глядя на Никиту. И тут старый Падурару бодро пошел к ней.

— Послушай, Иляна...

Бедная женщина... Она всегда жила в ожидании грома, который вот-вот должен загрохотать над ее бедной головой. Глаза окаменели, умоляя о защите, и она едва прошептала:

— Мош Никита...

Но старый Падурару — не зря же его привезли на машине! — побагровел и крикнул, точно она доводилась ему родной дочкой:

— Эй ты, не балуй! Со мной шутки плохи! Цыц!

Черные глаза вздрогнули.

— Мош Ники...

— Слушай, глупая баба... Домик у тебя сгорел. Сгорел только что... — Здесь Падурару сделал вынужденную паузу — у молодого председателя перехватило дыхание, а Иляна уже заломила руки. — Цыц, глупая баба! Товарищ председатель сказал, что завтра, когда вернешься отсюда, увидишь такой домик, какого не было ни у деда, ни у прадеда твоего... Только не голоси! Ребятишек оставят на ночь в садике... Но чтоб без этого самого!..

Молодой председатель смотрел на Иляну умоляюще: «Если можешь, если только можешь... Даю слово...»

Бедная Иляна... Крепко стиснула зубы, сжала свои натруженные руки в два каменных кулака, а по смуглому лицу уже бежали ручейками слезы, стекали с подбородка на колени и расплывались двумя мокрыми пятнами по ее ситцевой юбке...

Старый Падурару снял шляпу, облегченно вздохнул, вытер лоб.

— Все, товарищ председатель... Раз принялась плакать, голосить не станет... Теперь пошли строить дом.

И дом выстроили. Собрались все Падурару и работали до вечера, потом трудились всю ночь, а утром опять кипела работа. Снесли старые стены и свезли в овраг за деревней. В глубине двора, под старым орехом, поднялся новый дом. Покрыли его черепицей, чтоб никогда больше не горел. Обили досками полы во всех трех комнатах и на кухне. Вставили новые двери, новые окна, даже выкрасили их в салатный цвет, как было в старом доме.

На второй день, под вечер, во дворе остался только самый старый Падурару — врезал замок в новых дверях, чтобы в случае надобности можно было закрыть. Весь народ собрался на дороге. Чуть в стороне, задумавшись, стоял местный врач, вероятно жалея, что потерял лучшую, может быть, страничку своей «Мудрости»...

Вдруг все стихло. В конце улицы появилась сухощавая, низенькая женщина, следом за ней шли трое ребятишек, крепко держась друг за дружку. Шли они медленно, потом побежали, потом опять пошли медленно, еле передвигая ноги... У ворот все четверо остановились. Руки вдовы уже вознеслись к небу, затем упали на плечи ребятишек — и вот потекли слезы, вздрогнули губы. Но тут самый старый Падурару опять побагровел и закричал, точно она ему доводилась родной дочкой:

— Эй ты, не балуй! Со мной не шути! Иди лучше посмотри домик — осталось только обмазать и побелить...

Легко сказать «иди»... Из толпы вышла старая, седая падурянка и подошла к Иляне:

— А что же, пойдем посмотрим...

Вслед за ними молча покатилась толпа. Сначала домик понравился седой падурянке. Затем понравился ребятишкам. Старший даже нашел нужным начертить огрызком карандаша по свежей краске «Падурару», за что седая падурянка пожурила его. У младшего же — то ли от волнений, то ли оттого, что забыли о нем, — вдруг за-

капало со штанишек на пол, за что седая падурянка его похвалила.

А дом был и вправду хорош. На чердаке обнаружили мешок с мукой, в комнате — новые кровати, с потолка свисала керосиновая лампа, и невдалеке на табуретке спички лежали.

Постепенно люди разошлись...

Когда стемнело и засветились окна в новом доме, Иляна стала укладывать ребятишек. Но странное дело — светились эти окна что-то очень долго, уже было далеко за полночь, а они все светились... По правде говоря, деревня тоже очень трудно засыпала в эту ночь: злые языки говорили, что все равно Иляна будет голосить...

Но Иляна не голосила. Ни вторую ночь, ни третью. Ходила она, правда, какая-то измученная, была грустная, и за что бы ни взялась, все валилось из рук...

На четвертый день было воскресенье. Иляна попросила одну из своих теток присмотреть за детьми, а сама отправилась в лес за грибами. Говорили, что после недавнего теплого дождика в лесу появилось грибов видимо-невидимо. Несколько соседок вызвались было пойти вместе с ней, но Иляна что-то уж очень спешила.

Хотя дождик и вправду был теплым, грибов, видать, было мало — Иляна вернулась под самый вечер и несла в кошелке едва с десяток. Правда, злые языки говорили, что грибы грибами, а так — примерно в полдень — где-то далеко в глубине леса голосила женщина. Так голосила, что прямо душа разрывалась...

Должно быть, сплетничали эти злые языки, вечно они что-нибудь да придумают... Все же было одно подозрительное обстоятельство — с того самого воскресенья Иляна стала избегать молодого председателя. Если же случалось встретиться, норовила проскочить мимо, низко опустив голову... Случилось это несколько раз, и однажды молодой председатель остановил ее:

— Иляна, ты что такая грустная?

Иляна подняла голову, у нее задрожали ресницы, потом глаза заулыбались.

— Разве я грустная?

— Должно быть, показалось...

— Ясно, показалось...

Улыбнулась ему на прощанье и пошла своей дорогой. Шла быстро, высоко подняв голову, и только тени придорожных акаций мелькали вереницей в ее чистых глазах...

Темные очки в деревне

У Фанаке есть очки. Большие такие, темные, в роговой оправе. Они ему идут, и носит он их каждый день — и в солнечную, и в пасмурную погоду. Мир в этих очках выглядит серым, пыльным, обреченным, и это Фанаке устраивает. Он ходит целыми днями и разглядывает все, что ни попадется на его пути. Разглядывает дома, заборы, снующий кругом народ. Хорошие, редкостные очки. Во всяком случае, ни у кого в деревне таких очков нет. Откуда и каким образом Фанаке их раздобыл — неизвестно. Сам он утверждал, что получил их в качестве премии за свой общественный труд. Награждали его возле колодца тетушки Иляны, и вручал эту награду большой начальник из Кишинева. Вы, верно, удивитесь: а почему, собственно, возле колодца тетушки Иляны, а не у любого другого, потому что в деревне, слава богу, колодцы сплошь да рядом? Видите ли, тетушка Иляна живет на той окраине деревни, которая примыкает к ведущей из Кишинева магистрали, а ее колодец стоит возле самого шоссе.

Случилось так, что машину, на которой ехал тот начальник, одолела жажда именно в том месте, где был колодец. Машина остановилась, и пока шофер наливал воду, начальник вышел поразмять ноги, порассмотреть кругом, что и как. Увидев Фанаке, он подозвал его к себе. Уселись на скамеечке, пристроенной возле тетушкиной калитки, и начальник стал расспрашивать Фанаке, что думает он обо всем, что происходит в мире. И, проследив за полетом мыслей Фанаке, начальник не смог не наградить его. Так утверждает Фанаке. Впрочем, местные авторитеты готовы этому поверить. В самом деле ведь проезжала какая-то машина и стала у колодца. Правда и то, что шофер выпросил у старушки ведро, и пока он наливал воду в мотор, Фанаке беседовал с каким-то начальником. Но тут мнения расходятся. Одни утверждают, что начальник и не думал кого-либо награждать — достал очки, чтобы вытереть от пыли, и забыл их на скамеечке. Другие утверждают, что он и не думал их вытаскивать — они сами выскользнули из кармана. Наконец, ничтожное меньшинство склонно считать, что они и не выскользнули бы так легко из кармана, не окажись рядом Фанаке...

Как бы там ни было, у Фанаке есть очки. Носит он их аккуратно, старательно, день за днем. Если запылятся, снимет на минутку, стыдливо отвернувшись от людей, вытрет полой пиджака, и вот он снова в очках. Ходит и разглядывает все кругом. Рассматривает дома, заборы, людей, какие попадутся.

Чем занимается он там, в деревне, трудно сказать, — он уже по два раза перебывал на всех мыслимых должностях и теперь пошел по третьему кругу. Но лодырем его никто не посмеет назвать — он, верно, исполняет какую-то важную службу и носится по деревне, по полям целыми днями; стаптывает одну пару обуви за другой, и полы его пиджака совершенно обтрепались. Временами он выглядит таким несчастным и усталым, что многие склонны его пожалеть — дескать, так ему хочется пойти домой, прилечь, отдохнуть. Но не может. Очки не пускают. Эти надменные темные очки требуют, чтобы их таскали все время, по всем дорогам, им нужно процедить сквозь мутный серый цвет все, что живет и дышит вокруг. И Фанаке, беспрекословно подчиняясь им, потуже затягивает ремешок и идет дальше, едва волоча за собой усталые ноги...

Между прочим, Фанаке — это нуль по сравнению с очками, которые он носит. Фанаке, например, летом плохо переносит жару, зимой его изводят холода. Очкам же все равно, хоть ты лето, хоть зима. Затем Фанаке, когда он в хорошем настроении, хвалит правление колхоза, когда выпьет — ругает. Очки же никогда ничего не хвалят и не ругают. Они присматриваются, прислушиваются, запоминают все вокруг и помалкивают. На переносице Фанаке им очень удобно. Фанаке обожает мужскую болтовню и, встретив тебя, издали улыбается, как бы приглашая рассказать ему что-нибудь смешное. Парень он хороший, хочешь не хочешь, а расскажешь. Когда Фанаке заливается сочным смехом, темные очки смотрят на тебя с глубоким и умным презрением. Они не отойдут, пока ты не отойдешь, и все время, пока ты будешь беседовать с Фанаке, эти очки, как верные овчарки, будут стоять, напружинившись, не шелохнувшись, будут следить и запоминать каждое твое слово, каждое дыхание твое. В конце концов тебе разонравится треп с Фанаке. Пойдешь, растерянный, своей дорогой. Фанаке попросит при случае сберечь для него еще какую-нибудь небылицу, а темные очки ухмыляются про себя, как бы говоря: «Напрасно ты, братец, рыпаешься... Погуляешь еще месяц-другой, потом, рано или поздно, попадешься...»

Острый блеск двух круглых стекол будет еще долго преследовать тебя, и ты благоразумно решишь впредь избегать Фанаке. Но не так-то просто избавиться от его темных очков. Они будут тебе сниться по ночам, они будут охотиться за тобой целыми днями, они будут ждать твоего возвращения, если ты куда уедешь, они будут ждать твоего выздоровления, если ты занеможешь. А когда ты и думать о них забудешь, когда все кругом будет тебе любо и мило, они предстанут перед тобой, чтобы ухмыльнуться: «Зря ты, братец, ерепенишься... Не такие были — и то горели...»

Раз предупредят, и два раза, и в третий раз не поленятся, так что и дом тебе не будет домом, и покой покоем, и жизнь тебе будет не в жизнь. В конце концов, как бы ты хорошо ни знал сам себя, каким бы ты честным себя ни считал, начнешь подумывать о том, что, должно быть, какое-то нарушение ты допустил, иначе зачем бы они тебя держали на примете? Конечно, было бы лучше, если бы Фанаке сразу сказал, в чем дело, но то, что эти очки дают тебе возможность поразмыслить над собственной жизнью, это, знаете ли, тоже на дороге не валяется...

Пройдет еще некоторое время, и ты начнешь радоваться: «Скажи-ка, сколько дней прошло, а эти очки не ловят меня на новых упущениях. Должно быть, они по-своему гуманны. Милые вы мои...» И снова начнешь собирать смешные небылицы для Фанаке, и при встрече начнешь их плести, опасливо поглядывая на свои ноги, а когда поднимешь голову, снова мурашки разойдутся по твоей бедной спине: «Зря ты, милок, хорохоришься...»

Как-то, будучи в деревне, я спросил Фанаке, зачем ему очки. Близорукость, дальнозоркость, что там у него?

— Что ты! — рассмеялся Фанаке. — У меня такие глаза, что я вижу, как ворона, взлетев, лапки подбирает.

— Зачем же ты их носишь?

— Для форса... Красиво как-никак...

Он смеется, а темные очки, поблескивая, долго, холодно разглядывают меня: «А ты, кажется, из молодых, да ранних... Не спеши, дай срок — будет тебе белка, будет и свисток...»

Что ж! На все, как говорится, воля божья.

Искушение

Три дня бродила она по склону холма, три долгих летних дня, и все было напрасно. Каждый вечер возвращалась домой с пустыми лапками. Когда она проснулась на четвертый день, все суставы ломило от усталости. Хорошо бы ей в тот день остаться дома, передохнуть, но она так втянулась в свои заботы, что эта мысль даже не пришла ей в голову. Встала рано утром и быстренько отправилась в поле, — как ни велики летние дни и как ни малы мурашки, но им тоже недостает времени.

Едва солнце выглянуло — у мурашек оно всходит чуть позже, чем у людей, — а она уже успела перемахнуть через овражек, пройти под бесчисленными ворохами кукурузы, и просто чудо, как это она выбралась. К полудню она свалилась в нору какого-го зверя — страху натерпелась, ужас что! Добро еще, что хозяина не было дома. Мурашка быстро выбралась и дала ходу. Потом ее грех попутал взобраться на тыкву, она заблудилась и обегала ее, наверно, раз сто, пока снова вернулась на землю. И долго б она еще странствовала, если бы не проголодалась. Забралась на стебель подсолнуха поискать, нет ли где на шляпке крохи зернышка, забытой воробьями. Она уже одолела подъем и направилась к шляпке, как вдруг подул ветер и сбросил ее вниз — мурашка упала и вывихнула себе ногу. Но у муравьев это не считается большой бедой — оставалось еще пять здоровых ножек. И она потащилась.

С подсолнечного поля она попала в жнивье, и туго ей пришлось, бедняжке. Жнивье — это чахотка для муравья. Каждый стебелек нужно обойти, а стебельков этих больше, чем у них в муравейнике мурашек. Хорошо кто-то сказал, что нет ничего страшнее на свете, чем мурашке заблудиться на стерне. Но жнивье надо было пройти любой ценой, даже если бы осталась всего одна нога, все равно надо было пройти. И мурашка перебралась через стерню. Оттуда попала в подсолнечный лес — прелесть, а не лес. Сердце радуется, глядя на него. Стройный, зеленый, и в вышине, насколько хватает мурашкиных глаз, все листья да листья, — милое дело забраться на какой-нибудь лист и, зажмурившись, покачаться на вет-

ру вместе с ним. Всю жизнь мечтала она покачаться вот так хоть минутку, да что поделаешь — заботы...

Искушения, однако, не давали ей покоя. Она себе тихо шла своей дорогой, но справа и слева, сонно шепча, колыхались тысячи листьев. Благо что как раз в это время мурашке попалось на глаза семя щетинника, она взвалила его на спину и понесла. Семя это было ей ни к чему, но она его взяла, чтоб не понутал грех: очень уж манила листва.

За подсолнечником попался ей москалик — дремал на солнце и, видя, как она бежит со своей ношей, презрительно повел усами. Нет на свете большего лентяя, чем москалик, и любая мурашка на ее месте остановилась бы сказать, что осенью он подохнет вместе с мухами. Но наша мурашка пошла своей дорогой, стерпела. Потом встретила пахаря. Найдите на свете такую мурашку, которая прошла бы мимо пахаря и не взобралась ему на ноги. Но она не взобралась, потому что шел четвертый день и времени было в обрез...

Вдруг заметила возле перепелиного гнезда объедок семечка и вспомнила, что ничего не ела в тот день. Бросила семя щетинника, взвалила лакомство на плечи и отправилась дальше, закусывая на ходу. Успела съесть только половину зернышка, другую половину пришлось бросить, потому что увязался за ней какой-то франтик, и не то чтоб она была неравнодушна к нему, а просто неприлично, чтобы он увидел, как она жует... К тому же она перестала хромать. Щеголь-муравейчик оглядел ее со всех сторон — видать, понравилась. Он начал быстро прыгать туда-сюда, взвалил на себя целую половину листа и вообще лез из кожи вон, чтобы привлечь ее внимание... По правде говоря, был он писаный красавец, но мурашке все это было ни к чему — кончался четвертый день, и надо было любой ценой что-то принести в муравейник... В конце концов щеголь отвязался, и хорошо сделал, потому что на них уже стали обращать внимание встречные муравьи.

Неожиданно, проходя мимо старого муравейника, она заметила странную сцену: муравьи перетаскивали в укрытие семечки, сушившиеся на солнце. До вечера оставалось еще много времени, и мурашка удивилась:

«Что это их угораздило?»

Но было как-то неудобно остановиться и расспрашивать незнакомых муравьев. Теперь она больше не могла бежать, даже шагом трудно было идти. Начала выбирать подсолнух, чтобы передохнуть на листе, но тут вдруг

листья посыпались на землю. Погас теплый свет, ветер раскачивал все кругом, сверху все сыпались и сыпались большие зеленые листья...

«Будет дождь...»

Оттого-то и прятали те муравьи свои семечки. Но пока надо раздобыть хоть что-нибудь... Поблизости пробежало несколько мурашек. Они тоже возвращались ни с чем, но торопились, боялись, верно, дождя. А листья все сыпались, идти стало теперь совсем опасно: накроет тебя сверху — попробуй выберись. Но вот упали первые капли дождя, и мурашка остановилась. Нашла подсолнечную шелуху. Это была та самая шелуха, ради которой она бегала четыре дня... Мурашка обошла ее несколько раз, потом залезла в корытце посмотреть, цело ли. Шелуха была крепкая, добротная, в полоску — одним словом, отменная шелуха. Взвалила ее на спину и повернула обратно.

Наконец и она что-то несет в муравейник. Соберутся все муравьи и так будут ее хвалить — расхвалят за то, что нашла, за то, что принесла... Потом шелуху установят — знает она, где надо устанавливать такую чудесную шелуху...

Но теперь дождь стал гуще. Время от времени шальная капля нет нет да и полоснет по подсолнечной шелухе, и тогда у мурашки дух захватывало. Потом капли зачастили. Они все гнали и гнали ее, и она бежала, потому что далеко было до дома.

Искушение, однако, следовало за ней по пятам. Кругом, из-под каждого листика, манила сухая земля, — поищите на свете мурашку, которая не запрячется под листик переждать дождь... Но ей нельзя было этого делать — она нашла шелуху, и нужно было ее доставить скорее, как можно скорее.

Проходя мимо старого муравейника, она заметила несколько лазеек, оставленных для запоздавших. Может, нашлось бы местечко и для нее, но было как-то неловко вдруг ворваться в таком виде к незнакомым муравьям...

От дождя шелуха так размокла, что не было никаких сил удержать ее. Она то и дело выскальзывала, земля прилипала к ней, и с каждым разом полосатая ноша становилась тяжелее. Однажды, очищая лапки, она заметила того самого щеголя. Теперь ему было не до любви. Он, оказывается, очень быстро падал духом. Теперь едва волочил ноги, исчезла вся прыть, вся его гордая осанка. Вот и свяжись с таким типом, подумала она, потом всю жизнь придется его на себе таскать...

Вдруг она застыла в ужасе: жнивье!.. Дождь, и ночь, и жнивье... Все же умен был тот, кто впервые сказал, что нет ничего страшнее для мурашки, чем попасть в дождь на стерню, особенно ночью... Но мурашка тешила себя мыслью, что дождь сейчас пройдет, шелуха подсохнет, станет легче и, глядишь, в полночь будет дома. И она все шла, с трудом вытаскивая ноги из грязи, роняя шелуху на каждом шагу, отыскивая ее в темноте и повторяя:

— Вот-вот перестанет дождь...

Велика надежда, когда она одна-единственная. Неизвестно, зачем понадобилась мурашке шелуха и что она собиралась с ней делать. Неизвестно даже, удалось ли донести ее до муравейника. Дождь лил всю ночь. Может, добралась она в ту ночь домой, может, на следующий день, а может, и никогда. Но как бы то ни было, даже если погибла, она погибла в пути. Была и в ее жизни своя маленькая история — значит, и она жила.

Арионешты

Мы сидели вчетвером на маленькой скамеечке, поставленной под старой акацией на окраине моей родной деревни Хородище. Сидели и ждали автобуса. Девушка-десятиклассница, собравшаяся в город купить себе туфли для выпускного вечера, какой-то заезжий молодой механик, напевавший тихонько фривольные столичные романсы, я и мой брат Павел, отложивший на несколько часов прополку табака, чтобы меня проводить.

Было далеко после полудня, время шло, а автобуса все не было. Хотя на стволе акации висело новое и, как уверял брат, довольно устойчивое расписание маршрутов, мотивы для опасений все-таки были. Автобус приезжал со станции три раза в день, это был его конечный пункт. Первые два рейса он делал наверняка, а на третий, если случалось, что не набиралось пассажиров, он мог с полдороги свернуть обратно. И вот мы сидим и гадаем: есть ли смысл ждать или лучше выйти на другое шоссе и уехать попутной машиной?

День был не то что жаркий, но удушливый. Целый месяц не было дождя. Серо-желтая пыль облепила сады, посевы, даже акации над нами, даже ресницы моих попутчиков были в пыли. Ощущение надвигающегося дождя

носилось в воздухе, предгрозовая духота мучила вот уже целую неделю, а дождя все не было. Говорить не хотелось, да как-то и не о чем стало говорить. Уезжать тоже не хотелось, и было грустно, потому что ехать все-таки надо.

Хотя покинул я эту деревню давно, лет тридцать тому назад, какие-то детские грезы все еще оставались в этой самой Хородище. В дальних уголках леса все еще прятались таинственные звери, по широким полям полузабытые с детства дороги сворачивали то влево, то вправо, и мне хотелось выяснить, куда же они ведут. Даже не во всех соседних деревнях, откуда изредка заезжала к нам в гости наша родня, даже в тех деревнях, о которых я так много наслышался, мне не удалось побывать.

Кто-то из нашей четверки, видимо, родился в рубашке, потому что в половине четвертого из-за пригорка показался автобус. Он несся, подгоняемый целой тучей пыли, и, старенький, весь в пыли, сделал почти полный круг, прежде чем остановиться у нашей скамеечки. Был он совершенно пустым, и мы, преисполненные чувства благодарности, сели. Шофер был хмур и неразговорчив. То ли он ожидал, что тут машину осадят целые толпы пассажиров, а нас оказалось всего трое, то ли жара его извела. Молча, ни на кого не глядя, собрал по двадцать копеек с носа, оторвал билеты, сунул их куда-то себе под сиденье и спросил, ни к кому особенно не обращаясь:

— Поехали?

Мы промолчали, а молчание, как известно, издавна толкуется как согласие, и он завел машину. Старенький раскаленный автобус скрипел и трясся на всех поворотах. Отъехав километра два от деревни, у небольшого деревянного мостика, шофер притормозил. Выскочил из кабины с пустым ведерком, что-то пробурчав про себя, из чего моя односельчанка поняла, что мы тоже можем выйти. Шофер принялся остуживать машину. Из-под деревянного мостика в русле полувысохшей речки он набирал воду, затем поднимался наверх, через открытые двери автобуса ловко и красиво обливал пол и снова шел набирать воду. Все у него получалось хватко, артистично, и мы с односельчанкой залюбовались им. Даже наш молодой попутчик оставил на миг свои фривольные песенки, но заинтересовало его нечто другое. По обе стороны дороги сквозь зеленую листву светились румяные ягодки вишен. В том году они только начинались. Конечно, всем хотелось отведать вишен, но, во-первых, неудобно, колхозные все-таки, а во-вторых, времени не было, автобус

вот-вот уйдет. Но механик был парень не из робких. Присев на корточки, он заприметил меж стволов деревьев, довольно далеко от нас, лесенки и крепкие, загорелые ноги девушек, собиравших вишни. Сняв кепку с головы и прикинув ее приблизительную вместимость, он побежал в ту сторону. Хотя шофер, казалось, не видел, куда тот побежал, он растянул еще на какое-то время обливку машины, и когда настало время ехать, механик был уже на своем месте с полной кепкой крупных ягод.

— Угощайтесь.

Мы начали отнекиваться, но он не был сторонником особых церемоний. Высыпал каждому его долю — кому в руки, кому в газету, кому в пустое ведерко, — и вот мы снова в пути. Скорость самая малая, дорога самая худшая, и, съев вишни, перед тем, как снова вернуться к своим песенкам, механик спросил:

— Слушай, шеф, а мы не опоздаем на поезд?

— Не должны бы.

На полдороге, спускаясь по ровному, длинному склону, сплошь засеянному отлично ухоженным подсолнечником, шофер вдруг почуял опасность. Впереди, на обочине дороги, стояла, дожидаясь автобуса, разноцветная, пыльная, выгоревшая на солнце толпа колхозниц. Они стояли с тяпками, с пустыми кошелками, и смотрели хмуро, недоверчиво на подъезжающий автобус. Они не кричали, не махали руками, не делали умоляющих лиц, только одна из них, пожилая и грузная женщина, одна из тех тетушек, на которых держится и колхоз, и деревня, и вся нация в целом, подняла робко, как школьница, свою мускулистую руку.

Шофер не принял во внимание. Проехал дальше, но, хотя автобус проехал, тетушка все еще продолжала стоять с поднятой рукой, так, чтобы шофер смог увидеть ее в свое зеркальце, и было в этой женщине столько силы и мудрого спокойствия, что наш хмурый шофер, проехав метров двести, все же притормозил. Двадцать колхозниц с криком и шумом кинулись к входной двери автобуса, но дверь стояла намертво в своих замках, и хмурый шофер, высунувшись в боковое окошечко, спросил:

— Куда ехать?

— Арионешты.

— Десять копеек до Арионешт.

Смуглая и красивая молодуха всплеснула руками:

— Вы слышали, что он сказал! Деревня — рукой подать, а он что запрашивает!

Полная тетушка повернулась в ее сторону, и молодуха осеклась. Затем вся бригада собралась на небольшое совещание вокруг своей атаманши, и видно было, что денег у них нет, а ехать хочется. Они долго о чем-то спорили меж собой, но через закрытое окно не слышно было, о чем речь, и из всего их спора я понял только, что тетушку зовут Домникой. Она была и вправду бесподобна — и слушать слушала, и спорить спорила, и одним глазом следила за поведением шофера, а другим разглядывала нас, сидевших в машине. И все это время она быстро про себя соображала, как быть. Но двери не открывались, а шофер, вместо того чтобы открыть, торопил их сигналами, и это вывело тетушку из себя:

— Да открывай же, не изводи народ понапрасну!

— По десять копеек с человека.

— А между прочим, — сказала тетушка грозным тоном, оставив подруг и начав наступление на шофера, — между прочим, ты не имеешь права не впускать нас в автобус! А уж почем там у тебя билеты, что да как, ты нам расскажешь, когда мы будем в машине. — Сказано было сильно, точно, и шофер пусть и неохотно, но вынужден был открыть дверь. Через полторы минуты в автобусе не было свободного сантиметра — все кресла заняты, все проходы завалены тяпками, пустыми кувшинами, а троим даже не хватило места. Две девушки, видимо, школьные подружки моей односельчанки, сели рядом с ней и о чем-то перешептывались. В проходе стояла атаманша. Для нее было занято место, но она не садилась — нужно было еще как-то уладить дело с билетами. Жара, пыль, целый месяц духоты, а он сидит за рулем как ирод и хлопает глазами.

— Ну трогай же! — сказала она шоферу. — Поехали.

— По десять копеек.

— Вот заладил, точно на рынке торгует петрушкой! Дадим мы тебе по десять копеек, не убивай себя понапрасну. Заводи машину и езжай — вон, окромя нас, еще люди в машине, они небось сидят как на иголках, боятся на поезд опоздать.

Мы действительно опасались, как бы не опоздать на поезд, даже молодой механик — он хотя и напевал по-прежнему, но видно было, что не писаные красавицы гложут его сердце, а забота, как бы не опоздать к сроку. Делать было нечего, шофер снял тормоза, машина молча покатилась под гору. Километра через два он завел мотор и сказал через плечо, не оборачиваясь:

— Билеты.

— Что — билеты? — не поняла атаманша.

— По десять копеек с человека.

Тетушка была возмущена его настойчивостью:

— Да получишь ты свои копейки, не с жуликами небось связался. Ты лучше бы посмотрел в зеркальце и рассудил бы сам: как я с них соберу по десять копеек? Все проходы завалены, не птичка же я в самом деле, чтобы летать по воздуху и собирать копейки. Вон за этой горой мы уже будем дома. Как только слезем, тут же соберем тебе на билеты.

— Надо было дождаться колхозной машины, — сказал поучительно шофер. — Захотели на мягких сиденьях нежить свои зады — платите по десять копеек.

— Нужны нам твои мягкие сиденья! Из них вон пружины выпирают, последнюю юбку изорвешь в клочья. Тоже мне удовольствие!

— А чего залезли?

— Так суббота же!! — взорвалась тетушка Домника. — В полдень кончили, а они там, в правлении, не знают, что мы так рано кончили, они только под вечер пришлют за нами машину. А чего нам полдня торчать в подсолнухах, у нас же дома уйма работы! И постирать, и сготовить, и девушкам вон выгладить и принарядиться надо, — сами небось любите по субботам чистые рубашки, хорошую жратву, наряженных девиц, а откуда все это возьмется, если мы в поле торчим!

Дело складывалось таким образом, что шофер мог и не получить с них по десять копеек, и, несколько сбавив и без того малую скорость, он попытался вернуть разговор ближе к существу.

— Это меня не касается, — сказал он. — Автобус не колхозный, а государственный. У нас свои порядки, свои планы. Мы день проездим, а вечером обязаны выручку сдавать.

— А что, — спросила атаманша, — мы не государственные?! А для кого мы подсолнух пололи? А сам ты пробовал когда-нибудь бить тяпкой по пересохшей земле, когда изводит жара и пыль скрипит на зубах?

Тут тетушка допустила явный промах — она перешла на личность, и оскорбленный шофер остановил машину.

— Слезай давай.

Тетушка усмехнулась.

— Как же, так мы тебе и слезли! Без милиции ты

не имеешь права высаживать нас, пойди найди милиционера, и мы ему объясним, в чем дело.

Найти в пустом поле милиционера было делом безнадежным, а надеяться в одиночку, своими силами, выставить из машины двадцать колхозниц было еще безнадежнее. Мои руки как-то сами по себе нащупали в кармане злополучные два рубля, но я, хотя и уехал из этих краев в девять лет, достаточно хорошо знал этих людей, и какое-то смутное чувство подсказывало не торопиться, потому что дело тут было не только в рублях. Но молодой механик был, видимо, впервые в этих местах. Он давно уже не пел, а без песен ему было скучно. К тому же он опасался, как бы не опоздать на поезд. Мы стояли в поле, в машине было душно. Отчаявшись, молодой механик достал из кармана два мятых рублика и кинул их шоферу:

— Давай езжай!

Шофер был педантом. Оторвал двадцать билетов, сказав миролюбиво:

— Это уже другой разговор.

И вот мы снова едем. В машине пыльно и тихо, даже те две девушки-подружки, которые перешептывались, смолкли. Похоже было, что на поезд мы все-таки опоздаем, и, измученный этой неизвестностью, чтобы как-то скрасить время, молодой механик вернулся к своим игривым песенкам. Но не успел допеть первый куплет, как сзади обрушился на него свирепый голос атаманши:

— Перестань горланить!

Сначала мы подумали, что тетка обозналась, она не поняла, что пел тот самый человек, который только что выручил их. Но нет, все двадцать колхозниц смотрели недобрыми глазами на механика, а все двадцать, конечно, не могли не узнать его. Механик спросил запальчиво:

— А в чем, собственно, дело?

— Да ни в чем. Просто я не люблю, когда поют в автобусе. Это меня нервирует. И не только меня, всех нас нервирует.

Едем дальше молча, но механик не может примириться с мыслью, что его лишили свободы, и он снова тихо-тихо, про себя, запевает. Колхозницы громко меж собой комментируют это событие:

— Ишь как его распирает! Денег, наверное, много.

— Дурняковые небось. У нас когда заработаешь рубль, так все уголки на нем расправишь, а он вишь как швыряется ими!

— Лучше бы жене купил платочек — она небось в одном платке все лето ходит, а он деньгами сорит!

— Да что жене — себе бы рубашку купил! Посмотрите, в чем он ходит, разве в такой рубашке можно хорошую песню спеть?!

— Да разве он песни поет? Так, мусор несет какой-то...

Механик все стерпел, но когда дело дошло до песен, его взорвало:

— Да вы что, осатанели?! Вам человек делает одолжение, выручает вас, а вы, как рой диких пчел, набрасываетесь на него?

Атаманша была вся пунцовая.

— А кто тебя просил совать нос не в свое дело? Может, мы с товарищем шофером умный разговор завели, по важному делу спорили — государство мы или не государство, имеем ли право бесплатно раз в неделю проехать автобусом или не имеем, а ты влез со своими засаленными рублями...

Она собиралась еще долго его отчитывать, но неожиданно выплыла окраина деревни, и шофер затормозил. Колхозницы сорвались со своих мест, и атаманша была вытолкнута ими из автобуса. Но она не кончила, она продолжала отчитывать механика, стоя на обочине дороги, и долго еще было видно, как стоит она и воинственно машет короткими руками вслед отъезжающему автобусу.

Остальные семь километров, до самой станции, мы ехали молча. Случай был из ряда вон выходящий, никто не хотел взять на себя смелость первым высказать свое отношение. Только молодой механик, когда мы уже въезжали в станционный поселок, хлопнув себя по обоим коленям, сказал с неподражаемой латинской артистичностью:

— Фе-но-ме-нал!

На что шофер, лихо въехав на привокзальную площадь, ответил не оборачиваясь:

— С вас еще двадцать копеек.

— Чего-о??

— Я говорю — еще двадцать копеек. Их было не двадцать, а двадцать две. Надо получше считать.

Механик набрал в легкие воздух, чтобы высказать все, что думает об этом крае и о его людях, но к станции уже

подходил поезд. Поразмыслив, он молча достал из кармана двадцать копеек, не положил, а именно швырнул их шоферу, и мы втроем выбежали на перрон. Но поезд был не наш, встречный товарняк остановился, чтобы пропустить пассажирский, которого ожидали с минуты на минуту.

В зале ожидания была небольшая очередь за билетами, и мы с односельчанкой стали в очередь, а молодой механик пошел прямо в глубину зала, к буфетной стойке. Он пил пиво из большой кружки, вытирал пот кепкой, и оттого, что в кепке были вишни, красноватые разводы стекали по лбу, по шее. Жалея его, моя односельчанка сказала тихо:

— Зря он впутался в это дело.

— ??

— Да они все из одной деревни — и женщины те, и сам шофер. Он часто подвозит их на автобусе, и я думаю, что сегодня он не столько ради нас, сколько ради них, работавших под самым Хородищем, заехал к нам в третий раз. Но когда попадаются в машине чужие люди, они, чтобы отвести глаза, начинают как бы ругаться меж собой. Но это все игра, театр, не зря же они из Арионешты. Я часто езжу этой дорогой и знаю все их штучки, а тот, видимо, впервые ехал...

Она подошла, что-то шепнула молодому механику. Тот вышел, умылся и, посвежевший, встал с нами в очередь. Минут через пять подошел поезд. И, уже уезжая, я с какой-то веселой отчаянностью подумал, что узнать все об этих людях невозможно, потому что истинная суть человеческая, так же как и море, не ведает границ своих.

Бадя Чиреш

Село бади Чиреша раза в три больше самого большого села, какое доводилось вам когда-либо видеть. Потому-то в этом селе с утра до вечера целых три дня умещаются, а между одной свадьбой и другой еще две-три свадьбы играют.

Большое село, шутят тут все, от мала до велика, но никто не умеет так шутки шутить и людей посмешить, как бадя Чиреш. Даже соседи из Бутучен, которые

смеются только раз в год, когда наседка цыплят выводит, и те признают:

— Да, много чертей в этом Чиреше водится...

Видать, так оно и есть, потому что даже сам бадя Чиреш этого не отрицает, признаваясь за стаканом вина, что чертей в нем, может быть, и нет, но какая-то нечистая сила гнездится, оттого-де он и испытывает постоянное искушение грешить, хотя по своей натуре он настолько разумный и тихий, что получает огромное удовольствие от бесед с самим собой.

Многие его слушали, да не многие верили: очень уж глупым надо быть, чтобы верить баде Чирешу. Нынче он не припомнит, что рассказал вчера, а завтра переиначит сегодняшнюю побасенку. Удивляться тут нечему, потому что под его вишневой шляпой живут по меньшей мере три Чиреша, но дал им бог всего две руки и одну глотку, чтобы и другим кое-что перепало.

Один из этих трех молодцов был бадя Чиреш-шутник. Стоит ему появиться в шляпе с широкими полями на перекрестке, с прищуренным глазом, смакуя про себя новорожденную шутку, как вокруг собираются все четыре околицы, и поднимается такой хохот, что от него однажды в селе все воробьи оглохли и с тех пор перестали слетаться, когда поутру хозяйки выходили кормить их.

Да это еще пустяки, цветочки. Это значит всего-навсего, что бадя Чиреш только входит во вкус. Настоящие шутки, как и самые лучшие песни, лежат на дне кувшинчика. И боже ты мой, как заявится бадя Чиреш на какую-нибудь гулянку, как расстегнет на ходу воротник рубашки — такого жару задаст, что солнце застает все звезды на небе с разинутыми ртами: глядят во все глаза на удаль бади Чиреша. И кажется тогда, что каждый его палец знает тьму побасенок и было бы величайшей глупостью не провести с ним еще часок-другой.

Второй человек, обитающий под той же вишневой шляпой, — это бадя Чиреш-виноградарь. Едва появится он на винограднике, засучит рукава, сдвинет шляпу на затылок — и плачет вершковыми слезами лопата, попавшая в руки ему. Десятки тысяч кустов — все, что есть в колхозе, — собираются вокруг него и смирно стоят друг подле дружки, дожидаясь, когда Чиреш оденет их, чтоб зимой не зябко было. И чудится тогда, что каждый его палец всю жизнь только и делал, что сажал лозы, собирал виноград и пил вино.

Наконец, третий человек, живущий под той же вишневой шляпой, — это бадя Чиреш — глава семьи. Перешагнув порог дома, он становится важным, будто только что подписал новый указ. Если же он все-таки вынужден проронить несколько слов, то делает это медленно, степенно, будто не он разговаривает со своей половиной, а эпоха беседует с мгновением.

Старушка, понятно, не может смириться с таким положением, и, чтобы помочь ей выместить обиды, бадя Чиреш время от времени приходит домой навеселе. А когда почует, что его Илинка все уже выложила и сыплет лишь потому, что не может остановиться, он спрашивает, надвигая шляпу на глаза:

— И какой тебе прок злить своего мужа?

Правда, в таких случаях Чиреш-шутник частенько берет верх над Чирешем — главой семьи, и тогда вишневая шляпа снова перемещается на затылок.

— Илинка... а все-таки... какой дурак присоветовал тебе выходить за меня замуж? Или, говоришь, был он вовсе не дурак?

Чирешем его прозвали оттого, что он высокий и кряжистый, как черешня. Глядишь на него, и кажется, что по улице идет целая деревня в вишневой шляпе, сдвинутой на затылок.

Должно быть, много поведал на свете тот, кто впервые назвал Трифанешты не Трифанештами, а селом бади Чиреша. Назвал — будто припечатал. И поныне живет это название и останется надолго, очень надолго, потому что вот уж тридцать лет, как Чиреш носит всего две седые волосинки у правого виска. Казалось, он и годам зубы заговорил — топчутся они возле Чирешевых ворот и хохочут, не трогая его.

Как-то утром заскрипела калитка, и Чиреш проснулся. Подождал, гадая, чьи это шаги, но вместо шагов еще раз скрипнула калитка. Бадя Чиреш вскочил с кровати, подошел к окну.

— Кто там? — спросила Илинка с печи.

— Подумать только — ветер учится калитку закрывать...

Вернулся, хотел было еще полежать, но исчезло куда-то теплое местечко на подушке, где ему снились сладкие сны. Искал, перекидывал подушку туда-сюда.

— Послушай, Илинка... Чтоб вечером ты мне легла

тут рядом, а то встанешь на минутку, и некому стеречь тепло.

Затем он оделся и вышел в сенцы поискать сверло. Зачем оно ему — неизвестно, но вот уже неделю только встанет, начинает его искать. Видать, оно ему и не очень-то нужно было — просто надобно полчаса, чтобы шутка в нем проснулась, дабы потом не опростоволоситься, когда человека встретит.

Может, оттого, что весна началась, а может, и по другой причине, но искал он в это утро сверло целый час, грозя, ежели найдет, разломить его на куски и выбросить собакам. Наконец нашел, но собакам жаль было кинуть, положил на полочку. Затем взял ведро, в котором с вечера осталось немного воды, и вышел на порог. Куры, решившие, что их собираются кормить, мгновенно окружили его. Бадя Чиреш воровато взялся за дно ведра, прицелился, окатил петуха и, пока тот отряхивался, не без зависти заметил:

— Эх, и будут же сегодня курочки ластиться к нему!

Подойдя к колодцу, он первым делом кашлянул несколько раз: пусть не думают соседи, что он пришел ни свет ни заря украсть непочатую воду. Опустил ведро. Только стал вытягивать, слышит — другое ведерко где-то тонко позвякивает. Легко ступая по обочине дороги, идет к колодцу Мариуца, жена Арионаша. Мариуца прехорошенькая бабенка, с такими большими, завораживающими глазами, что заглянешь в них — и сразу в тебе все черти просыпаются. А так как в последнее время черти Чиреша малость обленились, он вытягивает ведро медленно, очень медленно.

— И как это, Мариуца, муженек отпускает тебя по утрам одну к колодцу?

Мариуца ставит ведерко на камень, а бадя Чиреш усаживается на край желобка. Узор предложен тонкий, затейливый, но Мариуца, женщина храбрая, идет напрямик:

— А чего ему бояться, баде Чиреш?

— Да ведь попадется какой-нибудь паренек помоложе, вот и останется твой муженек вдовцом.

— Да откуда он попадется, баде Чиреш!.. Уж года два ты все пугаешь, а я как проклятая хожу по воду каждое утро, и хоть бы один попался...

— Неужто пошла бы с ним?

— А то нет... Надоело одной. Арионаш уехал на тракторе в Бутучены пахать, целое лето его не вижу...

Бадя Чиреш перестал щурить правый глаз.

— Тяжко, Мариуца?

— Тяжко, баде Чиреш... Давеча корова кол выдернула и теперь разгуливает по двору, а я не могу забить.

— Мариуца, а что, если я заскочу вечерком, забью колышек?..

— Приходи, баде Чиреш.

В знак доброго согласия бадя Чиреш вылил в ее ведро свежую воду, которую доставал себе, заметив при этом, как игриво встрепенулись реснички соломенной вдовушки.

«Вот люблю с ней побалагурить, черт возьми, и хоть ты что...»

Домой вернулся чернее тучи. Раскричался:

— Ну и ну! Кто это придумал женщин к колодцу допускать? Ведь эта самая Мариуца чуть не уронила мне ведро в колодец!

Пустив таким образом своей старушке пыль в глаза, бадя Чиреш повозился по хозяйству, а после обеда первым делом хорошенько подстриг усы. Хотел навести блеск и на саноги — неизвестно почему, но женщины страсть как любят, когда сапоги начищены, да вот беда — щетка куда-то запропастилась. Искал ее до тех пор, пока не пришли за ним из колхоза: стала протекать какая-то бочка, а всем известно, что бадя Чиреш отменный бондарь. Придя на место, он первым делом полюбопытствовал, чем бочка наполнена, — надо же было прикинуть возможный убыток. А потом его попросили осмотреть и остальные бочки. И бадя Чиреш, расхаживая меж ними с несколько преувеличенным любопытством, потерял много времени и вернулся домой около полуночи, совсем навеселе.

Молча поел, слушая, как Илинка с печи отчитывает его, потом все так же молча стал разуваться. И вдруг вспомнил, что собирался сегодня почистить сапоги. К чему это он собирался их чистить?

— Ох ты, черт!..

Забыл сходить к Мариуце! Теперь уж поздно. Лег, но не спалось. И как это он мог запамятовать? Ведь ни разу в жизни не забывал, когда нужно было услужить женщине...

«А что, Чиреш, ты никак постарел?»

Начал перебирать в памяти все, что делал он, Чи-

реш, в том году. Были в том году, как в прошлом, десятипудовые мешки, которые покорно лежали на его спине, пока он их перетаскивал с мельницы в телегу, как и в прошлом году, столы оставались пустыми, когда он вставал из-за них, да и шутки его по-прежнему по три раза обходили село...

А все-таки... Все-таки забыл вот заглянуть к Мариуце.

«Послушай, Чиреш, а ну-ка, подсчитай хорошенько...»

Приподнялся на локте и стал считать. Считал не годы — эта мера была не по нему. Один может состариться в сорок, другой женится в шестьдесят. Бадя Чиреш поднес руку к усам и, поглаживая их, стал перебирать все прожитое, все пережитое. А пережил он многое... И так пролежал до самого рассвета, опершись на локоть. И надышался еще раз порохом двух войн, еще раз вырастил трех сыновей и поставил им дома. Потом опять пропил три гектара земли и измучился, пока выкупил их обратно. Перетерпел еще один голодный год, а потом насадил десятки тысяч кустов винограда для своего села.

«Постарел... И как обидно, что постарел...»

Не мог представить, как будет ходить он стариком по дорогам села, он, который так долго ходил по ним молодым; и как будет он разносить по селу чужие шутки, он, чьи шутки так долго носили другие; и как он похоронит в карманах эту пару рук, которые так долго кормили село...

«И что скажут люди, когда узнают? Но погодите, Чиреш вам подстроит! Не скажу, что постарел, и они в жизнь не догадаются...»

На следующий день Чиреш чуть свет пошел с лопатой в лес и принес неказистый дичок. Выбрал место перед самыми окнами, перекрестился и начал копать.

Дички, дички... Всю жизнь терпеть их не мог, а теперь приходится сажать. Ибо так заведено у Чиреша: если случается большое событие, он сажает дерево. Один только он знает, какое дерево по какому случаю было посажено.

Весь сад у него — сплошные события. Старый орех, например, он посадил утром того дня, когда сманил Илинку. Ибо нужно вам сказать, что была она тогда хороша собой и родители ее не очень-то хотели Чиреша в зятья. Те три сливы посадил, когда ушел с сыновьями на войну — было их четыре, но одна засохла, потому что Васыле так и не вернулся... Две вишни посадил, когда у

него сгорел дом, грушу — когда подался в колхоз, айву — в позапрошлый год, когда бросил курить.

После обеда дичок уже стоял перед домом, и бадя Чиреш занялся делами, будто ничего не случилось. Те же дороги, те же веселые шутки, та же вишневая шляпа, сдвинутая на затылок...

И все же что-то произошло. Казалось, с того дня, как посадил дичок, Чиреш проникся большой любовью к самому себе: когда садился, искал, на что ноги поставить, чтобы и они отдохнули; не приносил домой ведро полным, как доставал из колодца, а сперва отливал немного там, на месте, и даже велел Илинке постелить на кровати что-нибудь мягкое — на мягком, мол, сны пышнее.

«А может, и не примется этот паршивец? Ведь в конце концов не каждое дерево принимается!»

Но дичок принялся. Первой же весной он выгнал такой ворох листвы, что, увидев его, бадя Чиреш как-то приуныл, призадумался. Он мог теперь целыми вечерами слушать, как его отчитывает Илинка, и совсем не злился — слушал ее, как слушают тиканье будильника. Теперь он мог пройти мимо виноградного куста, придавленного трактором, притворяясь, что ему все равно, а когда попадался балагур, он не мешал ему забавлять народ и смеялся вместе с другими, лишь чуть-чуть подправляя чужие шутки, если была в том надобность.

Одно время ему даже стало казаться, что дичок зря так присосался к земле перед домом, но решил убрать его позднее, к осени... А пока что, садясь за стол, Чиреш начинал вспоминать блюда, что некогда стряпала ему Илинка:

— Послушай-ка, готовила ты когда-то токану с грибами... Не забыла, как она делается?

А когда токана была готова, бадя Чиреш требовал, чтобы подали ее в той самой тарелке с двумя петушками. Усаживался за столом спиной к двери, на свое давнишнее место... Все шло хорошо, но Чиреш не торопился убирать дичок. Время терпело. А пока то да се, стал распределять обязанности по хозяйству: самые легкие поручал Илинке, те, что потяжелее, оставлял на будущий год и прикидывался, что забывает совсем трудное, потому что в конце концов любую работу можно сделать, а можно и не сделать.

Однажды осенью бадя Чиреш вернулся из кооператива с парой новых ботинок, и Илинка отчитала его:

— Носить тебе, что ли, нечего?

Конечно, в коридоре стоял полный сундук обуви, изношенной лишь наполовину, но если Чиреш решил себе сделать обнову, он-то уж знает зачем...

— Фа, Илинка! Пара новых ботинок делает человека веселее, повышает аппетит.

— А то тебе мало!

— Запомни, Илинка, что я тебе скажу: аппетит тогда не нужен, когда есть нечего, а так — дай боже...

Два дня Чиреш щеголял по селу в новых ботинках, а потом подумал: «Зачем же красоте пропадать? Отправлюсь-ка к родичам, пусть полюбуются».

Две недели не было его в селе, потому что весь Сорокский край — сплошные родичи Чиреша. Вернулся он очень веселый и в первый же вечер, увидев, что старуха залезает на печь, намекнул:

— Ты, Илинка, брось эту печь. На кровати мягче...

Илинка засмеялась, но все-таки полезла наверх.

— Эй, Илинка! Умрешь, да так и не узнаешь, что было хорошего на этом свете...

Вздыхает так больше для виду, но ему приятно, что Илинка смеется, — видать, припомнила что-то...

Всю зиму простоял дичок у окна бади Чиреша. Его гнули ветры, но не могли сломить; студили его морозы, но не могли заморозить; засыпали его целые сугробы, но не могли завалить так, чтобы уж насовсем. Зимой у Чиреша поламывала правая нога. Сидел он у печки, поглаживая ногу, и казалось, именно теперь село узнает, что он постарел. Ну и пусть себе думают. Тем временем он хорошо отдохнет, а придет весна, выйдут на виноградники — и тогда видно будет, кто может и кто не может...

Пришла весна, и Чиреш снова, в который раз, показал себя. И отставали от него двадцатилетние, дыша, как в лихорадке, тогда как Чиреш лишь изредка доставал из кармана платок, чтобы смахнуть две-три капли пота с виска. Путь от села до виноградников и от виноградников до села был таким веселым, какого мир еще не видывал, — столько шуток созрело у Чиреша за те две недели, пока вязали лозы, столько шуток, что другому хватило бы на всю жизнь. И шло за ним село, захлебываясь от смеха, надсаживая бока, задыхаясь от кашля, а Чиреш ни на миг не давал пощады: не успевала одна шутка дойти до хромого Василикэ, что ковылял позади всех, как вдогонку за ней уже неслась другая, еще похлестче.

Однажды в пятницу Чиреш вернулся с поля голодный как волк, готовый обрушиться на Илинку, если она не приготовила обеда, и имея про запас несколько теплых слов на тот случай, если обед готов. Вошел во двор — и остолбенел. Дичок, тот паршивый дичок, который он притащил из лесу, зацвел. Одна только пара цветков у него на макушке, а все же зацвел. Рассмеялся Чиреш.

— Я тебя, братец, уберу... Ишь ты, плодами вздумал меня задобрить...

Стол был уже накрыт, бадя Чиреш умылся, но тут он услышал, как звякнуло ведерко — Мариуца шла к колодцу. Схватил свое ведро и Чиреш.

«Пойду перекинусь словечком... Вот люблю с ней побалагурить, ну прямо сил никаких!..»

Пошел быстро к калитке — и вдруг остановился. Улыбнулся — хочется идти дальше, а ступать нечем.

«Ну и ну! Только что у меня была пара ног — и вот их нет. Должно быть, Илинка спрятала дома, чтобы я не ходил шутить с другими».

Хотел было наклониться, чтобы узнать, что же с ними, с его ногами, стало, но его большие жилистые руки беспомощно свесились — отнялись и руки... Глухо забилось сердце, в ушах раздался протяжный колокольный звон, и бадя Чиреш рухнул наземь. Услышал, еле-еле услышал откуда-то издалека крик Мариуцы:

— Баде Чиреш!!!

Улыбнулся Чиреш. «Все-таки обманул село, подстроил шутку. Давно постарел, а никто и не знал...» Это был последний обрывок мысли. Угасли шутки, свесилась голова, рядом валялась большая вишневая ветка. А вокруг шептался сад — шептались вишни, и сливы, и груши, шептал что-то и маленький дичок с двумя цветками на макушке.

Хоронили его в воскресенье, ясным весенним днем. Целое село провожало, целое село плакало, что нет больше бади Чиреша, молодого и сильного Чиреша. Плакали все, только на лице бади Чиреша остывала улыбка, остаток последней его мысли. Лежал он, чуть прищурив глаз, будто собирался крикнуть односельчанам:

«Будет вам реветь! Помер и я на старости, как это водится. А коли пошутил напоследок, что поделаешь... Такой уж уродился, шутник».



Сани

Когда в один прекрасный день высох старый орех возле крыльца, дед Михаил достал из сеней свою палку, надвинул шляпу на глаза и стал прогуливаться вокруг дерева, будто подсчитывал ветки на нем. Долго прикидывал, обмерял вершками, содрал полоску толстой коры, взвесил ее на ладони и только к вечеру, когда сапоги снова показались ему тяжелыми, отнес палку на место, надел шляпу как следует и сказал про себя:

«Вот теперь-то я сделаю сани».

Сани... Великое это дело — сани! Застелешь их ковриком, на всякий случай покажешь лошадкам, что не забыл дома кнут, — и поехал, да так поехал, что солнце еле поспевает за тобой. И только тогда забудется счет прожитым годам, только тогда увидишь старого друга, которого увели другие дороги, и по свежему следу твоих саней многие найдут свою дорогу, свою деревню, свой дом.

Одни только сани нужны человеку — и снова он человек. Только сделай ему те самые сани, которые снились всем плотникам на свете, сколько их там ни было; сделай такие сани, которые бы двадцать собак стерегли и все-таки бы не устерегли; сделай сани, чтобы сохли они по дороге, а дорога сохла бы по ним.

Сани — великое это дело!

Так рассуждал старик сам с собою, но тут старуха заметила, что он стоит задумавшись, и, опасаясь, как бы не заржавел топор в хозяйстве, послала его наколоть щепок. Потом ей понадобилась новая кочерга, ведро свежей воды — старик вздохнул и занялся хозяйством. И снова побежали друг за дружкой дни, на этот раз бежали быстро, будто краденые.

Обычно просыпался старик чуть свет — любил одеваться в темноте, зажечь трубку угольком, оставшимся с вечера в печке. Выходил на улицу, присматривал за соседскими садами, чтобы не случилось чего, пока хозяева спят. И когда просыпалась деревня, он уже перебрасывал топор из правой руки в левую. Потом до самого вечера ходил по двору с засученными рукавами, с потухшей трубкой в зубах. Казалось, он забыл и об орехе, и о санях. Только вечером, когда наконец находил спички в

кармане, вгонял топор в какое-нибудь бревно и задумывался.

Потом, день за днем, все чаще останавливался он посреди двора, дымил трубкой и вглядывался в мутную даль, будто пришла еще одна весна в том году и он ждал прилета журавлей.

Но и это было до поры до времени, пока не заметила старуха, что лезвие топора в самом деле почернело. Вышла из дому и начала его стыдить — кричала громко, чтобы и соседям слышно было. Дед поправил ей криво повязанный платок — старуха любила, чтоб за ней поухаживали, — потом подошел к ореху, прислонил к нему топор и сказал вполголоса:

— А что, и в самом деле сделаю сани!

Значит, решено. А раз решено, считай, что и сделано. Хотя, по правде, решал он чрезвычайно редко — не было у него глупой привычки спешить, и в своей жизни он никогда не делал три шага там, где можно было сделать только два.

Скажем, начинает созревать виноград. Прежде всего исчезает из деревни детвора — редко, раз в три дня, увидишь мальчонку, да и у того синие от винограда щеки. Потом на перекрестках собираются вечерами парни и печальными голосами поют до третьих петухов одну и ту же песню. Наконец, и старики начинают вспоминать, в каком году брали они на штык австрияка, и становятся такими болтливыми, что, если встретят, не отвяжешься.

И у деда Михаила есть около сотни кустов винограда, но старик спокоен, как будто буэнна созрела у него в саду, а не виноград. Старуха не дает ему прохода:

— Михалуц, сегодня пойдем собирать?

Старик делает молча свое дело, не обращая на нее внимания. Кажется, он и слова свои сперва обтесывает, примеряет, и если только они ладно пригнаны одно к другому, достает трубку из кармана:

— Пусть созревает... У солнца все равно другого дела нет.

А осень уходит. Опустели поля, на кустах остались одни только листья... Еще вчера выглядывали то тут, то там забытые гроздья, но вспомнили дети и о них. Только в саду у деда Михаила гроздья висят по-прежнему. Ягоды сморщились, падают, и, чтобы не пропал труд, старик приносит мешок капустных листьев и расти-

лает их под каждым кустом в виде больших зеленых тарелок.

И лишь тогда, когда на гроздьях почти ничего не остается, дед входит в избу, долго смотрит на свою старушку, как бы стараясь припомнить, где это он ее раньше видел, потом достает трубку.

— А ведь виноград-то наш уже созрел.

Соберут виноград, потом он закрывается в своей каморке, и недели на две остается старуха вдовой. А когда двор застилают первые снежные хлопья, старик уже что-то мастерит в каморке — долго пилится и редко бьет, так что курицам во всей магале и не подремать, и не проснуться никак.

И только в разгаре зимы выходит он к воротам и останавливает первого прохожего:

— Не сможете ли вы оказать мне одолжение? Открыл сегодня бочонок. Если не примете мои слова за обиду...

Принять за обиду! Прохожий, бедняжка, забыл на радостях снять шапку в избе, берет стакан, не снимая варежек, потому что времени нет. Тает во рту от звучного бульканья, льется чистая как слеза струйка святой хмели, а из стакана выпрыгивают золотистые блохи — до самого потолка прыгают, черти!

Ну и что удивительного в том, что нет в деревне свадьбы, на которую бы не приглашали старика, нет хозяина, который бы не приподнимал шапку, проходя мимо его избы, и нет пьяницы, который бы не подпирал его ворота с осени до самой весны.

Итак, значит, старик решил смастерить сани.

С неделю он приглядывался к кроне ореха, прикидывая, какие у него корни, покопал в одном месте лопатой, проверяя, все ли так, как он рассчитал, и однажды за обедом, когда понравились ему щи, сообщил старухе:

— Думаю сделать сани из того ореха.

Судьба наделила его проницательной старушкой. Она сразу уловила суть:

— Конечно, сделай! Твои сани сразу купят, а мне нужен новый зипун. Этот уже старый, и к тому же такие уже не носят.

Улыбнулся старик — знал он толк в глупостях, чего-чего только не наслушался на своем веку.

— Ты чего зубы скалишь? Или хочешь сделать из ме-

ня посмешище, чтоб и дети показывали на меня пальцем?

— Возьми мой кожух, он нелатаный и модный.

Потом одно за другим отдал ей сапоги, телогрейки, шарф. Когда дело дошло до шапки, пришлось выкопать орех. И не потому, что он уж очень дорожил своей шапкой, — нет, была поздняя осень, и орех стал по ночам сухо скрипеть ветками. Выкопал, обрезал крону, лишние корни обрубил и запрятал на зиму под навес.

И день за днем, чем бы старик ни занимался — укрывал ли виноградник, чинил ли забор, — все время он думал только о своих санях. Иногда ему уже казалось, что он видит перед собой что-то стройное, белое, красивое, промелькнувшее перед его глазами давно, когда ему было лет десять и когда он впервые взял топор в руки. И всю жизнь, что бы он ни тесал, всегда мелькало перед ним это что-то — стройное, белое и красивое. И вот теперь, на старости, он вдруг понял: это были сани. Но только не такие сани, которые зимой сеют солому на дорогах, а летом даже собака не может найти под ними холодок. Это должны быть особенные сани — такие, что у деда дух захватывало, когда он долго думал о них.

Зимой, когда кончились большие морозы и можно было выходить в одной телогрейке, старик зашел под навес, ударил обухом топора по стволу ореха и долго прислушивался к его холодному, глухому звону. Старуха, завидев его возле ореха с топором в руках, мигом выскочила из избы.

— Начинаешь, Михалуц?

Старик молча отнес топор на место и пошел было к дому, но, видя, что старуха смотрит на него с большим недоумением, объяснил:

— Зелен еще.

Думал, что останется без телогрейки, но ничего, обошлось. Зато на следующее утро не нашел сапог под лавкой, куда обычно ставил их. И старухи не было дома. А если она сама взяла сапоги, что в этом удивительного, почему бы ей, собственно, и не брать их?

Работал целый день в избе — сколачивал бочонок. Строгал сидя, не спеша, и время от времени вокруг его коротких рыжих усов собирались морщинки — дед улыбался. Он уже видел перед собой сани— и, господи, что это были за сани! И это ведь не пустая затея — вон там, под навесом, лежит орех. Лежит он, а сколько таких орехов пропадает на белом свете! В избе старик мастерит

бочонок, чтобы не донимала его старуха, а вот скоро, скоро возьмется он за свои сани. Взглянешь — глаз не оторвешь. И не поверишь, когда он скажет, из чего они сделаны. Ей-ей, есть еще порох в пороховницах!

С трудом приходила весна — казалось, заблудилась где-то. Но, вероятно, нашлась добрая душа, показала ей дорогу, потому что в конце концов зазеленело все во дворе старика, и он был очень рад, что перезимовали они благополучно — и он, и его сани.

Летом старик несколько раз переносил орех с места на место. Когда пекло солнце, выносил его на середину двора, куда днем никогда не добиралась тень, когда хмурилось, прислонял его к воротам, где вольнее было ветрам. И так привык к нему, что знал на нем все сучки наперечет, все выступы, все наросты, и когда ложился по ночам в саду на сколоченную возле старой груши кровать, мысленно начинал его тесать. И все тесал и строгал, пока не засыпали все собаки в деревне, пока не прилетала каждая птичка в свое гнездо, пока не доносил ветер с поля сухой, таинственный шелест кукурузы. Потом начинал все связывать, и к утру ему уже казалось, что видит рядом с собой сани, приросшие и полозьями, и всем своим деревянным сердцем к земле; видит их белые, девственные крылья и слышит, как звенят они на ветру.

И деду Михаилу уже грезилось, как полетят они, стройные, по деревне, проложат много дорог и много прохожих остановится, чтоб полюбоваться ими. Может, не будет уже в живых ни его, ни его старухи, а сани все будут летать по дорогам, и многие пары не расстанутся, покатавшись на них, многие невесты сядут в них и уедут, чтобы уже не возвращаться в родительский дом. И, может, какой-нибудь старичок вспомнит, поеживаясь от холода, что это сани Михаила, и помянет его добрым словом.

К осени, когда все работы по хозяйству были почти закончены, старуха начала все чаще поглядывать на него.

— И сегодня не начнешь?

— Нет, еще не высох орех.

— Как хочешь, но чтобы у меня завтра была новая шаль.

— Есть же у тебя платки!

— Это, по-твоему, платок? Вот что, Михалуц: если к Новому году не закончишь сани, уйду от тебя.

Это не сильно испугало старика — лет сорок она пугала его своим уходом.

Когда стало холодно и люди, здороваясь, уже перестали снимать шапки, старик пошел в свою каморку и начал не спеша готовить иструмент. Наточил большие и малые топоры, стамески, фуганки, так наточил, что поднесешь волосок к лезвию, подуешь чуток — и волосок разлетится надвое. Потом перенес орех в каморку и этим вконец разозлил старушку — она стала наведываться по вечерам в каморку и, видя, что орех еще цел, варила ему такие щи, что больше одной ложки не проглотишь.

До Нового года старик успел только распилить орех пополам, он не начал его даже обтесывать, когда зашел к нему Никулаеш, маленький зажиточный мужичок.

— Это сани?

— Пока орех, но, кажется, пойдет на полозья.

— Через две недели будут с дышлом?

Старик посмотрел на него, удивляясь, когда это он успел напиться с утра.

— Разопьете вы еще целый бочонок, пока мои сани будут готовы.

— Но зима ведь пройдет. Вот-вот весна, а летом ты и пучок зеленого лука не получишь за свои сани!

Улыбнулся старик. Блажен, кто думает шляной!

Когда на улице завыли метели, дед успел сделать только полозья, зато это были полозья, каких еще никто не видывал в деревне, — легкие, гладкие и блестящие, такие, что можно было бриться, глядясь в них.

Никулаеш целый день подпирал стенки его каморки — давал за полозья сколько запросит, остальное, мол, сделает другой мастер. Но старику уже мерещились сани. Целую жизнь тесал он бревна, окоченели все суставы, каждый палец в десятый раз обрастал мясом. Нет, он плотник, он видел уже свои сани, видел запряженную тройку, видел лица, улыбающиеся холодному вихрю, и смеялся, когда Никулаеш звенел монетами, перекладывая их из кармана в карман.

Ну полозья... Да разве в санях одни полозья? За ними появились четыре копылы, такие гладкие и ровные, что соседские дети приходили играть ими. Потом — две лозовые грядки, чуть вогнутые, и никто, кроме него, не подозревал, что именно они сделают сани такими стройными. И оставалось уже не бог весть сколько, да только чем ближе был он к своему чуду, тем больше донимала его старуха.

Чтоб не отравлять друг другу жизнь, старик сколотил себе кровать в каморке, смастерил печку, и теперь редко кто его видел. Степенный, молчаливый, он целыми днями стоял возле своего верстака — и строгал, и тесал, и разговаривал со своими санями, и напевал им старые песни. И были во всем мире только он и его сани, и совершал старик величайшее таинство бытия нашего — таинство труда. А поздней ночью он подносил к подвешенному к потолку фонарю кусок отделанного ореха, и прожитый день казался ему таким же гладким, блестящим и весомым.

Со временем он даже потерял счет дням. Ложился, когда руки коченели до самых ключиц, потом сразу просыпался, разглядывая ожидавшие его сани, — никогда в его плотничьей жизни щепки не летели так далеко. А когда снег перестал хрустеть под ногами прохожих, когда стреха каморки стала обрастать сосульками, дед начал высчитывать, когда он будет работать только обухом топора, собирая сани. Оставалось, по его расчетам, совсем мало, когда в один прекрасный день кто-то постучался к нему. Старик открыл. Вошла старуха. Возле ворот стояла гнедая лошадка, запряженная в санки, и какая-то женщина выносила из их дома разный скарб.

— Я ухожу.

Старик не понял. Сказал, разбирая фуганок:

— Не забудь ключи положить на место.

Но старуха была какая-то странная.

— Я совсем ухожу. Буду жить у сестры.

Упал с громким стуком неразобранный фуганок. Старик поднялся, вгляделся в лицо, которое видел вот уже сорок лет ежедневно. Ужаснулся. Пустая, бессмысленная жизнь ждала его без этого лица, без этих рук. Потом посмотрел на незаконченные сани. Сани ждали его. И понял старик, что без старухи будет жизнь пуста, без саней даже пустой не будет. И сказал старик ласково, тем мягким голосом, который бывал у него, когда он говорил со своими санями:

— Я скоро кончу. Может, даже очень скоро.

— Нет, я ухожу,

В тот день старик не работал. Лег раньше обычного, но чуть свет уже стоял возле своего верстака и строгал при свете фонаря как ни в чем не бывало. Только к обеду вспомнил, что остался один.

«Ну и бог с ней».

Ушла, когда пришло время, и эта зима. Двор высох,

по обеим сторонам забора стали продираться к свету тоненькие зеленые зубки подорожника. Вынес старик все заготовки и начал собирать сани. Работал будто в тумане. Часто пересыхало во рту — вероятно, давно не ел. Тогда он брал кувшинчик: два-три глотка вина — и снова звонко стучит топор.

Первыми прочно легли полозья, потом, после каждого удара, сани все больше походили на те, давно задуманные, но старик старался не глядеть на них: этот миг он берег, им он должен был завершить все дело.

К обеду сани были готовы. Старик собрал стружку, отнес инструмент и разложил все по полочкам. Потом закурил трубку, вышел на порог, прислонился к косяку и посмотрел на сани. Красивые, стройные сани стояли у него во дворе, купалось в них солнце, и казалось, что над землею в этот весенний день пролилась еще одна капля света.

«Красивы, черти... Очень красивы!»

И сел на пороге — стар уж стал, нет мочи. Осмотрелся кругом. Пустой, заброшенный двор. Ветер сломал черешню возле ворот, кошка выбралась через дымоход из избы и теперь, черная от сажи, голодная, ходит по крыше и, завидя прохожего, жалобно мяукает.

Старик с трудом поднялся, стал хозяйничать. Несколько прохожих остановились возле его ворот.

— Что это там?

— Сани. И хорошие сани. Вещь!

— Что толку в них! К чему они весной?!

Улыбнулся старик. Блажен, кто мыслит шляпой!

К вечеру подмел сад, собрал сухие листья, поджег их. И когда разгребал палкой жар, вдруг снова мелькнуло перед ним то белое, стройное и красивое, что померещилось когда-то в детстве. Вздрогнул старик.

«А ведь это были не сани!»

И снова он стал крепким, сильным, каким и в двадцать пять лет не помнил себя. Потом, собирая палкой листья вокруг костра, долго обдумывал что-то, обтесывая, складывая и подгоняя слова.

«Если это не сани, то, должно быть, телега. Телега — это великая вещь! Настоящей телеги еще никто не делал!»

Когда сгорели все листья, старик поднялся и пошел в избу.

«А старуха вернется. Если, конечно, не переманили другие...»

Разговор о погоде

Она приехала ночью, часа в три. Хотела тихонько войти, но дверь была заперта. Подошла к окну, постучала несколько раз, но никто не откликнулся. Подождала немного и позвала детским, обиженным голосом:

— Отец!

Было странно. За все четыре года, с тех пор, как стала приезжать к родителям в гости, она никогда не стучалась. Отец ее ждал всегда. Он спал очень чутким, заячьим сном. Он узнавал ее по тому, как она открывала калитку, узнавал по звуку шагов, и когда бы она ни приехала, дверь была уже открыта, на пороге стоял отец, улыбаясь в темноте, вместе со своей старой и светлой шуткой:

— Сама нашла дом или люди показали?

Девушка еще раз постучала, еще раз позвала отца, но Икима невозможно было добудиться. Аника, его жена, крикнула в темноте:

— Иким, а Иким!

Тихо в доме. Встревоженная Аника выпрыгнула из своей постели, подошла к деревянной лавке в углу, на которой лег Иким вечером. Он лежал на спине с открытыми глазами. Медленно грыз ту же былинку, с которой вернулся вчера из каменоломни.

— Слышь, Иким?

Былинка задумчиво качнулась, но Иким, казалось, ничего не слышал. Аника вздохнула, вышла и открыла дверь. Усталое девичье дыхание и нежный запах духов наполнили комнату. Два огромных чемодана, с которыми уехала она когда-то из дома, затеяли в темноте свару со столом, со стульями. В двух словах девушка высказала всю свою радость, всю свою горечь, всю свою надежду:

— Добрый вечер!

Ответила только мать:

— Добрый.

Обе некоторое время помолчали, опасливо поглядывая в угол, где лежал Иким и грыз свою былинку. Долго продолжалось это молчание, затем оно стало просто невыносимым. Девушка, всхлипнув, взяла свои чемоданы и повернула обратно к той двери, через которую вошла, но

бедная Аника не смогла бы этого пережить. Сказала теплым, обнадеживающим голосом:

— Пойди в ту комнату и приляг. Дай я понесу сундуки эти.

Скрипнула лавка, но они храбро бросились в темноту и, благополучно проскочив мимо, исчезли в соседней комнате. Шептались в темноте:

— Не холодно будет под одним одеялом?

— Нет.

— Две подушки положить или одну?

— Одну.

Дочь улеглась. Аника, ступая на цыпочках, вернулась в свою комнату и остановилась возле кровати. Через полчаса, когда из соседней комнаты донеслось спокойное дыхание дочери, уснувшей после тяжелой дороги, Аника прошептала:

— Иким!

Долго и напрасно ждала ответа. Затем легла. Сказала примирительно, будто заключая долгий и неприятный разговор.

— Все пройдет, все забудется, Иким...

Сказала она все это очень тепло и убедительно, но, несмотря на это, пролежала с открытыми глазами до самого утра, помогая мужу в горьком и тяжелом бдении. Она слушала, как спит дочка, слушала, как скрипит лавка, и молилась про себя, чтобы быстрее настал день, потому что днем и мысли более светлые и сам человек становится добрее.

На рассвете Иким поднялся и вышел на улицу. На пороге выплюнул остатки былинки. Было воскресенье, дел у него никаких не было, но он привык на заре выходить на улицу. Ранним утром на него нападали отчаянные приступы кашля, и он выносил их на улицу, чтобы не беспокоить домашних.

Присел на большой каменной глыбе, сваленной под грушей и служившей вместо скамейки. Мужественно перенес тяжелый кашель старого курильщика, потом, будто назло, закурил. Высокий, с тяжелым, угловатым, точно топором стесанным, лбом, он долго и молча курил, пока не взошло солнце. Посмотрел, как и откуда оно появляется, прикинул, сколько ему за день предстоит пройти. Каблуком притушил окурок, уселся поудобнее, опустил голову и стал ждать. Основные неприятельские силы должны были наступать по двум направлениям, и Иким

временами поглядывал краешком глаза то в сторону дома, то на калитку.

Хотя дочка вернулась глубокой ночью, деревня каким-то чудом разузнала эту новость, и не успела сойти роса, как калитка Икима уже заскрипела. Бойкий женский голос, голос, который, казалось, несет радость и счастье этому дому, наполнил весь двор, все соседние дворы:

— Ты что делаешь, Иким?

Дородная и крепкая баба с румяными, свежими щеками воинственно шла на Икима и, казалось, готова была любой ценой вырвать у Икима ответ на свой банальный вопрос, что он делает.

— Сижу вот, не видишь!

— Дай я тоже присяду.

Иким неохотно подвинулся, уступая ей место, и половина каменной глыбы исчезла под широкой цветастой юбкой. Иоана доводилась двоюродной сестрой доброй половине этого села. Веселая, улыбающаяся, эта женщина очень любила своих родственников, но навещала их, только когда с ними приключались какие-нибудь неприятности. Последний раз она была у Икима лет десять тому назад, когда от накопившейся сажи чуть не занялся дом, и вот она снова в гостях. Присела, улыбаясь приветливо, оглядела весь двор, все хозяйство. Не все ей понравилось, не все ее устраивало, но Иким был ее родственник, и она прошептала, будто речь шла о вещах, известных только им одним:

— Говорят, ушла из института?

Иким был человеком терпеливым. За десять лет работы на каменоломне, дробя огромные глыбы и добывая камень для колхоза, он стал еще терпеливее. Он мог часами предаваться глубокомысленному молчанию и привык принимать в жизни все как есть. Но шепот улыбающейся двоюродной сестры — это было уже слишком. Тяжелый и угловатый лоб его стал пунцовым. Иким ответил нарочито громким голосом, уничтожая предложенную интимность:

— Да, говорят, ушла...

Помолчали еще некоторое время, и Иоана решила исправить первую глупость второй:

— Вот чертова девка! Еще каких-нибудь два года, и стала бы доктором. Ан нет же... теперь что ты с ней будешь делать?

— Скажу жене, чтобы накормила, — должно пришла голодная.

— Ну уж это само собой...

Аника, мотаясь по дому, уловила краешком уха, что речь идет о еде, и поспешила вынести полную тарелку еще теплых плэчинт. Она хорошо знала, когда у Икима аппетит, когда он пропадает, но теперь Иким голодал слишком долго. Она поставила тарелку рядом с каменной глыбой.

— И для меня напекла? — Иоана просительно улыбнулась.

Но Аника была честным человеком.

— Сказать, что именно для вас я их готовила, не могу, но если они вам понравятся...

— Ну что ж, поем...

Иким не заметил этих плэчинт, не слышал, как их расхваливала Иоана. Все сидел с опущенной головой, поглядывая краешком глаза то на дверь, то на калитку, — сердился, что дочь не встает так долго. Был воскресный день, солнце поднялось высоко, а у него было так много родственников в деревне и так всем хотелось прийти послушать, как он будет отчитывать свою дочь.

— Отец! Так, значит, стало быть...

Напрямик, через сад, вымочив брюки в росе до самых колен, шел его сын Михуцэ; шел быстро, распространяя на всю околицу запах лошадиного пота; лет с четырнадцати работая конюхом, он на всю жизнь пропитался этим запахом. Правда, это нисколько его не смущало. У Михуцэ был полон дом ребятишек, бесчисленные долги по всей деревне, но он не унывал; с каждым годом ребятишек все прибавлялось, долги все росли, а сам он неизменно пребывал в отличном расположении духа.

— Стало быть, отец, у вас гости, и нет того, чтобы крикнуть своему родному сыну, пригласить на стаканчик...

Поскольку у Икима чувство юмора решительно отказало, выручила его та же Иоана:

— Он подозревал, что ты и так забежишь.

— Как не забежать, если гости...

Михуцэ уселся на траву, наказав солнцу, насколько это будет возможно, просушить ему брюки. Иоана поинтересовалась:

— Как там твои ребятишки, Михуцэ? Сколько их?

— А бог их знает? Не то семь, не то восемь... Надо жену спросить, она у меня ведает этим учетом.

— А с долгами как? — не унималась Иоана.

— Долги что? — ответил беспечно Михуцэ. — Дадут в колхозе две премии подряд — долгов как не бывало... Важно только, чтобы подряд...

Они долго еще беседовали о том о сем, но Иким не вымолвил ни слова, — должно быть, и не слушал, о чем они толкуют. Все сидел с опущенной головой, поглядывая на калитку, на дом, а то стал уже косить глазом и в сторону сада. Всем детям своим он построил дома рядом, и ходили они к нему прямо через сад, каждый по своей тропинке. Михуцэ по своей уже прошел, оставалось еще две. Из глубины сада, из-за высоких орехов, донеслось:

— Ты куда? К отцу?

— К нему.

— Погоди, я тоже забегу.

И вот две его дочери уже заспешили к каменной глыбе. Старшая, Марина, вела за ручку трехлетнего мальчугана, любимца приехавшей из города студентки. Другая, Зина, смугленькая и низкорослая, шла быстро, плавно, будто плыла по саду, и тревожно глядела в сторону отцовского дома — она не могла переносить неприятностей и делала все возможное, чтобы избежать их. Должно быть, ей почудилось, что ссора уже в полном разгаре, — она быстро подошла, поздоровалась, тут же присела возле тарелки с плэчинтами и стала их уплетать.

— Сколько лет прошло, как вышла замуж, а мамина стряпня мне нравится больше своей. Правда.

Иоана и это встретила улыбкой.

— Ничего, отвыкнешь.

— Нет, уж вряд ли...

Подошла Марина со своим сыном. Мальчик был опрятно, даже нарядно одет — отец его работал продавцом в сельмаге, — Иоана, естественно, не могла не поговорить с мальчиком.

— За сколько этот костюмчик тебе купили?

Мальчик сопел, косился на тарелку, и Иким молча взял одну плэчинту, разломил ее пополам и дал ему одну половинку, а другую Марине. Парнишка молча стал есть, но Марина отказалась, положила свою половину обратно.

Иоана увидела в этом хороший предлог для большого разговора.

— Бедный отец — один просит, а ему негде взять, другому дают, а он не хочет брать...

Михуцэ не видел в этом особых неудобств.

— Не беда, пусть делит. У старика много всего. Эти камни, хоть и трудно их ворочать, но копейка идет...

— А чего же ты не пойдешь туда? — спросила Марина.

— Я не переношу взрывов. У меня глаза закрываются, когда слышу взрыв...

Говорят, хороший день можно узнать по восходу солнца, но это не всегда так. Хоть восход солнца и был в то утро ясным и светлым, вдруг откуда-то подул сильный ветер и погнал громады черных туч, сбивая их над деревней в сплошную серо-черную жуть. От одного ее вида стало зябко. Михуцэ любовно обнял свои мокрые колени. Зина накинула платочек на плечи. Марина нашла себе затишок, только Иким не двинулся с места — сидел с опущенной головой, и казалось, что ему все эти страхи небесные нипочем.

Аника побежала к соседям и минуту спустя вернулась с зеркалом — эти соседи так привыкли к их зеркалу, что уже лет пять подряд пользовались им.

Все сидели молча, дав ей умыться, затем еще немного помолчали, чтобы она могла заплести косы. Уже, казалось, ей давно пора было выйти, но ее все не было, а они все сидели во дворе под грушей и молчали. По дороге шли люди — почему-то они облюбовали сегодня эту улочку; шли даже те, которые в жизни не ходили по ней. У ворот Икима замедляли шаги и были настолько добры, что здоровались. Это бесконечное «доброе утро» звучало примерно так: «Ну что же ты будешь делать, Иким? Вырастил, выкормил такую семью, а вот младшая взяла да подкачала...»

Всем прохожим отвечала Иоана. Ее бойкий, улыбающийся голос будто говорил им: «Вы не беспокойтесь, идите своей дорогой, а мы уж тут управимся... Вон сколько нас собралось!» После каждого такого ответа она самодовольно разглядывала Икима: дескать, видишь, какие услуги я тебе оказываю? Но Иким не замечал ни ее услуг, ни ее самое.

— Доброе утро!

Стройная и красивая, в нарядной шерстяной кофточке, в туфлях на высоких каблуках, дочь шла легко, как будто ей ничего не стоило вот так взять и пойти куда захочется. За ней шла Аника и не дышала от счастья, горя и страха — все в ней как-то удивительно смешалось, и она упрашивала глазами, чтобы все были подобрее с этой девицей, потому что любая обида, нанесенная ей,

поразит прежде всего Анику, а она уже стара, уже отжила свое, и не следовало бы ее обижать.

Старшие сестры и даже сама Иоана залюбовались студенткой. Иким, не поднимая головы, ответил громко за всех:

— Доброе утро!

Затем выпрямился, сурово посмотрел. Ничего, красива. Здесь, в этой деревне, где так много труда и забот, где столько солнца, столько дождей, она бы никогда не стала такой красивой.

— Аника, принеси ей стул.

Девушка присела на краешек, робко посмотрела на багровый угловатый лоб отца, и вся ее смелость, с таким трудом накопленная, улетучилась вмиг. Сэндуцэ, ее любимчик, подошел, прислонился к ней, что-то прошептал, но она ничего не слышала. Опустила голову и только гладила его по макушке.

Иким стал рассовывать свои огромные руки по карманам, но то ли руки оказались слишком велики, то ли карманы слишком малы — это ему никак не удавалось. Он злился на себя, злился на руки, злился на карманы; всех как-то заинтересовала эта возня, и все стали следить, гадая про себя, чем все это кончится. У Икима были странные и некрасивые руки: большие, волосатые, со старыми и новыми ссадинами, с ногтями, которые росли как вздумается, в общем руки старого каменолома, и вся деревня находила несказанное удовольствие рассматривать их. Икиму это не очень нравилось, он старался держать свои руки подальше от людского любопытства, и когда собиралось слишком много народу вокруг, он первым делом пытался упрятать их куда-нибудь. С горем пополам он засунул руки в карманы, но, подумав, вытащил обратно, опустил на колени — пусть отдыхают, пусть греют свои ссадины на солнышке.

Да, это были они, многострадальные, натруженные руки Икима Вэкару. Что из того, что они, может, не очень красивы? Зато эти руки, такие вот, какими вы их видите, выкормили, выходили большую семью. Сколько дорог, сколько школ, сколько домов выстроено из камней, добытых этими руками, даже барышню со всей ее красотой, и нарядной кофточкой, и с туфлями на высоких каблуках выходили эти руки, за все они заплатили своей кровью, своим потом, своими многочисленными ссадинами.

— Бедный отец...

Михуцэ был искренне тронут. Он хотел тут же начать разговор о родительских подвигах, но Иким как-то из-под бровей посмотрел на него, и Михуцэ умолк.

Ветер утих, огромная серо-черная туча стала спускаться на село — казалось, вот-вот обрушится на крыши.

Сидели тихо, поеживаясь, и молчали.

Наконец Марина не выдержала и спросила:

— Ну, отец, что же ты теперь скажешь?

Бесцветные старческие глаза Аники замерли. Девушка в нарядной кофточке быстро-быстро ласкала макушку Сэндуцэ, будто боялась, что он вот-вот заплачет. Несколько прохожих пожелали им доброго утра, но никто не ответил. Вдруг Иким поднял голову, метнув в кого-то невидимого острый взгляд, спросил сердито:

— А что мне сказать?

Бедная Зина, она не переносила ссор и сделала отчаянную попытку спасти положение.

— Как ты думаешь, отец, пойдет дождь? — пролепетала она скороговоркой.

В одно мгновение это всех заинтересовало, всем, казалось, крайне необходимо было знать, пойдет дождь или нет, а Иким казался тем единственным человеком, во власти которого была судьба погоды. Только он решал, быть дождю или нет.

— Дождь будет, — сказал Иким.

Это никому не понравилось, однако Иким сказал с такой уверенностью, что никто и не пытался переубедить его.

Помолчали. Марина неожиданно вздохнула:

— Когда меняется погода, у меня очень болят ноги. Все это лето мучилась, может, не поверите, но, ей-богу, все лето ходила калекой.

Иким посоветовал:

— Спиртом натри. Помогает.

Марина горько усмехнулась.

—Отец, всю кожу сожгла спиртом, да что толку?

Аника тяжело вздохнула — ведь Марина была ее дочкой.

— Бедняжка!..

Иоана сползла с каменной глыбы, подошла, ощупала ноги Марины. Сказала специально для Икима:

— У нее жуткий ревматизм.

Иким, казалось, не слышал, но через некоторое время сказал:

— Ничего, переживет.

Зина, которая была безучастна к разговору о ревматизме сестры, вдруг вспомнила:

— Отец, перестань ты со своим дождем! Мой Андрей начал перекрывать сарай. Что же будет, если польет дождь?

Бедная Аника попробовала заступиться:

— Иким, им надо перекрыть сарай.

Иоана добавила:

— Если пойдет дождь, сарай развалится.

— Будет дождь, — сказал Иким. Затем, помолчав, посоветовал дочери: — Ты передай Андрею — пусть раскрывает не все сразу. Сначала одну сторону перекроет, потом другую.

— Ну на это и у нас ума хватит, — сказала Зина разочарованно. — Я думала, чтобы, может, как-нибудь без дождя...

— Дождь будет.

Стало тихо. Обе старшие дочки сидели обиженные, обижен был и Сэндуцэ — его уже больше не гладили, и он не понимал, чем, собственно, провинился. Все три сестры стали краешком глаза поглядывать на Михуцэ: в конце концов брат он им или не брат? А если брат, то как он может терпеть, когда его сестер обижают? Михуцэ закурил, закатал свои мокрые брюки и воинственно кинулся в бой:

— Отец, а если вместо дождя будет буря? Нужна эта буря мне, или вам, или, может, колхозу нужна?

Иоана сказала убежденно:

— Погибнут все сады в колхозе.

Заботы Аники были куда скромнее. Поглядев опасливо на свой садик, она сказала:

— Иким, и у нас есть несколько молодых саженцев. Ты ведь сам сажал их, поливал...

Иким молча встал, пошел в сад посмотреть саженцы. Все облегченно вздохнули — слава богу, наконец сдвинулся с места. Следили, как он хлопочет возле своих саженцев; были они щупленькие и жалкие — и листиков мало, и веточек мало, и земли было как-то мало для них.

Вернулся Иким огорченный. Угловатый, необтесанный лоб стал серым, землистым. Уселся на каменную глыбу и повторил коротко:

— Будет дождь.

— А если буря? — переспросил храбрый Михуцэ.

— Пусть будет буря, — неумолимо сказал Иким.

В эту минуту он стал для всех каким-то чужим, было

и жалко и боязно его. Сам Иким, вероятно, тоже почувствовал свое одиночество и, может, для того, чтобы вернуть себе семью, а может, просто ради истины, сказал:

— А вы думаете, садам не нужны бури?

— Зачем они нужны? — поинтересовался Михуцэ.

Иким улыбнулся и, к великому удивлению всех, сказал тихим, ласковым голосом:

— Буря нужна для того, чтобы сады крепли. Она согнет их, попытается сломать, вырвать с корнем. А у деревьев, между прочим, тоже есть своя боль, своя память, свое соображение, и когда стихнут бури, они по ночам начнут сверлить землю корнями, уходя вглубь, чтобы выстоять на будущее...

— А если слабенькие деревья погибнут?

— Ну так что ж... На их место станут другие, покрепче. Так строится сад, и жизнь так строится.

В первый раз за этот день Иоана не улыбнулась. Сказала жалостливо, осенив себя крестным знамением:

— Какой жестокий, боже ты мой!..

— Он слишком стар, — сказала Марина.

— Третью ночь человек не спит, — попыталась оправдать его Аника.

— У него две контузии... — неизвестно зачем сказала Зина.

Только Михуцэ что-то долго медлил со своим мнением. Потом вздохнул:

— Это чистая правда, сестрички...

— Ты тоже за бурю?!

— Я за крепкий сад.

Он поднялся. Это была давнишняя мысль Михуцэ о жизни, только он ее не мог выразить. Теперь эта мысль ожила, у нее были кости, мясо, свое сердце. Михуцэ медленно пошел по своей тропинке и нес эту великую мысль, как несут маленького ребенка, а уж детей он умел носить — их у него был полон дом...

Тихо шепча, крестясь и подметая траву своей широкой цветастой юбкой, ушла Иоана. Никому не сказала «до свидания», никто не пожелал ей счастливого пути.

Оставшиеся сестры попробовали своими силами вернуть Икима к разговору о погоде, но ничего из этого не вышло. Беседа была окончена, Иким поднял из травы другую былинку, медленно стал жевать ее, и сестры ушли. Сэндуцэ, высоко подняв над головой кусок плэчинты, ушел за своей мамой.

Теперь они сидели втроем — отец, мать и дочка. Си-

дели, и неизвестно, зачем они сидели, раз уж все сказано, все решено. Вдруг из сада прибежал Сэндуцэ, не добежав, бросил недоеденный кусок плэчинты и побежал было назад, но Иким властно окликнул его. Мальчик робко подошел.

— Ты зачем бросил кусок?

— А я больше не хочу.

— Ну не хочешь, так надо было положить. Зачем швыряться хлебом?

Иким встал, подошел к мальчугану, спустил штанишки и, взяв хворостинку, огрел его несколько раз. Девушка в нарядной кофточке вся съежилась. Аника бросилась было выручать внука, но он уже бежал по саду, одной рукой поддерживая штанишки, а другой вытирая обильные слезы.

Иким устало, будто ударить той хворостиной требовало неимоверных усилий, сел на камень, вытер выступившую на лбу испарину.

Девушка сказала тихо:

— Отец...

Иким посмотрел на нее удивленно: что она, собственно, хочет сказать? Взгляд его был таким хмурым, тяжелым, каменным, что девушка не могла больше вымолвить ни слова. Иким посидел еще некоторое время, затем поднялся и, медленно жуя свою былинку, направился в дом.

Оставшись наедине с дочкой, Аника спросила в ужасе:

— Что же ты наделала, доченька?

— Я не могу больше видеть тот институт. Убейте, но не могу.

— Да почему же?!

— Мы с ним расстались, и я не могу видеть его что ни день. Не могу, потому что я его больше не люблю.

— А он может?

— Он может, потому что он все еще любит меня.

Аника пораскинула своей крестьянской смекалкой.

— А тогда ты тоже подружись с ним. Не навсегда — избави бог, только на то время, пока институт не кончишь. А там — до гробовой доски, как говорится...

Девушка заплакала. Вслед за ней прослезилась и Аника. Долго просидели они возле той каменной глыбы и тихо всхлипывали. Затем Аника, решительно поднявшись, сказала:

— Довольно реветь... Пошли со мной...

Как-никак она была его женой. Она прожила с ним

жизнь. Она насмотрелась, как он жует былинки. Вошла решительно, сказала сердито и властно, насколько это было в ее силах:

— Послушай, Иким...

Он лежал на лавке с закрытыми глазами, и былинка уснула на его груди. Они тихонько вышли на улицу, уселись в уголке сада, где их никто не видел, и почти до самого вечера шептались. Когда солнце стало спускаться к закату, Аника вошла в дом на цыпочках, взяла оба чемодана и так же тихо, на цыпочках, вышла. Во дворе открыла один, уложила оставшиеся плэчинты и пошла провожать дочку. Вернулась поздно, спотыкаясь и все время вытирая заплаканные глаза.

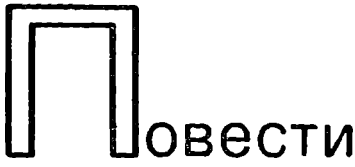
Ну хорошо, скажете вы, а как же было с дождем? Шел он или не шел? Был просто дождь или буря?

Это не имеет значения. Мог быть дождь, а мог не быть. Могла быть даже буря, могло ее и не быть. Ведь это всегда так: то пойдут дожди, то прояснится, вот уже стоит хорошая погода, и вдруг опять пойдут дожди.

Хотя, если уж на то пошло, нужно отдать справедливость Икиму — спустя недельку пошел дождь. Пошел он как-то под утро, едва захватив одну часть села, а после полудня Иким получил известие, что его дочка снова учится в институте.

Поздней осенью, опять ночью, она приехала к ним в гости. Пришла с одним только чемоданчиком. Оставила его у порога и пошла к окну, но так и не постучалась. Едва подняла руку, как скрипнула дверь. Стоя на пороге, из темноты улыбался Иким, и она услышала его старую светлую шутку:

— Сама нашла дом или добрые люди показали?





Недолгий век зеленого листа

О зеленом я пою, и снова о зеленом...
Народное

Ткала ковер Русанда...

И снует, и беснуется, и свищет челнок, а она все молчит, молчит, молчит. Да и какое тут, господи, пение!

Когда она была еще маленькая, бабушка ее поучала — люди, мол, страдают из-за своих долгов. А если б они не одалживались, то спали бы вволю, пекли каждую субботу плэчинты и вообще жили бы припеваючи. Так говорила бабушка, а она, дурочка, слушала ее разинув рот и потом неслась во весь дух к подружке отдать взятую на днях промокашку и удивлялась, что ее будят ни свет ни заря, а о плэчинтах нет и помину. И вот за всю свою жизнь — а Русанде уже семнадцать, и если ей чуточку меньше, то скажите, пожалуйста, кому какое дело? — она ни у кого ничего не занимала. А то еще сама другим дает — во всем селе только у нее есть розовые нитки, и она раздает их всем, кто попросит. Ну а что толку? Долгов у нее нет, но сколько у нее горя, господи, сколько у нее разного горя!

Хотите — верьте, хотите — нет, она уже взрослая, но косички... что у нее за косички! Заплетет — подружки говорят, что лучше бы распустить их, а распустит — советуют снова заплести. И все растет, так растет, что не успеет сносить одно платье, а оно уже коротко, надевать нельзя, и худенькая, такая худенькая, что кто-то спросил ее на днях, каждый ли день она ест.

И сколько народу ее спрашивало, и скольким она сама объясняла, что ей уже семнадцать — будто все оглохли или нарочно хотят ее подразнить. Что ни день, хлопают калиткой какие-то девчонки-школьницы, которые хотят, чтоб им помогли по арифметике, если ее отец дома, а если его нет, то просят научить танцевать польку. Парни даже не замечают ее, когда она проходит мимо, а сосед Васыле как придет, обязательно поймает пальцами за нос и прямо как маленькую спрашивает, кого она любит.

И крутится, вертится, и свищет челнок, но дрожат и волнуются нити...

Всю прошлую зиму она пряла. Торопила свою нить, чтобы побыстрее закончить, — ткать она уже будет после того, как выйдет замуж. И так она хорошо наматывала пряжу и складывала мотки в большое старое сито, а время шло, и катились мотки, а за ними и лето пришло... И снова зима, и из мотков она уже ковер соткала — дни бегут, весна вот где-то рядом, а бадя Георге все не посылает сватов...

И никак она не поймет, что он делает по воскресеньям, — нигде его не видать, и не знает, кто ему вышил тот голубой платочек, потому что очень плохо вышил, — не надо бы ему носить такой платочек, и еще она не знает, почему, встречаясь с ней, он все спрашивает, как поживает ее отец, а не придет сам спросить его об этом.

Что бадя Георге любит работать, это знают все, но зачем же уходить в поле на рассвете, приходить ночью и жить гостем в своем селе? Пусть говорит кто что хочет, она тоже не белоручка, и после того, как поженятся, они будут работать оба с ночи до ночи. А если вы хотите знать, она и ночью может работать — перед рождеством рисовала цветочки на печке; рисовала их пока совсем не рассвело, и спать почти совсем не хотелось.

И будет у них свой домик, и кружевные занавески на окнах, а на стене повесят этот ковер с двумя георгинами, а на пол дорожки постелют. И не дай бог, отец, когда придет к ним в гости, забудет обтереть ноги у порога, — как она его отчитает, хоть он ей и отец!

А нити бегут и бегут, за красными идут розовые, и цветут перед ней георгины — два георгина. Ну а какой толк, что их два?

Каждый вечер, ложась спать, она забирает под одеяло свое платьице — что, если рано утром зайдет бадя Георге за топором или за лестницей и увидит, что она еще спит! А днем прячет за зеркалом коробок со спичками — что, если придет бадя Георге, свернет цигарку, а матери будет жалко спичку, заставит уголек в печке поискать. Но мялось платье под одеялом, мать находила спички за зеркалом и страшно удивлялась: как они туда попали? И невелика беда — есть у нее еще платья, и спички найдутся, но только дни летят, летят, как будто ветер подхватил их и гонит, и гонит, и гонит, а что там, впереди, — одному богу известно...

И кому пожалуешься, если жаловаться некому, и что

бы такое придумать, когда придумывать уже нечего, и сколько ждать — ну сколько можно ждать?! Ах, бадя Георге, бадя Георге...

1

Мороз ли, дождь ли, ветер ли, каждое утро на маленьком мосту за селом, вырастают две крошечные фигурки. Девочка лет шести, неумело закутанная в старенький платок, — видно, сама одевалась, и мальчуган, прячущий уши в воротник — шапка мала. Оба худенькие, озябшие, и трудно сказать, кто из них старше.

Девочка старательно глядит на пустынную дорогу, что спускается к селу, — узкая весенняя дорога, не дорога, а сплошное месиво. А мальчик сутулится, смотрит куда-то вверх, норовя получше запрятать уши в воротник.

Холодно, сыро, ветрено. Девочка дышит на руки и упрямо не отрывает глаз от дороги. Когда руки у нее коченеют так, что она не может поднести их ко рту, она просит братца:

— Бэдица * Лисандри, погляди и ты немножко.

Бэдица косится на дорогу.

— Никого там нет...

— Тогда дай мне твой карман, я руки погрею немножко.

Завладев карманом, девочка блаженно улыбается.

— А если сегодня мы получим письмо, дашь мне понести?

Парнишка, пробует натянуть шапку на уши.

— А мы оба понесем. По очереди.

Чуть позже к мосту спускается тетка Артина, здоровенная женщина с вилами под мышкой.

— Господи, да что же вы, малютки, притащились чуть свет?

Девочка на миг, оставляет дорогу.

— А если мы целую неделю ничего не получаем от отца?

— Ах ты, господи, да они совсем замерзли, эти дети!

Артина снимает с себя платок и закутывает в него девочку, а мальчика прижимает к себе и тормошит, чтобы согреть немного.

Девочка счастливо улыбается из-под теплого платка.

— И ваш тоже ничего не пишет?

---

* Бэдица — ласкательное от бади.

— Не пишет, доченька. То в госпитале был, а теперь вылечился, и обратно отправили.

Хотела сказать еще что-то, но внезапно смолкла — на мосту появился мош Андрей в старом, искусно залатанном кожухе. Молча встал, оперся на свою длинную палку и меряет старческими выцветшими глазами уходящую вверх дорогу. С полгода назад получил он известие, что единственный его сын погиб на войне, и с той поры старик никому не скажет «доброе утро» и не ответит, если с ним поздороваются. Только каждый день приходит сюда и стоит в стороне, ждет: может, почтарь выкрикнет когда-нибудь и его имя. Всякое ведь может случиться.

Под вечер, когда паренек с большой брезентовой сумкой появляется наконец на пустынной дороге, возле моста его поджидает добрая половина села. Почтарю освобождают место посредине, у кого пальцы не застыли, свертывают ему цигарку, кто повыше ростом, становится у него за спиной, заслоняя от ветра, а тетка Артина кладет себе на колени брезентовую сумку, от которой, кажется, пахнет окопами, йодом, пороховым дымом.

— Кэруцашу Анастасия!

Девочка, что пришла первая, быстро пробирается сквозь толпу, — один бог знает, как это ей удается, — и растопыривает ручонки, так как уже не в состоянии что-либо держать в них.

— Засуньте мне его сюда, под платок.

Едва успевают запрятать письмо, как девочка исчезает, но почтальон зовет ее снова:

— Погоди, есть еще.

Девочке прячут и этот треугольник, но она не трогается с места.

— Чего стоишь?

— Вы посмотрите, должно быть еще одно. Должно быть.

Внезапно среди треугольников, сложенных из тетрадных листиков, показался пепельного цвета, сложенный вдвое листок — один из тех, после которых никогда уже солдат не напишет, никогда не ступит на порог родного дома.

Становится тихо, и только внизу, под настилом моста, одиноко и отрешенно журчит ручеек. Тетка Артина чуть слышно шепчет:

— Господи... кому это?

Почтальон низко опускает голову, что-то очень уж долго разбирает адрес:

— Зынел Кожокару.

Замирает ручеек. Потом тихий голос деда Андрея:

— Ихних нет.

Тетка Артина рукавом вытирает глаза.

— Бедный баде Зынел! Не сынок у него был, а дубок, что за сын...

Через час весть облетела все село. И жалели его старики — хорошим был парнем, и жалели его парни — хорошим был товарищем, и жалели его девушки — был он еще и красив.

И все ждали, ждали с трепетом, когда распахнется настежь дверь хаты на берегу пруда, где живет Зынел, и заголосят, и разнесется по селу невозможное материнское горе.

Но смеркалось, темнело, а в селе было тихо. Только стрехи роняли свои холодные, скупые слезы, и ветер скулил на краю села, боясь выйти в поле, навстречу ночи, и небо низко склонялось над селом, тихо лаская сырые соломенные крыши.

2

Накануне, в пятницу, бадя Зынел бегал к соседям узнать, много ли еще осталось до Берлина, но на газетной карте Германия была без столицы. Стали искать ее по соседним странам и так искали до самых сумерек. И только когда стемнело, бадя Зынел вспомнил, что скотина у него не поена, — бедные животные, владей они речью, много горьких истин узнали бы мы о себе.

Пошел прямиком, через сад. Снял из-под застрехи большие ведра и едва успел выйти на дорогу, как очутился лицом к лицу с почтальоном.

— Вам телеграмма, бадя Зынел.

Сначала казалось, что он не совсем понял, о чем речь. Оглянулся вокруг, выбирая сухое местечко, чтобы поставить ведра, но в марте сухо бывает только на печке, — повесил их на торчащий из плетня сучок и вытер руки.

— Телеграмма, говоришь?

— Телеграмма.

— А может, это Захарии?

Предупреди человека вовремя о надвигающейся беде, и ты убережешь его от лишних страданий. Бадя Зынел обладал тем преимуществом, что его родной брат имел одинаковые с ним инициалы. И когда беда стучалась в

двери бади Зынела или его вызывали в суд или на военные сборы, он прежде всего выяснял, не касается ли это его брата. Какое-то мгновение уходило на проверку, но ему больше и не требовалось, чтобы собраться с духом.

— Нет, это вам.

Бадя Зынел спрятал телеграмму в шапку, снял с плетня ведра и с пустыми вернулся во двор. У порога остановился, его начало лихорадить — этого ему только и не хватало, телеграммы!! Чтобы немного прийти в себя, взял с завалинки деревянный скребок и принялся счищать грязь с сапог.

Уж скоро год, как они отнесли вещи Тоадера в каса маре, скоро год, как серая кобыла опять стала лягаться, скоро год, как они втроем поехали на станцию, а домой вернулись вдвоем.

И не то чтобы он не сумел проводить сына по-человечески. Заняли денег, сколько смогли, дали ему на дорогу и насильно сунули в котомку единственную в доме бритву. И он сам повез сына на станцию. Но на станции уже не был ему отцом.

Бадя Зынел имел обыкновение, провожая куда-нибудь сына, обязательно загрузить его советами. И не какими-нибудь, а мудрыми, хотя теперь, когда кругом все горит, откуда та мудрость возьмется?! Целые сутки — столько, сколько собирали они Тоадера в дорогу, — он шагал по двору, надвинув на глаза шляпу, и подбирал слово за словом те несколько советов, без которых, как он думал, Тоадер не мог тронуться в путь. На второй день, выйдя смазать телегу, он решил, что советы готовы. Даже зашел в хату. Но Тоадер еще спал, и он не решился его разбудить.

Потом пришли несколько парней, два-три родича, живущих поблизости. Жена, готовя котомку, стала так причитать, что душа застывала, и бедному Тоадеру было не до советов. До станции сын шел за телегой рядом с девушкой, с которой дружил, и бадя Зынел оставил их в покое. Время еще терпело...

Но не успели они выйти на перрон, как показался длинный поезд с мокрыми вагонами: лил дождь в тех краях, откуда он пришел.

Бадя Зынел считал себя человеком бывалым — сам поездил по свету и тоже в поездах, но никогда ему не приходилось видеть, чтобы в солнечный день поезд приходил на станцию мокрый. Огляделся, соображая, в чем

тут дело, и вдруг ему показалось, будто и станция уже не та.

В это время поезд тяжело вздохнул, медленно трогаясь с места. Тоадер нагнулся поцеловать отцовскую руку, и бадя Зынел в суматохе едва успел чмокнуть сына в макушку. Потом, идя рядом с вагоном, выкрикнул несколько слов: чтобы сын был осторожным, когда придется слезать с поезда и залезать обратно, и не держал бы все деньги в одном кармане. Тоже мне, советы...

Целый год не мог бадя Зынел найти себе места — все казалось, что именно сейчас, в эту минуту, сын попал в беду и не знает, как ему быть, потому что не выпало ему счастья иметь настоящего отца, как у всех людей. И когда приходило письмо от сына, у него дрожали руки, и он расспрашивал всех, в самом ли деле это почерк Тоадера. И каждый вечер смазывал дегтем сапоги, чтобы было в чем ходить к мосту — кто знает, сколько будет еще длиться эта война?..

И вот принесли телеграмму.

Уже совсем стемнело, когда вошел он в хату, — один сапог вычистил, а другой так и остался облепленным грязью. На припечке потрескивал ночник, на настенном ковре играл розовый зайчик — отсвет из печной топки. Бадя Зынел секунду молча постоял на пороге. Услышал жужжание веретена за печью и скинул кожух.

— Домника! Поди сюда!

— Снять сапоги?

— Телеграмма пришла.

Стало тихо, будто дом внезапно опустел.

Только в печи, закипая, гудел горшок и жалобно потрескивал ночник, облизывая капелькой огня масло вокруг. И чтобы не слышать этого, бадя Зынел сказал:

— Телеграмма от Тоадера.

В один миг Домника была уже внизу, а в следующее мгновение, прижавшись щекой к печке, у самого починка, читала:

«В ночь на шестнадцатое проезжаю Бельцы приезжайте если можете Тоадер».

— «Если можете...» — повторила тетушка Замфира, вытирая слезы. — Сыночек ты мой...

От сына, от Тоадера. Только Тоадер мог знать, что у них всего одна исправная пара обуви на весь дом, что рыжая кобыла вот-вот ожеребится, что до Бельц целых тридцать верст, которые весной так просто не одолеешь ни на санях, ни на подводе, ни пешком.

«Если можете» — и посреди хаты уже стоит черноволосый парень, улыбается — и жизнь светлей, и в дом, в который он входит, все село войдет за ним, а запоет, так рассыплются песни вокруг.

«Если можете» — и хата кажется просторней, и бадя Зынел помолодел, и Трофимаш парень хоть куда.

— Поедем?

Тетушка Замфира подняла к мужу свое кроткое лицо с двумя мокрыми полосками на щеках и умоляюще глядела на его обмякшие рыжие усы.

— Как не ехать? Только... Домника, какое сегодня число?

Стали искать календарь, но календарь куда-то запропастился, и в конце концов из-за печки появилась стриженая головка Трофимаша, головка, которая еще не знала, что такое календарь.

— А какой он с виду?

— Желтый. Картонный.

Трофимаш достал его из своих скрытых запасников. Жалко было, конечно, — он собирался сделать из него человечка, который бы махал руками, когда его дергаешь за ниточку, но если календарь теперь нужен, то он его разрежет потом.

Было четырнадцатое число. Стало быть, выезжать нужно до рассвета, пока дорога хоть немного подморожена.

— Так что же, собираться?

— Само собой! — И бадя Зынел уселся на лавку.

Принесли из каса маре лампу, на донышке которой еще плескался керосин. Зажгли ее. Домника носилась взад-вперед по хате, Замфира пила новую котомку.

Только бадя Зынел молча сидел на лавке — так и сидел в одном чистом, в другом грязном сапоге. Ржали непоеные лошади. Домника прошла мимо с полным ситом и просыпала ему на колени муку, а он все сидел, уставившись на свои сапоги. Снова подбирал слова, составляя те несколько советов, которые не были сказаны вовремя и которые целый год давили ему на сердце, так что ни сон ему не в сон, ни дом домом, ни еда едой.

А они не составлялись. На душе было тревожно, было тяжко на душе, и, сидя на лавке, он, может, подозревал, а может, и не подозревал, что на место одной беды могут нагрянуть другие.

Война есть война.

3

Заботы торопят человека, и если Трофимаш покидает свою печку, значит, есть и у него свои заботы.

Нашел недавно в сенях пятикопеечную монету, а отец не хочет ему сшить кошелек, куда бы он мог ее спрятать; сняли с него сапожки и отнесли к сапожнику, а за ними никто не хочет пойти, и он сидит на печке так долго, что даже воробьи перестали его бояться и целый день бегают по завалинке, а вчера один забрался прямо в сени; сегодня вытащил из стенки гвоздь, потому что очень нужен был гвоздь, а Домника надрала за это уши.

Некому сшить кошелек, не у кого гвоздя попросить, некому спасти от рук Домники.

Единственная радость осталась у Трофимаша — письма. Целыми днями сидит он, прижавшись носом к оконному стеклу, и ждет, когда появится на улице бадя Миша со своей брезентовой сумкой. Пока читают письмо, ему дают подержать конверт.

И сегодня вечером, когда принесли телеграмму, Трофимаш попросил конверт, и когда ему сказали, что телеграмма пришла без конверта, у мальчика слезы навернулись на глаза: неужели бэдица Тоадер забыл про него?

Когда же в доме наступает предотъездная суматоха, Трофимаш, недолго думая, слезает с печки и помогает Домнике поставить горшки на огонь. Когда горшки уже в печи, просит прочитать еще раз телеграмму.

— Я же только что читала. Где у тебя были уши?

Трофимаш щупает свои уши.

— А что, бэдица приезжает с орудией?

— С орудией! Не мешай, а то перекипят горшки.

Трофимаш лезет обратно на печь. Он так и думал, что бэдица приезжает с орудией. Говорит же отец, что его везут на фронт. Из чего же он там будет стрелять, если не взял с собой орудию?

Значит, сперва надо подумать, что захватить с собой в дорогу. Взять его, конечно, возьмут! Во-первых, кто же будет следить, чтобы не соскочила шина с переднего колеса? Во-вторых, и с задними колесами тоже не все там в порядке.

Взять-то его возьмут, только надо, чтобы он вовремя собрался. Значит, дай-ка он сообразит, чего ему нужно. Во-первых, камешки — прошлой осенью он научился бросать их так, чтобы они прыгали по воде. Если там будет

хоть какой-нибудь пруд, он покажет бэдице, как это делается.

Потом ему нужна другая пуговица — та, что на штанишках, может оторваться, и как бы отец не отослал его из города обратно домой, к Домнике, пришить другую пуговицу. И еще нужно разыскать билет, с которым мама ездила на поезде в позапрошлом году, — кто-то ему говорил, что у кого нет билетов, тех гонят с поезда или везут прямо в тюрьму.

Пуговицы он не нашел. Срезал со старой рубашки маленькую пуговку и сунул ее в карман — авось найдет в городе мальчишку поглупее и обменяет ее на большую.

Но не мог разыскать билета, и, кроме того, у него стали слипаться глаза. Не попал ли билет в подпечье? Трофимаш вытянулся на теплой печке, чтобы пошарить в подпечье рукой, и в тот же миг заснул.

Снились ему какие-то дороги. Две лошади играли в мяч. Потом отец отворил ворота, и во двор к ним въехал поезд. Из вагона вышел его бэдица с пушкой в руках. Поставил на землю и стал показывать Трофимашу, как из нее стреляют. Тут появился невесть откуда фашист и погнался за их телкой. Трофимаш прицелился в него из пушки — б-бах!

Со скамейки с грохотом упало ведро, и наш артиллерист проснулся. Свесил голову с печки, да так и окаменел — мать, уже одетая в дорогу, стояла посреди комнаты и наставляла Домнику:

— Не пускай пеструю квочку нестись в яслях. А вечером кого ты позовешь спать к нам?

— Позову Русанду.

— Только хорошенько запирайте двери и рано ложитесь — теперь разный народ шляется по дорогам.

«Забыли про меня!» — ужаснулся Трофимаш. Одним прыжком он оказался на полу и в тот же миг скрылся под кроватью. Вытащил оттуда две большие старые калоши, непарные к тому же, и стал веревочкой привязывать их к ногам — слетят еще, пока залезет на подводу.

Шапку он нашел сразу, а пальтишко не мог найти, — видно, тоже отнесли к сапожнику в починку. Трофимаш стянул с печки старый отцовский зипун и сразу же с головой исчез в нем, выглядывали только кончик носа и верхушка шапки. Стал искать рукава, тыкал руками во все стороны, потом нашел внутри карманы и оставил рукава в покое. Карманы были что надо, а воротник тер уши,

головы никак не повернуть, поэтому он попросил Домнику:

— Застегни мне воротник.

Девушка глянула и покатилась со смеху.

— Мама, посмотрите на Трофимаша!

Засмеялась и тетушка Замфира; услышав смех в доме, вошел бадя Зынел. Улыбнулся, застегнул сыну воротник, но, видя, что тот рвется к двери, вынужден был огорчить его:

— Ты должен остаться дома, сынок.

У Трофимаша побелел кончик носа, в глазах заискрились слезы.

— А... что скажет бэдица Тоадете?!

Бадя Зынел поправил ему шапку, потом воротник.

— Ему будет очень жалко, чего уж там... Только рассуди сам — как мы можем бросить дом?

— Так ведь Домника остается.

— Ну что Домника! Она девушка. Они только и умеют, что плясать и браниться. То ли дело мужчины! Если, не дай бог, ночью к овцам ворвутся волки, что она станет делать?

— А я тоже боюсь волков.

— Ну уж, рассказывай! Знаю я, что ты их не боишься.

Домника зажала в ладонях его голову и пристально посмотрела в глаза.

— И тебе не жалко оставлять меня одну?

Вздохнул Трофимаш. Плохо, когда у тебя столько родни. Все же сестра у него одна. Только одна.

— А за уши не будешь таскать?

— Таскать тебя за уши? Да разве я смогу удержать тебя в руках?

Трофимаш подумал: верно, если он не захочет, черта с два удержишь его.

Стал развязывать калоши, но когда на улице свистнул кнут и заскрипела телега, слезы полились в три ручья, и Трофимаш выбежал во двор показать свое лицо, залитое слезами, — может, сжалятся.

Но на улице было темно, и слышно было, как глухо гудят пруды.

— Ну, будьте здоровы!

— Счастливого пути!

Тяжело вздохнули лошади, предчувствуя трудную дорогу, натужливо заскрипела подвода, и они выехали со двора.

Долго еще простоял Трофимаш на завалинке, слушая,

как где-то на самой окраине медленно затихают скрип колес и голос отца, подбадривающего лошадей.

На другом конце села хрипло залаяла собака. И тут же умолкла. И снова стали глухо гудеть пруды, переполненные вешней водой.

Домника пошла закрыть ворота. Трофимаш, поеживаясь от холода, бегал по завалинке. Спросил сестру:

— Домника! А когда я буду воевать и меня повезут с орудией через Бельцы, ты приедешь?

— А ты пришлешь телеграмму?

— Пришлю.

— Тогда приеду. Как получу, сразу и приеду.

Трофимаш облегченно вздохнул и, подметая завалинку полами зипуна, поплелся в дом. Одной заботой меньше, и то хорошо.

4

Сноровистая и хваткая, как муравей, Домника чуть свет принялась за дело, потому что, да будет вам известно, убрать дом — это не столько труд, сколько искусство. Как и любое другое искусство, оно неповторимо, ибо одно дело убрать дом на рождество, и совсем другое дело убрать, когда должны нагрянуть гости. Одно дело убрать дом, когда сама ждешь кого-то, и другое дело прибраться, когда просто мама сказала: ты, дочка, поди и прибери.

Из великого множества приемов и способов убрать свой дом Домника особенно любила убирать не спеша, когда она одна в доме и когда можно позволить себе ставить вещи не там, где они всегда лежат, а там, где им бы надлежало быть, будь это в ее собственном доме. Когда начиналось великое переселение вещей, она была счастлива, и это означало, что Домника ждет не просто кого-нибудь, а свою ближайшую подругу.

Сегодня придет Русанда — и проворнее движется веник в ее руках, уютнее гудит в печке огонь, и растерянно бродит по комнате серая кошка, не находя места, где бы ей спокойно поспать.

Сегодня придет Русанда, и если суждено этим окнам быть чистыми, то они будут чистыми сегодня, и если печная дверца не хочет закрываться, то сегодня она закроется, и если дверная ручка надеется когда-нибудь заблестеть, то ей не придется больше ждать.

И если она вытащила базилик из-за иконы, то это потому, что Русанда любит базилик, и если она собрала

фотографии со всего дома, то это потому, что Русанде нравится рассматривать фотографии, и если сегодня утром, в будний день, Трофимаш отведал варенья, то это для того, чтобы он не просил его вечером.

Если б Русанда была парнем, Домника сегодня же вышла бы за нее замуж. И как бы они ладили! Ведь было время, когда они и ели и спали одна у другой. Ходили в школу с одной чернильницей, одна и та же собака искусала их в один и тот же день, на одном и том же веретене учились они прясть, и если одна обрезала волосы, то и другая делала то же самое, если одна показывала мальчишкам язык, показывала и другая, и если одна помогала матери белить хату, белила и другая. Будь они хоть чуточку похожи — ну прямо сестры родные!

Но — что поделаешь! — они не были похожи...

Сначала это замечали только родители. Когда, случалось, Русанду поколотят дома, она убегала к бабушке и три дня ревела там, пока не приходил отец и не забирал ее домой. Когда колотили Домнику, она становилась послушнее в десять раз. Русанда была у родителей единственной — и самой старшей, и самой младшей, — а Домнике выпало несчастье быть в семье ни старшей, ни младшей. Для нее уже не вспоминали сказок, и меньше орехов для нее вмещалось в бабушкин карман, и все свое детство нянчила она одну-единственную куклу, которую сама смастерила. И когда кукла состарилась, Домнике стало жалко хоронить ее. А у Русанды было полдюжины кукол, которых она крестила, выдавала замуж и хоронила раньше, чем это принято у кукол.

Потом и учитель стал их различать. Русанда была красивее, учеба давалась ей легко, и учитель только ее посылал в канцелярию за картой. А Домника училась хуже, и учитель постоянно забывал, как ее зовут.

В конце концов и сами они заметили, что не похожи друг на друга. Когда они кончили четыре класса, им сказали дома, что хватит с них учения — все равно попадьями, мол, не станут, — Домника спокойно забросила ранец на чердак.

А Русанда не послушалась.

Прошло время, и однажды встретились они на мосту, постояли-постояли и не знали, о чем говорить.

— Ты в школу?

— В школу. А ты на прополку?

— На прополку.

Потом Русанда получила письмо от парня и не хотела

сказать, от кого именно, а Домника устроила посиделки и не пригласила Русанду. И кто знает, может, так и кончилась бы их дружба, если б не война.

Где-то бушевала война, и это великое потрясение мира, хоть и щадило до поры до времени маленькую деревушку Валя Рэзешь, стороной совсем обойти ее не могло: то тут, то там появились кривые стога, сметанные женскими руками; мальчишки в десять лет научились ругаться, идя за плугом, и дед Дэнуцэ, запрятав свою скрипку на чердак, неумело, по-женски, молотил рожь. Бог жалел эту деревушку. Ее брали с боем, отступали и снова брали, но все эти операции происходили далеко, в других краях. Когда же битвы наконец завершились, через село прошли два танка с красными звездами на броне. Танкисты остановились спросить дорогу и поехали дальше. Прошло несколько дней, на западе затихли орудия, село успокоилось. Только изголодавшиеся по работе плуги день за днем резали залежавшуюся землю, и многие матери не знали, с какой стороны ожидать теперь весточек от своих сыновей.

И когда однажды наши девушки опять встретились на мосту, то не могли досыта наговориться.

— Ты еще ходишь в школу?

— Нет, я уже окончила.

— А жалко, правда?

— Очень.

— И как мне было жалко! Но потом привыкла. Ты сама связала эти кружева на рукавчиках?

— Сама.

— У тебя есть крючки?

— Даже два. Дать тебе один?

— Когда мне за ним прийти?

Потом и Русанда пришла к Домнике, посмотреть, что за цветы посадила та перед домом, и вновь стала вянуть трава на тропинке, которую они протоптали когда-то.

Но детство уже ушло, они были взрослые, и Русанда не знала, для кого Домника палит свет допоздна, а Домника не знала, кто это так красиво свистит, когда проходит той стороной села, за прудами, где живет Русанда. И не то чтобы они скрывали что-то друг от друга, просто для секретов не было времени: стояла осень, а осенью работают одни руки, язык молчит. Так, слово какое выронишь за час, и то хорошо.

Потом, зимой, они часто ходили друг к дружке, но дома всегда родители, при них неловко секретничать.

И вот родители Домники уехали. Всю ночь будут они говорить, только бы ночь была подлиннее, только бы Трофимаш скорее заснул.

К полудню наконец управились, и Трофимаш был снаряжен в дорогу. Не раз вспотел бедный мальчуган, прежде чем Домника сказала, что все в порядке. Зато, только вышел из хаты, бросил шапкой в сороку и попал бы, не оглянись она вовремя. Потом вытащил хворостину из плетня — на тот случай, если встретит собаку, которая не поленится на него залаять, и наконец отворил калитку.

Через полчаса Домника случайно посмотрела в окно и, к великому своему удивлению, увидела, что Трофимаш торчит за воротами.

— Ты еще дома?!

Трофимаш нагнулся, чтобы посмотреть на сестру в щель между досками.

— А здесь мертвый воробей лежит.

— Ну так что?

— Давай похороним.

— Похороним потом. И если скоро не вернешься, не видать тебе больше моих ботинок.

Трофимаш двинулся было с места, поглядывая изредка назад, а когда Домника скрылась в хате, вернулся обратно, хворостиной выкопал ямку за обочиной дороги, схоронил воробья и сверху насыпал холмик. Некоторое время постоял, размышляя, следует ли поставить воробью на могиле крест. На всякий случай воткнул палочку на краю холмика и, свершив это доброе дело, отправился в путь.

5

Стемнело, нити потеряли цвет и слились в один серый поток. Мать закрыла дверцу печи и принялась подметать пол, — значит, скоро и ужин. Русанда вышла из-за станка, зажгла лампу, поставила столик посреди комнаты. Бадя Михалаке сидел задумавшись на скамеечке перед печкой и по старой привычке поглаживал пальцами макушку — когда-то там торчал непокорный вихорок, теперь же просвечивала лысина, но привычка есть привычка.

Внезапно кто-то лязгнул в сенях дверной щеколдой.

— Выйди, Михалаке, посмотри, кто там.

Но баде Михалаке хорошо у печки.

— Ветер балуется...

Скрипнула дверь.

— Кто-то идет.

Через некоторое время с грохотом падают вилы, которые всегда стоят в сенях за дверью. Мать Русанды хочет перекреститься, но ей некуда поставить вымытую тарелку, и она сердится:

— И кого это черти носят на ночь глядя?

Русанда широко распахивает дверь, чтобы видеть, что делается в сенях. Никого нет. Потом в полосу света попадает маленькая фигурка.

— Это ты, Трофимаш?

— Я.

— Почему не входишь?

Когда Трофимаш показывается на пороге, все приходят в ужас. В правой руке он держит обломок хворостины, левой пытается вытереть пальтишко. Какое там! В густой грязи и руки, и лицо, и пальтишко.

Русанда опустилась перед ним на колени.

— Что с тобой случилось, Трофимаш?

Трофимаш глядит в землю, раздумывая, с чего бы начать, а бадя Михалаке приходит ему на помощь.

— Что ты его расспрашиваешь? Обмой сначала.

Но Трофимаш ни за что на свете не хочет снять пальто.

— Я вымою только руки.

— Но почему ты не хочешь раздеться?

Этого Трофимаш не может сказать. Русанда подставляет ему свое ухо, и он, покосившись и увидев, что все заняты своим делом, шепчет:

— У меня оторвалась пуговица. И как раз от штанишек.

Бадя Михалаке прячет улыбку, делая вид, что ищет что-то за печкой. И все принимаются ухаживать за Трофимашем — на его счастье, он попал в дом, где не хватало сына и брата. Но, когда дело доходит до хворостины, Трофимаш упрямится и ни за что не хочет ее бросить. Только на время, пока моет лицо и руки, сует ее под мышку.

— Ну теперь ты нам скажешь, что случилось? — спрашивает бадя Михалаке.

— Подрался.

— Так... С кем же?

— С одним мальчиком.

— Гм! Из-за чего же вы подрались?

— А он хотел отнять у меня хворостину.

— И ты не отдал?

Трофимаш отвечает с гордостью:

— Не отдал.

— Молодец. Теперь садись с нами за стол.

— А я только что ел.

— Э, брось... Знаю я, когда ты ел.

Трофимаш удивлен:

— А откуда вы знаете?

— Вижу по глазам.

Ну раз так, Трофимаш сразу усаживается за стол. Бадя Михалаке соорудил было ему стульчик из пустого перевернутого ведра, но Русанда сажает его рядом на лавке.

На стол ставят две тарелки с варениками. Трофимаш интересуется:

— Какие с брынзой?

— С картошкой не подойдут?

— Подойдут, но уже после.

Потом, когда он завозился с насаженными на вилку тремя варениками, Русанда спросила:

— Домника что делает?

— Придет. Сказала, чтобы ты пришла к нам сегодня вечером. Отец с матерью уехали в Бельцы — приезжает бэдица Тоадер, вооруженный орудиями.

— Приезжает домой?!

— Нет, едет на войну, и они поехали с ним повидаться. И я должен был поехать, но не на кого было оставить дом.

Русанда встает из-за стола и смотрит то на отца, то на мать.

— Пойти?

— Отчего же не пойти? Только поешь сперва.

Но Русанда уже одевается.

— Трофимаш, почему ты не сказал это с самого начала?

Он удивленно смотрит на нее.

— Так... я же ел вареники.

Пришлось немного обождать, пока мальчик насытится. Потом его одевают. Прежде чем выйти, Трофимаш церемонно прощается с хозяевами и говорит баде Михалаке:

— Так я еще загляну к вам как-нибудь на днях.

Бадя Михалаке улыбается.

— Конечно, приходи!

Когда они вышли на дорогу, Русанда взяла Трофима-

ша за руку. Он сунул хворостину под мышку — теперь ему нечего бояться. Потом остановил Русанду и попросил:

— Не говори Домнике, что руки у меня были в грязи.

— Отчего же не говорить?

— Потому что она не захочет приехать в Бельцы, когда я буду проезжать с орудией.

Она молчала, и он спросил еще раз:

— Не выдашь?

Русанда наклонилась, прижалась щекой к его лобику, и Трофимаш облегченно вздохнул. Потом осторожно отвел голову и озабоченно посмотрел по сторонам: не видел ли кто?

Хоть и мал годами, но уже знал, что подобные вещи хороши только тогда, когда они свершаются в полной тайне.

6

Бедный Трофимаш! Он надеялся весело провести этот вечер, но старшими над ним остались девушки, а чего только не выдумают девушки, когда они предоставлены самим себе! Сперва они стали учить его прясть. Мальчик сначала отнекивался, но потом ему понравилось, и, если бы Домника вовремя не попрятала все веретена, он попортил бы немало пряжи. Потом принялись учить его танцевать, но Трофимаш, боясь, как бы ему не наступили на ноги, разбил под лавкой крынку и был крайне удивлен, когда Домника, вместо того чтобы надрать уши, угостила плэчинтами.

За столом Домника шепнула что-то Русанде, Трофимаш потребовал ввести его в курс дела, и когда Домника не захотела поделиться, он надулся, выбрал себе несколько самых поджаристых плэчинт и полез на печку: пусть себе шепчутся, сколько им влезет. Он как-никак мужчина. Мужчины, как известно, народ прямой, открытый.

И поздно, и ночь на дворе. По ночам бродят воры.

— Домника, а у вас злая собака?

Домника отодвинула занавеску, посмотрела в окно.

— Злая, только она не вылезает из будки. Лает оттуда.

— А если они придут?

Домника посмотрела вокруг — что ж, если воры заберутся в дом, девушкам будет чем отбиваться.

— Русанда, а разбойники крадут девушек?

— Крадут. Только сначала договариваются с ними.

И поздно, и ночь на дворе. По ночам ходят парни.

— Домника, а если придут парни, мы их пустим?

— Боже упаси!

— А если они будут проситься?

— Да разве они просятся, когда приходят?

— Тогда давай подметем пол, чтобы не высмеяли нас потом.

— Еще как!

Девушки подмели пол, потом поменялись платочками, уселись друг против дружки и диву даются, до чего они хороши.

И поздно, и ночь на дворе. Ночью ходят привидения.

— Домника, в этой хате умирал кто-нибудь?

— В позапрошлом году умерла бабушка.

— Что ты говоришь! А когда ее положили в гроб, кошка не прыгала через покойницу?

— Не помню. А если прыгала?

— Как, ты не знаешь? Если кошка перепрыгнет через покойника, мертвец становится привидением и каждый вечер приходит домой посмотреть, что делают его родные.

Домника улыбается.

— Э, мою бабушку не возьмут в привидения, даже если бы через ее гроб прыгала кошка со всеми своими котятами.

— Почему так думаешь?

— Разве ты ее не помнишь? Она была такая маленькая. Вечно у нее болела поясница. А раз уж ты привидение, хочешь не хочешь — ходи, а кладбище аж на том конце села. Два раза прошлась бы до дому и снова умерла бы.

— А правда, что она хорошо гадала на картах?

— Ох, Русанда, скажу — не поверишь! Вечером наворожит маме, что у нее будут неприятности, — и что ты думаешь! — на другой день или коршун утащит утенка, или корова отвяжется от яслей и сжует всю петрушку. А что может быть неприятнее, чем остаться на все лето без петрушки?

— И чужим тоже гадала?

— Сколько угодно!

— Кому именно?

— Кому хочешь! Андреевой Василице сказала, что та

долго еще не выйдет замуж, и разве не сидит она до сих пор в девках?

— Домника, а ты умеешь гадать на воске?

— Умею. Только нужна свечка из воска диких пчел.

— А у вас нет такой?

— Остался огарочек после бабушки, только мама прячет его. Давай поищем!

Восковой огарочек лежал на потолочной балке в каса маре. Налили воды в тарелку. Русанда наклонила огонек над тарелкой. Огарок задрожал, уронив две желтые слезинки. Девушка покрутила пальцем так, что вода стала двигаться по кругу, и восковые капельки принялись гоняться друг за дружкой, пока не соединились. Русанда прыгала от радости.

— Ты видела?

— Так и знай — осенью выйдешь замуж. А ну, дай я себе погадаю.

Но Домника не выйдет замуж ни осенью, ни через год, ни в ближайшие десять лет: уже полчаса капельки бегают по кругу, но они и ленивые, и слепые — однажды сошлись было близехонько, но так и не соединились. В конце концов бедная девушка схватила их и выбросила. Потом с затаенной завистью взглянула на Русанду и спросила как бы невзначай:

— Ты на кого гадала?

— На бадю Георге.

Домника остолбенела.

— На Георге тетушки Фрэсыны?

Русанда смущенно ответила:

— На него... А что — хороший ведь парень!

Замечтавшись, Русанда водила пальцем по ободку тарелки, а рядом, прилепленный к краю стола, догорал забытый девушками огарочек из воска диких пчел. Русанда хотела было потушить, авось еще пригодится, но Домника заслонила его рукой:

— Пускай догорит...

7

Перед рассветом оттаяла крыша, началась капель. Капли падают одна за другой, но никогда не упадут две вместе — только по одной, по одной, по одной...

Домника намотала на палец прядь волос и тянет, тянет, если б сил хватило, вырвала бы. Некому ее бить за то, что забивает себе голову всякой всячиной. Рядом креп-

ко спит Русанда, а она все думает, думает. И все мерещатся ей две капли желтого воска, — и всего-то одна капля воды между ними, а не сойдутся, не станут рядом. Лучше бы она подумала о другом... Поезд с Тоадером уже, наверное, в Бельцах. Хотелось бы его повидать... Она не в обиде на него ни чуточки, хотя он один виноват. Еще в школе подружился он с Георге тетушки Фрэсыны и приводил его почти каждый вечер. И скоро они к нему так привыкли, словно он был их сыном. Когда ее посылали поить скотину, Георге молча брал ведра и шел вместо нее. А в прошлую зиму он сделал ей дубовую прялку, одну из тех прялок, что служат целую жизнь, и не избавишься от нее, пока не сломаешь. Ничего больше он для нее не делал, и, может быть, ничего б не случилось, не забудь он у них свой платочек. Домника хорошенько выстирала его и вышила крестиком. И однажды, когда Георге выходил от них, она догнала его во дворе и сунула платочек ему в карман.

Георге ничего не сказал. Только, приходя к ним, пристально смотрел на Домнику, словно хотел спросить ее о чем-то, а Домника делала вид, будто занята какой-то работой. Но пришла весна, и однажды, когда Домника сажала картофель в огороде, явился Георге, взял тяпку из ее рук, посмотрел, хорошо ли наточена, и спросил, кто научил ее вышивать.

— Сама научилась. А что?

— Молодчина. Моя мама о тебе прямо гимны слагает — ну что за нитки, что за крестики!..

Домника сказала, что тогда у нее не было ниток, — разве то вышивка? Она сделала ее так, на скорую руку.

— А теперь у тебя есть нитки?

У нее не было ниток, но, сама не зная почему, сказала:

— Теперь есть.

Георге улыбнулся.

— Ну тогда я забуду у вас еще один платочек.

В тот же день она обошла все село, собирая разноцветные нитки, — теперь могла бы вышить все, что угодно. Но только на другой день пролетели над деревней два самолета, и со стороны Прута донесся глухой шум — там гудела и ухала земля.

Георге не забыл у Домники второго платочка.

Теперь ему будет вышивать Русанда — о, она умеет хорошо вышивать. А ей что делать со своими нитками, которыми она любовалась, берегла как зеницу ока? Выбросить?

Падают капли с крыши — одна, опять одна и еще одна...

Нет, она их не выбросит.

И чтобы скорее уснуть, Домника считает капли: одна, две, три, четыре...

Заворочался во сне Трофимаш, но Домника уже не слышала — она спала глубоким сном. Поднялась Русанда и укрыла его. Ей только что приснился дом, который она любила больше всех домов на свете, — большой дом с двумя окнами. Вдруг одно окно открылось настежь, и перелез через подоконник черноволосый парень. Завидев девушку, подошел к ней и сказал:

— Милая...

Светало. Занавески на окнах стали пепельного цвета, и по улице проехал верховой, но ни одна собака не откликнулась на зычные шаги лошади, с трудом месившей раскисшую дорогу.

Русанда вдруг затосковала по своему дому, где легче мечталось и откуда рукой подать до того, который только что сказал ей «милая».

8

Георге почти не помнил своего отца: еще не мог взбираться к нему на колени, когда остался сиротой. Может, он всего несколько раз за свою жизнь произнес слово «отец», а может, и ни разу. И научился сам делать себе игрушки, и ел виноград только с хлебом, чтобы было сытнее. Возможно, он слишком рано понял, почему их пшеница поспевает позже, чем у других, почему каждую субботу дядя его Петря приходит к ним смазывать телегу и почему, когда он ходит колядовать, люди дают ему два бублика, а остальным ребятам только по одному.

В десять лет он уже ездил пахать, цепляя плуг за задок телеги, — ни поднять, ни снять не хватало еще сил. И так из года в год он оставлял свое детство в играх других мальчишек, а сам чуть свет выезжал в поле, где самой лучшей сказкой был обеденный отдых, самым лучшим товарищем — вороной жеребенок и самой красивой игрушкой — прямая, с теплой гривой борозда. И ночью ему снились рожь, и плуг, и жеребенок, но никогда не снились калитка, звезды и девичьи глаза. И если он был удручен, это означало, что у него плохо взошла рожь; если вечером, вернувшись с поля, он наклонялся приласкать собаку, значит, он хорошо поработал в тот день.

А если и одолевала какая-нибудь мелодия, он насвистывал ее, пока шел за водой, чтобы не терять времени даром.

Тяжелый труд сделал из него здоровенного парня, а вечные хлопоты научили спокойной и зрелой мысли. И вот тетушка Фрэсына вдруг увидела намного раньше, чем ожидала, что в доме вырос мужчина — хозяин; деревенские парни нашли еще одного товарища, на которого можно было всегда положиться, и, к великой радости девушек, на вечеринки стал приходить немного застенчивый, молчаливый черноволосый парень.

Сядет, улыбнется и помолчит. Еще помолчит, еще улыбнется. Разговорить его, раскачать не было никакой возможности. Все эти игривые взгляды, намеки, перешептывания летели как пушинки, не задевая его. Натруженный за день, он сидел себе в уголочке, улыбался, погруженный в заботы дня завтрашнего, старался поменьше слушать, пораньше смотаться, так что в конце концов родители местных красавиц стали смотреть на него недобрыми глазами и говорили промеж собой:

— Уж этот наработает, уж этот наживет...

Дело, однако, было вовсе не в этом. Георге был застенчивым по натуре, а его стыдливость осложнялась еще и тем, что жили они с матерью в большом недостроенном доме. Покойный отец собрался было построить его на долгую и красивую жизнь, но ему не суждено было прожить эту жизнь, и заложенный им дом так и остался с заколоченной парадной частью — ни окон тебе, ни дверей. Эти передние комнаты, задуманные отцом для веселых праздников, для гостей, теперь стояли полутемные, служили для хранения зерна, всякой всячины, и это действовало на него угнетающе. Было что-то постыдное в том, что люди собрались для большой, веселой жизни, да вдруг замерли, срезанные на лету.

Для юноши завершить то, что задумано отцом, — дело нелегкое, непростое. К тому же вокруг шелестели одни низкорослые дубовые леса, сосновые доски привозили из Карпат, и стоили они неслыханно дорого. Собственно, доски в конце концов можно было и достать, и мастера хорошего можно было найти, если бы один большой, так чтобы по-настоящему, урожай... А время, как назло, было против — то сплошные дожди, то засуха и недород...

Поле, однако, обещало ему осмыслить, украсить его жизнь, и потому Георге с утра до ночи пропадал в поле. И когда он возвращался усталым и молчаливым, значит,

посевы опять горят на корню; если он возвращался веселый и шутил с соседями, значит, дело в том зеленом мире как будто идет на поправку.

Ни бесконечные блуждания сверстников по залитым лунным светом улицам села, ни их красивые, переворачивающие душу песни, ни загадочные намеки соседских дочерей, ни томные молодухи, ни восхваляемое всеми молодое вино — ничего его не занимало, так что стали уж поговаривать: а сын ли он своего отца, течет ли в его жилах кровь? Может ли так быть, чтобы один сгорел ярким пламенем, а другой едва-едва дымился?!

9

Во двор пробрался теплый ветерок и треплет ржаные соломинки, выбившиеся из-под застрехи, блеет ягненок, пробуя свой голос, и на крыше у соседей весело заливается ветрячок.

А в хате! Боже, что творится в этой хате! Громадная печь с потертыми боками, двойные оконные рамы с айвой между ними, с айвой, на которую и дети уже не обращают внимания, коврики, постеленные у самого порога, чтобы не дуло из сеней, и вечно они вылезают за порог, как только откроешь дверь, — смотришь на все это, и так досадно, и так неловко, когда приходит чужой человек.

Русанда кончила ткать, расстелила ковер и долго глядела на него. Хорош. Ну конечно же, хорош! На стене он будет красивым, еще каким красивым!

Кошка долго мяукала в сенях, потом стала царапать дверь. Русанда открыла ей, а куры как сумасшедшие кинулись кто куда, подняв столб пыли и опрокинув пустое ведро.

— Ну входи же...

В саду увидела кролика. Тот обгладывал веточку и, услышав собачий лай, сел на задние лапки, насторожил уши.

— Какой хорошенький! Дай-ка я тебя поймаю!

Быстро сунула ноги в старые калоши, что дежурили возле чулана со времен Ноя, и побежала в сад. Но не успела дойти до погреба, взглянула на свои ноги и остановилась — пройдет еще кто-нибудь мимо и увидит ее в этом старье...

Меж деревьев пронеслась ласточка, серенький комочек мелькнул над головой; девушка взглянула из-под ладони: эге-ге, где твоя ласточка!

Пахло распускающимися почками, так хорошо и заразительно пахло, что чем больше вдыхаешь этот запах, тем больше, кажется, остается места в груди.

А сверху струился мягкий и теплый свет. Русанда, запрокинув голову, глядела в небо, прозрачное и такое высокое, что если бы между теми двумя облачками был мостик и упасть с того мостика — брр! — Русанда передернула плечами, будто капля холодной воды попала ей за ворот. Еще раз взглянула на небо и улыбнулась — прозрачная, далекая синева, но, чу, что такое там, вдали, над горизонтом?!

«Журавли! Летят журавли!»

Оглянулась вокруг — кому бы сказать? Некому. Заволновалась, как хозяйка, застигнутая гостями врасплох.

Двери у соседей закрыты, дороги пусты, и Русанда принялась в одиночку считать журавлей. Их было семеро. Летели они кривым клином, похожим на плужный лемех, и так славно, так мощно тот лемех вспарывал синеву над ее головой!

Интересно бы у кого расспросить, где они зимовали, потому что лютые стояли в том году морозы...

Вдруг услышала, как тонко отзванивает обух топора после каждого удара — за домом отец чинил забор, — и бросилась к нему.

— Вы видели журавлей?

Бадя Михалаке, человек степенный, сперва вогнал топор в колоду, тыльной стороной ладони осторожно, чтобы не запачкать, сдвинул шапку на затылок — любил чистые вещи, аккуратно носил их. Только потом спросил:

— Где они?

— Э, если так долго возиться! — Она взяла его за руку и потащила за угол. — Глядите!

— Ничего не вижу.

— Ну как же? — Девушка волновалась. — Смотрите — повыше вон того облачка, которое похоже на спящего теленка.

— Ага. Погоди, я сосчитаю.

Русанда пристально смотрела, как двигаются губы у отца.

— Ну сколько?

— Кажется, семь.

Улыбнулась, довольная: быстро считает отец.

— Как вы думаете, где они зимовали?

— Наверно, там, где тепло. У тальянцев или в Австрии, может...

— Ну, в Австрии тоже холодно зимой.

— Значит, у тальянцев, больше им негде...

По улице прошла тетка Докица, неся под мышкой новенькую ручку для сапы, — видно, поручала кому-то купить на базаре.

— Беседуете?

Бадя Михалаке тут же нагнулся и стал подбирать с земли занесенные ветром листья.

Прошлой осенью его позвали в сельсовет на собрание, где нужно было что-то решить. И так как его специально позвали, он хотел сказать несколько слов. И только он начал говорить, как эта вот Докица заорала во весь голос:

— Тю, а я забыла курятник закрыть!

Спутала ему всю речь. «Старая ворона. Сидела бы со своими курами и не сбивала людей с толку».

И он проворчал не глядя:

— Беседуем, да...

Но Русанда тут же подбежала к ней:

— Тетушка Докица, вы видели журавлей?

— Как? Уже прилетели?

— Гляньте!

Тетушка близоруко посмотрела сквозь ветви, не увидела их, да, кажется, и не очень старалась.

— Знать, время, — философски заключила она. Потом, вздохнув, переложила палку для сапы в другую руку и пошла своей дорогой.

И бадя Михалаке поднял топор.

— Подержи немного ту перекладину. Достану гвоздь из кармана.

Русанда подержала ему перекладину, потом просто постояла около него. Стояла бы так целый день и смотрела, как делает отец плетень: каждую хворостину он пристраивает на свое место и так ловко, что кажется, будто нарочно выросла такая кривая, чтобы лучше приладиться к плетню.

А журавли все летели и летели — уже в голубой дали еле видны семь черных точек. Вот и улетели, а она так и не узнала, где они зимовали.

Тальянцы! Что он знает, отец! Вот если бы мимо них прошел бадя Георге... Он все знает. Спросила бы? Ей-богу, спросила!

Русанда приподнялась на цыпочках, высматривая меж других соломенных крыш ту, единственную. Наверно, и он чинит плетень. Теперь, весной, все село чинит плетни.

А что, если сходить к ним? Ей-богу, она пойдет, ведь ходит же тетушка Фрэсына к ним, и никто не удивляется, чего это она приходит.

Девушка быстро разобрала ткацкий станок, надела туфельки и вышла из дома.

Светилось голубое, вернувшееся откуда-то издалека небо, и ветер ласкал девушку, упрашивая взять его с собой, и какая-то птичка сидела на ветке с крохотной соломинкой в клюве, — казалось, хотела спросить у нее совета, где бы ей лучше гнездышко свить.

Все проснулось, заиграло, и Русанда шла, опьяненная, обласканная, шла все быстрей, и чудилось ей, будто у нее такие легкие ноги, что казалось, еще немного, еще миг и она сама оторвется от земли, взлетит.

10

Тетушка Фрэсына как раз собрала цыплят в сито, чтобы вынести во двор. Десяток махоньких, мяконьких клювиков, быстрые, наивные глазенки, и все эти живые комочки чирикали, били поклоны, пытались взлететь — птицы как-никак.

Хотя у тетушки Фрэсыны сегодня дел было по горло, она уселась на минуту поиграть с цыплятами. Рядом тревожно квохтала наседка, кружась вокруг хозяйки, и время от времени вытягивала шею, чтобы посмотреть, что делают в сите ее птенцы.

Тетушка Фрэсына перебирала цыплят пальцами, касаясь то головок, то крылышек, и пыталась сказать им что-то на их птичьем языке:

— Ти-ти-ти...

Внезапно она услышала шаги перед домом. Подняла голову — на пороге стояла Русанда и мяла в руках платочек.

— Добрый день.

— Добрый день, дочка.

Тетушка быстрым взглядом окинула стройную фигурку, полюбовалась такими красивыми карими глазами и улыбнулась ей, как улыбаются матери, увидев и у других очень красивого ребенка.

— Садись. Я пойду выпущу цыплят во двор.

Но когда она, заботливо прижимая к себе сито, дошла до порога, Русанда попросила:

— Дайте, я понесу.

Осторожно вынесла, поставила сито перед домом и вы-

пустила цыплят на землю. А те сбились в кучу, не дышат. Боятся. Девушка хотела взять в руку одного, а влезли трое, и наседка стала беспокойно кружиться вокруг. Тетушка долго смотрела на ее тонкие брови, длинные ресницы, которые бросали тень на щеки, и думала: «Ох, и красивая же будет, плутовка! Сколько парней из-за нее передерутся!»

Когда они вернулись в хату, девушка спросила ее:

— Я слышала, у вас есть семена георгинов. Не дадите мне немного?

Тетушка чуть распустила платок под подбородком. «Все мы когда-то ходили за георгинами».

— Нет их у меня, дочка. Было несколько, да я их уже сама посадила. Вот приходи осенью и возьми сколько хочешь.

— Осенью-то я приду!

Уже взялась за дверную ручку, но у них не так просто открываются двери. И тут заметила под зеркалом полотенце с вышитыми на нем листьями.

— Кто это вам вышивал?

— Я. Только я плохо вижу, и листья получились какие-то вымученные. Правда?

И не хотела бы огорчать тетушку, да что поделаешь!

— Нитки не те. — И, как будто для того, чтобы утешить ее, спросила: — А у вас нет какого-нибудь чистого полотенца?

— Есть, как не быть.

— Если хотите, дайте, я вам вышью колокольчики. У меня как раз есть подходящие нитки.

Тетушка Фрэсына вынула полотенце из сундука с огромным замком, ключ от которого потерял еще ее дед, и замок висел в кольце без толку.

Русанда аккуратно сложила полотенце, попрощалась и вышла из дому. Так волновалась, что даже в кончиках пальцев чувствовала биение сердца, и почему-то горели щеки. Господи, хоть бы тетушка Фрэсына не смотрела так пристально... А тут еще не успела спросить о самом главном и даже не знает, как это сделать.

Наконец, пробуя, хорошо ли закрывается у них калитка, спросила с безразличным видом:

— А где ваша телега? Что-то не видно.

— Георге поехал пахать.

Русанда задумалась, раскачивая калитку.

— Вы уже пахали в Хыртопах?

— Нет еще. Завтра поедет.

Она уже совсем собралась уходить, и все бы прошло отлично, только, видите ли, и тетушка Фрэсына была когда-то девушкой. И она спросила Русанду, лукаво глядя ей в глаза:

— А вы что сеете в этом году в Хыртопах?

Русанда приподняла брови, прикусила губу.

— Мы будем сеять кукурузу. Только позже, гораздо позже, — сказала она с большой досадой.

И тетушка дала провести себя за нос. Еще принялась ее утешать:

— Это хорошо. Мы тоже посеем кукурузу. Вот наработаемся этим летом на прополке!

Идя домой, Русанда улыбнулась: «Как бы не так, буду я ждать до прополки! Завтра же пойду в Хыртопы. Только что теперь делать в поле?»

Возле самого дома заметила на тропинке горошину. «Что, если посеять в Хыртопах горох? Горох — это чудная вещь, без него в хозяйстве совершенно невозможно обойтись».

Дома она первым долгом спрятала полотенце, чтобы не запылилось, а потом пошла искать отца. Бадя Михалаке уже закончил обрезать верхушки плетня и теперь подбирал срезанные веточки.

— Отец, мы в этом году будем сеять горох?

— Горох? Нужно бы, — и, как всегда, сдвинул шапку на затылок тыльной стороной ладони, — только у нас нет места в огороде.

— А в Хыртопах?

— Э, мальчишки растащат.

— Никто его не тронет. В прошлом году многие посеяли там горох, и что же, растащили?

— Я знаю... А не рано?

— Ну рано! Хоть кого спросите, посеяли они горох или нет, и услышите, что они скажут.

— Ну что ж, если ты так говоришь...

Бадя Михалаке нагнулся над кучей хвороста, давая понять, что разговор о горохе считает исчерпанным. Но Русанде не все еще было ясно.

— А что, если я завтра же туда пойду?

— Что это тебе так приспичило? Пойдешь послезавтра. Сначала надо вскопать огород.

«Десятину он не вспашет за день», — решила она.

Итак, жребий брошен. Господи, как прекрасно все в этом мире!

11

— Отец, вы не знаете, где зеркало?

Бадя Михалаке сперва закончил мерить баранью шкуру на колодке, потом разгладил ее рукавом и наконец бросил на пол.

— Поищи сама... На припечке, должно быть. Недавно брился, но, думаешь, помню, куда девал?

Подумал, что, если поедет завтра на базар, надо будет купить зеркало. Правда, и это еще может послужить. Немножко затуманилось, но показывает правильно. Теперь стали делать такие зеркала, что страшно глядеть в них — или глаза скосит, или нос растянет до самого уха. А это еще хорошее. Только вечно теряется. Нужно всем договориться и класть в одно место. Русанда и вчера его искала, и позавчера. Гм... а зачем ей все время зеркало?

Бадя Михалаке снял колодку с колен и выглянул из кухни. Русанда прицепила зеркало к стене и возилась с косичками. То заплетала, то расплетала их, но зеркало было маленькое, и девушка не могла видеть сразу и лицо и косы.

Наконец она встала коленями на лавочку. Бадя Михалаке вздохнул: «Летят годы. Летят годы, и так летят, что даже не успеваешь сосчитать их толком. Будто вчера еще она боялась одна выйти ночью из дому без матери. А теперь пожалуйста — невеста...»

Решил почему-то, что шкурка мала. Стал мерить ее еще раз и думал о том, что хата узкая — даже десять пар гостей не поместятся. А на свадьбу повалит народ — двери сломают! Нужно будет соорудить во дворе ковровый шатер. Все же, как это будет? Русанда станет на колени, такая худенькая, глаза, полные слез, и едва слышно пролепечет:

«Благослови меня, отец...»

Потом уйдет. Возьмет с собой в приданое вот эту софку, что возле печи. И они снова ссыплют в каса маре подсолнух, зимой постелют на пол солому, под лавками будут держать картошку, и, как десять лет назад, когда он попросит немного теплой воды, чтобы побриться, жена скажет: «Еще чего! Побреешься и холодной!»

Бадя Михалаке отбросил колодку и вышел из кухни.

— Русанда! Ты долго еще будешь наряжаться?

Девушка обернулась с улыбкой, но тотчас поняла, что тут не до шуток.

— Сейчас иду.

— Вечно вы сейчас идете! Вот-вот польет дождь, не видишь разве, как меняется погода, — три раза на дню!

Русанда наскоро заплела косички, положила в кошелку с горохом кусок виртуты и стала пробовать, хорошо ли отбита ее сапа.

— Ну чего ты еще возишься?

— Что вы пристали ко мне? — не вытерпела она. — Позавчера говорили, что еще рано для гороха, а сегодня боитесь, что будет поздно. Посею, не беспокойтесь. Лучше бы занялись чем-нибудь...

И когда бадя Михалаке вернулся на кухню, чтобы еще раз посмотреть, не выйдет ли из той шкуры ему шапка, Русанда пробралась в сад. Остановилась под старой сливой. На ветру колыхались зеленые стебельки. Подснежники. Второй год подряд всходят здесь подснежники, и только она одна знает об этом. Несколько секунд она постояла в раздумье, потом выкопала и спрятала два корешка кирпичного цвета в карман кофточки. И с сапой на плече, с кошелкой в руке двинулась в путь по нижней улице села.

Тетушка Фрэсына жила в верхней части.

12

Беда с этим жеребенком! То забежит далеко вперед, то отстанет, то начнет резвиться на свежей пахоте, то подбежит, прильнет к матери и семенит рядышком со старыми лошадьми: пашет, мол, и он. А когда устанет, забежит вперед, встанет поперек борозды — и баста. Окончена пахота. Понял, хитрец, как можно остановить лошадей, запряженных в плуг!

Георге нажал на правую ручку, чтобы борозда шла глубже, но плужный передок протяжно заскрипел — кони остановились. Впереди стоял жеребенок и вопросительно смотрел на него: «Ну, как вам это понравится?»

— Если пахать тебе надоело...

Георге повесил вожжи на ручки плуга, заткнул кнут за голенище и уселся на свежую борозду. Жеребенок будто того и ждал. Навострив уши, подошел к Георге.

Это был вороной жеребенок месяцев двух от роду, со звездочкой на лбу. Шевеля губами, потянулся к руке Георге.

— Чего тебе дать? Нет у меня ничего.

Жеребенок склонил голову набок, как бы прислушиваясь, в каком ухе у него звенит, и по-прежнему вопроси-

тельно смотрел на Георге. Ему не верилось, что у парня так уж ничего и не найдется. Снова потянулся, стал искать, нет ли у него карманов на коленях.

— Ну и шельма! — улыбнулся Георге, нащупывая в правом кармане ломоть хлеба, который он брал каждое утро именно для этого проказника.

— Давай намалывай.

И пока жеребенок подбирал крошки у него с ладони, поучал его:

— Вот возьму и запрягу тебя. Запрягу я тебя, Васька, и посмотрим, как ты тогда запоешь.

Но жеребенка это совсем не пугало. Кончив есть, стрелой понесся по стерне, и Георге взял в руки вожжи.

— Поехали.

От кобылы шел пар. Время от времени она опускала голову до самой вспашки, и Георге решил через три круга покормить лошадей. Первый круг он кое-как прошел, но когда снова стал подниматься в гору, кобыла призывно заржала, подзывая жеребенка.

— Уж и затосковала!

Взмахнул кнутом, но кобыла рванулась в сторону и вытащила плуг из борозды. Пришлось взять ее под уздцы и вернуть назад. Но едва тронулись, кобыла снова заржала.

— А черт, долго еще ты будешь выкидывать штучки? И куда делся этот жеребенок?

Еле-еле удалось ему довести борозду до конца. Остановил лошадей на кормежку. Жеребенка не было и возле телеги. Георге осмотрелся.

— Ну что ты с ним будешь делать! Вечно куда-то убегает.

Залез на телегу. Да вот он, шагов на сто ниже стоит возле девушки в синей косынке.

«Кто бы это? Постой, чья там зябь? А, это дочь бади Михалаке».

Он свистнул несколько раз, но то ли ветер дул не в ту сторону, то ли жеребенок совсем оглох. Георге привязал лошадей к телеге и пошел напрямик. Подойдя поближе, увидел, что жеребенок что-то ест с ладони у девушки.

«Ну и нахал! — улыбнулся парень. — А эта девчонка бади Михалаке наверняка уже парням снится. Сколько же ей лет? Наверно, около шестнадцати, видел, как она танцевала на чьей-то свадьбе».

— Добрый день, баде Георге! — крикнула ему Русанда еще издали.

— Добрый день, Русанда! Смотри не избалуй мне жеребенка, а то не смогу удержать его дома — привыкнет есть одни калачи.

— Вы думаете, не стоит его баловать? Смотрите, какой хорошенький.

Только подобрав все до последней крошки у нее с ладони, Васька услышал призывное ржание матери. Сорвался с места и галопом помчался к телеге.

— Ты что сеешь? Горох? — Георге уселся на меже.

— Горох.

— Не рано?

— Отец говорит, что нет.

Ветер достал из-под косынки прядь русых волос и стал играть ими, лаская щеку девушки. Раздосадованная, она повернулась лицом к ветру, чтобы он же уложил прядь на место.

— Вы позавчера видели журавлей?

— Как же! Видел.

— Вам кто-нибудь показал или сами увидели?

— Сам. Пахал на Реуте.

И она сама увидела! Они сами увидели их! Это все не случайно.

Георге сорвал несколько стебельков сухой травы, принялся плести. Спросил Русанду:

— Чего ты никогда не приходишь в клуб? Не пускают?

— Нет, пускают.

— Тогда почему не приходишь?

Она нагнулась, чтобы поднять выпавшую из кошелки горошину.

— А с кем я пойду?

И покраснела как мак — вот бывает же так, само по себе слово сорвется с языка! Зря она не послушалась отца — земля еще холодная, и горох может погибнуть. Снова нагнулась — поднять сапу, и Георге увидел в кармашке ее кофточки два зеленых стебелька.

— Что у тебя там, если не секрет?

— Подснежники. Хотите?

Она быстро вынула их и робко протянула ему.

— Ты была в лесу? — спросил Георге, тщательно очищая корешки.

— Они растут у нас в саду. Очень много их растет!

— Неужели? Вот тебе и новые фрукты.

Взял корешки в рот и на мгновение почувствовал мяг-

кую, свежую теплоту. Тайком взглянул на кармашек, откуда их вынула девушка, и спросил:

— Вечером пойдем в клуб?

— Кто будет играть?

— Две скрипки. Придет мош Дэнуцэ с внуком.

— Если будут два музыканта, пойду.

Солнце клонилось к закату.

— Тогда я зайду за тобой вечерком.

— Приходите.

Георге поднялся и пошел к своей телеге. На ходу он обернулся. Русанда рыхлила грядки для гороха, и ветер, оставшись наедине с девушкой, снова трепал ей волосы.

«Скажи на милость, у бади Михалаке в саду подснежники, а я и слыхом не слыхивал!»

13

Георге поднялся из-за стола, убрал за собой посуду. Тетушка Фрэсына сидела на скамеечке перед печью, подкладывала в огонь дубовые щепки и внимательно следила за сыном. Георге надел пиджак, который носил обычно в праздники, надел шляпу и стал скручивать цигарку на дорогу.

— Георге... — Тетушка Фрэсына от удивления схватилась за правую щеку, словно у нее заломило зубы. — Не записался ли ты в комсомол?

— Чет. С чего ты взяла?

— Почему же ты не перекрестился?..

— Ей-богу, забыл.

— Разгневаешь бога, Георге! Перекрестись хоть сейчас.

— Э-э, ладно, вечером.

И ушел. Тетушка Фрэсына вышла за ним, закрыла наружную дверь, потом снова уселась на скамеечку и продолжала подкладывать в печку сухие дубовые щепки.

Как ярко горит дуб весной! Только гул, и пламя, и жар, ни капельки дыма. Сегодня Георге привез полную телегу хвороста, но не успел разгрузить, даже плуг не снял с телеги. Было как-то странно — он никогда не оставлял на ночь неразгруженную телегу. А что, если плуг и завтра, и послезавтра будет ночевать в телеге?

Тетушка Фрэсына оборачивается к иконам, и трижды крестится, и опять подкладывает хворосту в печь. Смотрит, как ярко горит огонь, и из пламени выплывают давно

прожитые годы, давно забытые радости, давно выплаканные горести.

Откуда и когда появились в их селе эти Дойнару — один господь знает. Достойные, трудолюбивые хозяева, каких мало! Сколько она помнит, люди всегда покупали у них пшеницу на семена, самые веселые вечеринки устраивались в их доме, и дети их, даже самые маленькие, никогда не проходили мимо взрослых, не поздоровавшись. Но до хорошей жизни они так никогда и не доживали.

Смотришь на кого-либо из этих Дойнару — и степенный, и хозяйственный, и жена у него молодая, хоть бери и снова выдавай ее замуж. Но ему все мало — мало работы, мало веселья, мало народу в деревне. И уж если влезет эта земля ему в душу, он будет рыть ее как крот, гектар за гектаром, пока не сгорит, как свечка, в сорок лет, свалившись на свежих бороздах. Ну а если пойдет по корчмам, то будет пить, пока не околеет где-нибудь под забором. А если заманят его дороги, то никогда не вернется больше в свое село.

Тетушка Фрэсына подкладывает еще в печку, подгребает угли, вздыхает. Странные они бывали, эти Дойнару, но красивые... Господи, почему ты наделяешь такой красотой именно то, что недолговечно!

В селе никто не выдавал за них своих дочерей, и все же не было девушки, которая не мечтала бы сбежать из дому с каким-нибудь Дойнару. Разве сама она не убежала к своему Ариону, будь ему земля пухом? Ходил, сколько он ходил к ним, но ни мать, ни отец не отдавали ее. Когда она родила Георге, мать заходила к ним несколько раз, а отец так и умер, не переступив их порога. Никак не мог простить: была она единственная дочка в семье, сыновья еще были, а дочек — только одна.

И такой красивый был ее Арион, что не проходило свадьбы, на которой бы невеста не станцевала с ним, и такой работящий, что они прямо из ничего построили хату, и такой был заботливый, добрый, что за все годы, прожитые вместе, ни разу не посмотрел на нее косо.

А когда Георге было уже три года, Арион стал по пятницам ездить в соседний городок продавать бочонки. Сам научился их делать зимой от скуки и наклепал целую гору. И вот в одну из пятниц случилась на базаре великая драка. В ту пору появилась в Раденах на редкость красивая и ладная девушка по имени Сафта. Ее сватали, заманивали, уговаривали, а она все выбирала, пока парни из разных деревень не взвились друг против друга и од-

нажды в пятницу посреди ярмарки не затеяли великую драку. То ли драка началась возле его бочонков, то ли та девушка ему самому понравилась, но Арион тоже ввязался в эту свалку. Вернулся он с ярмарки смурной, обтрепанный, те ярмарочные счеты не давали ему покоя, и на этом стала сходить на нет их семейная жизнь.

Днем он еще кое-как забывался в работе, а ночью вставал тихо, стараясь никого не разбудить, выходил во двор, взбирался по лестнице к чердаку и там сидел на верхней перекладине до зари, не выпуская изо рта цигарку. Оттуда видны были Радены. Потом все чаще стали манить его дороги, и хозяйство их таяло на глазах. Так и не успели достроить дом, не успели, и стоит хата полуслепая по сей день.

В одно из воскресений он только выехал со двора и вдруг вернулся. Распряг лошадей и сказал ей, чтобы принесла вина из погреба. Белого, которое крепче. Обычно он никогда не пил свое вино, а тогда пил так, что она еле успевала подливать. И после того, как выпил целый кувшин, положил плуг на телегу и впряг лошадей. И, увидев, что он в воскресенье уезжает с плугом, она взяла Георге на руки и стала с ним в воротах.

— Нет, — сказала она ему, — в воскресенье мой род не пашет.

— Что же он делает, твой род, по воскресеньям?

— Празднует и бога хвалит.

— А мой род пашет всегда, когда на душе у него тяжело. Пашет, какой бы там ни был день.

— И ты можешь, сидя на телеге, переехать меня вместе с твоим сыном?!

— Могу.

— Тогда езжай с богом.

Георгице ничего не сказал — рвался из ее рук на телегу. Проезжая мимо, Арион погладил его по головке.

— Ты ему не расчесывай чубчик влево. Не нужно, чтоб на меня был похож...

Тетушка Фрэсына подкидывает в огонь еще немного щепок. Господи, что она тогда пережила! Вот уже сумерки — его нет, спустилась ночь — его нет, полночь скоро, а его все нет. Она пошла к своему брату Петре и рассказала ему обо всем. Тот запряг лошадей, и они поехали искать его.

В Хыртопах нашли телегу посреди поля; кони порвали недоуздки и паслись возле пашни, а Арион лежал мертвый на свежих бороздах. Потом по селу говорили,

что он удавился, но это была неправда. У него было больное сердце, и он умер своей смертью. Конечно, если не считать того, что в то воскресенье в Раденах была свадьба.

Да, хорошо горят дубовые ветки. Весною горит все, что хочешь. Подует ветерок, встрепенется искра, и враз вспыхивает пламя.

Сколько она перемучилась, пока вырастила Георге, зато теперь ей нечего жаловаться — и рассудительный, и трудолюбивый. С малых лет она не пускала его к родственникам отца, а теперь он и сам не хочет ходить к ним.

И все же время от времени ей становится страшно. Слишком уж он трудолюбивый, слишком рассудительный, и слишком близко все принимает к сердцу. Господи, только бы не дал себя распалить, а то пропадут и он, и она...

Внезапно она вспомнила, что он не перекрестился сегодня после ужина. Тихонько поднялась, подошла к иконе. Опустилась на колени и, перекрестившись, прошептала:

— Благодарю тебя, боже, за хлеб, за соль...

Потом вновь уселась на скамеечку у печки.

Подумала, что нужно бы как-нибудь пояснить, сказать, что за себя она уже молилась, а это — за Георге. Но как объяснить это богу, не знала. И снова воздохнула:

— Боже, боже...

Хорошо горит весной дуб. Весной горит все, что хочешь.

14

Почти сразу же после полудня подрастающие гулены кидались на поиски Икимаша, потому что был он в ту пору не только идолом, но главным устроителем судеб. От него зависело — станет ли наступающий вечер праздником на всю жизнь или обернется обычным, ничем не примечательным времяпрепровождением; встрепенется, возликует ли молодая душа или опять вынуждена будет довольствоваться неопределенными надеждами на далекое будущее.

Музыканты были главной заботой. Валя Рэзешь никогда не имела своих музыкантов, и когда случались свадьбы или другие какие громкие празднества, рядили музыкантов в соседних селах. В остальном обходились несколькими старыми патефонами и доведенными до абсо-

лютного совершенства губными гармошками. Они и теперь лежали в своих истрепанных чехольчиках, эти губные гармошки, да что толку, когда сами виртуозы давно были в окопах; что до патефонов, то о них даже не заводили речь, ибо в Валя Рэзешь уже долгие годы маялись без пластинок и без иголок.

Таким образом, опять все возвращались к старику Дэнуцэ. Его допотопная, засаленная скрипочка могла веселить ночи напролет, но беда состояла в том, что старый скрипач совершенно не в силах был управлять теми огненными мелодиями, которые вылетали из-под его смычка. Казалось, он был учеником всего только один-единственный день. То, что удалось тогда ухватить на слух, то и носил с собой всю жизнь, аккуратно исполняя весь моток народных мелодий в том ритме и в той последовательности, в какой он их усвоил.

Когда его удавалось затащить в клуб, он начинал с того самого места, на котором был вынужден прервать свой музыкальный сказ в прошлый раз, а доведя нить до конца, начинал тут же все сначала. Упросить старика сыграть два раза подряд какую-нибудь приглянувшуюся тебе мелодию было делом невозможным, ибо эти повторы вне программы старик считал греховными и потому невозможными.

В конце концов ребята смирились с его причудами, тем более что плату он брал за свои труды весьма символическую, но при одном, однако, условии— что играть он будет только для своих. Но что значило в сорок четвертом жить в молдавском селе и играть только для своих! Клуб что ни вечер бывал битком набит. Заглядывало начальство — и местное, и бывало районное. Какие-то моряки, распираемые желанием показать себя, отчаянные инвалиды, путешествовавшие невесть откуда и куда, несколько бывших партизан, вооруженных немецкими автоматами. Разумеется, у каждого бывали свои любимые песни, и если местные довольствовались тем, что выцедит старик из своей старой скрипки, то гости начинали требовать свое, заветное, иначе какое это веселье! В том-то, однако, и была загвоздка, что старый скрипач не в состоянии был сойти с круга проторенных им народных мелодий. Что и говорить, случались вечера, когда ему приходилось покидать клуб освистанным, опозоренным, и это так его задевало, что он поначалу стал отказываться наотрез идти в клуб, а когда увидел, что дело может принять политическую окраску, попросту стал удирать из до-

му. Примерно так с полудня на дверях его старой, крытой соломой хатки появлялся огромный дедовский замок, и тогда ищи ветра в поле.

При появлении этих тупиковых обстоятельств все надежды возлагались на Икимаша. Странная метаморфоза произошла с этим Икимашем. Еще полгода тому назад он был оболтус, каких мало, и даже самые добрые натуры, склонные прощать всему и вся, сомневались, получится ли из него какой толк. Поскольку он осиротел в раннем детстве, его воспитывали по очереди несколько теток, живущих в селе, но толку не было никакого от их радений, потому что рос он вопреки здравому смыслу и был до того драчлив, что не было дня, чтобы он кому-нибудь морду не набил. Какое-то темное, агрессивное начало буквально било в нем ключом. Вот он стоит с одногодками, опершись о перила моста, плетут всевозможные небылицы, травит и он сам довольно лихо, когда до него доходит очередь, но вдруг ни с того ни с сего обрывает себя на полуслове. Наклоняется, поднимает валявшийся под ногами камушек, вмиг сатанеет, разворачивается, запускает камушком в голубое небо, и почти тотчас оттуда, из голубизны, падает ласточка с беспомощно сложенными крылышками, прошивает тихую гладь пруда, а Икимаш, довольный собой, возвращается к прерванной речи и продолжает ее как ни в чем не бывало.

Оказалось, он потрясающий стрелок, и сразу же после мобилизации его зачислили в снайперы. Сутками он дежурил в засадах и ниже офицерских чинов не брал. Однажды его снесли вместе со звонницей, откуда он вел стрельбу. Каким-то чудом остался жив, но тяжело контузило, и его тут же демобилизовали. Вернулся в село на дамском трофейном велосипеде в чине сержанта, с наградами, но все это почти не радовало его, ибо каждый миг, днем и ночью, его караулили припадки.

Вдруг ни с того ни с сего у него принимались темнеть глаза, губы становились земляными, начинали дрожать, в какой-то миг он валился как скошенный и бился в судорогах иной раз до получаса. Он очень стыдился этих припадков и, поднявшись с земли, униженный, осрамленный, шел по селу, низко опустив голову, и тогда единственное, что могло вернуть его к жизни, была старая засаленная скрипка, и надо отдать должное старику — он никогда Икимашу не отказывал.

Итак, сразу же после полудня вся молодежь из Валя Рэзешь бросалась на поиски Икимаша.

Давно он вернулся с поля? А жеребенок что поделывает? Почему он не повяжет ему на шею красную ленточку? Может, у них нет красной ленточки? Она была взволнована, ее немного лихорадило. В клуб ее долго не отпускали, и она сбежала.

Они спускались к мосту — клуб был за прудами. Луна только что взошла. Хаты простерли свои крыши поперек дороги, дымя под чужими заборами, ветер гнал по улице сухие листья, устраивая себе на ночь постель, а возле колодца Ирофтия стояла непоеная телка и печально смотрела на прохожих.

— Бедняжка. Хозяин ее уехал в гости, — грустно улыбнулся Георге.

— А чья она?

— Прикокия, того, с горы. Поехал в Петрены на крестины. Надо бы сказать его теще.

Надежда — это великая вещь, особенно когда душа молода. Весной в деревне полно хлопот, дни тянутся необыкновенно долго, от зари до самого заката, и работа сплошь тяжелая, связанная с землей, — вспашка, посев, посадки, но, несмотря на труды, на усталость, жизнь берет свое, и к вечеру в клубе народу полным-полно. Какая-то загадочная лихорадка трепала сельские клубы в тот последний год войны. То, что где-то совсем рядом шла великая борьба, и лилась кровь, и гибли люди за правое дело, причем кровь лилась не чужая, а своя, родная, и гибли не какие-то чужие, а свои, близкие, все это постоянно держало в напряженном ожидании, и какой-то демон-искуситель шептал на ушко каждому — действуй, пока не поздно.

Дыхание великих сражений охватывало всех, и каждому юнцу уже мерещились на плечах солдатские погоны, и каждая девчурка уже видела себя солдаткой с детьми на руках, но это могло быть только завтра, а сегодня, пока еще не поздно, нужно было найти своего суженого, нужно было взять от жизни то, что еще можно было брать, и для того чтобы найти друг друга, для того чтобы потерять друг друга, что ни вечер молодежь набивалась в сельском клубе.

Вечера выдавались разные. Случались тихие, разумные, задушевные, оседавшие потом в памяти легко и светло, как песня. Бывали вечера смурные, суетливые, нервозные, которые временами переходили в открытую

ссору, а то и в драку, иногда даже со стрельбой, потому что гости, принадлежавшие к разным родам войск, если удавалось раздобыть достаточное количество самогона, начинали вдруг выяснять отношения меж собой на глазах гражданского населения.

Русанда, как и всякая другая девушка, подозревала себя в диком невезении и, договорившись с парнем, потом целый день терзалась всякими предчувствиями. А вдруг выведут ее в свет в такой вот шумный, скандальный вечер — господи, это же станет плохой приметой на всю жизнь! К ее несчастью, в тот день по селу проехали какие-то машины с солдатами, и трусливый старик наверняка уже смотался из дому. Под вечер, однако, парни подналегли на Икимаша, а старый Дэнуцэ отказать Икимашу был не в силах, и вот он уже в клубе, в уголке, встревоженный, перепуганный, настраивает, настраивает и никак не настроит свою скрипочку.

Но нет, еще ничего не потеряно! Взметнулся смычок, стало радостно, светло, и где-то там впереди счастье было очень даже возможно! О, эти наши древние мелодии, чего они только не перевидали на своем веку! Вечер складывался на удивление, но к полуночи оказалось, что один из гулявших в клубе морячков умеет танцевать только под мелодию «Катюши», а танцевать ему хотелось до смерти. Старик сказал, что он слов не знает, а когда не знает слов, то у него и мелодия не получается. Моряк разодрал рубашку на груди и показал старику полосатую тельняшку. Старик, догадавшийся, что следует после того, как моряки показывают тельняшку, принялся упаковывать свою скрипку. Икимаш до того восторженно относился к морскому флоту, что ему казалась невыносимой сама жизнь, если село Валя Рэзешь ударит лицом в грязь. Зажав старика в угол, он в какой-то лихорадке принялся ему напевать на ухо «Катюшу», может, этот старый хрыч на склоне лет усвоит еще одну песню и привяжет ее к своему клубку излюбленных мелодий.

Бедный Икимаш — хоть и снайпер, и герой войны, и хороший в общем парень, но русский так и не выучил за эти полгода. Петь он никогда не был мастак, а теперь, после контузии, безбожно перевирал и слова и мелодию. Моряку показалось, что над ним измываются, и он стал засучивать рукава. Икимаш ответил на это движение флота новым рвением. Комичность ситуации буквально распирала всех, но, тактичные, а может со страху, ребята прятали глаза, отворачивались, пока вдруг молоденький

девичий голосок не рассыпался серебряным колокольчиком по всему клубу.

Икимаш вздрогнул, точно кто-то нанес ему удар в спину, и умолк. Стало быть, он за них горой, а они в ответ смешки?! Оставив старика, он направился в тот угол, где стояли, сбившись в кучу, земляки, чтобы найти ту пересмешницу, ту отпетую дуреху... Он шел, а тем временем лицо становилось земляного цвета, губы синели, начали дрожать... В конце концов ему удалось ее отыскать в толпе, но каждый раз, когда он вот-вот должен был ее ухватить, перед ним вдруг вырастала фигура Георге. Болезнь, с другой стороны, сжимала его в свои железные клещи и, крикнув: «Смерть немецким оккупантам!», он с грохотом свалился на пол.

В полночь луна ушла за тучи, потонула в том темном царстве; темень и холод опустились над селом. Русанда шла молча, чуть отстав, и молилась про себя — лишь бы добраться им домой целыми и невредимыми. Большего ей в жизни не надо. Георге вдруг стало жалко ее — господи, куда ей, этому птенчику, в этом бурном, неспокойном мире! Обнял ее на ходу за плечи, она вздрогнула.

— Тебе холодно?

— Нет, но неудобно как-то.

— Отчего неудобно-то?

— Да как тут скажешь...

Было неудобно, что навязалась парню и он вывел ее в свет в такой на редкость неудачный вечер; неудобно ей было за старого скрипача, который был учеником всего один раз в жизни, а больше никакие песни к нему не шли; неудобно ей было за Икимаша, которого обстоятельства заставили петь, когда ему меньше всего в жизни петь хотелось; наконец, неудобно было за все те молодые души, которые с такими надеждами собрались в тот вечер и разошлись такими разочарованными.

Было так темно, что не видно было, куда ногой ступить, и все шли, чуть вытянув вперед руки, чтобы не налететь на чей-нибудь забор. Георге первым освоился с теменью, освоился настолько, что, когда проходили мимо Ирофтиного колодца, увидел забытую миром телку, которая все еще стояла и ждала, когда ее напоят. Теперь она уже потеряла всякую надежду и молча лизала влажный желоб, не глядя на прохожих.

— Подожди минутку.

— Куда это вы?!

— Да надо же эту телку кому-то напоить!.. Мало ли что хозяева уехали в гости! Когда-нибудь и мы вот так куда-нибудь уедем...

Русанда покорно его дожидалась, но, когда он в третий раз спустил ведро, она спросила в ужасе:

— Что, еще не напилась?!

— Да ты у меня не из храбрых...

— Это когда как.

Идти было уже недолго, а Георге хотелось еще куда-нибудь свернуть, чтобы дороге этой конца и края не было. Это маленькое доброе дело, которое он свершил — напоил чью-то телку, — вернуло ему душевное равновесие, и ему приятно было идти вдвоем прохладной поздней ночью. Он шел и радовался тому, что молод, здоров и впереди еще целая жизнь. Юное существо, которое шло рядом и которое по каким-то древним законам находилось теперь под его защитой, наполняло его жизнь особым смыслом. Теперь и дороги, и дома, и заборы — все виделось ему иначе, потому что смотрел он на все это не только своими, но и ее глазами. Все было хорошо, все было прекрасно у них в деревне, но хотелось, чтобы все было еще прекрасней — не для себя, для нее хотелось.

А Русанда шла рядом и думала: неизвестно еще, чем вся эта заваруха кончится? Этот ее дурацкий смех может им еще выйти боком. Она заметила, как эти прихвостни Икимаша на всех перекрестках подкарауливали Георге и все шептались о чем-то меж собой.

Добравшись до своего дома, Русанда стала в калитке и так расхрабрилась, что даже тембр голоса стал более густым, более решительным.

— А знаете что, баде Георге?.. Я дам вам палку.

— Зачем?

— Как зачем? Война же идет!!

Георге улыбнулся, тихонько положил ей на плечо руку, прикоснулся щекой к ее щечке, мягко опрокинул ее голову и поцеловал. Ошалевшая от неожиданности Русанда вырвалась из его объятий, достала платочек, чтобы вытереть губы, потом раздумала, низко опустила голову.

— Ну вот я и опозорена...

— Да что ты говоришь!

Подождав, пока он отсмеется, она спросила:

— Вы еще не кончили пахать в Хыртопах?

— Чуток еще осталось.

— И я еще свой горох не весь посеяла.

Они говорили тихо совсем, одним дыханием, и все оглядывались, как бы кто не подслушал, потому что, хотя речь шла о пахоте да о горохе, бог ты мой, конечно же, речь шла на самом деле о другом, совершенно о другом... Где-то у соседей запел петух, но, взяв слишком высокую ноту, сконфузился. Выручил его другой, постарше, из того же курятника. Тому ответили из соседнего, и пошло, пошло, пошло... Время было уже позднее, и тем, кто собирался еще пахать, и тем, кому нужно было довести посев гороха до конца, нужно было быть разумными, умеренными, копить силу.

Георге закурил на дорогу.

— Ну что же, в таком случае — до свидания...

— Доброй вам ночи, — ответила Русанда доброжелательно и достойно, как их учили в школе отвечать людям старшим, которых должно уважать. О любви не говорилось, но это ведь личное дело каждого.

16

Нет его?!

Дул холодный ветер, из-за горизонта выплывали громады туч, забираясь все выше и выше. Грустил, колыхаясь на меже, щетинник, дрожал одинокий стебель пшеницы, ежилась продрогшая за ночь дорога, натянув на себя пыльные лохмотья подорожника.

Девушка стояла на краю села с сапой на плече и с кошелкой в руке. В сотый раз обегала она взглядом окрестные поля и долины, а видела только женщину в платке, собиравшую прошлогодние корневища подсолнуха, да немого Якубаша, вечно ковырявшегося в своем гектаре, да мальчонку, который, хныча, тянул за веревку козу.

Нет его...

Вздохнула, переложила кошелку с горохом в другую руку и тронулась в путь. Наверно, придет попозже. Как он может не прийти, раз сказал, что придет? Или пошутил? Нет, не шутил. Непохоже. Теперь, пока она одна, нужно быстрее посеять горох, чтобы потом осталось время посидеть вдвоем.

Русанда ускорила шаги и на мосту поравнялась с мальчонкой, тянувшим за веревку козу. Крохотный мальчик в отцовской кепке — громадная кепка, из-под которой едва виднеется веснушчатый носик.

— Ты чего плачешь?

Мальчик задрал голову, но козырек мешал ему что-нибудь видеть. Попробовал сдвинуть кепку на затылок, но она тотчас сползла на глаза. Тогда он совсем снял ее с головы. Вытер нос рукавом и ответил, заливаясь слезами:

— Коза... вот... убежать хочет.

— А куда ей бежать?

— Туда... в поле!

Русанда улыбнулась: оказывается, и кроме нее, есть на свете несчастные люди.

— Никуда она не убежит.

— У-бе-жит!!

— Да нет же. Отпусти веревку.

Мальчишка побледнел.

— А если убежит?

— Тетя поймает.

Мальчик посмотрел на Русанду, как бы оценивая ее способность быстро бегать. Подумал немножко и осторожно отпустил веревку. Почувствовав себя на свободе, коза подошла к краю дороги и принялась спокойно щипать травку.

— Видишь, не бежит!

— Не бежит... — удивился мальчик, но все же наступил на конец веревки ногой; надел опять кепку и спросил, далеко закинув назад голову, пытаясь увидеть девушку из-под козырька:

— Как вас зовут?

— Русанда.

— А меня Филипаш.

Выглянуло солнце и снова спряталось за тучи, из села выехала телега, свернула в сторону, потом выехали еще две, но и они свернули: склеванный галками кукурузный початок, который бросила девушка, чтобы отметить место, где она будет полдничать, лежит уже далеко позади, и у нее осталась только горсточка гороха, а его все нет.

Нет его, и что она может поделать? Ну поработает сегодня одна. Разве не случается так, что парень вспашет землю, а потом бросит ее; скажет девушке, что придет, а сам не приходит; танцует с ней один вечер в клубе, а на другой вечер не позовет... Случается так — парни ведь не торопятся. Успеет он и землю вспахать, и с девушкой встретиться, и в клуб сходить.

Так-то оно так, только почему рядки у нее выходят



кривые, почему сапа затупилась и почему руки у нее болят, словно стали чужими?

Девушка пытается выпрямить один рядок, но еще больше портит его; сапа соскакивает с ручки и, когда она пытается забить ее палкой, никак не становится на место, и все смеются над ней — смеется воробей на меже, смеется немой Якубаш, и мальчик с козой смотрит на нее так, будто и он смеется. Смеются все, смеется весь свет, и Георге смеялся вчера вечером!

Русанда вдруг бросила сапу на землю и уставилась на кошелку с горохом, вспоминая: чего это Георге вдруг так развеселился вчера? Смеялся над ней. Она искала что-то... палку.

И замерла, прижав руки к груди. «Боже, а дошел ли он вчера домой?»

И провалился куда-то горизонт, холм стал налезать на холм, заметалась под ногами земля. А десятина тетушки Фрэсыны, лежавшая наполовину распаханной, раскрытой, уплыла куда-то вдаль, закуталась туманами, и казалось, все, уже вовек не увидеть ей своего молодого пахаря...

Через час и само солнце скрылось за тучами. Зачем ему было висеть в открытом небе? Никто больше в Хыртопах не пахал, никто не сеял горох...

И удивились воробьи, найдя среди поля кошелку с куском хлеба, и удивились люди, когда, выйдя на лай собаки, никого не увидели на улице, и удивился бадя Михалаке: только что слышал шаги во дворе, а выглянул — никого нет.

Чудеса, да и только.

17

— А-а-а, вы калеки! Вот я вас!

Подметая землю подолом юбки, тетушка Фрэсына подбежала к подводе, схватила кнут и несколько раз неуклюже стегнула лошадей. Размахнулась еще раз, но кнут слетел с кнутовища.

— Проголодались? Так я вас накормлю! — грозила она, ища кнут в бурьяне... — Парень заботится о вас, балует, а вы... а вы...

— Добрый день, тетушка Фрэсына.

Русанда остановилась у ворот и недоуменно глядела на рассвирепевшую тетушку.

— Ты только подумай, доченька, — начала тетушка,

заламывая руки высоко над головой, — эти черти чуть не убили моего Георге.

У Русанды перехватило дыхание.

— А где он?

— Пошел к доктору, а как же? Сегодня ночью он вернулся домой и пошел дать им корму, так этот серый черт как лягнул, так и залил его кровью! Только погляди... Сейчас я тебе покажу.

Зашла в дом и минуту спустя вынесла пиджак, выпачканный кровью, — пиджак, в котором был вчера Георге.

— Господи, дочка, что с тобой?

Русанда низко опустила голову и сказала, глотая слезы:

— Мне что-то стало плохо...

— Ах ты, господи... Что же у тебя болит?

— Колет что-то...

— И-и, не говори, доченька! Если уж я не знаю, что такое эти колики, то кто знает? Погоди, я дам тебе хорошую травку. Ты ее сваришь, сделаешь настой с сахаром и выпьешь.

И, не дожидаясь ответа, быстро приставила к дому лестницу и полезла на чердак. Русанда поискала платочек в рукаве — нехорошо будет, если тетушка увидит, какие у нее мокрые глаза. Внезапно почувствовала теплое дыхание у локтя, обернулась, и косички перелетели со спины на плечо. Васька, насторожив уши, внимательно глядел на ее поясок. Потом подобрал у ее ног стебелек люцерны и принялся жевать от нечего делать.

— Ну где же Георге? — укоризненно спросила девушка, поглаживая пальцем звездочку на его лбу.

Васька замер, держа в губах стебелек люцерны.

— Вот тебе и на...

Услышав «на», жеребенок немедленно потянулся к ней, стал обнюхивать пальцы.

— Что тебе дать? Нет у меня ничего... Смотри. — И Русанда подняла вверх руки, показывая, что у нее действительно ничего нет. — Если хочешь, пойдем ко мне. Это недалеко. Пойдем?

Тетушка Фросына спустилась с чердака, неся в переднике горстку сухой травы. По дороге она остановилась и подняла кнут с земли.

— А когда я его искала, словно черт хвостом его прикрыл. — И бросила кнут на повозку, так как гнев ее уже прошел.

Она проводила девушку до ворот и вернулась домой, а жеребенок вышел на дорогу, глядя девушке вслед.

Русанда остановилась.

— Не идешь? Ну, как знаешь.

Сделала несколько шагов, оглядываясь на жеребенка. Васька послушал, как где-то гремит телега, но, видя, что она не показывается, пошел за девушкой.

Вернулся через час, сытый и очень гордый. На шее у него была повязана алая лента — красота, а не лента, такой ленты не носил еще ни один жеребенок во всей Валя Рэзешь!

18

Хорошая мысль наверняка стоит полгектара хорошей вспашки, а поскольку в тот день лошади Скридона едва волочили плуг за собой, он сразу после обеда запряг их, и старая тележка сонно заскрипела к селу. Скридон растянулся на повозке и принялся размышлять над многими интересными вещами, пока не пришел к заключению, что неплохо бы завести себе зазнобу. «Когда у тебя есть зазноба, то все девчата вдруг начинают строить тебе глазки и разрешают поухаживать за ними. Хитрые, черти, и тут уж не выкрутишься: если не поволочиться, обидятся, а только начнешь ухаживать, твоя зазноба сживет тебя со свету. И все это кончится тем, что будешь болтаться по миру, как ветер в бочке, и одна только будет песенка: «Что за стежка у меня была!..»

Размышляя таким образом, Скридон вдруг приподнимается на локте и забрасывает шляпу далеко вперед телеги — это означает, что ему в голову пришла отчаянная мысль.

«Черт меня побери, если все это не будет устроено!»

И поскольку его живая натура не терпит отсрочек, Скридон выдергивает из ботинок шнурки, связывает их вместе, привязывает все это к палке, которой очищал лемех, и получается отличнейший кнут. Покончив с этим, парень размахнулся, кнут засвистел, но лошади остались совершенно равнодушными, если не считать того, что серая кляча немного свернула с дороги, чтоб сорвать несколько стебельков клевера, а вороная тут же выхватила их у нее.

— Постарели, черти... Уже не боятся, — с большим сожалением заметил Скридон.

Размахивать кнутом явно не имело смысла, и поэтому Скридон обратился к лошадям с речью — ведь, кроме

всего прочего, он был еще и хорошим парнем, этот самый Скридон.

— Вот что, горемычные... Теперь нестись галопом вам ни к чему, я ведь не собираюсь вас продавать. Но по селу вы должны мне вихрем пролететь, чтобы люди видели только ваши гривы да искры из-под копыт...

Решив, что сказал более чем достаточно, Скридон растянулся во всю длину своей телеги и стал перебирать в уме все дома, мимо которых ему предстояло пролететь вихрем.

Прокатившись по селу несколько раз подряд, он поднял целые тучи пыли, переехал трех собак и напугал до смерти всех кур. В конечном счете он добился-таки своего, и в тот день только и было разговоров, что о нем и о его удивительных лошадях. Дошло до того, что две девушки попросили их покатать. Ту, что посимпатичнее, Скридон сразу усадил возле себя, но для ее подружки никак не мог найти места в телеге, и пока он прикидывал, куда бы ее устроить, его лошади уже проковыляли добрую половину села. Вместо лихого проезда получался стыд и срам. Скридон достал кнут и стал ожесточенно стегать своих лошадей. Ошеломленные, думая, что по меньшей мере повозка загорелась, клячи сорвались с места, шарахнулись в сторону, и повозка врезалась в дощатый забор. Треск, звон — и лошади уже мирно пощипывают травку, зная, сколько времени потребуется Скридону, чтобы починить телегу.

Скридон, спрыгнув на землю, прежде всего посмотрел, много ли у него будет свидетелей, которые своими глазами видели, как бешеная собака бросилась под ноги лошадям и те налетели на забор бади Зынела. Но поскольку вокруг никого не было, кроме Домники, которая, стоя посреди двора, глядела на его повозку и улыбалась, Скридон подошел к ней узнать, что она запросит с него за сломанную доску.

— Это была ваша собака, Домника?

Девушка, улыбаясь, вертела в руке какой-то камень.

— Которая напугала твоих лошадей?

Скридон с деловым видом кивнул.

— Наша.

Скридон уже собрался присочинить что-нибудь еще к этой истории, как с лица Домники вдруг сошла улыбка, девушка присела возле чугунного рельса и стала колотить по нему камнем. Уже дня три, с тех пор, как встретила Георге с забинтованной головой, она сердилась на весь

свет. Этой сказке с лошадьми она, конечно, не поверила — его просто избили холуи Икимаша. Ее порывистая и честная натура не терпела каких-либо прямых или косвенных оскорблений без того, чтобы тут же не ответить на них, и вот уже три дня она ломает все, что попадется под руку. И теперь она не остановилась, пока не раскололa весь камень на мелкие кусочки; покончив с этим, Домника поднялась, пряча руки за спину, чтоб Скридон не видел, сколько пальцев она ушибла. Скридон с видом знатока рассматривал ее работу. Поинтересовался:

— Что же дальше?

— Хочу сапу наточить.

— Душечка, да эту сапу сначала нужно отбить! Молоток есть?

— Был где-то.

— А на чем отбивать?

— Тоже было.

— Неси сюда.

Немного погодя Домника уже глядела на тонкую струйку железной пыли, которая сыпалась из-под напильника; глядела с завистью на большие, мускулистые руки парня. Вот бы ей такие, уж она не прятала бы их по карманам.

— Домника, ты еще ни разу не танцевала со мной?

Поднял глаза, чтобы увидеть ее улыбающееся лицо. Непонятно, как это у нее получалось, но только улыбалась она очень хорошо — прелесть, а не улыбка!

— Ни разу.

Скридон мечтательно покачал головой: если это действительно так, то она много потеряла.

— А ты хорошо танцуешь, Скридон?

— Самый первый сорт. Приходи вечером в клуб. Придешь?

— Упаси бог. Жизнь мне, что ли, надоела!

— Да при чем тут твоя жизнь?!

— А то ты не знаешь, что там, в вашем клубе, каждый вечер драка, каждый вечер льется кровь...

— Да выдумки, слушай, это же все бабьи выдумки!

— Кто же тогда проломил голову Георге Дойнару?

— Так, говорят же, лошади — не то та кобыла, что с жеребенком, не то та, которая только еще ожеребиться должна.

— Господи, Скридон, неужели и ты, умный парень, поверил в это?

То, что она вдруг назвала его умным, произвело глубо-

чайший переворот в его настроении. Из веселого озорника, который был не прочь поухаживать за девицей, Скридон стал тут же на ее глазах превращаться в смурного, недоброго, глубоко оскорбленного человека. Взгляд становился недобрым, дыхание агрессивным, кулаки рвались в бой...

В тот день партия молодых людей, терпевшая одно поражение за другим, получила великолепное пополнение в лице Скридона, а равновесие сил враждующих сторон почти всегда приводит к миру.

19

— Споемте, друзья!

Ежевечерние распри, сотрясавшие жизнь молодежи в Валя Рэзешь, видимо, дошли какой-то стороной до райцентра, в результате чего прибыла миловидная инструкторша для организации хора. У Скридона оказался очень неплохой баритон. Его поставили во втором ряду, и это перечеркнуло все его будущее на этом поприще. Беда состояла в том, что как раз напротив, в двух шагах, стояла сама инструкторша. Пока она объясняла песни, заучивала их вместе со всеми, жить еще можно было, но, как только она начинала дирижировать, у Скридона вдруг все начинало плыть перед глазами... Мало того, что она была хороша собой, у нее были красивые, округлые, в пору своего расцвета груди, и, как только она вскидывала руки в стороны, эти груди начинали двигаться под тонкой кофточкой, ну прямо сил никаких...

В первый же день после спевки Скридон вернулся домой совсем осоловевший, и, едва положил голову на подушку, как инструкторша тут же ему приснилась. Дело представлялось следующим образом. После какой-то спевки она предложила им пойти прогуляться по лесу. И, конечно же, в лесу она заблудилась. Вся молодежь кидается на поиски. Скридону удается ее отыскать бог знает в каком овраге. Счастливая, она кидается к нему, Скридон смущается, но в конце концов чего смущаться, раз она сама повисла на шее. Еще секунда, и он станет счастливейшим человеком, но тут загремела мать кастрюлями, принялась ругать кошку, которая все путается под ногами, сквозь занавески просачивается утро, и хочешь не хочешь, а вставать надо...

Тем не менее Скридону сон показался весьма многозначительным. Нужно было ковать железо, пока оно горя-

чо. Кое-как перемаявшись за день, он уже под вечер направляется к центру села, и едва Николай Кэрунту, заведующий, отомкнул замок, а Скридон уже тут как тут. Старается быть хорошим другом, хоть чем-нибудь да помочь, угощает тонко нарезанным табаком и при этом заводит разговор издалека.

— Ты, Николай, когда принял клуб, расписался?

— Расписался.

— Тогда учти. Они балуют тебя, пока ты не расписался, а расписался — крышка. Даже если захочешь, не сможешь дать задний ход.

Скридон сворачивает ему еще одну цигарку, приносит ведро воды.

— Ну и хороша эта инструкторша! Ты знаешь, как ее зовут?

— Екатерина Андреевна.

— Так. А ты не смог бы меня познакомить с ней? За это я вспашу тебе полгектара. Лопнуть мне, если не вспашу.

— Да ты что, не видел ее вчера вечером? Должна прийти и сегодня. Подойди к ней и заведи беседу.

— Нет, так я не хочу. Лучше знаешь что? Отзови нас обоих в сторонку и скажи: так, мол, и так, парень из нашего села, по происхождению из бедняков...

— Ты что, с ума сошел? Сегодня же выгонят меня с работы!

— Ну если так!... — Скридон оставляет его одного возиться с лампой у дверей, а сам заходит в клуб. Ждет, чтобы самому заговорить с нею. Подойдет, чуть заметно подмигнет и скажет: «Катя!»

И, представив себе, как они будут беседовать, Скридон по-приятельски хлопает себя по колену. Ничего, устроит он это!

Только пока что никто не показывается, и ему скучно, а раз Скридону скучно, он свистит и толкает клубную мебель, расставляя ее по своему вкусу. Но не успел он подтолкнуть стол к самой двери, как послышался стук каблучков по каменным ступенькам, знакомый голос, запах духов и в клубе появилась Она.

— Вы что здесь делаете?

— Жду.

— Кого?

— Свою большую любовь...

Николаева улыбнулась и, заметив разбросанные на подоконнике шашки, спросила:

— Играете?

Скридон застегнул одну пуговицу на пиджаке, посмотрел, идет ли ему, и снова расстегнул.

— А в это играют вдвоем?

— Вдвоем.

Помогая ей расставлять шашки, Скридон спрятал две в карман, потом они вместе стали искать их по всему клубу. Искали долго, и только когда инструкторша улыбнулась ему раза два да еще оперлась на его плечо, чтобы влезть на стул, только тогда Скридон нашел пропавшие шашки, которые лежали, конечно, между стульями.

Потом парень внимательно выслушал объяснение игры, но, как только Николаева двинула первой шашкой, засунул руки в карманы.

— Это напрасно... У меня только четыре класса.

— Ничего, научишься.

Увидев, что у него осталось мало шашек, Скридон показал ей воробьиное гнездо под стрехой, и, пока она его разглядывала, украл у нее несколько шашек, оставив приблизительно столько же, сколько было у него.

Николаева, казалось, ничего не заметила, но через три минуты у Скридона уже не было ни одной.

— М-да... Плохо дело.

И еще дважды говорил он «плохо дело», но четвертую партию Николаева позволила ему выиграть. Едва он забрал у нее последнюю шашку, как тотчас же подозвал пришедших в клуб ребят.

— Смотрите, ребята! Я только что научился играть и уже победил.

— Врешь.

— Вру? Я вру? Товарищ Николаева, скажите...

И когда Николаева подтвердила перед всеми, что проиграла партию, Скридон прищурил один глаз и щелкнул языком: дескать, мы тоже не лыком шиты.

Потом он отозвал в сторону ребят, каждого поодиночке, и сказал им, что танцевать с инструкторшей они могут, но чтобы никто и не подумал провожать ее домой — он уже договорился с ней.

Проводил он ее или нет — разве можно узнать у Скридона? Только вернувшись домой около полуночи, он, недолго раздумывая, из своей палочки нарезал шашек, а доску соорудил из переплета старой книги «Житие святого Фомы». Встал до света и, пока его мать засыпала муку для мамалыги, расставил их на столе.

— Мама, идите-ка сюда.

— Чего тебе?

— Так не могу сказать, подойдите поближе.

Мать подошла, вытирая руки.

— Ну?

— Значит, эти красные — ваши. Белыми играю я.

— Ну-ну.

— Вы можете двигать одной шашкой. Только помните, что я ее у вас заберу.

— Господи, Скридон, у тебя только глупости в голове! Лучше бы вышел и накормил уток, а то они ходят голодные вокруг хаты.

— Пусть себе пасутся. Птица зелень любит.

Но уже всходило солнце, и надо было ехать пахать. Скридон сунул шашки в котомку — найдет он в поле какого-нибудь игрока.

Время пахоты уже прошло, для прополки рано, и в поле было пусто — лишь кое-где на склоне холма одинокий пахарь чертил борозду за бороздой. Скридон сдвинул шляпу на затылок, держал плуг одной рукой и смотрел во все стороны — даром, что ли, он взял с собой эти шашки? Поодаль увидел девушку, узнал ее, протяжно и красиво свистнул, как делал всегда, когда мать его сомневалась, выйдет ли из него толк.

— С ней-то я поиграю!

Но в этот день солнце словно напилось пьяным — вот уже подошло к зениту, а потом остановилось на месте, будто собиралось вернуться назад. В конце концов Скридон предоставил его самому себе. Задал корм лошадям, взвалил котомку на плечо и направился к девушке.

— Эге-ге, Домника! Положи-ка сапу, пусть она отдохнет, а то потом будешь просить, чтоб я отвез ее домой на подводе.

— А если моя сапа не устает?

— Это ты мне говоришь?

И, чтобы не осталось никаких сомнений, Скридон уселся на землю как раз там, где остановилась девушка, опорожнил котомку.

— А что это такое, Скридон?

— Турецкие бобы. А ну, подойди, я тебе погадаю, когда выйдешь замуж. Смотри, эти, белые, — мои. Красными будешь играть ты.

Домника заколебалась.

— Да мне еще много сеять, Скридон.

— Брось, я сам посею. Сколько у тебя здесь? Полгектара? Вечерком заскочу и сделаю все.

Домника проиграла первую партию, но, увидев, что проигрывает и вторую, лукаво посмотрела на него.

— А где твои лошади, Скридон?

Скридон быстро поднялся, посмотрел на телегу, которая одиноко стояла, вонзив дышло в небо.

— Вот черти! Пошли на водопой. Ничего, я их найду.

Все же вынужден был собрать свои шашки.

— А ты чертовски хорошо играешь, Домника. Голова закружится, пока заберешь у тебя шашку.

Домника ответила горделиво:

— А ты что хотел? Чтобы я отдала их даром?

Скридон постоял в раздумье.

— Знаешь что? Приходи вечерком в клуб. Посмотрю, как ты будешь играть костяными.

— Да разве тебя найдешь в клубе!..

Скридон почесал затылок.

— Тогда я зайду за тобой. Приду в воскресенье. После обеда.

— Приходи.

Парень, взвалив котомку на спину, сделал несколько шагов и остановился.

— Только слушай, Домника. Чтобы ты мне была дома, а то я рассержусь. А если я рассержусь — баста. Ни за что не помирюсь.

— Такой ты злопамятный?

— Что поделаешь? Характер... — И пошел к своей подводе, тяжело ступая под бременем несокрушимого характера, которым его наделила судьба.

20

— Ты еще не готова, Русанда?

Девушка гладит кофточку. Вся раскраснелась, губы крепко сжаты.

— Нет еще. А почему вы спрашиваете?

— Как бы не опоздать на базар. Люди уже с каких пор идут. Вот и парень тетушки Фрэсыны...

Девушка привстала на цыпочки, глядит в окно поверх занавесок. А горячий утюг стоит на кофточке — хорошо еще, что Георге не задержался возле их дома, а то осталась бы девушка без кофточки. Быстро отвернулась, равнодушно спросила:

— Кто? Георге?

— Конечно, Георге. Сколько сыновей у тетушки Фрэсыны?

Через несколько секунд кофточка была выглажена, Русанда надела ее, оглядела себя с одной стороны, с другой.

— Мама, как сидит?

— Хорошо сидит.

Одевшись, зашла в каса маре, порылась в своем приданом, разложенном на софе, и достала из-под коврика десять рублевых бумажек — весь свой капитал, который она собирала около года. Завернула деньги в платочек, засунула его в карман.

Ну и шагают эти парни! Что ни шаг, то сажень — попробуй-ка догони их! Скажем, иногда и правда нужно спешить, но какая может быть спешка, если идешь на базар? И не оглядываются — она уже это заметила, — парни никогда не оглядываются. Ну а если едет подвода или машина — она не понимает, как это можно идти не оглядываясь?!

Георге шел своим обычным, спокойным шагом. Заметит кого-нибудь во дворе — поздоровается и снова идет, выбирая хорошую дорогу, чтобы не портить обувь. Он уже спускался к мосту, а впереди него... Впереди него шел Харитон, с которым Георге учился в школе. Остановятся они или нет? Русанда готова поспорить, что остановятся!

Она опустила голову, сделала десяток шагов, и, когда подняла глаза, парни были уже рядом. Тревожно забилось сердце, а тут ветер взял да и вырвал из-под косынки прядку волос и стал трепать ее по щеке.

Господи, да вырастут когда-нибудь эти косички или уж лучше отрезать их? Мама говорит, что вырастут — есть еще время. Так пусть вырастут сейчас, потом ей уже будет все равно. Что из того, что у ее матери сейчас длинные косы, — разве приходит кто-нибудь посмотреть, какие косы у тетушки Катинки?

Русанда поздоровалась с парнями и поднялась на мост.

— Ты куда, Русанда?

При постороннем девушка не решилась взглянуть на Георге. Привстав на цыпочки и пробуя, крепко ли держат доски моста, ответила:

— Иду на базар.

— Подожди, пойдем вместе.

— Идемте.

Выйдя из села, Георге спросил:

— Пойдем по тропинке, напрямик?

«По тропинке пойдет все село, — подумала Русанда, — каждый будет нас останавливать, рассказывать всякую чепуху».

— Пойдем лучше по дороге.

А была эта дорога широка и красива, окаймленная подорожником, и долго еще идти им рядом, — правда, дорога исчезает за поворотом, но это ничего не значит, потом она идет долиной до самой станции, а до станции еще далеко, только еле виднеются два серых тополя, и рядом с ними висит тонкая струйка дыма, — видно, на станции стоит поезд.

Вдоль дороги замер, призадумавшись, длинный ряд старых акаций и, обласканный теплым летним солнцем, отбрасывает густую тень далеко посреди начавшего уже колоситься пшеничного поля. Слабый ветерок то утихнет, то снова начнет качать колоски, и вместе с ними качаются, точно лодки по морю плывут, тени древних акаций.

Они идут молча, рядом, и лица их светлы, и на душе светло, и хотелось бы им обоим идти вот так да идти и чтобы конца и края у этой дороги не было. Ветер треплет рукава тоненькой кофточки, треплет прядку волос. Девушка на ходу пытается то и дело заправить ее под косынку, и при этом случается, что ненароком тоненькая кофточка чуть заденет жесткий суконный рукав парня. И содрогнутся, и застесняются, и оба вздохнут, хотя вокруг, насколько видит глаз, — ну ни живой души...

Собственно, ради этих треволнений и отправлялись в путь. Это и называлось в Валя Рэзешь пойти вдвоем в воскресенье на ярмарку.

21

Как они узнают, как они договариваются между собой, эти девушки, один господь знает. Но едва только старшие соберутся куда-нибудь из дому и девушка остается одна, к ней сразу слетается целая стая подружек — и секретничают, и сплетничают — всю бы жизнь слушал, если бы хватило терпения усидеть на месте.

В то воскресенье бадя Михалаке и тетушка Катинка решили сходить после обеда в гости к Григорашу — его недавно назначили агентом по поставкам, и надо было, так сказать, возобновить с ним родство.

Но едва бадя Михалаке успел подровнять свои рыжие усики, как пришла Домника.

Хлопнула наружной дверью так, что с лампы слетели все мухи, постояла в сенях, потом постучала. Это была одна из проказ Домники. Во всем селе в дверь стучали только учителя, и стоило посмотреть на Домнику, когда, постучав, она слышала за дверью торопливую перебранку:

— Уберите скорей эти вещи!

— Зачем ты выдвинула кадку из-под лавки?

— Да ты что тянешь, не видишь — это сапоги!

Домника стучала еще раз и, чрезвычайно довольная переполохом, появлялась на пороге. Так она дня три подряд обманывала свою соседку тетушку Кицу, и, когда на четвертый день к той постучала учительница, тетушка Кица закричала сердито:

— Да входи же, что ты там дуришь!

Услышав стук в дверь, бадя Михалаке неизвестно зачем надел шапку и приказал Русанде:

— А ну, поищи те квитанции. Живо!

На столе стояла миска с молоком, и тетушка Катинка, не зная, куда ее деть, накрыла новым полотенцем.

Только спустя несколько секунд бадя Михалаке, слюнявя палец и перелистывая квитанции, ответил:

— Пожалуйста.

Домника сперва приоткрыла дверь, чтобы посмотреть, удалась ли шутка, и лишь потом вошла.

— Добрый день.

— Расти большая! — улыбнулся бадя Михалаке.

А тетушка Катинка рассердилась:

— Ты чего стучишь, а? Не можешь войти, как все люди?

— Как же я войду? А может, здесь кто купается?!

— Купается! Вот замочила полотенце в миске...

Но бадя Михалаке спрятал квитанции обратно за икону, потом незаметно поднял с полу соломинку и в то время, как девушка внимательно рассматривала фотографии на стене, стал щекотать ей за ухом. Домника отмахнулась — ну и мух же этим летом! Бадя Михалаке подождал немного, потом снова принялся за свое. Девушка обернулась и вопросительно посмотрела на него, но он с серьезным видом одевался и смотрел в окно на сороку, что сидела на воротах и чистила клюв.

— Баде Михалаке...

— Что?

— Это вы балуетесь?

— Чего-чего?

Нет, наверно, все-таки муха. Снова стала рассматривать фотографии, и опять что-то щекочет за ухом.

— Баде Михалаке...

— Да что ты, девушка, привязалась?

— Покажите-ка руки!

Он спрятал соломинку между пальцами.

— Смотри.

А когда тетушка Катинка собралась в дорогу, бадя Михалаке, направляясь к двери, подмигнул Домнике:

— Чтоб больше не стучалась.

Как только остались одни, Домника спросила:

— Это он щекотал мне за ухом?

— А то кто же!

— Гм! — Она потрогала себя за ухо. — А по лицу и не узнаешь! Видно, и он был когда-то ухватистым парнем...

А дел, сколько у них сегодня дел! Во-первых, нужно было сделать прическу, как у фельдшерицы, с сердечком посредине; потом Домника получила письмо от одного бойца, и надо было написать ему такой ответ, чтобы тот не понял, что она хотела ему сказать. Кроме того, Домника собиралась кое о чем спросить Русанду, но это она решила отложить на самый конец.

Начали с письма. Не было чернил, но они сделали их из химического карандаша. А ручка — это пустяк, привязали ниточкой перышко к карандашу — вот тебе и ручка.

— Писать ты будешь? — спросила Русанда, вырывая листочек из тетрадки.

— Нет, пиши ты, у тебя почерк красивее.

Русанда обмакнула перо и поставила в правом верхнем углу число.

— А хоть красивый этот твой боец?

— Кра-сивый. Похож на Скридона.

Русанда с удивлением взглянула на подругу.

— Откуда ты взяла, что Скридон красивый?

— Ниоткуда не взяла, посмотрела на него и увидела. Посмотри и ты как-нибудь...

Стали думать, что писать. Полстраницы заняли приветы от Домники, от ее родителей и родственников из этого села и из других сел; сообщили ему, что у них хорошая погода, но на прошлой неделе двое суток подряд шел дождь, что пшеница хороша, а в клубе по вечерам

играет скрипка, но не хватает парней, и девушки поэтому танцуют друг с дружкой.

— Будешь еще писать что-нибудь?

На мгновение Домника задумалась, рисуя пальцем цветок на оконном стекле.

— Хватит с него.

— А в конце как писать — «с приветом» или «целую»?

— Никаких поцелуев! — как ужаленная, подскочила Домника. — Ты с ума сошла! Пиши «с приветом» или даже «до свидания».

И пока Русанда писала, Домника стояла за ее спиной и следила, чтобы та не напроказила. Заклеили письмо, написали адрес. Русанда вышла перевести поросенка в тень. Домника стояла задумавшись. Что-то ей не совсем нравилось в этом письме, как бы боец не обиделся. Быстро расклеила конверт и дописала внизу: «Желаю вам счастья и здоровья». Снова заклеила конверт, и когда вошла Русанда, Домника внимательно разглядывала фотографии на стене.

— А кто этот, с бородой?

— Дедушка.

— Огромнейшая борода!

Только развели огонь, чтобы нагреть щипцы для завивки, появилась соседка. Веруня была сегодня в голубенькой кофточке с двумя кармашками на груди. С этими-то кармашками она и мучается с самого утра — никак не может засунуть в них платочек, так натянута здесь кофточка. Веруня жила по соседству с Русандой. Приходила по три раза на день, и можно было умереть со скуки, ожидая, пока она уйдет. Веруня уселась на лавочке и, позевывая, стала болтать ногами. Потом увидела на подоконнике конверт, попыталась прочесть адрес, но не смогла разобрать ни слова.

— От кого письмо, Русанда?

— От одной тетки.

— Что пишет?

— Много всего...

Продолжая болтать ногами, Веруня опрокинула кувшин под скамейкой, но нисколько не смутилась, только пересела поближе к дверям. Потом увидела на окне огрызок карандаша и попыталась засунуть его в кармашек кофточка. Карандаш не вмещался. Зевая, смотрела, как Русанда завивает Домнике волосы, и сказала просто так, от нечего делать:

— А я вот не хочу завивать волосы.

— Почему, Веруня? — поинтересовалась Домника.

— Парни и так бегают за мной. Стоит мне захотеть — у любой отобью парня.

Она и в самом деле была хороша — грудастая, черноглазая, и много парней ухаживало за ней. Но липли все чужие. Как появится в Валя Рэзешь парень из другого села и увидит ее, сразу начинает ухаживать, но в первый же вечер поймет, что она за птица, и оставляет ее для следующего.

— А ты не гуляй со всеми, — наставляла ее Домника. — Выбери себе одного по вкусу...

— А не хочу.

— Почему?

— Уж я-то знаю, к чему подбивают эти парни... Не верю им. Черти они полосатые...

Русанда еще раза три переводила поросенка в тень, ребятишки уже гнали домой коров, а Веруня все сидела, словно приросла к той лавке.

Домника вся извелась — уж очень ей хотелось о чем-то спросить Русанду, но как тут спросишь, если сидит Веруня, зевает и смотрит на них... Вдруг Домника удивленно подняла брови: «Тс-с!» — и несколько мгновений стояла с окаменевшим лицом.

— Что такое? — спросила Русанда.

— Веруню кто-то звал... Несколько раз кричал: «Веру-ня!»

Но Веруня зевает, болтает ногами.

— Это меня зовут обедать.

— Что же ты не идешь?

— Сегодня у нас крупяной суп. Я его не люблю.

— А что ты любишь?

— Блины.

Видя, что ничего не помогает, Домника вышла во двор.

— Ты что-то хотела мне сказать? — спросила Русанда уже во дворе.

— Скридон пригласил в клуб.

— Ну?

— Я не знаю, что делать, — идти или не идти.

— Отчего ж тебе не пойти? И мы с Георге придем.

Домника некоторое время стояла раздумывая.

— Это правда, что вы сфотографировались?

— Правда.

Домника то завязывала, то развязывала косынку.

— И кто еще с вами снимался?

— Только мы вдвоем.

Домника грустно посмотрела на дорогу, следя, куда пойдет курочка-голошейка, но та все бродила без толку.

— И как вы стояли, когда вас фотографировали?

— Рядом.

Но Домнике нужны были подробности.

— Покажи.

— Как показать?

Домника замерла, опустила руки, глядя на скирду соломы.

— Покажи, как стоял Георге.

Русанда нехотя подошла к ней, спрятала свое плечо за плечом Домники и слегка наклонила к ней голову. Домника искоса следила за подругой, а когда Русанда положила ей на плечо еще и руку, Домника вздрогнула — это была фотография большой любви, так фотограф снимал только помолвленных.

— Ой, я ведь забыла запереть двери!

И бегом домой.

Она шла, счастливая, и радовалась тому, что наконец избавилась от этой дуры Веруни, радовалась тому, что сегодня пойдет со Скридоном в клуб, и у нее так хорошо уложены волосы, но откуда-то с высокой синевы летели прозрачные крупные капли и стекались ручейками по лицу, по подбородку, по рукам...

Домой она вернулась в прекрасном настроении, довольная собой, довольная всем на свете, и если бы кто потом сказал ей, что была у нее когда-то заветная мечта, которую она сама же с корнем вырвала из сердца, Домника бы ни за что не поверила.

22

Верно сказал, кто сказал: «Знал бы, где упадешь, соломки бы подстелил». Все успела Домника сделать до прихода Скридона: подмела в сенцах, перед хатой, полила цветы в садике, а то они так запылились, что и на цветы непохожи; заперла теленка, у которого была глупая правычка подходить к самому порогу и бодаться, будто тут все его приятели. Одно упустила бедная девушка — Трофимаш не пошел гулять, как они договорились, а взобрался на плетень и, сидя там, считал прохожих, а когда никого не было, крутил над головой кнут, который стащил из сеней, воображая себя на телеге. Если б она

раньше его увидела! Но она спохватилась только тогда, когда он уже беседовал со Скридоном.

Заметив чужого человека, открывающего их калитку, Трофимаш поинтересовался:

— Вы зачем идете к нам?

Скридон посмотрел на его до невероятности гладко причесанные волосы и сказал:

— Иду к твоей сестре.

— А зачем вам моя сестра?

— Да вот... Хочу пойти с ней в клуб.

— Напрасно вы пришли, я ее не пущу. И мама не пустит.

— Договоримся как-нибудь.

Скридон уже прошел мимо, но Трофимаш решил, что разговор еще не окончен.

— А знаете, почему мама ее не пустит?

— Почему?

— Потому что она уже не хочет спать со мной на печке. Хочет на софке, а мама не позволяет — софка и так старенькая, и Домника может совсем ее поломать. — И вдруг, рассердившись, закрутил над головой кнутом. — Ну, пошла, кляча старая!

Когда Скридон подошел к Домнике, бедная девушка была краснее мака и пыталась пальцами всадить гвоздь, вылезший из дверного косяка. Если бы только она знала, что перетерпит из-за этого сорванца, еще с вечера отвела бы его к бабушке. Теперь она стояла и соображала: сидеть одной с парнем в доме — нельзя, сидеть во дворе — не на чем. И в довершение всего у нее развязался шнурок на туфле, и как его теперь завязать?

— Ты готова? — спросил Скридон.

И она решилась:

— Готова.

Когда они вышли, Трофимаш пристально посмотрел на них, — видимо, хотел что-то сказать, но Домника его опередила:

— А ну подожди, я тебе застегну пуговку на воротничке.

Но Трофимаш был не дурак, он хорошо знал, как сестра застегивает пуговки. Соскочил с забора и задал стрекача, только пятки засверкали. Даже не оглянулся, пока не забежал в самую глубь сада.

— А на кого ты дом оставляешь?

— Мама здесь, у соседей.

И казалось ей, что все только на них и смотрят, и

боялась, как бы у нее совсем не развязалась туфелька, и поэтому шла как можно медленнее, а Скридон все забегал вперед, и люди подходили к своим плетням и смотрели, как они идут; один впереди, другой позади, и все молчат, молчат...

Но уж зато сам вечер в клубе обернулся для Домники праздником на всю жизнь. Оказалось, этот самый Скридон, такой смешной, чудаковатый и даже чуть нелепый, обладал каким-то редким даром преображения. Он схватывал на лету малейшую, самую пустяковую мелодию, ее ритм, ее краску, ее певучесть и, одухотворяясь ею, становился уже совсем другим человеком. Вдруг он уже и высок, и строен, и серьезен, и умен, и породист, точно бог весть какие древние ветви сошлись на нем: и каждый шаг плавен, и каждое движение красиво, глаз не насытится, глядючи на него, а ему до этого и дела нет. Спокойный, важный, торжественный, он весь отдается танцу, и все его движения похожи на переливы дивной реки, которая все течет, петляет, кружит, и ни конца ей, ни края.

Подхваченная этим удивительным перевоплощением, вдруг и сама девушка, которую он приглашал на танец, переставала быть обыкновенной деревенской хохотушкой, каких полно стояло вдоль стен, а становилась редкой породы цветком, выращенным его трудом, его стараниями и которого он вот теперь впервые показывает людям...

Отдавшись этому волшебству, Домника была на седьмом небе. Она уж и сама себя не узнавала, вдруг ей самой показалось, что что-то редкое, загадочное, чудное и прекрасное заключено в ней самой. И растворилось все вокруг, и было их только двое в целом мире, и, подхваченные фантазиями старого скрипача, они все летали из края в край, от танца к танцу, и счастье было столь сильным, столь пьянящим, что поздно вечером, когда, наклонившись к ее ушку, Скридон прошептал несколько загадочно: «Пойдем?», она, ни секунды ни колеблясь, ответила решительно: «Пойдем».

И только после того как вышли на свежий воздух, на улицу, под мерцающим небом светлой ночи, она вдруг вспомнила шепот своего кавалера и возмутилась:

— Что это значит — пойдем? Куда это, интересно, мы пойдем?!

— Ну домой же...

— Ах, домой...

За мостом они свернули на тропинку. Скридон расска-

зал ей, как он на днях чуть не поймал лисицу, сама лезла в руки; объяснил, почему вчера над селом пролетели три самолета, а сегодня только один, и, едва дошли до калитки, снял шляпу, повесил ее на столбик и пристально посмотрел на девушку.

— Знаешь что, Домника? Давай я буду ухаживать за тобой.

Домника улыбнулась.

— Давай.

— Нет, я серьезно говорю...

— Да ты ведь за кем-то уже ухаживал?

— Враки.

— А за той инструкторшей из района?

— Э... Я так только, издали прицелился, а так нет... К тому же она совершенно городская — ни постирать, ни поштопать, ни снопы вязать. Куда мне такая! А тебе ведь я предлагаю не пучок редьки, а вечную любовь. Ты подумай хорошенько и ответь.

— И обязательно сейчас?

— Можешь сказать и завтра, я и назавтра загляну к вам.

Хотел добавить еще кое-что, но вдруг над прудами кто-то забил крыльями. Оглянулся — в яркой лунной дорожке, перерезающей пруд, появились две лысухи.

— В этом пруду водятся лысухи?

— А ты не знал? Каждый вечер выплывают из камышей.

— Как-нибудь вечерком мы засядем с тобой вместе и поймаем. Я ведь умею ловить лысух!

В тот вечер Домника очень быстро заснула и во сне до утра рассказывала Скридону про все свои невзгоды. В конце концов она ему поведала, что в глубине сада в плетне у них есть дыра, в которую можно пролезть, если высоко поднять колючую проволоку.

23

Трофимаш проревел три дня, с утра до вечера, — и все из-за того, что ему не покупают шапку, а без шапки что за жизнь! И чего только ему не предлагали взамен — какое там! — твердил одно и то же: ему нужна шапка!

Во-первых, старшие мальчики, прежде чем принять его в игру, бьют шапкой по голове, чтобы испытать, не станет ли он плакать. Трофимаш нашел друзей помоло-

же себя, но нечем было их испытывать. Во-вторых, он узнал, что в школу не принимают без шапки и плохи были бы его дела, если б из-за какой-то шапки ему пришлось просидеть еще одну зиму на печке.

Кроме того, Домника, когда злится, дергает его за чуб. А будь у него шапка, натянет ее на уши — и попробуй доберись до чуба!

Ревел бы, видимо, и весь четвертый день, но мать, разбудив его рано утром, сказала:

— Вот возьми тридцать рублей. Пойди к бабушке на хутор, и она купит тебе шапочку. Там у них в кооперативе есть. Только попроси, чтобы выбрала какая побольше — у меня нет денег каждую неделю покупать тебе новую шапочку. И козырек чтоб был черный, лакированный. Не забудешь, что я сказала?

— Нет.

— А ну, посмотрим. Так что ты ей скажешь?

— Чтобы козырек был черный.

— Молодец. Только не потеряй деньги, потеряешь — домой не возвращайся. Слышишь?

— Слышу.

— Где ты их будешь держать?

Трофимаш заправлял рубашку в штанишки и вдруг задумался: где же в самом деле держать такие деньжищи?

— В руке.

— Ну да, в руке! Дай я их положу в карман. Только не вздумай вынимать.

Трофимаш умылся и ждал, когда ему дадут поесть, но, увидев, что мать наконец нашла гребень, который он спрятал под ковриком, выбежал во двор.

Бадя Зынел только что снял с сарая снопы, собираясь заново перекрывать крышу. Трофимаш остановился — давно ему хотелось посмотреть, нет ли чего интересного на чердаке. Несколько раз лазил туда, но так ничего и не увидел в темноте.

— Куда ты, Трофимаш? — спросил отец, укоризненно глядя на его немытые ноги.

«Отберет еще деньги...» — подумал Трофимаш.

— Да вот вышел... погулять.

— Погулять? Это хорошо, особенно по утрам... А чего ноги не вымыл?

— Утром вода холодная, наживу еще ревматизм.

— Гм!.. Тогда прогони тех гусей, чтобы они не общипывали снопы.

Трофимаш взял хворостину, погнал гусей за ворота — и был таков.

По дороге шел мужчина с косой на плече, следом мальчик нес двое граблей — небось боится нести косу. За мостом перевернулся воз с сеном, хорошо бы в нем поиграть, да хозяин рядом торчит.

От села до хутора немалый путь, и у Трофимаша было время достать из кармана деньги и посмотреть, настоящие ли. Запустил было руку в карман, но тут его окликнули:

— Трофимаш, а Трофимаш!

Его догоняла Русанда. На плече грабли, а на граблях кошелка.

— Ты куда это в такую рань?

— К бабушке иду, чтобы она купила мне шапочку. С козырьком.

— Что ты говоришь! А деньги у тебя есть?

— Есть! — Сунул руку в карман, но вытащить деньги не решился: кто знает, народ теперь хитрый...

— Приходи вечером, я посмотрю, как она тебе идет. Если будет удачная покупка, мы тебя женим. Ладно?

— Да я давно хотел, только не на ком.

— А Иленуца, ваша соседка?

— Она сопливая. Не люблю...

Русанда улыбнулась, раскрыла кошелку.

— А виртуту тебе дать?

— Не хочу. Я только что ел.

— Виртуту ел?

— Виртуту.

Даже улыбнулся — здорово соврал. Но хорошо, что не все верят, а то остался бы голодный. Запрятал ее в карман и уже прикидывал, как бы побыстрее улизнуть и попробовать: вот если бы с повидлом!

Русанда положила руку ему на голову. Трофимашу это не понравилось: хватит с него и того, что дома все таскают за чуб! Но теплая и мягкая рука девушки погладила его по этому самому чубику, потом скользнула на плечо, и Трофимаш подумал о том, как бы хорошо ему жилось, будь она его сестрой.

Едва они разошлись, Трофимаш достал виртуту. В два счета от нее ничего не осталось, и теперь он мучительно вспоминал: неужели она была с повидлом? Не успел разглядеть, до того вкусно было...

Потом достал наконец тридцатирублевку, посмотрел

ее на свет, сложил вчетверо и снова развернул. Настоящая. Все углы целы, и чернилами не запачкана. Хотя с деньгами дело очень сложное — рубль еще можно на ходу рассмотреть, а с тридцатью шутки плохи. Это не всякий даже сможет.

Трофимаш свернул с тропинки, выбирая местечко поудобнее, чтобы присесть, — вдруг из-под большого булыжника выглядывает самый настоящий револьверный патрон. Потряс возле самого уха — порох есть. Пуля, конечно, тоже была. Подумал — вот если бы у него была хоть какая-нибудь, старая-престарая шапочка! Тогда на эти деньги можно было бы купить ливорверт. До вечера он наверняка настрелял бы штук десять зайцев — ну, не десять, десять он не донесет, а восемь уложил бы наверняка.

Но не стоит огорчаться — бэдица Тоадер написал с фронта, что привезет ливорверт. Орудию, конечно, не привезет — в хате негде ее держать. А ливорверт привезет. Придется немного подождать, пока бэдица побьет немцев. А сегодня нужно поскорее купить шапочку — и домой, там его ждут не дождутся.

Вышел на тропинку и заспешил к своей бабушке — до хутора было рукой подать, но этот револьверный патрон не давал ему покоя. Будь у него ливорверт, во что он мог бы еще пострелять? Вон там, на меже, два воробья — завидев его, улетели. Молодцы, надо спасаться, пока не поздно.

Вдруг заметил впереди себя на тропинке во́рона. Стоял себе преспокойно и долбал орех. Это была уже большая наглость. Разозлившись, Трофимаш выбрал подходящий камешек, опустился на одно колено, долго прицеливался — проучит он его. Камешек пролетел над самой вороновой головой, но тому хоть бы что. Схватив орех в клюв, отлетел немножко и снова стал его долбить. Причем опять же на самой тропинке, где земля утрамбована и легче расколоть орех.

«Да это же орех из нашего сада!»

Возмущенный в высшей степени, Трофимаш быстро наполнил карманы камешками и погнался за вороном так, что рубашка пузырем вздулась на спине. С подсолнечника в кукурузу, оттуда в гречиху, из гречихи в виноградник. И когда совсем было накрыл ворона рукой, тот вдруг взлетел высоко в небо, оставив Трофимашу две ореховые скорлупки.

— Ах ты, чертов ворюга!

Ну бог с ним! У кого орех, у кого шапочка. Трофимаш присел, чтобы в последний раз рассмотреть тридцатирублевку. Ищет в одном кармане, ищет в другом, на мгновение окаменел, с глазами, полными ужаса, — нет денег! Вывернул карманы, крутил их, вертел, ощупал себя с ног до головы — нет денег.

Мало еще драли его — вот в чем дело! Трофимаш схватил себя за чуб и начал дергать его во все стороны, как это делала Домника. Было очень больно, но он терпел. Деньги, однако, не появлялись.

К вечеру он вошел в село, пряча от прохожих свое унылое, заплаканное лицо, тихо крался вдоль заборов, будто все село уже знало, что он потерял деньги.

Пусть его бьют. Он будет молча стоять на месте, пока им не надоест. И если после этого останется в живых, он зашьет себе карманы мягкой проволокой и, сколько будет жить, не будет гоняться за воронами.

Был он страшно голоден, от плача болела голова, и ему казалось, что уже не осталось ни одной слезинки там, где они собираются. Но когда подошел к воротам, они снова полились ручьем. Вошел в хату, разглядел сквозь слезы залатанные колени отца, на которых отдыхали мозолистые руки, и остановился перед ними.

— Я... я... потерял рубли.

Рука поднялась, Трофимаш съежился, вобрав голову в плечи. Остро екнуло сердце раз, другой, третий, а искры все не сыплются из глаз. Наконец почувствовал отцовскую руку на своей голове — рука ласково поглаживала чубик.

«Не понял!» — подумал Трофимаш, вытирая щеки рукавом.

— Я потерял деньги... которые мама дала купить кепку.

— Это ничего, сынок.

Тихо поднялись мокрые ресницы, и удивленный взгляд остановился на подбородке отца.

Бадя Зынел поднялся с места, взял его за руку и повел в каса маре. Там рыдала Домника, уткнувшись лицом в подушку.

— Отец, чего это она?

Бадя Зынел ничего не ответил. Только снял с гвоздя зеленую шляпу с павлиньим пером, шляпу бэдицы Тоадера, и надел на голову Трофимашу.

— Вот, теперь можешь ее носить...

В сенях бадя Зынел остановился и сказал громко, чтобы все слышали:

— С сегодняшнего дня кто тронет Трофимаша, будет иметь дело со мной. — И ему: — Ну иди играй...

Трофимаш осторожно снял шляпу, хотел оставить ее на столе, но отец снова надел ее ему на голову.

— Иди так, в ней.

— А что скажет бэдица Тоадер?

Вместо ответа бадя Зынел закрыл глаза, будто его слепил этот яркий дневной свет, от которого, казалось, он уже отвык.

Трофимаш уселся на завалинке: «Что это с ним такое?»

Две женщины проходили мимо, остановились, долго глядели в их двор.

— И остался Зынел всего с одним сыном!

— С одним-единственным...

Трофимаш подскочил как ужаленный. Где бэдица Тоадер? Почему отец отдает его шляпу? Не нужна ему шляпа бэдицы...

Кинулся в каса маре, хотел повесить шляпу на старое место, но не мог дотянуться.

— Домника, почему ты плачешь? Где бэдица Тоадер?

Он подошел к ней, Домника, не поднимая головы с подушки, обняла его за плечи. Трофимаш припал к ее мокрому лицу и разревелся. Как он ждал бэдицу Тоадера!

В тот день, до позднего вечера, возле ворот бади Зынела стоял мальчик в большой зеленой шляпе с павлиньим пером, в шляпе, которая снилась не одной девушке в этом селе.

Война, хоть и далеко, но она все еще шла.

24

Тем временем настал час прополки, и Георге тихо про себя торжествовал, потому что после пахоты, сева и косьбы прополка была самой большой его радостью. Какая-то хваткость, какая-то сноровистость пробивалась во всех его движениях, во всех начинаниях, и ему прямо не терпелось испытать себя: что еще сегодня будет получаться лучше, чем вчера? С неделю, поддавшись уговорам матери, помогал то тому, то другому, а потом спо-

хватился, что его собственные посевы затерялись в сорняках. Дождя не было давно, кукуруза чахла, что называется, на глазах, задавленная сорняками, и в таких условиях стальная тяпка Георге приходила к ним как избавитель, как судья высшей справедливости в этом таком неспокойном и таком неравном зеленом царствии.

К тому же, что ни говори, одно дело потеть на чужих полях, и совсем другое дело, когда под твоими ногами покоится твоя же земля. Тихо переливаются над головой, выгорая на жарком солнце, бескрайние голубые просторы. Два-три жаворонка растаяли над холмистой далью, но не стихает их вечно бодрая песня. А устанет жаворонок — и накатит непочатый мир покоя, и на всю немоту этих полей, на всю голубизну этого неба ты один, и твои мысли, и твоя судьба. Наступал один из тех бесконечных, полных трудов и одиночества дней, в которых Георге по непонятным для себя причинам чувствовал себя почти что счастливым.

Конечно, долбить тяпкой по окаменелой от засухи земле дело нелегкое, но святое, ибо бедные посевы, едва выбравшись из плена, тут же, за твоей спиной, принимаются полоскать по ветру начавшую уже желтеть листву. Принести кому-нибудь избавление, вдохнуть новую жизнь — это один из величайших смыслов человеческого деяния. Одно это может наполнить жизнь человеческую смыслом, придать новые силы. А вокруг поля кукурузы, поля подсолнечника толпились в ожидании. Со всех четырех сторон света на него глядели дальние склоны и низины, видя в нем пахаря, чуя в нем разумного сеятеля, и какое еще может быть счастье, когда ты молод, в силе и со всех сторон ждут не дождутся твоей помощи?

Он рыхлил землю определенными порциями, называемыми в Молдавии постатами, и когда, дойдя с рядками до конца обозначенного надела, поворачивал обратно, из-за залитого солнцем холма выглядывала россыпь побеленных домиков. Эти домики наполняли его каждый раз нежностью, ибо это была окраина его родной деревни. Где-то там, в той деревушке, девушка хлопочет по дому, наматывает пряжу, белит полотно или еще чем занимается, и хотя она послушна и делает все, что ей ни скажут, она уже тому дому больше не принадлежит, ибо носит в себе обличие его потомства, которое со временем принесет в этот мир. У них будет свой дом, своя жизнь,

и Георге уже казалось, что он видит похожих на него босоногих мальцов, бегущих к нему напрямик, через поле, и это ли не было счастьем?

Около полудня, возвращаясь с новыми рядками, он вдруг увидел вышедшую из села одинокую фигуру матери. Шла она медленно, надломленно как-то, с тяжелой кошелкой, в которой наверняка был сготовленный для него обед. Но, хотя кошелка была полная и несла она ее с большим уважением, с любовью даже, видно было, что идет она расстроенная, и что-то екнуло в сердце Георге. Хоть и молод, он уже откуда-то знал, что эти счастливые дни в нашей жизни — они никогда не проходят безобидно. Как правило, за каждым счастливым днем идет по пятам какая-нибудь черная пятница, и теперь он готов был поспорить на все, что угодно, что вместе с куриным супом, так называемой замой, матушка несет ему какие-то на редкость плохие новости.

— Бог в помощь! — сказала тетушка устало, издали, и сам голос ее и весь ее облик были так усталы, так беспомощны, что Георге подумал — не иначе как пришла повестка, не иначе как и его призывают на войну. Тетушка, однако, ставила обед превыше всего. Хорошему работнику полагается хороший обед. На разрыхленную землю, между двумя рядками хилых кукурузных стебельков, постелила скатерку, широко, от души нарезала хлеб, налила заму в глиняную миску. Георге сел прямо на теплую землю, взял хлеб, ложку и, откусывая, подбирал затем краюхой капли, которые готовы были вот-вот сорваться с ложки.

— Вы не пообедаете со мной?

— Пощусь, — сухо ответила тетушка, и Георге подумал, что это тоже не к добру. В самом деле, был вторник, середина лета и никаких, ну решительно никаких, по его представлениям, причин, чтобы поститься в тот день.

— Ты хорошо сегодня поработал, — сказала она вполголоса, думая при этом о чем-то другом.

— День выдался удачный, спорый, — сказал Георге и подумал, что обед уже идет к концу и напрасно она так долго тянет с этой новостью. Женщина однако стояла на своем, и только когда он, доев, принялся скручивать щепотку махорки в газетный лоскуток, она, убирая в кошелку остатки принесенной снеди, вдруг уронила и

ложку и миску. Удивленная этим, она выпрямилась, да так и осталась стоять в этом бесконечном удивлении. И тогда он сам спросил:

— Что там нового у нас в селе?

— А что там может быть нового, — сказала она задумчиво и вдруг, повернувшись лицом к восходу, принялась размашисто, торжественно осенять себя крестным знамением. Перекрестившись, тихо добавила: — Пусть земля ему будет пухом на той его чужбине...

— Неуж-то... — спросил Георге, и голос его дрогнул, потому что был у него друг, единственный, без которого он не мыслил ни себя, ни своей жизни. Неужто тот единственный и верный друг...

— Смертью храбрых, — сказала тетушка, и по ее дряблым щекам катились слезы. — И этот смертью храбрых...

О, эти наши солнечные, такие удачные, такие счастливые дни...

Дорога петляла по склону длинного, древнего, побиблейски нищего холма; только кое-где в низинах да в оврагах сочно зеленела сорная трава. А вокруг, насколько видел глаз, во весь склон этого холма расцветший репей. Огромная желтая шаль, витавшая, должно быть, как рок над этими полями, как предвестник надвигающейся катастрофы, имя которой со временем будет «засуха», вдруг опустилась над всем этим склоном, и из плена той желтой заразы только кое-где и высунется кукурузный стебелек, обреченный стареть задолго до расцвета.

Георге шел медленно, вразвалочку, за своей телегой, запустив кнут за голенище, и тоска, довлевшая над всем этим полем, постепенно, шаг за шагом, овладевала его духом. То, что происходило с окружающей землей, происходило, как правило, и с ним самим. Причем он смутно понимал, что это только начало, а что будет потом и с ним и с его землей, одному богу известно.

Шесть подвод из Валя Рэзешь катят по длинному, усохшему на солнцепеке холму, и, кажется, ни конца этому холму, ни края. Собственно, спешить тоже было некуда. Раз в неделю, у кого были лошади, получали наряд на общественные работы. Теперь вот наступила его очередь. Мешок плевела для лошадок, краюха хлеба для ездового — и пошла, старая кляча! Едут за дровами в Цаулянский лес. Давно уже повыяснили, кто что курит;

повстречали чернобровую молодку, несшую своему мужу еду в поле. Начали подбивать бросить мужа и поехать с ними, да ничего не вышло. Есть которые предпочитают быть верными. Потом долго хвалили чью-то ясеневую оглоблю, хвалил ее и сам хозяин, но так и не сказал, где стянул ее.

С запада поплыли черные тучи и зашили все небо. Вдруг стемнело, а из-за холмов дул ветер, подметая дорогу; в долине меж старых одиноких фруктовых деревьев показался заброшенный домик, совершенно без окон.

«У нас народ уже возвращается с поля», — подумал Георге. Было как-то странно, что после дня работы он не распряжет лошадей, не вымоется до пояса и, надев чистенький пиджак, не выйдет на перекресток, раздумывая, в какую бы сторону пойти.

Обернулся, пытаясь отыскать меж холмов господарскую могилу, с которой видно было их село. Но ничего нельзя было разобрать в той стороне — темнота уже поглотила и холмы и долину.

Георге остановился, поджидая подводу, следовавшую за ним. Ее хозяин только что подобрал кусок проволоки и сматывал ее.

— Для хозяйства, баде Васыле?

— Э, собираю... — смутился тот. — Иногда требуется кусочек проволоки, а если его нет, то откуда взять? Ты мне его дашь, что ли? — И сам ответил: — У тебя его тоже нет.

Вытер руки о штаны, которые ему обычно заменяли носовой платок, отчего вечно лоснились на коленях.

— У тебя нет газеты? А то я скручиваю из книги. Мне ее привез тесть из Бельцов. Не знаю, на каком языке написана, не разберу. Но и для курева не годится.

Закурили.

— В нашей стороне, кажется, дождь.

— Что ты говоришь? — Васыле передвинул цигарку во рту и снял шапку, как будто она мешала ему разглядеть, что делается у него в деревне. — Чтоб мне лопнуть, если не идет дождь!

Вскочил на телегу, закричал:

— Эй, у нас идет дождь!

Стали вспоминать, кто что забыл на дворе, а бадя Васыле на всякий случай переложил спички во внутренний карман. Только Скридон лежал, вытянувшись, на повозке и успокаивал всех:

— Пусть льет, нам-то что?

Он на днях закончил сеять гречиху и поэтому лежал беззаботно, надвинув кепку на глаза.

Дорога, одолев наконец этот нескончаемый холм, выбралась на равнину. Георге подбежал к своей телеге, вскочил на нее и подхватил вожжи. Лошади пошли рысью. Впереди показалась темная полоса леса. Скридон приподнялся на локте и спросил всезнающего Васыле:

— Цаулянский, что ли?

— Он самый! Вставай и погоняй скорее, сейчас доедем.

Скридон заорал не поднимаясь:

— Ну-у, вы, кале-е-ки!

Цаулянский лес все ближе и ближе. Георге видит, что он уже совсем рядом, но почему-то ему все равно. Вытащил из соломы фуфайку и набросил на плечи. Вдруг впереди, над лошадиными головами, замаячил облик юной, печально-задумчивой девушки, и как бы дорога ни петляла, она упрямо витала впереди телеги, как херувим. Она была почти родной, и, как ни странно, ему бесконечно хотелось расстаться с ней. Вот так, без каких-либо причин и объяснений расстаться, а потом всю жизнь носить в своем сердце эту сладкую боль несостоявшегося счастья...

Как и все молодые, он любил себя страдающим, и всю дорогу его волновала какая-то грустная мелодия, было чего-то жаль, то ли бадю Васыле, у которого нет в доме куска проволоки, то ли этот заброшенный, пустующий домик в поле, то ли того единственного друга, который был и которого уже нету.

Дул ветер, подметая дорогу, заметая следы телег, следы ног, клонил до земли стебелек подсолнуха, выросшего самосейкой на краю дороги. До чего мир велик, говорил этот подсолнух, росший на обочине дороги, и до чего одиноко живое существо в этом мире!

Едва нагрузили подводы, как на поляну, где они остановились, вышел Скридон, волоча по земле мешок.

— Что у тебя там, Скридон?

Скридон не знал, сколько еще вопросов последует, и потому опустился на свой мешок.

— Мох.

— Мох? Зачем он тебе?

— Устрою постель. Сколько можно, товарищи, на жестких досках спать?! Вот будет благодать! Такой мя-

конький, — Скридон засунул руку в мешок и, блаженно улыбаясь, ощупывал мох, словно приглашал и остальных полюбоваться его сокровищем.

К ночи прояснилось. Ветер чуть шевелил косматые шапки дубов, пропуская по звездочке сквозь густую листву.

Стали укладываться на ночь. Бадя Васыле принес Скридону пенек — может, пригодится вместо подушки.

Внезапно из-за деревьев показался старичок с топором, заткнутым за пояс. Старичок шел быстро, не глядя под ноги, не оглядываясь. Видно, хорошо знал лесные дороги. Пересек поляну; здороваясь, шляпу не снял, даже руку не поднял, чтобы хотя бы сделать вид, что собирался ее снимать. Вдруг остановился у телеги Скридона, посмотрел на лошадь, у которой вспухла бабка передней ноги. Положил руку на спину лошади и, видя, что она не прядет ушами, — смирная, значит, — нагнулся и потрогал опухоль.

— Это твоя лошадь? — спросил он Скридона, который устраивал под телегой постель.

— Скажем, моя! Ну и что?

— Ты не смазывал ей бабку дегтем?

— Нет.

— Смажь. Пройдет.

И пошел было дальше. Но не успел сделать двух шагов, как остановился возле телеги Васыле, пораженный чем-то.

— Эй, вы, чья телега?

— Моя.

— Чего ж ты поставил ее на могиле?

— На какой могиле?

Мигом все собрались вокруг телеги. И только тогда разглядели рядом черневший деревянный крест.

— А кто здесь лежит?

— Девушка наша... из Цау.

— Отчего же ее похоронили в лесу?

— А то где же? Здесь нашла она свой вечный покой...

Старик нажал плечом на задок телеги и сдвинул ее с места. Все взялись ему помогать и откатили телегу в сторону. Васыле, быстро подняв кнут, который лежал возле креста, шепотом спросил:

— Мош, а что же тут стряслось?

— Сын лесника ее застрелил. Он ухаживал за ней три года. — Старик оперся на телегу и закурил цигарку. —

Большая любовь была. Потом парня забрали в армию, а родители тем временем выдали ее насильно за другого, за нелюбимого.

— Ну-ну?

— Так вот. Там, в армии, узнал он об этом. Вернулся и дал ей знать, чтобы она пришла сюда, на поляну. Здесь они встречались.

— И он застрелил ее?

— Говорят, сама попросила...

Сонная ворона свалилась с ветки и бешено забила крыльями.

— А куда девался сын лесника?

— И он тоже здесь...

Старик подошел к могиле, поднял несколько соломинок, упавших с телеги Васыле.

— Большая была любовь... Красивые были оба. О них и песню сложили...

Она птицей прилетала
Вечерами на поляну...

У старика дрогнул голос, и он, качая головой в такт, допел песню уже про себя. Потом передвинул за поясом топор и не спеша зашагал прочь. И долго еще мелькала меж стволами древних дубов его белая рубаха.

— Видели, до чего доводит любовь? — в ужасе спросил Скридон.

С обеда ни у кого крошки не было во рту, и, хотя перед приходом старика многие уже стали развязывать свои котомки, теперь никто не брался за еду. Сидели молча, каждый думал о цаулянке. Из глубины засыпающего леса доносился шепот, тихий, как колыбельная песня. Дубовые стволы таяли в ночной темноте, и откуда-то снизу слышались глухие удары топора.

Скридон взял свою котомку и стал укладываться спать.

Скоро и остальные улеглись. Георге лежал, вытянувшись под телегой, и думал о цаулянке. Представлял ее себе, как она идет по лесу, стройная, красивая, и ветер почему-то тоже ласкает ее щеки прядью курчавых волос.

Кряхтя, вылез из своей постели Скридон, снял колесо, соскоблил деготь с оси и смазал бабку у лошади.

Потом снова лег. Скоро все уснули, и только лошади звучно жевали, изредка позванивая уздечками. Георге приподнялся на локте, отыскал глазами крест над могилой цаулянки. И снова лег. Он лежал призадумавшись,

над ним висело огромное, необъятное ночное небо, и дубовые леса о чем-то тихо шептались меж собой. Мир был так таинствен и так прекрасен, что ему захотелось вдруг умереть сию же секунду, умереть вот здесь вот, в лесной глуши, и чтобы даже могилу его никогда не разыскали; чтобы и о нем говорилось в деревне — смертью храбрых, бедняжка, как же, и он смертью храбрых... И в то же время, к стыду своему, ему до ужаса хотелось жить, жить долго, жить вечно, жить столько же, сколько живет земля, потому что он любил ее пахать, любил ее засевать, любил тяжелый пшеничный колос.

Он долго проворочался с боку на бок под своей телегой, но сон не шел. Над Хыртопскими полями лили долгожданные дожди, жеребенок несся по полям, все цвело, все наливалось соком, но вот в самый канун жатвы, откуда ни возьмись — ангел с косичкой... Такая юная и такая уже родная... Тревожно билось сердце, потому что, странное дело, она шла как будто и к нему, но и не к нему; потом шла она с ним и как будто и не с ним. Она шла, щебетала, улыбалась, но наступала минута прояснения, и он видел, что шла-то она совсем в другую сторону. Она звала его идти с ней, а в Хыртопах ждали посевы, ждал жеребенок, и эти два видения — его девушка и его поле расходились в разные стороны и прямо разрывали бедного парня пополам.

Вдруг Скридон заорал из-под своей подводы:

— Хеть ты, сукин сын!

Георге вылез из-под телеги, подошел к нему.

— Ты чего?

Скридон поднялся, почесал за ухом и снова улегся. Пробормотал, засыпая:

— Заяц приснился... Чуть было голыми руками...

25

На огороде зацвел картофель.

Русанда окучивает его и все слушает, слушает, слушает... Ветер хлопает развешанным на веревке бельем; задумчиво поскрипывает старая акация; внизу, на берегу пруда, гогочут гуси; но не слышно, четвертый день не слышно короткого чистого звона телеги, который Русанда отличила бы от всех остальных.

Не слышно.

И кого только не спрашивала девушка, никто не мог

ей объяснить толком, в какой стороне находится Цаулянский лес, через сколько сел надо к нему проехать и за сколько времени можно обернуться на подводе. Да и вообще эти наряды вызывали часто нарекания со стороны крестьян, потому что валились они всегда в самую что ни на есть горячую пору. Существовали даже подозрения, что Валя Рэзешь дискредитируют, дергают ее чаще, чем соседние села. Семья Русанды принадлежала к безлошадным дворам, они в этих пересудах не участвовали, но вдруг девушка прониклась всеобщим негодованием односельчан и даже пошла в сельсовет выяснить, до каких это пор резешских лошадок будут гонять по всем дорогам!

В кабинете секретаря сидел какой-то смуглый, довольно приятной наружности парень, по слухам, их новый учитель. Они о чем-то меж собой судачили, и как только она открыла дверь, у секретаря прямо глаза засветились:

— Да вот же еще одна! Тебя как зовут? Сколько классов? Занеси ее немедленно в список!..

«Господи, — подумала Русанда, — с ними только свяжись! Чуть что и уже заносят тебя в список...»

Вернулась домой тихая и больше не пыталась участвовать в общественных баталиях села. Единственное, что ей осталось, — это заходить почаще к тетушке Фрэсыне, рассказывать ей сельские новости, помогать ловить цыплят, которые уже подросли, да подсчитывать по квитанциям, какая за ней осталась недоимка.

И сегодня собралась пойти к ней, но сперва нужно покончить с домашними делами.

С картофелем она наконец управилась, но ее ожидал потухший огонь в очаге и ведра стояли сухими. Ох, сколько всяких дел летом! Ни постоять, ни вздохнуть.

Когда высохли платочки, развешанные на веревке, Русанда вынесла из дому стул и взобралась на него, чтобы снять их. Не знала она ничего и ничего не подозревала, да откуда же она могла знать, что делается у нее за спиной? Сняла платочки, но не слезла со стула — взяла и посмотрела во двор к тетушке Фрэсыне.

Посмотрела, что же вы думаете? Приехал бадя Георге.

Увидела — телега стоит во дворе.

Собрала платочки и бросилась в хату. Ох, сколько всяких дел летом! Ни постоять, ни вздохнуть.

Следом за ней бегала курочка, волоча по земле кры-

ло, — видно, вздумала полакомиться соседскими помидорами и пострадала за это.

И проголодалась, бедняжка, и крыло подбито, и как тут зерна искать, когда крыло болит? Подожди, сейчас тебя накормят...

Русанда положила в карман кусочек хлеба и снова вышла во двор.

— Цып-цып-цып! Куда же она делась?

Но нет у нее времени искать курочку, нет ни минуты времени. Некогда сидеть сложа руки и думать о чем-нибудь, кроме работы. Сейчас она знает, что ей делать. А вот вечером, что ей делать вечером? Ждать дома бадю Георге или лучше пойти в клуб и там встретиться с ним?

«Добрый вечер!»

«Добрый вечер!»

Подадут друг другу руки? Кто знает, может, подадут, а может, и нет. Когда не видела парня целых пять дней, можно и руку ему подать, что же в этом плохого?

«Ну как ты провела эти дни?»

— Цып-цып-цып! Куда же она делась, эта дурочка?

И когда заиграет музыка, Георге подойдет и встанет рядом.

А когда уломают старика Дэндуцэ и он достанет свою древнюю скрипку, они закружатся в танце, а девчата кругом будут диву даваться:

«Смотри, словно околдовала!»

Пусть себе шепчутся сколько угодно, а они будут танцевать. А когда дойдут до дверей библиотеки, Георге спросит тихо:

«Скучала?»

«Я?»

Он улыбнется: знает, когда она говорит неправду, и ловит ее на месте. Потом она спросит:

«А почему вы ездили так долго?»

«Потому что в лесу много дров...»

И оба засмеются, а Веруня будет удивленно смотреть на них: почему они смеются? — и станет ощупывать свои ленты, не развязались ли.

— Цып-цып-цып! Будто сквозь землю провалилась!

Из клуба они выйдут вместе и пойдут одни, потому что оба живут на одной магале и никому с ними не по дороге.

И когда уже будет совсем поздно, Русанда запрячет руки в рукава.

«Бадя Георге, когда мы еще встретимся?»

«Когда захочешь».

«Когда захочу? Завтра утром».

«Ну и что ты думаешь? Приду».

«Приходите. Я найду вам работу».

«Если ты заставишь меня щипать перья, то не приду».

«Я сама буду их щипать, а вы посидите возле меня и будете следить, чтобы их не унес ветер. Если он унесет пушинку, пойдете за ней хоть на край света».

И потом:

«Бадя Георге, а почему вы не бросите курить?»

«Брошу, когда женюсь».

«И это когда будет?»

«Когда созреют гроздья винограда».

«Разве у вас в саду, или в поле, или еще где водятся кусты винограда?»

«Сладкие гроздья — дело невесты, а не дело жениха...»

И она спрячет лицо у него на груди — ох и хитер же!

— Цып-цып-цып!

Курочка выбежала из-за хаты, кончиком крыла вычерчивая кривую линию по серой пыли.

— Пришла наконец! Проголодалась? Не говорила я тебе?

Русанда стала крошить хлеб, а курочка подбирала крошки и все кружилась на месте: боялась, как бы не подскочила на помощь какая-нибудь из ее подружек.

Вернулась из села тетушка Катинка с чесалкой под мышкой.

— Ты, дочка, в своем уме?

— А что?

— Зачем ты ее кормишь, не видишь — курица Васыле?

Вдруг крошки перестали падать на землю, и удивленная курочка посмотрела вверх, чтобы узнать, в чем дело. Но вскоре они посыпались снова.

— Ну и что с того, если Васыле?

— Как что! Не должна же я кормить кур со всего села?

— Со всего села! Боже, как вы иногда говорите, мама, не подумавши. Позавчера удивлялись, отчего это тучи собрались, а дождя не было ни капли. Потому и не пошел — уж очень злые люди стали.

Тетушка Катинка пошла в дом, бормоча что-то и стороной обходя Русанду, чтоб не напугать курочку.

Давно зашло солнце, давно зажглись огни в окнах и уже начали гаснуть, давно парни с девушками прошли в клуб, давно молчит калитка, ожидая, когда зашепчется тополь, но и тополь молчит. Изредка показывается какой-нибудь прохожий, но не замедляет шагов у их калитки, торопливо проходит мимо. И снова тишина. У бади Васыле во дворе на летней печке готовят ужин. В квадрате света появляется то лицо, то рука. Бадя Васыле сидит где-то рядом и рассказывает:

— Мы трогаемся на заре. С документами, как положено...

Теперь недели две будет рассказывать, как они ездили за дровами. Для тихой сельской жизни пятидневные поездки — это эпопея.

В клубе играет гармошка. До клуба такая короткая дорога, и так скоро они бы дошли. Но он не приходит. Был далеко и приехал, а теперь близко — и не приходит. Пять дней она его ждала, а теперь осталось несколько минут, и она не может больше ждать. Вот не может, и все. То выйдет во двор, то вернется обратно в дом, то снова выйдет.

— Ты куда нарядилась? Может, в клуб?

— Хочу пойти.

— Так иди, чего стоишь?

Хотелось бы ей, чтобы на ее месте был бадя Георге, — посмотрела бы, как он выкрутится.

— Еще не поздно...

И снова вышла. Конечно, до клуба она может дойти и одна — и не страшно ей, и клуб недалеко, но внизу, у моста, ходят парочки, и она должна будет уступать дорогу. А раньше другие уступали дорогу им.

Но было уже поздно, и она пошла.

Едва дошла до моста, услышала громкий смех — молодежь высыпала из клуба на улицу, стала расходиться. Погас свет в окнах, кто-то, гремя ключами, закричал:

— Петря, подожди!

Идут.

Русанда постояла несколько секунд на узкой тропинке. Стояла одна в ночной темноте, потом побежала назад, вошла во двор, прислонилась к калитке. Если он был в клубе, то обязательно пройдет мимо.

Смех, крик. Все ближе, ближе. Может, лучше войти в дом? Все увидят, что она одна, что нет возле нее Георге... По селу уже ходят слухи, что у них все кончено, — что ж, если он хочет разорвать ее сердце...

Впереди идет Иляна, девушка с нижней магалы. Взглянула на Русанду, ничего не сказала, прошла мимо.

— Ой, Русанда, спасай! — еще издали закричала Домника.

— А что?

— Да вот Скридон...

Скридон обиделся:

— Ты, может, еще маме своей пожалуешься?

И всё пары, пары...

— Ты что одна стоишь?..

Кто-то удивился:

— Какой красивый сад у бади Михалаке!

— Черешни быстро растут.

И нет среди них высокого парня, парня, который всегда ходит быстро, чуть вразвалку, словно, куда бы ни шел, всюду его ждут важные дела...

Прошли.

Русанда уже хотела уйти, но заметила тень на перекрестке. Несколько мгновений стояла не двигаясь, следя за тенью. Потом улыбнулась, тихонько приоткрыла калитку и вышла на дорогу.

Он шел, глядя себе под ноги. Поднял голову, увидел девушку у калитки. На секунду тропинка заглушила шаги. Дойдя до калитки, глухо сказал:

— Добрый вечер, Русанда.

— Добрый...

Еще один шаг, и еще, и вот уже три шага... Русанда облокотилась на калитку.

Слезы застилали тень парня, она быстро вытерла их, но появились другие, и вот он уже исчезает за поворотом...

Кончено все... Господи, а какая была любовь, какая любовь!

О благословенное южное солнце, властвующее над нашим духом, о эти краткие, молниеносные, испепеляющие увлечения, о эти святые мгновения, когда из ничего, из благозвучия ничего не значащего слова, из задумчивого взгляда, из загадочной усмешки занимается вдруг великое пожарище любви, готовое испепелить все вокруг, когда неуемное влюбленное сердце жаждет подвигов, самопожертвования, готовое встрепенуться в любой миг, когда соперники мерещутся на каждом шагу, и черная молния ревности полоснет по сердцу так, что рука в минуту какого-то безумия выдергивает с корнем все, чем

сердце жило, и, стало быть, все, конец всему, конец навеки, но вот сделан шаг, и еще шаг, вздох, и еще вздох, и судьба нам снова улыбается и ведет нас от невыносимой боли разрыва к неизъяснимо сладостному мигу примирения...

26

С самого заката открыты ворота, с самого заката сочится вода из большого ведра, принесенного для пойки лошадей; с самого заката котенок, почуяв вкусный запах, забрался под табурет, сидит не шелохнувшись, ждет и никак не возьмет в толк, отчего это хозяева не садятся за стол.

У ворот стоит тетушка Фрэсына, пристально глядит на дорогу и, когда уже не гремит по пыльной дороге ни одна телега, вздыхает:

— Матерь божья... А где же мой Георге?

Припомнила, что вчера вечером свалилась усталая, не помолившись за Георге, — боже, будь милостив! — и стала торопливо молиться. Уже прочла «Отче наш», начала «Царю небесный», а Георге все нет и нет...

Засветились окна соседнего дома, где-то внизу поскрипывал колодезный журавель, и тетушка Илинка вышла в сад сторожить свои абрикосы. Кричит без толку в темноту:

— А ну, кто там? Э-эй вы, бессовестные!

Правда, если подумать, что может случиться с Георге? Кобылки у них смирные, неогороженных колодцев в той стороне нет...

Тихий, сбивчивый звон телеги, тень жеребенка скользит по заборам...

«Едет! Слава богу...»

— Почему так поздно, Георгицэ!

— Надо было закончить там...

Тетушка тщательно закрыла ворота, пошла за подводой, повторяя про себя молитву, обращенную к святому Георге, который, хотя и был занят борьбой с драконами, успевал заботиться о людях, носивших его имя.

Георге распряг лошадей и долго еще возился во дворе. В третий раз тетушка подогрела обед, и он снова остыл, потухли уже и угли в очаге.

— Георгицэ, почему не идешь к столу, сынок?

— Иду, сейчас иду.

Сейчас придет. Мысленно продолжала молитву, но,

увидев, что он, даже не присев, отщипывает хлеб, с трудом жует его, запнулась на «и отпусти нам грехи наши».

— Да ты не болен?

— Нет, ничего.

Она вышла во двор почистить ему костюм — сегодня суббота, и дети, у которых есть отцы, давно гуляют. Хорошо еще, что завтра воскресенье — отдохнет.

Но что это, чем он собирается кормить лошадей?

Она вошла в дом и спросила так, будто сама была в этом виновата:

— Ты забыл накосить траву?

— Нет, не забыл.

— Так... Не привез же...

— Завтра погоню их пастись.

— Ну придумает тоже! Нарву сама им травы на огороде.

Георге пожал плечами — охота ей сегодня поговорить.

— Вот почистила костюм.

— Хорошо.

— Куда его повесить?

— На свое место.

— Ты никуда не идешь?

— Устал.

Поев, Георге еще раз вышел во двор посмотреть, не забыл ли чего, потом вернулся и лег.

«Два дня».

Два дня минуло, как он прошел не остановившись мимо Русанды. Два дня, прожитых в каком-то другом мире, куда не доходил даже нежный голос матери.

Светил косой язычок пламени в керосинке, в клубе резко постукивал мотор киноустановки, в соседней комнате устало срывалась на шепот молитва матери. А жернова мельницы времени все крутятся, размалывая часы на минуты, минуты на секунды, и эти секунды несутся мимо, мимо, мимо, в какую-то далекую пропасть.

Язычок в лампе все таял, вот от него осталась одна красная точечка, моторчик стал сухо покашливать и наконец совсем заглох, а в соседней комнате все шелестела, вздыхала молитва.

Наконец и она затихла. Тетушка Фрэсына вышла из комнаты на цыпочках, но Георге не спал. Протянул руку к подоконнику, нащупал табак, спички, закурил. Впервые закурил в постели.

— Георге!

— Что?

— Я тебе не рассказывала, как твой дед бросил курить?

Сколько раз он слышал это, но ему теперь очень нужен был этот тихий, ласковый голос.

— Что-то не помню. А как он бросил?

— Был он, Георге, страшный курильщик. День и ночь сосал трубку. Но однажды, как сейчас помню, я была еще девчонкой, мама разводила огонь, чтобы испечь хлеб. Входит он в хату, вытаскивает из-за пояса трубку и швыряет ее в огонь. «Что ты наделал?» — спрашивает его мама. «Бросил курить».

Потом взял топор, лопату и пошел в лес. Вернулся поздно ночью, когда запели первые петухи, и так вспотел, что был весь мокрый. А ночью ворочался и вот так делал во сне...

Тетушка Фрэсына поднялась, вытянула губы и причмокнула, как обычно делают курильщики, когда у них гаснет цигарка.

— Ну-ну?

— Две недели ходил в лес. С ночи до ночи.

— Что же он там делал?

— Корчевал пни. Потом мы их привезли и года три ими топили. Помню, на рождество отец расколол самый большой пень.

— И больше не курил?

— Ни боже мой! А если кто случайно проходил с цигаркой, брал топор — и снова в лес!

Георге тушит цигарку и поворачивается на другой бок. Что — курево! Есть вещи поважнее, которые ничем не выкорчевать.

Уже утро?

Георге вскочил как ужаленный, и пока тетушка Фрэсына соображала, как бы удержать его дома, он уже оделся.

— Георгицэ, может, сегодня не поедешь? Всю неделю в поле да в поле, так и состаришься.

— Э!

Было теплое тихое утро. За воротами стояла девочка и смотрела сквозь щелку, как он крепит постромки.

— Дядя... а дядя...

— Ну что?

— Сорви цветочек.

— Откуда я тебе сорву цветочек?

— А вон оттуда, — кивнула она головой.

Перед домом расцвели георгины. Горячим пламенем обвились они вокруг небольшого вишневого деревца; вишня озорства ради сыпала на них крупные прозрачные капли росы. Георгины ловили их и, смеясь, встряхивали огненными головками — любит дурачиться вишня!

Георге сорвал несколько цветков и протянул ей через калитку.

— Ты чья?

— Домните Лена Михайловна, — сказала девочка отчетливо, полагая, что это более чем достаточно, чтобы знать, с кем имеешь дело.

— А! — воскликнул Георге, хотя понятия не имел, кто она такая.

Подумал — надо поторопиться, придет еще вот такая Лена Михайловна, чуть постарше, и пропало все. Занес в дом ведро, вынес вожжи, кинул на повозку старый пустой мешок. Через пять минут кони были уже запряжены, и Георге зашел в хату за спичками.

— Ты уже едешь?

— Да.

— Может, немного подождешь? Я поставила яичницу, сейчас будет готова.

— Нет, не хочу...

Едва выехав за ворота, он так стегнул лошадей, что все соседи удивились: куда это поехал Георге в воскресенье в такую рань и чего это он гонит лошадей, как на свадьбе? Но, выехав за околицу, он отпустил вожжи, и лошади пошли тихо. Теперь спешить незачем, некуда; то, что его мучило, оставалось за спиной, в деревне.

Старался думать о другом. О деле. Вот около двух недель не был он на Реуте — у него возле самой реки был небольшой покос. Недавно ему кто-то сказал, что пора косить траву, да он не поверил. Чужая трава всегда кажется людям и выше и сочней.

Спустившись к Реуту, Георге быстро нашел свой луг — узенькую полоску травы, обозначенную с обеих сторон кустиками лозы. Долина, сколько хватал глаз, желтела цветами одуванчика, а над рекой повисла серая дымка.

Стреножив лошадей, посмотрел вокруг — ни души. Отдыхает народ. Плохо, когда знаешь, что ты один, что за пять километров вокруг ни души.

Георге стал насвистывать песенку, хотел веселую, а получилась грустная, и мелодия путалась, да к тому же сам музыкант не хотел, чтобы его слышали. Принялся плести креслище из стебельков одуванчика, получилось красиво, но только кому нужна эта игрушка? И жаркое, праздничное солнце, и ярко-зеленый луг, и руки, которые вдруг стали лишними, — все это настойчиво напоминало о том, что сегодня день отдыха.

Был день, когда люди ищут встреч, когда собираются вместе все новости за неделю, когда посевы перешептываются застенчиво и клонятся все ниже и ниже, чтобы не услышали их с проезжающей мимо повозки.

Он сорвал лист лопуха и бросил его в Реут — лист закружился, понесся вниз и вскоре исчез за поворотом. И Реут торопится к другим водам, и ему скучно одному среди этих холмов.

— Что за черт? Неужели мне весь день куковать тут одному?! Если так, я не выдержу и ближе к вечеру покачу домой...

Казалось, это уже давно решено, а сказал он это так, чтобы не забыть. Теперь надо подняться на холм и посмотреть, не идет ли кто. Ну хоть малыш какой-нибудь. К тому же его тетка там посеяла рожь и просила наведаться, хотя бы изредка.

Рожь у тетки оказалась чудная, надо будет сегодня зайти к ней и сказать. Вот обрадуется...

Сел на обочине и стал глядеть на дорогу — не может быть, чтоб за целый день так никто и не пришел. Глядел долго, пока не затуманилась даль, пока не стала раскачиваться дорога, все глядел и глядел, и в нем стала пробуждаться та огромная любовь, которой он бы любил своих братьев, будь они у него. Теперь эта вдруг проснувшаяся любовь рвалась навстречу тому человеку, который покажется на дороге, она кипела, клокотала, и Георге все глядел, без конца глядел на пустую дорогу, ломающуюся в его слезившихся от напряжения и тоски глазах.

27

Путнику к лицу дорога.

А дорога хороша, и не успело солнце оторваться от горизонта, а Миша-почтальон уже меряет ее своими широкими шагами. Круглый год будит он дорогу по утрам, круглый год насвистывает ей дойны, плетет стежки вдоль обочин.



Хороший товарищ дорога. Когда молчишь — молчит и она, когда заговоришь — она слушает, а что узнала — никому не проболтает. Много знает Мишина дорога, много знает, много видела, но никому ничего не скажет. Она одна видела, как он плакал, она одна слышала, как глухой ночью звал он мать, затерявшись во время вьюги в этом поле.

Много знает, но молчит — хороший товарищ! И Миша заводит с ней беседу — рассказывает ей сельские новости, сообщает, кто вчера получил письмо, напоминает, что сегодня воскресенье, что не мешало бы им обоим отдохнуть после обеда — достаточно поработали. Но дорога хочет знать все подробно, и только начал Миша рассказывать, а слушать уже некому — дорога, перебравшись через железнодорожное полотно, разделилась, разбежалась между рядами городских домиков. Уже пришел? Немного досадно, что приходится прерывать рассказ на середине, но он обещает дороге скоро вернуться и досказать остальное.

И в самом деле, не успела улечься пыль, а он снова появился с сумкой, полной писем. Но только — что такое? Миша на миг задерживается на железнодорожной насыпи, соображая, в какой стороне село, и, позабыв свою дорогу, бежит прямиком, через пшеничные, через кукурузные поля.

Мигом взбежал на гору, мигом сбежал с нее, а сумка все подгоняла, колотила по спине, нетерпеливо позванивая пряжками, и волновались позади поля, неодобрительно качая колосьями. Но Миша бежал, повторяя одно и то же слово и размахивая шляпой, будто все село уже собралось перед ним и слушает.

Вот еще одна горка осталась позади, теперь будет дамба, а за дамбой мост, где его ждет народ.

Мокрый, с дрожащими губами, выбежал он на мост и остановился. На мосту не было ни души — впервые с тех пор, как носит письма, увидел он мост пустым. Значит, уже узнали.

Миша устало облокотился на перила, вытер рукавом лоб, щеки, глаза... С тех пор как дали ему эту сумку, люди жили вестями, которые он приносил, радостными или печальными. И так, уходя и возвращаясь, мечтал он о том дне, когда принесет одну весть всем сразу. И скажет село: видали вы такого почтальона?!

Но, оказывается, есть вести, которые доходят сами, без почтальона. Миша ободряюще похлопал перила моста

и пошел в село. Едва миновал первые две-три хаты, как навстречу ему выбежала девочка. Видно, ей хотелось броситься к нему, но застеснялась чужого. Только улыбнулась и спросила:

— Уже мир! Слышали?

Миша кивнул не останавливаясь. Село вдруг ожило, заулыбалось, где-то искрилась мелодия, готовая вот-вот политься широкой песней. На улицах мелькали люди, пьяные от счастья, и проходили мимо, не замечая его, не отвечая на его приветствия.

И только тот, у двора которого он останавливался вдруг, словно припомнив что-то, тревожно глядел на него. Миша протягивал ему письмо, и он, тут же распечатав, медленно уходил прочь, читая на ходу кривые строчки.

Миша вздыхал, перебирал письма и вдруг подумал о том, что сумка тяжела, что дороги длинные, что горек хлеб почтальона. Но в сумке еще были письма военного времени, и парень зашагал по улицам.

Путнику к лицу дорога.

28

В тот день все еще бродил бесцельно по своему двору человек с осунувшимся лицом, бродил, низко опустив голову, забыв в руке топор. Уже целую неделю никто не слышал его голоса, никто не знал, когда он ложится, когда встает, и, глядя на него, никто не мог понять, уходит он или приходит, приносит что-нибудь или уносит, чинит или ломает.

А он все маялся и маялся, вдруг зачем-то остановился, постучал обухом топора по краю яслей. Тут его окликнула с улицы какая-то женщина:

— Слышали, баде Зынел? Мир!

Человек пристально посмотрел на нее, как бы пытаясь узнать, вздрогнули крепко сжатые губы — и опять склонился над яслями.

Но хата его стояла у самой дороги, и село было большое, и люди в этот день были на редкость говорливы. Он не мог их слушать, зашел за хату, в заросли акации, чтоб не видеть их. Сел у стены, не выпуская из рук все тот же топор, который со вчерашнего вечера носил с собой. Пристально смотрел на отполированное дубовое топорище. Это топорище сделал Тоадере. Он сделал его в один из долгих зимних вечеров и не показал ему.

Только на другой день бадя Зынел заметил топорище и, довольный, сказал себе: «Толковый будет хозяин...»

И внезапно в гуще акации он увидел своего сына, высокого, ладного, задушевного. Сын улыбнулся, спросил:

«Что ты сидишь здесь, отец? Народ веселится, а ты сидишь...»

Старик подумал:

«И в самом деле, чего это я тут сижу?»

Молча, покорно вышел из-за хаты, надел чистую, с вышитым нагрудником рубаху, достал с чердака старую палку, оставшуюся от отца, и медленно поплелся по деревне.

Он шел, не сообщая никому никаких новостей и не слушая других. Ни с кем не здоровался и не замечал, здороваются ли с ним. Он шел, чтобы село не забыло о тяжелой войне, о пролитой крови, о могилах, рассеянных по всем уголкам земли. И люди замолкали, когда он проходил мимо, и широко распахивали перед ним ворота, чтобы он мог войти со своей большой болью.

Но он ни к кому не зашел.

Он остановился только на самом краю села, у хатенки с чисто подметенным двором, наполовину вросшей в землю. Постучал в калитку — никто ему не ответил. Потом зашевелилась занавеска в окне, жалобно скрипнула дверь. На пороге стоял мош Андрей, опираясь на палку, с которой он ходил на мост, ходил всю зиму, день за днем, но только ходил напрасно. Теперь вот, в этот светлый день, одна боль навещала другую.

— Стареет сад, мош Андрей?

— Стареет. Проходи, чего стоишь у ворот?..

29

Дорога все еще была пустынна, но вдруг ему почудился озорной и не очень складный детский свист.

«А что, молодец».

На дороге показался мальчонка, тащивший за веревку телку.

Что ж, теперь можно жить, подумал Георге и, мигом скатившись с берега, стал шляпой таскать воду, чтобы смочить колеса. Но у телеги всего четыре колеса, и он уже все сделал, а у него только разыгралась охота к работе.

— Васька! Эй, Васька!

Васька тут же оказался рядом, потянулся к нему.

— А что ты скажешь, если я тебя искупаю?

Жеребенок пошел было за ним, но у самой воды остановился и попятился назад. Тогда перед ним появилась корка хлеба, он потянулся за ней — корка отодвинулась; сделал еще шаг, даже дотронулся до нее губами, но корка отодвинулась снова. Когда же наконец он схватил ее, перед ним оказалось целое море — воды видимо-невидимо! Несколько мгновений стоял не двигаясь, размышляя, что же ему делать: удрать или сперва съесть хлеб?

Медленно жевал, осторожно поглядывая на воду, — как бы Реут не опрокинулся ему на голову. Георге стал обливать его. Жеребенок хотел отскочить, но тут появилась еще одна корочка, и было бы глупо оставить ее. На этот раз она никуда не убегала от него, и пока Васька соображал, как да что, Георге его вымыл.

— Вы что, купаете жеребенка?

Трофимаш уселся на берегу и вытянул ногу, прикидывая, сколько примерно осталось до воды.

— Купаю, Трофимаш.

— А зачем вы его купаете?

— Иначе он не вырастет. Останется вот таким же маленьким.

Трофимаш задумчиво почесал затылок. Рискованное это дело.

— А может, и ты сегодня не умывался?

— Умывался, но только так... немножко.

— Тогда иди сюда, чего сидишь женихом...

Однако умыть Трофимаша было не так просто. На плече у него висела огромная котомка, с которой он ни за что на свете не хотел расстаться. Едва помочил кончики пальцев и тут же стал вытирать их полой рубахи.

— Лицо я вымою сам, вечером...

— Нет, брат, так не пойдет.

Георге умыл его, вытер платком и вытащил занозу из пятки.

— А ты, гляди-ка, здорово вырос...

Трофимаш пожал плечами: растет народ, что поделаешь! Вместе поднялись на берег, и Трофимаш, будучи по натуре хорошим товарищем, решил открыть Георге свою тайну.

— У меня в котомке есть плэчинта.

— Ну и что дальше?

Трофимаш пожал плечами.

— А дальше ничего нет, только одна плэчинта. Мама сказала, чтобы я ее съел в полдень.

— А ты-то что думаешь?

— Ничего.

— И когда же ты ее съешь — сейчас или в полдень?

Но Трофимаш, хоть и был мал, знал ту истину, что ничто не вечно под луной.

— Если я ее съем сейчас, что же мне останется на обед?

Посидел еще немного, поглаживая завязки котомки, потом стал спускаться к Реуту, чтоб там, в одиночестве, добраться до истины. Вдруг его стриженая головка снова показалась над обрывом.

— Баде Георге, а войны еще будут?

— Подожди, пусть эта кончится.

— Так эта ведь кончилась. Сегодня сказали — все, мир!

Ясный полуденный свет вдруг стал расходиться огромной радугой. Война шла так давно и так мучительно, что прямо не верилось, что когда-нибудь она кончится.

— Да ты в самом ли деле... С этим же шутить нельзя...

В доказательство того, что он не шутит, Трофимаш достал плэчинту, разломал ее пополам и большую половину протянул Георге.

Земля дала человеку мудрость спокойствия, а небо научило его радоваться. И нет границ человеческой радости, как нет границ ясному летнему небу, которое, пьяное от счастья, льет на землю потоки света, а не знающая устали земля превращает этот свет в душистые цветы, в вековые дубовые леса, в тяжелые пшеничные колосья — во все, что названо человеком жизнью.

30

Он любил Хыртопы. С малых лет ходил он сюда, к своей земле. Может быть, где-то там, у межи, мать укрывала его от солнца, повесив шаль на кустики полыни; может быть, вот здесь отец пережил свою великую драму и потом долго на этой меже лежал мертвый. Он не мыслил себя без этих гектаров, и долгие годы, с ранней весны, как только начинала прогреваться земля, и до поздней осени, когда уже и овцы не хотели подбирать

с земли пожелтевшие, побитые морозом листья, он маячил на этом склоне.

И все же сегодня как будто впервые увидел он эту землю. Не то чтобы впервые, но на этот раз он увидел, как эти зеленые стебельки кукурузы качаются на ветру, выгорают на солнце и вновь оживают после хорошего дождя.

Георге стоял, задумчиво глядя на свое поле. Потом кинул шляпу на землю, поплевал на ладони и принялся за работу.

«Придет или не придет?»

Рыхлил землю, улыбаясь, довольный, когда хруст срезаемых корней отдавался слабым трепетом в деревянной ручке сапы.

«Придет».

Правда, дорога, растянувшись лениво, грела спину на солнце, уверенная, что, кому нужно, тот уже пришел. Но Георге почему-то был уверен, что Русанда придет, а раз так, значит, действительно придет. И вот, работая, он стал ей рассказывать всю свою жизнь. И жили они на одной магале, и знала Русанда почти все, что он рассказывал, но Георге говорил, отдавая всю свою жизнь на суд другому человеку, говорил, ни в чем не оправдываясь, до тех пор, пока, повернувшись, не увидел, что Русанда работает неподалеку от него.

Закинул сапу на плечо и пошел по той же тропинке, по которой еще недавно повел его озорной жеребенок Васька.

— Бог в помощь, Русанда!

Девушка подняла голову, посмотрела на него робко и удивленно.

— Спасибо.

— Тебе не скучно одной?

— А если и скучно?

— Вот я пришел.

Она пристально посмотрела на него, улыбнулась одними глазами. Георге хотел что-то сказать, но затем робко заглянул в эти карие, затененные грустью глаза. Глядел в них только одно мгновение, но содрогнулся, ибо все, что было у него дорогого в жизни, заменили эти глаза. Без них у него не оставалось ни земли под ногами, ни неба над головой. И никуда он от них уж не денется и никому не уступит их. Затем, поняв все это, спросил:

— Ты не сердишься?

— Отчего мне сердиться?

Ветер, как всегда, вырвал у нее из-под косынки прядку волос, принялся играть ею, но сейчас Русанда не обращала на это никакого внимания. Наклонилась, чтоб поднять с земли сапу, и спросила, выжидательно приподняв брови, словно боялась пропустить хоть одно слово.

— А вы?

— И я не сержусь.

— А тогда почему, когда вернулись из Цаулянского леса, прошли мимо нашей калитки, как будто она вам и не родная?

— Потому что был тогда девятый день.

— Девятый — после чего?

— После того, как я потерял своего лучшего друга.

— А теперь какой уже день?

— Теперь — все, войне конец.

— Значит, мир?

— Мир.

И в знак доброго их примирения Георге сдвинул шляпу на затылок и принялся полоть горох рядом с ней. Захватил широкую делянку, оставив ей несколько рядков. Он долго подбирал одну фразу, но она не получалась, и он сказал так, как думал:

— Знаешь что, Русанда... не говори мне больше «бадя». И «вы» не надо мне больше говорить. Хорошо?

Он выпрямился, глядя на нее, а у Русанды слетела косынка с головы, и она никак не могла ее повязать.

Некоторое время она молча полола, думая о чем-то. Потом выпалила:

— А знаешь, Георге, мы хорошо подгадали, что посадили здесь горох. Правда ведь?

И покраснела. Георге серьезно ответил ей, глядя на полоску кудрявого, темно-зеленого посева:

— Тут вырастет горох на славу!

И замолк. А Русанда, нагибаясь, чтобы вырвать травку, придумывала другие слова, чтобы после них уже не краснеть.

31

Скридон стоит, прислонившись к воротам, лихо сдвинув шляпу на левую бровь, и ждет, не появится ли какая-нибудь краля, чтобы подмигнуть ей. Ходить к ним он уже не ходит: девушке надоедает, если долго ухаживаешь за ней. А если ей надоест — крышка! Моментально разлюбит.

И сегодня, как и вчера, и позавчера, у Скридона отличное настроение.

— Что поделываешь, Скридон?

Рядом остановился Миша-почтальон с сумкой через плечо.

— Мне письмо?

— Сегодня нет. А знаешь, какая штука? Хочу подписать тебя на газету. Будешь получать ее каждый день домой...

— Не надо.

— Почему?

— А к чему мне все это? Зачем?

— Как это зачем? Будешь знать все новости на свете.

— Э! Если будет что поважнее, позовут на собрание и скажут.

— Собрание! Собрание бывает раз в году.

Почтальон подходит к нему поближе.

— Не будь дураком, Скридон... А то пожалеешь.

Скридон передвинул шляпу с позиции залихватского ухажера на позицию серьезного человека, пытающегося постигнуть суть вещей.

— О чем это я буду жалеть?

— Ты знаешь Тимофте, что живет возле мельницы? Приходит он ко мне домой прошлую субботу и просит подписать его на все газеты. Я выписываю квитанции, а сам думаю: чего это он так разгулялся?

— Ну-ну?

Миша вынул платок, высморкался, сложил платок вчетверо, потрогал кончик носа и, убедившись, что все осталось на месте, сказал:

— Вчера вечером его назначили директором мельницы.

— Что ты говоришь?! А почему?

На улице появился мальчуган, и Миша подождал, пока тот пройдет мимо.

— Я слышал, в сельсовете есть приказ — ставить начальниками только тех, кто выписывает газеты.

Тут Скридон и вовсе снял шляпу с головы, открывая путь усиленному размышлению.

— Знаешь что, Миша, подожди немного. Посоветуюсь с мамой.

Он вошел в хату и быстро вернулся.

— Ну давай, я подписываюсь.

— На сколько?

— На одну. Мне мельницы не нужно. Она чересчур

большая, и моторы там на каждом шагу без конца ломаются.

Почтальон ушел, а Скридон остался у ворот читать квитанцию. Хороший парень этот Миша, но квитанцию все же надо прочесть.

Через несколько дней, когда Скридон косил траву на равнине, Миша, возвращаясь из района, вручил ему первую газету. Скридон сразу бросил косу и сделал из пиджака шалашик, чтобы была тень. Несколько часов кряду звенел ветер косой, и высохла вода в жестянке, и Скридон раза четыре менял место, передвигаясь за тенью.

Прочитав строчку за строчкой две страницы районной газеты, он поднялся. Остальные две страницы решил оставить на вечер. Удивленно протер глаза.

— Ишь ты, сколько всего делается в мире!

Вечером, возвратившись домой, вымыл руки.

— Мама, прибери-ка со стола эти тарелки.

— А что такое?

— Хочу дочитать газету.

Но разве дома почитаешь? Только начал, а мать уже:

— Ты, Скридон, пойди и закрой сперва уток. Чтобы не украли...

— Никто их не украдет. Утки галдят, когда их воруют.

— Иди, иди, для тебя ведь их держу. Завтра-послезавтра женишься, а двор вот пустой, даже поросенка не на что купить.

— Будет у меня поросенок!!

— Откуда он у тебя будет?

— Я возьму жену с поросенком. Может, даже с двумя. Одного, как вырастет выше загородки, зарежу. И поджарит мне жена грудинку — пальчики оближешь! — Скридон прижал пальцем недочитанную строчку, повернулся и от удовольствия прищурился — ему уже мерещилась жареная грудинка.

— Оближешь ты пальчики! Возьмешь какую-нибудь теху, что и борща не сумеет сварить.

— Я ее научу.

— Научишь! Лучше скажи ей, чтобы она теперь сидела возле матери и училась уму-разуму, а то в селе только и слышно, что ее голос.

В одно мгновение газета слетела со стола.

— Это ты про кого?

— Про Домнику, про кого же еще! Ишь, спрашивает: не сердятся ли ее родители, что он так часто ходит

к ним? Они не то что сердиться — им бога надо благодарить за то, что ходит к ихней дурехе такой парень.

— Это я ее спрашивал?

— Не я же.

«Кто-то шпионит. Поймаю — убью».

— Подожди немного, я запру уток, потом поговорим. Что-то мне не нравятся эти сплетни.

Запер уток, но когда хотел вернуться в дом, заметил у ворот Аркашку — тот стоял и хлестал хворостиной по доскам.

— Что случилось, баде Аркаша?

— Тебя зовет председатель. В сельсовет.

«Уж не узнали ли они, что я получаю газету? Может, и узнали — теперь быстро обо всем дознаются».

— Сейчас приду!

Вошел в дом и сказал матери, что его вызывают в сельсовет. Мать слезла с печи.

— Помоги тебе господь, Скридон. Может, должность какую дадут, все равно ничего путевого из тебя не выйдет...

Скридон вдруг рассвирепел:

— А если лошади слабые, ты что, хочешь, чтобы я сам тащил плуг?!

Скридон спешил в сельсовет и думал, что он, пожалуй, сглупил. Следовало подписаться сразу на две газеты. Возможно, он теперь был бы выше всех в селе. Хорошо еще, что мать научила, — бабы хоть и сидят на печи, а разумеют кое-что.

Во дворе сельсовета чернела толпа, и в темноте то тут, то там вспыхивали огоньки самокруток. Собрались все его одногодки.

— Ребята, еще один пришел! Иди сюда, Скридон!

В две секунды его окружили, и Скридон стал вглядываться в лица, пытаясь отгадать, кто из них успел сунуть ему в карман комок земли.

— Скридон, так на кого ты оставишь свою Домнику?

У Скридона сердце ушло в пятки.

— Зачем ее оставлять, если она мне нравится?

— Ха, вы слышите? Она ему нравится...

— Едем на военные сборы.

— Слушайте, а кто это сует мне землю в карманы?

Хриплый голос крикнул из дверей сельсовета:

— Пержару Скридон есть?

— Е-есть!

— Что за черт...

— Иди, иди...

Скридон вернулся через десять минут, застегивая на ходу воротник. В стороне заметил друга:

— Едем, Георге?

— Едем.

Потом он отправился известить Домнику. Шел торопливо, на ходу вытряхивая из карманов землю. Внезапно вспомнил, что истратил шестьдесят рублей на газету.

«Убью почтальона!»

Домника вымыла посуду, прикрутила фитиль в лампе и собралась уже ложиться спать. Внезапно во дворе залаял щенок и вдруг как-то сразу умолк. Шаги, очень знакомые шаги. Скридон? Но ведь они условились встретиться только в воскресенье.

Она была уже в одной нижней юбке и, услышав, что шаги замерли у порога, а в дверь никто не стучится, набросила на плечи платок, вышла в сени и, откинув задвижку, посмотрела в щель.

— Это ты?

— Я.

— Да ведь... А почему так поздно?

— Я ненадолго. Пришел попрощаться.

Домника открыла тихонько дверь, встала на пороге, прислонившись к дверному косяку. Спросила чужим голосом:

— Попрощаться?

— Расстаемся. Еду в Мелеуцы изучать военное дело.

— Надолго?

— На две недели.

— Аж на две?

На минуту задумалась. Потом зябко повела плечами, натягивая платок; тихонечко прикрыла за собой дверь, чтобы не слышали дома.

Скридон катал ногой по земле кукурузный початок.

— Слышишь, Домника, ты меня не забудешь?

— А ты?

— У меня есть твоя фотография.

— Я тоже не забуду.

— Смотри... Ты ведь знаешь, какой у меня характер. Если рассержусь — кончено. До самой смерти...

Щенок взобрался на порог и уселся рядышком. Домника нагнулась и положила ему уши одно на другое.

— А ты там не найдешь себе другую?

— Не для того собирают.

Помолчали.

— Ну будь здорова.

— Счастливого пути, Скридон.

Но стояли так же, друг против друга. Доминика сошла с порога на землю и подошла к нему так близко, что ветер, играя кистями платка, закутал и Скридона в них. Стояла притихшая, опустив глаза. Он едет — пусть он и прощается. Скридону оставалось только раскрыть объятия. Но никак не мог добраться до губ.

«Нужно было сказать, что уезжаю на месяц».

Теперь Скридон не торопился — какой вообще смысл торопиться?

С трудом, но все же нашел губы. Потом, склонив голову набок, стал любоваться своим сокровищем. Чудная девчонка. И хороша — сил никаких! Только зачем она закуталась в платок и все прячет губы?

— Если я тебе напишу оттуда, из Мелеуц, ты мне ответишь?

— Только чтобы ты никому не показывал мое письмо.

— Не покажу.

Он попытался еще раз пробиться к ее губам, но на этот раз ему не повезло.

— А вообще, может быть, напишу даже два письма...

Девушка говорит «хорошо», но этим и ограничивается.

Скридон все добавлял по одному письму, пока не дошел до пяти, но, видя, что ему так и не удастся сегодня еще раз поцеловать ее, решил остаться в убытке.

«Где, черт возьми, достану я бумаги для пяти писем?» Решил пуститься на хитрость — сам стал закутывать ее в платок, но услышал, что в хате кто-то кашляет — кашляет человек, который в жизни не простуживался.

Значит, пора. Попрощались.

Не торопясь он шел домой и чувствовал себя хозяином деревни, и до смерти хотелось похлопать кого-нибудь по плечу. И то сказать, с первого же захода найти такой клад, такое сокровище! Но, с другой стороны, недаром же его зовут Скридоном!

Внезапно остановился. На миг ощутил нежное личико девушки у своего лица. Сорвал шляпу с головы, дунул

в нее и запустил ею в землю так, что вздрогнули во сне все окрестные шавки.

Потом до самого дома шляпы не надевал.

32

— Простите... Здесь живет Михалаке Чоботару?

Русанда, сидевшая на маленькой скамеечке у печки, поднялась, держа в руке наполовину очищенную картофелину. У ворот стоял стройный парень, хорошо одетый, с книгой под мышкой, — тот самый, которого она уже видела у секретаря сельсовета в кабинете. Он по-прежнему был хорош собой, и девушка подняла было руку, чтобы поправить косынку, потом раздумала. Мало ей того, что она уже нравится одному?

— Да, здесь.

И снова уселась на скамеечку, чтобы он не очень-то засматривался.

Видя, что он не входит, крикнула:

— Отец, вас зовут! Заходите, у нас собак нет.

Михалаке вышел из-за хаты, пристально глядя на парня.

— Вот как будто знакомый, а не припомню...

Он всегда с этого начинал, когда предстояло заводить новое знакомство.

— Вряд ли вы меня знаете, баде Михалаке. Я новый учитель в вашем селе.

— А! Это да, возможно... Я на днях слышал, что у нас новый учитель появился. И что вас привело в мой дом, гос... э-э... товарищ учитель?

— Мне, бадя Михалаке, нужна ваша дочь, Русанда.

— Моя дочь? Так вы только что говорили с ней. Одна у нас дочка.

Русанда оставила картошку, поднялась озабоченная. Бадя Михалаке открыл калитку, но, прежде чем закрыть ее, поинтересовался:

— А может, скажете и мне? Как-никак отец...

— Скажу и вам, баде Михалаке, сейчас скажу, — начал учитель, ища, куда бы присесть.

Русанда пододвинула ему скамеечку, на которой только что сама сидела.

— Так вот в чем дело, — продолжал он, усевшись и глядя снизу вверх то на отца, то на дочку. — Старые ваши учителя, все трое, сбежали в Румынию, как вы и сами знаете. Пока подготовим своих, кому-то надо

учить детей. Вот мы и хотим сделать вашу дочку учительницей.

Русанда опустила глаза — не совсем поняла, о чем речь, но смутилась оттого, что два человека говорят о ней в ее присутствии. Бадя Михалаке, наоборот, сразу понял, в чем дело.

— Учительницей, говорите вы? — И присел на корточки перед учителем, чтобы тот не утруждал себя, глядя все время вверх. — А хватит ли ей классов?

Учитель взглянул на девушку, взглянул мельком, чтоб старик не понял, что она ему нравится.

— Да и вы, баде Михалаке, не сразу сделались хозяином. Сперва построили хату, потом забор, а теперь, вижу, у вас уже есть и молодой садик...

— Ну что там говорить! Хату, ясно, за один год не построишь — три года подряд строил. А с садиком, раз зашла о нем речь, я провозился года четыре, никак не меньше. И что теперь нужно делать Русанде? Принести документы? У нее есть документы.

— Сначала послушаем, что она сама скажет.

— Ну да, конечно, — вполголоса ответил бадя Михалаке, несколько обидевшись на учителя за то, что он так повернул дело.

Несколько минут молчали, слушая, как посапывает разомлевший от жары поросенок, растянувшись в тени курятника.

Девушка спросила:

— Кого вы еще из села выбрали?

Учитель стал искать в карманах бумажку, но потом сдвинул брови и назвал несколько фамилий по памяти.

— Только и всего?

— На первый случай.

— У нас есть еще ребята с семью классами.

— Кто? Есть еще два парня, но их скоро должны призвать в армию.

Бадя Михалаке был полностью согласен с этим:

— А верно! Пусть сперва отбудут военную службу, потом у них еще будет время...

Русанда приподнялась на цыпочки, делая вид, будто разглядывает что-то за плетнем, и заглушила вздох.

— И что же мне надо делать?

— Поехать в Сороки на несколько месяцев. На курсы.

— Может поехать, — без проволочек высказал свое мнение бадя Михалаке, а сам уже думал, где бы занять денег на дорогу.

Но Русанда не торопилась.

— Когда нужно ехать?

— Послезавтра. Завтра собраться, а послезавтра в дорогу.

— Нет, послезавтра не смогу.

— Почему? — удивились оба.

Русанда напряженно подсчитывала, когда должен вернуться Георге с военных сборов. Ему осталось еще три дня, приедет в среду. Значит, в четверг.

— Могу только в четверг.

— Хочешь опоздать на два дня?

— Иначе не могу.

— Ну что ж, — согласился учитель.

Сказал баде Михалаке, чтобы он или кто-либо из их семьи зашел завтра утром в школу и взял бумаги, которые Русанда должна предъявить, когда приедет в Сороки. Уходя, он заметил на столбе несколько растянутых кож.

— Для цепа?

— Для цепа, — улыбнулся бадя Михалаке и подумал, что хорошие пришли времена, что и у этого учителя есть где-то отец, который молотит рожь цепом. А когда тот вышел на дорогу, внезапно вспомнил: — Э... не в обиду будь сказано... Когда я приду в школу, кого мне спросить?

— Меня зовут Пынзару, баде Михалаке. Да вы меня там найдете.

Русанда снова уселась чистить картошку, но бадя Михалаке нашел, что эта работа ей уже не подходит.

— Оставь, мать дочистит, когда придет. Не умрем с голоду. Лучше возьми почитай книжку.

Русанда улыбнулась.

— Уж этот суп сготовлю я сама.

Как на грех, она готовила в тот день суп из зеленого гороха, и этот горох не давал ей прямо дохнуть. Конечно, она понимала, что это неслыханное везение, и радовалась, что в том же классе, в котором еще так недавно сама сидела за партой, теперь будут сидеть другие ребятишки и она, взяв в руку их доверчивые ручонки, будет помогать выводить первые буквы. Но как быть с хыртопским горохом? Не дура же она в самом деле! Она не может не помнить, что в том году, ранней весной, посеяла вместе с хорошим парнем горох в Хыртопах и, как на грех, горох тот выдался и ростом и стручками — ну прямо на удивление!

Вдруг гулявший по двору бадя Михалаке вспомнил, что Русанда опоздает в Сороки по своей собственной глупости, и пустился рассуждать сам с собой:

— Опоздать на два дня! Почему? Вот я уже взрослый человек, и я спрашиваю себя: зачем опаздывать на два дня? Разве нельзя поехать вовремя? Можно. Так почему же опаздывать?..

Так он ворчал до самого вечера, и ему было досадно, что Русанда не принимает никакого участия в его размышлениях. И он долго бы еще ворчал, если бы не вмешалась тетушка Катинка:

— Что ты привязался к ней? Знает она, почему опаздывает.

— Почему? Может быть, скажете и мне?

— У девушки есть свои причины.

— Чепуха, какие у них причины! Я человек, и я спрашиваю себя...

И пошел куда-то по селу, а вернувшись поздно вечером, уже не рассуждал, а молча полез на печь.

Не нашел денег взаймы.

33

Георге возвращался на рассвете. Нужно было сильно соскучиться по дому, чтоб идти вот так, напрямик, по чужим дворам, перепрыгивая через плетни, пересекая огороды и сады, — в деревне прощаются такие вещи, если ты давно не был дома. То там, то здесь торчали во дворах верхушки стогов, а когда во дворе стоит стог, то кажется, что человек богаче, чем он есть на самом деле. На ветках придорожных акаций висели, качаясь, колосья пшеницы, выдернутые из возов, посреди дворов валялись вилы, на оглоблях телег висели брошенные вожжи, — каким бы хорошим хозяином ни был крестьянин, во время уборки всего не успеешь.

А вот показалась и родная его крыша. Георге пристально глядел — может быть, увидит и там верхушку стога, — но, кроме крыши, ничего не увидел. Ну да ладно, отдохнет немного и начнет возить хлеб.

Урожай собрали поздно, без него, так хоть бы не отстать от других с вывозкой.

На несколько секунд задержался во дворе — опять забыли поставить телегу под орех в тень.

Когда открыл дверь, мать вышла ему навстречу из каса маре — видно, молилась.

— Ну доброе утро.

— Сыночек ты мой! Приехал наконец-то... А я все думала о тебе, и ты мне снился несколько раз, — не случилось ли чего с тобой? Хотела тебе письмо послать, да только некому было написать. Дай мне эту рваную котомку, она тебе, наверно, осточертела. Сейчас я помогу тебе снять ботинки. Ты сперва умоешься или сначала поешь?

Георге улыбаясь слушал этот поток слов, потом уселся на лавку, и только уселся, всю усталость будто рукой сняло.

Тетушка Фрэсына поливала ему из глиняной крынки и, пока он умывался, все говорила, говорила и никак не могла остановиться:

— А этот жеребенок не хочет даже бежать за телегой, когда видит, что лошадей погоняет дядя Петря, и как возвращается с поля, выходит к воротам и стоит, стоит... Ждет тебя. А баде Зынелу прислали три медали, которые заслужил Тоадере, царство ему небесное. И большие люди прислали ему бумаги и в этих бумагах очень хвалят Тоадера. Зынел ходил с ними в район, там тоже хвалили. А ты еще не видел, что у нас нового в доме?

Георге удивился: что нового может быть у них в доме?

— Умойся, сейчас покажу.

Георге пошел за ней, вытираясь на ходу.

— Вот посмотри.

Под зеркалом на стене висело полотенце с вышитым на нем горошком в пору своего цветения. Ну цвет горошка, он, как известно, скромен и застенчив, розовая капелька, два-три лепестка, только и всего; зато листва — это целое пиршество. На широком льняном полотенце играло и переливалось всеми цветами бессмертное царство зелени — от темно-зеленого, почти черного, до дымчатого, прозрачного, такого хрупкого, что сквозь него, казалось, просачивались и солнце и воздух.

Это был, конечно, хыртопский горох. Это было вышито для него. Это был намек на их общую тайну, но, бог ты мой, было еще какое-то роковое предзнаменование, чем-то эта вышивка смахивала на конец, на прощание...

— Не знаю, — сказал Георге с некоторым сомнением, — стоило ли на это тратиться...

— Ну тратиться! Мне его вышили... Подарок, — пояснила она и пристально посмотрела на Георге, стараясь угадать по его лицу, то ли слово сказала, — она очень редко пользовалась новыми словами, боясь, что произнесет их неправильно.

— И кто вам сделал этот подарок?

— Русанда.

Георге удивленно посмотрел на нее, и тетушка Фрэсына, боясь, как бы он не стал ее бранить за то, что она вмешивается в чужие дела, начала торопливо рассказывать:

— Была и позавчера, и вчера, и столько мы переговорили! И она, бедняжка, наплакалась, и я ей поведала все свои горести. И еще она сказала, Георгицэ, чтобы ты, как только вернешься, зашел к ним. Уезжает она от нас.

— Куда?!

— Едет на курсы, и когда вернется, будет уже учительницей у нас в селе.

Тетушка Фрэсына на минутку остановилась: что он скажет? Но Георге молчал, и она поехала дальше:

— Оставь эту ложку, я дам тебе другую... И глядите только — что делается на белом свете? Я положу тебе большую подушку, она пуховая, и как положишь голову, сразу уснешь. И что делается на этом свете, говорю я? Вот уж не думала, не гадала, и в голову никогда не приходило, что моей невесткой будет учительница.

Георге отрезал ломоть хлеба, молча стал жевать, словно ничего и не слышал.

— А что, и чудно заживем: я уже старая, встану пораньше, сготовлю еду, накормлю вас обоих — одного в школу, другого в поле. А на тот год и ты поедешь в Сороки, ведь у тебя не меньше классов, а землю сдадим, когда будет колхоз.

Тетушка Фрэсына, видно, все уже обдумала и решила, и Георге ничего не оставалось, как поесть, выспаться и к вечеру посылать сватов. И тетушка Фрэсына была очень удивлена, увидев, что Георге бросил на телегу веревки и стал запрягать лошадей.

— Как, ты не идешь к Михалаке?

Георге ничего не ответил. Он не решался идти вот так, в будничный день. Соседи засмеют. Если она будет во дворе — их счастье.

Тетушка Фрэсына стала у ворот и долго глядела ему вслед, и только когда увидела, какой стороной он едет в Хыртопы, облегченно вздохнула:

— Слава богу...

По двору бади Михалаке разгуливал поросенок — выдернул колышек, к которому был привязан, и теперь ходил, обнюхивая все, что ни попадется по пути; у зава-

линки лежал вверх дном бочонок, на котором сушился на солнце только что выкрашенный фанерный чемодан.

«Проеду еще раз... когда буду ехать за снопами».

Но в этом уже не было необходимости: впереди, посреди дороги стояла Русанда с полными ведрами и ждала, когда он подъедет поближе, чтобы перейти ему дорогу. Перейти кому-либо дорогу с полными ведрами — означает пожелать удачи, и это очень ценится в молдавских селах. Перейдя дорогу, Русанда поставила ведра на землю, подошла, прислонилась к телеге, чтобы быть к нему ближе.

— Когда приехал?

— Только что.

— И сразу снопы возить?

— Такова судьба трудового крестьянства...

Русанда покраснела, пристально посмотрела на него.

— Вот и ты надо мной смеешься. Только напрасно. И я встала чуть свет... Тебе не сказала мама?

— Она мне тараторила два часа подряд и все не могла остановиться. Когда ты уезжаешь? Завтра?

— Я и так опаздываю на два дня...

Его удивило, что она решила такое важное дело в своей жизни, совершенно не посоветовавшись с ним. Ну хорошо, она советовалась с родителями. Но он, значил ли он хоть что-нибудь в ее жизни?

— Ты придешь вечером?

— Ну, приду.

Русанда хотела сказать еще что-то, но улочка была узенькая, и уже собралось несколько подвод, которые ждали, когда они кончат ворковать.

Бадя Васыле, который тоже стоял в очереди, счел нужным посоветовать, когда Русанда проходила мимо:

— Эти вещи делают вечером, Русанда. Удобнее.

— Но ведь он только что вернулся со сборов.

— И ты не могла подождать до вечера?

Русанда, улыбаясь, покачала головой: нет, не могла.

— Ах ты, черт возьми! — Бадя Васыле отчаянно поскреб затылок, видимо сожалея, что ему не двадцать лет.

Вечером вся семья бади Михалаке собралась у печки, пришли и несколько соседок узнать, не забыла ли Русанда взять с собой туфельки, потому что в городе люди

каждый день ходят обутыми. Когда пришел Георге, все сразу замолчали. Русанда встала и шепнула ему: «Пойдем посидим где-нибудь». А потом спросила громко, чтобы все слышали:

— Ты видел, какие яблоки выросли на той расщепленной яблоне?

Сели в глубине сада прямо на тропинке, и Русанда сразу сняла с него шляпу, но почему-то не решилась провести рукой по его волосам...

— Мне показалось утром, что ты чужой какой-то вернулся...

— Меняемся потихонечку, — сказал он вполголоса и подумал о том, что Хыртопы — это не самое удачное место для посадки гороха.

— Знаешь, Георге... — прошептала она вдруг и умолкла.

— Ну?

— Если я еще не во всем твоя, то это только от тебя зависит...

Сухо глотнула и умолкла, потрясенная своим же откровением. Георге скупо улыбнулся, поднял руку, чтобы прикоснуться к ней, успокоить, но тут на дорожке возникла тетушка Катинка.

— Ты, дочка, не очень-то увлекайся. Знаешь, сколько еще у тебя дел!

Разумеется, это было сказано для Георге. И если Русанда вскочила обиженная, то только для того, чтоб ответить за Георге:

— Ну а что вам до того, что у меня много дел? Не успею, что ли? Встану завтра пораньше и сделаю все одна, без вас!

Но коротки августовские ночи и упрямы матери, когда хотят настоять на своем.

— Знаешь что, приезжай в Сороки как-нибудь в воскресенье. Приедешь?

— Трудно сказать, сейчас время работы...

Но Русанда уже решила за него:

— Приедешь обязательно.

Тетушка Катинка все выискивала себе работу во дворе, но, видя, что Георге не торопится, облокотилась на калитку и ждала, когда он уйдет. И когда они наконец расстались, она еще постояла немного у калитки, пока не убедилась, что он в самом деле ушел, — знала она, на что способны эти чертовы парни.

На следующий день Георге нагрузил телегу, забрался наверх и, растянувшись на снопах, задремал. Когда лошади спускались с горы, он неожиданно проснулся от толчка, оглянулся растерянно и вдруг увидел, что навстречу идут девушка и высокий, сутулый человек, сгорбившийся под тяжестью большого чемодана. Уезжала Русанда. Остановил лошадей шагах в десяти и стал ждать.

— Много еще осталось? — спросила Русанда, а два карих глаза, смотревшие откуда-то снизу, ласково упрашивали: «Приезжай...»

— Не очень. Скоро кончу. — И карие глаза замигали довольные.

Бадя Михалаке стоял с чемоданом на плече, терпеливо ожидая, когда Русанда закончит расспросы, и, видя, что она кончила, но все еще стоит на месте, поставил чемодан на землю.

— Тяжелый, словно камнями набили... Рожь везешь?

— Рожь.

— Хорошее дело.

Русанда вдруг почувствовала теплое дыхание на локте, повернулась и увидела Ваську, который стоял и не мигая глядел на нее.

— Васька! Господи, как он вырос! Неужели узнал?

— Видно, узнал...

Угонять его было нечем, и она стала расчесывать ему гривку.

— Где это ты лазил?

Жеребенок стоял молча, ожидая, когда она кончит. И когда гривка уже была в полном порядке, все еще стоял на месте, не веря, что тем дело и кончится.

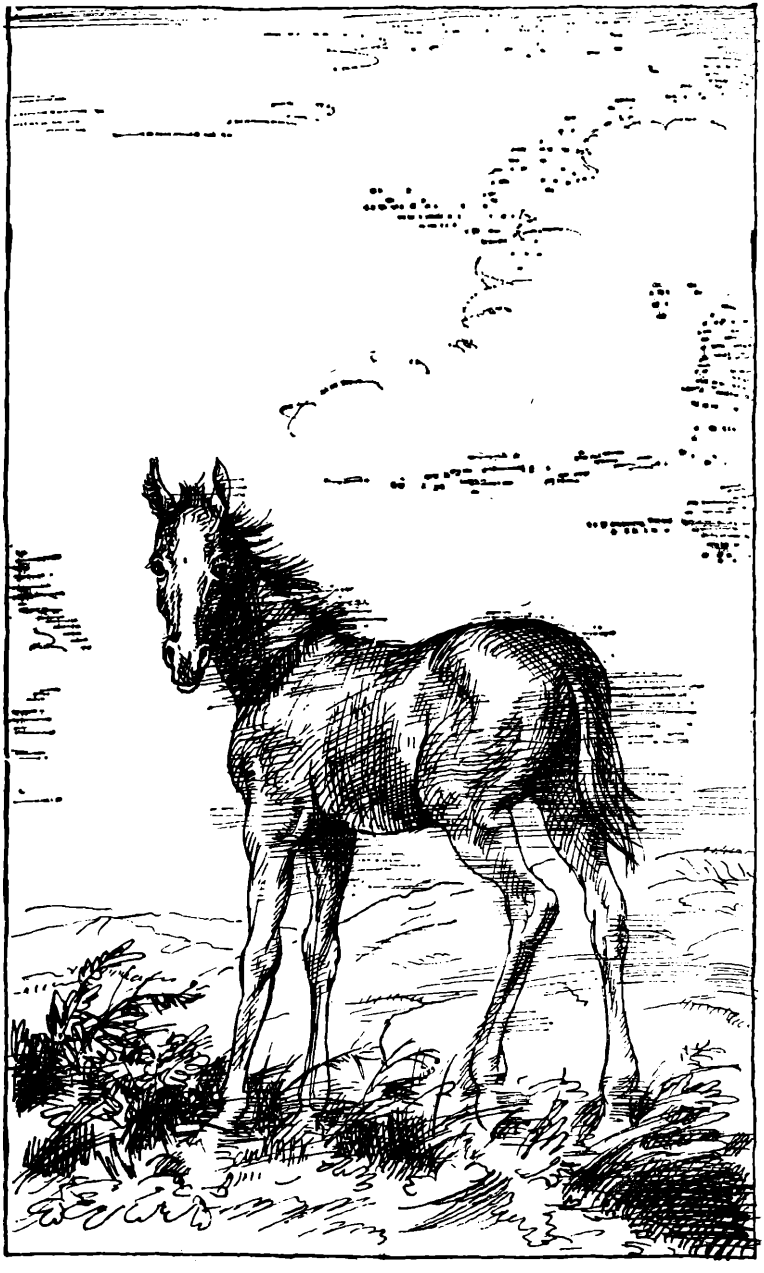
Бадя Михалаке взвалил на плечи чемодан. Русанда подняла руку, робко помахала прощаясь. А Георге снял шляпу и, высоко подняв ее над головой, сказал чужим каким-то голосом:

— Счастливого пути...

И содрогнулся, потому что судьба, когда мы прощаемся с кем-нибудь на долгое, на очень долгое время, обжигает вдруг острой болью того, что нам долго светило и что так уж никогда и не сбудется.

34

Скридон сквозь сон услышал, как мать точит нож о край глиняной миски, и проснулся. Проснулся, но лежал с закрытыми глазами: по движениям матери старал-



ся угадать, в каком она сегодня настроении. Если в хорошем, можно еще малость поспать, а если нет, дело плохо.

Выходя из кухни, тетушка Мафта пнула кошку:

— А, чтоб тебя, путается в ногах...

Но пнула не очень сильно — не слышно было, чтобы кошка стукнулась о стену, — и Скридон уже собрался повернуться на другой бок, как вдруг...

— У других дети как дети — родителей слушаются, уважают, почитают. А мой — спросите-ка его, сколько раз ему нужно твердить, пока он сядет написать письмо родному отцу, который его вырастил, и если бы не он, пропали бы мы совсем. Надо умолять его два дня, пока он напишет. Ох, если бы дал мне господь знать хоть немного грамоту, стала бы просить я этого идола!..

Скридон приоткрыл один глаз и со скверным предчувствием ожидал продолжения. Ему не пришлось долго ждать.

— Вы подумайте — написать пять писем за неделю! Пять писем! Если разбить о его голову все горшки и миски — не напишет. А тут взял и написал. И кому, вы спросите, посылает он эти письма? Домнике! Мыслимое ли дело — испортить столько бумаги, когда я бегаю по селу полдня, пока добуду листочек, чтобы написать отцу! Разве ты не можешь просто сказать ей, что хочешь сказать? И чего ты ее так балуешь? Ведь все равно, если ей суждено быть твоей женой, на другой же день после свадьбы заткнет тобой печную трубу...

Скридон подумал — хорошо бы, если б дверь очутилась рядом с постелью и он мог бы выскочить прямо во двор. Но дверь была далеко, Скридон наскоро умылся, оделся и вышел запрягать лошадей.

— Ты есть будешь?

Он молча разматывал вожжи.

— Слышишь, Скридон, ты будешь есть?

— Хватит с меня... уже наелся. Пошел ты, серый!

Да, какой-то шпион ходит по его следам и все записывает. Не успевает он дойти от Домники до дому, а его мать уже знает, о чем они говорили, слово в слово. Пять писем! Ни больше ни меньше. Кто мог знать, что пятое он не успел послать из Мелеуц и сам передал ей вчера вечером? Знали только он и Домника. Неужели сама Домника ей сказала? Ну не сошла же она с ума...

Мало-помалу успокоился, но твердо решил: не бу-

дет он Скридоном, если не поймает шпиона. Пусть только попадется тот ему в руки. Смешает с землей.

На мосту увидел Веруню, которая, облокотившись о перила, любовалась своим отражением в крохотной лужице — все, что осталось от огромного пруда. В годы засухи пруды усыхали.

— Ты едешь на Реут, Скридон?

— Еду.

— Подвезешь?

Скридон остановил лошадей:

— Ну садись!

Пока он искал для нее местечко поудобнее, Веруня уселась рядом с ним.

— Подвинься немного.

Парень удивленно посмотрел на нее.

— Что, боишься, не хватит места? Хва-атит. Я не такая толстая, как кажется... Ты как поживаешь?

Скридон подвинулся и, почувствовав рядом мягкое, горячее бедро, подумал:

«Вот влип! Теперь пойдут разговоры... «И сидели они рядышком, кума, сидели, как голуби!» Домника выцарапает глаза».

— Сколько тебе лет, Скридон?

— Стар уже, Веруня. Очень стар...

— А чего ты не заглянешь ко мне?

— Да к тебе все начальство ходит! Не угодишь кому-нибудь — и крышка. Загонят на край света.

— И ты боишься? Ха-ха-ха!

На нее внезапно напал смех, а когда Веруня смеется, аж на землю может упасть, если не схватится вовремя за плечо соседа.

Скридон осторожно огляделся — не видит ли их кто? — и удивился: что за черт, вроде ничего смешного не говорит, а эта дура помирает со смеху...

«Нужно свернуть разговор на что-нибудь серьезное...»

Но тут подвода спустилась в долину, а там какой-то мальчик пас телку и пристально смотрел на них. Заметив, что на голове у него новая синяя шапочка с лакированным козырьком, Скридон остолбенел:

«Трофимаш! Ну этот распишет меня...»

— И когда же ты придешь ко мне, Скридон?

— Я-то приду, а ты откроешь?

— Чего! Ха-ха-ха...

Скридон тут же бросил вожжи и быстро наклонил-

ся, чтобы их подхватить, и Веруня, не найдя на что опереться, перестала смеяться.

— Баде Скридон, а что вы мне дадите, чтобы я... — начал было Трофимаш, но тут же спохватился. Был он тоже мужчина, а на свете нет ничего постыднее, чем когда мужчина выдает мужчину, и потому надо было быстро переменить тему. — Куда едете?

— На Реут, Трофимаш.

Скридон хлестнул лошадей и уже не выпускал вожжей, пока не перевалили через холм.

— Нет, кроме шуток, Скридон, когда мне тебя ждать?

— Чего даром ходить...

— Тебе нужна плата?

— Не плата, но...

— Ну говори.

— Полюби хоть, черт возьми!

Тут Веруню разобрал такой смех, что ей уже мало было плеча Скридона и она добралась до самой шеи. И хотя Скридон молчал весь остаток дороги, Веруня сама себя рассмешила еще несколько раз.

Когда наконец добрались до Реута и Веруня слезла с телеги, Скридон готов был опуститься на колени и прочитать «Царю небесный». Другой молитвы он не знал.

«Если еще раз залезет на телегу — погиб!»

Свернул на свой участок, отсчитал две с половиной копны, сколько можно было забрать на телегу, и развернул лошадей. Тяжело одному, но парень приспособился: сперва бросал снопы на телегу, потом влезал и укладывал их.

«Теперь Домника устроит мне разнос!»

Когда все было погружено, слез с телеги посмотреть, как уложены снопы. Вытащил занозу из-под ногтя.

«Жаль только, что глупа. Наутро растрезвонит по всему селу... А можно бы чудно провести время...»

35

И вот уже стемнело. Лошади идут только шагом, и возница, разминаясь со встречной подводой, внимательно следит, чтобы не зацепить осью за ось; старухи, которых ночь застала в комнате, зажигают свет, чтобы найти дорогу на печку; детишки сбиваются в кучу, боясь цыгана — он только что вошел в село с котомкой и забирает детей, которые никак не угомонятся.

Уставший журавель долго нащупывает своим длинным клювом колодезное устье и, когда находит его, задумчиво засыпает; измотанные жатвой люди забывают открытыми на всю ночь ворота, и вдоль заборов бродит заблудившийся теленок; заходит в каждый двор и пристально смотрит, не его ли это дом.

Село замирает. Но кого-то нужда еще носит по дорогам.

Бадя Васыле спешит в кузню с поломанным колесом на спине; какая-то женщина ищет на обочине дороги потерянную бараном веревку; Кица идет в сельсовет с зависшей яблоневой веткой — опять ребятишки лезли в сад.

Спешит и Скридон. Идет прямиком, через огороды, чтобы поспеть, пока не улегся спать бадя Зынел. Очень устал, горят ладони от вил; когда он берет в руки платок, то совсем не чувствует его, и глаза режет от пыли — сил никаких. Ему хочется спать, и тропинка качается у него под ногами, как мостик из тонких еловых досок.

«Скажу два слова и уйду. Поверит — хорошо, не поверит — прощай...»

Бадя Зынел сидел на завалинке рядом с ведром воды и держал на коленях кружку.

— Ох, и извела меня жажда сегодня! Думал, дома выпью целую бочку. Чего не садишься?

С тех пор как не стало Тоадера, ему нравится беседовать со Скридоном. Только с ним да с Трофимашем он может говорить по душам.

— Много свез?

— Десять копен.

— Толк будет?

— Колос есть, а что в колосе...

— Эх, парень, колос нынче пустой. Не было дождей.

Набрал в кружку воды, выпил и крикнул, глядя прямо перед собой:

— Слышишь, жена! Где Домника?

— Не знаю, куда-то пошла.

И сказал Скридону, как будто тот не слышал:

— Пошла неизвестно куда. Сейчас придет.

Из соседнего двора доносился чей-то смех. Бадя Зынел напряженно вслушивался, повернув голову в ту сторону, потом встал, не выпуская из рук кружки, и сделал несколько шагов к забору:

— Эй, Домника!

Смех затих. Через несколько мгновений:

— Что?

— Ну-ка, бегом домой.

— А чего?

— Парень ждет.

И, считая, что теперь все как нельзя лучше улажено, снова уселся на завалинку. Но Скридон улавливал все тот же смех на том же самом месте. «Конечно. Трофимаш выдал».

— А в колосьях только семена остались, Скридон. У других и этого нет.

Они еще поговорили о колосьях, о семенах, и Скридон, видя, что Домника и не думает возвращаться, собрался уже идти. Пусть себе сердится. Что поделаешь. Не маленькая. И только он протянул руку за шляпой, как появилась Домника. Идет тихонько, будто не идет, а только делает вид, что идет.

— Зачем вы меня звали, отец?

Бадя Зынел не сразу понял, о чем она его спрашивает, а когда понял, схватил ведро и вылил воду прямо перед домом.

— А ну, сбегай к колодцу, только живо!

Сидел молча с кружкой в руке, рассерженный и на колосья и на дочку. Когда Домника появилась с ведром, сказал:

— Занеси в дом.

Потом, вздохнув, поднялся, поглядел наверх, не видно ли тучки на небе, и пошел следом за ведром.

Домника стояла на пороге, держась за щеколду, как будто собиралась закрыть дверь.

— Чего ты там стоишь?

— А где же мне стоять?

— Иди сюда. — И Скридон похлопал по завалинке.

Она несколько раз покачала дверью.

— Не всем же сидеть возле тебя.

— Вот ты еще ничего не знаешь, а уже... Иди сюда.

— Не хочу.

— Ну а если так...

Он встал, стряхнул пыль со штанов. Нашел на колене надорванный лоскуток и приладил его, чтобы не рвалось дальше.

— Будь здорова.

— Всего хорошего.

Стояла, побледневшая, и считала каждый его шаг. Когда увидела, что он в самом деле уходит, тихонько

пошла за ним. Остановились у калитки и начали разговаривать, будто только что встретились.

— И чего тебе нагородил Трофимаш?

— Много чего. А что было?

— Я увидел ее на мосту. Останавливает меня: «Подвези до Реута!»

— Она сама напросилась?

— Не заезжал же я за ней! Говорю: «Хорошо». Не успел я это сказать — гляжу, а она сидит уже рядом. «Поместимся».

— Так и сказала?

— Какой мне интерес тебя обманывать?

Домника сорвала несколько листочков, и через несколько мгновений они уже не были листочками.

— И о чем вы говорили? Только все до единого слова!

И когда Скридон рассказал ей все — от моста и до Реута, — Домника сжала кулачки.

— Видали? Барышня! Ничего, я ее проучу!

Скридон и не думал защищать Веруню. Его больше интересовала собственная судьба.

— А на меня не сердишься?

Домника ничего не ответила. Она только посмотрела в одну, потом в другую сторону — не идет ли кто? — и отступила на несколько шагов в тень акации. Там не видно, целуешься ты с парнем или просто стоишь разговариваешь.

Тетушка Мафта уже задремала, но, как только услышала шаги Скридона, сразу проснулась. Слушала, как он закрывает двери, как раздевается. Скридон, едва положил голову на подушку, сразу заснул. Через полчаса кровать под ним заскрипела, и послышалось какое-то бормотание. Тетушка Мафта тотчас же слезла с печки и встала возле его кровати, скрестив на груди руки. Скридон сидел на постели с закрытыми глазами, и бормотание постепенно перешло во внятную речь:

— Домника... Слышишь, Домника? Еду я на повозке и вижу ее на мосту. «Подвези». — «Садись», — говорю. Ты не сердись, сперва выслушай. Да. Эй, пошли, калеки! «Как же мне ходить к тебе, Веруня...» Эй, Трофимаш, я тебе оторву уши. Помни... А вообще она девица сговорчивая, мягкая, сладкая — не девка, а рай земной. Домника, мы попались с письмами. А твои не

сердятся, когда я прихожу? Эх, Георге, покинула тебя Русанда, а? Оставь меня, пожалуйста, в покое. Я живу собственным умом. И если хочешь знать... Пошел ты, скотина, ослеп, что ли?!

На этом месте Скридон так зевнул, что затрещали челюсти, улегся и захрапел.

А тетушка Мафта, улыбаясь, полезла обратно на печку, чтоб до утра распутать этот клубок и выяснить, чем занимался ее сыночек в течение прошедшего дня.

36

Только после первого диктанта, получив пятерку, Русанда поверила, что в самом деле может стать учительницей. В тот же день она решила: что бы ни было, по с Домникой она не расстанется до самой смерти, а Георге — это навеки! И ей стало легче; правда, на другой день все началось сначала. И она снова все перерепала и снова клялась, — боже, сколько раз она клялась!

Она была не из тех, кто уезжает из дому, не дослушав шепот орешника в полночь, и кому не нужно забывать, как открываются многие двери в селе.

Она любила петь вечерами с девушками, возвращаясь с поля; она успела выткать свой первый ковер, и вместе с нитками переплела свою жизнь на долгие годы; она успела отучиться говорить «бадя» одному парню из этого же села.

Старый и верный мир пахарей цепко держал ее, опутав множеством условностей, а новый мир манил к себе, и она изо всех сил старалась не сделать ложного шага, но, господи, что от нее зависело?!

Едва вернулась из Сорок, как дом их стал неузнаваем. Бадя Михалаке, питавший слабость к политике и любивший в разговоре с соседями тут и там пропускать острые шпильки по адресу местных властей, теперь горой стоял за все их начинания. Тетушка Катинка, уверовав в то, что учителя особенно нуждаются в покое, стала ходить на цыпочках и старательно закрывать за собой двери.

Роясь как-то в вещах, сложенных в каса маре, Русанда наткнулась на свое голубенькое платьице, в котором она еще так недавно сеяла горох. От него остались одни лоскутки. Она ветром вылетела из комнаты, бросилась к матери. Не могла ее нигде найти, потом заметила, что ведер нет на месте, и побежала к колодцу.

— Мама, это вы распороли мое платье?

Тетушка Катинка поставила ведра на землю.

— Я. Кто же еще!

— Но это же было хорошее платье!

— Э-э! Хорошее разве только для меня! Мне уже все равно что носить, а ты не можешь ходить в таком платье! Где это видано?

Она не сказала: «Где это видано, чтобы в таком линялом платье ходила учительница?» — но Русанда все поняла. И так ей захотелось вновь сшить это платье — целый час она просидела, разложив куски материи на коленях, вдела уже и нитку в иголку, но поняла, что самый искусный портной и тот не смог бы сшить его таким, каким оно было.

И вечером пришли какие-то соседки, которым никогда не давали жить заботы о чужих делах. Принялись за пересуды. Тетка Артина что-то сказала, Русанда и не расслышала, что именно, но тетка тут же осеклась:

— Да простит меня бог, и не заметила, что ваша дочка рядом.

Русанда, как и раньше, жила только тем, что ждала Георге. Высшим ее счастьем был миг, когда доносились его приближающиеся шаги. Радовалась, когда догадливая мать уходила к соседям, оставив их ненадолго вдвоем. О, эти сладкие минуты уединения... Георге широко разводил руки, чтобы обнять ее всю, она целомудренно от этой широты душевной ускользала, но что-то не было больше радости в тех минутах, когда они оставались вдвоем. Какая-то тень, какое-то отчуждение легло меж ними, и они, потрясенные, сидели тихо рядышком и мучительно пытались разгадать, что же с ними происходит. Будучи младшей, Русанда делала первый шаг к примирению. Она мягко, виновато прижималась к его плечу, но теперь чувствовала щекой только сукно его пиджака, толстый слой домотканого сукна лежал меж его и ее судьбой.

— Ну как там у вас, в школе?

Русанда давно ждала этого вопроса. Ей очень хотелось рассказать ему все подробно, она уже загадывала, что́ ему понравится, что́ не очень, но теперь, когда наконец вопрос этот был задан, она умолкла, призадумалась. Нехорошо он ее спросил. Какая-то обида, какая-то боль, какой-то намек на предательство почудились ей в его вопросе, и, обидевшись, она только и сказала:

— Хорошо.

Теперь уже он обиделся. Посопел, покурил, ушел. Она с горя разревелась, потом металась всю ночь как в лихорадке и все спрашивала себя: что же в конце концов происходит? Откуда берутся все эти мелкие обиды, весь этот пух недоразумений и почему иной раз готов жизнь отдать, лишь бы не поступиться самой что ни на есть пустячной мелочью?!

К утру еще раз вздохнула, вытерла косичками две слезинки и уснула. Проснувшись, полежала некоторое время. Прислушивалась и по кипению горшков, по проезжавшим мимо подводам, по голосам, которые просыпаются несколько позже, чем сами люди, старалась угадать, не поздно ли. Это у нее было в крови: проспать утро — значило день потерять.

Тишина. Кажется, можно еще чуток вздремнуть, но, чу, всего одна телега тарахтит в глуби села, и не возвращается, нет, она уходит от села в поле. Скинув с себя дремоту, девушка приподнялась на локте и увидела вдруг солнечный луч, пронзивший сумрак комнаты и игравший ковровыми дорожками, которыми был застлан пол. С чего это мать без конца завешивает окна в доме? Ну, бомбили, светомаскировка и все такое, но ведь это все прошло!

Солнце, видать, было уже высоко. У летней печки, во дворе, тетушка Катинка и бадя Михалаке шепотом о чем-то переговаривались. Подросший за лето поросенок важно лежал, растянувшись на боку и тяжело вздыхал — его, видать, накормили еще затемно, чтобы утром не будил весь дом своим визгом.

«А может, все это дурь? — спросила она вдруг себя. — Может, ничего такого в ее жизни и не произошло?»

Увы... У летней печки сидела на низеньких скамеечках чета немолодых уже крестьян, повидавших всякое на своем веку, о чем-то меж собой шептались, и были они незыблемы в своей решимости, как все эти холмы, все эти долины. В их древних судьбах пахарей, в их образе жизни, связанном со вспашкой, посевами, уборками, вдруг сыскалась возможность дать одному из своих заработать свой хлеб уже не руками, не потом, а умом, духом своим, и родители готовы идти на все, когда их отпрыски становятся на ноги.

Да и то сказать... После долгих веков глубины этой земли начали пробиваться к свету, к миру, и в этом ис-

торическом шествии какое значение могли иметь полудетские, невинные шалости, которые, возможно, и связывали какую-то там девушку с каким-то там парнем!

37

И вот уже две недели, как Трофимаш не рвет рубашки под мышками, две недели, как па́рит по вечерам свои, покрытые цыпками ноги, две недели, как выворачивает карманы, выбрасывая из них все лишнее, — уже повыбрасывал с полпуда всякого добра, а карманы все еще битком набиты.

Трофимаш готовился в школу.

Поэтому их щенок бегает по двору, виляя хвостом, и удивляется, что к хвосту ничего не привязано, и бадя Зынел, когда запрягает лошадей, уже не ищет кнут в бурьяне, а берет его там, где повесил.

Остался всего один день, и Трофимаш решил после обеда слазить на чердак и поискать там сухих вишен или орехов — не идти же ему в школу с пустыми карманами, но вдруг увидел отца, точившего иглой цыганские ножницы.

— А вы зачем это?..

— Возьми стульчик и садись. Спиной сюда, к окну.

— Хочешь постричь?

— Не то чтобы очень уж хочу, но ведь не примут в школу с таким чубом.

И присел на лавочку — пусть, мол, Трофимаш сам решит, будет он стричься или нет. Трофимаш вздохнул и сел на стульчик, с тоской поглядывая на приоткрытую дверь. Некоторое время он молча сидел, зажмуривая глаза при каждом душераздирающем скрипе ножниц, но потом не выдержал:

— Щиплет же!

— Кто тебя щиплет?

— Да там, чубчик.

— Так не я же. Потерпи немного.

Трофимаш множество раз закрывал и открывал глаза, а когда бадя Зынел в третий раз стал точить ножницы, Трофимаш принялся ощупывать голову, чтобы узнать, как обстоят дела.

— А может, завтра утром закончим?

— Завтра утром ты должен идти в школу. Забыл?

Забыл — как можно забыть! Уже две недели, как мать сшила ему чудесную сумку с голубыми полоска-

ми, уже две недели, как Домника принесла ему голубую тетрадку и огрызок карандаша. Все это Трофимаш положил в сумку и каждое утро проверял, не забрались ли туда мыши и не начали ли тетрадку раньше него.

Наконец бадя Зынел, выпрямившись, с большим сомнением произнес:

— Кажется, готово.

Трофимаш сбросил старую юбку, которую ему повязали вокруг шеи, и стал переворачивать все вверх дном в поисках зеркала.

— Что ты ищешь?

— Пояс.

— Так он же на тебе.

— У меня был еще другой.

И вдруг услышал смех в каса маре: к Домнике в гости пришли подруги — значит, сегодня зеркала ему уже не видать. Тогда он натянул кепку на самые уши и перелез через забор к тетушке Иляне. Параскица, девочка лет пяти, стояла под яблоней и, подняв руку, определяла, сколько ей еще нужно расти, чтобы дотянуться до яблок. Трофимаш оглянулся, не видит ли их кто, и сдернул с головы кепку.

— Параскица, погляди-ка на меня. Кровь не течет?

— Не течет.

— Смотри хорошенько.

Параскица обошла его несколько раз, заложив руки за спину, но мнения своего не изменила.

— Параскица, а я красив вот так, стриженый?

Параскица повернулась на одной ножке и встала к нему спиной. Слишком деликатный вопрос. Все же спустя некоторое время прошептала:

— Кра-аси-вый...

— Нарвать тебе яблок?

— Нарвать.

Трофимаш сорвал ей два яблока, которые Параскица сама себе выбрала, а сколько он нарвал себе, неизвестно, так как засовывал их за пазуху, не считая.

Много еще пришлось перетерпеть Трофимашу в этот день, но зато вечером, лежа на спине и ожидая, пока Домника погасит лампу, он подсчитал кое-что, и словно громом его поразило. Из-за печки тут же появилась стриженая головка:

— Домника, слышишь?

— Что?

— Выходит, мне остается поспать только эту ночь. Завтра в школу?

— Выходит. А ну-ка, повернись ко мне спиной!

Головка исчезла, как будто ее ветром сдуло. Но, видя, что сестра еще ходит по комнате, предупредил:

— Домника, ты не вздумай меня будить. Скажу отцу.

И, представляя себе, как она перепугалась, заснул. А на другое утро — нет сумки! Исчезла вместе с тетрадкой и карандашом. В одно мгновение Трофимаш побывал под всеми скамейками — могли стянуть мыши; поискал на шестке и уже собрался лезть на чердак, как Домника крикнула:

— Нашлась!

— Где она была?

— Под подушкой у Трофимаша.

— Это ты ее положил?

Но Трофимаш понятия не имеет, как она туда попала.

— Мама, посмотрите-ка! У него даже нос в пыли!

— Отряхнусь на улице! — И он устремился к двери, но, пока он ее открывал, Домника успела пройтись по его носу щеткой.

Трофимаш торопливо засунул руки в карманы, чтобы Домника по ошибке не почистила и их.

— Я опоздаю!

— А кто виноват?

Выскочил на дорогу и пустился бежать, да так, что сумка, отскочив от спины, летела по воздуху вдогонку за ним. У ворот школы остановился, подождал, пока сумка его догонит.

Вошел в длинный школьный коридор и отворил первую попавшуюся дверь. Моментально все головы повернулись к нему. Трофимаш заметил несколько пар длинных ног, которые не помещались под партой. Подумал: «Это взрослые. Еще побьют...»

Учитель, которого Трофимаш второпях не заметил, поинтересовался:

— Что скажешь?

— Ничего.

— Гм! Из какого ты класса?

— Я пришел так... без класса.

Кто-то прыснул в кулак. Учитель постучал карандашом по столу и сказал улыбаясь:

— Тогда заходи в соседнюю комнату. Там сидят те, что без класса.

Но провести Трофимаша два раза подряд еще никому не удавалось. Парнишка осторожно приотворил дверь и вдруг заулыбался.

— Ты чего смеешься? — спросила Русанда.

— Я не смеюсь. Вы учительница?

— Я.

Снял сумку, кепку и оглядел комнату.

— А где я буду сидеть?

Еще в Сороках Русанда выбрала для Трофимаша подходящее местечко, которое сейчас ждало его, — на той самой парте, где не так давно сидела она сама.

— Вот здесь.

Под партой Трофимаш обнаружил перекладину — к чему это она? Заглянул под соседние парты — что остальные делают с перекладиной? Один паренек, повыше него, поставил на нее ноги. Трофимаш тоже вытянул ноги — хорошая вещь! А для рук ничего нет?

Русанда стояла возле окна, стояла на том же месте, где ее застал первый вошедший ученик. Ее начало знобить, и, чтобы сдержать дрожь, она с силой сжала карандаш. Ей казалось, что все это только шутка, что у этих ребят есть другой, настоящий учитель, который вышел на минуту, а ее оставил последить, чтобы дети не баловались.

Она поглядела на улицу, и ей очень хотелось, чтобы хоть кто-нибудь опоздал, но все уже уселись, стояла глубокая тишина, и много глаз выжидательно глядели на нее. Вдруг скрипнула дверь, Русанда сжала карандаш и все же вздрогнула, передернув плечами. Вошел Пынзару. Ей казалось: сейчас он возьмет журнал и приступит к уроку. Только стало досадно, что над ней так зло подшутили, и в то же время радовалась, что сейчас пойдет домой — побежит бегом, сбросит эту чистенькую одежду, которая как будто горит на ней. Положит серп на плечо... И уже мерещилось широкое поле, ясное небо — голубое и холодное небо, которое одно на свете не имеет тени.

— Разрешите?

«Почему он стоит на пороге?»

— Пожалуйста...

И она отошла в сторону, как бы уступая место.

— Мне нужен кусочек мела. Разрешите взять?

— Возьмите.

Взяв мел, Пынзару направился к двери, но вдруг остановился и сказал шепотом:

— Эй ты, там, под партой... что ты там делаешь?

— Жует, — выдал кто-то.

— Жует?! Ну-ка, спрячь быстренько хлеб, голубчик. Увидит Русанда Михайловна, и влетит же нам!

И вышел на цыпочках, как будто они вместе жевали хлеб под партой.

Значит, Русанда... Михайловна!

— Леля Русанда... Михайловна! Он опять кушает...

Русанда поглядела на стриженую головку Трофимаша — вдруг впервые увидела, что он очень похож на Домнику. Будто это Домника, нарочно сделавшись такой маленькой, чтоб не заметили, глядит на нее своими веселыми глазами: «Ну чего застеснялась? Подумаешь, важное дело учить других!»

Пошла между партами к месту происшествия. Обжора — черный, как негр, мальчишка, которого с помощью ведра воды и куска мыла, пожалуй, удалось бы превратить в европейца, — сидел, окаменев, а рот у него был до того набит, что губы не сходились. Вопросительно смотрел на Русанду, ожидая, что последует.

— Значит, ребята, с сегодняшнего дня вы школьники. А школьники должны каждый день приходить в школу. Ну-ка, кто из вас скажет, есть у нас в селе школа или нет? Кто знает, пусть поднимет руку, вот так.

Подняла руку та девочка, которая всю зиму ходила на мост, девочка с голубыми глазами, по-старушечьи повязанная платочком.

— Как тебя зовут?

— Веруца. Так меня зовут.

— Ну и что ты скажешь, Веруца, есть у нас школа в селе?

— Е-есть.

— Правильно. Только, когда отвечаешь, надо встать.

— А я и так стою!

Русанда прикусила губу, чтобы не рассмеяться.

— Тогда садись.

Веруца внимательно осмотрела парту, покрутилась на месте, и ее глазки снова заблестели над самой партой.

— А я не могу сесть. Тут очень высоко.

Русанда посмотрела на того, кто сидел рядом с ней.

Трофимаш тут же вскочил с места и, подойдя, долго прикидывал, как бы ее посадить. В конце концов обнял и попытался оторвать от земли.

— Тяжелая, — сказал кому-то и быстро добавил: — Только ты уж меня не обнимай! Я это не люблю.

— Значит, школьники должны каждый день приходить в школу.

Она ходила между партами, и глядела в эти милые детские лица, и обещала открыть им большие тайны, большое счастье, большую жизнь. И они, робко следя глазами за ней, впервые размечтались: эх, хорошо бы!.. Вот только бы мама достала тетрадку.

Когда кончился последний урок и малыши столпились в коридоре, Русанда решила пойти домой вместе с ними. Учителей она боялась. Они всегда говорят только о школьных делах и, о чем бы ни зашла речь, начинают всегда одинаково: «В те времена, когда я учился в Яссах, в нормальном училище...» Но нужно было положить на место классный журнал, и она пошла в канцелярию. К счастью, там был только Пынзару.

— Ну, Русанда Михайловна, с вас магарыч.

— За что?

— За первые уроки. Хорошо прошли.

— А вы откуда знаете?

— Подслушивал, конечно. Это ужас как нехорошо, особенно в школе, ну да что поделаешь, в интересах дела.

Русанде очень хотелось хоть что-нибудь услышать о своих уроках, но она боялась, что Пынзару станет ее хвалить, а это ей совсем было ни к чему.

День как будто кончился, но оставалось еще самое трудное — дойти до дому. Утренняя дорога из дому в школу была самая длинная и самая трудная в ее жизни. Каждый встречный еще издали начинал разглядывать ее, как будто не знал, кто она такая. У колодца деда Ирофтия стояла Домника в старенькой кофточке, с серпом на плече. Наливала воду в маленький кувшинчик, чтобы взять с собой в поле. Домника ничего не сказала, но Русанде показалось, что и серп, и залатанная кофточка укоризненно смотрят на нее: дескать, какие бы мы ни были, но мы работаем и сегодня вот идем в поле...

Старик и молодой парень тащили телегу за мостом — старик впрягся в оглобли, а молодой подталкивал сзади. Русанда поздоровалась с ними, но не успела сделать и трех шагов, как услышала за спиной:

— А это что за краля?

— Разве не знаете? Дочка Михалаке.

— Чего это она так принарядилась?

— Говорят, стала учительницей.

— Учительницей? И она учительницей?

И теперь ей было страшно возвращаться — по какой бы дороге ни пошла, ее везде подстерегало: «И она учительницей?» После такого удивления прямо темнеет в глазах.

Открыла двери и вышла на улицу, нарочно встряхнув головой, чтобы растрепать волосы. Позади раздались торопливые шаги Пынзару, и Русанда облегченно вздохнула. Слава богу, вдвоем лучше. Он идет рядом с тетрадкой под мышкой и шутит, будто говорит каждому прохожему: «Верно, да, эта девушка из вашего села, может, вы и сами видели, как она играла в дорожной пыли. А теперь она учительница. Вот, идем из школы!»

У моста Пынзару нужно было сворачивать налево. Они прошли мост, Русанда замедлила шаги, но Пынзару и не думал сворачивать. «Уж не надумал ли он провожать меня? Господи, это же может обернуться большим скандалом!!»

Идти ей было еще далеко, а люди, как нарочно, возвращались с поля. И она не спешила напомнить ему, в какой стороне его квартира. Только, когда они подошли к ее дому, спросила:

— А вы, кажется, живете в другой стороне?

— Хочу зайти здесь к одному... Слышал, у него есть велосипедные спицы. Чего вы так торопитесь домой, ведь все равно завтра утром придете обратно. И потом много-много дней будете приходить и уходить снова. К этой дороге нужно привыкнуть. Это наша жизнь.

Они расстались у калитки. Войдя в дом, Русанда занялась делами по хозяйству, но этот их новый учитель, его обличье, его походка, цвет волос, тембр голоса ну прямо преследовали ее повсюду.

«Сгинь!» — сказала ему Русанда в сердцах, а в это же время какой-то глубинный внутренний голос нашептывал: «Ты чего, с ума сошла? Да ты его сначала пожалей — он же одинокий, в чужой деревне, а думаешь, легко одинокому в чужой деревне?!»

38

Неужто уже осень?

По утрам роса холодная — только ступишь босиком на траву и сразу начинаешь искать тропинку; акации

прихватило морозом, почернела, пожухла листва, и они стоят понурясь; дворы забиты скирдами, снопами так, что люди не знают, куда вечером приткнуть телегу, и собаки спят там, где начали зевать: весь двор теперь — сплошная тень.

И не жужжат истомленные жаждой пчелы, разве что после обеда к колодцу залетят две-три; по улице бродит теленок с куском тыквы во рту и тычет ею во все заборы — большая очень. После дождей дорога покрылась выбоинами, и когда идешь, из-под ног выворачиваются крупные комья, под каждым комом прячутся семена, столько разных семян, что и белладонну найдешь, а ведь кто-то говорил, что в Молдавии белладонна не водится.

Осень.

Петух уже не подзывает кур, когда найдет кукурузное зерно, а сам его склевывает, если не лень, — куры и без него сыты; женщины уже не несут, надрываясь, кошелки с едой в поле; вечерком заходит соседка, и если ты не расскажешь ей какую-нибудь небылицу, она сама расскажет тебе две; мош Дэнуцэ снова меняет струны у своей скрипки; и те, у кого дочь на выданье, сажают своих шавок на цепи, чтобы парни не обходили стороной их хату.

Да, осень. И каждый торопится, чтоб весь урожай был во дворе: что в поле — лишь наполовину твое. Торопится и Георге. Только почему-то получается так, что он каждый день приезжает в Хыртопы. В Хыртопах у них всего два гектара, и тетушка Фрэсына не перестает удивляться: сколько времени можно убирать эти два гектара? Можно долго убирать. Кукурузу убирают одновременно с горохом, и если люди оставляют горох в поле, зачем ему спешить с кукурузой?

Несмотря на все его старания, дождя не было и кукуруза не вышла. Низкорослая, початков мало, и те заскорузлые какие-то. В тоске от неудачи своей Георге нарежет снопов, сядет на него, долго глядит в сторону села. Так часто и так подолгу вглядывается, что привык уже узнавать человека чуть ли не за три версты, и если бы осень помедлила еще немного, он научился бы слышать в Хыртопах, как дети выходят из школы.

Но осень шла своим чередом, ложились снопа за снопом, он аккуратно складывал их, и с каждым снопом, глядя, как сиротливо они жмутся друг к другу, все острее ощущал свое одиночество.

За ту неделю, как она вернулась из Сорок, он видел ее всего только раз, да и то мельком. Какое-то чутье ему говорило, что в том доме его больше не ждут, и, задетый за живое, он сказал себе: раз так, он и сам к ним ни ногой.

Оставался, однако, горох в Хыртопах. Надежда слабая, но все же. Хоть и начала желтеть и сохнуть листва, стручки висели полные, роскошные, и на них была вся его надежда. Бедный Георге! Все внутри горело, потому что за те несколько месяцев, пока цвел и вызревал горох, этой девчушке удалось стать единственной и незаменимой в его жизни. И он ездил в Хыртопы день за днем, и сладко ему было там, на поле их первой встречи, потому что, пока висели стручки, была еще надежда.

Если бы она прибежала хоть на минутку! Просто так завернула бы посмотреть, как там их поле. Не бог весть какая премудрость собрать тот горох. Присела бы после дороги отдохнуть тут, на меже, рассказала бы про свои школьные дела, а он тем временем и собрал бы горох. Но зато какая бы это была радость! На этом нескончаемом склоне, под этим огромным небом душа его раскрывалась в ожидании, как никогда, и он все приезжал день за днем и ждал ее, чтобы сказать ей те неповторимые слова, с которых начинается большая жизнь двух молодых сердец. Но время шло, а Русанда не приходила.

Не приходила, и с гороха посыпались листья, и торчали уже одни стручки; теперь, пригретые солнцем, они, рассыпая кругом полные, тяжелые зерна, шумно лопались. А надежда в нем все еще жила, и он ездил в Хыртопы, день за днем, потому что ни один человек в их селе с тех пор, как оно существует, не сажал горох для того, чтобы оставить его зимовать в поле. И снова Георге смотрел на желтовато-серый квадратик, смотрел и все убирал, сколько раз убирал он этот горох, — если бы все поля были засеяны горохом, он весь уже собрал бы; и сколько раз приезжал он в Хыртопы, — если бы твоей матерью была сама дева Мария, и та не стерпела бы.

Просыпались и засыпали кузнечики, таял и снова выпадал иней по ночам; холодные, короткие осенние дни проходили стороной, забыв в Хыртопах высокого черноволосого парня и квадратик гороха. И только серое, выцветшее за лето небо глубоко вздыхало, низко опустившись над ними.

Но однажды, выезжая из села, Георге вдруг увидел человека, выдергивающего в спешке горох.

Ворует!

И так погнал лошадей, что солома на телеге подпрыгивала на целую сажень. Но чем ближе подъезжал, тем реже свистел кнут, и солома на повозке совершенно успокоилась. Ему даже захотелось, чтобы этот вор убежал: велика беда — несколько кустиков гороха?

Но человек спокойно срезал кустики и складывал их один на другой, аккуратно, как любил бадя Михалаке делать всякую работу.

И будь у Георге другие лошади, они могли бы остановиться на полдороге или свернуть куда-нибудь в сторону. Георге было все равно. Но это были старые, умные лошади, и они остановились как раз возле копны кукурузы.

Долго сидел Георге на телеге и, свесившись, кончиком кнута то раскидывал, то снова собирал гигантский муравейник.

«Что ж, — сказал он себе после долгого раздумья. — Должно быть, на роду им написано гоняться за чужим, бросая под ноги то, что сами замыслили, посеяли и взрастили...»

Потом встал, навалил на телегу весь урожай. Поверх набросал с полсотни тыкв, и опустели до следующей весенней теплыни два гектара Фрэсыны Дойнару. И так нагружена была телега, что лошади прямо надрывались, когда шли в горку; из последних сил удерживали груз, когда спускались с горки, и односельчане, встретив его, впервые усомнились, выйдет ли какой толк из этого парня.

Теперь уж никто не нагрузит так свою телегу.

39

Едва начали заморозки скручивать длинные листья кукурузы, едва начали воробьи склевывать сухие вишни, оставшиеся на верхушках деревьев, едва начал заржавевший за лето плуг очищать лемехи в борозде, как Валя Рэзеш потеряла покой. Снова лаяли всю ночь собаки, отбирая чужих от своих, снова дороги забывали об отдыхе, и снова веретено затягивало свою старую песню, мешая котятам спать.

Солнце только что зашло. Вернее — те, кто повыше ростом, еще врали, будто видят его где-то там, за гори-

зонтом, а возле хаты тетушки Докицы собрались ребята, которым уже стыдно спать на печке, но и к девушкам как-то сложновато пойти.

О чем-то спорят меж собой и, когда улицы пустеют, собираются вместе и закуривают. Остается еще одно важное дело — пойти к девчатам. Но не так-то это просто: поймают, чего доброго, парни постарше, и хорошо еще, если только вздуют, а то могут и шляпу забрать. Мама ничего не скажет, а отец побьет — шляпа ведь его...

Один, побойчее, кашляет, вытирая слезы, но ему и в голову не приходит вынуть самокрутку изо рта. Запрокидывает голову, чтобы дым не попал в глаза, и говорит:

— Пошли к Иляне.

— К какой Иляне? — испуганно спрашивает другой.

— А к этой, что живет тут рядом.

— Отец у нее больно сердит — тут же выставит за дверь.

— Может, не выгонит...

У третьего, смуглого, даже чубчик есть. Поправил и спрашивает:

— А ты хоть договорился с ней? С Иляной то есть?

— Договорился, — отвечает тот, что кашляет, и видно, что он и не думал говорить с ней.

— И что она сказала?

— Сказала, мол... Сказала: «Приходите».

— Ладно. А если выйдет ее отец и устроит скандал? Ты будешь отвечать?

— Нет... Если хотите, пойдем так. Каждый за себя.

— Черта с два ты с ней говорил.

— Чтоб я лопнул, говорил...

В это время скрипит дверь, и на пороге появляется тетушка Докица.

— Да вы что, хотите поджечь село? Вот я вас...

Но так и не досказала — слушать уже было некому, на дороге остались только три дымящихся окурка.

— Чтоб вам пусто было! — сердится тетушка Докица и выходит на улицу погасить цигарки. — Видели таких сорванцов?

А сорванцы были уже на другой магале, и тот, с чубчиком, кричал, тяжело дыша, пытаясь догнать товарищей:

— Эй вы, а папиросы-то забыли погасить!

Но попробуй догони их — за ними не угнаться и

верховому. Тогда отправился и он домой, чтобы завтра рассказать, как они собрались к девчатам и что из этого получилось.

На этом и кончился первый налет на рэзешских девушек.

Георге шел к колодцу; зачем нужна была вода, не мог припомнить, но знал определенно, что наказал себе принести с вечера ведро воды.

— По воду, Георге?

Его догонял Скридон.

— По воду.

— Пошли вместе.

Последнее время он часто приходил к Георге, рассказывал всякие небылицы, помогал по хозяйству. И в тот день был уже раза три — недавно ушел и снова вернулся.

Георге наполнил ведро, и они уселись на колодезном срубе.

— Пойдем к девчатам, гульнем.

— Куда?

— Есть у меня местечко...

Скридон быстро поднялся, вышел на середину улицы и сложил ладони рупором:

Пошла Ляна за клубникой...
Ку-ку, ку-ку!

Внизу кто-то стал рассказывать, что случилось с Ляной в лесу, затем неизвестно откуда появились двое с тоненькими голосами. Через пять минут парни уже не могли уместиться на срубе, и Миша спросил Георге, нельзя ли вылить воду из ведра, чтобы перевернуть его вверх дном и сесть.

— Я тебе потом наберу.

— Выливай.

Скридон спрятался за колодец, чтобы Миша его не облил, но тот уже успел замочить ноги кому-то другому. Скридон, покровительственно похлопав по плечу пострадавшего, объявил:

— Слушай, ребята! Скридон знает, где есть хорошее вино. И денег не надо.

— Где?

— У деда Тропоцела.

— Он должен тебе что-нибудь?

— Я воровать не пойду.

— А у него есть собаки?

— Ну затарабанили! — рассердился Скридон. — Что вы мне слова не даете сказать? К старику приехала внучка из Фрэсэн. То мне сообщила одна из моих теток, она живет там, поблизости. Во Фрэсэнах, говорит, ее не смогли выдать замуж и привезли сюда.

— Если так, пошли!

— Гуляем, братцы!!

— Подождите, отнесу ведро домой.

— Зачем его относить? Возьмем с собой.

— Давай, я понесу.

Идут. Скридон — впереди, остальные — за ним, последний — Миша с ведром.

Дед Тропоцел сидел на скамеечке перед домом, с топором на коленях, ожидая, когда взойдет луна, чтобы нарубить хворосту на завтра. Когда увидел, что гостей набился полон двор, встал, хотел что-то сказать, да так и остался с раскрытым ртом. Для стольких парней надо подзанять внучек у соседей, и то вряд ли хватит.

— Здравствуйте, мош Тропоцел! — приветствовал его Скридон. — Хозяйничаете?

— Хозяйничаем, а то как же! А вы?

— Мы уже нарубили хворосту. А теперь, слышали, к вам приехала внучка? Она дома?

Дед Тропоцел колебался, пристально разглядывая каждого.

— Внучка-то дома... А тот чего ходит с ведром?

Миша встал перед ним.

— Нашел только что. Иду я по дороге...

— Что ты говоришь? — страшно удивился дед. — А ну, дай посмотрю.

Сунул голову в ведро, посмотрел на свет, не дырявое ли. Потом взвесил в руке.

— Хорошее ведро. Продай.

— Не могу, дедушка. Мне как раз требуется дома ведро.

— Разве у вас нет ведер?

— Нет.

— А в чем вы носите воду?

— В бутылке.

— Э!

— А то еще занимаем у соседей.

Но деду Тропоцелу не хотелось расставаться с ведром.

— Ну, пожалуйста, заходите в хату.

— Смотрите, не потеряйте мне ведро, — предупредил Миша.

В хате прогнувшийся потолок поддерживают два столба. На полу постелена трава, очень приятно пахнущая, возле печки — куриное крыло, которым хозяйка подметает очаг. У стола сидит старушка и заталкивает палочкой в бутылку укроп — готовит на зиму.

По комнате расхаживает высоченная девка, такая, что становится страшно: когда садится на лавку, боишься, что та не выдержит; когда облокачивается на печку, боишься, что та развалится.

Поздоровалась со всеми за руку и удивленно слушала, как каждый называет свое имя. Все уселись на лавку, и Скридон, поскольку он был здесь главным, спросил деда Тропоцела:

— Не в обиду будь сказано, как зовут вашу внучку?

— Настя... Разве она вам не сказала?

— У нас не так знакомятся, — сказала Настя, пытаясь протиснуться между печкой и лежанкой.

— А как же? — поинтересовался Скридон.

— Не так. Совсем не так.

Парни умолкли, растягивая эту паузу неловкости до неприличия, тем самым намекая деду, что без вина ему не выдать внучку замуж. На их счастье, дед Тропоцел соображал быстро, и когда сообразил, не поленился подняться с места.

— Эй, старуха, где кувшин?

Кувшин-то был за дверью, он сам его туда поставил. Его только интересовало, не возражает ли старуха против того, чтобы принести ребятам вина. Старуха была не против.

— Где-то там, за дверью.

Дед Тропоцел повозился немного в сенях и вдруг спросил:

— Эй ты, который нашел ведро! Можно принести в нем вина?

— Даст бог, не расплющится.

— Да я не потому. Чистое оно?

На всякий случай сполоснул ведро. Не хватало стаканов, а старухе очень не хотелось вынимать те, что лежали в сундуке. В конце концов все устроилось.

Скридон чокнулся с Тропоцелом:

— Ну, будем здоровы!

— И у нас так говорят, — улыбнулась Настя.

Когда стакан уже не набирался полным, как бы ни наклоняли ведро, дед Тропоцел снова спросил, где кувшин, но на этот раз ему не повезло: старуха ответила,

вытаскивая из бутылки нитку, которую по слепоте своей засунула туда вместе с укропом:

— Ищи сам. Откуда я знаю?

Сообразив, что самое время уходить, Скридон перебрался ближе к дверям, а то эти балагуры, чтобы одурачить, оставят его одного с Настей. Был в Валя Рэзешь обычай такой — когда парни уходили, девушка шла за ними дверь закрыть, и последний из парней оставался ненадолго в сенцах. Это называлось — посидеть с девушкой. Скридону как-то не хотелось торчать в темноте с этой толстой Настей. Вышел первым, но чьи-то сильные руки ухватили его за полу пиджака и потащили назад.

Скридон прошипел:

— Ты чего, сволочь, тянешь?

Рванулся, задел ногой сапу, сапа упала с грохотом. Скридон нагнулся, чтобы поднять ее, и, когда поставил ее на место, парни уже были на улице, а рядом, улыбаясь, сопела Настя.

«Подстроили, сволочи...»

— Ну и как ты поживаешь, Настя?

— Э, хорошо!

— Надолго к нам?

— На всю зиму.

Скридон в шутку положил ей руку на плечо, и бедная Настя так прильнула к нему, что Скридон сказал себе: «Э, здесь, брат, житье!»

У колодца остановились и все вместе помогали Георге наполнить ведро.

— Ну что я вам говорил? — кричал Скридон, гордясь своей проделкой. — Ведь здорово погуляли, правда?

Они договорились, где встретиться на следующий день, чтоб пойти поискать других приезжих внучек, и стали расходиться. Скоро на перекрестке остались только Георге и Скридон. Скрутили на прощание еще по щепотке махорки, задымили молча. От этого перекрестка им нужно было идти в разные стороны. Полная, ясная луна висела высоко и светила так ярко, что золотом горели соломинки на дороге. Снизу доносилось легкое постукивание топора — Тропоцел решил все же нарубить дров.

— Ну, Георге, я пошел.

— Всего.

Время близилось к полуночи. За озерами, в поредевшей листве вишневых садов, светили еще два-три окош-

ка, потом и там свет погас. Тихо, покойно, неподвижно замерла ночь над деревней, но вдруг отчаянно, громко, с разбега принялись петь петухи. Что-то тревожное, роковое, бесповоротное было в этой перекличке сельских трубачей...

«И дважды не пропоет петух, как ты трижды отречешься от меня...»

Случаю угодно было сделать эту незатейливую, выносливую, самолюбивую птицу, древнейшего спутника нашей жизни, символом предательства, и уж такова природа наша. Чуть запоет в ночи петух, и мы уж содрогаемся, потому что предательство — еще более древний спутник жизни нашей.

Тихо вошел в дом, улегся, но спал неспокойно, и к утру приснилось, что, будучи на ярмарке, в сутолоке и толчее людской потерял свои единственные, свои последние два гектара. И уж так он убивался, и по земле катался, и рвал на себе волосы, и оплакивал эту свою пропажу...

Утром, проснувшись, облегченно вздохнул: господи, надо же такому присниться! Слыханное ли дело — терять свою землю на ярмарке! Как будто два гектара земли — это шапка, сверток сигарет или кошелек... И все-таки сон тот не прошел мимо. Горечь невозвратимой утраты каким-то образом наложила свой отпечаток на его походку, на его речь, на его отношение к миру, и уж после той ночи, до конца дней, любой встречный-поперечный, едва увидев его, думал про себя: а вот этот, несомненно, прозевал лучшее, что у него было...

40

Как будто недавно наступила, и вот она уже на отлете, осень-то. Мальчонка выкатил на средину двора плужной передок и глядит на него, сидя на завалинке, — поиграть бы, да холодно; за прудами, по выгоревшим за лето пастбищам плетется кляча с низко опущенной головой, чтобы хоть как-то обмануть голод; свисающие через заборы деревья обсыпали края дорог пожелтевшей листвой, и долгие ночи напролет ветер шуршит этой опавшей листвой, будоража собачий мир деревни.

«Свершился, стало быть, и этот год», — сказал сам себе Георге и, взяв лопату, поплелся в глубь своего маленького садика. Собственно, как бы мудро ни был со-

ставлен календарь, для истинных тружеников земли год начинается с весенней теплыни, с первой прорезавшейся почки, с того самого «зеленого листа», воспетого вдоль и поперек нашими предками, и кончается это чудное время года, когда пожелтевший лист, отделясь от матери-ветки, поплывет вниз, в небытие.

Но это еще не конец, нет, потому что настанет срок, и зеленый мир опять пойдет по новому кругу. Придет новая теплынь, придет время новых почек, и потому Георге принялся копать ямы в глубине двора. Жизнь представляется ему невозможной без зеленого шелеста над головой. Что и говорить, иначе мыслил он себе закладку этого нового поколения зеленой листвы, и ямы должны были быть другие, и саженцы вот не те, ну да что поделаешь! Когда выбираем мы, а когда выбирают и нас.

Тяжелая неповоротливость земли приятно отстукивает в висках, и Георге трудится, чтобы заглушить горечь своих все еще кровоточащих обид; изводит себя работой, чтобы побыстрее все это стало прошлым, копает ямы глубоко и аккуратно, ибо лопата хороша и труд освещен глубоким смыслом, на долгие годы.

Трудно усидеть дома, еще труднее идти по селу, когда ты знаешь, что село смеется над тобой. Ухаживать за девушкой на много лет тебя моложе в деревне называлось «вырастить себе девушку». Это позволяли себе только наиболее умудренные, уравновешенные, вызревшие до конца парни. Георге знал, что, когда они с Русандой шли по селу, про него тоже говорили: воспитывает себе девушку. И вдруг эта воспитанница, когда тебя и дома-то не было, выскакивает в учительницы, оставив своего воспитателя в дураках.

Дома без конца молилась мать. Раньше еще спрашивала, что с ним такое, теперь уже и не спрашивает. Только когда он садится за стол, садится и она, отламывает кусочек хлеба и пристально глядит на сына — Георге встает из-за стола, а она все сидит с тем же кусочком хлеба в руке.

Во всем мире больше всех тревожатся матери. Но она ни о чем не спрашивала, и как бы в благодарность за это Георге иногда подметал в хате и, если приходила какая-нибудь соседка и затевала беседу, разжигал огонь, а когда у него бывало свободное время, читал ей вслух страницу-другую из старого Псалтыря.

В тот вечер Георге уже разулся и, коротая время перед сном, точил ножи, а тетушка Фрэсына вытирала полотенцем тарелку, все вытирала ее, что-то очень долго вытирала. И вдруг спросила:

— Как ты думаешь, не убрать ли это полотенце из-под зеркала?

«Выходит замуж!»

На мгновение он представил себе Русанду поющей:

Дайте срок, я выйду замуж,
Мой — не мой, но я его,
И пройду я утром ранним
Мимо дома твоего...

Он ненавидел эту песню, а она ее, как на грех, любила.

Георге огляделся, отыскивая ботинки. Сжал зубы, но между ними словно вату положили. И тетушка Фрэсына, увидев, как напряглись желваки на его лице, сказала так, лишь бы не молчать:

— Запылилось оно тут...

Стояла непроглядная темень. Только по небу мчалось, меняя форму, светлое пятно, и Георге догадался, что это ветер разорвал и гонит куда-то тучи. Сквозь листву деревьев выглядывали окна, излучая теплый свет, из какой-то хаты еле доносилось пение девушек, и за селом задыхалась машина, подымаясь в гору.

Шел быстро, считая, сколько шагов осталось еще пройти, и все спрашивал самого себя, не опоздал ли.

И проклинал себя за то, что не приехал к ней в Сороки, ведь мог же на день оставить поле и приехать; проклинал за то, что обиделся, когда она не пришла убирать горох; за то, что сам не знал, когда нужно было приходить и когда уходить.

Сразу за садом бади Васыле — расщепленная акация, и от нее видны окна Русанды. Каждый вечер он приходил к этой акации и смотрел, горит ли в окнах свет. Но сегодня свет не горел. Удивленный, он осмотрелся и понял, что еще не дошел до акации. А когда дошел, увидел над калиткой два черных окна.

«Уже легли спать? Нет, не может быть, чтобы так рано...»

Остановился у ворот, положил руку на столб, будто ворота были живые и давно ожидали его. Кто-то прошел

у него за спиной, пожелав ему доброго вечера. Георге ответил не оборачиваясь.

Может быть, она наливает керосин в лампу? Подошел к калитке, долго глядел на эти окна — нет, они еще не успели забыть, они еще помнили его. Сколько долгих вечеров они светились, его поджидая, — иногда уже как будто спали и вдруг, услышав его шаги, снова просыпались, светились широко, от души, ласково улыбаясь...

Может быть, у них кончились спички? Но он не мог обмануть себя, увидев тонкую струйку дыма, — в печи догорал огонь.

Прошло еще немного времени, а черные стекла окон все глядели холодным, равнодушным блеском куда-то мимо него. Ему стало холодно, движением плеч попытался поднять воротник.

«Спят. Значит, еще не поздно».

И окна, казалось, понимающе, согласно ему мигнули. «До утра как-нибудь перетерплю». Он уже повернулся, чтобы уйти, в последний раз скользнул взглядом по окнам каса маре. И вдруг сердце забилось, как птица, пойманная в гнезде, и горячий поток разлился по всему телу. В нижнем уголке окна просачивалась струйка света. Георге зачем-то пошарил в карманах. Потом открыл калитку, вошел во двор. Ветер пытался оторвать от земли прибитый дождем листок, ожиревший за лето кабан тяжело вздыхал в своем свинарнике. Георге прислонился к стене. С секунду ничего не было слышно, и он уже поднял руку, чтобы постучать в стекло. И тотчас ее отдернул. Мужской голос, который он слышал впервые, но который хорошо знал, произнес:

— Я говорю: «Ладно! Но у колеса от телеги есть диаметр?»

И другой голос, ясный, как небо, и дорогой, как жизнь, произнес:

— А он что сказал?

Она уже была в другом мире, а он все еще не мог смириться с мыслью, что ее нету и никогда больше не будет.

Вздрогнула, покачнулась стена, охваченная ознобом, оттолкнула от себя Георге, и калитка боролась с ветром, не хотела закрыться, ожидая, чтобы со двора ушли чужие.

И он ушел. Провожали его ветры, пытаясь сорвать шляпу, и чужие дома злорадствовали, притаившись за

садами, и месяц выплыл из-за туч и светил в полную силу, чтобы весь мир видел и запомнил, как мы возвращались, когда возвращались ни с чем.

Георге не помнил, что говорил Пынзару. Но была минута, та минута, пока Георге не услышал его голоса, страшная минута безмолвия — она говорила о том, что в комнате их было только двое, и было им хорошо вдвоем, и, стало быть, третьему незачем путаться в ногах.

— Вот снова ты один, парень...

И невольно прислушался: неужели это его голос?

Одинокий, убитый, раздавленный, машинально поднял воротник и дал дорогам увести себя, родным деревенским дорогам, исхоженным с самого детства. И они его молча повели из переулка в переулок, из улицы в улицу: он покорно шел, перепрыгивая ручейки, обходя мосты, все шел и шел. Когда деревня осталась где-то позади, он пошел по полевым дорогам и боялся только, чтобы они не кончились.

Вдруг ноги, будто вернувшиеся домой лошади, остановились как вкопанные, и было ясно, что никакими усилиями и просьбами их не стронуть с места. Георге оглянулся — ночь дышала холодным ветром, под ногами хрустели сухие кукурузные листья, и тихо рассыпались смерзшиеся комья земли. А вместе с тем чувствовал он какой-то родной запах, чем-то напоминающий тот запах материнских рук, который он помнил с детства... Он стал вдыхать его глубоко-глубоко, потом уселся на какую-то межу, сказал себе:

— Это хорошо...

А на рассвете он увидел, что сидит в тех же Хыртопах. Здесь сходились все дороги в его жизни, и в эту ночь они сами привели его сюда, а знакомый родной запах был запахом этих двух хыртопских гектаров. Теперь они, подмерзшие кое-где, сошлись, прижавшись друг к дружке, и грезилась им предстоящая зима, и думали они о том, что нужно сохранить в лютые морозы оставленные осенью зерна.

Настанет срок, придут люди и вспашут это поле, посеют пшеницу, кукурузу, горох или подсолнечник, и как бы у них жизнь ни складывалась, святой долг земли плести из года в год листву, довести посев до своего осмысления, до спелых плодов и, пережив холодную зиму, весной опять начать все сначала...

Георге долго оглядывал комок за комком, пядь за пядью, как будто знал, что образ этой осенней, чуть прихваченной морозом земли он пронесет через всю жизнь, и в тяжелые дни, когда ему не хватит уже собственных сил, она поможет ему, вдруг зашелестев зеленой листвой в его душе.

То ли молитвы матери помогли, то ли он по природе был везучим, но через несколько дней его вызвали в военкомат и вручили повестку, в которой перечислялось все, что нужно было иметь с собой, — ложку, кружку, котелок. Причем особый упор делался на сроках — к завтрашнему поезду, и ни одной секунды больше...

Когда возвращался, на склонах холмов что-то жгли, скорее всего опавшую листву, и огромная грива дыма при полном безветрии растянулась на много верст, с юга на север... По дыму Георге почему-то почудилось, что горят кукурузные листья, а может, гороховая труха горит после обмолота, и если так, то странно было, почему же он сам в таком случае не превращается в дым, чтобы полететь вместе с этой гигантской гривой и расползтись окрест.

Солнце клонилось к закату, впереди оставалась одна ночь, а у него еще ничего не было готово. Шел домой стороной, окраиной, лишь бы не проходить мимо тех черных окон. Они навсегда остались для него мертвыми, черными, и он не мог бы видеть, как они улыбаются каждому прохожему, не мог бы слышать голоса в том доме, где он уже услышал ту страшную минуту тишины.

Когда он вошел, тетушка Фрэсына, сгорбившись, сидела у плиты и выгребала золу в ведро. Разговаривала о чем-то с кошкой. И Георге впервые подумал, что, когда он уходит из дому, этой старой женщине, которая вырастила его, даже не с кем перемолвиться словом. Потом он припомнил, что она, пока донесет ведро воды от колодца, должна несколько раз отдохнуть, что каждый раз перед сном она читает не меньше двух молитв и ночью не раз встает, чтобы посмотреть, не сползло ли с него одеяло. И внезапно он представил себе своего отца таким, какой он был на фотографии, с глазами,

которые все видели, все понимали, и сейчас почувствовал в его взгляде укор.

Ну как он может сказать ей, когда она так спокойна?

— Мама, нужно бы занять немного хлеба у соседей.

Она удивленно посмотрела на него, потом подняла руки, серые от золы, и, качая головой, простонала:

— О боже, боже!

Вытирая о плечо мокрые щеки, она глядела на сына, но слезы застилали ей глаза, и напрасно она вытирала их вновь и вновь. Она медленно поднялась, шагнула к нему, но силы изменили ей, и она прислонилась к печке.

Потом она вышла в каса маре, и на этот раз вся ее молитва состояла из трех бесконечно повторяемых слов:

— Господи, господи, господи...

А к вечеру она повязала платок и стала готовить сына в дорогу. И все время, сколько ходила по двору, повторяла с горечью:

— Покидает нас Георге. Что же мы будем делать одни?

Говорила это и деревьям, и Ваське, и полю, и небу — оставляет их Георге, уезжает, и так ей было тяжело, что ноги подкашивались, и руки искали опоры.

Всю ночь, до самого рассвета, горел свет в окнах тетушки Фрэсыны. Утром зашли соседи, пришел дядя Петря, чтобы подвезти до вокзала. И когда бадя Васыле понес к телеге сумку, Георге снял шапку и наклонился поцеловать материнскую руку. Тетушка Фрэсына прижалась к его груди, так прижалась, что если бы сам господь сошел на землю, и то не смог бы оторвать от единственного, от родного...

Тронулись в путь. Дороги пусты, кругом ни души, и только оголенные сады да глиняные домики уныло смотрели, как посредине улицы, воздев к небу руки, глухо стонет убитая горем женщина.

Дядя Петря хотел дождаться поезда, но забыл взять корму лошадям, и Георге посоветовал вернуться. Когда глухой стук колес замер за переездом, Георге поднял глаза и увидел у переезда Ваську. Жеребенок стоял, вытянув шею, и искал своего хозяина среди собравшихся на станции призывников. Георге хотел позвать, но побоялся, что Васька не найдет дороги домой. Взял свою тяжелую сумку и, чувствуя себя усталым, одино-

ким, примостился возле какой-то скамеечки. Причитала женщина в шали, низенький человек в серой шапке утешал кого-то.

— Уж это так... И я ведь отбыл военную службу!

Где-то близко засвистел паровоз.

— Идет!

Парни, прощаясь, сняли шапки, и низенький человек, который тоже отбыл военную службу, отвернулся и сдвинул шапку на самые глаза.

— Георге!

Рядом стояла Домника, бледная, с широко открытыми глазами, а Скридон уже снимал пиджак — если что, он жизнь отдаст за Георге! Едва переводили дух. Прибежали оба бог знает откуда, чтоб проводить.

Тяжело дыша, подходил поезд, гремя железными суставами. Георге видел, как быстро шевелятся побелевшие губы Домники, но не слышал, что она говорит. И только когда стали грузиться в вагоны, расслышал:

— Ты не попрощался с Русандой?!

— Я — нет, но судьбы наши давно распрощались...

Стоял высокий, странный, остриженный наголо, но такой же близкий и родной, каким его увидела Домника впервые, когда он вместе с Тоадером вошел в их дом. Поезд стоял только три минуты. И когда задвигались колеса, Домника, ужаснувшись, спросила:

— Уже?!

Потом кинулась к Георге, обняла его за шею, казалось, вся исчезла в его объятиях. И только теперь, прижимая к груди чужую любовь, почувствовал Георге, каким одиноким он остался на свете.

В вагоне припал к окну и искал вдали два холма, меж которыми светились в низине побеленные домики. Медленно уплывали назад родные места, где дожди его обливали, где ветры сушили и где осталось самое сокровенное, что было в его жизни.

1955, 1982

Последний месяц осени

1

Маленькая старушка, умотанная годами и судьбой, стоит неподвижно, как изваяние, посреди отжившего и печального крестьянского дворика. Жаркое полуденное время. Ветер утих, серая земля дышит зноем, солнце замерло высоко в зените. Жара накатывает раз за разом, и кажется, что длинная, в глубоких складках юбка старушки вот-вот займется пламенем. Но нет, теперь даже солнце не может согреть, и старушка, глубоко вздохнув, точно проснувшись после короткого сна, идет к старому, покосившемуся забору и начинает собирать мелкий хворост. Когда уже и солнцу не под силу прогреть старые косточки, тогда вся надежда на хворост да на печь.

Собрав небольшую охапку, старушка входит в дом, садится на маленькую скамеечку. Похлопотав у печи, зажигает спичку и, заслонив огонек свободной рукой, несет его к разложенному хворосту с таким трепетом, точно это последняя оставшаяся на земле спичка. Где-то совсем рядом щелкнуло два раза, точно пастух выстрелил плеткой. Выпростав из-под платка правое ухо, старушка повернулась правой стороной к входной двери и опять замерла.

На пороге стоял наглый петух с только что окровавленным в честной драке гребешком. Чуть подавшись вперед, красиво и громко, по-библейски трижды прокукарекал. Старушка, засветившись предчувствием возможной радости, быстро встала, вынесла ему пригоршню кукурузных зерен и, прислонившись к косяку двери, смотрела, как десять умных курочек объедают глупого петуха.

Настала осень, а осень в Молдавии — это время гостей. И к бесчисленным заботам, которые одолевают молдаванок, добавляется еще одна — как бы не проморгать гостей, успеть хотя бы самую малость приготовиться. Единственный их помощник и советчик в этом деле — петух, и если он белым днем прокукарекал на пороге, тогда нужно спешить.



Огонь в печи расходится. Хворост весело потрескивает, охваченный шальной игрой, и старушка мягко улыбается, слушая его лепет. Огонь в печи — ее старый друг. Он помог ей прокормить, согреть и вырастить полную хату детворы, и хотя дети выросли, разлетелись по всему свету, каждый раз, когда в печи занимается огонь, старушке кажется, что ее кровинки, голодные и озябшие, спешат к родному очагу.

Тонким серебристым узором сеется дым над старой черепичной крышей. Растоплена печь и у соседей слева, и в домике справа топят. Медленно, с опаской, как бы не доверяя безветренной погоде, задымились крыши всей деревни, и дальше за ней, во всех разбросанных вдоль огромной долины селах, поднимаются то черные, то серые столбы дыма и, мягко ввинчиваясь в вечернюю синеву, тают где-то высоко над степью. Пахнет свежим хлебом. Настала осень, а осенняя пора в Молдавии — это время долгожданных встреч.

И они едут. Видавший виды, юркий пригородный состав дважды в сутки одним своим появлением поднимает неслыханный переполох. Длинные, властные гудки будоражат все окрест. Взволнованные предчувствиями, выходят крестьянки к порогам, к калиткам, к перекресткам и, приставив ладошку козырьком, выцветшими от солнца глазами высматривают своих гостей.

А он несется, окаянный, с грохотом, меж холмами, норовя проскочить мимо тебя и мимо всех твоих надежд. Вот засветились меж холмами давно не крашенная крыша вокзала и четыре высоких тополя, обнявшихся над ней. С минуту и крыша и тополя качаются, как бы раздумывая, затем снимаются с места, плывут навстречу поезду, и сердце стучит, ноет, просит ненароком не проехать мимо.

Сколько бы я ни возвращался, как только покажется наш вокзал, начинаю гадать: остановится поезд — не остановится?.. Знаю, что остановится, но все-таки волнуюсь, и страх этот живет во мне еще с войны, с тех пор, когда мы возвращались случайными товарняками.

Машинист, видать, затормозил слишком поздно, и состав остановился далеко от вокзала, в поле. Приехавшие спрыгивают прямо на железнодорожную насыпь, летят кубарем, рассыпая свои нехитрые покупки. Пока они их подбирают, с перрона стартуют отъезжающие и, пролетев стометровку, с ходу прыгают на ступеньки вагонов, хватаются за поручни. В ту же секунду поезд трогается,

только двигается он не вперед, а катит обратно. Проехав около ста метров, состав снова останавливается, на этот раз прямо у перрона, как это и полагается на железных дорогах. Но теперь никто не сходит, никто не садится. И посадка и высадка кончились...

Трудно сказать, чем это она провинилась, но уже лет пятнадцать о нашей станции как будто забывают, и только проехав ее, машинист как будто спохватывается: ах, да тут, оказывается, еще одна! И, проехав уже, возвращается обратно, и как-то так получается, что поезда останавливаются на нашей станции дважды. Крестьяне из окрестностей упражняются в беге на короткие дистанции, в прыжках, но на судьбу свою не жалуются. Мыслимое ли дело упомнить такую уйму станций — надо же какую-нибудь и подзабыть...

Через несколько минут поезд отправляется. Выпрыгнувшие пассажиры долго и приветливо машут ему вслед, благодарные за то, что их неожиданно посмешили, после чего, обогнув по узкой тропинке здание вокзала, выходят на небольшой перекресток, нечто вроде площади. В дорожной жижице лежат разбросанные тут и там камни. Ловко прыгая по ним, приехавшие попадают в огромную, удивительно просторную для такого маленького местечка чайную. В большом зале пустуют выстроенные в три ряда столики. В конце несколько кабин, тоже пустующих, а приехавший люд празднует свое возвращение, не отходя от буфетной стойки.

Когда-то здесь был райцентр. Теперь его ликвидировали. От былых славных времен осталась одна чайная, но ходят слухи, что и ее со временем закроют. Крестьянам из соседних колхозов представляется, что такого унижения им не пережить, и откуда бы ни возвращались, они сразу бегут к чайной — узнать, как дела. Слава богу, пока все хорошо.

Опять тот же никогда не высыхающий перекресток; сразу за ним начинается узкая, наспех вымощенная дорога. Высокий детина торгует килькой, поставив бочку прямо на улице. Пять разномастных котов сидят, напружинившись, под заборами и обиженными глазами следят за продавцом. Старый репродуктор, висящий на одной петле под стрехой ветхой избушки, передает урок гимнастики. Пятилетний мальчуган, нахлобучив на себя милицейскую фуражку отца и вооружившись его свистком, поднимает ничем не обоснованную тревогу, а тем временем сам смотритель порядка торопливо копает картошку.

На окраине, сразу за последними домиками, стоит у обочины видавший виды грузовик. В кабине дремлет молоденький шофер с шевелюрой сельского красавца и со следами усталости на молодом, еще не бритом лице. Идущие с вокзала крестьяне залезают в кузов, не спрашиваясь, — небось куда ни поедет, все ближе к дому. Измученный бессонной ночью шофер, переборов дремоту и проследив некоторое время за тем, как они садятся, вдруг заводит машину и уезжает, оставив половину людей на дороге в великом недоумении. С чего это он так устал, почему ни о чем не расспрашивал севших в кузов людей, куда это он вдруг ни с того ни с сего завел машину и уехал?! Увы, человек есть тайна повсюду, на всех широтах, тайной он остается и у нас.

Осень уже на исходе, на дорогах сыро, редко где побежит за машиной тучка пыли. А ей, мятежной, хочется пыли, и она гонит, гонит вовсю. Ломанная и ремонтированная бесконечное число раз, эта машина тем не менее сохранила способность по-мальчишески упиваться своей скоростью, и все ей нипочем. Нестись так нестись!

Из-за покатого холма выглядывает окраина деревни, вернее, в голубой дымке появляются дрожащие крыши двух крайних домиков. Ведет в деревню исхоженная за долгие годы, по-деревенски верткая тропинка. Пока она изгибается по склону холма, голубая дымка рассеивается и крыши уже не дрожат. Теперь оба домика уже видны целиком, каждый со своим обликом, со своим достатком. Заходящее солнце вспыхивает огромным пожаром то в одной, то в другой паре окон, и создается впечатление, что домики, дурачась, играют с огнем.

Много лет тому назад, когда я покидал этот край, меня не провожали. Единственные, кто пошел за мной до самого вокзала, были эти два домика с окраины. Я много думал о них, теперь мы с ними большие друзья, хотя, к стыду своему, я до сих пор не знаю, кто в тех домиках живет. Может, какие-нибудь недруги по школьной скамье, может, какие-нибудь родственники, а может, совершенно незнакомые мне люди, приехавшие в нашу деревню после моего отъезда.

Деревня начинается сразу с гребня холма и, мягко скатываясь, уходит далеко на юг. По-осеннему остывший солнечный диск дрожит на закате, узкими переулками возвращаются с поля усталые колхозники. У одного пере-

крестка дерутся подростки из-за проколотого, валяющегося рядом футбольного мяча. Две благообразные старушки идут крошечными шажками вдоль деревни, весело переговариваясь. Увидев старую, наполовину разрушенную церквушку, они останавливаются, крестятся и молча идут дальше. Молодая девушка достает воду из колодца, смуглый парень подходит к ней, а девушка, не оборачиваясь, все выбирает ведро, и крупные слезинки, скатываясь по ее щекам, летят в сумеречную глубь колодца. У нас, оказывается, по-прежнему глубоко, на всю жизнь, влюбляются.

Далеко внизу, в конце узенького переулка, стоит, прислонившись к калитке, старушка. Теперь над старой черепичной крышей не вьется дымок. Не топят ни соседи справа, ни те, что слева, и только высоко над деревней неподвижно, как вечная тайна, висит серой пеленой вечерний дым. Старушка ждет обещанных гостей и, чтобы не терять времени зря, вяжет кому-то рукавицы. Вместе с ней вышли к калитке встречать гостей старая дворняжка, петух и сонная кошка. Стоят все у ее ног и не то дремлют, не то ждут.

Эта наша старая и добрая мать. Мы не знаем, сколько ей лет, да и сама она этого толком не знает, потому что, как она говорит, ее годы — это ее дети. Если спросить, кого она ждет, старушка растеряется. Она уже до того заждалась нас всех, что и сама не знает, в какую минуту и кого именно ждет. Но если ее спросить, откуда она знает, что мы приедем, она расскажет свои сны, достанет колоду потрепанных карт и даже покажет то место, где стоял петух, когда он возвещал это великое для нашей семьи событие.

А день уходит, деревня начинает расплываться в сумерках. По узенькому переулку, на котором стоит наш домик, возвращаются с поля пастухи, следом за ними плетутся овцы. Идут женщины с уборки сахарной свеклы. Изредка проедет то машина, то телега. Старушка уже не вяжет — не видно петель. Стоит и ждет. По ее расчетам, гости должны вот-вот нагрянуть, и действительно: собака, виляя хвостом, побежала по переулку кому-то навстречу, за ней пошла и кошка. Засветилось улыбкой морщинистое лицо нашей старушки. В глубине переулка замелькала знакомая ей с девичьих лет остроконечная шапка. Правда, приближалась эта шапка не как обычно, а

что-то уж очень весело, по двум тропинкам сразу, как говорят молдаване.

Как только наступает осень, наш старик начинает возвращаться по вечерам выпивши. Не такой уж охотник до вина, но осенью вина полно, любителей выпить много, все ищут собутыльников, а отец, человек мягкий по натуре, дает себя уговорить кому только не лень. Теперь для матери самое главное — уложить его в постель. В своей бесконечной наивности она думает, что, кроме нее, никто не видел отца выпившим, и спешит спасти еще раз его репутацию. Но теперь это не так просто. К заборам уже прилипли любопытные соседки, потому что водворение в дом подвыпившего мужика — увлекательнейшее зрелище в молдавских селах.

Взволнованная, слабая, она норовит взять отца под руку, а тот не хочет, выпендривается. То подмигивает соседкам, то, уронив шапку, не хочет ее надевать, а то даже пристукивает каблуками, припоминая какой-то танец.

— Погоди, погоди, дай покажу людям танец. Только один я помню его — никто больше не покажет.

Но вот и железная кровать. Отец садится, глядит на плавающий перед ним в густом тумане стол и отрицательно мотает головой. Ужинать он не собирается. Стол на него не обижается, но расставленные на столе блюда начинают передвигаться, всячески заманивая старика. Отец держит себя стойко, на все ухищрения стола отрицательно качает головой. В конечном счете тарелка со сливами, вывалившись из тумана, падает на пол и разбивается вдребезги. Подняв черепок, изучив его внимательно, старик говорит укоризненно:

— А еще с цветочками была!

Вкрадчивый скрип пружин наводит на него сонливость. Рядом на кровати заманчиво белеет огромная подушка, старик разминает ее, она до невозможности хороша, да ведь нельзя лечь не разувшись — баба взвоет. А с другой стороны, и ботинки никак не снять: только он наклонится — начинает крутиться каруселью весь наш старенький домик. Испытав все известные ему способы избавления от собственной обуви, отец сердито кричит:

— Эй вы, черти! Ну кто быстрее разует? Тому конфета будет.

Это он нас зовет. Как только выпьет, забывает, что мы давно выросли и разлетелись по белу свету. Виною

тому, может быть, завернутая в бумажку конфета, которую он годами таскает в карманах. Мы не идем, и диву дается старик: с чего это его детям расхотелось сладкого? Кто это их так разбаловал?

Некоторое время спустя старые, привыкшие ко всякой работе руки начинают снимать ботинки. Самодовольный отец дразняще медленно ищет по карманам конфету. Потом различает сквозь туман ссутулившуюся у его ног старушку, и ему становится неловко. Вырвав из ее рук ботинки, он решительно склоняется над ними и валится на пол. Потом, очутившись снова на кровати, спрашивает:

— А куда дети подевались?

Мама сообщает шепотом, чтобы не вспугнуть счастье:

— Приедут. Запомни мои слова. Вот-вот нагрянут.

Отец долго смотрит то на ее недовязанную варежку, то на свои ботинки и наконец принимает решение:

— Ну тогда я их подожду.

Поздней ночью, когда засыпают и поля, и деревни, и вся степь кругом, бледный свет керосиновой лампы все еще теплится в нашем окне. Отец по-прежнему сидит на своей кровати, сонная мать стоит рядом, и вид у нее как никогда печальный — увы, судьба опять над нею подшутила, а она нас так ждала... Отец, ощупав левое предплечье, жалуется:

— Вот тут, у самых связок, ломит. Неужто я падал?

Мама ощупывает то, что отец называет связками, и вдруг улыбается.

— А что, если послать им телеграммы, что у тебя воспаление?...

Каждой осенью мы получаем из дому вести, полные самых трагических предчувствий. Не обошлось без телеграфа и на этот раз. Чуть свет мама будит уснувшую у аппарата телеграфистку. Долго возится с бланками, потому что сочинять телеграммы — это сущее мучение для нашей старушки. Она каждого из нас любит по-своему, каждому хочется написать что-то особенное, еще не высказанное, а на это у нее не хватает ни умения, ни денег.

Заполнив наконец все бланки и передав их телеграфистке, она остается еще некоторое время, чтобы убедиться в том, что телеграфистка не забыла их отправить. А отец в это время мечется в жару на железной кровати и просит хотя бы капельку воды. Измученный жаждой, с тру-

дом приподнявшись на один локоть, он стучит прохожим в окошко. Дробно отзванивают стекла, а кругом ни души. Но нет, услышала соседка, чистившая картошку у крыльца. Побежать сразу она не может и кричит что-то другой соседке, а та тоже занята, передает третьей.

Отец таки заболел. Человек он такой честности, что даже пошутить не может, и, если припугнет нас телеграммами, тут же сляжет, — видимо, для того, чтобы не стыдно было в глаза смотреть нам при встрече. А если уж сляжет, температуры ниже сорока не признает.

Первая ночь болезни — самая трудная. Отец бредит в жару, и чудится ему, что дом у нас полон соседок. У каждой по два ведра свежей воды, каждая просит отведать у нее водичку. Отец выпивает ее целыми ведрами, рассказывая в то же время, что, собственно, произошло у нас в доме.

— Сглупил я на старости лет, вот ведь какое дело! Наживи я добра, дети часто стали бы спрашивать о моем здоровье. Не успел бы я чихнуть, а они тут как тут. Что поделаешь, не нажил добра, и вот ведь какое дело...

На второй день у наших ворот стоит машина «Скорой помощи». Молоденький врач считает у старика пульс и в то же время ухаживает за смазливой фельдшерицей, готовящей уколы. В сенях и комнатах полно соседок. Маме, бегающей по разным делам то на улицу, то снова в дом, становится все труднее и труднее пробиваться сквозь толпу.

К вечеру небо заплывает тучами, всю ночь сверкают молнии, но ни грома, ни дождя. Только к полудню начинает моросить мелкий осенний дождь. По единственной ведущей с запада в нашу деревню тропинке поднимается грузная сорокалетняя женщина, чем-то похожая на отца. Несет две большие тяжелые кошелки. Едва увидев крыши двух окраинных домиков, она опускает кошелки и, заломив руки точь-в-точь как наша мама, причитает голосом, похожим на мамин. Из всей нашей оравы раньше всех поспела Маринка. Она кончила всего два класса и слепо верит всему, что написано на бумаге.

Под вечер отец забывается ненадолго тяжелым, тревожным сном, а проснувшись, видит у изголовья Маринку. Собственно, самое Маринку ему не удается разглядеть, для этого нужно повернуться, а на это у него не хватает сил, и он лежит, разглядывая ее руки. Маринка, истолко-

вав по-своему этот взгляд, тут же выпоражнивает кошелки. Ставит рядом с подушкой отца несколько банок с вареньем, сушеные фрукты, соленый арбуз, всевозможные пряники. Не выдержав этого зрелища, отец, набравшись сил, поворачивается на другой бок, лицом к стенке, и подбородок нашей Маринки начинает горько, обиженно дрожать.

Отец ее недолюбливает. Лет двадцать тому назад он выдал ее замуж в соседнюю деревню, и ему не нравится, что она там не прижилась. До сих пор Маринка не может забыть свою родную деревню. Наведывается сюда часто — то за фруктами, то за лаской, то за местными сплетнями, — и этого ей отец не может простить. По его понятиям, куда бы судьба ни забросила наш род, он должен там прижиться. Нечего все бегать к мамке. Сама уже небось мамой стала...

Маринка остается у нас на несколько дней. Днем она помогает матери по хозяйству, а по ночам они дежурят у постели больного, сидя вдвоем на маленькой скамеечке. К полуночи у отца, как правило, поднимается температура, и он начинает бредить. Чудится ему красивый, солнечный день, народ, столпившийся в нашем дворе, а они с матерью встречают нас у ворот. Мы возвращаемся на машинах, летим на быстрых конях, прилетаем самолетами, а бедные наши старики едва успевают обнимать и целовать нас.

На завалинке сидят лучшие, каких только можно себе представить, музыканты. Отец, бровью заказав мелодию, берет нас за руки, ведет кру́гом перед всей деревней, показывая танец, который только он один и помнит. Он совершенно счастлив, но, нечаянно наступив кому-то на ноги, просыпается, видит у изголовья двух женщин и просит воды.

Утром, когда Маринка набирает воду у колодца, а мама рубит хворост, наглый петух снова взбирается на порог. Похлопав крыльями, он трижды, как в добрые старые времена, кукарекает. Несколько удивившись, что вместо пшеницы на него накричали, он, будучи неробкого десятка, переждав эту атаку, снова хлопает крыльями, предвещая нашему дому огромное число долгожданных гостей.

Впервые за эти четыре дня болезни отец, приподнявшись, садится на кровати. Похудел, осунулся, и, бледный, небритый, он чем-то похож на нарисованных в нашей церкви святых. Долго разглядывает свои бледные, обес-

сильные руки и, низко опустив голову, шепчет неожиданно сердито и зло:

— Что ж, если так, я сам навещу их. Если осенью дети не едут к родителям в гости, тогда родители сами едут к ним. Закон.

После обеда, съев принесенный Маринкой арбуз, отец принимается закапывать лозу на приусадебном винограднике. Скоро наступит зима, с этим надо спешить, а он единственный работник в доме. Бессильна и бестолкова как никогда лопата, которой он копает, да только отец человек терпеливый, он обучает ее заново всему, что нужно в хозяйстве.

К вечеру Маринка спускается по тропинке, возвращаясь в свою деревню. Идет улыбаясь, что-то бормочет про себя, — должно быть, сочиняет ту полную драматизма историю, которую принесет в свою деревню. И скажет она своим соседкам, что еле застала отца в живых. Спасла его маленьким соленым арбузом. Соседки охотно поверят, и, кто знает, может, так оно и было.

Еще через день наша мать хлопочет, счастливая, у печи — готовит нам гостинцы. Дымятся свеженькие, горячие, испеченные по унаследованному от бабушки рецепту пряники, и тут же, не дав им остыть, мать упаковывает их в большую плетеную корзину, перемешивая то с грушами, то с яблоками, то с орехами. Ее старческие глаза блестят от возбуждения, и кажется ей, что все мы тут, рядом, исходим слюнками, ждем не дождемся гостинцев. А отец тем временем, сидя на завалинке, гладит себя по макушке. Увы, когда молдаванин сам себя ласкает, значит, у него ни копейки в кармане, и у отца их в самом деле нет. Еще осень, колхоз не рассчитывается за трудодни, подзанять не у кого, и тогда волей-неволей отец решается.

Вечером он в правлении колхоза. Сидит в бухгалтерии в уголочке, так, чтобы никому не мешать, и ждет, когда кассир откроет кассу. После нескольких неудачных попыток он наконец заприметил кучку скомканных рублей на верхней полочке и тут же бежит в кабинет председателя. Достает заранее написанное заявление, некоторое время они торгуются — куда, зачем, на какое время, затем отец, получив скомканные рубли, идет в сельмаг, у знакомой продавщицы обменивает их на чистенькие, почти новенькие бумажки, потому что замусоленные деньги раздра-

жают его, ему кажется, что они идут по пониженному курсу.

И вот наконец старик готов в дорогу. Стоит у калитки в новом дешевеньком костюме, с большой тяжелой кошелкой. Мама тут же, рядом, дожидается чего-то положенного ей по закону семейной жизни, но отец нерешителен, косит глазом то вправо, то влево. Переулок пуст, и в соседних дворах ни души, а он все никак не решится. При всех отъездах самое трудное для отца — это попрощаться с матерью.

Собравшись наконец с духом, он гладит ее руки. Совершенно растерявшись, надвигает шапку на глаза и капляет сердито.

— Смотри не балуй того чертова петуха.

По деревне отец идет важной, степенной походкой. Каждый встречный хочет узнать, куда это он собрался; отец охотно всем объясняет, и видно, что ему доставляет огромное наслаждение рассказать своим односельчанам, куда это он идет.

Выходит он из деревни большой восточной дорогой. Поднявшись на крутой холмик, садится передохнуть под одиноким, разбитым молнией орехом; с одной стороны он светится зеленью, с другой стоит обугленный вот уже много лет. Отсюда как на ладони видна вся наша деревня, только кажется она маленькой, и отец этим забавляется. То соберет в кучу все домики, колодцы, заборы, то заново вернет их на свои места. Куда бы отец ни уезжал, он уходит восточной дорогой и под этим орехом сидит минут пять. То ли выясняет для себя, откуда он отправляется в путь-дорогу, то ли наказывает своим ногам, куда они должны его вернуть, когда настанет срок. Потом, вздохнув, встает, идет крепким шагом неутомимого пешехода и постепенно сливается с серой осенней пахотой.

2

По голым полям бродит облезлая, бывавшая в переделках бездомная собака. Почуяв вдали человека, она находит на склонах следы его ботинок, долго тащится по убранному свекловичному полю с низко опущенной головой. Отец даже не замечает, когда она увязывается за ним, — вдруг видит, бежит по его следу дворняжка, покорно, низко опустив голову, точно выросла у нас во дворе, невероятно привязана к старику и теперь сопровождает его в дороге.

Остановившись, отец разглядывает ее долгим сочувственным взглядом. Собака тоже смотрит на него. Отцу становится жалко собаку — поздняя осень, кругом одна пашня, голодно и неуютно. Поставив кошелку, он склоняется над ней, а собака, подкравшись ближе, умильно виляет хвостом. Правая рука старика вдруг сворачивает мимо кошелки, идет правее, ищет на земле твердый комок, и, сообразив, чем дело пахнет, дворняжка отскакивает, несется пулей, а отец, выпрямившись, берет кошелку и идет своей дорогой. Отсутствие достоинства — это то, чего он никогда никому не прощает.

Перемахнув крутой подъем, дорога спускается в огромную долину, и эта долина, мягко разветвляясь меж холмами, тянется далеко на юг. Кругом выщипанное скотиной до самых корешков пастбище. Старый, наполовину прогнивший мостик, мутная речушка со звучным именем Кайнары, разбросанные тут и там на ее берегах кустики желтой ракиты. У старого моста отец сходит с дороги, идет вниз, по речке, и следы его новых ботинок с удивительной покорностью повторяют мельчайшие изгибы реки. Кайнары — это друг его детства, и старику доставляет большую радость эта встреча.

Долиной идти хорошо, тут полное затишье, но вдруг из-за очередного поворота показывается старый колодец. Отец, удивленно смахнув шапку на затылок, останавливается. На сером, почерневшем от времени журавле колодца сидит неподвижно, словно нарисованный, черный ворон. Старик, недолюбливая этих птиц главным образом за их черный, зловещий цвет, ищет чего-нибудь, чтобы запустить в его сторону. Спешит к колодцу, на ходу подбирая и швыряя в ворона все, что только попадется под руку.

После удачно брошенного камушка ворон снимается с жерди, мягко скользит на коротких, ощипанных крыльях и тонет в соседней пахоте.

Отец принимается исследовать колодец. И грустнеет старик, потому что колодец в жалком состоянии. В сумрачной глубине чернеет крошечный пятачок живительной влаги, но этот родник испоганен брошенными кем-то палками, нанесенным ветром и непогодой мусором. Стояк, на котором качается журавель, прогнил совершенно, остальное поросло мхом, и так горько, так обидно старику. Обнаружив похожий на скамеечку, наполовину всосавшийся в землю камень, он садится, кряхтя по-стариковски, и вместе с этим «о-хо-хо-хо» будто замирает

все вокруг. И солнце повисло, зажатое тучами, и голые кусты ракит не шелохнутся, и даже воды Кайнары замерли в русле.

Привал. Отец отдыхает. Когда он отправляется навещать нас, то всегда идет этой долиной, и здесь, у колодца, нагоняет его первая усталость. Теперь, присев, он, может быть, отдыхает, а может, вспоминает, как много лет назад ехал он жарким летом на высокой, груженной пшеничными снопами телеге. Пить хотелось — ужас. Там, под пригорком, был в ту пору родник, и стояла там, склонившись над водой, молоденькая девушка с глиняным кувшином. Отец попросил напиться, и с того влажного кувшина началась жизнь всех нас шестерых.

Родник под тем пригорком засыпан, даже сам пригорок чуть уполз куда-то в сторону, так что теперь и не отличишь, где тот родник был. По выгоревшей, выеденной скотиной траве медленно текут, переливаясь серебристой чистотой, крошечные ручейки. Добравшись до Кайнары, влившись в ее мутные воды, они уходят далеко на юг, а отец по-прежнему стоит у колодца, низко, горько опустив голову.

Перекур. Старик отдыхает. А может, вспоминает, как много лет спустя в память об их первой встрече выкопал он этот колодец. Долгую осень мок здесь под дождями, перерыл все кругом, но добрался до родника такой чистоты и свежести, что люди из окрестных сел назвали колодец его именем. И долго, целый век, люди утоляли здесь жажду и поминали добром его имя.

Не верится старику, что теперь вырытый им колодец только и годится, что для черного ворона. Приподнявшись с камня, он заново начинает его исследовать, и на этот раз кажется ему, что все не так уж плохо. Внутренняя обшивка колодца еще крепка. Бросив камушек, он прикидывает глубину воды, и ему кажется, что видит там, под водой, как клокочут родники, поднимая крошечные тучки песочной пыли.

Вода есть, но, увы, для питья уже не пригодна...

Отец отдыхает. А может, вспоминает, что из этой долины начинались его три гектара, та полоса земли, с которой он подбирал каждый колосок, чтобы выкормить свою семью. Знал бы он тогда, что мы разлетимся по свету и не сможем приехать, когда он на старости лет ля-

жет, знал бы он это тогда — и еще больше любил бы нас в детстве, и в этом его суть, и в этом его горе.

А осенью дни коротки: не успело солнце показаться на закате — и вот уже нет его, уже бегут по полям вечерние сумерки, и нужно спешить. На старом журавле опять сидит, как неживой, черный ворон, и отец, выбравшись из долины, плетется по свежей пахоте. Идет грустный, низко опустив голову, потом однообразный, скучный рисунок пахоты чем-то заинтересовывает его. Он долго приглядывается к крутым отвалам борозд, останавливается, роет руками свежую, влажную землю, и опять весело светятся его карие когда-то глаза. Глубоко вспаханное поле всегда возвращает ему хорошее настроение. Ничего, при такой пахоте еще все может устроиться.

Посреди этого моря сплошной пахоты белеет раскинувшаяся на ровном месте деревушка. Остановившись у крайней усадьбы, повесив на чей-то забор кошелку, отец начинает приводить себя в порядок. Счищает с рук прилипшие крошки чернозема, расчесывает, пропуская сквозь пальцы, свои влажные седые волосы и вообще придает себе вид, соответствующий высокому положению гостя.

Сама деревушка на редкость ладная и уютная. Хоть и не очень богата, все в ней сделано удивительно ловко, крепко, на долгие годы. Отец идет медленным шагом, постоянно оглядываясь, — ему очень нравится эта деревушка, и, не будь нашей старой деревни, он, пожалуй, перебрался бы сюда.

Здесь, во Фрумушике, живет старший из нас, Андрей. Когда заходит о нем речь, отец начинает забывать, что и Андрей рос когда-то в его доме. То, что было, было давно. Теперь Андрей поседел, у него у самого женихи и невесты в доме, ему самому уже под пятьдесят. И все-таки, собравшись навестить нас, отец начинает круг с Фрумушики, чтобы потолковать с умным, хорошим человеком, которого он бесконечно уважает, уже и сам не помнит, с каких пор и почему.

Девушка-подросток, пересекая двор в непомерно больших галошах, видит плывущую над гребнем забора остроконечную шапку отца и вбегает в дом с криком:

— Мамо! Наш мулдуван иде!

Фрумушика — деревня сплошь украинская, и наш отец, человек на редкость уступчивый, до сих пор не мо-

жет примириться с тем, что ни сноха, ни внуки не говорят на его языке. Что до отца, то он принадлежит к той категории молдаван, которые не в состоянии усвоить никакого языка, кроме своего родного.

На порог того домика, куда забежала девушка, выходит низенькая женщина с запорошенным мукой передником, с голыми до локтей, в тесте — из-за спешки — руками. Узнав отца, она широко улыбается, кричит что-то соседке слева, оповещает соседку справа и наконец, высоко, театрально воздев руки, идет к калитке.

— Мамонько моя ридная...

Отец чинно ступает по вымощенной камнем тропинке, выказывая бесконечное уважение этому двору. Входит он в дом не через обычную, а через парадную дверь. Открывает им парень лет шестнадцати, аккуратно, чистенько одетый. Поцеловав протянутую руку и тут же уловив немое распоряжение матери, он утвердительно кивает и выбегает за калитку с новым велосипедом...

Недалеко за деревней виднеется длинное здание колхозных автомастерских. В густом сумраке гаража из-под большого, наполовину разобранного трактора вылезает крепкого сложения человек с вентиляторным ремнем в руках. Свое внимание он делит между тем, что держит в руках, и тем, что говорит ему парень, приехавший на велосипеде. Выслушав сына, словно недовольный тем, что его оторвали от работы, он вскидывает брови, устало, мельком улыбается, потом подходит к парню и, обнаружив пятнышко на его чистом костюме, укоризненно качает головой. Простив за какие-то погрешности вентиляторный ремень, он согласно кивает и снова лезет под разобранный трактор. Работает медленно, ловко, с наслаждением, точно ему и спешить некуда. Временами, правда, легкая улыбка светится в уголках губ, но тут же гаснет. Только пристроив ремень на место, он широко улыбается и кричит кому-то лежащему под соседним трактором:

— Слышь, Петро, старик мой приехал!

Потом, выбравшись из-под машины, вымыв руки в ведре с бензином и аккуратно вытерев их ветошью, Андрей идет медленно к деревне, словно, пока он мыл руки, запамятовал, что у него гости.

А отец между тем сложил на столе кучками (по количеству внуков) гостинцы и стоит растерянный, потому что внуки застыли у порога как одеревенелые. Не то стесняются, не то ломаются. Входит жена Андрея с

двумя большими подносами. Крупные, как с выставки, фрукты, сдоба разной выпечки, со всякими художествами. Гостинцы старика вмиг блеснут. Жена Андрея готова снова побежать по делам, но ее останавливает подозрительная тишина в доме. Некоторое время, глядя то на сложенные кучками гостинцы отца, то на столпившихся у порога детей, она наконец начинает понимать, что произошло. Высоко, трагически поднимает руки:

— Мамонько моя ридная!!

Одним подзатыльником перемещает все семейство поближе к отцу, другим заставляет взять гостинцы, поблагодарить, отведать и быстро, в окружении всего потомства, исчезает. Оставшись один, не видевший всех подзатыльников, отец несколько удивляется торопливости своих внуков, но говорит, самодовольно поглаживая себя по макушке:

— Ничего, все хорошо.

Андрей не спеша возвращается. Идет размеренной, установившейся на все случаи жизни походкой. У сельмага он останавливается, чтобы расшифровать смысл вдетого в кольца, но еще не защелкнутого замка. Означает это, что время продавца вышло, но что ему еще следует добрать до плана, и если у кого есть деньги, то он не гордый, может вернуться к прилавку. Андрей ждет минуты три, потом из соседнего домика выходит грузная женщина в накинутой на плечи фуфайке. Фуфайка новая, с ярлыками, ее еще надлежит продать.

Через пять минут Андрей уже хлопочет, как наседка, вокруг своих покупок. Две бутылки водки, три бутылки вина, колбасный круг и белая шелковая рубашка. Еще нужно придумать, как все это донести, но продавщице некогда, и она приходит на помощь. Рассовывает товары по его карманам, а карманы Андреевых брюк — это одно из величайших чудес. Все товары утонули, да еще осталось место, чтобы согреть человеку руки, если озябнут.

Тем временем жена Андрея так разошлась, ну прямо на удивленье. Подметает, стирает, готовит стол, кормит трех поросят, моет руки, достает из погреба моченые яблоки и, занимаясь всеми этими делами с поразительной ловкостью, находит время, чтобы каждые две-три минуты навестить сидящего в комнате отца и рассказать ему очередную историю из своего неистощимого запаса фрумушки-

кинских новостей. Начинает она их каждый раз одним и тем же возгласом: «Мамонько моя ридная!»

Говорит она с той же быстротой, с какой вообще делает все на свете, и отец, решительно ничего не понимая по-украински, улыбается, согласно кивая головой: «Ничего, все хорошо».

По дороге домой Андрей старается обходить всех подозрительных односельчан, попадающихся на его пути, но вот высокому, сухощавому детине не понравилось, что его обходят. Окликнул Андрея, подошел. Стали о чем-то тихо говорить, потом долговязый уловил вкусный запах колбасы. Согнувшись в поясе, ощупал карманы Андрея и высоко, недоуменно вскинул брови. Андрей, скупо улыбнувшись, сообщил, в чем дело, и пошел своей дорогой, а долговязый тут же побежал к сельмагу, точно не у Андрея, а у него гости.

Жена Андрея тем временем подтянула резерв. Две ее соседки, стоя на пороге, чинно раскачиваются из стороны в сторону, точно поют народные песни, и что-то рассказывают старику. Временами забегает жена Андрея, чтобы подкинуть полено-другое в завязавшийся разговор, а отец, глядя в окошко (чего это Андрей так долго не возвращается?!), улыбается и поддакивает соседкам: «Ничего, все хорошо...»

Теперь Андрей добирается домой задами усадеб, но вдруг из-за высокого стога сена выныривает толстяк и, застегнув на ходу ширинку, останавливает его. Поговорили о том о сем, после чего Андрей с очень занятым видом пошел своей дорогой, а толстяк остался на месте — что-то ему показалось подозрительным. Приметив чуть топорщившиеся карманы Андреевых брюк, подбежал и тоже пощупал их.

Теперь двери сельмага широко открыты. Продавщица скинула с себя фуфайку, торговля идет бойко; из сельмага выходят односельчане Андрея, счастливые и довольные всем на свете.

Почти всю ночь отец сидит за столом на почетном месте, в подаренной Андреем белой рубашке, а кругом идет гулянка. Около восьми пар гостей, по-братски обнявшись, поют «Роспрягайте, хлопцы, кони», поют так, что мелкой дрожью отзванивают стекла в окнах. Отцу, должно быть, тоже мерещится девушка, которая выйдет рано утром по воду, он тоже поет вместе со всеми, хотя видно, что

он не знает ни слов, ни мелодии. В редкие минуты тишины, застенчиво улыбаясь, он поддакивает установившемуся кругом праздничному настроению: «Ничего, все хорошо...»

Под утро гости расходятся по деревне, веселясь и балагуря вовсю. Жена Андрея забегает к спящим в маленькой комнате ребятишкам и, присев рядом с их кроватками, дремлет, а в комнате, где недавно еще шла гулянка, остаются только двое — отец с сыном. Им так много нужно сказать друг другу, и так мало у них на это времени осталось, что они просто сидят молча.

Бывают минуты в жизни, когда молчание вбирает в себя гораздо больше того, что могло бы вобрать слово. Потом Андрей низким, простуженным голосом запевает молдавскую песню, и отец вздрагивает от неожиданности. Когда-то давно это была его любимая песня, но с годами она ушла, и отцу просто не верится, что одному из сыновей удалось ее сберечь.

Бэтрыneце хайне греле,
Че н'аш да сэ скап де еле?..
(Старость — тяжелое платье,
Как бы мне тебя не носить?..)

Рано утром жена Андрея стоит у калитки, бледная и грустная. Она устала. А кроме того, она искренне любит своего тестя. Беспомощно повисли две огромных, почти до коленей руки, и она механически-печально повторяет про себя: «Мамонько моя ридная...»

А отец уже вышел из деревни. Идет медленно, с достоинством, очень довольный приемом. Рядом идет задумчиво самый старший среди нас, и думает он тяжелую свою думу о моторах внутреннего сгорания. Далеко за деревней, там, где начинается новое шоссе, они прощаются. Отец растроганно целует Андрея в лоб. Андрей же, торопливо пожав ему руку, скупо улыбнувшись, поворачивается, идет напрямик по пахоте к еле виднеющимся вдали колхозным мастерским. Отец стоит на обочине нового шоссе и не мигая провожает сына. Удаляясь, Андрей становится все меньше, его плотная фигура растворяется в серой мгле осеннего утра, но ни разу сын не оборачивается, чтобы посмотреть, ушел отец или стоит еще там. И думает старик про себя, что нелегок хлеб тракториста, что эти промасленные гайки если уж завладеют тобой, то это надолго.

8

А время идет, осенние дни коротки. Отец плетется дальше, но идти по новому шоссе трудно. Местами дорога мощена, местами перерыта машинами, с мелкими кучками гравия по обочинам — не успели вымостить. Потом с какой-то высоты дорога медленно, величественно начинает спускаться. Посмотреть — дорога вроде ровная, а нога чувствует спуск, и отец радуется. Долго хоть спускается эта дорога, и то польза.

На половине спуска отца обогнала груженная мешками телега. Ездовой кивком предложил подвезти, но отец, мельком взглянув на усталых, взмыленных лошадок, поблагодарил за приглашение, однако не сел. Потом стали спускаться телеги одна за другой, но все они дальние, груженные хлебом. Ездовые приглашают его без конца, а упрямый старик, жалея скотину, благодарит, благодарит всех и продолжает идти пешком.

Километра через два, там, где кончается спуск, кончается и это новое шоссе, передавая своих ходоков широкой, асфальтированной дороге. Асфальт — это слишком дорогое баловство для бесхитростных телег: по асфальту теперь летят груженные хлебом машины, и телеги, ожидая своей очереди, выстраиваются длинной кривой цепочкой. Отец не может так, сразу, изменить телегам, выбрав себе более знатных попутчиков. Ему, чудаку, хочется заступиться за них, и, став на самый краешек асфальтированной дороги, подняв руку, он голосует в надежде, что хоть одна машина затормозит и, пока он переговорит с шофером, телеги переползут на асфальт и займут свой ряд.

Придумано было хорошо, да ведь в кабинах тоже не дураки сидят.

Пока отец, рискуя собой, стоит на самой кромке асфальта и борется за права деревенских телег, ездовые, обнаружив старое русло дороги неподалеку от асфальтированного шоссе, сворачивают, плетутся по нему на север, и отец, выругав про себя бестолковых ездовых, пускается и сам в путь-дорогу. Идет, низко опустив голову, задумавшись о чем-то, и так он вышагивает много километров.

Из-за высокого холма неожиданно вырастает свежая, еще не прокуренная труба сахарного завода. Отец, передвинув шапку на затылок, облегченно вздыхает: кажется, добрался. Чуть в стороне от дороги по-осеннему шуршит

ржавеющий листвой жиденький перелесок. Старик долго что-то соображает, потом, решившись, идет напрямик, по пахоте, к перелеску, ощупывая на ходу поясной ремешок и воровато оглядываясь. Дело в том, что у Николая, брата, живущего здесь, в райцентре, есть уборная в доме. Отец, стесняясь ею пользоваться, перед тем как навестить сына, заглядывает в этот перелесок.

У входа в райцентр, сразу за переездом, десяток рабочих в лихорадочной спешке меняют рельс в железнодорожном полотне. Озабоченный отец подходит к ним, чтобы погадать вслух: успеют рабочие до прихода поезда или не успеют? Кажется ему, что не успеют. Бросившись к ним на помощь, он в то же время предлагает им несколько весьма дельных, по его мнению, советов. Рабочие охотно передают ему конец тяжелого нового рельса, но советы пропускают мимо ушей, и, оскорбленный, отец уходит. Идет вдоль железнодорожной насыпи по жиденькой, бледной травке — после трудных, размягченных осенних дорог и шершавой неподвижности асфальта ему удивительно легко идти по травке.

Недалеко за вокзалом, вокруг зернохранилищ и у открытых буртов, большое оживление. Нескончаемые вереницы машин и телег, груженных хлебом, стоят в очереди у весов, а ссыпать уже некуда, потому что все вокруг засыпано хлебом. Горы кукурузных початков, крытые брезентом холмы пшеницы... На каждом пятачке земли, на котором можно было ссыпать, ссыпали так, что и ступить уже негде. Машины и телеги терпеливо ждут, а с востока и с запада спешат встать в очередь другие машины и телеги.

Отец замер. Он потрясен. Где-то в этом море зерна есть с десяток мешков хлеба, выращенного его руками, но их теперь никому не найти, не отличить, как не отличить в Черном море дунайские воды от вод Днестра. Это кажется ему удивительным, и глядит он на это зрелище и не наглядится. Все великое потрясает его, а свезенный вместе хлеб — тем более.

У одной весовой будки возникает скандал. Огромная толпа, сбившись плотной кучей, горланит вовсю. Из другой толпы, стоящей рядом молча, то и дело выступает какой-нибудь смельчак, который хочет примирить враждующих. Едва пробившись в плотный круг, едва начав что-

то излагать, он как бы растворяется в этом сборище, и снова каждый орет о своем.

Отцу тоже не дают покоя лавры примирителя. Храбро лезет и он, что-то выкрикивая, а через минуту вылезает с одной-единственной пуговкой на пиджаке. Когда здесь заспорят о хлебе, лучше не соваться.

Тем временем маленький паровозик подогнал к открытым буртам цепочку пустых вагонов. Едва вагоны остановились, в ту же самую минуту пшеница, взлетев вверх, тонкими струйками полилась в них. Удивленный таким способом погрузки, старик спешит посмотреть, как это делается. По дороге он спотыкается, наступив на свалившиеся с какой-то машины початки. И, подняв их, тут же чувствует непреодолимое желание спрятать початки в кошелку, но, заметив в толпе милицейскую фуражку, поспешно бросает их в вагон.

Это великое зрелище убранного зерна будит в отце голодного волка, и хочется этому волку, до смерти хочется черного, казенной выпечки, купленного в магазине хлеба. Опасливо переступая через вокзальную сеть путей, отец выходит на главную улицу райцентра, занимает очередь в магазине за хлебом. Потом он ходит с большой румяной буханкой, ищет, где бы ему присесть так, чтобы поесть вволю, а присесть негде. Чайная тут маленькая, народу полно, в вокзальном буфете тоже негде присесть. Далеко за зерноскладами беспорядочно лежит наскоро выгруженный лес, и десяток мужиков, устроившись на бревнах, отрешенно едят купленный в магазине хлеб. Присаживается к ним и отец. Кругом воют и стонут буксующие грузовики, лязгают буферами составы, гудят паровозы, но отец уже ничего этого не слышит. Медленно и деловито, отламывая по кусочку, ест хлеб, но это не просто еда — он приобщает себя к одной из самых древних и разумных основ нашей жизни и через четверть часа поднимается с тех бревен не только сытый, но и просветленный.

Городок сахарного завода удивительно приятное зрелище, но невероятно похожие друг на друга домики начинают сбивать старика с толку. И по левой, и по правой сторонам улицы такие же шифером крытые крыши, совершенно одинаковые дымоходы из красного кирпича, одинаковый рисунок окон и дверей, одной и той же краской выкрашены заборы и калитки. Отец идет все медлен-

нее, медленнее и наконец останавливается, совершенно озадаченный.

Номер дома Николая — сорок семь, отец это хорошо помнит, но, как выглядят эти две цифры, забыл. Грамоте он выучился на старости и, если волнуется, забывает решительно все, чему учился.

Приметив наконец приделанные у входа знакомые звонки, отец радуется. Звонки разные: одни прибиты высоко, другие низко, одни круглы по форме, другие продолговаты. Выбрав из всех один, чуть треснутый, прибитый высоко, словно хозяева ожидали в гости одних верховых, отец звонит.

Николай, самый веселый и озорной среди нас, сидит в ванной и парит ноги в теплой воде. Услышав звонок, он тут же поднимает руку вверх, как бы приветствуя гостя, но и не думает выходить открывать. Простояв некоторое время на крыльце, усомнившись, отец снова бродит по поселку. И обидно, и чудно ему, до чего похоже все кругом. Попробуй тут выпивши попасть к себе домой. В каждом дворике по восемь молодых яблонь, по четыре совершенно белых курицы, по одной паре старой обуви у входа. Хотя на том крыльце, куда он уже заходил, стояла пара невероятных размеров калош, и отец возвращается к треснутому звонку. Николай, сидя в ванной, поднимает обе руки вверх, трясет кистями в знак того, что он от всей души приветствует гостя, но открывать не идет. Рассердившись, отец кричит тем властным, свирепым голосом, каким он кричал на нас лет тридцать тому назад, когда мы бегали без штанишек:

— Мэй, Коля, мэй!

Бедный Николай! Ему, видать, больше всех доставалось, потому что и через тридцать лет этот голос совершил с ним чудеса педагогики. В мгновение ока выскочил на улицу, обнял отца и только после этого, отступив, стал хмуриться: а с какой это стати, скажите на милость, орут на него, как на маленького? И отцу неловко: нехорошо, конечно, так кричать на взрослых сыновей, тем более когда приходишь к ним в гости...

— И как это ты, отец, надумал навестить меня?!

Николай всегда удивляется, когда приходят к нему в гости. Он никогда никого не ждет.

— Да сидели мы как-то со старухой, и давай, говорю...

— Что ж, раз приехал, давай заходи...

Злые языки утверждают, что Николай самый состоя-

тельный в нашей семье. Сладкое все любят, и кладовщик на сахарном заводе — должность хорошая. Правда, гостить у него одна морока. Как только заявится гость, в доме начинаются ссоры. Насколько Николай любит прибедняться, настолько его жене нравится, чтобы ходила молва об их достатке.

Поздоровавшись с отцом, жена Николая тут же забегала, начала прибирать в комнате. С ходу прикроет платком пару швейных машин, поправит занавеску на окне, которая как будто за что-то там зацепилась, а на самом деле отодвинута для того, чтобы в комнате стало светлее, чтобы отец увидел огромный, во всю стену, ручной выделки ковер. Раздосадованный глупым бахвальством своей жены, Николай выговаривает ей мученическим голосом:

— Аника!

— Что?

Если женщина не хочет что-либо понять, то она этого так никогда не поймет, и Николай предлагает отцу:

— Пошли на кухню. Там теплее.

Усадив отца, он тут же открывает маленькую кладовку, перетаскивает в кухню всякое старье: изношенную обувь, разбитый бочонок, какое-то тряпье на меху. Отец долго и придирчиво рассматривает это сомнительное добро — в своем хозяйстве он бы не стал возиться с ним, но Николай садится рядом, принимается как бы в шутку за починку, и его ловкие, умные, белые руки заражают деятельностью угловатые, смуглые, старческие руки отца. Николай — самый трудолюбивый среди нас. Он не представляет себе человека сидящим просто так, в должности гостя, и, чтобы не избаловалась родня, если кто заходит к нему, заставляет работать...

Некоторое время они трудятся молча. Слышно только, как дышат: Николай хватает воздух чуть вздрагивающими ноздрями сочно, шумно, а отец раз в две-три минуты тяжело вздохнет. Они долго работали вместе, отец с сыном, и наши поля, наши леса, должно, помнят их не раздельно, а вместе. Отдавшись воспоминаниям, то один, то другой улыбнется.

— А помнишь, отец, как однажды мы с тобой...

Им есть что вспомнить. Когда Николай вырос, сам отец тоже был еще в силе. Они делятся воспоминаниями, но прожитые годы были трудными, горькими, и как-то незаметно разговор становится сухим, колким. Отец в гостях, ему неудобно нападать, он предпочитает отмалчи-

ваться, и это выводит Николая из себя. Он становится желчным, бросает починку и затевает одну из давно забытых в нашей семье ссор.

Николай считает себя самым обиженным среди нас. Теперь он в который раз поясняет отцу, почему он на него в обиде. Его, оказывается, чаще всех пороли, одежду ему шили из самого дешевого материала, учебников ему не покупали, заставляли ходить к другим учить уроки, а при женитьбе дали самую плохую землю. Есть в этом много правды, много неправды, но отец, чтобы не обострять спор, отвечает односложно:

— Такое было, сынок, время...

Поздно вечером они садятся ужинать там же, на кухне. Едят жареную рыбу, мамалыгу и брынзу со шкварками. Николай хвастает:

— Национальная еда.

Потом, угостив отца рюмочкой промышленного спирта, от которого у старика перехватывает дыхание, спрашивает:

— Как там наш Андрей? Забыл, верно, родной язык?

С трудом отдышавшись, отец тут же бросается защищать Андрея:

— Отчего же? Они все понимают по-молдавски.

— Ни хрена они не понимают.

После ужина Николай стелет отцу там же, на кухне. Кончив с этим скучным делом, он садится на корточки и, пока отец раздевается, следит наметанным глазом: что бы взять с него за постой? Ведь остановись он в гостинице, с него бы как минимум содрали бы трояк... Вдруг заметил у старика болтающийся на поясе красивый перочинный ножик и потянул его к себе. Ножик ему понравился. Упрятав его в свой карман, он принес отцу взамен какое-то старье и, несколько подобрев от этого обмена, уходит, пожелав отцу приятных снов.

Всю ночь отца терзают полузабытые, разбуженные Николаем истории: и кажется ему, что всю свою жизнь он прожил не так, и становится ему душно тут, на кухне, и уснуть не может всю ночь. А на второй день чуть свет, не примирившись после вчерашней ссоры, они стоят на окраине райцентра. Маленькая автобусная станция совершенно пуста. По асфальтированной дороге только-только начинается движение — то проедет машина, то проползет причудливый комбайн новой конструкции, то мотоцикл застрекочет. У Николая с тех пор, как он стал

кладовщиком на заводе, неисчислимое количество знакомой техники. Гордо, с достоинством став на обочину дороги, он устраивает как бы смотр, и действительно, все проезжающие тормозят возле него, чтобы обменяться шуткой. Об отце он совершенно забыл, только когда увидал удаляющийся автобус, сообразил, что отец уезжает, и на всякий случай помахал кепкой. Небось не обидится. Свой.

4

По-осеннему скупо, еле-еле дымятся поля, пригретые первыми лучами восходящего солнца. Широкое асфальтированное шоссе, мягко извиваясь, уходит далеко на юг, и автобус, наслаждаясь этой утренней прохладой, летит на недозволенных скоростях. Пассажиров всего одна единица, ответственность не бог весть какая.

Отец, должно быть, часто пу́тешествовал в битком набитых автобусах, так что теперь, оказавшись в совершенно пустом салоне, стоит, растерянный, ума не приложит, кому бы подзанять про запас пару скамеек. В надежде, что какой-нибудь кум откуда-нибудь да выскочит, он на передней устраивает кошелку, на другой кладет шапку, а сам устраивается на заднем сиденье, занимая таким образом четыре места сразу. Сквозь боковое стекло сочатся теплые лучи, и старик, греясь на солнышке, блаженно щурится. Иногда поздней осенью выдастся полетнему теплый денек, и велика тогда радость молдаван. Погреемся, пока можно, а там наступят холода, там худо будет.

Изредка автобус тормозит на остановках, широко открывает двери, в которые никто не входит, а старик, греясь на солнце, предупредительно качает головой — он еще не сходит, ему еще ехать. Потом из-за поворота показывается небольшая деревушка, рассыпанная вдоль шоссе. У остановки стоят, дожидаясь автобуса, с полсотни колхозников, груженных связками домашней птицы, корзинками с фруктами, овощами. Стоят, аккуратно выстроившись в очередь, мирно щелкают семечками, но шофер подъезжающего автобуса, злодей, каких мало, останавливает машину метров за сто до остановки. Лихо подзакрутив усики, он выскакивает из машины так, чтобы толпа его не заметила, и тут же исчезает в переулочке.

Стоявшие в очереди люди удивляются: с чего это шофер остановил там автобус? Неужто, пока они тут стояли,

начальство перенесло остановку? Плюнув на очередь, они бросаются каждый со своей ношей к автобусу. Увидев издали старика в машине, они приветливо машут ему шляпами, и, несколько озадаченный этим нашествием, отец робко им отвечает. Толпа с ходу вклинивается в заднюю дверь, но дверь заперта. Перебегают к передней, а толку мало. Шофера в кабине нет, и пятьдесят человек, сотня остервенелых кулаков, барабанят по кузову, требуя, чтобы им открыли. Отец, приняв весь этот гнев на свой счет, беспомощно пожимает плечами: бог его знает, как они тут открываются. Но, оказывается, колхозники все знают, они показывают ему, как это делается, всячески поощряя старика, и в конечном счете отец решается. У задней двери он пытается пропустить пальцы через затянутую резиной щель, потом переходит к передней двери и долго колдует над ней, а толку мало.

Сердитая толпа начинает возмущаться его несообразительностью. Одни корчат ему рожи, другие злословят на его счет, третьи грозят кулаками, и, сбитый с толку, пока не поздно, отец собирает свои вещи, скромно усаживается, занимая свое законное место. Это окончательно выводит из себя столпившихся у автобуса колхозников: они поднимают такой шум и гам, что кажется — разнесут и машину и старика. Отец тихо про себя молится. Хотя и он является частицей этого народа, его буквально прошибает холодный пот, когда он видит больше трех молдаван, собравшихся вместе.

Облизываясь, как сытый кот, переулками возвращается шофер, открывает все двери, ни на кого не глядя, никого не видя. Пассажиры, переползая друг через друга, вваливаются в салон, и машина трогается.

По обеим сторонам шоссе растут высокие липы — они стоят, обнявшись, над дорогой, бьют оголенными ветками по крыше автобуса, по окнам, а водитель гонит вовсю, наверстывая упущенное время. Автобус переполнен, и отец, конечно же, среди тех, кому не хватило места. Пятьдесят раскаленных голов никак не угомонятся, ядовитым репликам нет конца, и старик все оглядывается в поисках защиты. Смотрит с некоторой надеждой на спину водителя, потом, уловив в висящем над шофером зеркальце его лицо, замирает от удивления, потому что шофер, хмурясь, грозит ему пальцем, как бы говоря: «Эх ты, шляпа!»

Через несколько километров показывается другая деревушка, тоже рассыпанная вдоль шоссе. На самом краю

деревни обнесенная высоким забором только начавшая собираться ярмарка. У остановки с шумом и гамом вываливаются все пятьдесят бунтарей, каждый со своим товаром, со своими претензиями. Автобус снова в пути. Отец, однако, уже не садится. Стоя в пустом салоне, он разбирает одну из сложнейших проблем современности: личность и окружающая среда.

Обогнув высокий курган, шоссе спускается к густому лесу, но у первых же дубов, чего-то испугавшись, сворачивает снова в поле. У поворота, там, где густая тень дубов добирается к асфальту, выглядывает из лесу старенький, запущенный крестьянский домик. Напротив, через шоссе, заросший камышом пруд, и нескончаемые стаи домашней птицы двигаются в двух направлениях: одни из дому идут к пруду, другие, покупавшись, возвращаются. И те, и другие, переходя дорогу, находят нужным выяснять отношения на асфальте. Автобус еще двигается, водитель сигналит то протяжными, то короткими гудками, а птицам наплевать, хоть ты длинными, хоть короткими сигналь.

Это зрелище путешествующих птиц приводит старика в полную растерянность. Наконец, собравшись с духом, он стучит в кабину водителя. Тот, раздосадованный утками, гусями и индюками, свирепо оглядывается: этому-то еще чего надо? А ему пришло время сойти, но, выпрыгнув, отец сначала подобрал хворостину, отогнал птицу, освободив дорогу для машины. Потом, проводив автобус, печально, как после большого проигрыша, вздыхает.

Здесь в лесничестве живет Антон — самый честный и самый странный среди нас. Уже лет пятнадцать отец не переступал порога его дома, и столько же времени сам Антон не показывался в родительском доме. И чудно, и горько старику, что, не поссорившись, не обидевшись, не подружившись, они с каждым годом уходят все дальше и дальше друг от друга — отец и сын.

Покашливая для храбрости, отец направляется к лесной сторожке, внимательно глядя под ноги, потому что кругом, насколько видит глаз, — сплошной куриный помет. Из-под старого дуба показалось несколько хрюшек. Чавкая желудями, они внимательно следят за отцом маленькими, заплывшими жиром глазками. Отец ценит хорошо откормленных свиней, сало — это надежный то-

варищ черному хлебу. Заманив к себе хавронью, кладет ей руку на спину, с тем чтобы прикинуть приблизительную толщину сала. Это тоже важно знать, но в ту самую секунду, когда его рука касается хрюшки, из-за сторожки выскакивают две собаки и, свирепые, полуодичалые, бросаются на него. Отец отбивается ногами, полной гостинцев кошелкой, а собаки отчаянны, так и норовят вцепиться. Из дома выходит благообразная горбатая старушка с маленькой скамеечкой под мышкой. Слеповато щурясь, она ставит скамейку рядом с крыльцом, садится, как в театре, и лениво следит за этим забавным зрелищем — две бешеные собаки против беспомощного старика.

Теперь, стало быть, одно из двух — либо он их, либо они его.

Видя такое дело, отец начинает отступать в глубь леса, все оглядываясь, нет ли какой палки. Наступив на длинную, крепкую жердь, он тут же бросается в наступление. Собаки скулят, прося защиты, и только тогда сидевшая у крыльца старушка отзывается, подает голос:

— Пшли вон!

Виновато, послушно поскуливая, собаки исчезают за стареньким домиком, а отец смотрит долгим взглядом на старушку, словно хочет сказать: «Сволочь ты последняя после этого!» Идти, однако, нужно к ней. Он идет, но, остановившись в десяти шагах, искренне удивляется тому, что узнает ее. То, что он ее помнит, ему кажется в порядке вещей — странно то, что узнает. В молодости он служил у нее пастухом. Была она в ту пору моложе, владела шестьюдесятью гектарами, двумя корчмами и паровиком для обмолота хлеба.

— Добрый день вашему дому!

Старуха смотрит на него безразличным взглядом, зевает и ничего не отвечает. Отец припоминает, что и в то время, бывало, она не очень охотно отвечала на приветствия. Была она, что верно, много моложе, щеголяла плотными бедрами, и люди не обижались. Когда, однако, это было!

— Что за черт, я как будто сказал «добрый день»?

Сидя на скамеечке, старуха начинает массировать свои старые, дряблые ноги, вкусно причмокивая при этом.

— Вот и ножки уже не несут. Если присесть прямо на землюшку, ни за что не встану сама. Со скамейки

еще поднимаюсь, вот и приходится таскать ее с собой. По какому делу-то пришел?

Они незнакомы. Отцу никогда еще не удавалось застать Антона дома, и некому было сказать этой старушке, что стоящий перед ней человек — родной отец лесника. Сам отец всячески скрывает свое родство, презирая ее еще с тех пор, когда служил у нее пастухом. Была она тогда, что верно, моложе и красивее.

— Лесника нету дома?

— Строиться, что ли, надумал? За лесом пришел?

— Хорошо бы пару кубометров.

— Деньги при себе? Или, может, тоже в долг?

Похлопывая себя по карманам, отец изрекает самодовольно:

— Новенькие, хрустящие!

Старуха долго щурится, словно хочет сквозь ткань достать тот сверток бумажек и пересчитать. Потом, неопределенно махнув куда-то рукой, советует:

— Иди вот так, в ту сторону. Если не найдешь, сам наскочит на тебя.

Видя, что отец уходит вместе со своей жердью, кидает вдогонку в качестве доброго совета:

— А палку-то брось. Собаки изводятся и перегорают потом.

После этого она зевает, показывая, что у нее не осталось решительно ни одного зуба, а отец улыбается: как же, нашла дурака! Уходит, волоча за собой спасительную жердь. Потом вспоминает, что так и не ощупал у хрюшек сало. Возмутился: с каких это пор, скажите, пожалуйста, отец не может осмотреть хозяйство своего сына? Направился снова к чавкающим под дубом хрюшкам, но в ту же секунду выскочили обе собаки и бросились на него. Обороняясь, отец отступает, собаки неотступно следуют за ним, и хриплый лай стихает, углубляясь в лес.

Старушка поднимается с маленькой скамеечки, думая вслух: что же ей нужно было еще делать? Ах, да! Вынесла из дому полведра пшеничного отсева, высыпала перед домом и, странно прищелкивая, стала созывать кур. Набежало огромное, неисчислимое множество птиц, и, усевшись на скамеечке меж ними, старушка принялась на ощупь искать, какой из них завтра суждено снести яичко, какая проживет вхолостую. Она их, конечно, путает — тех, которых уже проверила, с теми, которых еще нужно проверять. Она их путает, да их невозможно не

спутать, но старушка все же работает быстро, со сноровкой, и только очень внимательный глаз может уловить, что она уже малость того...

Постарела, а все еще наживает добро. Уж нет сил даже для того, чтобы с земли подняться, а все копит. В сороковом году их выселили. Прожив лет двадцать в Сибири, похоронив там мужа и четверых детей, она вернулась домой с шестнадцатилетней внучкой. Правда, в саму деревню, поделившую ее хозяйство, она не захотела вернуться и некоторое время моталась вокруг, пока однажды ночью не ткнулась в эту сторожку. Наш Антон был в ту пору вдовцом, и никакой птицы не было тут, в лесничестве.

Возвращаются из лесу собаки, облизывая на ходу помятые отцом бока. Из далекой лесной глуши доносится раскат ружейного выстрела. Старушка вздрагивает, потом, плюнув себе за пазуху, чтобы нечистый дух, воспользовавшись этой секундой замешательства, не завладел ее помыслами, крестится, встает, берет свою скамеечку и входит в дом. В маленькой лесной сторожке невероятный беспорядок. Единственная мебель — старая железная кровать. Света мало, а из сумрака белеет бесконечное количество кошелок с яйцами. Их очень много, и старушка принимается их сортировать, бессмысленно перекладывая из одной кошелки в другую.

Эта старая железная кровать и женила нашего Антона вторично. Тогда, ночью, впустив их, он постелил им на полу камышовую подстилку, но шестнадцатилетней внучке не понравилось на полу. В полночь, когда старушка захрапела, она перебралась к Антону в кровать. Недели две она щедро ласкала его по ночам, потом, обокрав вчистую, исчезла, а старушка вот уже три года дожидается возвращения внучки и со скуки наживает добро, чтобы добавить к тому богатству, которого у нее давно нет. Что до Антона, то он не смеет ей ни в чем перечить, потому что, по каким-то странным законам, признанным им над собой, он считает эту старуху родней, а с близкой родней, само собой, следует жить в мире и согласии.

Волоча за собой длинную жердь, отец идет по лесу. У порога зимних вьюг лес грустно, задумчиво дремлет. Полное безветрие кругом, но настали сроки — и крупный, багряный дубовый лист, бесшумно отделившись от веток, мягко покружив над землей, тает в золотистом шуршащем море. Сухо щелкнет, задев на ходу веточку, сорвавшийся с высоты желудь, изредка мелькнет летя-

щая низко меж стволов птица, и снова тихо кругом. Тишина стоит густая, сочная, одуряющая, шаги отца шуршат, словно не один человек, а целые полки идут. Это трудно вынести живому человеку, и временами старик останавливается, чтобы передохнуть, осмотреться. И кажется ему, что дубы, заглядывая через плечи друг друга, косятся на него отчужденно и недоверчиво.

Теперь, поздней осенью, лес уже никому не верит, никому не друг. Он верил людям, когда наступала весна, он любил нас, когда мы ходили за грибами и земляникой, он нашептывал нам целыми ночами в пору сенокоса. Теперь пора великой лесной красоты миновала, лес стоит оголенный, сиротливый, и, если приблудится кто, лес встречает его хмуро и недоверчиво, давит немыслимой для живого существа тишиной.

Отцу никогда не нравилось бродить по лесу поздней осенью да еще в одиночку. Теперь, измотанный, он останавливается после каждых четырех шагов, чтобы решить: идти ли дальше, тут ли подождать сына или, может, вернуться обратно? Изредка он что есть мочи кричит:

«О-го-го-го-о-о...»

Тихо.

Потом в этой давящей со всех сторон тишине появляется просвет. Где-то совсем близко треснул сучок. Рядом с отцом на шуршащей листве выросла высокая тень самого послушного, самого чудаковатого среди нас.

— Ну, с добрым днем тебя, сынок!

Антон, богатырского сложения лесник с перекинутым через плечо ружьем, смотрит на отца по-детски большими, по-детски густо-синими глазами. Хочет что-то сказать, а с чего начать, не знает, и он очень красив, когда, растерявшись, ищет нужное ему слово.

— Я, знаете ли... Очень хорошо, как же...

Встречать гостей Антон никогда не умел. Левой рукой жмет правую руку отца, потом правой левую, пока не теряется совершенно. Видя такое дело, отец начинает встречу сначала:

— Ну, здравствуй, Антон!

Вдруг приученный к лесной тишине слух Антона схватывает доносящиеся откуда-то издали удары топора. Его большие детские глаза начинают тускнеть, и весь он как-то сразу сникает, словно эта сталь с каждым ударом рубит его самого.

— Вот ведь народ, повалят весь лес! Вы устали с дороги?

— Что ты! Я автобусом ехал.

— Ну тогда пошли, пока след свежий...

Хоть он с виду крепок, духом он по-бабьему жалостлив, этот наш Антон. Послушать его, так завтра единой зеленой веточки не останется во всей Молдавии. Лес, однако, он любит, знает о нем великое множество интереснейших вещей, и если кто из наших заглянет к нему в гости, он затаскает по лесу до изнеможения.

Чтобы доставить ему удовольствие, отец любуется то одним дубом, то другим, расспрашивает о тонкостях, которые могут знать одни лесники. Антон очень доволен, они то идут, то стоят, говорят, то затеряются в густой чаще, а то, глядишь, снова вынырнут. Они, видать, долго скучали друг по другу, они довольны, им очень хорошо вместе, но не дает покоя тот злополучный топор. Как только донесутся редкие звучные удары, Антон втягивает голову в плечи и жмурится, как от зубной боли.

Он был у нас самым послушным. В раннем детстве пас скотину в лесу, когда это было ему положено, так сказать, по возрасту. Потом подростком ходил пасти ее вместо нас, и еще всякий раз, когда некого было посылать, отец посылал его. И лес отомстил, забрав у нас Антона.

Видя, как его преследует этот злодейский топор, отец, сжалившись над ним, предлагает:

— А давай пугнем их ружьем?!

Только и нужно было деликатному Антону, чтобы сам отец предложил, — теперь старик еле поспевал за ним. Перебравшись через темный сырой овраг, они забирают куда-то влево, потом в густой чаще Антон останавливается. Говорит отцу:

— Вот тут... Еще сегодня утром тут был дуб.

— Куда же он мог деваться?

Разгребая листья, Антон высвобождает свежий, слезящийся пень, несколько ниже, в ложбине, закопаны срубленные топором ветки. Вернувшись к пню и присев на корточки, Антон принимается считать круги на нем. Говорит отцу тихо и печально:

— Мой ровесник. Тридцать восемь кругов.

Старику просто непостижимо:

— Не может того быть!!

Но их в самом деле тридцать восемь, кругов. Правда и то, что Антону тридцать восемь лет. Выяснив меж собой все это, они садятся рядом, грустные и одинокие. Чтобы успокоить, обласкать Антона, отец начинает ко-

паться в кошелке, выбирая для него самые вкусные, самые красивые гостинцы. Кладет их на пень, как бы засыпая ими тридцать восемь кругов. Здесь, в лесу, испеченные мамой пряники — чудо из чудес. Антон бесконечно счастлив, что у него сегодня гости и что ему принесли из родного дома гостинцы.

— Мама пекла?

— Мама, кто же еще. Ты-то помнишь ее?

— Если приснится, с полгода после этого вижу ее прямо перед собой. Потом снова начинаю забывать, пока опять не приснится.

— Что же ты не приедешь погостить? Она, поди, ослепнет скоро, все высматривая вас.

Антон беспомощно оглядывается:

— На кого брошу лес?

Ест он с удивительным, встречающимся только среди лесников аппетитом, и, глядя на него, отец вспоминает, что в этот день маковой росинки во рту у него не было. А есть хочется — сил никаких! Вытащив из кошелки оставшийся кусок черного, казенной выпечки хлеба, он начинает его ощипывать, всячески скрывая голод.

— Пожую с тобой за компанию. Есть неохота — недавно обедал.

Антон, подозрительно последив за ним, спрашивает:

— Были у меня в лесничестве?

— Был. Как же!

— Хорошо теща приняла вас?

— Ничего. Как полагается.

— Чем угостила? Небось яичницей?

— Кажется, яички были на столе...

Призадумавшись, горько вздохнув, Антон говорит:

— Я вот не могу к ним притронуться. Воротит от одного запаха.

Уже само это воспоминание перебивает ему весь аппетит. Поднявшись с земли, Антон любовно рассовывает оставшиеся гостинцы по карманам, отец берет кошелку, и они уходят дальше. Идут долго, все углубляясь в лес. Разморенный сказочной тишиной и спокойствием, отец сонно плетется за Антоном, потом замечает в каком-то дальнем просвете среди дубов окраину какого-то поселения.

— Антон, как же ее зовут, эту малютку?

— Нэсэдены.

— Красивое имя! Сходим давай. Может, и стопочку там раздобудем!

Антон чем-то смущен.

— У нас, отец, еще получки не было...

— Что за беда! Я угощаю!

Антону совсем не хочется идти в Нэсэдены, но отцу осточертел этот лес, и прогулка в деревню не дает ему покоя.

На их счастье, день воскресный, праздничный, и нэсэденцы, собравшись небольшими кучками, стоят у перекрестков, у калиток, мирно беседуя о том о сем. Появление лесника с родным отцом вызывает несказанное оживление. Каждый старается затащить их к себе в гости. Один ведет в свой дом, остальные идут гурьбой, всячески отговаривая, заманивая их к себе. В одном доме они пьют свежее вино и закусывают орехами, в другом тоже пьют вино, но закусывают уже куриным студнем. Потом они попадают куда-то на крестины. Отец, повеселев после первого стаканчика, смотрит на всех добрыми, влюбленными глазами, все ему мило и любо в этой деревне. Единственное, что несколько омрачает его радость, — это какой-то глупый обряд провожания гостей в Нэсэденах. У калитки, прощаясь с ними, хозяева отводят Антона на пару слов, что-то шепчут ему, на что бедный Антон молча втягивает голову в плечи. Глядя на все это, отец возмущается: что за привычка расстраивать гостей на прощанье?

А в общем они чудно погуляли в Нэсэденах и под вечер, сытые, порозовевшие от вышитого вина, возвращаются лесом. Идут молча, стараясь не спугнуть покой поздней осени, и теперь даже отцу начинает нравиться лес в эту пору. И вдруг точно гром среди ясного неба — где-то совсем рядом раздается удар топора, и молчаливым шелестом высохшей листвы отдается эта боль по всему лесу. На этот раз подвыпивший отец лично решается стать на защиту зеленого друга. Сняв у Антона ружье с плеча, приняв стойку «к бою», как это делали солдаты в первой мировой войне, он бежит на стук топоров, на ходу ощупывая ружье и соображая, как из него стреляют. Несколько озадаченный и смущенный его решительностью, Антон плетется за ним.

Выстрел. Отец останавливается, поджидая Антона, чтобы спросить, отчего ружье само по себе выстрелило. А тем временем в ста шагах от него, вздохнув в последний раз листвой, падает молодой дубок. Несколько кол-

хозников, вспотевших от быстрой рубки, снимают шляпы и приветливо улыбаются отцу, как бы намекая на знакомство с ним.

Отца, однако, этим не возьмешь. Выпросив у Антона новый патрон, он все еще соображает, как бы ему перезарядить ружье, но эти многозначительные ухмылки воров выводят его из себя:

— Чего они, Антон, оскалились?

— Это же нэсэденцы, отец.

Старик потрясен. Мигом выветрилось все хорошее настроение. Говорит тихо, только для Антона:

— А как ведь угощали, как обнимали нас! Кто бы мог подумать, что, угощая, обнимая, они уже за нашей спиной точили топоры...

Отец возвращает ружье, и они поворачивают обратно. Идут молча, торопливо, как бы убегая от этого позора. Они уходят, а лесу остается расплачиваться за то, что отец полдня погостил у сына. Урожай виноградной лозы уничтожает вековую заросль леса, земля опустошает саму себя. Непостижимо, но это именно так.

Под вечер они стояли уже далеко за лесом, на обочине шоссе. Стоят грустные, виноватые в чем-то. Ждут попутной машины. Наконец Антон после долгих размышлений говорит отцу, печально глядя куда-то в сторону:

— Ты прости, отец, что я не смог как полагается принять тебя. Невезучий я. Вот, даст бог, избавлюсь от этих хлопот, съезжу за получкой, и потом, если заглянешь...

Глубоко тронутый его словами, отец говорит, низко опустив голову и пряча навернувшиеся на глаза слезы:

— Если бы все сыновья принимали родителей, как ты меня принял, в мире царили бы покой, любовь и достаток...

Остановился грузовик с полным кузовом мелких, недавно постриженных овечек. Из всей домашней скотины отец больше всего жалует овечек. Залез, сел меж ними как заправский пастух, машина тронулась, а наш брат Антон стоит еще долго, до самого заката, на обочине дороги. Смотрит на восток, туда, куда уехал отец, и так сильно, так до боли хочется ему уехать, уйти, хоть поползти за ним.

Нет, это мы сами придумали, что лес украл у нас Антона. Мы сами его оставили там, а он до сих пор

стоит и ждет, когда придем и заберем его, и поведем туда, куда уж и дорог нету, — в давно минувший мир нашего детства.

5

К вечеру на высоком, каменистом берегу показались живописные окрестности Сорок. Нежась в лучах негреющего осеннего солнца, город дремлет у подножия каменного обрыва на берегу реки. Свинцово-тяжелые воды Днестра дышат предзимним холодом. На нижнем, пологом берегу высится громоздкая, старая, но все еще красивая крепость. Одухотворенный этой громадой, отец начинает обход этого средневекового памятника, считает про себя бойницы и, охваченный воинским пылом, гордо, как полководец перед битвой, разглядывает окрестности. Дать бой или не давать — вот в чем вопрос. Лучше все-таки переждать. Худой мир лучше свары.

А время идет, день на исходе, и отец выходит на нижний берег Днестра, усаживается на пятачок полувысохшей травки и чувствует себя куда как хорошо в обществе огромной реки и древней крепости. Вкрадчивый шелест днестровских вод нагоняет на него дремоту. Он долго, по-юношески удивленно следит за этим величественным зрелищем движения вод, и оживают в его душе старинные песни его предков.

Отец, кажется, ни разу не купался в Днестре. Он, вероятно, даже не знает, с какого конца удочки держать. И все-таки каждый день своей жизни, каждый миг он знал, что, если идти к востоку, через тридцать с лишним верст выйдешь к водам Днестра. У каждого народа есть своя великая река. У нас, молдаван, есть Днестр. И весной, во время разлива, и в жаркие месяцы лета, когда почти пересыхает русло, Днестр для нас остается неизменно большим, красивым и могучим.

Сняв ботинки, закатав брюки до колен, отец подходит к самой воде, становится на полоску влажного песка. Временами Днестр покрывает пенистой волной его ноги, и эта осенняя холодная вода вдруг выпрямляет старику плечи, заставляет выше поднять голову. В мгновение ока свершается сказочное превращение, и вместо измотанного дорогами и нуждами старика, только что присевшего неподалеку отдохнуть, стоит на берегу

гордый, полный могучей силы и великих замыслов человек.

Шуршит песок под чьими-то ногами, и отец оборачивается. Со стороны пляжа идет, покачивая полными бедрами, молодуха в купальнике. Бедра — это то, что отца особенно волнует в женщинах. Спешно прихорашивая себя, покашливая для пущей храбрости, он выходит ей навстречу. Девушка, несколько удивленная его решительным видом, останавливается. Отец, разглядывая ее загорелые коленки, спрашивает:

— Девушка, что я у вас хотел спросить...

— Вы, или ваш сын хотел?

Бросив беглый взгляд на закатанные до колен брюки старика, она уходит, так же заманивающе раскачивая бедрами, а отец стоит совершенно растерянный. То посмотрит на древнюю крепость, то взглянет на величавую реку, то пощупает закатанные до колен брюки и еще раз проводит взглядом удаляющуюся красотку. И хороша, слушай, сил никаких, да вот не обращает внимания.

В городе старик первым делом идет в парикмахерскую. Стрижка тянется очень долго. На его макушке вдруг восстал хохолок, и замученный вконец парикмахер просто ума не приложит, как с ним быть. То подстрижет, то закрутит, то уложит, а толку никакого. Старик, вытащив руку из-под белой накидки, показывает парикмахеру, как надлежит ему поступить с вихорком — приласкать, пригладить, упрятать куда-нибудь.

У входа в городской парк отец сидит на высоком стуле, отдав свои ботинки чистильщику. Когда тот, сдув последние воображаемые пылинки, отпускает его, отец перед тем как заплатить, снимает ботинки, придирчиво оглядывает со всех сторон обувь и, обнаружив несколько пятен, не доведенных до положенного блеска, возвращает чистильщику ботинки. Колхозник зарабатывает деньги трудно и если уж выложит копейку, то требует первоклассный товар.

С начищенными ботинками старик долго бродит по узким безлюдным переулкам Сорок. Приглядывается ко всем калиткам, потом, выбрав себе одну, низенькую, открывает ее, снимает пиджак, вешает на калитке, как обычно вешают одежду на спинке стула, и, поплевывая в ладони, чистит его. Непосвященному может показаться, что старик увлекся этой красавицей в купальнике, но в действительности он и думать о ней забыл. Де-

ло в том, что Серафим, младший из нас, еще студент, собирается жениться и отцу не хотелось бы показаться перед будущей невесткой рангом ниже, чем ему подобает.

С полчаса уходит на поиски ветеринарного техникума, потому что каждый год студенты переходят с курса на курс, а сам техникум — из одного помещения в другое. Теперь, хоть и удалось найти здание сравнительно легко, толку мало. Техникум безмолвствует. Окна и двери широко открыты, в классах две старушки моют полы, в коридорах развешаны новые плакаты — то продольные, то поперечные разрезы коров, лошадей, овечек, и, ужаснувшись этой бойне, отец уходит.

В общежитии Серафима тоже нет. В большом двухэтажном здании ни души. Вид бесконечного количества аккуратно заправленных кроватей нагоняет на старика сонливость, но, спускаясь по лестницам, он вдруг слышит рядом, во дворе, дикий крик восторга истинных болельщиков.

На трех площадках студенты играют в волейбол. Играют вместе — и парни и девушки. Пасы отличные, удары мощные, вой оглушительный, и отец, прогуливаясь вокруг сеток в поисках своего младшего сына, увлекается игрой и начинает тоже болеть. И вдруг он слышит веселый, задорный голос:

— Что, старик, очухался?

Улыбаясь, отец положительно качает головой, но Серафим это вряд ли видит. Он играет у самой сетки. Прыгает высоко, удары его сильны, мощны, и, выиграв очко, он кричит старику:

— Погоди, вот обыграем врачей, тогда нацелуемся!

Следя за игрой сына, отец хитро, незаметно для других подмигивает ему, сообщая, когда нужно вбивать гвозди на территории противника. Серафим бьет, выигрывает очки, и отец несказанно рад.

Серафим — его большая любовь. Парень он живой, учится хорошо, несмотря на то, что те несколько коров из нашей деревни, которых он взялся вылечить, подохли. Что поделаешь, в ветеринарии, как и в любом живом деле, всякое бывает. К тому же был он тогда на втором курсе, а коровы, как на грех, болели недугами, которые преподавались только на четвертом.

В густых сумерках, когда уже трудно установить, нарушаются или не нарушаются правила, игра кончается, и Серафим, наконец поздоровавшись со стариком, ве-

дет его усталой походкой в общежитие. Перед входом он отводит старика в сторону и доверительно шепчет:

— То, что я вам сейчас скажу, должно остаться между нами.

— Закон. Как же!

— Понимаете, жениться надумал. Как вы считаете?

Серафим еще с седьмого класса надумал жениться и до сих пор никак не угомонится. Мы часто подшучиваем над его женитьбой, но отец не позволяет себе никаких двусмысленностей с детьми. Старик размышляет долго, словно от его ответа в самом деле зависит судьба сына. Потом говорит полушепотом:

— Что ж, если ты решил, то, как говорится, в добрый час.

Серафим по-бабьи притворно вздыхает:

— Хорошо бы, отец, а то извелся от одиночества!

— Какое одиночество, когда вас тут полно!

— Да нет, я имею в виду моральное одиночество.

— Ну разве что...

Через минуту он спрашивает веселым, озорным голосом:

— Показать ее?

Отцу, ясное дело, хочется взглянуть на невестку, и вот он в женском общежитии. Серафим, каким-то чудом успевший уже умыться и переодеться, бегает по длинным коридорам, раздает направо и налево привезенные отцом гостинцы, а сам отец, увлекшись каким-то плакатом, стоит, уткнувшись лицом в стенку, потому что такого количества красивых барышень он еще не видел в своей жизни. Одни стирают, другие гладят, третьи куда-то бегут, а иные просто стоят в коридоре и ждут, чтобы им сказали, какие они хорошенькие.

Вернувшись откуда-то, Серафим для храбрости хлопает старика по плечу. Из длинных сумрачных коридоров появляется молоденькая девушка, видимо впервые надевшая спортивные брючки и поэтому ужасно смущающаяся. Увидев отца, она останавливается, вопросительно смотрит на Серафима, а тот, злодей, став боком к старику, как бы говорит: «Понятия не имею, кто такой». Потом, как только девушка подходит, говорит безжалостно, точно сплеча рубит:

— Познакомься с моим отцом.

Покраснев до ушей, окинув Серафима свирепым взглядом, она, едва протянув кончики пальцев старику

и что-то пробормотав, тут же убегает в густой сумрак коридора. Спускаясь по лестницам со второго этажа, Серафим вводит старика в курс дела:

— Молоденькая, с первого курса, но характер — прелесть!

— Стыдливая, — говорит отец, — скромная.

— Ну ты не спеши ее расхваливать, я еще окончательно не решил, есть еще одна на примете.

В маленьком скверике Серафим останавливается возле скамеечки, на которой сидят три девушки, и знакомит всех трех с отцом. Как только они отходят от девушек, отец спрашивает:

— Какая из них?

Серафима это мало тревожит:

— Чего спешить? Поживем — увидим.

В городском Доме культуры, бросив старика в узком коридоре, возле сваленных в кучу старых декораций, Серафим бежит в танцевальный зал. Свободных девушек нет, все они танцуют, но это его нисколько не смущает. Остановив танцующую пару и взяв девушку, он, не пройдя с ней и круга, выводит ее из зала, ведет по узкому коридору и знакомит с отцом. Затем, оставив девушку перед стариком, тут же летит обратно и ведет знакомить другую. Через некоторое время, когда он спешит по коридору с высокой накрашенной блондинкой, отца уже нет возле сваленных в кучу декораций: старик не выдержал.

Глубокой ночью Серафим, сидя за столом, учит у крошечного ночника про телячьи заболевания в период молочного кормления, а отец лежит, уютно устроившись на студенческой кровати, и блещут гордостью, счастьем блещут стариковские его глаза. И думает теперь отец: что за бедовый, что за отчаянный парень вырос в его доме! Такой одолеет все, что ни задумает.

— Ну учи, учи...

Рано утром, когда город еще спит, они идут вдвоем по пустынным переулкам. У городской кассы аэропорта они садятся на длинную, нарочно поставленную тут скамейку. Отцу что-то не по себе, он долго, упорно думает о чем-то. Вытащив из кармана оставшиеся рубли, деликатно отвернувшись, чтобы не совращать деньгами сына, он начинает их считать, все больше и больше разочаровываясь. Серафим, невероятно любопытное суще-

ство, чуть приподнявшись со скамейки и заглядывая через плечо отца, считает вместе с ним. Дело, конечно, сложное. Недолго уговорить старого человека впервые полететь самолетом. Труднее помочь ему, когда у него денег на билет не хватает. Серафим соображает, как быть. Горько вздохнув в знак своих больших материальных затруднений и чуть отвернувшись, достает свой кошелек. Потрясенный отец, чуть приподнявшись со скамейки, заглядывает через его плечо. Сын, оказывается, состоятельнее отца, и это в общем понятно. Серафим на редкость трудолюбив, он терроризирует все кишиневские газеты стихами о своей первой любви. Изредка случается, что какая-нибудь газета не выдерживает его натиска и расскажет читателям, какие страсти клокочут в его груди.

Серафим честно, по-мужски, делит с отцом свое богатство. Старику очень неловко брать у своего любимца деньги, и он, в сомнении разглядывая небо, спрашивает:

— Слушай, а не может так случиться, чтобы самолет сорвался с высоты и врезался в какой-нибудь овраг?

Серафима смешит до слез эта деревенская наивность.

— Вам-то что! За все отвечает летчик.

После восхода солнца шесть невыспавшихся и поэтому недовольных всем на свете пассажиров садятся в маленький двухмоторный самолет. Наш отец поднимается последним по трапу. Он, кажется, еще не решил про себя: лететь или, может, лучше не лететь? На последней ступеньке, вдруг что-то вспомнив, круто поворачивается и кричит стоящему у трапа Серафиму:

— Ты, сынок, если еще случится играть в мяч, не бей плашмя, а вдарь вот так, кулаком, будет куда грознее!

Серафим глубоко разочарован:

— Вы меня учите?!

Отец растерянно улыбается, хочет свести это замечание в шутку, но у него из-под ног выхватывают лесенку, и старик спешит в самолет. Оглушительно взвыли моторы, забилась мелкой дрожью полувысохшая трава, и самолет, похожий на птицу с подбитым крылом, побрел по полю. На старте стихнув, как бы вздремнув перед дорогой, он тут же оглушительно взвыл и, почти сразу оторвавшись от земли, полетел.

Сонные, потерявшие к тому же и землю из-под ног,

пассажиры чувствует себя отвратительно. Один отец бодро ходит по самолету, словно ему и горя мало, взлетела эта штука или все еще пасется на аэродроме. То, что самолет, набирая высоту, валится в воздушные ямы, только веселит его, напоминая о давно минувшем детстве, о весенних праздничных качелях. Развернув билет, старик ходит по самолету и спрашивает, куда ему присесть. Один из шести пассажиров, по виду сельский учитель, ищет что-то в карманах дрожащими руками и, чтобы избавиться от маячащего перед ним старика, хватает его за полу пиджака и, рванув к себе, усаживает рядом на пустующую скамейку. Отец тут же драчливо поднимается, тщательно исследует то место пиджака, за которое его ухватили, потом осуждающе смотрит на учителя, точно говорит ему: «А я принял было вас за образованного человека!» Убедившись, что пиджак в целости, он садится на ту же скамейку, но садится сам, без чьей-либо указки. Даже тут, в воздухе, свобода для старика — превыше всего.

На несколько секунд в самолете темнеет, потом с такой же неожиданностью проясняется. Отцу это кажется забавным. Рядом крохотное круглое окошечко, и, прильнув к нему, он замирает, завороженный увиденным зрелищем. Тяжелые седые горы без камня и песка, без пастбищ и пастухов медленно плывут в бескрайнем синем просторе. Самолет слепо лезет на них — одну срежет мотором, другую распорет крылом, и все как будто очень довольны: самолет летит, тучи плывут своим путем, солнце скупо, по-осеннему греет, а небо синее-синее, как в сказке.

Отец ищет, с кем бы поделиться, но кругом ни одного достойного этих царских зрелищ молдаванина. Все сидят, как наседки, не шелохнувшись, и каждый старается не замечать другого, чтобы и тот, в свою очередь, не очень глазел. Старик возвращается к окошку. Бог с ними, с попутчиками, хоть бы самому насмотреться.

Далеко под крылом самолета в серой дымке медленно извивается зеленая черноголовая ящерица. Несколько левее — длинный серый ремешок, на нем висят, как нанизанные, две цветные бусинки. Тоненькая ниточка дыма посреди вспаханного поля, кучки разномастных крыш, собранных то тут, то там по ложбинам. Старик кажется озабоченным: неужели это все, что осталось от всей республики, от целого народа?.. Откинувшись на спинку стула, закрыв глаза, он повторяет про себя все явившееся

ему и вдруг удивленно присвистывает, потому что только теперь увиденная картина становится осмысленной. Он возвращается к окошечку проверить, и, конечно, так оно и есть — ящерица оказалась поездом, длинный ремешок — шоссе, две бусинки — это два автобуса. Только народу не видно, не разглядишь с высоты.

Странное дело, но теперь отец начинает жалеть, что полетел самолетом. Прожив всю свою жизнь там, на земле, нет смысла глядеть на нее еще с такой высоты. Ему кажется, что один бог может смотреть на землю с такой громадной высоты, а для человека это тяжкий грех.

Самолет, разворачиваясь, ложится то на правое крыло, то на левое, земля то становится на дыбы, то проваливается куда-то, и отец отворачивается от окошка. Оставшиеся полчаса пути он сидит не шелохнувшись, благородный и мудрый. Высота, что ни говорите, обязывает. Теперь отец объясняется в любви нашей матери, соседям, всей деревне и вообще всему миру. На двухкилометровой высоте он загорелся к ним такой жгучей, неистовой любовью, какой не испытывал ни разу за семьдесят лет жизни там, на земле.

В Кишиневском аэропорту выходят из самолета шесть бледных, усталых в дороге пассажиров и просветленный в этом полете старик. Потом, у выхода из аэровокзала, отец просиживает несколько часов подряд не шелохнувшись. Люди улетают в Москву, Ленинград, в Болгарию и Румынию. Не успев прилететь, они садятся в другие машины и снова отправляются в путь.

Врожденная склонность к полету — это редко встречающийся божий дар. И тем горше, когда этот талант обнаруживается у семидесятилетнего старика. Дарование есть, но нет самого человека, он, рожденный летать, всю жизнь пешочком протопал по земле и состарился.

Подошел милиционер и строго похлопал старика по плечу. Отец встал, порывшись в кармане, вытащил рубль, но, оказывается, дело было не в этом. Просто у выхода с аэродрома не положено сидеть, и, пока милиционер объясняет, в чем дело, старик наконец соображает, что он уже в Кишиневе. Выходит через здание вокзала, садится в маленький запыленный автобус. После полета такая машина сущее издевательство. Едет автобус мучительно медленно, отец сидит у окошка и ждет, когда наконец покажется город. Окраина нашей столицы очень похожа на обычную деревню, и, дожидаясь, когда за

этой нескончаемой деревней покажется город, старик задремал.

А в Кишиневе стоит красивый, в меру прохладный, в меру солнечный день. Вдоль тротуаров бегут густые ряды все еще зеленых каштанов, солнечные блики, просочившись сквозь зелень, прыгают по густому потоку пешеходов. Потом шофер маленького автобуса резко тормозит, и отец просыпается. Длинные, неподвижные ряды автобусов и троллейбусов на центральном проспекте, прервано все движение, и потоки пассажиров бегут выяснять, что случилось...

На площади Победы соревнуется в велосипедном спорте ребятня из детских садов Кишинева. Отец присоединяется к мамашам-болельщицам, он даже заприметил красный беретик, который, по его мнению, должен победить. Но, взглянув на солнце, отец становится грустным. В Кишиневе много всяких диковин, но на то, однако, и дана мужику голова, чтобы не терять попусту время.

6

Длинный пятиэтажный дом на центральной улице. Старик входит во двор, блаженно улыбаясь всем встречным, словно все они, живущие в одном доме с его сыном, его лучшие друзья. Поднявшись на второй этаж, он тут же спешит нажать кнопку звонка, но, что-то вспомнив, виновато опускает руку и стоит у двери, прислушиваясь. Какой-то чудак сказал ему, что самое страшное для писателя — это когда его отрывают от работы. Поэтому, говорили ему, они не доводят до конца и одной трети начатых ими книг. А отцу, ясное дело, не хочется, чтобы из-за него погибло хорошее дело.

Пишущей машинки не слышно, и он тихо, виновато стучит. Никто не отвечает, и он стучит вторично. Потом звонит долго, тревожно, а ему все не отвечают, и он поник, опечалился. Вот уж темная деревня! Сколько раз я ему писал, что меня осенью не будет в Кишиневе, что осенью я переберусь в Москву, — старик этому не может поверить и, оказавшись в Кишиневе, спешит по старому адресу.

Огорченный, он сходит по лестнице, выходит через ворота, смешивается с толпой на тротуарах, привнося в живой городской ритм пешеходов медленный, измеренный другими заботами темп. Идет долго по центральной

улице, никуда не сворачивая, и то затеряется в толпе, то снова вынырнет. У низенького здания центральной молдавской газеты останавливается. Чему-то радуется. Уже лет десять, как я не работаю в этой газете, но отец, верно, думает про себя: вдруг зайдет, откроет дверь, а я сижу как ни в чем не бывало за своим столиком!

В редакции, как всегда перед зимой, идет капитальный ремонт. Стулья составлены горкой, на столах лежит кирпич, на запорошенном пылью полу без конца трещат телефоны, а по коридорам бегают литработники с корректурой, с читательскими письмами. Открыв поочередно все двери и убедившись, что меня нет, отец уходит. Уже у самого выхода он вдруг слышит за спиной:

— Эй, старина!

Курьер редакции, только что присевший выпить свой обеденный чай, узнал его. Они долго, с достоинством приветствуют друг друга, потом отец, увидев стакан горячего чая, чрезвычайнейше удивляется.

В ответ курьер хлопает себя по карманам, как бы говоря: ну решительно ни копейки! Отец, предварительно оглянувшись, дабы не наскочило слишком много любителей, таинственно кивает в сторону выхода.

В винном погребке, что напротив редакции, отец берет бутылку столового вина, наливает два стакана и выжидательно смотрит на курьера. А тот, хоть и свой, деревенский человек, тянет душу. Пьет вино долго, со смаком, потом, намазав кусок хлеба горчицей и посыпав солью, принимается говорить, возмущаясь по мере того, как наедается горчицей. От него отец узнает, что плохи мои дела. Лежит в редакции двухподвальная статья, и разносят меня в этой статье так, что не остается камня на камне.

— Но что хуже всего — это подпись! — говорит курьер, и, подняв палец, показывает на потолок столовки, как бы намекая на уровень и происхождение подписи под статьей.

Взглянув на потолок, отец втягивает, как и Антон, голову в плечи, косится на всех входящих в погребок, словно все они прикладывали руку к этой статье. Потом, то ли от того, что в подвале накурили много, то ли от услышанных новостей, отцу становится невмоготу, и он уходит, оставив курьера с недопитой бутылкой. Идет медленно, останавливается у каждой газетной витрины, ищет злополучную статью. И думает теперь старик, что зря я взялся за это дело. Если бы, послушавшись его,

поступил в школу милиции, вгонял бы теперь в холодный пот целые районы, вместо того чтобы у самого коленки дрожали.

На одном перекрестке из окон переполненного, уже трогающегося с места троллейбуса отец слышит:

— Одну минуточку!

Троллейбус снова останавливается. С трудом протиснувшись, выходит молодой человек. Отец припоминает его и тут же, заведя в первый двор, дрожащим голосом начинает пересказывать все, что ему стало известно обо мне. Молодой человек долго хохочет над страхами старика, потом деликатно берет его под руку и начинает сам излагать существо дела.

Старику очень повезло встретить моего старого приятеля по газете. От него он узнает, что от написанной до напечатанной статьи — все равно что от земли до неба. И потом — даже если и появится статья, это еще ровно ничего не значит! Кто сказал, что член Союза писателей боится здоровой, нормальной, доброжелательной критики? И что значит высокая подпись?! Разве на ту высокую подпись не может появиться еще более высокая подпись?! В подтверждение этой мысли мой старый друг приглашает отца в тот же погребок напротив редакции, берет бутылку того же столового вина. Растроганный отец выкладывает перед ним гостинцы, которые полагались мне, и это родство душ постепенно становится кровным родством.

В сумерках, на ходу сев в битком набитый поезд, с трудом перелезая через связки чужого багажа, отец вспоминает, что и сам собирался сделать какие-то покупки в Кишиневе. Теперь запамятовал, что именно хотел купить, но, блуждая по вагону и разглядывая чужие покупки, он в конце концов обнаруживает у одной старушки, скромно сидящей в уголочке, ту самую тарелку, которую собирался купить в Кишиневе. Подсев к ней и разглядывая тарелку, отец начинает плести какие-то небылицы, старушка мечтательно улыбается и в конце концов уступает ему свое сокровище. Пока она завязывает в платочек полученные деньги, отец благоразумно решает перейти в другое купе — не ровен час еще передумает.

Основная часть пассажиров — колхозники из близлежащих к Кишиневу сел, и через час-другой вагоны со-

вершенно пустеют. Отцу становится скучно сидеть одному, и он отправляется на поиски попутчика. Встретив в соседнем купе такого же старичка, он подсаживается к нему, для знакомства показывает только что перекупленную у старушки тарелку. Тому тарелка нравится, и он, в свою очередь, достает полдюжины чайных стаканов, показывает их отцу, и последнему, конечно, стаканы очень по душе. Выпивка — это такое дело, что никто не знает заранее, что разобьется потом: одни бьют тарелки, другие — стаканы.

Поздней ночью в вагоне выключили свет, оставив дежурить только бледно-синие лампочки. Пассажиры, которым еще долго ехать, уютно свернулись на казенных постелях, спят разъезды и вокзалы на пути, сидя дремлют проводницы. Только два старика, согретые свежей дружбой, в чем-то схожими заботами своими, тихо переговариваются. Сначала один рассказывает свое житье-бытье, а другой слушает, сочувственно кивая головой, потом другой рассказывает, а первый решительно со всем соглашается.

Теперь отец, вернувшись, долго будет гадать, как там устроится его попутчик, имея четырех взрослых дочерей, а тот, в свою очередь припоминая свою поездку в Кишинев, будет долго гадать над судьбами нашего отчего дома.

Рано утром, на рассвете, засветилась меж холмами черепичная крыша нашего вокзала, показались четыре высоких тополя, паровоз прогудел свое прибытие, а отец стоит у входа бледный и гадает: «Неужели так-таки и не остановится?..»

Далеко за вокзалом, почти в поле, летит по железнодорожной насыпи купленная отцом тарелка. Следом за ней летит отец. Догнав тарелку, он долго барабанит по ней пальцем и остается чрезвычайно доволен, что тарелка цела. Тем временем поезд, возвратившись к перрону, останавливается во второй раз.

Проводив поезд, отец, ясное дело, идет узнать, не закрыли ли чайную. Она еще в строю, эта чайная, и старик выпивает по этому поводу сто граммов. Потом, перебравшись через грязный перекресток, спешит в поле. На окраине два грузовика ждут пассажиров, но отец, ощупью сосчитав оставшиеся в кармане деньги, решает плестись пешком.

А осень уже на исходе. Небо сплошь затянуло тучами, моросит мелкий дождь, но земля промерзла глубоко, и идти очень скользко. Отец думает о том, что, когда неделю тому назад он отправлялся в дорогу, было теплее, теперь холод пробирает до костей, и он спешит, идет огромными шагами, широко размахивая, как на косовице, руками.

В первой же деревне он вдруг останавливается. К нему каким-то чудом прорвалась необычайно задорная, хмельная от веселья танцевальная мелодия. Отец слушает, как будто удивляясь, и, пока он ее слушает, она завладевает всем его существом. Увы, отец у нас музыкален от рождения, и самый незамысловатый мотив может заманить его.

Отложив возвращение, отец спешит по переулкам, пока не наталкивается на сельскую свадьбу. Около двухсот разнаряженных колхозников стоят, заполнив весь двор. Десяток музыкантов, сидя на завалинке, разошлись вовсю, и на промерзшей, застеленной старой соломой земле разгорается танец. По установившейся кругом тишине отец догадывается, что танцует и хозяин, у которого справляют свадьбу. Все танцоры удивительно похожи на седого старика, танцующего рядом с женихом. Танцуют не очень хорошо. То ли из робости, то ли из чрезмерного уважения, но все пятеро копируют старика, и тот, чтобы раззадорить их, нет-нет да и выкинет какое-нибудь коленце, на радость глазеющей публике. И думает отец, что теперь уж ни за что не соберет он нас, чтобы показать танец, который только он один и помнит. Все мы, слава богу, здоровы, кусок хлеба у нас есть, но только что-то случилось, после чего немыслимо собрать нас кру́гом, чтоб, взяв за руки, танцевать. Время нашего веселья ушло, и, увы, воротить его никому не дано.

И вот старик снова в дороге. Идет быстро, потому что осенью погода переменчива, ни за что не угадаешь, во что может обернуться моросящий сверху дождик. На окраине другой деревушки он снова останавливается, изумленный. Увидел в одном садике огромную яблоню — голые ветки, ни единого листочка, а на ветках плоды еще гроздьями висят. В самом конце осени да вдруг неубранные яблоки! Прислонившись к забору, отец долго недоверчиво разглядывает их. Рядом лает собачонка, на крыльцо выходит сухощавый человек чуть моло-

же отца. Старик наш удивленно переминается с ноги на ногу.

— Скажите, как они держатся, яблоки эти?

— А у них, видишь ли, хвостики!

Хозяин диковинного дерева идет в сад, срывает крупное яблоко, подходит и протягивает отцу. Старик долго разглядывает это чудо, потом, стыдливо почесав затылок, просит:

— Уж если вы хотите порадовать, то дайте еще одно. Старушка у меня дома и, право, ни за что не поверит...

Тот, несколько смущенный своей недогадливостью, возвращается к яблоне. Потом оттуда спрашивает:

— Может, кроме старухи, еще кто есть?

Низко опустив голову, отец вздыхает и, превозмогая огромную, неведомую ему ранее боль, отрицательно качает головой.

В свою деревню он добирается под самый вечер. На окраине села у первого же колодца стоит девушка с двумя полными ведрами. Она стоит, одетая в легкое платьице, в старом свитере с короткими рукавами, стоит, посиневшая от холода. Как только доносятся совсем близко шаги старика, она, ловко подхватив ведра, быстро переходит перед ним дорогу. Потом, поставив ведра у родительской калитки, говорит, улыбаясь большими черными глазами и как бы даже завидуя ему:

— Теперь вам правда очень повезет...

Отец вздрагивает, словно этот тоненький голосок вернул его из какого-то далекого мира. Улыбается.

— Да мне, дочка, уже повезло!

А наша старая мать по-прежнему стоит у калитки, выжидая нас. Тихо дымится крыша старенького домика, топят и соседи справа, и слева, и вся деревня теперь, поздней осенью, топит. Мама стоит у калитки, смотрит не мигая вдоль дороги и, вздрогнув, вдруг улыбается. В переулке показывается остроконечная шапка отца. Но, последив за ней еще некоторое время, мать горестно всплескивает руками: о боже, опять возвращается выпивши...

Поздней ночью из серо-черной высоты неба начинает прилетать и долго кружить над степью первый снег. Все замерло, как в час великого противоборства, а снежинки медленно кружат, приближаясь к тому месту, на кото-

ром лежать им зимушку долгую. За первыми снежинками пошли другие, и снег все валит и валит. Запорошены снегом огромная долина, колодец с журавлем и неподвижный ворон. Мягко стелются снежинки над холодными водами Днестра, кружатся веером в глухих лесных оврагах, и на центральной улице Кишинева, на тротуарах, девственно белеет первый снег. Идет снег и у нас во дворе. Побелели крыши, и завалинки, и весь двор.

Ушла осень, а вместе с ней кончилась пора гостей в Молдавии. Теперь уж, когда зайдет речь о нас, уехавших, наши близкие задумчиво улыбнутся и подумают вслух:

— Даст бог, будущей осенью свидимся...

А на второй день чуть свет по занесенному снегом двору проходит наш гордый, дерзкий петух, и, с ходу прыгнув на порог, хлопнув крыльями, он трижды, по-библейски, на всю окраину, горланит.

Милый ты мой друг! Если мне когда-нибудь суждено будет вернуться, я привезу тебе два мешка чистой пшеницы и множество расчудесных курочек, чтобы сохранить вовеки твой жизнелюбивый мудрый род.

1963

Моцарт в конце лета

ХРАНИТЕЛИ ДОМАШНЕГО ОЧАГА

Страна моя, Эстония... Сначала о земле или, если хотите, о хлебе, что, в общем, одно и то же. Писать об эстонской земле сложно, потому что Эстония — сугубо «морская» республика. Протяженность ее береговых линий, включая бесчисленные острова, около трех с лишним тысяч километров. Существует даже поговорка, что эстонец приходит в мир не то с удочкой, не то с веслами. И все-таки сначала о земле. Она — колыбель нации. Куда и на чем бы ни плавал эстонец, в конце концов он вернется сюда, на свою землю, и все то, о чем ему мечталось на море, он создаст здесь, на земле. Но море тоже не уйдет насовсем из его жизни, и, может, потому в каждом эстонском домике у входа красуется совершенно круглое, как иллюминатор, окошко, а сами дома ухожены и убраны, как ухожены и убраны обычно только корабли.

Итак, стало быть, о земле. По иронии судьбы эта горячо любимая эстонцами земля, если подойти к ней без символов и высокой поэзии, на редкость скупа и сурова. Небольшие просветы в хвойно-лиственном мелколесье скрывают в своей заболоченной почве одни камни, да глину, да невыкорчеванные пни. Эстонские крестьяне, очистив эти участки семь или восемь веков тому назад, до сих пор копаются в них. И сегодня они так же, как и их далекие предки, носят камни на себе, выкорчевывают пни, так что в эстонском понимании крестьянин означает не столько «человек, обрабатывающий землю», сколько «человек, выкорчевывающий пни да осушающий болота».

И тем не менее она очень красива, эта эстонская земля. Зелень не такая темная, как на юге, но более сочная и обильная. Природа раскрепощена, сыта и достойна. Это, разумеется, достигнуто не без человеческого труда, но труд этот так упрятан, что его почти не видно. В природе очень важно сохранить чувство разумного

равновесия, чувство естественной гармонии — эстонцы это отлично понимают. Две березки посреди небольшой пшеничной поляны — это может быть хорошо, но может быть и плохо. Зависит, как на это посмотреть. Хорошо, может быть, потому, что красиво, гармонично. Плохо потому, что трудно механизировать работы на столь малом участке да еще с двумя березками посредине. Эстонцы предпочитают куролесить на тракторе, убирать вручную, но две березки посреди поляны у них стояли пятьсот лет тому назад, стоят они и сегодня.

Реки, озера, опять жиденькие леса, а внутри их небольшие просветы обработанных земель. На каждом из таких участков высится памятник мужественным хлеборобам — высокая гора валунов. На одних землях эти курганы заросли чертополохом, в других местах камни еще свежи, со следами спекшейся глины на них. Но камни и пни — это еще полгоря. Страшнее для эстонского колхозника болота — излишняя увлажненность почвы. Нет такого участка в Эстонии, по которому бы не бежали глубокие, в человеческий рост, канавы, и с ранней весны до поздней осени эти траншеи наполовину заполнены водой. А тракторы урчат на полях днем и ночью, прорывая новые или прочищая старые канавы.

Камни, болота, пни — в конечном счете начинаешь спрашивать себя: а не слишком ли дорого платит эстонец за те скудные дары, которые он получает от своей земли? Да ведь как сказать! Хлеб насущный, он насущный и есть, и тут уж неважно, во что он обходится. Человека должна прокормить земля, на которой он живет, — это старинный союз, заключенный нашими предками с землей, на которой они осели, и этот союз должен быть для нас свят. Хотя трезвый и рассудительный эстонец не хочет забыть, во что ему обходится хлеб насущный. Во многих булочных красуется на стенах выжженный по дереву или отчеканенный на пластинке металла образ крестьянина, взвалившего себе на плечи огромный валун. Есть много мудрости в том, как исполнен и где висит этот символ. И неудивительно, что эстонец никогда не отрежет себе больший кусок хлеба, чем ему нужно, и сколько я ни ездил по республике, нигде не видел, чтобы в местах общественного питания на столах оставался недоеденный хлеб.

В этом целомудренном отношении к хлебу насущному есть нечто глубоко нравственное. Этим эстонец живет, на этом он воспитывает своих детей, и должен ска-



зать, что здесь на редкость трудолюбивая и вдумчивая детвора. Они помощники в доме, помощники в поле. Дети самых обеспеченных семейств уходят летом на сезонные работы. Каждый подросток знает, сколько он примерно заработает за лето и на что употребит свой заработок. Подростки красуются в кофточках, купленных на собственные деньги, катаются на собственных велосипедах, гоняют на лугу купленный в складчину мяч. И, думается мне, ничто не может развить в подростке чувство независимости и самостоятельности больше, чем эти летние недели, проведенные на работах вместе со взрослыми.

Я долго высматривал на улицах эстонских городов милую всем нам картину — воспитание своего ребенка на глазах честного народа. За месяц я не видел ни одного публичного отчитывания, точно эстонцы всему научили своих малышей еще в пеленках. Правда, не нужно упускать из виду, что эстонцы по природе своей на редкость молчаливы. Они молчат дома, в кругу семьи, молчат на работе, молчат в дороге, но, поскольку живому человеку столь долгое молчание в конце концов становится невмоготу, они собираются по вечерам в кафе, каких здесь великое множество. По вечерам в эстонских кафе стоит ни с чем не сравнимый шум и гам, а к полуночи все стихает.

Может, потому, что они в большинстве своем выросли на хуторах, а хутор в Эстонии — это два-три домика, окруженных тишиной и лесами, эстонцы встают очень рано, хватки до работы, точно до сих пор каждый из них имеет свое хозяйство, за которое он отвечает перед самим собой. Эстонцы все время что-нибудь да придумывают, что-нибудь да мастерят. Причем, не успев завершить одно дело, они уже замышляют другое, так что работы у них всегда хоть отбавляй.

О, эти удивительные руки эстонца, чего они только не придумают, на чем они только не оставят свой след! Человек, плохо делающий свое дело, здесь все равно что пропащий человек. Для эстонцев это явление не столько экономического, сколько нравственного порядка. И надо сказать, они многое умеют делать. Народный умелец сидит в каждом эстонце, вопрос только в том, до какой степени ему удалось раскрыть себя.

Эстонское всеумение — это явление в высшей степени любопытное. В век сплошной автоматизации, в век ракет и атомной энергии они находят тысячи способов,

чтобы отточить свое умение, и этим своим пристрастием они и не думают поступаться. Даже если это идет вразрез со здравым смыслом. Казалось бы, какой резон сегодня шить и вязать на себя, когда вокруг столько швейных и трикотажных комбинатов; казалось бы, зачем постигать тайну каменщика, плотника, маляра, когда вокруг идет массовое строительство, а для индивидуальных застройщиков готовятся целые комплекты и узлы; казалось бы, зачем в домашних условиях ткать ковры и дорожки, упражняться в кулинарных премудростях, когда все это можно купить в магазине, а время, потраченное на эти мелочи, можно было бы использовать с большей пользой?!

Но тут выходит на первый план очень интересная и своеобразная логика эстонца. Конечно же, самому себе строить дом, украшать его изделиями своих рук, садовничать на крохотном пятачке — все это экономически невыгодно, однако одной экономикой жизнь ведь не исчерпывается. Есть еще и нравственная сторона дела, и дальше за экономической невыгодностью начинается глубочайший смысл нашего бытия. Начинается процесс творчества, процесс воспитания вкуса, процесс становления человеческой личности. И то, что будет найдено здесь, на малом поле труда, будет вынесено потом на большое поле, в государственном масштабе. И не потому ли здесь колхозные поля так же чисто убраны и ухожены, как и приусадебные участки, не потому ли на окнах сельсоветов висят кружевные занавески и самый неказистый шофер Эстонии не сядет за руль, если у него в кабине не будет цветочка, хотя бы искусственного.

При всем этом в Эстонии вечно не хватает поля для приложения своего индивидуального умения. Над этим бьется каждый в отдельности, об этом печется правительство республики, и вот уже в Таллине появилась уникальная в нашей стране организация по имени Уку. В эстонских народных преданиях Уку — хранитель домашнего очага. И он действительно появился в Таллине, чтобы постоять за быт эстонцев, чтобы сохранить и украсить его. Смысл этой организации в следующем. Каждый эстонец, любящий и умеющий делать предметы домашнего быта, может прийти сюда и получить консультацию художника-прикладника, может получить нужный материал — шерсть, кожу, металл, дерево. С этим материалом да еще с добрым напутствием художника эстонец уходит, и начинаются длинные вечера поиска. А потом,

если вещь будет удачна, Уку приобретает ее, причем на весьма выгодных условиях. Затем человек опять приходит и снова получает советы и материал. Работают здесь только на дому, и хотя организация эта еще очень молода, уже несколько тысяч человек работают в ней.

Продукция Уку с невероятной быстротой пробила себе дорогу на внешних рынках всего мира, так что сегодня даже в самом Таллине не так-то просто приобрести вещь с этой маркой.

Конечно, говоря о склонности эстонцев к ремесленничеству, не нужно упускать из виду, что склонность эта имеет свои исторические корни. Таллин, крупный морской порт, еще в X веке славился изделиями своих ремесленников. На протяжении 700-летнего иностранного ига ремесленники пользовались особым статусом, предоставлявшим их общине определенную автономию. Ремесло для эстонца было не только делом хлеба насущного — для него оно было еще и глотком свободы, и, видимо, эта склонность к тому, чтобы уметь что-либо делать в совершенстве, так долго передавалась из поколения в поколение, что в конце концов стала чертой национального характера.

Жить богато — это штука не такая уж простая, но вполне достижимая в наше время. Жить красиво — это воистину редко кому дано, для этого нужно иметь и необходимые условия, и особый божий дар.

Было бы, разумеется, неверно утверждать, что эстонцы живут по заранее заготовленным правилам, живут в сплошной гармонии. Им тоже не чужды те грехи, которые встречаются всюду, знакомы им и зависть, и обида, и месть; они не прочь соперничать друг с другом, но только соперничают не они сами, а их дела. Существуют разные школы строения домов, разные направления в теннисном спорте, разное понимание духа народных песен, разные стили прикладного искусства. Но все это опять-таки без слов, молча, подспудно, все это, кажется, происходит помимо них и без их прямого участия. Сами они вечно заняты, у них нет времени, чтобы общаться, они даже как будто и не замечают друг друга.

Не могу забыть свою первую поездку из Пярну в Таллин. Сто сорок километров, около двух часов езды. Едем в отличном, очень популярном здесь автоэкспрессе. За окном туманное, дождливое утро, в машине уют-

но и тепло. Мягкие откидные кресла, отличный шофер, интеллигентная публика. Удивительная, как в степи в день безветрия, тишина. Слышны только мягкий шелест газет да отдаленный рокот мотора. И то ли потому, что дорога в прекрасном состоянии, то ли потому, что шофер мастерски вел машину, то ли потому, что в окна бил мелкий, с туманом, дождь, но на каком-то километре вдруг создалось ощущение, что мы летим, что где-то далеко под нами Балтийское море.

Едем и молчим. И снова молчим и опять же едем. Сто сорок километров, два часа четыре минуты — и ни единого слова. Причем надо иметь в виду, что автобус несколько раз останавливался в пути, часть пассажиров сошла, их места заняли другие. А еще в глухом лесу женщина-инспектор остановила автобус и проверила билеты, и раза два туристы голосовали, чтобы подвезти их, и шофер тормозил, давая им возможность убедиться, что машина занята. И все это молча, молча, молча.

Таллин вырос на нашем пути как единственное спасение, в которое я уже не верил. Мне казалось, что еще десять-пятнадцать километров — и я не выдержу, запою или начну декламировать молдавскую народную балладу Миорицу. Что до моих спутников, то они только-только вошли во вкус. Они выходили из машины с чувством глубокого разочарования. Здесь была столица, тут трудно было устроить свои дела молча, а обретать заново дар речи им явно не хотелось.

Стоял теплый июльский день, столица Эстонии сверкала от ярких национальных нарядов. Через день на стадионе ожидалось открытие смотра народных танцев. Каждый хутор выставил свой коллектив, у каждого коллектива был свой наряд, расшитый своим узором, — тысяча хуторов, тысяча коллективов, и ни одного повтора красок, нарядов, узоров. Эстонцы хорошо танцуют, но что творилось на второй день на стадионе, не берусь судить, потому что, увы, мне не удалось достать билета. Ни командировка «Литературной газеты», ни писательская книжка, ни ходатайство сотрудников ЦК партии Эстонии не смогли помочь. Увы, местный стадион вмещал только двадцать тысяч человек. На три дня представлений было продано шестьдесят тысяч билетов, а то, что сверх шестидесяти тысяч можно продать еще один билет, — это в Эстонии не практикуется. Если нет свободного места, как же можно продать вам билет!!

А спрос на эти представления был воистину ошелом-

ляющ — были поданы заявки на четыреста тысяч билетов. Если учесть, что эстонцев вообще немногим более миллиона, то можно представить себе картину — половина народа решила собраться вместе, чтобы посмотреть, как танцует ее вторая половина. Причем это были танцы, а самая большая слабость эстонца — это пение, знаменитое хоровое пение, снискавшее себе славу во всем мире.

Певческое поле — это, может быть, самое интересное, самое удивительное, что только можно видеть в Эстонии. При всей их молчаливости и внешней отчужденности невидимые нити духовного родства удивительно прочно связывают эстонцев в одну семью, и один из самых молчаливых народов на свете вдруг собирается на Певческом поле в тридцатитысячный хор и под руководством знаменитого Густава Эрнесакса поет «Песню о родной земле». Отпраздновав ежегодно свои песни и танцы в столице, они разъезжаются по хуторам и так же хватко, сноровисто, так же молча принимаются за дело.

И чтобы уж исчерпать до конца тему об эстонской молчаливости, не могу не упомянуть еще об одной ее разновидности. Признаюсь, что, когда я готовил впервые очерк для газеты, я решил было пропустить эту историю, сделав вид, что ничего этого не было. Мало ли что может случиться в жизни, а воспитанные люди на то и воспитаны, чтобы не все увиденное заносить на бумагу. Но время шло. Я еще несколько раз съездил в Эстонию и понял, что первый случай вовсе не был таким уж случайным, а жестокость нашей профессии заключается в том, что каждую строчку мы должны поддержать золотом достоверности, если хотим, чтобы наши сооружения выдержали испытание временем.

В тот мой первый приезд мне срочно нужно было попасть с автовокзала на вокзал железнодорожный. В общем, это где-то рядом, но человеку, впервые приехавшему, неизвестно, на что сесть и как доехать. И начинаются расспросы. Мне и раньше говорили, что эстонцы не очень приветливы у себя дома, но я этому не верил, и теперь предстояло проверить это утверждение, благо подвернулся случай. Из большого потока людей я выбрал крепкую, мускулистую девушку-эстонку с длинными льняными волосами. Она меньше других спешила, шла себе вразвалочку, с сумкой через плечо и, когда я к ней обратился, сошла даже с тротуара, чтобы не мешать движению. Молча выслушала, причем по лицу вид-

но было, что она понимает по-русски, даже поначалу приоткрыла рот, чтобы ответить, но потом, нахмурившись, повернулась и ушла, как говорится, не сказав ни единого слова.

Направил меня на должный путь какой-то старик, учившийся когда-то в петербургской гимназии и очень гордившийся этим. Оказывается, нужно было тут же, рядом, сесть на второй трамвай и проехать две остановки. В переполненном вагоне трамвая я увидел рядом ту же мускулистую девушку с льняными волосами и с сумочкой через плечо — она ехала в том же направлении и тем же трамваем. Увидев меня, она нисколько не смутилась. Наоборот, ей даже показалось забавным: скажи на милость, кто-то все-таки направил.

По иронии судьбы мы уезжали в Пярну одним и тем же автобусом, и наши места были рядом, и два часа, до самого Пярну, она сидела рядом, читала газету, ела мороженое, потом дремала, тихо посапывая, — никакого угрызения совести, что была в тот день с кем-то неучтива. Хотя была она молода, довольно симпатична, и, как говорится, «не судите, да не судимы будете».

Кстати, раз зашла речь о молодежи, поговорим о молодых. Влюбленных пар здесь великое множество, причем они не ищут укромного местечка, им отчего-то не сидится, все они куда-то едут, все они на виду. Их полно в автобусах, в самолетах, в машинах, в поездах. И в том вечернем поезде, которым я уезжал из Эстонии, тоже было полно молодых пар.

Очень интересно наблюдать за ними. В своих взаимоотношениях они ровны, собранны, целомудренны. Едут тихо, каждый сам по себе, — просто так оказалось, что они сидят рядом, а так они каждый сам по себе. Порой даже кажется, что они вовсе незнакомы меж собой, но из чего-то все-таки следует, что оба они — одно целое, и это будет целым надолго, может быть, навсегда.

На светло-голубом небе, до самого Ленинграда, стелется чешуя белых облачков. Мелькают сосновые боры, острокрышие домики, озера. Пшеничная поляна с двумя березками посредине, гора заросших валунов, железнодорожная будка, окруженная цветочными клумбами, и вдруг я подумал: как все в этом мире относительно! Мы считаем эстонцев молчаливыми не потому, что они молчаливы на самом деле, а потому, что сами невероятно много говорим. А между тем слово — величайшее чудо человеческого бытия. Словом надо пользоваться скупо,

умело, дабы не расплескать тот изначально древний смысл, который в нем таится. К тому же слово — это ведь не единственное средство, при помощи которого человек утверждается. Деяние наших рук — тоже одно из средств утверждения человеческой личности. И еще вопрос: что главное, что лучше, что долговечнее.

БЕЛЫЕ СВЕЧИ ЭСТОНИИ

На побережье стояло всего четыре домика. Самый крайний, деревянный, с мансардой, был заперт на замок. Чистые, посыпанные песочком дорожки, цветочные клумбы, на крылечке сытая кошка дремлет на солнце, и ни одной живой души. Было раннее воскресное утро, и я подумал, что в таких глухих местечках, когда уходят по воскресеньям да еще с утра, то это надолго.

Второй дом, упрятанный в глубине сада, казался более приветливым, — правда, добрая его половина пряталась под старой липой, и пока я, открыв калитку, старался приладить ту половину, что смотрелась свободно, с той, которая пряталась в тени, с крыльца спустилась молодая, в очках, женщина, очень похожая на сельскую учительницу. Я улыбнулся и выложил свой вопрос во всех четырех вариантах, придуманных только что на автобусной станции. Женщина в очках тоже улыбнулась и ответила самым обстоятельным образом, но поскольку она ничего не смыслила в русском, а я еще меньше понимал эстонский, то всему нашему разговору была грош цена. Я улыбнулся ей на прощание, она тоже ответила улыбкой, и на этом со вторым домом было покончено.

Во дворе третьего дома, недостроенного и нежилого на вид сооружения, двое подростков запрягали в плужок красивую, откормленную лошадь. Это, видимо, болезнь возраста. Где бы они ни подрастали, какой бы жизнью они ни жили, наступает у мальчишек в определенном возрасте потребность оседлать или запрячь коня, и когда они до этого дорвутся, то слепнут и глохнут от счастья. Постояв у калитки третьего дома некоторое время, я пошел дальше; тем более что сам дом был недостроенный, неуютный.

Последний, четвертый дом оказался большим двухэтажным строением. Лес в нем стоял еще крепкий, хотя внешняя облицовка и крестовины окон почернели, а крошечный балкончик на втором этаже совсем покосил-

ся, и видно было, что уже лет пятнадцать по крайней мере не ступала на нем нога человека. Большой яблоневый сад, посаженный с размахом, теперь зачах в запустенье. Дорожка и клумбы заросли так, что не сразу поймешь, где дорожка, а где клумба; забор так и стоял в том потрепанном состоянии, в котором оставили его зимние метели.

Веяло какой-то обреченностью от этого четвертого дома, на нем лежала грустная печать не до конца состоявшейся человеческой жизни. Торчать у этого дома было нечего, а уходить тоже было не с руки. Приличия требовали, чтобы я постоял еще некоторое время, и я стоял, и оглядывался, и диву давался, потому что место и в самом деле было удивительной красоты.

Вероятно, здесь когда-то располагался большой поселок, но, как говорят англичане, идите по нашим костям, и вы дойдете до своих собственных костей. И нет поселка, осталось всего четыре домика. А жизнь идет своим чередом, кругом растут корабельные сосны, липы, тополя, каштаны. Они растут в художественном беспорядке, в той дикой привольности, при которой деревья становятся великанами. Если, однако, внимательно разглядеть их, то можно угадать, как стояли раньше дома в поселке, какие дороги и куда вели. Эти четыре домика и улочка, на которой они стоят, были окраиной поселка — может быть, бедной, далекой окраиной, и вот поди ж ты: окраина осталась, а поселка нету. Четыре старых домика тонут под увесистыми крыльями зеленых великанов. За ними виднеются картофельные приусадебные участки; дальше пастбища, крупные валуны, а за валунами глухо шумит залив, покрытый мелкими кудряшками волн.

Время шло, а я все еще торчал у того четвертого домика. Было отчего-то грустно и не по себе. Завела меня в те края бойкость художественной фантазии. Накануне, будучи в Таллине, я изнывал от жары и имел неосторожность высказать это вслух. Оказалось, сами таллинцы не меньше меня изнывали, но правила хорошего тона не позволяли им затрагивать эту деликатную тему. Поскольку норма уже была нарушена, они вдруг пустились рассуждать, куда бы хорошо поехать отдохнуть. И этот конкурс на тему о том, кто лучше знает свой край, захлестнул буквально всех моих знакомых.

В редакции еженедельника «Серп и молот», когда речь зашла о той же самой жаре, очень милая и слово-

охотливая переводчица посоветовала мне поехать отдохнуть в Хяядемээсте. По ее словам, лучшего места нет во всей Эстонии, а поскольку название этого местечка трудно для запоминания, она, чтобы как-то облегчить мне задачу, сказала, что Хяядемээсте в переводе на русский означает «Красивые мужчины». Вернее, даже не «Красивые», а «Хорошие мужчины», поправилась она.

Я очень люблю емкие, точные, упругие названия. Для меня найти точное название рассказа — это уже половина работы. А тут все было в готовом виде, улов сам шел в сети, и нужно было только не зевать. В моем воображении сразу вспыхнул сказочный поселок на берегу Рижского залива, я уже был готов немедленно пуститься в путь. Переводчица, несколько испугавшись такого эффекта, начала деликатное отступление. Она говорила, что, конечно, природа там прекрасна, но с питанием сложно, всего один буфетик рядом с автостанцией, а от самой автостанции до поселка и до моря километра два, а то и все три будут. Хорошие дома в новом поселке, рядом с автостанцией, а там, на берегу залива, домов мало, там больше всего живут в палатках, но палатка — это ведь на любителя...

Увы, было уже поздно — в моей душе Хяядемээсте обрастало героями, сюжетными линиями, красками, и, изнывая от жары, я строил свой обратный путь с таким расчетом, чтобы обязательно проехать через Хяядемээсте. Если будет возможность, прожить там недельку-другую, и отдохнуть, и поработать.

Теперь вот приехал и, увы, в который раз убеждался, что между художественной фантазией и действительностью лежит целая пропасть, а я стою одной ногой там, другой здесь.

Пока я стоял и философствовал, на картофельных огородах произошли какие-то осложнения. Не то лошадь запуталась в упряжи, не то ножи плужка заели, но работа вдруг застопорилась, и ребята начали тревожно оглядываться. Какие-то остатки крестьянской этики заставили пойти на выручку, и когда все было устроено, парни стали переминаться с ноги на ногу, не зная, как бы меня отблагодарить. И тогда я выложил им все свои четыре варианта. На мое счастье, они оба довольно хорошо понимали русский, и не успел я кончить, как оба показали на тот самый четвертый домик, куда я не решался входить:

— Там, у Густавсон, много комнат. Он вам сдаст.

Хотя меня это и обрадовало, я высказала опасение: понимает ли тот самый Густавсон по-русски так же хорошо, как они сами?

— О, я, он хорошо умеет.

В конце концов пришлось вернуться и переступить через свои тяжелые предчувствия — фантазия фантазией, а жизнь жизнью. Не успел я толком войти во двор, как из проема открытых дверей, прямо с крыльца, кинулись на меня две шавки. Первая, белесая, заскочила дальше, чем позволяла ей храбрость, и нужно было срочно на что-то решиться — либо хватать за ноги, либо отступить. Она нашла третий путь — вдруг приятельски завиляла хвостом и стала рядом со мной, точно я был ее хозяином. Вторая, белая, с черными разводами по бокам, остановилась на полдороге и нудно затявкала — пусть, мол, выйдет хозяин и сам разбирается, что к чему.

А хозяин не спешил. Шла минута за минутой, дворняжка то тявкала, то ловила мух. О Густавсоне не было ни слуху ни духу, и я подумал, что, верно, и тут никого дома нету. Собрался было уже уйти, когда донесся странный перестук в сенцах. Стучали деревяшкой по полу — стук, и опять тихо, и через небольшую паузу снова стук. Из сумрака сеней начал выплывать силуэт. Еще несколько перестуков, и в светлой солнечной полосе, косо срезанной козырьком крыльца, появилось круглое доброе лицо старой женщины. Светлые льняные волосы были аккуратно зачесаны назад и по-девичьи перехвачены ленточкой, но была еще в этой фигуре какая-то напряженность, какая-то неестественная сутулость. Я подошел поближе и только тут увидел костыли.

— Извините, — сказала она на довольно чистом русском языке, — ноги больные. Врачи дали направление в Ленинград, но боюсь. Хоть ноги и плохие, но мои. Лучше деревянных.

Было в ней много здравого смысла, было чувство достоинства, и была еще та воспитанность человека из народа, которая не позволяет ему объясниться с незнакомцем, не пригласив его в свой дом. Она пригласила меня кивком, повернулась на костылях, пошла обратно, а в доме стояла та же запущенность, что и во дворе. Зная приверженность эстонцев к чистоте, я представил себе, как она страдает от этой запущенности. И, словно учуяв мои мысли, она вдруг пошла впереди меня, чтобы показать, как она ходит. Ступни ног были совсем дряблы и безжизненны — они шлепались на пол, как сырое тес-

то, и не то что не хватали землю мускулами, они даже, по-моему, и не чувствовали ее. Только в коленях, а может, выше, в бедрах, жило еще ощущение земли, чувство равновесия, и я представил себе, сколько надо иметь ловкости и силы, чтобы, орудуя костылями, все-таки передвигаться.

— Комнату? — переспросила она, когда мы сели в довольно большой прихожей. — У меня много комнат. Четыре комната внизу, две комната вверху. Но вам здесь нехорошо будет. Я одинокий, больной человек. Убирать не могу. А комнаты хорошие, могу вам показывает.

Отдышавшись, старушка Густавсон взяла костыли, встала, и я пошел за ней смотреть дом. Как потом выяснилось, то, что ребята называли ее «он», «Густавсон», не было большой ошибкой. В эстонском языке нет родов, и «он» может означать «она», «оно» и собственное «он». Верхние комнаты мы смотреть не стали, но четыре комнаты внизу мы смотрели бесконечно долго. Для старушки переход из одной комнаты в другую был сложнейшей работой, и, чтобы отвлечь меня от трудной и унизительной в какой-то мере техники передвижения, она принялась рассказывать, какие у нее раньше были жильцы. Жил профессор из Ленинграда, художник из Москвы и какая-то семья из Таллина по фамилии Тамм.

— У вас есть масина?

— Нет.

— Заль. Без масины здесь трудно. У них были масины.

В эстонском языке нет шипящих букв, и, привыкая к их своеобразной русской речи, я слушал, как старушка подружилась со своими постояльцами. Каждый год она получала поздравительные открытки из Ленинграда, Таллина и Москвы. В этой глуши в жизни одинокой и больной женщины эти открытки вырастали до невероятных символов, и вот она шла по коридору и гадала вслух: надо ли понимать открытки еще и в том смысле, что их авторы могут приехать отдыхать этим летом или таких намеков в открытках не было? Она была по природе своей верным товарищем, и я, подумав, сказал, что комнату профессора да еще комнату художника и, уж конечно, комнату Таммов она сдать не может.

В пыльном коридоре на стене висела скрипка со сломанным смычком. Меня почему-то поразила эта огненная птица юга, залетевшая в северные края, и я спросил, кто на ней играл.

— Муж. Он так был моложе меня и умер пять годов назад, а мне семьдесят шесть — и живу.

Сказала она это не с обычной в таких случаях печалью, а с вызовом, с гордостью, с восхищением: семьдесят шесть — и еще живет!

Была в том коридорчике еще одна высокая дверь с бронзовой ручкой. Мне показалось, что она хочет отвлечь меня от той двери, и именно потому спросил:

— А вот эта?

Она, видимо, ждала этого вопроса и вспыхнула от удовольствия.

— О, там самая большая наша комната. Там зала.

Она подошла, погладила бронзовую ручку и перед тем, как открыть, сказала:

— Этот комнат освободится... Как бы это сказать по-русски... Не завтра, а так, потом, на тот, другой день...

— Послезавтра?

— О!

— Вы ее уже сдали?

— Нет, тут никто не живет, но завтра мой день рождения. Ко мне приедет гость из Таллина.

Хотя это было и не к месту, и рановато, я все же поздравил ее с днем рождения. Она не без кокетства приняла мои поздравления и наконец открыла. Комната была на редкость чисто убрана. На маленьком столике царствовал большой букет гвоздик, в старинном подсвечнике стояли две огромные белые свечи — нигде, кроме Эстонии, я не встречал таких свечей. Высокие, чуть ли не полуметровые, на них тем же белым воском и красками были наложены какие-то таинственные фигуры, узоры, дубовые наросты, так что каждая такая свечка, кроме свечки, была еще и произведением искусства. Мы сели. Старушка взяла со стола коробок со спичками, долго перебирала их пальцами, мучительно раздумывая про себя: зажигать, не зажигать? Они были еще совсем свежие, с белыми фитилями. Она их, видимо, готовила сама долгими вечерами и, подумав, отложила спички. Налила из графина две рюмки розовой настойки и сказала:

— Закуски нет. Сегодня буду готовить. Я умеет очень хороший пирог. Приходите завтра. Я вас угостиль.

Меня начало разбирать любопытство, и я как-то неожиданно для себя спросил:

— Если не секрет, кого вы ждете из Таллина?

Она опустила глаза и сказала доверительным тоном, каким говорят только самым близким друзьям:

— Приедет мужчина. Друг юности. Я его ровно год не видаль.

— Что же он, каждый год приезжает на ваш день рождения?

— Вас это удивляйт?

— Нет, но, признаться, в наше время...

Старушка Густавсон гордо вскинула голову:

— От когда мне биль шестнадцать лет и до этого года он только четыре раза не праздноваль мой день рождения. Три раза биль война, четвертый раз у него биль арест. Несправедливый. Его скоро отпустиль.

Я слушал разные истории из ее жизни и все время оглядывался, потому что сама комната, или зала, как она ее называла, казалась мне очень странной и замысловатой. Пол был немного скошен, в глубине какое-то странное сооружение — не то комод, не то старинные сундуки, хотя ни на комод, ни на сундуки это не было похоже. По обеим сторонам этого сооружения высокие, до потолка, в глубоких складках гардины, и висят они свободно на какой-то натянутой проволоке... Да не домашняя ли это сцена?

— Вы любите театр?

При слово «театр» она как-то вздрогнула, и ее лицо тут же засветилось.

— О, как я по сцене скучаль... С десяти лет и до пять лет тому назад, пока ноги работали, я каждый вечер выходиль на сцену. Четыреста, как это по-русски сказать...

— Роли?

— О! Четыреста роли, и сто раз я есть режиссер.

— А муж?

— Муж сцену не выходиль. Он — музикально оформлений.

— Вы профессиональная актриса?

— Как вы сказаль — професси... ональ?.. Нет, я работала поле, коровы, швейная машинка. Но вечером мы шли свой маленький клуб тут, поселке. Я играль роль и каждый вечер приносиль домой цветы — о, как много цветов было моей жизни!..

Она погрустнела, увяла вдруг, но потом взяла себя в руки.

— Все ушло. Ну раз ушло, значит, это есть справедливо. И я не плакаль. Я не плакаль по друзьям, по земле, по молодости, а по театру я часто по ночам плакаль. Там, в новом поселке, есть кружок, а старых актрис на

роли нет, режиссера нет, и душа моя хочет туда сто раз за один день, а ног нету.

Она вдруг решительно открыла коробок, зажгла обе свечи, вдохнула глубоко в себя запах горячего воска. В ее старых, выцветших глазах мелькнули два огонька, и это отражение огня как будто принесло ей облегчение. Она улыбнулась, как бы прося прощения за слабость, поправила волосы на затылке и потушила свечи. У меня на языке вертелся бестактный вопрос. Может, мне не следовало его задавать, но я ведь тоже художник, мне тоже нужно с чем-то выходить к людям.

— Скажите, а этот друг юности, который приедет из Таллина... он тоже выступал на сцене?

— Выступаль? Он и теперь играль. Сорок лет он играль герой-любовник — о, какой это биль герой, какой это биль любовник! Теперь у него другой амплуа... Теперь он репетироваль...

Она не смогла перевести название пьесы, долго пересказывала содержание, из которого я в конце концов понял, что речь идет о пьесе Гауптмана «Перед заходом солнца».

Разговор только-только входил в колею, но она все время теряла нить, ее, видимо, мучило, что вот же зашел человек в дом, а угостить нечем, решительно нечем. И, чтоб она не мучилась, я начал прощаться. Она встала на свои костыли. Вспомнив то дело, с которым я зашел, сказала тоном человека, много перевидавшего на своем веку:

— Ви поискаль комнату поселке — там много хороших комнат. Если не найдете, приходите, я вам сдаль комнату. Если ви займете комнату профессора, а он приедет, я поселю его у художника. Если и художник приедет, я ему дам комнату Тамм. Ну а если Тамм приедет, я сдам этот зала — после празднований день рождения я могу этот зала сдавать.

Мы долго шли к выходу, и старушка рассказывала мне про свой телевизор, про уникальную видимость, которой удалось добиться местному мастеру, и, пока она это рассказывала, у калитки остановилась знаменитая по всей нашей стране бригадирская двуколка. Молодая и сильная эстонка легко спрыгнула с сиденья, достала из трухлявого сена большую брезентовую сумку, тяжелой, мужской походкой направилась к нам.

— Тере!

Она быстро что-то рассказывала старушке по-эстон-

ски, а тем временем ее руки доставали из сумки хлеб, масло, какие-то пакетики, сахар, специи, — видимо, то, из чего старушке предстояло печь свои знаменитые пироги. Выгрузив сумку, бригадирша достала из-за пазухи толстый блокнот, принялась уточнять по списку — что купила, а что еще надлежало привезти в следующий раз.

Я видел в своей жизни бесчисленное количество колхозных бригадиров. Видел дельных и бестолковых, скромных и самодовольных, нервных и спокойных, худых и зажиревших, но никогда мне еще не доводилось видеть бригадира, который, исполняя свою службу, так, по доброте душевной, делал покупки для старого больного человека. Как бы угадав ход моих мыслей, старушка Густавсон решила позлословить:

— Нет, он не такой хороший, как ви думаль! Тут крайний домик живет пьяница. Он никогда нету дома. Бригадир его ловиль каждый день и, раз все равно дорога, покупаль мне продукты.

Бригадирша, хотя и не говорила по-русски, видимо, поняла, о чем речь. Погрозила ей пальцем, вернулась в двуколку и уехала. Я уже в третий или в четвертый раз принимался прощаться и вдруг увидел рядом с крыльцом, на высоте метра от земли, висевшее в железной скобе, прибитой к стене, круглое железное кольцо. Несколько раз мне приходилось встречать в эстонских селах такие кольца, прибитые рядом с крыльцом, да все некого было спросить об их назначении. Теперь представился случай.

Старушка улыбнулась. Облокотившись на один костыль, она достала пальцем колечко, погладила, точно оно было живое.

— Это все, что осталось от наших красивых мужчин. От Хяядемээсте.

— То есть как?

— Это кольцо они привязаль свой лошадь, когда приезжаль гости.

Мне это так понравилось, что не хотелось прямо сразу после ее ответа уходить, и, чтобы как-то выиграть время, я спросил:

— Скажите, а если бы этот ваш знакомый из Таллина приехал завтра на лошади, он бы тоже ее тут привязал?

Она ничего не ответила, но ее старое лицо озарилось вдруг, точно его осветили полным светом рампы. Она тихо, таинственно опустила взгляд, простояла секунду, счастливая, с опущенными ресницами. Она решила ответить

таким способом на мой вопрос, ответить открыто, всему миру, и в то же время, скрывая от мира, говорила одному мне, а в общем-то она и мне ничего толком не сказала. И я вдруг подумал, что она, должно быть, была великой актрисой, и было бесконечно горько, что я никогда не видел ее на сцене и так никогда и не увижу.

— До свиданья.

— До свидань.

От крыльца шли две тропинки — одна к калитке, другая, через запущенный сад, к морю. Я пошел к морю. За картофельными участками лежали одни валуны, да густая росла трава на неровной земле прибрежья. Перепуганные чайки кружили высоко надо мной, крича с какой-то тошной, почти физической болью, а над заливом величественно сияло по-летнему яркое солнце, и мелкие волны гонялись друг за другом по мокрому песку. Все оставалось, как и много тысяч лет тому назад, в бессмертном переплетении света и тени, радости и горя, жизни и смерти.

ЛИТОВСКИЕ БЕРЕЗЫ

Огромные, разъяренные мужицкие фигуры, увековеченные художником в момент их наивысшего гнева. На усталых, изможденных лицах следы спокойной мудрости, а в движениях — порыв безрассудства.

Эти образы порождены литовскими крестьянскими восстаниями середины прошлого века, и, помимо того благородного гнева, который вас буквально захлестывает, поражает еще фактура фигур. Это не дерево, не мрамор, не камень и не бронза. Художник работал размоченной березовой корой, наложенной на холст. Высохшая кора хотя и странновата на цвет, зато удивительно передает ощущение загрубевшего человеческого тела, того самого, о котором говорится в пословице: «Жизнь прожить — не поле перейти».

Они стоят, эти фигуры, живые, перед вами, они буквально дышат в двух шагах, а скромная сотрудница музея тихим голосом, чтобы не нарушить атмосферы глубочайшей народной драмы, рассказывает, что секрет того, как создавать фигуры из холста и размоченной березовой коры, к сожалению, утрачен. Умершая не так давно скульпторша унесла его с собой, так никому и не поведав тайну своего искусства.

Поначалу это меня поразило — возможно ли, чтобы

в нашем XX веке, когда ни королевские дворы, ни сверхсекретные концерны, ни бронированные дипломатические архивы не могут хранить полноту тайн, возможно ли, чтобы скульптор ушел из жизни, никому не рассказав, из чего и как он лепит?! Оказывается, возможно. Это даже очень просто сделать в том случае, когда скульптор при жизни никому не известен как скульптор.

Она жила на окраине Каунаса — одинокая, тихая модельерша, делавшая чудесные дамские шляпки для своих соотечественниц. По воскресеньям она уходила за Неман, в лес по грибы, и никому даже в голову не приходило, что эта хрупкая женщина глубокими ночами в своей мастерской занимается художественной лепкой. Она была бесконечно трудолюбивой, она проработала над этими фигурками около двадцати лет — без договоров, без похвал, без естественного желания увидеть свои работы выставленными. Она умерла, почти завершив весь этот огромный труд. Некоторое время спустя после ее смерти дальние родственники художницы, убирая в мастерской, сдернули высокий занавес, скрывавший весь угол, и перед ними выросла эта масса бунтующих литовцев.

Удивительнее всего то, что сама скульпторша родилась и всю жизнь прожила в Каунасе. Причем родилась она чуть ли не полвека спустя после тех событий. Она ни у кого не батрачила, у нее не было даже навыков жительницы деревни, она не знала, в какие сроки сеять ячмень и как варить из него пиво. И возникает, естественно, вопрос: откуда, как могли взорваться в душе городской модельерши ненависть и горе литовских крестьян, восставших за полвека до ее рождения?

Оказывается, предки скульпторши погибли во время тех восстаний. Она их и в глаза не видела, она вообще очень мало знала о них, но, гуляя воскресными днями с грибной кошелкой по лесу, она, видимо, подолгу задумывалась над их судьбами. Свинцовые воды Немана, и густо-зеленая трава, и леса прозрачного севера пробудили в ней давнюю боль своих сородичей. Я даже думаю, что впервые она увидела на живых березах эту огрубевшую человеческую кожу и только потом нашла способ ее воспроизвести на холсте. Мудрость и неторопливость простых людей, любящих все делать своими руками, навели ее на верный след, и после двадцати лет труда она свершила то, что не под силу было литовским бунтарям сто лет назад. Она увековечила их в минуту благороднейшей борьбы и тем самым сделала их победителями.

Одна из самых больших загадок искусства — это пути, по которым движется художественная энергия к своему воплощению. Эта боль о жертвах восстания носилась в воздухе и год, и два, и еще почти сто лет, пока не ворвалась в душу великого художника. Вообще нужно сказать, что временами поражает умение истинного таланта вглядеться в предмет, в образ, постичь его суть через годы, через века, через немыслимые расстояния, и, уж попав в Каунасский музей, было бы грешно не сказать хотя бы несколько слов о художнике, чье имя носит музей.

Два маленьких зала, в которых выставлен Чюрлёнис, изматывают человека совершенно. Если верно то, что искусству присуща некоторая загадочность, то для литовского искусства это характерно в высшей степени, а уж сам Чюрлёнис — это просто коронованная загадка. Выдающийся композитор, он в течение полутора-двух лет создал около ста картин и рисунков, которые буквально взорвали художественный мир Европы. О нем писали и Горький, и Ромен Роллан. В самом начале нашего века, когда мир, уставший от великих открытий, ушел с головой в житейские утехи, Чюрлёнис уже прорубал окно в космос. Он изображает на своих картинах Землю, увиденную с огромного расстояния, маленькой точкой среди созвездий, он заставляет наш дух опускаться на чужие планеты. Он потрясает наше воображение все пожирающими огневыми пустынями — и это в то время, когда не было ни атомной энергии, ни ракет, ни космических полетов!

К слову сказать, одно из самых больших достижений литовской культуры — это ее масштабность. Мне кажется, что из всех наших национальных муз литовская муза залетает дальше всех. Иногда она забирается в такие дебри, что просто страшно за нее становится: вдруг заблудится, вдруг не сможет вернуться к родному гнезду?

Литовские художники неистовы в поисках сути вещей. От скромного ремесленника, стругающего деревянных чертиков для вильнюсского базара, и до Эдуардаса Межелайтиса, поэта широчайшей известности, в Литве все заражены масштабностью, все ищут наиточнейшую и наикратчайшую формулу человеческой жизни...

Что мне особенно близко и дорого в литовской культуре — ее добротность и легко просматривающиеся крестьянские корни, придающие этой культуре некую шершавую документальность и убедительность. От «чис-

того художественного вымысла» читатель устал, он ему не верит, он требует от каждого произведения дыхания документа, он требует с первых же строчек от автора — назвать, какую цену тот уплатил, чтобы иметь моральное право нести ему, читателю, эти истины. Литовцы это поняли давно, и новым стилем они владеют просто и свободно. Вот несколько строчек из книги Межелайтиса «Лирические этюды».

«Здесь, на берегу Крои, впервые услыхал я соловья и долго с ним не расставался. Тут подружился с белогривой березой, с пестрым миром птиц, зверьков, рыб, насекомых. Здесь же я осознал, что человек на свете не одинок. Земля, солнце, луна, деревья, птицы — вся природа, взятая вместе, его добрые друзья. А дерево живое, как и я. Из его раны так же сочится тускло-зеленая кровь, как и из моего порезанного пальца — красная. И нельзя разорять птичьи гнезда, потому что жизнь, как ястреб, безжалостно раскидала нашу собственную семью, а меня, еще не оперившегося птенца, вышвырнула в осеннюю непогодь. Через черную корку хлеба, через ягоды и коренья впитывалась в мои жилы земля — ласковая, мягкая, теплая, дымящаяся паром. И уже не кровь текла по моим жилам, а соки хлебов и берез».

И снова березы — о, эти литовские березы! Воистину неограниченна их власть над всем тем, что созидается в этом крае.

Березы, хлеб и мужество, потому что, конечно же, в литовской культуре много мужества. Особенно это явление поразительно, когда оно встречается у женщин. Я даже думаю, что присутствие духа того или иного народа надо отличать не столько по мужчинам — им сам бог велел быть таковыми, — сколько по женщинам. И перед тем как закрыть книгу Межелайтиса, хочу привести еще одну цитату, имеющую прямое отношение к предмету разговора. Поэт вспоминает, как в трудный сорок второй год навестил живущую тогда в Москве классика литовской литературы Саломею Нерис:

«Наша замечательная поэтесса затворилась в своей скромной комнатке, словно улитка в раковине, будто спряталась от чужих взглядов, решив одна переболеть своим недугом — тоской и горем. И не видно было, откуда, как рождаются выстраданные ею строки, но почти каждую неделю появлялись в печати ее стихотворения».

Несколько ниже Межелайтис приводит одну строфу, написанную в те трудные годы:

Пой, сердце, припомни все свои мечты,
Пой в нескончаемой тревоге,
А если смолкнешь — станешь камнем ты,
Тебя затопчут на дороге.

Просто удивительно, что писалось это, когда Европа содрогалась от грохота стали, что родились эти строчки вдали от родного дома и написаны были слабой женской рукой...

МЕСТО, ГДЕ УПАЛ ХУДОЖНИК

День был пасмурный, дорога не очень хорошая, автобус несся на большой скорости, как-то странно вибрируя, так что в конце концов всех нас укачало. За окном стелился красивый и загадочный, уже в середине августа по-осеннему задышавший прибалтийский пейзаж. Все ярко, художественно, весомо. Пастбище, пруд, перелесок. Еще перелесок. Еще пастбище. Еще пруд. От частых дождей пастбища по-весеннему сочные, перелески — избалованная уходом ель, что ни ель, то корабельная мачта, а пруды красивы и недоступны. Крутой, обрывистый берег, свинцовая, холодная вода.

Посевов очень мало. Редко когда покажется клин в три-четыре гектара, засеянный рожью, или аккуратное поле картофеля. Зато пастбищ много, и из-за каждого поворота встречает нас стадо коров. Скот породистый, белочерный, европейской масти. Живется ему тут, видать, привольно, и на стадо в сто коров разве что молодая телка проявит интерес к нашей поездке и, оторвавшись на две минутки от травы, проследит за нашим автобусом, гадая про себя: кто такие, куда едут?

Какая-то печальная малолюдность вокруг. Ни встречного, ни обгоняющего транспорта. Ни пастухов, ни доярок, ни сдатчиков, ни приемщиков молока. Три часа езды на машине, а вокруг одни пастбища, одни коровы. Еще, правда, чуть ли не на каждом повороте деревянная подставка под крошечным навесом. На подставке один или два бидона. Утром они полные, затем машины увозят молоко, а вечером те же бидоны стоят, но уже пустые. И, видимо, оттого, что дорога была длинной, и день пасмурный, и автобус дребезжал, мне почему-то начало казаться, что эти коровы сами себя пасут, сами себя доят, сами ведут учет сданного молока. И это было тем более

непостижимым, ибо к тому времени я уже успел пожить на Рижском взморье, уже знал, что такое прибалтийское молоко. То, что в Москве считается сливками, в Латвии именуется обыкновенным молоком и продается в любом магазине по тридцать копеек за бутылку. Не говоря уже о том, что таких милых и вежливых продавщиц, как в Латвии, редко где встретишь. Каждая из них кажется случайно попавшей в торговую сеть, каждую хочется порекомендовать какому-нибудь кинорежиссеру, но в Латвии, увы, как и везде, очень мало кинорежиссеров, способных с ходу заразиться хорошей идеей и довести ее до конца.

Кстати, о кино. Микроавтобус, на котором мы ехали, принадлежал Рижской киностудии. Шофер, красивый молодой блондин, каких в Латвии великое множество, испытывал нас на прочность. Внутренности машины дребезжали, мы держались, кто за что успел уцепиться, и делали вид, что не замечаем, как всем нам плохо. Мои спутницы, четыре латышские журналистки, сложив вместе весь свой запас русских слов, объясняли мне значение творчества братьев Клаудзит для латышской литературы. Это мне нужно было знать потому, что ехали мы в музей братьев Клаудзит. Я слушал разные перипетии, связанные с появлением в свет единственного романа этих двух братьев — «Времена землемеров», — и корил себя за бесхарактерность. Ведь надо же быть таким дураком — жить возле Риги, где такое множество первокласнейших памятников, где нет числа литературным и прочим музеям, и трястись по плохим дорогам триста с лишним километров, чтобы осмотреть музей двух братьев, написавших всего один роман.

Через какое-то время притомились и мои спутницы. Они оставили литературу в покое и перешли на латышский язык, предварительно поставив меня в известность, что речь пойдет о тряпках. В Латвии, как и в других наших республиках, сельские магазины вдруг могут обрадовать красивыми дефицитными товарами, и важно заранее разобрать существующие сплетни, прикинуть, чем и где можно обзавестись. Предоставленный самому себе, я прилип к окошку машины, смотрел на все, что попадалось в поле зрения, и гадал. В этом, видимо, и кроется суть путешествий. Помните, как Гоголь описывает это ощущение? Едешь себе, видишь церковь и гадаешь: а интересно, что за священник в том приходе, и что собой представляет матушка, и есть ли у них красивая молодая дочка?

Церкви нам, что верно, не попадались, но почти на всем пути мелькали на поворотах старинные каменные строения. И фасад, обращенный к дороге, и остатки погребов, и навесы конюшен — все это говорило о том, что в старину здесь можно было отдохнуть, выпить стаканчик, покормить лошадей. Теперь другая эпоха, другие кони. Мы несемся в дребезжащем автобусе, а шумевшие некогда дорожные корчмы, пустые и заброшенные, вросли по самые крыши в землю, заросли сорняками. Но мы путешествуем, а это делается, как и сто, и двести лет назад, и вот сижу я у окошка и гадаю про себя: интересно, как выглядели раньше хозяева этих дорожных заведений, и хорошо ли у них шли дела, и были ли у них красивые молодые дочери?

Часа через два после того, как мы выехали из Риги, наша поездка стала постепенно осмысливаться. Все-таки, что ни говорите, а жизнь есть движение. Кроме того, здравый смысл всего этого предприятия начал проступать особенно ярко после первого дорожного указателя. Представьте себе — в ровном поле, ничем не отличающемся от соседних полей, вдруг выросла рядом с дорогой табличка и красиво выведенными буквами сообщила нам, что до музея братьев Клаудзит осталось еще девять километров. На первый взгляд особой надобности в этом указателе не было — ни перекрестков, ни крутых поворотов, но кто-то, видимо, следил за нами, понимал, что едем мы издалека, измотались, и вышел облегчить нам душу, сообщив, сколько еще ехать.

Ну чего-чего, а предупредительности латышам не занимать, и с легкой руки этого первого сообщения таблицы и указатели уже не спускали глаз с нашего автобуса — они советовали шоферу сбавить немного той дьявольской скорости, быть осторожным на поворотах и все высчитывали, сколько еще километров — семь, пять, три. После первой же вывески мои спутницы вдруг умолкли. На их лицах появилось серьезное, я бы даже сказал — религиозное выражение. Они стали вдруг латышками, они приближались к национальной святыне, и это ощущение предстоящего момента заражало все вокруг.

На холмике стоял одинокий, добротно построенный когда-то дом, а из-под высокой одряхлевшей крыши выглядывали окна второго этажа. Фасад дома, простой и открытый, как и все, что строилось в XIX веке, — че-

тыре окошка, дверь посередине, а рядом с дверью табличка с одним-единственным словом. Не то название улицы, не то фамилия мастера, построившего это здание. Я спросил, и мне объяснили, что это название дома, его имя. То есть как имя? Да вот так, имя. Потому что, если бы тут была деревня или хутор, то ведь у них было бы свое название? А почем мы знаем, был тут хутор или нет? В Латвии каждый одинокий домик среди зелени — это или бывший, или будущий хутор. Скорее всего перед нами стояли остатки старого хутора. Оставшись один, этот домик хранит название, и это название будет живо, пока будет стоять дом. Я очень сожалею, что не запомнил это название. Не записывать, а просто так, с ходу нужно бы прочесть и запомнить — право же, этот вымерший хутор заслуживал того.

Рядом с домом асфальтированная стоянка для автомашин. Стоянка, рассчитанная примерно на тридцать-сорок машин, но что-то пусто было на той стоянке. Тут же навес, скамеечка для ожидающих попутного транспорта, на скамеечке тоже было пусто. А рядом висела табличка, из которой явствовало, что один день в неделю, в понедельник, музей закрыт. А был тот день, конечно же, понедельником.

Молчавший всю дорогу шофер каким-то непостижимым образом услышал, что далеко, в глубине сада, кто-то косит траву. Это немного обрадовало нас, потому что неприятно приехать за триста верст и увидеть закрытый музей. Мы пошли цепочкой по тропинке за шофером и обнаружили в глубине сада высокого худого латыша. Он почему-то очень смутился, точно косил на чужом участке, и мы как-то застряли на полпути, отвернулись, и один шофер подошел к нему. Был очень короткий разговор, две-три фразы всего. Потом косарь ушел, мы сели на свежевыкошенную травку, благодарные ей за то, что она никуда не несется, не дребезжит, и хотелось перенестись хотя бы на один миг в тот прошлый, XIX век, чтобы вот так посидеть вволю и никуда не торопиться.

Минут через двадцать приехал на велосипеде экскурсовод. Черный костюм, безукоризненная белая рубашка, галстук, и только не успевшая еще остыть тяжесть рук и определенный ритм движений выдавали в нем недавнего косаря. Теперь он сам подошел к нам, представился, и мы пошли к дому. У входа он посмотрел на меня, начал свой рассказ на латышском и потом целый час смотрел почему-то все на меня и говорил только на ла-

тышском, точно надеясь, что в конце концов я проникну в причудливую вязь чужой мне речи и лучше пойму, чем через переводчика. И, странное дело, теперь, восстанавливая в памяти посещение того музея, я отчетливо слышу его голос, мне кажется, что я помню целые фразы, произнесенные им, и хотя по-прежнему не знаю смысла тех слов, я дополняю их увиденным в музее, и эти фразы становятся для меня документом, обладая истинностью и неподдельностью настоящего документа.

В сенцах нам раздали мягкие тапки, которые следовало надевать прямо на обувь. За всю жизнь я только в двух музеях надевал такие тапки — в Ясной Поляне и в Шереметевском дворце. В яснополянский дом просто безнравственно входить без тапок; в Шереметевском дворце уникальные паркетные полы, а тут, в поле, за триста километров от Риги, где одни перелески да бидоны с молоком!

В отличие от яснополянского и шереметевского латышский экскурсовод и сам надел такие же тапки, и это меняло дело. Дом был холодный, нежилой, но остатки какого-то древнего порядка и уюта еще сохранились. Первая комната — обыкновенная деревенская комната, чуть просторнее, с двумя печками, с партами. Они были, конечно, удивительными людьми, эти братья. В конце прошлого века пришли они в эти края — один с дипломом учителя, другой со страстным желанием помочь брату, с тем, чтобы потом и самому стать учителем. Они сами построили дом, сами выстругали доски для парт, а в соседней комнате стояли койки, потому что в ненастную погоду или бездорожье ученики оставались на ночь. Они кормили, одевали своих учеников, а когда не на что было жить, братья становились столярами, мастерили колесные прялки и продавали их на ярмарках.

Это были писатели-сподвижники, писатели-народники. В своей деятельности они совмещали все — от обучения алфавиту до разработок основ национального литературного языка, они участвовали в политических схватках и сажали на своей северной земле южные яблони. С упорством самоучек путешествовали они по европейским странам. Из всего, что они увидели, были выведены некие правила для честного сельского интеллигента, и, раз приняв их, они им следовали с невероятной точностью. Они любили мировую культуру, любили ее сами открывать. Начав с азов, они уже не доверяли авторитетам, они старались все осмысливать заново, и самое примечательное

в этом музее — это выставка фотографий выдающихся личностей всех времен и народов в той последовательности, которая казалась им наиболее верной; братья Клаудзит вырезали из журналов фотографии, потом для этих фотографий долгими зимними вечерами вырезали из дерева рамки, украшая их оригинальной инкрустацией. На длинной стене в спальной, на втором этаже, около четырехсот фотографий, четыреста пожелтевших изображений, четыреста оригинальных, ничем не повторяющих друг друга рамок. Единственно, что у них общее, — это размер. Только в самом центре из чуть большей, чем обычные, рамки глядит вечно сердитый и недоверчивый яснополянский старик.

Внизу, на первом этаже, мраморный, или, как он назывался в семье, белый зал. Большая комната, кресла, пианино, паркет. Вернее, это вовсе не паркет. Путешествуя по Европе, братья увидели паркет, но не знали, как его сделать, и тогда на дощатых полах появилось тонкое покрытие воска, на воске рисунок, и все это хранится уже с полвека, и все это прекрасно, и до сих пор специалисты не возьмут в толк, как это сделано. Братья Клаудзит принадлежали к той удивительной породе людей, которые стремились все сделать своими руками, и эти люди меня всегда восхищали, я всегда завидовал их упорству и умению.

Рядом с домом еще два подсобных помещения. Одно из них — столярная мастерская с невероятным количеством инструмента, другое — нечто вроде кладовой. И, возвращаясь из этой кладовой обратно в дом, на полдороге, рядом с тропинкой, я увидел огромную глыбу из красного мрамора. Сами братья похоронены в двух километрах, на холме, там свои памятники, но, думал я, что бы могла означать эта глыба мрамора тут, возле тропинки? Заметив мое недоумение, экскурсовод остановился, сказал тихо и печально, впервые заговорив по-русски:

— Это то самое роковое место, на котором упал последний из братьев.

— То есть как упал?

— Он нес из сарая в дом кошелку с яблоками. Была осень, в тот день как раз был сбор яблок. Он нес кошелку и на этом самом месте упал. У него было слабое сердце.

— И что же, тут и умер?

— Нет, зачем же. Умер он весной следующего года, но упал здесь, где стоит мрамор.

К вечеру пошел дождь и как-то потеплело. Мы возвращались по хорошей дороге через Цесис. Машина мчалась на большой скорости, но уже не дребезжала, и мы сидели тихие, просветленные. Видимо, что бы нас ни заботило, основная проблема человека, проблема всех проблем — это вопрос: как жить дальше? Мы бьемся над этим день и ночь, из смутных очертаний завтрашнего дня, стоящего перед всем миром, высекаем посильную задачу для себя, затем все это соотносим и опять заново ищем и бьемся. Это занимало нас еще утром того дня, еще несколько часов назад, и вот мы утихли. Мы уже знали, по крайней мере, на какое-то время знали, как дальше жить.

А еще я думал, сидя у мокрого от дождя окошка: какое, должно быть, счастье родиться латышским писателем, работать для народа, который воистину любит своих художников, знает о них все и ставит им памятники не только на площадях и могилах, но и на тех роковых местах, где им суждено было пасть.

МОЦАРТ В КОНЦЕ ЛЕТА

Сосны, березы, и вот меж ними снова светится голубизна, и вот мы снова выбираемся к голубому простору, к этому извечному богу северной красоты. По песочному пляжу идет старый латыш в поношенной полотняной кепочке, в таком же поношенном полотняном костюме. Его тут знают почти все. В самые жаркие дни лета он появляется вдруг на пляжах Рижского залива. Идет уныло, таща на себе складной алюминиевый столик, тоже складное и тоже алюминиевое креслице. Идет, волоча по песку старые, истоптанные ботинки, идет сосредоточенный, задумчивый, ничего не видя и не слыша вокруг...

Многим, наверное, ведомо, что такое жаркие дни лета на Рижском взморье. Утверждают, что при хорошей погоде этот курорт не знает себе равных в мире, и, видимо, так оно и есть. Ленточка горячего песка в пятьдесят-шестьдесят километров, чуть выгнутая дугой, окаймленная с одной стороны хвойным лесом, а с другой, на сколько видит глаз, голубым морем Балтики. Немыслимое количество народа. Дети, взрослые, молодежь. Особенно молодых, особенно женщин много. Бесчисленное море молодых тел — только глаза чуть прикрыты темными очками, или пластмассовым козырьком, или зачитанной книжкой, и в этой атмосфере карнавала и визга купа-

ющихся трудно представить себе что-либо более смешное, более нелепое, чем этот старый латыш в истоптанных ботинках.

Правда, нужно отдать ему должное — на него совершенно не действует окружающая среда. Ему, видимо, дело представляется следующим образом. С одной стороны — голубое море, с другой стороны — море загорающего люда. И там и тут плещутся волны, шепот и рокот вечной стихии, а он идет себе по мокрой полосе песка, погруженный в свои размышления, как древний философ, и, только пройдя ему одному известное расстояние, где-то между Майори и Дубулты, сворачивает с пути, находит свое излюбленное местечко, расправляет кресло, стол. Достает из кармана пачку тонких, прозрачных билетов, коробочку из-под красной икры, в которой у него хранятся деньги для сдачи. После чего снимает пиджак, вешает его на спинку алюминиевого кресла, с тем чтобы, насколько это позволит майка, подзагореть — больше он ничего не может с себя снять по причине предстоящего исполнения служебных обязанностей. И, закончив со всеми этими приготовлениями, садится и оповещает хриплым, старческим голосом:

— Домский собор! Хор и орган! «Реквием» Моцарта.

Разомлевший на солнце курортный люд улыбается — ну что за блажь будоражить публику при такой погоде! Ведь состоится это представление, на которое он предлагает билеты, еще очень и очень не скоро — недели через две-три, — и конечно же, никто не спешит покупать билеты. Кому охота бросать пляж, тащиться бог знает куда за деньгами или занимать у тех, кто взял деньги с собой. Старик, однако, не уходит. Упорно и методично, каждые пять-шесть минут, предлагает он билеты на концерт, и в конце концов находятся чудаки, которые бегут за деньгами. Вокруг алюминиевого столика собирается толпа, люди о чем-то долго толкуют со стариком, и на тех, кто покупает в этот жаркий день билеты, смотрят не как на идиотов, это было бы слишком сильно сказано, но как на чудаков из провинции смотрят наверняка.

А потом проходят дни... Погода на Рижском взморье неустойчива. Об этом знают все, но не все верят — думают: а вдруг однажды, как раз в их приезд, она возьмет да станет устойчивой. А этого, увы, опять же не случается, и после двух-трех дней хорошего купания идут дожди. И еще два-три пасмурных дня, и опять солнечно,

но дует сильный ветер с моря — купаться и загорать, конечно, можно, но удовольствие уже не то...

А за всеми этими перипетиями время бежит, и уже отпуск на исходе, пора подумать о доме, о семье, о своем возвращении. Надо купить подарки для родных, и женщины бегают по магазинам за сувенирами. Надо хотя бы бегло осмотреть чудный город Ригу, кто знает, когда еще доведется заехать в эти края, и люди несутся смотреть Ригу. И еще нужно что-то отъезжающему курортнику. Нужно немного соли на весь этот месяц сладкой лени, нужна капля серьезности на весь тот поток хорошего настроения, нужно зрелище, нужно небольшое потрясение, так, чтобы потом долго помнить. И тут выступает в утренней голубизне, возвышаясь над всем этим краем, острый шпиль Домского собора. То-то афиши захлебывались на всех заборах. Самый крупный в Европе орган, прекрасный латышский хор, известный дирижер из ГДР и великое творение гениального Моцарта. И вот уже тысячи людей кидаются на поиски того самого старика в полотняном костюме и стоптанных ботинках, а пляж пуст, залит разбушевавшимся морем, и только чайки кружат над красными буями, обозначающими границу, дальше которой купаться запрещено.

Курортники — народ отдохнувший, цепкий. Они обегают все театральные кассы, но билетов нет. Они пытаются через знакомых, через какие-то стародавние связи достать билет, потому что в самом деле немыслимо уехать с Рижского взморья, не побывав в Домском соборе, но, увы, все впустую. И наступает день, когда те самые провинциальные чудаки, которые неслись по всему пляжу за деньгами, надев на себя самое что ни на есть нарядное, садятся в электричку и, важные, торжественные, счастливые, едут на концерт в Домский собор.

Толстенные, двухметровые кирпичные стены, стрельчатые двадцатипятиметровые своды, звук голоса и органа тает где-то в вышине, огромные готические окна, украшенные неповторимыми витражами из цветного стекла, суровость и торжественность — таков Домский собор.

В Лондоне в собор святого Павла каждый год привозили старого, восьмидесятилетнего архитектора, построившего собор. Привозили старика по его же просьбе в день его рождения. Он был настолько слаб, что не мог ни на ногах стоять, ни головы повернуть, но просил, чтобы кресло для него ставили в центре собора, под главным куполом, потому что, говорил он, в этом месте чувству-

ешь черепом, как струится и полощется высота свода над тобой.

В Домском соборе человек тоже чувствует черепом, как полощется высота. Такая тишина, что шаги запоздавших раздаются в вышине как обвалы в горах, и слабый шелест программок оборачивается лесным гулом в непогоду, и даже простой скрип стула вдруг взвивается криком чайки, провожающей корабли... Но вот на высоких балконах появляются хористы. Они кланяются аплодирующей публике, потом и сами кому-то аплодируют, и появляется дирижер. Последней вырастает над балюстрадой голова таинственного органиста, и вместе с опущенной палочкой дирижера выплывает на горизонте удивительное сплетение таинственных звуков.

Потом наступает тишина, и в той тишине «Реквием» Моцарта открывает свои ворота, и вихрь срывает вас с кресла и вносит в мир великих истин. Мужские голоса, опора жизни, властно правят миром, но вот, поди ж ты, тают, рушатся опоры жизни, и уже под сводами собора рыдают прекрасные голоса одиноких женщин. Их плач сокрушает своей болью, но нет же, еще не все потеряно. Горе находит в себе мужество обретать заново силу духа. Мужские голоса спешат на помощь, они идут, созидая и утверждая, они оборачивают слезу горя в слезу радости, и уже не плач, а гимны сотрясают высокие своды Домского собора. Но, увы, все в жизни течет, все изменяется, и снова одни осколки, одна пыль и одинокий голос рыдающей женщины...

И уже не к Моцарту, а к вам приходит богатый незнакомец заказывать мессу, и вы гордо, не ведая того, что творите, принимаете заказ. И начинаете безжалостно ворошить собственную жизнь, чтобы создать наиискреннейший плач о жизни и смерти незнакомого вам человека. Вы художник, вы исполняете заказ, но глина, из которой вы лепите, — это ваша собственная душа, ваша жизнь, ваша судьба — другой глины у вас нет и быть не может. Вы проводите дни и ночи в трудах, и вдруг на этих бессмертных пересечениях собственной жизни и законов искусства вы начинаете понимать, что, создавая плач о незнакомце, вы оплакиваете самого себя, а плача по самому себе, вы даруете жизнь всему миру.

И как это важно, и как это нужно, чтобы, безмерно гордясь силой и мужеством человека, отдавая должное его заслугам и подвигам, увидеть, хотя бы раз в год, хотя бы мельком увидеть его маленьким и незаметным под

этими прохочущими сводами. И как это важно, и как это нужно, чтобы человек, создающий мессу для богатого незнакомца, понял бы, что с этой мессой могут проводить в последний путь его самого...

О вы, бессмертные мастера XVIII века, что же вы так искусно замуровали все входы в ваши храмы красоты, так что многие поколения блуждают вокруг и начинают уже как бы чуждаться и вас самих, и ваших творений — до того все закрыто, до того все недоступно. Или вы опасались, что проникнут в эти храмы варвары и все разрушат, или вы мудро решили, что неведомое всегда шире и прекраснее, чем познанное? Или вы это сделали во славу искусства, чтобы гении всех времен платили всегда одинаково высокие цены за свои творения?

Поздно вечером, после концерта, город кажется не то что опустевшим — он почему-то вымершим кажется. Идешь по каменным мостовым и слышишь звук своих собственных шагов. Вереницы усталых, но осененных странным отсветом вечных истин медленно плетутся к вокзалу, к пригородным поездам, и провожает их с размокших после прошедшего дождя афиш силуэт великого музыканта. Размытый дождями, он все еще молод, в расцвете сил, и этот дух, скопленный на лету, в самом зените, будет долго еще отдаваться острой болью, пока вы будете идти к вокзалу под звуки собственных шагов.

1970

Запах спелой айвы

1

Была только середина апреля, а Кишинев уже шелестел свежей листвой. Весна взорвалась за какие-нибудь два-три дня, и началом этого взрыва послужил немыслимо ранний для Молдавии дождь. Он пошел ночью с десятого на одиннадцатое апреля и лил до самого белого дня, и грохотал гром, сверкали молнии по всему небу, а к утру на город накатила весна.

Высокий, красивый и печальный учитель шел по проспекту Ленина, вдыхал запах свежей зелени и думал про себя: «Вот эта ранняя гроза меня и доконала...»

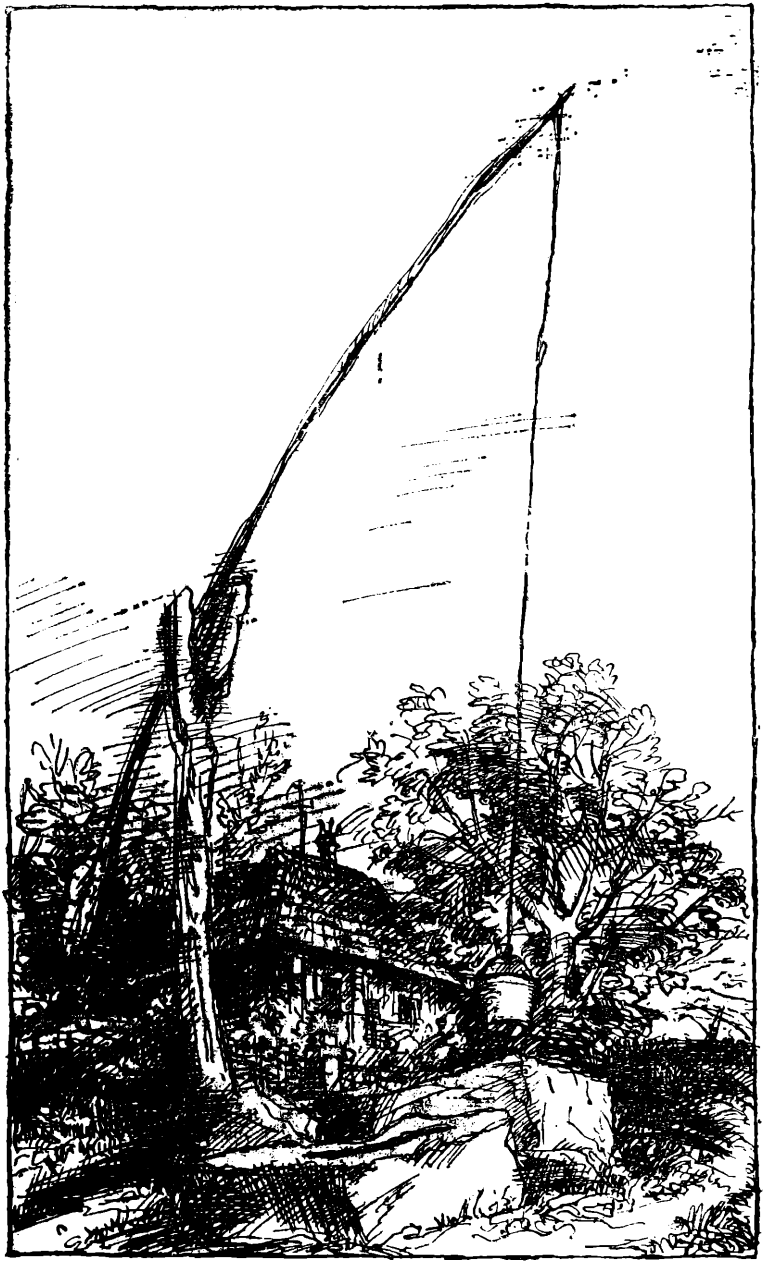
В правой руке он нес портфель, в левой — сетку с апельсинами. Дойдя до Пушкинской, он протиснулся сквозь толпу пешеходов, дожидавшихся у светофора, храбро ступил на мостовую и только тогда увидел летевшую прямо на него черную «Волгу». Он улыбнулся, потому что как же еще поступить молдаванину, который своими глазами видит собственный конец?

«Вот эта самая гроза...» — начал было он опять, и тут же огромная сила, на которую он вряд ли был способен при других обстоятельствах, буквально выбросила его вперед. Правда, толку от этого было мало, потому что там, за черной «Волгой», шла другая «Волга», зеленоватая, и он второй раз ужаснулся, потому что, не успев выбраться из-под одной машины, кидался под другую.

«Вот эта самая гроза ночная...»

На него иногда находила странность такая — думать про себя в стихах. Это было нечто вроде привычки. Сочинение эпических полотен помогало выбираться из таких передряг, из которых другой, может, и не выбрался бы.

Дикий пересвист тормозов, грохот железа, звон разбитого стекла, властная трель постового милиционера и мелкая морщинистая картошка, покатившаяся вниз по Пушкинской. Картошка высыпалась из сетки маленькой



старушенции, которая дожидалась у перекрестка вместе с другими пешеходами, но, когда учитель ступил на мостовую, она машинально увязалась за ним, доверяясь его молодости и сообразительности. На их счастье, асфальт был уже сухой, и тормоза у машин хорошие; другое дело, что на первые машины налетели сзади другие, а на те еще нелетели. Теперь шоферы и пешеходы, собравшись вокруг, орали и вопили на все лады, старушка крестилась, а учитель был уже на другом тротуаре, куда не чаял было добраться. Его вдруг залихорадило. Бледный, весь в испарине, он искал, на что бы присесть. Неподалеку были какие-то скамейки, но, оглянувшись, он увидел, что положение на мостовой осложняется. Милиция замеряет расстояние между машинами, регистрируются, опрашиваются свидетели, и он счел за благо свернуть на Колодезную. Дойдя до Болгарской, еще раз свернул и пошел вверх к Садовой, в ту часть города, где должно бы еще сохраниться хоть немного покоя, свежего воздуха и тишины.

Стоял чудный весенний день. Небо было праздничноголубое, солнце по-летнему теплое, на древних акациях, распоровших своими костями толстый слой асфальта, галдели воробьи, и со стороны Костюженского шоссе несло гарью. Видать, где-то в садиках жгли прошлогоднюю листву. Каждый год с этого дыма начиналась весна в молдавской столице, а весна хороша, когда ты дома, и, видимо, потому едкий дым нагонял на учителя жуткую тоску. «А на Буковине в эту пору стоит еще распутица, в Карпатах все еще тают снега...»

Садовую он прошел почти всю, но ни покоя, ни тишины там уже не было, и он спустился в Пушкинский парк. Ему не давала покоя мысль о том раннем дожде, ему нужно было продумать какие-то обстоятельства своей жизни, связанные с этим дождем. В парке его ждало излюбленное место — каменные скамейки, расположенные амфитеатром вокруг памятника Штефану Великому. С год назад этот памятник перенесли в глубь парка, заменили постамент, вновь выгравировали на нем слова Карамзина: «Мужественный на поле брани, скромный в счастье, он был удивлением государей и народов, с малыми средствами творя великое». Подошел, положил свои вещи, сел и просидел долго, не шелохнувшись, дожидаясь, когда пробьют часы на площади. Забыл с вечера завести свои старые часы, а спросить время у прохожих не было сил. Вот, казалось бы, пустячное дело — остановить прохо-

жего и спросить, который час, а на это нужна определенная внутренняя энергия, и этой-то энергии у него как раз и не было.

На площади, под аркой, ударили в колокол раз, потом, спустя какое-то время, еще раз, но это могли быть только четверти часа. До полудня было еще далеко. Хотя, подумал он, кто знает, за всеми этими происшествиями время бежит быстро. Но тут из-под арки посыпались удары и, к его счастью, пробило одиннадцать раз. Он улыбнулся, облегченно вздохнул, и оттого, что время было еще раннее, ему стало как-то лучше.

«Теперь относительно того ночного дождя. Давай обмозгуем».

Он был хорошим учителем, и когда его ученики там, на сквере Молдавии, заходили в тупик, говорил им: «Давай обмозгуем». И это не было ханжеской формулой, подразумевающей, что, дескать, ты, ученик, будешь ломать голову и думать, а я в это время постою рядом с тобой и посмотрю, что там у тебя получится. Нет, он был хорошим учителем, и актером, и художником, и мог, зная тему урока, вообразить себя незнающим, стать рядом с учеником, пойти вместе с ним на поиски некоего давно исчезнувшего государства, заражая ученика энергией и упорством. Тогда он, правда, еще не знал, что, растрачивая себя безрассудно, рискуешь закончить свои размышления под колесами автомашины.

«Итак, относительно того самого дождя, и того грома, и той молнии», — начал было он снова, и снова мысль остановилась, как норовистая лошадка перед большой рекой.

«Нет, — подумал он, — сначала нужно успокоить нервы. Мозг не в состоянии что-либо просветить, пока нервы взбудоражены».

Лучше всего он успокаивался в пути, особенно в поезде, но поезд, которым он собирался уехать на север, шел только в пять. Правда, он мог уехать еще вчера. Обычно из больницы выписывали после обеда, так, чтобы больные сразу поспели на тот поезд, но он, выписавшись, остался переночевать. У него были дела в министерстве, и в институте, и в Обществе по охране памятников культуры. К своему несчастью, он с утра увлекся глубокими раздумьями и чуть не попал под машину. Его до сих пор трясло, и в этом взбудораженном состоянии он не считал возможным явиться в государственные учреждения. Неврастения есть состояние болезненное, постыдное, и в

этом виде не то что недостойно, а просто бессмысленно являться в любую ответственную, решающую инстанцию. О том, чтобы поговорить на равных или тем более попытаться решить какое-нибудь дело, не может быть и речи, потому что, едва завидев тебя, начальство будет уже думать, как от тебя побыстрее избавиться.

«А на Буковине стоят теперь теплые, солнечные дни...»

Хотя это, может, и не делает чести мужчине, он любил при случае погреться на солнышке. Как ни странно, а именно при ленивой сонливости, навеянной солнечным теплом, ему приходили в голову самые интересные мысли, самые верные и точные решения. В Кишиневе тоже было солнечно и тепло, и местечко как будто выбрано неплохое, но вот он сидит на скамейке и греется, а сонливой лени и в помине нет, потому что, в самом деле, откуда она возьмется в городе, где царят спешка, шум и суета? Это состояние можно было обрести только там, в родных местах, так сказать, на малой родине, хотя трудно решить, где теперь его малая родина...

Буковина до сих пор потрясает его во сне своими красками, своими запахами, но ведь это только часть его жизни, потому что после Буковины он успел еще пожить на севере Молдавии, и если на Буковине осталось детство и отчий дом, то на севере Молдавии остались ученики, жена с сыном, осталась его любовь. И была та любовь у него первая, а первая любовь, радостна она или печальна, но она единственна, неповторима...

Сидя на каменной скамейке, он чувствовал, как с каждой секундой каменеет, тупеет, а это для него было равносильно смерти. Ему предстояло в тот день принять самое важное в своей жизни решение, потому что сесть-то он сядет на поезд в пять часов, а на какой станции сойти, в Петренах или Вереженах, — это ему еще предстояло решить. Смешно подумать: для иного колхозника и проблемы такой не существует — в мгновение ока он решает, чем ехать, где сойти, а тут человек с высшим образованием два месяца бьется — и все без толку.

«Ах, этот дождь, вот этот самый ранний дождь...»

Петрены были маленькой станцией, с двумя тополями, с уютным залом ожидания, с вечно открытой кассой, в которой всегда можно купить билеты на все поезда, на все направления. Этот домик из красного кирпича был первым каменным строением, которое он видел в жизни. Отсюда он часто ездил с родителями в Черновцы, с этой

станции уехал на войну отец, с этой же станции уехал и он сам, уже юношей, учиться в Кишинев. Может, потому, что деревня была неподалеку, всего в трех верстах, мать часто провожала сына, и в его душе они стали чем-то похожими меж собой — полная жизни мать и хмурое, неподвижное здание вокзала. Потом, когда он уже был на третьем курсе, матери не стало, а спустя какое-то время и сам вокзал перестроили, перекрасили, так что, кроме щемящего чувства печали, ничего не ждало его на перроне того вокзала.

Вережены — это было совсем другое. Чистый и благополучный, побеленный известью вокзал на полпути между Черновцами и Кишиневом. С одной стороны лес, с другой — холмистое поле. Длинные хранилища для зерна, склады деревянных ящиков консервного завода, белые аккуратные домики вокруг. Он так часто проезжал через эту станцию, что знал уже и как сложены буквы в названии под крышей, и чем торгует продавец в буфете, знал в лицо всех трех дежурных по станции и сильно удивился бы, если бы ему кто сказал тогда, что эта станция станет рядом с Петренами, даже вытеснит их, и в тридцать два года он будет лежать со стенокардией в Кишиневской республиканской больнице по милости все той же самой станции. А ехать ему туда хотелось, о, как ему хотелось туда, но весь его дух, все его достоинство восставало против этого желания.

«Вот если бы не та гроза ночная...»

Солнце по-летнему слепило глаза, дул прохладный ветер, и по-прежнему пахло гарью. Рядом с ним, у каменной скамейки, лежали его вещи — полная сетка апельсинов и портфель, набитый теплыми вещами так, что замки его едва запирались. Теперь, поскольку он был собой недоволен, то и собственные вещи как-то тяготили его. Ну что за идиотство — сетка с апельсинами и портфель, набитый так, что вот-вот расползется по всем швам. В портфель он упрятал теплые вещи, потому что когда его положили в больницу, был еще холодный март, ну а апельсины он купил утром, выстояв огромную, часа на два, очередь. Он их не собирался покупать, но когда выходил из больницы, выгружали из машины ящики с апельсинами, и те, у кого были дети, тут же становились в очередь. У него был сын, и он просто обязан был встать в очередь.

«Салют, камарадо!»

В расщелины каменной скамейки, на которой он си-

дел, выползало огромное количество маленьких жучков, называемых в Молдавии москаликами. Они собирались целыми скопищами там, куда проникали лучи солнца, но не слишком выползали, потому что весеннее солнышко хорошо в укрытии, куда ветер не добирается. Тоже небось не дураки. Он им обрадовался как родным, точно они тоже были родом с северной Буковины. Их кирпичные, в черную крапинку, спины стояли не шелохнувшись, и он подумал, что все в мире суета сует и ничего человеку не надо, кроме капли солнечного тепла в весеннюю пору. Нужно каждую весну суметь стать жучком, погреться, не слишком высовываясь, а там и мысли прояснятся, и решения придут сами собой.

«Что ж, — сказал он сам себе, — пошли погреемся».

Кишинев он знал довольно хорошо — как-никак, а пять лет прожил. И хотя в годы учебы он был и бедным, и застенчивым, но молодость есть молодость, и он, конечно, знал неплохо те закутки в окрестностях города, куда уединялись влюбленные. Взяв портфель и сетку с апельсинами, он поплелся к Комсомольскому озеру и всю дорогу уговаривал сам себя не думать больше о том ночном дожде и быть внимательным при переходе улиц. Хотя его и выписали из больницы, чувствовал он себя еще неважно, и то ли оттого, что много ходил в то утро, то ли еще по какой причине, но голова начала слегка кружиться, и потому он не стал особенно долго выбирать место для уединения. Чуть в стороне от каменных лестниц, каскадами спускавшихся к озеру, чернела небольшая эстрадная сцена, построенная для летних представлений. Уже когда забивали в нее последние гвозди, выяснилось, что она слишком мала для нужд города, и тут же построили другую, на десять тысяч мест, несколько подальше, а эта была отдана бабушкам, воспитывавшим внуков, и одиноким молодым людям с неустроенной личной судьбой.

Теперь тут было тепло, пустынно. Под ногами сухо шуршала прошлогодняя листва, над головой шелестела листва молодая. Весна взорвалась, конечно же, благодаря тому ночному дождю, и как его мучает до сих пор тот дождь, ну сил никаких! Он выбрал себе одну из многочисленных скамеек, раскинувшихся далеко друг от друга, точно они крепко поссорились. Уселся лицом к солнышку, нашел даже какой-то старый фанерный ящик, на который закинул ноги этак на западный манер, прищурился от

удовольствия, которого еще не было, но которое должно было вот-вот наступить, и вдруг услышал рядом прокуренный женский голос:

— У вас тут свободно?

«Вот она, — подумал он, — наша сладкая жизнь. Ла дольче вита».

Собственно, он как-то не подумал, что и после окончания им университета молодые люди с неустроенной судьбой продолжают ходить сюда, чтобы знакомиться.

Ему не хотелось знакомиться, не хотелось говорить, и он только кивнул. Скамейка, на которой он сидел, скрипнула, чуть качнулась и замерла.

— Чего лицо кислое? Такой молодой, красивый, а лицо кислое...

Он подумал, что она смеется над ним. Скинул ноги с ящика, выпрямился, оглянулся. Ярко накрашенные губы, синие круги под глазами, но лицо миловидное, и оно как бы говорило: «Вот нравишься ты мне, и ничего я с собой поделать не могу».

— Это я-то молод и красив?!

— Так рост же, господи! Пойди поищи другого, чтоб такого росту!

Он улыбнулся: как же, чуть не забыл про свои метр восемьдесят пять. Они были всегда его мукой. Все детство проходил в одной рубашке и одной паре штанов: донашивать со старших было невозможно — не налезало. В школе, в поле, на перекрестках дорог, на посиделках, когда говорить становилось не о чем, говорили о его удивительном росте, о выгоде и хлопотах этого явления. Правда, у сельских девушек его рост не вызывал особых эмоций, и только мать, провожая первый раз в Кишинев, прошептала на вокзале:

— Не верь девушкам. Ни красивым, ни дурнушкам, никому не верь.

— Я же не свататься. Я учиться еду!

Мать вздохнула и улыбнулась.

— Ты-то едешь учиться, но мы не знаем, зачем они туда поедут...

И правда, первое время ему пришлось туго в университете. Он был еще весь деревенский, застенчивый, тосковал по своему детству, а они бегали за ним стаями, писали любовные записки, строили глазки, дулись и прощали ему, хотя и дуться было не на что, и прощать было нечего. На втором курсе стало еще хуже. Падкие до высоких кавалеров, девушки прямо изводили его, распро-

страняли о нем самые несусветные сплетни, высмеивали его тяжелую, чуть вразвалочку походку, пересаживались в столовой за другие столы, если он случайно садился с кем-нибудь из них, и такое было время, что хоть бросай учебу и беги куда глаза глядят.

— Курите? — спросила девица хриплым голосом.

— Нет.

— Что так?

— Сердце.

— Ха! Сердце! Держите меня, а то упаду!

Потом, сладко зевнув и потянувшись до хруста в каждом суставчике, сказала:

— Я, конечно, не навязываюсь, но, между прочим, могу сообщить, что тут недалеко на Садовой у меня подруга живет. Проигрыватель, все условия, отдельный вход...

Вот уж воистину ирония судьбы: единственное, чего ему теперь недоставало, так это любовницы. Молча поднявшись со своего места, забрал свои вещи и так же молча ушел. «Слабак несчастный!» — крикнули ему вдогонку, но он предпочел сделать вид, что эти слова до него не долетели. Обогнув озеро, пошел к тому, другому зеленому театру, и хотя там было ветренее и неуютней, знакомства с ним никто не искал. Забрался на сцену, заваленную всяким хламом. Уселся в старой лодке лицом к солнышку, тихо, для уюта, раскачал сам себя. Было хорошо, было солнечно, почти как там, на Буковине, но, видать, обрести покой ему было не дано. Тот хриплый, прокуренный женский голос обладал даром будоражить мужскую кровь. Своей бесстыжестью он разбудил в нем вулкан, который врачи с таким трудом тушили два месяца, и его больное сердце опять сорвалось с размеренного ритма и поскакало на одной ножке бог весть куда. «Ах, если бы не та гроза ночная...» — начал было опять кто-то его же голосом складывать какую-то быль в стихах. И вдруг мужчина в нем восстал, он на секунду остервенел и сказал сам себе: «Это неправда, до той ночной грозы была еще любовь!» И чтобы не попасть обратно на ту же койку, с которой только что его подняли, оставался только один путь — процеживать поток воспоминаний, медленно, глоток за глотком. Этому Хорию научил профессор Анестиаде. Мудрый Николай Христофорович както очень хорошо втолковал ему, что беда молдаван — их взрывчатая эмоциональность. Когда у молдаванина нет

явных предлогов для эмоций, он бежит к своему прошлому, откапывает самое драматическое, самое печальное в своих воспоминаниях и сам же изводит себя.

— Как же нам в таком случае быть? — спросил тогда Хория у профессора, производившего обход. — Забыть все на свете? Отказаться от своего прошлого?

— Нет, зачем же?.. Но нужно непременно регулировать поток воспоминаний: любой образ, любая картина прошлого, как бы она ни волновала поначалу, если держать ее на расстоянии и дать мозгу время всесторонне ее продумать, в конечном счете окажется не тем, чем была в самом начале. Ум — это командующий, а чувства, в том числе и эмоции, — его армия. Любая операция должна быть осмысленной, согласованной, а то ведь что это за командующий, что это за армия, если меж ними нет слаженности, если бои происходят просто потому, что настроение было кислое, просто ради того, чтобы вкусить еще один раз горечь поражения?

«Что ж, — сказал Хория сам себе, — попробуем расчленять свою боль холодным лезвием рассудка».

Женский голос по-прежнему не давал ему покоя, но не тот, прокуренный, а другой, родной и близкий...

2

Хория был на третьем курсе, когда появилась та, которой суждено было стать его горем, его судьбой. Осенью, как только они вернулись с уборки винограда, по университету прошел слух, что на факультет французского языка поступила какая-то феноменальная цыганочка, откуда-то из-под Бельцев. Такой шельмы, говорили ребята, мир еще не видывал. Смуглое точеное лицо, изящные, крылатые ноздри, которые чуть-чуть трепетали, хватая воздух, тонкая, длинная шея и стройное тело, созданное богом для любви и только для любви.

Поначалу она Хории не понравилась. А может, он нарочно заставил себя пройти стороной, подчиняясь той древней крестьянской мудрости, гласящей, что излишне красивая баба в доме — излишние хлопоты. Так или иначе, но при первой встрече он сказал себе: «Нет, сначала нужно посмотреть на ее родителей, чтобы сообразить, что и откуда в этой красавице». Такая стать редко встречалась среди деревенских девушек, успевших наработаться в поле до поступления в университет, и ее бедным родителям, думал он, нелегко далась холеность своей дочери. Хо-

тя в то же время удивляли ее феноменальные способности к языкам. Подумать только — приехала из какой-то глухомани, кроме Кишинева, ничего в жизни не видела, а шпарит по-французски так, что профессора прямо диву даются. Звали ее Женей, но из-за пристрастия к французскому языку ребята прозвали Жанет.

Лохматые высокорослые парни были главным, чем она интересовалась в жизни, и ее черные, с цыганщиной глаза не пропускали ни одной университетской шевелюры. Свидания ей назначали чуть ли не каждый день, она охотно на них шла, гуляла с парнями по самым темным аллеям, которые ни до, ни после революции не освещались ничем, кроме синего неба, луны и звезд. Она бывала ласкова и доступна до удивления, она придавала храбрости самым скромным и застенчивым, но, доведя парней до высшего накала, до сладкой дрожи в позвоночнике, она мигом трезвела, выскальзывала, как щука, просачивалась, как вода сквозь песок, и уж не было никаких сил вернуть ее обратно к прежним шалостям.

Часть студентов ее боготворила, другие ругали последними словами, вынашивая планы адской мести, но равновесие вокруг нее не нарушалось, количество поклонников примерно соответствовало количеству ее хулителей.

Теперь, разомлев от весеннего солнца и тихо покачиваясь в своей заброшенной лодочке, на сцене зеленого театра, Хорня не без удовольствия вспоминал, что его не было среди тех первых дураков, которые толпились вокруг нее. Но в середине зимы, сразу после зимней сессии, настал тот роковой день, когда и он потерял голову. Влюбился он в актовом зале, после обеда, часа в четыре. Глупо, конечно, что человек помнит и день, и место, и час, но если он их в самом деле помнит, куда денешься? Хотя запомнить было не так уж трудно: это были дни, когда их исторический факультет праздновал свою первую и, может быть, самую крупную победу.

В республике решили учредить Общество охраны памятников культуры. Много лет факультет истории университета добивался создания этого общества, и вот наконец дело сдвинулось с мертвой точки.

В актовом зале горели все три люстры, на сцене царствовал огромный букет тюльпанов, а в зале чинно сидели подстриженные и отутюженные студенты. Была долгая тишина, потом в этой тишине на сцену вышел, сияя в своем новеньком, с иголочки костюме, Иларие Семенович Турку. Была большая справедливость в том, что

он вышел первым, потому что если в университете и был человек, который боролся до конца за создание общества, то это был любимец студентов доцент Турку. И была большая мудрость в том, что и ректор, и остальные профессора, шедшие за ним, как бы запоздали чуть-чуть, оставив его одного перед всем залом. Иларие Семенович, вдруг поняв, что выскочил слишком резво, смутился, но это смущение отступило перед важностью предстоящего торжества. У него прямо сияли глаза от счастья, и студенты вдруг встали, потому что у них тоже сияли глаза, и актовый зал гремел от ликования.

«Боже мой, кажется, целая вечность прошла с тех пор...»

Когда южный темперамент поутих и все уселись, Иларие Семенович начал говорить, как и полагалось в таких случаях, с трибуны. Язык у него был хорошо подвешен. Красиво и сочно обрисовав проблему в ее, так сказать, первозданном виде, он затем стал рассуждать о том, из чего нужно исходить, определяя ценность того или иного исторического памятника и какое место эти памятники должны занять в общекультурной жизни республики.

— Между прочим... — сказал он, опасливо скосив глаза, что обычно означало небольшое отклонение, при котором Иларие Семенович собирается чуть-чуть свернуть с борозды подготовленной речи и сам еще не уверен, хорошо ли это у него получится. Студенты навострили уши, потому что, как правило, эти отклонения у него бывали интересней, чем сами речи. — Я хотел бы, — сказал он, — поговорить с вами о судьбе Звонницы на Каприянской горе. Любой молдаванин знает легенду о том, как Штефан Великий, потерпев тяжелое поражение в битве с турками, постучался в хижину отшельника Даниила на Каприянской горе и попросил ночлега. Любой наш школьник может дословно повторить ответ отшельника: «Отдых воина, потерпевшего поражение, — на том же поле, где была разгромлена его армия». И уж кто не знает про ту ночь, когда Штефан собрал остатки войск, вернулся на поле брани и победил.

Тут Иларие Семенович налил себе из графина полстакана воды, медленно отпил несколько глотков. И дело было не в том, что его одолела жажда, — просто нужна была пауза, чтобы прикинуть, как дальше быть.

— А между тем, — решительно сказал Иларие Семенович, — мало кто знает, что эти слова стоили жизни

бедному отшельнику. Много лет спустя, когда Штефан однажды во время охоты забрел в те края, его сердце содрогнулось — янычары сожгли лачугу отшельника, а его самого повесили. И стояла тишина, глубокая, мертвая тишина стояла над тем краем. Потрясенный господарь повелел над остатками лачуги возвести Звонницу, назначить туда из числа своих воинов звонарей, чтобы каждый день на рассвете и на закате звонили колокола на Каприянской горе.

Турку, конечно же, не случайно был любимцем студентов. Он умел говорить, умел перевоплощаться, и, не сходя с трибуны, не снимая новенький, с иголочки, костюм, он проиграл туркам битву, постучался к отшельнику, собрал остатки войска и победил. Теперь, вытерев пот со лба белоснежным платочком, он отдал распоряжение возвести Звонницу над останками отшельника, выждал полагавшуюся в таких случаях паузу и добавил тихо, печально:

— Все это вещи известные, все это гордость нашей истории, но вы поезжайте на Каприянскую гору и посмотрите, что осталось от той Звонницы. Нижнее помещение завалено мешками с ядохимикатами. Ветер сорвал половину крыши, кругом кустарник, запустение, а в обеденное время мальчишки из соседних деревень привязывают коров к стоякам той самой Звонницы.

Доцент умолк, и в актовом зале наступила мертвая тишина. Было обидно, было стыдно. И за себя, и за невнимание к своей истории. Иларие Семенович налил еще полстакана воды и вдруг взорвался, не успев его пригубить.

— Между прочим, — сказал он, — рядом со Звонницей по склону холма рассыпана Каприяна — большая деревня, ведущая свое начало тоже с тех самых времен. Поговаривают даже, что ее основали звонари, служившие на Звоннице. Давайте спросим себя: как могло случиться, что дети привязывают своих буренок к стоякам Звонницы, с которой их предки сотни лет подряд звонили, когда занималась заря и когда гасли сумерки? Народ там живет не бедный, не глупый, есть там прекрасная средняя школа, есть своя интеллигенция, даже, по-моему, и сейчас у нас в университете кто-то учится оттуда, из Каприяны.

Стали вспоминать. Студенты народ дотошный. Острых языков много, а истина одна. К сожалению, никто не мог вспомнить, ни как он выглядит, тот студент, ни на каком

он курсе. Иларие Семенович уже готов был вернуться к делам общества, но у него была отвратительная привычка: он не давал спуску своей памяти, он заставлял ее на четвереньках ползти и добывать ему сведения, без которых мог бы и обойтись.

— И даже не студент, а студентка, смуглая такая, красавица, на первом курсе...

— Жанет?!!

— Да вот же она, в третьем ряду сидит...

Девушка поднялась, в один миг ее глаза сузились, точно она никак не ожидала, что ее в конце концов откопают. Она долго, вопросительно как-то смотрела на доцента, но он не хотел ее щадить: история была выше смазливой первокурсницы. Точеные ноздри встрепенулись, Жанет словно слетела с ветки и стала быстро что-то шпарить по-французски. Зал взорвался. Ишь ты, шельма! Испугалась родного языка, на иностранном изъясняется... Зал свистел и ржал, и только доцент Турку с серьезным видом старался проникнуть в изящный узор французской речи, но, когда Жанет, кончив, села, он улыбнулся и сказал:

— Милая девушка! Если даже допустить, что я все понял, то и тогда было бы этого недостаточно, потому что мы не вдвоем на скамеечке в темном уголочке парка. Нас тут около шестисот, и всем хотелось бы услышать ваш ответ, и, если можно, на том же языке, на котором изъяснялся Штефан с отшельником Даниилом.

«В темном уголочке парка» — это было отлично сказано. Зал грохотал от удовольствия. Молодец Турку, этим вертихвосткам не нужно спуску давать, не то они завтра-послезавтра своих родителей не узнают! Странно было только то, что весь этот шум и гам совсем не действовал на Жанет. Она вдруг встала, посмотрела еще раз на доцента, точно хотела сказать: «Мне вас жалко, но ничего не поцелаешь, сами напросились». И заговорила по-молдавски. Говорила она так же быстро и хватко. Изредка в ее речи мелькали старинные обороты, которые отдавали средневековьем, но и они звучали красиво в ее устах. Она сообщила, что крышу Звонницы чинят чуть ли не каждый год, что этой весной собирали в деревне по тридцать копеек со двора и купили цемент, укрепили фундамент. В нижнем помещении никаких ядохимикатов нет, там просто лежат несколько бумажных ящиков из-под чешского пива, весной там праздновали маевку, и ящики остались с той маевки. Ну а дички вокруг растут

не сами по себе — их перенесли из леса люди и посадили, чтобы гора не залысела, а то земля там глинистая, случаются после обильных дождей и оползни.

— Что до ребятишек и их буренок, то, насколько я знаю, у нас в стране нет специальных постановлений, которые бы указывали, где ребятишкам можно привязывать своих коров, а где нельзя, и я боюсь, что если бы даже такое постановление и было, вряд ли бы оно выполнялось...

И наступила тишина, вероятно, такая же глубокая, как и та, что стояла, когда Штефан возвращался с охоты. Все смотрели на доцента: ну как он выкрутится? Спустя какое-то время Турку улыбнулся и спросил:

— Если действительно все обстоит так, то зачем нужен был еще и французский язык?

— Я ответила сначала по-французски, чтобы пощадить вашу репутацию, потому что, по идее, в университете знающими считаются преподаватели, а незнающими — студенты.

Зал ахнул. Это было неслыханно для Кишиневского университета.

В одну секунду Жанет стала героиней, но это было ей тоже ни к чему, она тут же села, забыла обо всем на свете, и ее черные глаза опять пошли по рядам в поисках красивого чуба. Ничего, старик Штефан знал, кого посылать, чтобы два раза звонили в колокол на Каприянской горе. Эту породу ничем не проймешь, она лихо знает свое дело, и что ей горе, что ей слава...

Хория тогда не досидел до конца собрания, у него не было никаких сил досидеть. Он влюбился. Впервые в жизни он влюбился, и это было похоже на потоп, на пожар, на землетрясение. По чистой случайности оказалось, что они сидели рядом, он был за ее спиной, в другом ряду, и с самого начала собрания ему никак не сиделось на месте, потому что ее волосы и вся она пахла айвой. Этот удивительный запах его прямо пьянил, укачивал, разрывал на части. И пока шла перебранка между Жанет и доцентом, он вдруг вспомнил, что год тому назад был на Каприянской горе, в той деревне с тихими, целомудренными, похожими на монашек женщинами, и там тоже пахло айвой. В каждом дворе, на каждом перекрестке, с каждого подоконника выглядывала спелая айва. И в один миг запах спелой айвы стал его судьбой, и он сказал себе: «Все, свершилось!»

3

Когда солнце стало в зените, над Комсомольским озером давила невозможная духота. Может, потому, что оно лежало в низине, может, оттого, что день был совсем уж безветренным, каким он обычно бывает на юге после грозы. Хория весь покрылся испариной. Тело обмякло, в ушах шумело море, которого он ни разу в жизни еще не видел. Нащупал в кармане валидол, бросил таблетку под язык, пересел с лодки чуть подальше, в глубь сцены, в тенечек, но мучила духота, нужно было побыстрее выбраться на простор, на воздух. С портфелем в одной руке, с сеткой, полной апельсинов, в другой, он заковылял напрямик к желтому зданию сельхозинститута, едва выглядывавшему из-за пригорка: там была конечная остановка троллейбусов, а сами троллейбусы представлялись ему теперь спасением, потому что на своих размякших ногах он вряд ли бы добрался до вокзала.

В половине третьего он сошел в центре, около молдавского театра, и, поскольку до прихода поезда время еще было, решил зайти куда-нибудь перекусить. Есть не хотелось, но он знал, что после еды ему станет несколько покойнее. На дверях ресторана «Молдова» висела табличка: «Закрыто. Спецобслуживание». У входа в кафе «Днестр» стояла очередь, человек двадцать, не так уж много, можно было выстоять ее, но рядом со входом висело меню, в котором больше половины блюд было уже вычеркнуто. В кафе «Молочная» был санитарный день, так что оставалось только кафе на углу Ленина и Болгарской под названием «Золотой початок». Очередь там тоже была изрядна, и в меню возле некоторых названий красовались таинственные пометки карандашом, но вкусно пахло теплой мамалыгой, и, пока он стоял и размышлял, как быть, выглянула женщина, дежурившая у вешалки, и спросила:

— Одиночки есть? Чтобы совсем один человек.

На его счастье, все пришли небольшими компаниями, по два, по три, одиночкой был только он, и, подняв руку, как ученик, знающий урок, Хория прошел и разделся. Сесть ему пришлось за угловой столик, где уже сидели две хохотушки, впервые выбравшиеся в свет и считавшие это, видимо, большим событием в своей жизни.

«Ах, если бы не та жуткая ночная гроза, как бы все прекрасно было!»

Девушки хохотали, в изнеможении валились друг на

друга и, случайно задев его туфлями под столом, краснели и извинялись. Они давно съели свое мороженое, попили сладкой водицы и рассчитались, но не уходили, и ему очень хотелось верить, что и сам его приход в какой-то мере надоумил девушек не спешить. Потом он устыдился этого своего предположения. Какая нелепость! Когда он всем нравился, это было ему в тягость, а теперь ему польстила бы симпатия двух глупых девочек. Но нет. Сердце, его больное сердце, почти два месяца под наблюдением профессора Анестиаде, думало только о той, смуглой, с мальчишеской прической, и теперь, чуть поправившись, сердце снова по ней тосковало... А начались все эти бесконечные муки тогда, в актовом зале.

Некоторое время спустя после того случая у них с Жанет начался роман, хотя романом все это вряд ли можно было назвать. Случайно встретив ее в длинных коридорах университета, он не то что улыбался, у него как-то само по себе светлело лицо, а уж глаз у нее был наметан. Она его, что называется, учуяла. Ее лицо тоже стало светлеть при встречах, но не сразу, не открыто, а несколько мгновений спустя, когда они уже разминутся, и хотя он ее лица уже не мог видеть, по каким-то признакам все же угадывал, когда она ему отвечала. Потом, при встречах, он как-то почтительно стал кланяться, а на это Жанет, перенявшая, видимо, вместе с языком некоторые уловки парижанок, стала делать большие, удивленные глаза. После этого он обиделся, и при встречах его лицо больше не светлело, а в ответ на это Жанет вовсе перестала его замечать. И уже, встречаясь, он смотрел в одну сторону, она — в другую, но, конечно, одно дело, когда люди смотрят в разные стороны просто потому, что так им смотрится, и другое дело, когда они нарочито, демонстративно делают это.

Подобные маленькие интрижки — улыбки, многозначительные взгляды, немые укоры и бессловесные разрывы — очень популярное в Кишиневе времяпрепровождение. Эти увлечения возникают ежечасно, ежеминутно, как грибы после дождя, и после них люди страдают, как и после больших и бурных романов. В большинстве своем эти интрижки ничем не кончаются, они даже до знакомства не доходят, но бывают и с продолжением, да еще с каким! У них с Жанет был именно тот самый редкий случай. Спустя какое-то время они оба стали жалеть о разрыве, но жалея, он почему-то ждал и надеялся, что она сделает первый шаг. Она сама разорвала ту тонкую

пить, которая их связывала, и сама должна была преодолеть трудность, возникшую в их отношениях. В конце концов ее звали Жанет, у нее было множество романов, для нее это было пустячным делом, а он убил бы на это полгода и вряд ли бы что надумал. Хотя, правду сказать, за время их разрыва он написал ей десяток писем, которые тут же рвал, но, видимо, были среди них и дельные. Одно письмо он помнил с первой до последней строчки и в минуты горечи и одиночества вспоминал те строчки и жалел, что не сберег их. Такие звонкие и горячие слова не рождались больше в его душе и, кто знает, родятся ли еще когда?..

Полная официантка принесла горячую мамалыгу с токаной. Он не стал есть сразу. Пододвинув к себе блюдо и чуть наклонившись над столом, он жадно вдыхал в себя запах распаренной кукурузной муки, запах детства, запах милой родины. Вспомнил, что недавно где-то вычитал забавное утверждение о том, что фасоль помогла болгарам пережить многовековое турецкое иго. Он подумал, что если у каждого народа есть такое блюдо-союзник, блюдо — друг и товарищ, то у молдаван это мамалыга. Мы много хвастаем своими садами и виноградниками, мечтаем завалить страну яблоками, залить ее вином, но в трудные для народа времена нашим предкам помогала выжить не кружка с вином и не ящик с яблоками, а эта скромная мамалыга.

Теперь ее в Молдавии почти не едят, теперь кое-кто ее стыдится, потому что такова сущность человека — забыть то, чему ты больше всего обязан, и назло этой вот сущности Хория вдыхал в себя запах мамалыги, чтобы разбудить в себе образ детства, образ Буковины. Увы, крохотный кусочек мамалыги быстро остыл, образ северной Буковины рассеялся, и перед его глазами опять замелькали девушки Кишиневского университета и среди них красивая и загадочная Жанет.

Некоторое время спустя после их размолвки в том же актовом зале университета, в котором он влюбился, показывали какой-то плохой фильм местной киностудии. Никому не хотелось на него идти. Городская пресса успела его уже расхвалить, а народ все не шел в кинотеатры, и создавался неприятный инцидент. Организовали просмотр для студентов. Зал был большой, народу мало, и им посоветовали сесть в шахматном порядке на случай, если заглянет проректор, чтобы создать впечатление полного зала. На экране показывали неестествен-

ных людей, совершающих неестественные поступки и говоривших неестественным языком. Хория сидел съежившись: этот фильм глубоко оскорблял его национальное достоинство. Ему казалось, что каждый фильм — это выход на мировую арену, что завтра-послезавтра мир увидит на экране этих примитивных и неестественных молдаван. Он начал было уже про себя с кем-то полемизировать, кому-то доказывать, почему такие фильмы вредно снимать, вредно показывать, но в это время кто-то тихо сел рядом в пустовавшее кресло. Еще не видя, кто сел, он содрогнулся. Запахло спелой айвой, сильно, упоительно запахло, а это могло означать только одно: примирение. И уже то, что сотворила местная киностудия, перестало его занимать. Наоборот, этот фильм даже чем-то ему стал нравиться. Какой-то милый примитив, хочешь — смотришь, не хочешь — не надо.

Она в темноте склонила к нему свою красивую головку, и он весь встрепенулся от того, что мы обычно называем счастьем.

— Слушай...

Она заговорила просто, обыденно, точно они росли в одной деревне, сидели в школе за одной партой, а между тем общались они впервые в жизни. А может, это не так, может, храбрые буковинцы служили звонарями там, на Каприянской горе, и это они основали там Звонницу? А может, предки Жанет ездили некогда в Буковину за дубовыми бочками и там подружились с предками Хории, и чего, собственно, начинать все сначала, раз они уж столько веков знакомы? Как бы там ни было, он сидел и слушал ее шепот. Вокруг шелестели листвой и вызревали на солнце нескончаемые айвовые сады, а Жанет о чем-то шептала тихо и медленно, потому что в зале изредка раздавались смешки, и ей хотелось не пропустить, если что смешное будет.

— Слушай... В будущее воскресенье ты свободен?

— Относительно, как и все в этом мире... А что?

— Поехали к нам в Каприяну.

— Куда, куда?

Она опять умолкла, потому что в зале снова засмеялись.

— В будущее воскресенье у нас храм. Поехали. Наедимся орехов, попьем виноградного соку.

— А перебродивший, кисленький?

— Раздобудем.

— И музыка?

— Какой же храм без музыки!

В молдавских деревнях в осеннюю пору они очень популярны, эти праздники под общим названием храм. В разных деревнях они приходятся на разные воскресенья, поскольку изначально это были престольные праздники местных церквей, а сами церкви, как известно, возводились в честь различных святых. Потом, со временем, религиозный смысл праздников исчез, в церквах не служили, но осенние праздники сохранились, вобрав в себя новые традиции, новые осмысления: главное, что осенью, когда кончается уборка урожая, главное, что в разные воскресенья, так что и к тебе приедут погостить из соседних деревень, и сам ты к ним поедешь, когда у них будет храм.

В осеннюю пору студенты сплошь и рядом убегали на день-два, когда у них бывал дома храм. Кто посостоятельнее, приглашал друзей к себе на празднество, но приглашали в основном парни парней, девушки девушек. В редких случаях, когда вопрос о женитьбе был уже решен, бывало и иначе — девушка приглашала парня или парень девушку. А тут с ходу, не успев еще толком познакомиться... Хотя, с другой стороны, чего еще можно ждать от этой Жанет?

— А там меня не поколотят?

Она выждала паузу, потому что на экране целовались — глупо, по-животному, впились друг в друга так, что смотреть было противно. Режиссер фильма, видимо, считал этот поцелуй большой находкой. Камера долго, мучительно долго фиксировала этот момент, и Жанет не выдержала, отвернулась. Затем минуту спустя прошептала:

— Не беспокойся, у нас все ниже тебя ростом...

Он был счастлив, но приличия требовали ответить как-то достойно, сдержанно. Он не знал еще, как бы это поудачнее выразить, но она еще раз пощекотала ему висок своими локонами и снова дохнула на него спелой айвой.

— В субботу. В пять. Приходи прямо к поезду — билеты я сама куплю.

В кафе вдруг резко потемнело, и официантки включили большие люстры. Над городом опускались огромные черные тучи, казалось, вот-вот пойдет дождь, но пошел ненадолго снег, и он подумал: «Уж эта апрельская по-

года, прямо кошмар один! Утром было тепло, была весна, даже лето, а теперь опять март, даже не март, а октябрь, и зима еще впереди!..»

Девушки-хохотушки давно ушли. Перед ним стояла пустая тарелка, хотя он толком не помнил, что ел и было ли ему вкусно. Официантка, полная дама средних лет, в мини-юбке, плыла по залу медленно, с чувством достоинства, потому что одно резкое движение — и все, что с таким трудом было на нее натянуто, могло треснуть по швам и разлететься в разные стороны. У нее было хорошее настроение, она мурлыкала про себя какой-то любовный мотив, заглядывала всем мужикам в самые зрачки и на просьбы Хории рассчитаться говорила многозначительно: «Одну минутку». Свободные два стула она прислонила спинками к столу в том смысле, что все занято, и, улучив момент, села рядом с учителем, боднула его большой своей грудью в плечо и прошептала:

— Жора, почему ты меня мучаешь?!

Он улыбнулся. Ну что за напасть, вторую таблетку валидола приходится глотать, а эти идиотки прут навалом.

— Меня не Жора, меня Хорией зовут.

— Ох, господи, большая разница. Одна буква всего — что Хора, что Жора. — Вздохнула, обволокла его томным взглядом. — Так почему же ты, гад такой, мучаешь меня?! Я же извелась вся.

Напористый заезжий дядька, стоявший некоторое время у входа в ожидании своей очереди, пошел напролом, решив испортить официантке игру:

— А что, тут свободно?

— Занято, гражданин. Вы же видите, стул прислонен.

— А, не морочьте мне голову! Надо же — старый человек полчаса стоит на ногах, а она тут заливается и вертит хвостом.

— Это вы обо мне говорите? Да как вам не стыдно! Присела, чтобы с братом родным, с которым уже два года...

— Ну уж он ей и братом доводится!

Хория улыбнулся, положил на стол металлический рубль. Она механически сунула его в карман и спросила миролюбиво:

— Придешь сегодня? Приходи, мы к десяти закрываемся.

— Подумаю.

— Чего тут думать! Приходи, я сегодня свободна.

Последние слова она кинула ему вдогонку, когда он, нагруженный портфелем и сеткой, уже выходил из кафе. Голос у нее был звонкий, глаз цепкий. Ему казалось, что весь народ, и внутри кафе, и на улице, видел эту сцену. Было стыдно, неприятно, точно его уличили в чем-то неприличном, и, чтобы побыстрее избавиться от всей этой кутерьмы, он прыгнул в первый же троллейбус. К его удивлению, троллейбус не пошел прямо вниз, к вокзалу, а свернул с проспекта Ленина и пошел вверх. Пока Хория размышлял, как ему быть, пока прикидывал, то ли выйти через заднюю, то ли через переднюю дверь, троллейбус стоял уже на Садовой. Он сошел, оглянулся и улыбнулся: перед ним, прямо напротив, красовались высокие кладбищенские ворота.

Он любил когда-то хаживать сюда. Для многих сельских ребят, учившихся в те годы в университете, кладбище на Садовой не имело того зловещего смысла, какой оно имеет всюду. То ли потому, что в городе мало было парков, то ли потому, что почти все вузы города так или иначе, а тяготели к Садовой, то ли потому, что в кладбищах есть своя красота, своя романтика, студенты любили этот уголок. Тут, среди зелени, тишины и старинных мраморных надгробий русских князей они знакомились, мечтали, учили уроки и целовались. Может, память юности, может, желание начать все сначала, а может, та скамеечка, на которой они некогда сиживали с Жанет, заставили его перейти улицу и пройти сквозь высокие ворота в мир его недавней юности. Он увидел еще издали ту самую скамейку, которая была когда-то их скамейкой. Они ее выбрали потому, что с одной стороны высилось надгробие бессарабского губернатора, а с другой — густые заросли черемухи. Им обоим понравились и густая зелень, и темный мрамор. Тебя не видят, а для тебя все вокруг как на ладони. К тому же неподалеку было большое дерево грецкого ореха — это был их дедушка, единственный дедушка и со стороны невесты, и со стороны жениха. Теперь оно стояло одиноко. Еще не зазеленело, ему было еще далеко до своих знаменитых, пахнущих до удушья листьев. Но дедушка стоит живой, могучий и крепкий, и пока он был жив, жив был и сам Хория, жива была и та смуглянка, которая стала крестом и счастьем на его жизненном пути.

— Ну здравствуй, дед. Я вот опять к тебе...

...В ту субботу он выгладил свои польские лавсановые брюки, стоившие ему полной месячной стипендии, нарядился в голубую водолазку, занятую у односельчанина, учившегося в мединституте, и понесся что было силы на вокзал. Трижды обошел перрон, заглянул во все закуточки, а Жанет не было. Уже и поезд подошел, и посадка началась, а ее все не было, и он начал было подумывать: а не разыграла ли она его? И тут же в толпе мелькнула модная, только что из парикмахерской прическа.

— Ну? Едем?

— Если успеем.

Вагоны были битком набиты. Ехали в основном колхозники из ближайших сел, приезжавшие рано утром торговать на рынке. Возвращались с пустыми плетеными кошелками из-под фруктов, с разной утварью. Но Хории это даже нравилось. В разговорах, во взглядах, в жестах он узнавал своих односельчан, своих родичей, и эта встреча волновала, настраивала на какую-то праздничную волну. Жанет, однако, приуныла. Чем дальше отъезжали они от Кишинева, тем застенчивей и целомудренней становилась она.

Колхозники распивали вино, нарочно припасенное для обратной дороги, громко шутили, еще громче смеялись, обсуждая меж собой происшествия на рынке. Живописные по природе своей, заряжаясь энергией и артистизмом друг от друга, они в конце концов превратились в актеров самодеятельного театра, и Хория подумал про себя: «Господи! Эти наши кинорежиссеры объезжают всю страну и дерутся из-за какой-то сухопарой гусыни, которая только и умеет, что делать удивленные глаза и целоваться взасос, а тут такие актеры, такие сюжеты, что поспевай только снимать!»

Под Унгенами, когда весь этот балаган одним дыханием слетел с поезда, они остались вдвоем во всем вагоне, и это преждевременное уединение их как-то смутило. Они, в сущности, еще не знали друг друга, они стыдились своих чувств, постигали самих себя. К уединению они еще не были готовы. Тоненькая ниточка, связывающая их, могла в любую секунду оборваться — и все, никто и ничто в этом мире не сможет вернуть обратно то, что могло, да так и не состоялось.

— Если хочешь вздремнуть, я могу одолжить свою шляпу. Не забудь только сказать, на какой мы станции сходим.

Она улыбнулась. Они там, на Буковине, умеют прясть, умеют обращаться с нитками.

— Боишься, что завезу бог знает куда?

— Меня трудно завести бог знает куда, потому что все эти северные районы Молдавии я знаю как свои пять пальцев.

— Откуда ты их так хорошо знаешь?

— Студенческая любознательность. Зарабатывали деньги. И после первого и после второго курса объезжали эти края. Собирали фольклор, фотографировали деревянные распятия, стоявшие в поле, на перекрестках, при въездах в деревни. Ах, какие мы тут видели распятия!

— А наше, каприянское распятие все же не видели?..

— Отчего же? Оно у меня даже сфотографировано. Вот вернемся — покажу...

Жанет резко повернула голову. В ее черных глазах с детской быстротой и непосредственностью появились обида и сожаление. Она, видимо, собиралась обворожить его своей деревней, это было самое лучшее, самое красивое, что было в ее жизни, — и вдруг оказывается, что он уже все видел, все знает... С трудом пересиливая свое настроение, она спросила:

— Что же, и тогда тебя тоже какая-нибудь дура пригласила?

Он рассмеялся:

— Да нет, затащил нас туда Иларие Семенович. Он охотился за той книгой из бычьей кожи, в которой, говорят, записаны имена звонарей и главные события их жизни. Одному ему было не под силу ее раскопать, и он подумал: может, вместе добудем?

У нее опять начало светлеть лицо.

— И что же? Нашли?

— Какое там! Три дня бегали от деда Иона до бабки Фрэсыны, да так ни с чем и уехали.

Успокоившись, она как-то загадочно улыбнулась про себя. Ничего, Каприяна остается еще ее тайной, ее богатством, и растрачивать это добро она пока что не собиралась.

Эта загадочность ему почему-то не понравилась, и он спросил, надеясь вызвать ее на откровенность:

— А вообще-то эта книга в природе существует?

— А как же!

— Ты-то сама видела ее?

— Я-то? Когда была в шестом классе, этот талмуд всю зиму валялся у нас за печкой.

— Там же жарко, эти страницы из кожи могли рассохнуться и погибнуть.

— Да нет, они через столько рук прошли, что им уже ничего не страшно!..

— И куда потом та книга делась?

На миг она вспыхнула — он что, смеется? Он что, с научной целью едет в Каприяну?! Ушла куда-то в себя, еще раз мельком, краем глаза, прошлась по нему, сказала грустно, устало, неопределенно:

— Кто знает, где теперь та книга...

Она произнесла эти слова с той же печальной интонацией, с которой им отвечали на всех перекрестках, когда они бегали по деревне в поисках того осколка древних летописцев. Но как и тогда, так и теперь Хория подумал, что за этим «кто знает...» скрывается очень и очень точное знание того, где эта книга. И его вдруг залихорадило, ему захотелось еще раз попытать счастья: вдруг он тот самый человек, которому суждено ее заполучить?

Это же слава на всю республику, это же готовая диссертация!

Он подсел ближе к девушке, но Жанет смотрела уже куда-то в поле, и он понял, что она ему не помощник в этом. И если подумать, что еще после войны эта книга лежала в нижнем помещении Звонницы, на специальном столике, и любой ребенок, любой прохожий мог подойти, полистать, списать что-нибудь, прочесть вслух...

Рядом стояли подсвечник, глиняная миска с зернами пшеницы. Изредка зайдет какая-нибудь старушка, зажжет свечку, положит монетку рядом с миской, поклонится этим скрижалям, приняв их за святое писание, и опять долго, и два, и три дня, никого нет, только ветер скрипит засохшим старым дубом и тихо отзванивает колокол, когда сильный порыв ветра раскачает его.

Потом одному из служащих сельсовета захотелось полистать «талмуд», но подняться на гору было лень, и он послал дежурного принести ему книгу. Вероятно, он оставил ее у себя как украшение, и, увидев эту старину, какой-то работник из района пожелал увезти ее с собой в район. Года три эта книга путешествовала. То она в сельсовете, то она в районе, то она в Кишиневе.

Каприяна волнуется, Каприяна снаряжает делегацию, крестьяне приезжают в столицу, забирают ее, увозят домой и кладут там же, в Звоннице, на столе, возле бронзового подсвечника. И опять какому-то маленькому чину трудно подняться на гору, и он посылает за ней.

Лет пять или шесть тянулась эта волынка. Потом крестьянам надоело ездить за книгой. А поскольку вся деревня относилась с большим трепетом к тем листкам, подтверждавшим в какой-то степени знатность и древнюю грамотность Каприяны, то люди вдруг упрятали, унесли из Звонницы и ее, и подсвечник, и глиняную миску с пшеницей, и на этом путешествия древнего фолианта закончились. О нем, может, никто и не вспомнил бы, но как раз в те годы молодой историк сделал в своей диссертации одну ссылку на эту древнюю книгу, и после той ссылки историки загорелись таким интересом к ней, что чуть ли не каждое лето приезжали в Каприяну. Они ловили ее тайно и открыто, в одиночку и целыми экспедициями.

На общем собрании колхозников выступал сам президент академии, разъяснял людям, какой научный интерес представляли те листки, была объявлена неслыханная премия тому, кто эту летопись раздобудет.

Люди слушали внимательно, согласно кивали, удивлялись размеру премии и тому, что за те деньги можно бы накупить, а когда заходила речь конкретно, когда ставился вопрос ребром, где же она, та самая книга, слышалось в ответ знаменитое «кто знает...».

— Понравилась тебе наша деревня? — спросила вдруг Жанет.

Он помялся: очень уж неожиданно выходила она на его внутренний голос.

— Да, понравилась...

— Что в особенности пришлось по душе?

— Девушка одна обворожила. Смуглая такая. Не то в восьмом, не то в девятом классе училась.

Жанет подумала.

— Она не могла тогда понравиться. У нее были очень длинные косы и очень короткий ум.

— И вот тем не менее и даже более того...

— Ничего себе, понравилась, а сам сидит целый год

и ждет, когда та девушка сама подсядет к нему и пригласит на храм.

— Я бы подсел к ней давным-давно, но как бы это сказать...

— Без обиняков, прямо скажи.

«Ну и язва!» — подумал он про себя, а вслух сказал:

— Конкуренция была слишком большая.

— А без конкуренции ты бы до сих пор гулял по университету в мятых брюках. Пошли. На следующей станции сходим!

Стояла теплая ночь, над чернеющими вдали холмами висела огромная ослепительная луна.

Они сошли на красивой белой станции под названием Вережены — это была единственная побеленная станция на всей дороге от Одессы до самых Черновиц. Он даже спросил тогда, в три часа утра, когда они только что сошли:

— У вас тут что, так много извести?

Она ответила тихо и таинственно, наклонившись над самым его ухом:

— У нас тут много чего имеется...

Хория рассмеялся. Было в ней что-то лихое, озорное, мальчишеское, и, конечно, она была феноменом в своем роде, эта самая Жанет. Если ее знали весь университет и добрая половина Кишинева, что уж говорить о станции Вережены! Едва они прошли через калитку за зданием вокзала на маленькую площадь, где днем останавливались автобусы, — и подумать только — в три часа утра, в каком-то темном закутке, встречали их как родных. В единственном грузовике, стоявшем на привокзальной площади и уже набитом до отказа приехавшим людом, нашлось и для них место, а шофер любезно согласился ради Жанет сделать какой-то там крюк, а уж от того перекрестка, уверяли его знакомые Жанет, просто рукой подать.

Ехали весело, с ветерком, по-братски прижавшись друг к другу. Километров через пятнадцать их выгрузили прямо в поле, на макушке какого-то холма. Луна тем временем скрылась за тучи, и все вокруг утонуло в густых сумерках, только бетонные столбы белели ровными рядами, то спускаясь по склонам виноградников, то выкарабкиваясь из глубоких долин.

Проводив машину, они долго еще простояли на холме, потому что та самая треклятая ниточка опять была

натянута, готовая вот-вот порваться. На их счастье, в них жил еще дух какого-то древнего крестьянского упрямства.

Они стояли рядом, прихваченные утренней прохладой, и ждали. Ведь если правда, что все в мире постоянно течет и изменяется, то должно же это касаться и окружающего их мира. Что-то, в конце концов, должно произойти, важно только терпеливо дожидаться этого.

Тем временем то ли у них глаза привыкли к темноте, то ли начало уже рассветать, но из ночного сумрака стали выплывать и расходиться в разные стороны ровные ряды виноградников. Листва на кустах темная, почти черная, но уже шелестит, и это так странно, так приятно, когда мягко шелестит черная листва...

Утро пробиралось к ним по далеким ложбинам, окольными, таинственными тропами, словно рождение дня, сохранив свою святость на протяжении стольких тысячелетий, должно было оставаться тайной и на этот раз. А они стояли рядом, взволнованные, неподвижные, точно входили в храм неведомого будущего...

Священная земля наших предков, земля наших родителей, земля наших детей, и как бы еще выразить чувство трепета, охватывающего человека каждый раз при встрече со своей малой родиной... Свежий утренний холодок, и покой, и дремлющие в ночи холмы, и печаль, и восторг, и чувство преклонения перед этой нескончаемой красотой, и желание поклониться, поклясться в верности этой красоте, а потом прожить еще долгую жизнь, оставаясь верным своей клятве...

Время шло, а они все еще стояли на холме, и виноградники осаждали их со всех сторон, будто они были крепостью, которую нужно было непременно взять. А они стояли — она с сумочкой, он с плащом. Стояли и ждали, вдруг еще какое чудо произойдет, а чудес больше не было. День родился у них на глазах — это было самое великое, самое главное, что должно было произойти, и это произошло.

Гребни восточных холмов розовели, над низинами нависали тонкие, прозрачные дымки, и вдруг Жанет сказала тихо-тихо, точно запела:

— В детстве мне почему-то казалось, что вон там, за теми холмами, начинается степь и в той степи есть удивительное село, в котором растет, ничего о том не ведая, мой будущий муж... — И уже другим тоном добавила: — Северная Буковина — это там?

— В общем, там.

— Ну тогда что же ты... Скажи: «Доброе утро, Женя». И поцелуй меня.

У нее дрогнул голос, когда она это сказала. Он поразился ее мужеству, ее откровенности и тихо сказал ей:

— Доброе утро, Женя.

И поцеловал ее, и то ли потому, что было поле, то ли потому, что было утро, поцелуй его был неумел, и свеж, и чист, как и весь тот мир, что их окружал.

— А теперь пошли. У нас сегодня много радостей впереди, у нас сегодня храм. Только не заводи больше разговоров о том талмуде из бычьей кожи. У нас не любят, если кто об этом заводит разговор.

— Но вы-то сами меж собой говорите об этом?

Она посмотрела на него долго, изучающе, словно не ожидала, что он спросит об этом.

— Нет, не говорим.

— Никогда?

— Во всяком случае, при мне никто никогда об этом не заводил речь.

— Ну что ж, так и быть.

Со временем он часто возвращался к тому холму, к тому раннему утру и думал про себя: как иногда самый незначительный случай может перевернуть всю жизнь человека...

Кто знает, если бы им попалась попутная машина и довезла бы их до самых до ворот ее отчего дома, а то великое царство тишины и покоя осталось бы для них неведомым — кто знает, как бы в дальнейшем сложилась их жизнь!

Спускались и поднимались они по каким-то одной Жанет известным тропинкам. Она шла впереди, он шел следом за ней и старался не поднимать глаз от тропки, чтобы не видеть, до чего красиво и маняще пружинит под платьем ее крепкое молодое тело. Им можно было свободно любоваться в коридорах университета, там, где людно и шумно, но почему-то уже нельзя было здесь, в поле, где никого не было.

— Послушай, эти ваши долины отзываются на человеческий голос?

— Не все. А что, ты любишь эхо?

— Да, забавно... В детстве пасли коров, ну и, конечно, баловались...

— Я тоже люблю подразнить долины. Давай пойдем низом, сделаем небольшой крюк, но зато долина там на редкость голосиста.

Идти было легко и приятно. Высокие холмы уползали медленно во все стороны, и были похожи они на огромных доисторических животных, уснувших теперь, на заре, и слабый дымок в долинах казался дыханием этих животных. Было жутко, было страшно и приятно в то же время, и крик парня и крик девушки ушли далеко, переплетенными, на запад, пока не растаяли где-то там, в запрутских поймах. И снова дорога, и опять тропинка, и еще один спуск, и еще один подъем. Она спросила:

— Ты не устал?

Он засмеялся.

— Разве от такой красоты можно устать?

Она вздохнула.

— Еще как! Попробуй каждый день взбираться на эти кручи и спускаться с них. Тут знаешь какие нужно иметь крепкие ноги...

— Крепкие ноги везде хороши — и в степи, и на корабле, и даже в городе. Вообще японцы считают, что человек должен каждый день...

И умолк, потому что неожиданно с правой стороны, на гребне соседнего холма, выросла серо-черная, окутанная легендами и столетиями Звонница Штефана Великого. И дрогнуло сердце, потому что как там ни говори, а то, что шло к нам через четыре столетия, принадлежит уже не нам одним. Они стояли на одном холме, а на соседнем, так, что прямо рукой было подать, стояла Звонница, но деревни почему-то не было на месте, на склоне холма, и он спросил:

— А где же Каприяна?

— Да вот она, внизу...

Между обоими холмами висела пелена белесого тумана. Внизу, из-под нее, еле-еле вырисовывались дома, и только два-три домика окраины, взобравшиеся выше других по склону, стояли над туманом, так что поначалу казалось, что деревни-то нет — всего два каких-то домика. «У нас, на Буковине, такое редко бывает», — подумал он и вдруг переполнился чувством нежности, признательности к этой самой девушке, которая два года берегла эту красоту и только теперь, только ему решилась ее показать. Мягко, одной рукой, он обнял Жанет, но та увер-

нулась, будто те два домика окраины, стоявшие над туманом, могли их увидеть и осудить.

— Стало быть, дошли?

— Стало быть...

С этого последнего холма они не то что спустились, а прямо сбежали. Тропинка была крутой и скользкой. Под утро прошел небольшой дождик, даже не то что дождик, а просто так, ради праздника прибило пыль. У крайних домиков дорога шла по склону, параллельно гребню холма, так что с одной стороны на уровне головы стояли дворы, заборы и дома, а по другую сторону у ног чернели крыши и дымоходы. Кустарники, свирепый лай собак. Это была не деревня, а целый мир, и хоть есть союзник, неизвестно еще, как тебя примут. Даже сама Жанет и та с чего-то заволновалась. И вдруг, когда они уже были в деревне, из-за придорожных кустов выскочил огромный детина в помятой шляпе и крикнул:

— Хенде хох! Руки вверх!

Жанет прямо расцвела от радости такой встречи.

— Симионел, ты-то откуда свалился на нашу голову?!

Тот засмеялся и тут же захлебнулся, закашлялся, словно подавился собственным хорошим настроением. Потом, сразу погрустнев, сказал, с трудом удерживая себя от смеха:

— Вышел — думал: может, гости какие приедут и не будут знать, как ехать к своей родне, и тут я как раз выхожу к ним...

Жанет его похвалила:

— Это ты молодец, что додумался. Со мною вот тоже гость и не знает, как дойти до нашего дома, но поскольку я сама тут, то я же и покажу ему дорогу. Надеюсь, это тебе не будет в обиду?

— Нет, конечно. А ты, это самое... — И снова захихикал и закашлялся. — Замуж еще не вышла?

— Нет еще. А у тебя как с женитьбой?

— Тоже не женился, но вот собираюсь...

— Дай тебе бог хорошую жену.

— И тебе желаю всего хорошего...

И тут же исчез, потому что опять было отчего-то смешно и опять спазмы...

Они пошли дальше, и Жанет тихо рассказывала историю Симионела. Его мама батрачила когда-то у священника, там его родила, там и оставила и затерялась где-то в мире. Он рос сам по себе, служил у священника, а ког-

да в сорок четвертом тот решил уехать в Румынию, ему оставили все хозяйство, но он ничего не захотел взять. Живет в той же лачуге, в которой родила его мать, и хотя дом священника давно снесли и построили на том месте кооперацию, его лачугу оставили. Симионел живет там до сих пор и по ночам сторожит кооперацию. Хороший парень, но у него какой-то психический дефект — он давится собственным смехом. И надо же, как на грех, уродился смешливым, и тянет его на веселье, хоть ты плачь. А иначе он бы давно женился.

Уже и дорога и местность вокруг стали выравниваться, и дома пошли ладные что по правую, что по левую сторону, но вдруг из-за какого-то забора донесся тонкий женский голос:

— Женечка, и тебе не стыдно обходить мой дом? Да разве я не тетя тебе, разве я не так же хорошо готовилась к храму, как твоя мама?!

В деревне уже играли музыканты, мелькали в коридорах кривых улочек грузовики, на которых приезжали гости, начинался храм, великий осенний праздник деревенской жизни, день, который ждали, лелеяли весь год. И, сворачивая с тропинки, чтобы успокоить тетю, Жанет шепнула ему:

— Постарайся не пить. Тут в каждом доме полно вина, и вольют они его в тебя так, что не успеешь опомниться.

Он удивился:

— Что же, совсем не пить, прямо ни одного стаканчика?

Она прошла молча через калитку и сказала не оборачиваясь, уже во дворе своей тети:

— Я хочу, чтобы ты сегодня был трезвым, чтобы я весь день тебя любила, а к пьяному я не знаю еще, какое у меня будет чувство.

— Ты не пожалеешь. Выпивший я на редкость веселый парень.

— Уж не думаешь ли ты, что я ради юмора тебя пригласила?

— Чего же тогда ради?

— Любви.

Едва они переступили порог дома, в нос ударил благостный дух очага, запах приготовленных блюд. Было тепло, уютно в доме, и от этого всего ему ужас как захотелось спать. Он знакомился с ее родней, шутил и смеялся их шуткам, пил вино, закусывал, а его все больше и

больше морил сон, и в конце концов он очутился один в соседней комнате, на мягком диване, и рядом белела пуховая подушка. Снял ботинки, лег, укрылся полосатым пледом и, засыпая, услышал во дворе шепот тети:

— Это и есть твой жених?

Что ответила Жанет, не слышно было, — видимо, она просто кивнула. После небольшой паузы тетя зачастила:

— Славный. И высокий — у нас в селе не знаю, кто смог бы стать рядом с ним...

Что было дальше, он уже не слышал. Он спал. А когда проснулся, был уже полдень, вовсю играли музыканты, смеялись какие-то парни, чьи-то девушки. Жанет вошла сразу, как только он проснулся, а может, он проснулся оттого, что она вошла. Она была уже в другом платье, в туфлях на высоких каблуках, от нее немыслимо пахло айвой — она, конечно, побывала уже дома.

— Ну, страшных снов не видел?

Он улыбнулся. До чего красивая, до чего хмельная была эта Жанет. Умылся, чтобы как-то освежить лицо, она выгладила его водолазку, за что он попытался ее поцеловать, но из этого ничего не получилось, потому что вошла тетя.

— Послушай, Женя, — сказала она удивленно, — мне кажется, что за эти несколько часов сна он еще немного вырос!

— Может быть, — улыбнулась Женя. — Люди и вправду во сне растут.

— Тогда ты ему не давай больше спать, а то потом не докричишься до него.

Они прошли через узкую калитку, вышли кривыми переулками на главную улицу, и началась та знаменитая карусель, которая в Молдавии называется храмом. Описать это в хронологическом порядке почти немыслимо. Каждый дом сияет чистотой и доброй волей, в каждом доме гости произносят цветистые тосты, пьют вино, поют песни и едят куриный студень. А если гостей в доме нету, то, значит, они только что были и вышли или вот-вот должны нагрянуть, и избежать этого загула немыслимо, потому что сам ты, откуда бы ни был родом и как бы тебя ни звали, должен уметь на храме сидеть за столом, пить вино и петь песни, иначе грош цена и тебе, и всему твоему роду. И если у тебя что есть за душой, то, не-

сомненно, на том празднике выложишь, ну а если ничего нет, то так тому и быть, — кому не дано, с того, говорят, не спросится.

4

— Эй ты, длинный, а ну отойди!

Хория обернулся — двое рабочих обхаживали мраморное надгробие бессарабского генерал-губернатора, прикидывая, как бы его свалить. Вид у них был деловой, решительный. Занятый своими бедами, он тогда мельком взглянул на них, так и не поняв, чем они тут заняты. Только теперь до него дошло...

— Да вы что, обалдели? Это же могила того самого губернатора, о котором все современники...

— А нам все равно, — сказал один из рабочих, чуть подвыпивший и потому более словоохотливый. — Что губернатор, что архиерей... Могила ликвидируется по плану. Проект есть.

— Но это же исторический памятник! — не унимался Хория.

— Родня он тебе, что ли? — ехидно спросил второй рабочий.

— Какая он мне родня?

— Ну дак чего зря глотку дерешь?

«Что-нибудь надо придумать», — сказал себе Хория. Какое-то время на размышление, похоже, еще оставалось. Этим мазурикам, подумал он, работы тут дня на два, но тут же, к своему удивлению, увидел, что огромная глыба мрамора стала тихо качаться из стороны в сторону. И неожиданно для самого себя он спросил:

— Орех тоже выкопаете?

— Не... С ним пускай возятся дорожники...

— А при чем тут дорожники?

— Дак троллейбусы будут ходить по этому месту — ты что, газет не читаешь? Выпрямляют дорогу на Костюжены. Газеты надо читать, а то все вы на вид ученые, а газет в руки не берете...

Хория взял свои вещи и, расстроенный, направился к воротам. Вот еще один уголок, еще одна память их общей с Жанет жизни, уходит в небытие, а было так мало в этом мире мест, где они сиживали вдвоем и было им хорошо.

Чтобы как-то успокоить себя, решил пойти пешком до вокзала. Он знал когда-то, как пройти через Ботанику или через Долину роз от кладбища к вокзалу, и, хотя дороги

были неухоженные, все глина да грязь, он пошел по ним, чтобы как-то натрудиться, проветрить свою голову, подумать наконец над тем главным вопросом, которого он боялся и все откладывал.

А в Долине роз уже нарождались запахи. Вы спросите: чем пахло? Не розами, конечно, для этого было еще слишком рано, и не айвой, потому что айвы тут и в помине не было, но пахло весной. Не городской, суетливой и сумбурной, а сельской — мягкой, задумчивой. Журчал ручеек, спускаясь по обочине дороги. У одного из поворотов размокал бумажный кораблик — с этим надводным флотом хлопотливо, тут везде свои законы. Хория высвободил кораблик из плена, и как-то легче на душе стало. Какому-то мальчику это может показаться хорошим предзнаменованием, и кто знает, может, так оно и будет...

«Ах, если бы не тот дождь в начале апреля, как бы все хорошо можно было устроить...»

Из открытых окон каменного дома доносилась музыка. По радио передавали народный танец батуту, и он вспомнил, что тогда, на храме, музыканты тоже играли эту самую батуту. Вообще нужно сказать, что музыканты тогда в Каприяне были отличные. Играли они в центре села, на импровизированной сцене. Около ста танцующих пар двигались огромным кругом, как мягкий водоворот реки, а со всех сторон глазело село, и серебристая, позолоченная солнцем пыль висела над всей долиной. Потом, когда, устав, музыканты валили себе на колени отливавшие на солнце медные трубы и по этим трубам стекали капли пота, хваткие каприянцы уже обхаживали гостей, и начинались приглашения, просьбы, поклоны.

«Пошли и пошли, вы у нас еще ни разу не были, это не дело, мы очень просим, только на один стаканчик, не более».

И вот они идут вереницей, десять, пятнадцать пар, но вдруг на каком-то перекрестке словно из-под земли вырастает веселый мужичок, которому все они очень нравятся, и он громко заявляет, что не выдержит, умрет или наложит руки на себя, если они по дороге к тому главному дому, куда держат путь, не завернут к нему хотя бы на одну минуту, чтобы посмотреть, как он живет. Человек, он, по всему видать, хороший и до того красиво уговаривает, что они соглашаются зайти на минутку, но не успевают дойти до его дома, и вот уже дородная тетка

вместе со своими двумя сыновьями, открыв калитку, хватает гостей парами, тащит их к себе в дом, сажает за стол, наливает в стаканы отличное вино, и все это молча, молча, молча, потому что, в самом деле, к чему тут слова?

Во скольких домах они с Жанет гуляли в то воскресенье — трудно сказать. Ему запомнился дом Жанет, куда пришли они сначала вдвоем познакомиться с ее родителями — маленькой хмурой женщиной, страдавшей беспрерывной мигренью, и высоким, немногословным, трудолюбивым и вечно расположенным к мужской дружбе стариком. Жили они все дружно, в согласии, и временами даже казалось, что Жанет им не дочка, а внучка — до того родители были старомодные, древние, и до того она была огненна и современна.

Второй раз он попал в ее дом уже в кругу большой компании молодежи, и Хория очень смущался, когда Жанет уговаривала всех есть и пить не только от своего имени, а говорила «мы»: «Мы вас очень просим, вы нас обидите». Как-то получалось, что они уже семья, уже ячейка общества, и было приятно, было страшновато в то же время, потому что в любую минуту это могло обернуться игрой, а играть в это ему не хотелось.

Еще он запомнил учителя французского языка Харета Васильевича — он вырвал их из какой-то компании и на минутку затащил к себе. Харет Васильевич учился когда-то в Париже, и, хотя жил вдовцом, дом у него был убран и ухожен на редкость. Небольшой кабинет был буквально завален книгами на французском языке. Хозяин угостил их вареньем, которое они запивали какой-то немыслимо вкусной родниковой водой. «Вином здесь вас зальют, но помнить нужно, что жизнь как феномен зародилась не в перебродившем сладком соку бочки, а в самой вот обыкновенной воде. Пейте и оставайтесь вечно трезвыми — вот вам мой завет...

Харет Васильевич очень любил Жанет, она была его лучшей ученицей, его гордостью, он говорил ей на французском, она упрямо отвечала по-молдавски, чтобы не обидеть Хорию, но в конце концов это, кажется, обидело учителя...

Под вечер, когда музыкантов увели на отдых, Хория каким-то образом очутился один в маленьком переулке, и, пока раздумывал, что да как, местный парень, учившийся в Одесском политехническом, подкатил к нему на мото-

цикле, усадил на заднее сиденье и повез в поле показывать сады и виноградники. В сущности, они почти не были знакомы, но один был местный, другой гость, а кругом храм, и, стало быть, о чем речь...

Хория постеснялся сказать, что видел на рассвете и сады, и виноградники, и хорошо сделал, потому что теперь, после полудня, те же самые холмы, те же самые долины казались уже совсем другими. На убранных виноградниках висела позолоченная, в багряных крапинках листва, сады мелькали то длинными, то поперечными коридорами, в глубоких долинах рассеялся туман, и видно было далеко, за пять-шесть верст видны одинокие овечки, щиплющие травку на серых холмах.

В соседних деревнях люди трудятся — то ли храм уже был, то ли еще только будет. Ветер бьет острой струей, то обволакивая прохладой, то накатывая тепло угасающего дня. Голова гудит от поля, от выпитого вина, от молодости. Легкий мотоцикл свернул с полевой дороги, побежал по мягкому, выгоревшему пастбищу и затормозил возле древней, сколоченной из старых досок овчарни. Одинокий каприянский пастух, измаявшийся оттого, что деревня гуляла, а он тут торчал со своими овечками, принял их как родных. Он, оказывается, тоже готовился к храму, тоже ждал гостей — у него были и вино, и орехи, и свежая брынза, — и так он им был рад, что на прощанье прямо прослезился. Много времени спустя Хория узнал, что слезы старика имели еще и другой смысл. Парень на мотоцикле доводился внуком тому пастуху, и это не было простой поездкой, это было миссией примирения, поскольку родители парня были в ссоре со стариком. И когда, уже заводя мотоцикл, внук обронил как бы между прочим: «Отец и вчера спрашивал, отчего это старик наш давно не показывается...» — бедный пастух отвернулся, и плечи его мелко затряслись...

У Хории у самого как-то отлегло от сердца, и хотя он понятия не имел, в чем там была суть конфликта, он навсегда остался признателен тому парню, что, отправляясь в путь, он взял Хорию с собой, чтобы сделать его свидетелем примирения их рода.

5

Вечером в Доме культуры молодежь устроила бал. До двух часов ночи модная прическа Жанет мелькала среди танцующих пар. Она измочалила всех молодых пар-

нишек, впервые вышедших в свет; на частые дамские вальсы она приглашала только помолвленных, у которых свадьба была, что называется, на носу, ее вырывали друг у друга два заезжих морячка, каким-то образом оказавшихся на этом храме, и в конце концов Хория, сидевший в уголочке, стал подумывать, что, может быть, не следовало бы ему сюда приезжать.

А тем временем бал шел к концу, и тучи сгущались. Жанет нагнетала атмосферу с каждой минутой.

Уже парни смотрели вокруг по-волчьи и вызывали друг друга на улицу на пару слов, несколько раз кто-то устраивал короткое замыкание, погружая бал в глубокую тьму, а ей все было мало, ей нужна была варфоломеевская ночь, пожар, стрельба из пушек, и, когда во втором часу ночи кто-то из чего-то таки выстрелил и опять произошло короткое замыкание, ему снова пощекотали висок, в нос ударил тонкий запах спелой айвы и ее тихий голос спросил шепотом:

— Ты сможешь один найти наш дом?

— А что?

— Ты иди пока один, а я скоро тебя догоню. Только с дороги не сворачивай, а то переулками заблудишься.

Она, видимо, выбралась не через главный вход, а через какой-то другой, может, даже через окно, и когда он был у ее дома, она вынырнула из темноты. Как-то зябко прильнула к его плечу, сказала грустным, уставшим голосом:

— Насилу убежала. Сумасшедшие все какие-то.

Перед тем как открыть калитку, она дернула его за рукав и поднесла палец к губам, дав ему тем самым понять, что все остальное должно произойти в глубочайшей тайне. Они прошли по тропинке к дому, но не поднялись на ступеньки крыльца. Жанет прошла дальше, уже по другой тропинке, в сторону сада.

Еще одна калитка, отделявшая теперь внутренний двор от садика, потом пошли деревья, кусты малины, и где-то там, в зарослях, небольшое строение — не то летний шалашик, не то сарай, не то просто навес. Была, правда, входная дверь. Жанет ее открыла, дверь протяжно скрипнула, Жанет вздрогнула, но этот скрип не только не напугал ее, а, наоборот, придал еще больше решимости. Она ступила в темноту, поманив его за собой. Кошелки с виноградом, бочка, в которой сладкие передавленные ягоды уже бродили тяжелым духом хмеля, а из уголка светились в темноте две кошелки с желтой айвой, и этот

запах айвы, воюя с другими запахами осени, царствовал тут под этой драной крышей.

Девушка спросила тихо-тихо, не то что шепотом, а одним дыханием:

— Тебе тут нравится?

Этот шепот подействовал на него возбуждающе. И он ответил тоже одним дыханием, чтобы не вспугнуть эту таинственность:

— Рай.

— Это самая моя любимая комната.

Она ушла в уголок, выбрала две крупные айвы, одну дала ему, другую оставила себе. Есть айву они уже не в силах были, но и не прикоснуться к ней тоже было нельзя. И они стояли, держа в руках по одной айве, точно молились таинственному богу спелых круглых плодов, точно клялись в чем-то друг другу. Их укачивал покой конца осени, вокруг шелестел опавшей листвой сад, темная прохлада осени сочилась рекой по тому странному помещению, и тем удивительней, тем незыблемей казались и цвет, и запах, и упругая налитость айвы.

Жанет вдруг стала строптивой. Стоя рядом, она упорно не давала себя обнять и в конце концов, отвернувшись, пожаловалась кому-то:

— О эта айва, она когда-нибудь сведет меня с ума...

Прикуривая от зажигалки, Хория заметил в углу на старых санях подушку и кожух — не то там кто-то спал, не то собирался только лечь, — и, зная, что Жанет любительница больших неожиданностей, спросил:

— Мы тут одни?

Она сказала грустно и устало, глядя в сторону:

— Нет. С нами еще две кошелки с айвой...

Он попытался снова, в который раз за этот вечер, обнять ее — иначе какой же это храм, какая же это молодость! На этот раз она оказалась более податливой. Он обнял девушку и поцеловал. Она никак не ответила на его поцелуй, но некоторое время спустя тоном знатного дегустатора, отпившего глоток из новой бочки, сказала:

— Нет.

У него похолодело нутро.

— Что нет?

— Не умеешь ты целоваться. Ну совсем прямо не умеешь. Сейчас я тебя научу.

Он был выше ее ростом, и она поднялась на цыпочки, прошлась ладошками по его плечам, мягко, по-кошачьи,

прильнула к нему. Ее мягкие руки, и грудь, и щеки — все это медленно, властно, неотвратимо плело единую, грандиозную тайну сближения. Она то бранила его, то прощала, то теряла, то снова находила, она гоняла его по кругу, как гонит дикий зверь свою добычу, — тихо, мягко, прочно. Он уже был ее навсегда, навеки, но ей все еще было мало, она уже колдовала над его душой, над его дыханием, и он отдал ей душу, отдал ей в губы свое дыхание и содрогнулся, потому что наступил конец, наступило начало.

Обезумев от полноты счастья и уже не помня себя, он взял ее на руки, донес до саней, начал прорываться к ее молодости, к ее чарам, но Жанет оставалась сама собой. Это был ее любимый вид спорта, и она не могла отказать себе в удовольствии поиграть еще раз. В критическую минуту выскользнула из его рук и, тяжело дыша, стоя уже в дверях, сказала:

— Там есть кожух и подушка. Ложись и спи.

И ушла. Она не пожелала ему доброй ночи, не сказала, когда и как они вернутся в Кишинев, и он почему-то догадался, что до рассвета она еще вернется.

Снял обувь, лег, закурил, долго слушал перекаты ночного веселья деревни, слушал, как поскрипывают освобожденные от илодов ветки на ветру. Он лежал с открытыми глазами и ждал ее, ждал долго, потом подумал, что, верно, не смогла выйти. Родители, должно, учуяли, к чему идет дело, а мамаша у нее такая, что, если войдешь в дом, не скоро выберешься обратно.

Вытянувшись поудобнее на старых санях, задремал, а когда открыл глаза, она уже стояла рядом в одной ночной рубашке, с накинутым на плечи платком.

Он встал, широко развел руки, обнял ее, но она кулачками уперлась в его грудь и прошептала:

— Погоди, я все собиралась спросить тебя... Ты что же, любишь меня?

— Люблю.

Она помолчала, вслушиваясь в таинственные шорохи ночи, а может, прикидывая, куда бы это слово понадежнее припрятать, потому что слишком оно маленькое и слишком много значит в человеческой жизни.

И тогда он ее спросил:

— А ты будешь мне верной, так, чтобы на всю жизнь, душой и телом?

— Ишь сколько он запрашивает! — Потом, минуту спустя, сказала грустно как-то: — Разве в наше время

кто-нибудь может обещать быть верным душой и телом?! Либо одно, либо другое. — Затем вздохнула и улыбнулась в темноте. — Тебе будет нелегко со мной. Я ведь немного сумасшедшая.

Его уже совсем укачало, он уже обезумел от этого запаха спелой айвы.

И он тоже улыбнулся:

— Ничего, все мы немного сумасшедшие.

— Ну тогда, после того, как я тебе это сказала...

Кулачки, которыми она упиралась в его грудь, размякли, растаяли, платок, которым она укрывала свои плечи, упал.

Она прильнула к нему, сказала слабеющим голосом:

— Дома никого нету, но я тебя в дом не приглашаю. Там холодно, неуютно и совсем не пахнет айвой, а без айвы какая же это любовь...

Она отдалась ему легко, без борьбы, без ложных клятв, без мучительных внутренних раздумий, но она была еще девушкой, первой в его жизни девушкой. До этого у него совсем не было женщин, он очень приблизительно представлял себе, что и как. А может, подействовала усталость, новизна обстановки. Так или иначе, но на рассвете он лежал весь взмокший, а она тихо посапывала рядом, такая же красивая, такая же непорочная. Под утро и он уснул, но она тут же проснулась и разбудила его:

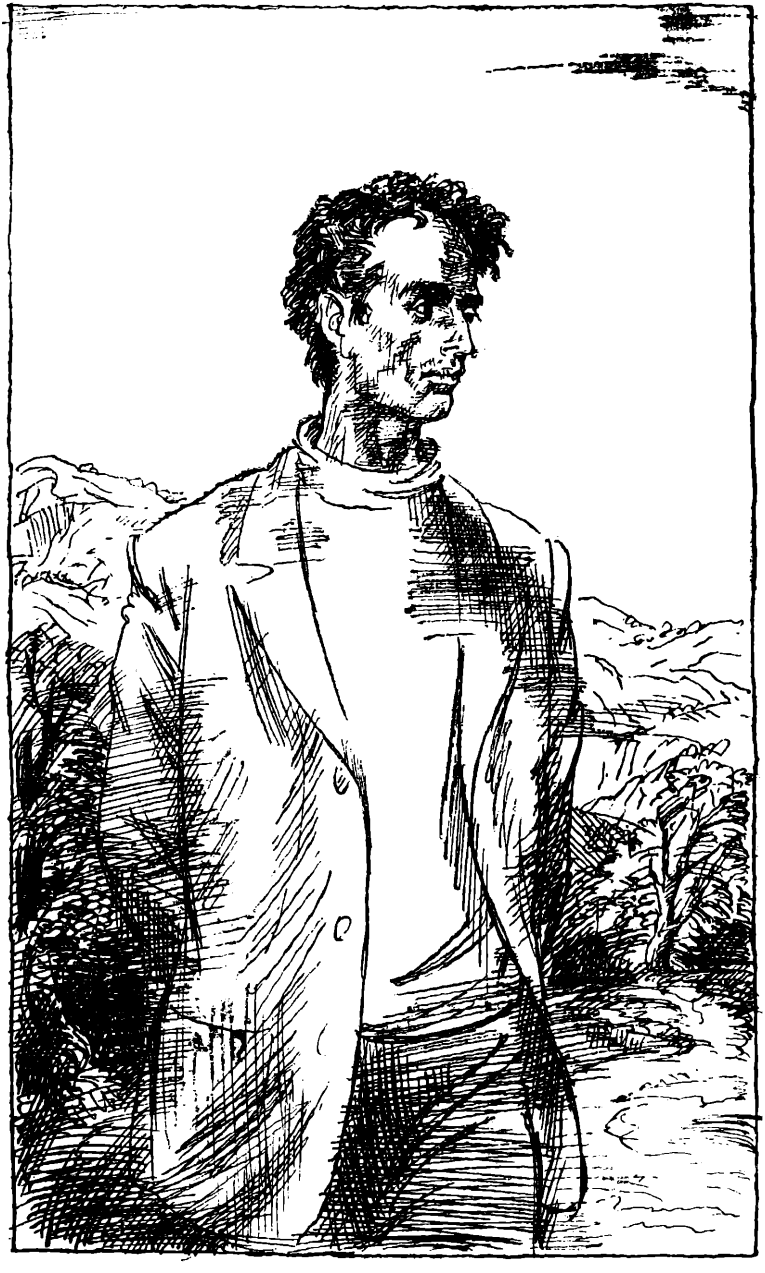
— У тебя сегодня зачет?

— Зачет.

— Надо быстро собраться, а то опоздаешь на поезд. Я-то приеду только вечерним поездом.

Побежала в дом, раздобыла где-то старый школьный портфель, набила в него ему всякой еды, бутылку виноградного сока и те самые две айвы. Спросила, есть ли у него деньги на обратный билет, и, одевшись на скорую руку, садами, виноградниками, как это и полагалось хорошенькой молодой жене, проводила его до тропинки, до той самой тети, которая первой затащила их к себе в дом. Полчаса спустя, пока он поднимался по склону холма, она все еще стояла внизу, у плетеного заборчика, и махала ему рукой, но когда он забрался на самый верх, ее уже не было видно.

Предутренний туман укрывал и самое деревню, и крайние домики, и девушку, и только на соседнем холме устало, по-стариковски, доживала свой век древняя Звонница. И то сказать — найти в этом перебаламученном



мире две родственные души, свести их, связать так, чтобы это было навеки, — это же труд, труд немалый, умаешься небось.

6

Когда он поднимался по ступенькам Кишиневского вокзала, диктор объявлял, что поезд Одесса — Черновцы опаздывает. На сколько именно опаздывает, не сказали, и это его как-то обрадовало. Он боялся спешки, этого великого разрушителя современного человека. Ничего хорошего не удалось еще людям создать в спешке, ну а для него, которому нужно было решить едва ли не самое главное дело в жизни, спешка вообще была губительна.

К тому же он еле волочил ноги от усталости. Идти через Ботанику всегда было трудно, а теперь, весной, после того, как дороги развезло, он измотался так, что руки и ноги были как чугунные, и если бы на перроне уже стоял поезд Одесса — Черновцы, он вряд ли бы им уехал. Отъезжающему тоже нужно определенное душевное равновесие, определенный покой, и если всего этого нет, то лучше не трогаться с места.

Зал ожидания был переполнен, на скамейках ни одного свободного местечка. Вечная спешка, шум и гам, и все это происходит в сумраке, потому что фасонистые окна оказались слишком малыми для того большого зала.

А над всем этим царил тяжелый дух плесени, так как вокзал стоял в низине, и чуть ли не каждый год после больших и обильных дождей его заливало. Хория, однако, не стал расстраивать себя. Наоборот, он любил и этот вокзал, и его полумрак, и его тяжелый дух. В трудные годы студенчества, когда нужна была на одну ночь крыша над головой, он приходил сюда, и вокзал охотно его принимал.

Он знал это двухэтажное здание как свои пять пальцев и потому без особого труда на втором этаже, в зале для военных, нашел хорошую скамейку.

Поставил вещи, сел, но его все равно поташнивало. Пошел и купил в буфете бутылку корнештской минеральной воды, выпил несколько глотков, вздохнул глубоко, оглянулся и сказал сам себе: «Хватит, хватит думать о ней, довольно думать о том, что было. Если ходишь по краю пропасти, нужно, по крайней мере, уметь вовремя остановиться. Зачем самому сводить себя с ума, когда это хорошо делают другие? Нужно, наоборот, построить дам-

бу и перекрыть путь этому огненному шквалу, иначе он погубит».

Смешно подумать — всего несколько часов, как вышел человек из больницы, а голова уже гудит сплошным звоном, дыхание тяжелое, и он подумал, что если сейчас вот спустится в медпункт вокзала, к той самой девушке, которая почти два месяца назад вызвала «Скорую помощь» и отправила его в больницу, то она опять вызовет «Скорую». Дежурила тогда полная русская блондинка. Измерила давление, послушала легкие, сердце, позвонила в «Скорую», потом спросила:

— Вам что, в поезде стало плохо?

— Да нет, мне и дома еще было как-то не по себе...

— Зачем же вы уехали в таком состоянии?

— Да, знаете, как бывает другой раз в жизни — нужно ехать, и ты едешь...

— Да, бывает, — согласилась она, но некоторое время спустя сказала вслух, точно его уже не было рядом: — Какие эти молдаване чудаки, с каким безразличием гробят они собственное здоровье...

«Ах этот дождь в краю чужом, и эти молнии, и этот гром...»

Минут восемь-десять, примерно столько, сколько длится перемена в школе, он просидел с закрытыми глазами и сумел держать себя в руках, не думая о той своей большой боли, но потом опять все покатилось с горки. Ум — это, конечно, не только благо, это и большая беда наша. А может, виновником этого нового срыва был сам Кишиневский вокзал с его шумом, с его запахами. Сидеть на жестких скамейках радость невелика. Тогда, давно, в студенческие годы, когда он приходил сюда отсыпаться, он тоже цепенел на этих скамейках, но тогда у него было здоровое сердце, тогда все было впереди, и он говорил себе: «Ничего, пусть сейчас в этом городе для меня не найдется ватного матраца и казенной подушки под головой, но придет время, и этот город меня примет. Хочет того Кишинев или нет, но в одном из его дворов будут играть мои детишки, по его тротуарам будут стучать каблучки моей жены, и среди сотен тысяч окон засветятся когда-нибудь и мои два окошка».

Так он думал тогда, эти мысли помогали ему коротать ночи на жестких вокзальных скамейках, но теперь от тех давних иллюзий ничего не осталось, потому что Кишинев, увы, не принял их. Ни его самого, ни его жену, ни его сына. И добро бы хоть город ясно и открыто сказал

ему с самого начала: «Нет, дорогой друг, ничего у нас с тобой не выйдет, и не тешь ты себя глупыми надеждами».

Нет, Кишинев был долго благосклонен к нему, он открывал перед ним не только площади и фасады многоэтажных домов, но и старые подворотни, и темные закоулки, и временами казалось, все, вросли, и это уже навеки, и только Жанет, даже не столько она, сколько ее черные глаза скользили по всему тревожно и недоверчиво. А может, он тогда был еще молод и глуп, может, у мужчин интуиция не так развита, как у женщин. Скорее всего так, потому что при более вдумчивом анализе уже тогда можно было угадать, что у них сложится в этом городе, а что сложиться никак не может.

Тогда, после храма, он вернулся из Каприяны, уже внутренне считая себя женатым. Предостережения многих предков, долбивших молодым, что, дескать, смотри, женишься и тогда узнаешь, почем фунт лиха, все те древние и нудные нравоучения вдруг проснулись в нем, и, не успев еще зарегистрироваться, он уже шел по городу, обремененный большим семейством.

Ему предстоял первый и самый главный бой. Защита диплома была на носу, и тут все решалось. Университет в основном выпускал учителей для сельских школ. И для студентов, не имевших ни прописки, ни жилья в городе, направление на работу в одну из сельских школ было неминуемо. А учительствовать им не хотелось. Хория мечтал стать ученым-историком: начиная со второго курса он печатал календарные заметки в газетах.

Что касается Жанет, то она с самого первого дня их знакомства сказала, что не хочет пасти белых овечек. Учителей она называла пастухами белых овечек. В сельской школе у них была старая доска, хотя она была покрашена в черное, все-таки краски расходились волнами. Почерк у их учительницы был красивый, ровный, но черные волны все равно проступали меж буквами, и временами казалось, что эта старая и тихая женщина пасет нескончаемую отару белых овечек. А это, по наблюдениям Жанет, было не женское дело.

Поначалу у Хории были кое-какие карты на руках, было чем играть. То есть козырей у него, конечно, не было, да и те карты, что были, он в руках не держал, но они все-таки были. Положение и перспективы того или иного

человека складываются из отношения к нему разных лиц, разных групп влиятельных людей, и почти каждый вдумчивый студент знает, на что он может рассчитывать.

У Хории поначалу кое-что было. В университете он был на хорошем счету. Два раза ездил на симпозиумы студентов-историков. В ученых записках университета напечатали даже небольшой его труд — статью о формах и традициях деревянной скульптуры в молдавских деревнях, и, хотя статью без конца сокращали и кромсали, какие-то мысли там все же остались.

Каждый год из числа лучших студентов университет оставлял двух-трех в аспирантуре. Хория на это очень рассчитывал. После окончания первого курса ему чуть ли не с кафедры было обещано, что он будет оставлен в аспирантуре. Потом, как это всегда бывает, стали появляться сомнения, другие кандидатуры, в которых были заинтересованы какие-то лица, и уже после второго курса ему гарантии никто не собирался давать, хотя от обещаний и не отказывались. На третьем курсе его положение стало колебаться, после четвертого курса уже при нем об аспирантуре не заговаривали, и единственный, кто все эти годы ободряюще жал ему руку и советовал не вешать носа, был тот же Иларие Семенович Турку.

Он был любимцем университета не только потому, что хорошо говорил и одевался со вкусом. Он был истинным, неподдельным по своей человеческой сути, а студент, да еще с далекой Буковины, на что он может еще рассчитывать, кроме этой истинности и неподдельности? И нет ничего странного в том, что, вернувшись из Каприяны, Хория стал подумывать, каким бы образом посвятить своего кумира в эти житейские заботы. Недели две он все размышлял, не зная, как к этому подступиться, а тем временем Иларие Семенович гулял себе по университету, не ведая никаких забот.

Среднего роста, коренастый, сильный и ловкий, он был создан, казалось, исключительно для деревенской жизни. В свои тридцать лет он умел пахать и сеять, ловить рыбу, ковать лошадей, плотничать, складывать печи, консервировать фрукты, и злые языки даже утверждали, что мышиного цвета демисезонное пальто, в котором он вечерами щеголял по центральной улице города, было сшито им самим на машинке, занятой у соседки по лестничной клетке. Его невероятно мучила мужицкая сметливость, она била в нем ключом, искала применения, его руки ныли по тяжелой, требующей ловкости и силы работе, а

между тем судьба решила иначе, и он, закончив в Москве аспирантуру и защитив диссертацию, преподавал историю средних веков.

Хотя, надо сказать, и в должность преподавателя он вносил свое понимание дела. Одно время вузы Кишинева посылали своих представителей по селам, чтобы подобрать хороших ребят для очередного приема. От исторического факультета ездил в основном Турку. За две-три недели он успевал объехать немыслимое количество средних школ. Его черные, маленькие и круглые глаза откапывали у учеников скрытые способности с точностью рентгена. Заманивал он их одним своим видом, одной коротко остриженной челкой. Ребята ему доверялись с первой же минуты и потом не жалели. Кстати, и сам Хория попал в университет таким же образом. Он собирался поступить в летную школу, уже и медицинскую комиссию прошел, но вот появился перед экзаменами Турку, отвел его в сторонку, спросил: поэт Холбан, живший в прошлом веке на Буковине, его однофамилец или родня? Хория ответил, что ни то, ни другое, объяснил, почему он так думает. Иларие Семенович не согласился с его доводами, но посоветовал поступать на исторический, сказав при этом, что у него интуиция историка. Хория не знал тогда за собой еще никаких талантов; эти слова Турку поставили его на ноги, и за одно это он ему останется благодарным до конца жизни.

Правда, потом, когда Хория поступил в университет, Иларие Семенович потерял его из виду и с полгода при встречах приглядывался к нему и припоминал: где это он его раньше видел? Нужно сказать, что Турку умел на редкость тонко и прочно устанавливать свои отношения со студентами. Какое-то разумное чувство такта, унаследованное в своей деревне, подсказывало ему, кого из студентов нужно приблизить, кого нужно держать на расстоянии, кому нужно говорить абсолютно все, а кто может без этого и обойтись.

Через полгода Турку его вспомнил. Он откопал Хорию и, чувствуя, видимо, за собой вину, что так долго его не замечал, теперь принял самое активное участие в его судьбе. Выхлопотал ему место в общежитии: когда у Хории бывало особенно туго с деньгами, устраивал так, чтобы та или иная газета заказала ему календарную статейку о том или ином историческом деятеле, причем все знали, что эти статейки Хория спишет с энциклопедии. Изредка Турку доставал для него редкие книги, и те, ко-

торые он брал для себя в фондовой библиотеке академии, давал студенту на день-два полистать.

К великой зависти студентов, Турку часто гулял вдвоем с Хорией по Пушкинскому парку. Правда, дружба эта не была бескорыстной до такой степени, как это представлялось Хории. Турку любил студента за одно редкое качество — в его речи часто мелькали свежие идеи. Вот ведь удивительное дело — и знаний у него не так уж много, и даже изученный материал он не успевал толком осваивать, а уже какой-то механизм начинал вырабатывать свежие мысли. Он не рожден был идти по проторенной дорожке, и, рассказывая про какое-то средневековое событие своими словами, он вдруг высвечивал событие своим личным отношением к этому делу, и уже возникал откуда-то оригинальный, свежий угол зрения.

Иларие Семенович зажигался от этих его новых мыслей мгновенно и начинал сам сыпать ими, и, хотя впрямую он ни разу не использовал ни одной мысли своего ученика, почему-то после каждой беседы с этим студентом он уходил домой обогащенный, ему хотелось сесть за свою докторскую диссертацию и не отходить от стола, пока работа не будет закончена.

Будущее Хории для него было ясным как божий день, но для того, чтобы высвободить парню силы для учебы, чтобы его не терзали излишние сомнения, он сказал как-то ему:

— Мое положение в университете не такое уж прочное, как это может показаться со стороны, но думаю — оставить хорошего студента в аспирантуре мне удастся. Ты ведь хочешь остаться в аспирантуре?

— Хочу.

— Ну в таком случае, когда подойдет к этому дело, я думаю, ты сможешь меня найти в коридорах университета?..

— Смогу.

Этот короткий и определенный ответ несколько смутил Иларие Семеновича, потому что среди достоинств, вывезенных им из родной деревни, был еще и один недостаток — скупость. Он хорошо понимал, что расположение преподавателя к тому или иному студенту — это уже определенное материальное благо, дружба преподавателя со студентом — это уже состояние, ну а прямое обещание — это уже клад, и по всему видно было, что, дав обещание, он тут же стал жалеть об этом. Гордый Хория оскорбился и решил про себя никогда, ни при каких об-

стоятельствах не прибегать к этому авансу. Но жизнь есть жизнь, она с личной гордостью индивидуума мало считается, и вот он, вернувшись из Каприяны, стал высматривать Иларие Семеновича. Однажды поздно вечером он перехватил его в коридоре — Турку куда-то спешил и, видя, что Хория идет ему наперерез, предложил проводить себя до троллейбуса. По дороге Хория рассказал ему в двух словах суть дела, утаив только имя девушки и название деревни. Турку, правда, был на редкость тактичен в подобных делах. Он только спросил:

— Это что, серьезно?

— Очень серьезно.

— И отложить невозможно?

— Невозможно.

Почему-то эта новость озадачила доцента. Вероятно, он видел несколько иначе будущее своего любимого студента, может, он даже собирался послать его в аспирантуру в Москву. А может, его собственное положение в университете было не столь уж прочным, может, он думал о своей личной жизни, о том, при каких обстоятельствах он сам женился, но так или иначе, а пропустил он три троллейбуса, все размышляя, и так ни к чему и не пришел.

— Мне нужно несколько дней, чтобы все продумать. Это дело терпит несколько дней?

Хория улыбнулся.

— Потерпит, куда денется.

— Ну будь здоров и не вешай носа.

Неделю спустя, встретив Хорию в вестибюле республиканской библиотеки, Иларие Семенович взял его с собой на Комсомольское озеро, куда ходил через день грести на лодке. Он брал обычно большие, четырехместные лодки и часа по два работал веслами, чтобы натрудить свои крепкие мышцы, иначе, говорил он, бессонница одолевает. Для него это было таким важным и торжественным актом, что все два часа он мучился, опасаясь, как бы Хория не попросил у него погрести. У Хории хватило ума этого не делать, и, в высшей степени довольный тем, что и на этот раз выложился до конца, Иларие Семенович пригласил его в летний ресторан, сооруженный на горке, у спуска к озеру. Заказал бутылку вина, два шашлыка, и когда шашлыки были уже на столе и вино разлито по стаканам, он вдруг вспомнил:

— Между прочим, ты знаешь, Общество по охране памятников культуры таки создается.

— Так оно же давно создано.

— Да нет, то были одни разговоры, а теперь есть решение.

— Ну что же... В таком случае я вас поздравляю.

— Не ты меня, а я тебя должен поздравить.

— Меня-то с какой стати?

— Видишь ли, по штату там полагаются три человека. О председателе не будем говорить — это не нашего ума дело. Секретарь там уже утвержден. Но есть там еще должность инспектора, и если твои дела сложатся так, что нужно будет идти работать, то лучшего места, думается мне...

— Да о чем вы говорите? Кто меня туда возьмет?

— Председатель тебя возьмет.

— Так неизвестно еще, кто им будет.

— Не исключено, что председателем буду назначен я.

Хория зарделся, тут же встал, чтобы от всей души, как говорится... но Иларие Семенович нахмурился.

— Да погоди ты, не все так просто. Во-первых, кроме меня, там фигурируют еще два доктора наук. Во-вторых, надо будет уломать комиссию по распределению. Положим, мы ее уломаем. Остается милиция. Прописки у тебя нету, но мне передавали, что сын одного милицейского работника будет в этом году поступать в университет, причем метит на исторический, так что это тоже может устроиться. Но насчет жилья с самого начала должен сказать тебе — никаких перспектив. Я сам вот живу в блочной квартире, шум и гам со всех сторон. Так чтобы потом не было претензий с твоей стороны.

Надо отдать ему должное — он был человеком слова. Через несколько дней, как только его утвердили председателем общества, он тут же подписал приказ о назначении Хории инспектором. Две комнатки, полученные для размещения общества в инкубаторе (как в Кишиневе называли двухэтажную пристройку, в которой размещалось с полсотни учреждений), были распределены Иларие Семеновичем следующим образом: одну он взял себе и секретарю, а другую, имевшую так же, как и первая, свой выход в коридор, он отдал инспектору. На возражения секретаря, что, дескать, зачем инспектору отдельная комната, он ответил, что, кроме Хории, там будут еще материалы, макеты, документация, библиотека, одним словом, — ад, и зачем председателю с секретарем сидеть в

том сарае? Успокоив секретаря, он не пожалел три рубля, дал их сторожу, и тот раздобыл где-то на складе старый пружинный матрац, нашел и деревянную коробку к нему, и таким образом, пока суд да дело, Хория устроился в отдельной комнате, и даже с удобствами, — в случае нужды было где переночевать и чай вскипятить.

После сдачи госэкзаменов они с Жанет расписались. Сыграли две свадьбы — одну на Буковине, другую в Каприяне. Летом ездили в Карпаты, до одури ходили по горам, а к осени вернулись обратно в Кишинев. Снимать комнату они не стали, потому что ни лишних денег, ни надобности особой в ней не было: Жанет жила в общежитии, а он мотался по командировкам. Еще летом купил себе фотоаппарат, научился у друга-земляка, студента политехнического института, составлять чертежи всевозможных древних строений, и только его в городе и видели.

К сожалению, он слишком поздно понял, какого маху дал. Вместо того чтобы сидеть тихо в своем учреждении, решать кроссворды и помогать секретарю общества товарищу Балцату добывать детали к автомашине, вместо того чтобы кусочек за кусочком отвоевывать местечко в столице республики для себя и для своей семьи, он пешком, на попутных машинах таскался по деревням, записывал легенды и предания, фотографировал, делал чертежи древних колоколен, точно те колокольни, простояв столько веков, не могли простоять еще год-два, пока инспектор Хория Холбан устроит свою личную жизнь.

Отношения с секретарем общества не сложились с самого начала. Они были слишком разными людьми. Если Хория был словоохотлив, любил юмор, то Балцату был мрачен, тугодум, с вечно нахмуренным лицом — не то недосыпал, не то пересыпал. Не успел Хория вернуться из первой командировки, как Балцату окунулся в привезенные им материалы, долго и подозрительно их изучал несколько дней кряду, потом протянул как-то неопределенно:

— Да-а...

Всем своим видом, всем своим поведением Балцату как бы давал понять, что, хотя он номинально и числится секретарем общества, на него возложены какие-то особые, таинственные полномочия. Именно поэтому тот его неопределенный возглас «да-а-а...» внес какую-то нервозность в маленькое учреждение, состоящее из трех человек, и Иларие Семенович, уже видевший и одобривший приве-

зенные материалы, вынужден был снова вернуться к ним, заново их просмотреть. Должно быть, он смотрел на мир несколько иначе, чем его секретарь. Они меж собой, вероятно, подолгу спорили, когда Хория бывал в командировках, и эти споры были нелегкими, потому что со временем Иларие Семенович стал заглядывать в возглавляемое им учреждение все реже и реже.

А Хория, на свое несчастье, ничего этого не понимал, он носился как угорелый из одного края республики в другой, таскал на себе от автобуса к вокзалу и от вокзала к автобусу полные чемоданы с материалами, и с каждым его приездом напряжение внутри их коллектива росло. И когда жизнь там стала невыносимой, когда они уже физически не могли больше находиться вместе, Турку попытался подать в отставку. Ее у него, конечно, не приняли, но секретаря общества, видимо, куда-то вызвали, где-то ему что-то втолковали, и он вынужден был пойти на мировую.

Хотя, если уж на то пошло, это слишком сильно сказано — пойти на мировую, потому что в том крохотном учреждении ничего не изменилось. Не прошло и двух недель, как товарищ Балцату, заскочив однажды утром на работу, попросил Хорию постоять за него в очереди в спортивном магазине — туда как раз привезли ветровые стекла для «Москвича».

Хория был занят в то утро, но, не ссылаясь на свою занятость, он подошел к окну, посмотрел на поставленную под окном машину секретаря и спросил:

— Зачем вам еще одно ветровое стекло, когда вон заводское еще в целости?

Балцату ничего не сказал, он только ухмыльнулся, и это означало, что между ними все кончено. И уж куда бы Хория ни ездил, какие бы материалы ни привозил, все было впустую, все в конце концов оборачивалось против него самого.

Иларие Семенович долго и упорно защищал своего друга, но силы были неравны, и вот сам председатель тихо, незаметно начал менять свое отношение к работе Хории. Если после первых поездок Иларие Семенович пришел в такой восторг, что даже затащил Хорию с собой на какие-то именины, то потом, хотя материалы, которые инспектор привозил, были с каждым разом все интересней и интересней, он его как-то сдержанно то похва-

ливал, то выражал сомнение в истинности того или другого рисунка, а затем с каждой поездкой становился все более замкнутым, хмурым.

Потом он даже перестал смотреть новые материалы и, прежде чем подписывать командировку, долго спорил, почему инспектор едет именно в те районы, а не в другие, и к чему такая спешка, у них и так всего две комнатушки, деваться некуда от обилия материала. Какое-то время он вовсе не показывался в обществе. Хории стало неуютно, он почувствовал, что секретарь его сожрет, нужно податься куда-нибудь, а куда — неизвестно.

Однажды, часов в восемь вечера, когда он печатал какие-то снимки, в общество заглянул Иларие Семенович. Воровато посмотрел туда-сюда, как это с ним часто бывало, о чем-то тут же подумал, пораскинул мозгами, потом предложил Хории погулять по улице 28 Июня. Он начал полнеть, и, чтобы сбавить вес, каждый день часа по два гулял, и любил почему-то гулять только по улице 28 Июня.

Было сухое начало осени, шуршала под ногами свежеопавшая листва, пахло яблоками и сладким виноградным соком. Они шли долго, квартал за кварталом, потом, дойдя до Садовой, сворачивали, спускались вниз, и за эту долгую и молчаливую прогулку Хория понял больше, чем понимал тогда, на лекциях, когда Иларие Семенович красовался перед ними в новеньком костюме.

— Почему вы с секретарем не поладили? — спросил наконец Турку.

— Я не захотел постоять в очереди, купить ему лишнее ветровое стекло.

— А почему ты не захотел?

— Религия не позволяет.

— А что говорит твоя религия?

— Она утверждает, что каждый должен стоять в очереди сам за себя.

— Идиот, — сказал Иларие Семенович. — Я думаю так же, как и ты, но и мешки на себе таскал и даже ощипывал кур на кухне профессора, когда готовили ему громкий юбилей.

— Значит, мы люди разные... Я кур вообще не умею ощипывать.

— Да не в том дело, что разные, но, понимаешь, мне по секрету сообщили, что сегодня ночью из милиции придут проверять: верно ли, что в нашем учреждении почуют люди?

Он был очень жалок, Иларие Семенович, в эту минуту. Вдруг вместо ученого Хория увидел рядом с собой сытого, самодовольного деревенского увальня, которому хотелось только одного — хорошо пожить, носить новые костюмы, грести на лодке, читать свои лекции, а остальное — пропади все пропадом. Никогда Хория не думал, что наступят обстоятельства, при которых сам он будет стоять неизмеримо выше своего учителя, и вот теперь со своей печальной и гордой высоты он улыбнулся и сказал:

— Что ж, раз такое дело, поедем пасти белых овечек...

Иларие Семенович даже вздрогнул от неожиданности.

— Каких овечек?

Хория долго объяснял смысл этого выражения, но то ли он плохо рассказывал, то ли Иларие Семенович думал о другом. Пройдя несколько кварталов и так ничего и не поняв, Турку остановился и сказал шепотом:

— Единственное, что я могу еще сделать, — это добиться для тебя направления туда, куда тебе хотелось бы ехать. Ты можешь теперь, сию же минуту, назвать это место?

— А завтра будет поздно?

— Поздно.

— Ну тогда, я думаю, в Каприяну...

— Хорошо. Я не записываю, я и так запомню.

Он попрощался с Хорией почему-то в темноте, под высокими акациями, хотя через квартал была уже остановка троллейбуса и Хория всегда провожал его до остановки. Простившись с ним, Турку тут же поспешно перешел на другую сторону улицы, и вдруг такая тоска, такое одиночество обрушилось на бедного буковинца, что первые полчаса он простоял, прислонившись к фонарному столбу, и многие прохожие принимали его за пьяного. Потом как-то неожиданно очнулся. Вернулся в общество, надел свой черный костюм и, хотя было уже около десяти вечера, поехал в женское общежитие университета.

Они славно провели тот вечер с Жанет. Собрав все свои финансовые запасы, они зашли в ресторан гостиницы «Молдова», распили бутылку «Негру де Пуркарь», отлично поужинали, протанцевали до двух часов ночи, потом дали десятку сонному дежурному администратору, получили ключи от хорошего номера, до самого утра любили друг друга, и с этой ночи, с этой любви у них нача-

лась настоящая семейная жизнь. Жанет перешла на заочный, он оформил направление, и через несколько дней они покинули город.

7

Дышать внутри вокзала стало невозможно. Видимо, перед дождем опять накатила духота, и он подумал: «Надо же, в первой половине апреля. Это бывает раз в сто лет, когда идут дожди в первой половине апреля! А как бы славно можно было все устроить, если бы не тот ранний дождь, и гром, и молнии, полосовавшие небо до самого утра...»

Он сидел на жесткой вокзальной скамейке, думал о немыслимых перипетиях человеческих судеб, и вдруг его разгоряченный мозг уловил конец фразы дикторского объявления: «...отправляется через пять минут». Схватил вещи, кинулся на первый этаж, посмотрел в окно. На перроне стоял поезд Одесса — Черновцы. Это был его поезд и, по словам диктора, должен был вот-вот отправиться. Он кинулся в кассу за билетом, но в кассе была очередь, человек пять-шесть. Потом он сообразил, что ему можно вне очереди, поезд уходит. Подошел со стороны и крикнул в окошечко:

— Быстро, пожалуйста, один билет.

— Куда? — спросил женский голос из окошечка.

— Чего куда?

— Ну билет куда?

— А, вы насчет билета...

Кто-то из очереди возмутился:

— Что за дубина...

А между тем он и в самом деле еще не решил, куда ехать — то ли вернуться в Буковину, то ли слезть в Береженах. Отошел, сделав вид, что ищет деньги в карманах, хотя отлично знал, где они у него лежат, и улыбнулся, подумав про себя: «Действительно, если посмотреть со стороны, дубина и есть». Потом опечалился, весь как-то сник, взял вещи и поплелся с ними на перрон. Поезд Одесса — Черновцы, его милый, родной, старый коняга, сотни раз возивший его туда, где пахло древними дубовыми лесами, туда, где пахло свежей айвой, стоял у перрона, пыхтел, готовый в дальний путь, а он, увы, все еще не собрался с мыслями. Два месяца, лежа на больничной койке, он все думал, куда ему возвращаться, потом еще один день, гуляя по Кишиневу, раздумывал, но так ни к чему и не пришел и теперь стоял на перроне, пеленый

какой-то, с туго набитым портфелем, с полной сеткой мелких апельсинов. Стоял большой, бледный, взмокший, смотрел, как другие садились в поезд, и, пока он так стоял и смотрел, он вдруг понял, что ум — это означает не только механическую работу определенных клеток мозга. Ум — это и работа мозга, и сам анализ этой работы, и принятие решения на основе этого анализа. Другими словами, быть умным означает не только хорошо все понимать, но, поняв, действовать.

У проводницы того вагона, возле которого он рассуждал о свойствах ума, было очень красивое и холеное лицо. Тело у нее было грузное, на ногах жгутами выступали посиневшие вены, но лицо удивительное, прямо как с иконы сошедшее. Хория подумал, что так, должно быть, выглядят итальянские кинозвезды, когда они гримируются под женщин из народа. Затем он подумал, что можно бы отлично начать фильм с такой вот сцены — стоит поезд, на перроне стоит человек с портфелем, с апельсинами, затем поезд трогается, а человек так и продолжает стоять. И пока он придумывал сюжет для того фильма, заскрипели сцепления вагонов, колеса сдвинулись с места и медленно, точно они ползли по льду, подались туда, на север, где были его обе малые родины, где была его любовь, где было его большое горе.

Вдруг до его сознания донесся крик. Вопила что-то проводница с красивым лицом, проезжая мимо него на подножке своего вагона. Он оглянулся, чтобы выяснить, кому это она кричит, но на перроне уже мало кто остался. Похоже было, кричала ему.

— Ну?!

В один миг он очнулся, взял поудобнее свою ношу. Проводница, верно, решила, что он безбилетник. Это бывает чуть ли не на каждой станции — когда поезд трогается, проводницы тут и там подсаживают либо опоздавших, либо не успевших купить билет, либо студентов, которым чуть-чуть не хватило до полной стоимости проезда. Вагоны медленно проплывали мимо вокзала, но эта красавица с иконописным лицом, с низким, певучим грудным голосом не спускала с него глаз — были в этом взгляде и материнская забота, и страх, что он не успеет, и сожаление, что вот и тут могла бы заработать лишнюю копейку в дом, да не выгорело... Уже проехав много дальше того места, где он стоял, она подбодрила его еще раз:

— Ну же?!

И он решился. Побежал за ступеньками вагона, на которых она стояла, с ходу вцепился в поручень, прыгнул, удивился про себя своей ловкости, прошел в тамбур и простоял там, пока она закрыла дверь вагона. Дышал тяжело, смущенный, что так легко, в один миг, запыхался, отвернулся, посмотрел в другую сторону, чтобы как-то прийти в себя.

Проводница между тем закрыла двери, спрятала грязные тряпочки, которыми вытирала поручни, и прошла в вагон мимо него, словно Хория и в природе не существовало.

Когда поезд набрал полную скорость и стало ясно, что он едет, что это факт и никуда от этого не денешься, Хория взял свою ношу и прошел в вагон, отыскал свободное местечко у окошка. Попросил сидевших там женщин присмотреть за его поклажей, а сам нащупал в кармане хрустящую трехрублевку, вернулся к тому закутку, в котором сидела красивая проводница, и, улучив минутку, когда вокруг никого из посторонних не было, протянул ей деньги. Та долго глядела на его трешку, потом посмотрела на него самого и в конце концов пропела своим низким, певучим голосом:

— Мало.

Он смутился. Дело в том, что по природе Хория был немного скуповат; он знал за собой этот грешок и стеснялся его. Держа деньги в правой руке, левой принялся рыться по карманам, чтобы добавить еще какую-нибудь бумажку, но что и как добавлять, он себе плохо представлял и потому пробормотал:

— Ну не знаю... А сколько нужно?

— Я деньгами не беру.

— Гм... А чем же?

— Любовью.

Он улыбнулся, и она обиделась. По ее красивому лицу разошлись красные пятна, отчего оно стало еще красивей.

— Нет, вы меня не так поняли. Мне не для постели нужно. Осточертели мне все эти ваши штучки... Мне нужен мужик, чтобы сел вот так рядом со мной, как друг, как брат, и чтобы я рассказала ему всю свою жизнь, и пусть он ее обмозгует, пусть он мне скажет, в чем я права, а в чем, может быть, и нет. Вы меня спросите: «А для чего тебе это нужно?» И я вам отвечу: «Нужно, вот и все». Я устала от баб, от их разговоров, от их сплетен, от их дрязг. Я ведь знаю, что мужики умнее. У меня и дед

был умнее бабки, и отец был хитрее матери, и дома вот сын растет, и хотя ему нету еще десяти, но он башковитее дочек, которым не завтра, так послезавтра замуж пора.

Хория снова улыбнулся, потому что человека, более неподходящего для такого случая, она вряд ли могла бы найти. Отдать свою жизнь на суд тому, кто запутался в собственной жизни, — это надо уметь. И хотя он еще раз улыбнулся, на этот раз она не обиделась. Наоборот, ей понравилось, что он улыбнулся, и она спросила:

— Что долго так раздумывал на перроне?

— Да, знаете, комок вот в горле застрял...

— А, рассказывайте! Никаких комков у вашего брата не бывает... Это мы никак их из себя не выдавим... А чего худой?

— В больнице кормят хуже, чем дома.

— А и правда, я тогда даже подумала было: видать, из больницы мужик...

Ей стало почему-то его жаль. Она провела его в глубь вагона, хлопнула ладошкой по пустой полке, сказала громко, чтобы всем слышно было:

— Вот ваше место!

Это для того, чтобы потом никто не претендовал на ту полку. После одной из остановок, пройдя мимо, она сказала так же громко:

— Постель будет после Унген!

Он был очень тронут ее добротой и сказал:

— Спасибо.

Она пропустила мимо ушей его благодарность, прошла дальше по вагону, но он успел заметить, что у нее отчего-то дрогнули ресницы. Подумал: «Неужели и ей понравился мой рост?» И еще взмолился про себя: «Господи, не надо, чтобы и она увлеклась мной, иначе я не вынесу».

На улице моросил дождь. Мокрый рыжеватый туман начал окутывать поля, леса, долины, сердце слабело с каждым ударом из-за перепада давления, и вспотевшая шевелюра дымилась на его голове. По стеклу растягивались в ниточку дождевые капли, такие же капли, как и те, что шли ночью с десятого на одиннадцатое апреля. И его опять стало поташнивать. Кто знает, может, надышался затхлым воздухом Кишиневского вокзала, может, переволновался, когда прыгал в поезд, а может, огненный смерч этих воспоминаний сжег все силы, все, что

было с таким трудом накоплено на больничной койке. Ведь каким надо быть дураком — всего несколько часов, и уже не тот учитель, который бодро вышел из ворот больницы, а только его оболочка ехала в поезде на север, на малую родину. Ему даже захотелось плакать. Надо быть сумасшедшим, надо быть круглым идиотом, чтобы, едва выбравшись из больницы, снова вернуться к тому, что свалило тебя с ног.

Это, конечно, так. Это бесспорно. Но в таком случае скажите: как же человеку осмыслить себя и свою жизнь, как понять, что было верного и неверного в его поступках, как вычислить ту треклятую станцию, на которой тебе нужно сойти? Конечно, трудно, конечно, больно, конечно, эти воспоминания сжигают дотла, но нужно быть мужественным и не кружить, а идти напрямик через это адское пламя, и чем решительней, тем легче будет для его больного сердца. Ибо, как говорили древние эллины, что она стоит, эта жизнь, если отнять у человека дар представить себе еще раз то, что однажды уже с ним происходило.

8

Уезжали они тогда из Кишинева тоже этим поездом. И тоже в такой холодный, дождливый, неуютный день. Тряслись в битком набитом вагоне, стерегли чемоданы, свертки, все свое нажитое добро и судачили о всякой всячине. Толковали, например, об урожае на фрукты, гадали, будет ли вино кислое в том году или нет, об озимых посевах говорили. Все эти беседы были навеяны тем, что виднелось из окна вагона. Они рассуждали обо всем этом, а на душе скребли кошки — так хорошо, так славно они распланировали свою жизнь, и так из этого ничего не получилось!

Обидно было. Обидно потому, что после первых же командировок у Хорин прояснилась диссертация, Жанет пригласили преподавать французский в политехническом институте, для нее даже какую-то единицу пробили в министерстве, — и вдруг все рухнуло, и эти разговоры о садах, о виноградниках, о посевах означали только одно — крах всех их фантазий.

И, как назло, всю дорогу лил дождь. Вообще с этими дождями что-то связано в его жизни, они всегда предвещали для него беду. Мало того, что он лил тогда целый день — даже и когда в полночь они сошли на станции

Вережены, он по-прежнему лил. Отец Жанет приехал за ними на телеге, потому что дороги развезло, на машине было не пробиться. Они уселись на мокрой соломе, укутались рваным брезентом, ехали долго, до самого утра, и, когда въезжали в деревню, лошади уже еле волокли за собой телегу. По всему склону холма мокрые крыши уютно дымились, люди сидели, попрятавшись в свои дома, только белые занавески мягко шелестели на окнах, когда они проезжали мимо.

И вот они наконец въехали во двор. Встретила их хмурая теша со своими вечными головными болями. Теплый, уютный дом, запах свежевыпеченного хлеба, знаменитый куриный суп — замэ де гэниэ, такой вкусноты блюдо, какого они давно уже не ели. Позавтракав, завалились спать, и, измотанные житейскими обстоятельствами, они спали весь день и ночь напролет проспали бы, если бы вдруг в доме не раздался клокочущий бас учителя французского языка Харета Васильевича.

— Я пришел, — говорил он отцу Жанет, вытирая ноги у крыльца, — я пришел забрать их к себе в гости.

Они пошли и просидели у него до полуночи. Обычно важный, хмурый, полный подчеркнутого достоинства, Харет Васильевич вдруг стал таким милым, душевным, так он хорошо понимал тяжелое положение, в котором они оказались, так деликатно старался им помочь, что прямо совестно становилось от всего этого. Его внутренней темой в тот вечер было показать важность присутствия духа. Его главной задачей было доказать своим существованием, что интеллигент, истинный интеллигент может жить и в этой деревне и мир мыслей, мир идей не будет для него китайской грамотой. Какими-то далекими намеками он старался дать понять, что Жанет была и остается его любимейшей ученицей и нету больше счастья для учителя, чем прожить жизнь рядом с любимым учеником. И наконец, ему захотелось сказать, что пока он тут, в этой школе, завуч, все, в чем будут они нуждаться, он достанет — и часов, сколько нужно будет, для них наберет, и положение в коллективе у них будет достойное.

— Только ради бога, — умолял он, — не ходите сами к директору, не залезайте с ходу в нашу кашу. Дайте мне день-два, я все подготовлю, все устрою.

Они распили два кувшина вина, съели множество великолепных, самим хозяином сготовленных сармале — маленьких голубцов — и, довольные всем на свете, со-

брались домой. Они уже уходили, они были уже в дверях, но Жанет вдруг почувствовала себя маленькой, незаслуженно обиженной школьницей, и этой школьнице захотелось пожаловаться учителю. У нее осекся голос, в глазах заблестели слезки.

— Хорошо вам говорить, Харет Васильевич. Вы, кроме этой деревни и Парижа, ничего не видели, а мы, столько лет прожившие в Кишиневе...

— Что?! — завопил Харет Васильевич. — Ты мне будешь рассказывать, что такое Кишинев?..

Весь пунцовый, оскорбленный и сердитый, он засадил их обратно за стол, принес еще один кувшин вина, поставил на стол большую вазу с фруктами, о которых он за беседой забыл, покопался в ящиках письменного стола, в тайниках книжных полок и положил перед ними пожелтевший листок — распоряжение Кишиневского горсовета о вселении его на какую-то площадь. Сказал коротко:

— Армянская, сорок пять.

Жанет прямо рот раскрыла от удивления.

— Вы что же... Жили в Кишиневе?

— Около года. И комната своя была. Диван, стол и два стула. И служба хорошая — младший научный сотрудник в Институте истории, языка и литературы. И все шло хорошо, пока не началась научная конференция, посвященная вопросу о происхождении молдавского языка. Дискутировались две различные версии — славянская и латинская.

Хория улыбнулся.

— И вы, на свое горе, не ту версию поддержали?

— Да никого я не поддерживал и даже рта не раскрывал. Сидел в уголочке и слушал. После трехдневной конференции вышел оттуда в солнечный полдень, а между тем все вокруг казалось мне черным — и небо, и город, и лица окружающих. И тогда я сказал себе: нет, Харет, ты не будешь больше участвовать в конференциях, после которых все выглядит черным. Многокрасочность мира — это высшая гармония бытия, и я не соглашусь променять ее на один черный цвет. Уж тогда лучше ничего, чем черный цвет. Придя домой, вернул ключ в домоуправление, подарил дворнику мебель, собрал вещи — и вот уже двадцать лет, как я счастлив.

— Чем же вы счастливы? — спросила Жанет. —

Этими блужданиями по лабиринтам школьных программ?

— Своей работой я доволен, — сказал Харет Васильевич тоном, не допускающим дальнейших дискуссий. — Она мне приносит и материальное, и моральное удовлетворение. Но счастлив я другим. Хотя в этой деревне вряд ли кто об этом знает, но вам-то я могу открыться. Уже много лет я работаю над книгой «Неологизмы в трудах наших летописцев», потому что, думается мне, истинный ученый работает не только тогда, когда его труд утвержден в плане и государство уже отпускает на него определенные блага. Творчество ученых как потребность развития человеческого духа родилось задолго до появления ученых званий и даже раньше, чем начали чеканить денежные знаки...

Они возвращались после полуночи. Впереди шел Харет Васильевич, освещая им дорогу керосиновым фонарем. Дождь перестал, но небо было еще сплошь обложено тучами. Временами, правда, в темноту вклинивались какие-то просветы, и тогда вдруг ненадолго вырисовывались гребни холмов, и на одном из них загадочная старая Звонница, о которой еще не было сказано достойного слова. И Хория подумал: если она стоит там, на горе, и ждет вот уже четыре столетия, то, надо полагать, она знает, кого именно ждет, и какое было бы счастье, если бы оказалось, что именно его она и ждала...

Буковинцы, по своим этническим корням — карпатские горцы, и, как все горцы, поступают они совершенно непредсказуемо. На следующий день Хория встал почему-то уже в ином настроении. Сказал, что идет в буфет за сигаретами (они у него действительно кончились), но на обратном пути он решил заглянуть в школу. Уж очень не по-мужски это выглядело — сидеть и ждать, пока некий добрый дядя устроит твою судьбу. У него лежало в кармане направление, в этой школе ему суждено было много лет проработать, тут детвора, тут будущие друзья, и чего отсиживаться дома?

Когда он вытирал ноги у крыльца, зазвонил колокольчик, означавший окончание большой перемены. Коридоры быстро пустели, шум в классах стихал. Он вошел в учительскую, но там никого не было, только пелена та-

бачного дыма висела в воздухе. Из директорского кабинета доносился какой-то шорох, какая-то возня. Дверь была прикрыта, но неплотно. Он тихо ее приоткрыл, и первое, что увидел, была могучая, здоровая спина под шикарным, дорогостоящим пиджаком. Директор стоял перед открытым книжным шкафом, спиной к Хории. Опрокинул в глубоком одиночестве рюмочку, с удовольствием крякнул, тут же чем-то закусил. Хории становилось уже как-то неудобно. Сделать вид, что ты понятия ни о чем не имеешь? Но ведь видел же ты все это! Он тихо кашлянул и постучался. Директор на секунду замер, стоя спиной к нему, затем медленно, по-хозяйски, на ключ запер шкаф и только после этого повернулся узнать, в чем там дело.

— Можно к вам?

— А, охрана памятников! Рад видеть. Заходи.

Они уже были знакомы, на какой-то вечеринке вместе гуляли, он не дал Хории долго размышлять. Усадив его за свой столик, вернулся к шкафу, открыл его ключом, отодвинул тридцать восьмой том энциклопедии, достал из тайника бутылочку с коньяком, налил рюмочку гостю, еще одну рюмочку себе. Аккуратно отрезал две дольки моченого яблочка, приготовленного именно для такого случая.

Хория спросил:

— Вы любите моченые яблоки?

— Под коньяк это самый-самый шик...

— А свежее яблоко не подойдет?

— А ни в жизнь!! Свежие яблоки, если они чуть кислят, хороши вместе с жареными орехами к вину, и то не теперь, осенью, а ближе к весне, когда со стрехи начинает капать... Ну, будем!

Хория чокнулся с ним и выпил. Он, конечно, уже знал, что в школе идет форменная война между директором и учителями и что единственный парламентер меж этими двумя фронтами — завуч Харет Васильевич. Знал он и то, что, выпивая с директором, он тем самым становится с ним по одну сторону баррикад. Почему он решился на это? Хотел ли он стать другом директора, хотел ли предать друзей, с которыми еще не познакомился?

«И — все! — сказал ему вдруг внутренний голос. — До этой черты и ни грамма более: встань и уйди». Но первому внутреннему голосу возразил второй:

«Почему я должен вдруг встать и уйти?!»

«Ты же видишь, что это чужой тебе человек».

«Чужой, конечно, но он мне нравится. Разве так не бывает, что вот, поди ж ты, чужой, а нравится!»

«Что тебе в нем так уж нравится? Рассуждения о свежих и моченых яблоках?»

«А что! Здоровый мужик, в хорошем костюме. Пьет хороший коньяк и ведет дельный разговор о закусках».

Они выпили еще по рюмочке, еще закусили, потом Хория достал пачку сигарет, покурили вместе, а через день директор впервые представил их ученикам. Хория был в синем, единственном своем хорошем костюме, а Жанет надела только что входившую тогда в моду джерсовую кофточку. Ребятам они понравились, но учителя старались их не замечать. После уроков, когда они вернулись в учительскую, директор вышел из кабинета, чтобы представить коллективу новых педагогов, но представлять их было некому. Несколько человек столпилось над шахматной доской, женщины в уголочке мерили по очереди пару новых импортных сапожек.

— Я хочу вам представить... — сказал директор, но и после его слов те, что играли в шахматы, продолжали в них играть, те, что мерили сапожки, продолжали в порядке живой очереди их мерить, а они втроем стояли посреди учительской как-то ни к селу ни к городу, и чтобы сгладить эту конфузливую ситуацию, директор подошел и галантно поцеловал ручку Жанет.

Она тут же разревелась и ревела всю дорогу, до самого дома, а дома их уже поджидал багровый, растерянный Харет Васильевич.

— Сумасшедшие, что вы наделали! Они вас сожрут! Они уже пять директоров съели, а учителя им — это на один зуб!

Хория медленно и степенно разделся, прошел, сел за стол. И на том столе, за который он сел, тут же появились и вино и закуска, и вдруг он почувствовал себя мужчиной, хозяином и улыбнулся, и по одной той улыбке видно было, что никого и ничего он не боится.

— Проходите, Харет Васильевич, садитесь. Ничего, придет время, и они сами протянут нам руки, так сказать, представятся, и неизвестно еще, пожмем ли мы те руки...

— Никогда! — крикнула Жанет в сердцах.

— Это пока неизвестно, — уклончиво повторил Хория, и тут сам Харет Васильевич подумал, что, видно, этот парень не так прост, как кажется.

Они сели за стол, разлили по стаканам розовое вино, и само это чудо виноградной лозы заставило переменить тему разговора.

В мире ведь столько интересного и прекрасного, помимо Каприянской средней школы!..

А там пошли обычные будни, и просто удивительно, сколько энергии, обаяния и такта было в этом буковинском парне! Школьные интриги и ссоры на какое-то время даже притихли. Он умел быть и слушателем и рассказчиком, умел быть товарищем, другом, умел сказать женщине комплимент, умел поддержать мужскую компанию в каких-то ее тайных помыслах, умел стать, когда нужно было, весельчаком и душой общества. К концу учебного года учителя стали их закадычными друзьями, но зато уже сам директор начал на них коситься. И однажды, когда Хория так же нечаянно открыл дверь и застал Николая Трофимовича перед книжным шкафом с рюмочкой, прием ему был оказан совершенно иной. Директор сначала выпил, потом долго и аккуратно прожевывал дольку моченого яблока, затем водрузил тридцать восьмой том энциклопедии на место, сел за стол, закурил и только после этого выдавил из себя:

— Слушаю вас.

Это означало, что мирные времена кончились, наступала смута. «Что ж, — подумал Хория, — будем пить вино и заедать кислыми яблоками. В конце концов не всем же коньяками баловаться».

9

Кто-то резко постучал чем-то железным по дереву и закричал у самого его уха:

— Гражданин, к вам обращаются!

Он долго протирал глаза, будучи не в состоянии осмыслить, что вокруг происходит.

— В чем дело?

— Билет.

— Какой билет?

— Вы мне тут дурака не валяйте...

Он сонно моргал у окна, думая, как бы выкрутиться, а по проходу уже бежала на выручку полная проводница с красивым, иконописным лицом.

— Его билет у начальника поезда, он из больницы, просится в купейный, я же вам говорила...

Контролер сказал назидательно:

— По крайней мере, мог подождать, пока переведут. А то без билета — и уже спит...

— Так из больницы, говорят вам...

Контролер ушел. Хория сказал еще раз проводнице «спасибо», но та даже не повернулась. Как стояла спиной к нему, так и ушла, и это было еще хуже, чем дрожание ресничек. Черт знает что, так его всю жизнь кидает из одной дурацкой истории в другую, хотя раз деньги в кармане есть, то почему бы не купить билет, почему не ехать по-человечески?

Спать он уже не мог, ему не давало уснуть то, что проводница на него обиделась. Достал из портфеля старый номер газеты, завернул в нее десяток апельсинов и пошел по проходу к ее дежурке.

— Вы говорили, что у вас башковитый сын?

— Говорила. А что?

— Возьмите. Для него и для его сестер.

Она расцвела вся. Дело было не в апельсинах, дело было в том, что он запомнил ее семью.

— Спасибо вам.

Вернувшись на свое место, он постарался подремать сидя, благо до Унген было недалеко, но из этого ничего не вышло. Не такой человек был директор Каприянской школы, чтобы, возникнув в твоих воспоминаниях, дать тебе соснуть. Он торчал, как гвоздь в новых ботинках, как бельмо на глазу, как селедочная кость в горле, и смягчить, уговорить, обойти его было невозможно. Хочешь не хочешь, а надо вступать в контакт, потому что выбираем не мы — нас самих выбирают.

Звали директора Николай Трофимович Балта, и, надо сказать, человек он был по-своему интересный. Медлительный, немногословный, невероятно упорный в своих принципах и убеждениях. Его огромная, грубо стесанная голова, посаженная прямо на туловище и потому малоподвижная, была полна смутных начинаний, но у него хватало ума держать эти темные импульсы в зачаточном состоянии.

Николай Трофимович мечтал все упорядочить, привести в соответствие, даже если для этого придется сокрушить все и вся. Его самой большой страстью было строительство, и там, где он директорствовал, вокруг школы не переводились камень, лес, щебенка, мешки с цементом. Он знал строителей на сорок верст вокруг, от-

лично понимал, кто и что умеет делать, легко находил с ними общий язык, и они охотно шли к нему работать. Видимо, в силу этой его особенности, как только район принимал решение какую-то восьмилетнюю школу перевести в разряд средних, туда непременно назначали директором Николая Трофимовича. Ничего, справится. Со сметой или без, с большими деньгами или без них, но он выкрутится, построит. И Балта покорно принимал новое назначение, переезжал на свое новое место, и тут же во дворе школы, как по мановению волшебной палочки, начинали появляться камень, цемент, доски. Откуда и как он все это добывал, одному богу известно, но он непременно добывал то, что ему было нужно, и только лучшего качества — ни плохих досок, ни плохого камня, ни плохой работы он не признавал.

Что и говорить, ему приходилось нелегко. Вставал он чуть свет вместе с колхозниками. Его голубая «Волга» металась целый день как угорелая. Он добывал гвозди, столярный клей, следил за выгрузкой, за погрузкой, и просто невероятно, каким образом в этой лихорадке он выкраивал пару часов в день, чтобы рассказать детям об изображении коллективизации в молдавской поэзии. Правда, на свою хлопотливую жизнь он никогда не жаловался. Наоборот, он бывал ею весьма доволен, потому что, строя школу, он и себе строил приличный каменный дом, а получая новое назначение, он продавал дом и тут же, получив участок в другой деревне, начинал заново строиться.

Себе он строил дома совершенно одинаковые, по одному и тому же проекту — четыре комнаты, две веранды, огромный подвал и гараж для своей «Волги». Жена у него была молчаливая, трудолюбивая, такого же плотного сложения и такая же здоровая, как и он. Она была фанатиком чистоты и вкусной пищи. Нигде не работая, она содержала дом в чистоте, готовила с утра до вечера, и дом директора славился среди местного и районного начальства тем, что в любое время суток туда можно было постучаться и, как только ты войдешь, на столе уже будут и бутылка, и самая изысканная закуска.

В самих домах Николая Трофимовича бывало тоже одинаково. Мебель несколько старомодная, но очень прочная, на долгие годы сколоченная. Сделал он ее на заказ, когда работал инспектором в Министерстве просвещения, и с тех пор, как выехал из Кишинева, возил ее с собой. Особенно хозяева гордились своей широкой двухместной

спальней — чудо мебельного искусства Молдавии первых послевоенных лет. Они ее показывали гостям как реликвию, как святыню... Сам Николай Трофимович не скрывал того обстоятельства, что после строительства любовь, причем не со случайной женщиной, а любовь со своей законной супругой, — едва ли не самое большое удовольствие в его жизни.

И вот ведь напасть какая — при всем при том его не любили! Не любили учителя в тех школах, в которых он директорствовал, не любили ученики, не любили родители учеников. Конфликты, споры, педагогические баталии шли беспрерывно в школах, которые он возглавлял, и както так получалось, что новые его назначения приходили именно в те дни, когда конфликты достигали наивысшего накала и вопрос стоял так — либо он их, либо они его. Хорошо ли, плохо ли, но районные власти никогда не давали этим дракам дойти до финала, и тут же очередную восьмилетку нарекали средней школой и поспешно переводили Николая Трофимовича туда.

Лучшие умы республики, многочисленные комиссии пытались докопаться до сути и выяснить, в чем, собственно, дело, почему он нигде не может ужиться. А не уживался он потому, что у Николая Трофимовича была одна странность — он не любил школы. Не любил учителей, не любил учеников, не любил ту самую возню, которая называется преподаванием. Вероятно, не любил потому, что сам толком никогда ничему не учился. Никаких систематических знаний у него не было, он даже ненавидел людей, кичащихся своей образованностью. Никто не знал, что и когда он кончил. Твердо было известно, что до войны окончил сельскую семилетнюю школу. Окончив ее, поступил в педагогический техникум на заочное отделение, и тут пошла такая катавасия с зимними и летними сессиями, с досрочными и просроченными сдачами экзаменов, что во всем этом немыслимо было разобраться. То он в один год сдавал за два курса, то переводился в другой техникум, то возвращался в прежний. И вот он после войны уже студент пединститута и опять же на заочном, потому что много работы, а трудился он тогда в Министерстве просвещения в качестве инспектора — другими словами, ездил по республике и проверял работу учителей, окончивших институт, в котором сам он еще числился студентом.

Как и почему он уехал из Кишинева, никто не знал, но он сохранял обширнейшие связи со столицей, часто

ездил туда на своей «Волге». Его вызывали в Кишинев на всевозможные курсы, семинары, совещания. Он просиживал положенное время в столице, конспектировал все, о чем там говорилось. Вернувшись, проводил дома вечера, переводя те беглые записи в другую, толстую книгу, и по всему было видно, что мечтает он дожить свой век в теплой городской квартире и на хорошей должности.

Существует порода людей, которые, однажды изведав силу власти, уже не могут без того чувства, чтобы постоянно не оказывать давление на окружающих. Николаю Трофимовичу не давали покоя годы, проведенные им в министерстве. Однажды во время какого-то мужского застолья, когда эта тоска особенно его донимала, кто-то из собутыльников спросил:

— Неужто для вас, Николай Трофимович, это такая уж проблема — взять и вернуться в Кишинев?!

— Вернулся бы я уже давно, да вот беда — не на чем...

— Как не на чем? Своя «Волга», а там автобусы, поезда...

— Дурачье, — пожурил их безалобно Балта. — Слушайте меня внимательно и запоминайте: в столицу возвращаются только на белом коне победителя.

— И вы, при своих связях, не можете раздобыть себе клячу?!

— Могу, да что толку — когда есть победа, нету коня, когда есть конь, нету громкой, так, чтобы на всю страну, победы...

Буковинский историк заинтересовал его с первой же секунды. Николай Трофимович питал какую-то туманную, ему самому не до конца понятную агрессивность по отношению к историкам. Все они в чем-то подозрительном копаются, все они что-то вытаскивают на свет божий. К тому же чутье старого интригана безошибочно подсказало ему, что перед ним стоит честный, начитанный и склонный постоять за свои идеи человек, а это и было то, что нужно для большой победы. Еще во время их свадьбы он знал, что они в конце концов вернутся учительствовать в Каприяну. И они вернулись. Теперь важно было не спугнуть. Сделать вид, что тебя в природе нету, уйти в конуру и ждать, пока события не сложатся в нужной конфигурации, и тогда поднять волну. То, что это рано

или поздно произойдет, в этом Николай Трофимович не сомневался.

На свое горе, Хория был начитан, уроки строил на обширнейшем материале, на источниках, которые находились далеко за пределами Каприяны, и надо сказать, что, к великому удивлению всей школы, директор его не трогал. Такие экземпляры ему еще не попадались, и он долго его изучал. У Николая Трофимовича было очень тонко развито чувство соотношения сил, и это чувство говорило ему, что нового учителя до поры до времени трогать не надо.

Года два или три он держал его на расстоянии, исподтишка наблюдая за ним. К себе в дом Балта его не приглашал, к ним он тоже не спешил, даже на именины их сына не ходил, но охотно шел в те компании, куда были приглашены Хория со своей женой. За столом он бывал компанейским, пил в меру и с удовольствием, прекрасно танцевал, особенно он Жанет любил закручивать в танце. Хория, конечно, понимал, что все это неспроста, и изредка в разгаре гулянки ловил на себе острый, холодный, недобрый взгляд Николая Трофимовича.

Назло директору, Хория позволял себе на своих уроках все, что только может себе позволить начитанный, знающий учитель. Жанет даже иногда казалось, что Хория нарочно дразнит судьбу, ведет себя на уроке излишне откровенно, озорно, даже дерзко. А Николай Трофимович, отлично обо всем осведомленный, сопел в своем кабинете и ждал.

Как раз к тому времени в газете «Культура» промелькнула информация о том, что учитель Хория Холбан пишет книгу «Культурные памятники Молдавии». Ему давно заказали из Кишинева брошюру на такую тему, он отнесся к этому договору излишне серьезно, собрал огромное количество материала, долгими ночами корпел над своим замыслом, и директор с трудом скрывал ощущение предстоящего торжества, потому что исторические труды, как известно, бывают написанными с правильных, а бывает, что и с неправильных позиций.

Дни тяжелых испытаний для Хории настали однажды ранней зимой, на уроке истории в восьмом классе, в том самом классе, в котором он же и был руководителем. Хотя стоял уже декабрь, погода была отвратительная. Без конца шли дожди. Они лили с утра до самых суме-

рек, потом всю ночь стучали по крышам, по окнам, по промокшим плащам прохожих, а чуть свет дождь опять лил. Дороги развезло так, что ребятишек из младших классов привозили в школу верхом на колхозных лошадях, иначе было не добраться. В селе началась эпидемия гриппа, того самого азиатского гриппа, при котором человек хоть и без температуры, а еле волочит ноги.

Колхоз переживал большую драму. Не всю сахарную свеклу убрали, да еще около ста гектаров кукурузы осталось на корню. Осень была гнилая, работы много, и уборку кукурузы все откладывали с тем, что вот-вот ударят морозы, а при морозе кукурузе ничего не делается, даже лучше ее убирать. Задумано было хорошо, но вот уже зима наступила, а дожди все льют, кукуруза плесневеет в початках, и никак уж ее не спасешь. А сверху все льет, и неизвестно, сколько еще будет лить — день, два, неделю, месяц, а может, эти дожди так уж и будут идти до скончания века.

Двадцать четыре ученика — шестнадцать парней и восемь девушек — подремывали на уроке истории. Дремали они и вчера, и позавчера, и завтра будет то же самое. Одни были после гриппа, до других грипп только-только добирался. Бледные и усталые, потому что осенью выпало много работы и они трудились когда со школой, когда дома, помогая родителям, они слушали урок краешком уха и хмурились, они были еще в том возрасте, когда подросток живет в основном атмосферой семьи, ее настроениями, а собственного душевного равновесия у него еще нет. Им все еще не давала покоя размокшая кукуруза в поле, а он им тут рассказывает про французскую революцию. И то ли потому, что дома у Хории тоже все грипповали, то ли потому, что школу захлестнули склоки, то ли потому, что ему самому надоели и грипп, и дожди, и эти сто гектаров мокнущей в поле кукурузы, но вдруг, как это часто с ним бывало, все его существо встало на дыбы, взбунтовалось, и, в один миг забросив все — и ход мыслей, и настроение, и свои права, и свои обязанности, — он вдруг рванул напрямик, как дикая лошадка, куда глаза поведут.

— Ребята, а вообще, как вы думаете, что такое история?

Парень из задних рядов спросил нагловато, как спрашивают обычно на базаре:

— Пятерка будет?

— Будет.

— Пятерка в четверти?

— В четверти.

Класс зашевелился. Начались перешептывания. Учение — дело трудное, а получить «пять» с ходу за всю четверть — это было бы куда как хорошо. Зашелестели странички учебников, заскрипели парты, и он, чтобы не смущать их, отвернулся и долго смотрел из окна второго этажа, что там, на улице, творится. Ведь вот пакость какая — его, этого дождя-то, почти не видно, только если выбрать темный предмет, например, проем открытых дверей школьного сарая, то на темном прямоугольнике сочащегося из сарая сумрака хорошо проецируются мелкие дождевые капли. Они висят в воздухе неподвижно, и, лишь если долго, до боли в зрачках, вглядеться, видно, как они, кружась, стелются по земле.

— Ну?

Как он и предполагал, ничего хорошего из этой затеи не вышло. История есть предмет, который помогает нам... Нет, не так. История есть наука, которая помогает человеку... Нет, тоже не так. История есть область человеческих знаний, при помощи которых советский человек... Нет, надо вот что — благодаря истории мы, то есть народ, то есть все человеческое общество... И все, порох кончился, флаги спущены — это было максимальное, на что был способен его любимый восьмой класс. Ребята стихли, виноватые, они не думали, что это так сложно, а он все смотрел в прямоугольник открытых дверей школьного сарая, чтобы еще раз подсмотреть, как движутся и стелются по земле мельчайшие дождевые капли, но зрение к ним уже привыкло, и, вздохнув, он начал тихо, издалека:

— История, дорогие мои мальчики и девочки, есть наука, великая наука, рассказывающая, какими путями двигалась жизнь с начала начал до наших дней. А что такое жизнь? Это и мы с вами, и дождь, который льет на улице, и те сто гектаров кукурузы, которые мокнут в поле, и наша двухэтажная школа, и древняя Звонница на горе. Свою историю имеют не только великие империи, но и каждое живое существо и даже неживое. Каждый предмет из окружающих нас имеет свою историю. Вот эти три окна нашего класса — ведь и рамы, и стекло, и гвозди — каждая из деталей была в свое время великим открытием на пути к современной материальной культуре. Много сотен поколений страдали и грелись в темноте, и много выдающихся умов прикидывало, как

бы это сделать так, чтобы днем видно было в помещении, чтобы проникал свет, но не допустить туда холода и сырости. И кто знает, может, старый топорик, ржавеющий за вашим домом в куче мусора, был свидетелем крестьянских восстаний 1907 года, и была минута в его жизни, когда он уж не колол дрова, а, поднятый над головой восставшего, требовал правды и хлеба. Может быть, среди родных Марии Москалу был старик чабан, устами которого говорил народ. Может, на старых жерновах, которые теперь стало модным вкапывать перед крыльцом, чтобы удобнее было счищать грязь с обуви, может, на тех самых камнях ваши бабушки мололи кукурузные зерна в трудные послевоенные годы, и, если бы не те зерна, если бы не те жернова, неизвестно еще, появились бы вы на свет, сидели бы вы сегодня тут, на этих партах.

Он говорил задушевно, тихо, стоя боком к классу и по-прежнему вглядываясь в сумрак открытых дверей школьного сарая. Он сам удивлялся той одухотворенности, которая на него вдруг снизошла. Он ловко орудовал точными, пластичными фразами, получая от них почти физическое наслаждение. Иногда он умолкал, как бы проверяя, много ли там еще того материала, того вдохновения, но фразы, образы, мысли шли и шли единым потоком. Он не видел лиц своих ребят, но по установившейся в классе тишине, по тому, что за четверть часа ни одна парта не скрипнула, он знал, что они его слушают.

— Предметы, окружающие нас, не могут мыслить, и потому они не знают и не интересуются своей историей. Ну а человек, нужно ли человеку знать свою историю?

— Нужно, — сказал весь класс.

Наконец он оставил двери школьного сарая и повернулся лицом к своим ученикам.

— Да, ему нужно знать свою историю, потому что человек — это звено в единой, нескончаемой цепи, по которой течет жизнь. А кольца в цепи сделаны не для того, чтобы любоваться каждым в отдельности, а для того, чтобы они надежно и прочно служили вместе. Современному человеку нужно знать свою историю, потому что сегодня кто владеет своим прошлым, тот владеет и своим будущим. Книги, памятники культуры, знание прошлого своего народа и прошлого других народов помогут вам уяснить себе, что ценно, а что не очень ценно в жизни, история научит вас, без чего вы можете обойтись, а без чего обойтись никак нельзя. И если вас измучил азиатский грипп, если вы устали на уборке сахарной свеклы,

если у вас не то настроение, то давайте оставим на день, на два в покое Французскую буржуазную революцию и поучим историю своих семей, историю своей Родины, историю своей деревни, наконец!

И тут из задних рядов поднялась низенькая и мускулистая Мария Москалу, девушка, которую он про себя в шутку называл Картошкой. Ее милые голубые глаза были полны нескрываемого удивления...

— А что... разве прошлое нашей Каприяны тоже называется историей?!

Он прошелся между партами, подошел к ней, положил ей ладонь на макушку и сам удивился этому жесту — было в нем что-то от древнего мудреца, благословляющего ученика. Смущенная Мария села, он пошел по проходу к своему месту и снова стал вглядываться в проем открытых дверей сарая — определенно эти двери ему помогали найти слово, образ, мысль.

— Милая моя Мария... Дело не только в том, что Каприяна — одно из самых древних поселений в Молдавии. На этой горе жил когда-то отшельник Даниил в своей лачуге, проводя дни и ночи в молитвах. Когда Штефан Великий, возвращаясь после поражения в Валя Албэ, попросился к нему на ночлег, потому что была ночь и господаря мучила рана на ноге, отшельник не открыл ему, сказав, что покой для воина, потерпевшего поражение, нужно искать на том же поле битвы, где разгромили его армию. Я не знаю, понимаете ли вы сегодня, сколько надо было иметь мужества и смелости, чтобы сказать эти дерзкие слова верховному владыке, воеводе, пред которым падали ниц и которого считали при жизни святым! Штефан вернулся на поле брани и победил. А что же отшельник, спросите вы? Да ничего. В одном из набегов его изрубили саблями не то турки, не то татары. Должно быть, они спрашивали у него дорогу, а язык у бедного отшельника, как мы знаем, был хорошо подвешен. И опустела его лачуга. Много лет спустя однажды во время охоты Штефан снова попал в эти места и содрогнулся от жалкого вида лачуги, прослезился, когда ему рассказали, что стало с отшельником, и он тут же приказал построить на горе Звонницу, назначить туда звонарей из числа самых храбрых и языкастых солдат, платить им жалованье из казны, и несколько столетий в этой Звоннице, сменяясь, служили господарские солдаты; поговаривают даже, что сама эта деревня, Каприяна, основана звонарями, которые, кончив службу, женились

и оседали в этих краях. Ваши предки могут не знать истории в деталях, но их почти святое уважение к этой книге из бычьей кожи, в которой были записаны имена всех звонарей, и то, что изредка в той Звоннице нет-нет да и зажгут старушки свечку, — все это знак глубокого уважения к своей героической истории, к той веренице людей, через которых шла жизнь, пока дошла до нас.

Прозвонили к большой перемене, но учитель продолжал стоять у окна, и ученики сидели не шелохнувшись на своих местах в ожидании, может, еще что последует? Но нет, урок кончился, а учитель просто задумался.

— В таком случае, дай вам бог здоровья, — заявила вдруг из задних рядов Мария Москалу. Ученики засмеялись. Улыбнулся и Хория, выходя из класса.

В тот же день двадцать четыре ученика разнесли по деревне рассказ учителя истории, и хотя многое из того, что было им поведано, было давно известно каприянцам, оттого, что рассказ был складный, красочный, возвышенный, как-то создавалось впечатление, что они об этом впервые слышат. И, хотя по-прежнему моросил дождь, и люди грипповали, и кукуруза мокла в поле, Каприяна как-то воспрянула духом. Вымирающие было предания вдруг ожили, все то давнее прошлое, которое, казалось, не имело уже никакой цены, вдруг стало сегодняшним, потому что в самом деле — человек-то должен же, черт возьми, знать, откуда он родом и что у него за прошлое! И хотя по-прежнему шли дожди и неистовствовал грипп, уже кто-то поработал в Звоннице, убрал бумажные ящики из-под чешского пива, вымыл пол в нижнем этаже, застелил старенькой скатертью дряхлый столик, на котором некогда лежала книга из бычьей кожи. Посреди стола снова, как и некогда, поставили глиняную миску с зернами пшеницы, и рядом горела белая стеариновая свеча, купленная в сельмаге.

С той вот белой свечки и начались испытания в жизни Хории. На второй же день Николай Трофимович громко, так, чтобы слышно было во всей школе, потребовал объяснительную записку с указанием, откуда вытащил Холбан всю эту белиберду с отшельником Даниилом.

Оскорбленный невежеством директора, Хория сказал, что объяснительной записки он писать не будет, но что он охотно допустит директора на свой очередной урок, если тот интересуется историей родного края. Директор тут же вышел, сел за руль и погнал в район. К обеду уже стало известно, что район назначил комиссию, которая не сегодня завтра приедет в Каприяну проверить этот из ряда вон выходящий случай. К его величайшему удивлению, назначенная комиссия не приехала ни на второй, ни на третий день, и тогда Николай Трофимович, измученный столь долгим ожиданием, вернулся домой и, поужинав, сел за руль и ночью, пока дороги были разгружены от транспорта, помчался в Кишинев. Целый день, взлохмаченный и встревоженный, он бегал по инстанциям, и от его рассказов такое было чувство, что море-океан сломало дамбу и только директор один знает, как и чем этот ужас предотвратить.

Из Кишинева он вернулся вместе с комиссией Министерства просвещения, и несколько дней шел в школе разбор этого дела. Комиссия из трех человек заседала в кабинете директора. Вызывались учителя, ученики, родители. Хорию, как нарочно, долго не вызывали. Директор торжествовал, это обещало стать той самой гигантской волной, которая должна была на своем гребне вернуть его обратно в столицу республики, воздать ему по заслугам, ибо не кто иной, как он сам, с давних пор твердил всюду и везде, что историки — народ опасный и их нужно держать на расстоянии.

Вероятно, в своей победе он уже нисколько не сомневался, и потому на педсовете, где все должно было решиться, директор разошелся так, что даже членам комиссии стало не по себе. Он приволок из дому целый ворох бумаг и цитировал в своем выступлении отрывки разговоров, услышанных им в учительской. Он обнародовал зафиксированные им самим случаи недостаточной гражданской активности со стороны того или иного учителя, приводил всевозможные деревенские сплетни и в заключение положил на стол перед комиссией огарок стеариновой свечи и глиняную миску с пшеницей, принесенные им с горы в качестве вещественных доказательств.

— Пшеницу-то вы зачем принесли? — спросил один из членов комиссии.

— Она тоже имеет отношение.

— К чему она имеет отношение?

— К факту преклонения перед прошлым.

Завуч школы Харет Васильевич сказал тихо, про себя, но получилось так, что услышали все:

— Прохвост.

Комиссия потребовала у завуча объяснений. Харет Васильевич встал весь пунцовый и произнес свою знаменитую речь о хлебе насущном. Оказывается, пшеница действительно символ нашего прошлого, символ будущего, и до сих пор в деревнях уроненный кусок хлеба поднимают, сдувают с него пыль, целуют, и в этом нет религии, в этом есть кристально чистое преклонение перед трудом хлебопашца. И на Новый год, войдя в чужой дом, крестьяне раскидывают по полу пригоршню чистой пшеницы, как это делали некогда сеятели.

— Это обычай языческий, дохристианский, ему, этому обычаю, много тысяч лет, но он живет до сих пор потому, что лучшего новогоднего пожелания для этого края придумать невозможно. И поверьте, старуха, принесшая в Звонницу миску с пшеницей, чтобы почтить память предков, сделала для воспитания молодого поколения больше, чем вся наша школа.

— А свеча?! — не унимался директор.

— Свечу вы сами занесли туда.

— Это ложь! Я вас привлеку...

— Никуда вы меня не привлечете. Давайте пойдем и спросим продавщицу сельмага: единственный человек, покупающий стеариновые свечи, — это вы... Старушки их не признают, они сами делают свечи, причем только из чистого воска...

Балта растерянно оглянулся — он действительно часто покупал свечи и неделю назад тоже купил, и эта новая точка зрения совершенно сбила его с толку. При всем его воинственном нраве у Николая Трофимовича была одна слабость — он относился крайне ревниво к появлению любой новой точки зрения. На его растерянном лице появлялась обида: но почему, почему не мне первому это пришло в голову?! Вследствие чего он расстраивался, ну а при расстроенных чувствах о какой волне может идти речь...

На следующий день комиссия уехала, не высказав ничего определенного и, главное, к огорчению директора, не отстранив Хорию от преподавания. Поначалу казалось, что это немыслимо, они не смогут работать вместе в одной школе, но время шло, и каждое утро в восемь — звонок, и опять же педсоветы. Один раз он поздоровается, и ты не ответишь, потом ты поздороваешься, он не ответит,

но время идет, и в конце концов все бы устроилось, все было бы хорошо, если бы не тот ранний, такой холодный, такой неумолимый дождь в начале апреля.

10

— Чай пить будете?

— Чего-чего?

Черные реснички дрогнули на иконописном лице — он, оказывается, когда она стоит рядом, думает еще о чем-то своем, постороннем.

— Чаю, говорю...

Он улыбнулся проводнице, прошелся ладонями по лицу, как бы счищая, смывая весь тот ил, всю ту жуткую грязь, из которой только что выбрался. Вот уж воистину жизнь прожить — не поле перейти. А женщины этого не понимают. Они больше живут сегодняшним днем, а к прошлому возвращаются редко, неохотно, а если и вернутся, то долго копаются в каких-то мелочах, пока все главное не пронесется мимо.

— Да нет, чаю не хочется, я скорее бы лег...

— Так вон же постель, на полке! Я уже давно принесла и титан нарочно для вас нагрела...

Усталый, больной, измученный воспоминаниями, он тут же принялся снимать обувь, и, проследив за тем, как он расшнуровывает ботинки, она сказала:

— Зря вы не хотите чаю... Он очень хорошо успокаивает. Особенно чай с медом хорошо. Я дома тоже иной раз как заведусь, как заведусь, а раскрутить себя обратно уже нету часу, уже спать надо, скоро утро, и, чтобы как-то успокоиться, я завариваю чай, беру маленькую ложку меда...

— Ну хорошо, принесите.

Это у них в крови, это культивировалось веками, и радость женщины неподдельна, когда она кормит мужика. Проводница принесла стакан чаю, он выпил, положил рядом с пустым стаканом двадцать копеек и забрался на свою полку. Проводница вернулась, взяла монетку в двадцать копеек, на ее место положила монетку в пятнадцать и сказала:

— Я вам из своего, не из казенного, заварила.

— Спасибо, чай был очень вкусен.

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

На полке было хорошо, уютно, чай его действительно

успокоил, потянуло ко сну, но нет, спать было нельзя, оставалась еще одна борозда, чтобы завершить ту немыслимую перепашку своей судьбы; оставалась еще одна глава, самая трудная, самая, может быть, тяжелая, и честность, уважительность по отношению к проделанной работе требовали довести этот труд до конца. Понять и объяснить мировую историю дело трудное, но возможное; осмыслить свою собственную жизнь — вот уж воистину дело, на которое много было созванных, но мало было избранных.

В тот день у него с самого утра разболелась голова. Жанет подтрунивала над ним, говоря, что он от тещи заразился нескончаемыми головными болями; он и сам смеялся над этим, а они, эти боли, таки донимали его. Особенно он не любил дни, которые прямо-таки и начинались с головной боли, и пришел в тот день в школу хмурым, сердитым. Во время урока, перелистывая классный журнал, обнаружил меж страниц две чудесные ягодки, сделанные из белых и красных ниток, — было начало марта, а в начале марта девушки дарили парням такие знаки внимания, называемые по имени самого месяца марципорами. Когда-то ему много марципоров дарили, потом о нем позабыли, но вот, поди ж ты, не перевелись еще добрые девушки в этом мире! Голова, однако, по-прежнему болела, и он не тронул свой марципор, стал дальше перелистывать журнал, прикидывая, кого бы из учеников вызвать и спросить что-нибудь новое о Французской буржуазной революции.

В классе стояла долгая, на редкость устойчивая тишина, потом чья-то парта скрипнула, и, не поднимая головы, он знал, что встала в задних рядах Мария Москалу. Сначала он подумал, что она хочет, чтобы ее спросили, потом подумал: странно — у нее и так хорошие отметки по истории. И еще он подумал, что это, вероятно, связано со вступлением в комсомол — они как раз достигли нужного для вступления возраста и стали активными на уроках, взрослели не по дням, а по часам.

В классе было тихо, он медленно, задумчиво перелистывал пустые, незаполненные страницы журнала, а Мария стояла в углу. Хория прикидывал, о чем бы ее спросить так, чтобы и для нее самой было не просто, и чтобы всему классу был интересен ее ответ. И пока он раз-

думывал, вдруг сама Мария заговорила. Она спросила слабым, дрожащим от волнения голосом:

— А почему, Хория Миронович, Звонницу рушат?

Сказав это, она тут же села, и по ее милому круглому личику покатились маленькие, такие же круглые слезинки. А ребята сидели по-прежнему не шелохнувшись. Они смотрели на него во все глаза, и он понял, что сейчас главное не Звонница, которую, может быть, и рушат. Сейчас самое важное — это его поведение. Они впервые увидят его переживающим глубокую, может быть, самую большую в своей жизни, драму, они хотят постичь своего учителя до конца, и от того, как он будет себя вести в данную минуту, зависит, какими уйдут эти ребята в жизнь — смелыми или трусами, мудрыми или глупыми.

Он таки заставил себя найти ученика, которому пришел черед поведать о делах Бастилии. Им оказался ленивый паренек с женской фамилией Анастасия. Он вызвал его к доске, дал ему задание, и, пока тот сопел и собирался с духом, Хория встал и подошел к окну. В солнечные, погожие дни видна была вся гора и все, что было на той горе, вплоть до последнего кустика, но погода в тот день была сырая, туманная. На горе, возле самой Звонницы, видны были только силуэты людей, какая-то машина, но что именно там происходило, было трудно разобрать.

— Ну, Анастасия, и что же последовало потом? Таки пала Бастилия?

— Пала, Хория Миронович, потому что, сами понимаете, деваться ей было некуда.

Поставил ему тройку и отпустил с богом.

Закончив урок, выждал какое-то время, пока ученики разойдутся по переулкам, затем с тяжелым сердцем спустился на первый этаж, вышел во двор. «Беспомощность, — подумал он, — вот он, бич нашей эпохи». Ощущение надвигающейся опасности не покидало его, а между тем ничего невозможно было предпринять. Если бы он был воинским начальником, он поднял бы своих солдат по тревоге. Если бы у него было пять-шесть взрослых сыновей, он окликнул бы их по именам, и они бы стали рядом, чтобы поделить с отцом его участь. Если бы он был неграмотным крестьянином начала этого века, он взял бы вилы и с этими вилами пошел бы туда, на гору, где стояла Звонница, но, увы, он был современным интеллигентным человеком и потому тихо плелся пере-

улочками, почтительно здороваясь с каждой встречной старушкой, и по мере того, как он поднимался в гору, у него начала проясняться голова.

Он вдруг подумал, что его надули, одурачили, сыграли с ним злую шутку. Ему отчего-то начало казаться, что наряду с этой известной всем комиссией в Кишиневе была создана еще одна комиссия, которая никуда не выезжала. Эта вторая комиссия не сочла нужным приехать в Каприяну, показаться в школе, встретиться с учителями. Она, эта вторая комиссия, была целиком на стороне директора, она приняла его сторону сразу. И пока они тут остывали от всей этой передряги, там, в Кишиневе, обе комиссии встретились меж собой, поспорили. Победила та, которая не пожелала выехать из города, и теперь директор праздновал свою победу.

Хория поднимался медленно в гору и задыхался. Все, что он ненавидел в своей жизни, собиралось теперь в одном обличье, в одной человеческой индивидуальности, и кулаки стали наливаться свинцом. Нет, все-таки человек должен сам за себя постоять. Если тебе плюнут в лицо, а ты поплетешься с тем плевком в милицию писать жалобу, грош цена и тебе, и всему твоему роду. Он поднимался в гору и был доволен собой, был даже счастлив. Он шел выяснить раз и навсегда, чего хочет тот человек от жизни и чего хочет от жизни он сам. И он спешил, потому что какой-то внутренний голос подсмеивался над его злостью и говорил, что, черта с два, ты не донесешь свой гнев до своего обидчика. Ты слишком умный, слишком воспитанный, слишком начитанный. Ты не создан для битв. Твой удел — мудро объяснять свои поражения.

Идти было долго, мысли и настроения попеременно чередовались, а когда он наконец добрался до Звонницы, то первой, кого он там увидел, была Жанет. Она сидела на свежих досках, собравшись комочком, потому что было ветрено, неуютно, и он ее спросил:

— Женик, ты-то какими судьбами здесь оказалась?!

Она устало дернула плечиком:

— Пришла вот помочь саженцы донести... Тебя дома не было, и отец попросил...

Чуть дальше, по ту сторону склона, на глинистом и запущенном пустыре, его тесть бережно выкапывал дички. Хотя и выкапывать было особенно нечего — саженцы все были какие-то дохлые, земля под ними пересохшая, так что они еле держались тощими нитками корешк-

ков за острые камни. Хория был крайне изумлен этой затеей и спросил тестя:

— Да зачем они вам дались, эти дички? Там, за школьной оградой, такие саженцы, что с меня ростом!

Тесть его выпрямился, виновато улыбнулся и мягко повел головой — ему не хотелось спорить с образованным зятем по причине огромного уважения, которое он питал к нему, но спорить нужно было. Куда же денешься? И он мягко сказал:

— На тех саженцах хорошее дерево не поставишь.

— Почему?

— Они слишком избалованы хорошей землей. А эти хотя и замухрышки, но они живут впроголодь на камнях, и если их пересадить в хорошую землю, то пустят такие корни, так разойдутся, что дерево переживет своего хозяина и урожай будет висеть на ветках что ни год.

«Это наша беда, — подумал Хория. — Мы слишком хорошо все понимаем, а этот самый Балта, почти ничего не понимая, действует, он и встает каждый день чуть свет, потому что ему нужно как можно больше времени для действий».

Жанет по-прежнему сидела на досках, и он вдруг подумал: откуда они там, на горе, взялись, те свежие доски? Подошел, сел рядом с ней, оглянулся. Человека четыре работали вокруг Звонницы. Двое рабочих пилили свежие доски, сам директор куда-то их перетаскивал, а из-за Звонницы доносились удары молотка, и чувство огромного облегчения охватило Хорию — они не рушили, они, наоборот, строили, они обшивали этот древний памятник свежими досками. Но в таком случае почему Жанет такая печальная и почему директор так старается, перетаскивая доски? Он встал, обошел Звонницу и только теперь все понял: они заколачивали и окна, и входную дверь, и проемы колоколов, и теперь вместо Звонницы вставало на горе нечто похожее на огромную печь с бессмысленной шапочкой на макушке. Убить красоту, обессмыслив ее, — вот в чем состоял замысел директора школы. А люди этого не понимали. Плотники из колхозной строительной бригады молча пилили доски, сообразуя их с заранее заданными размерами, и Симионел, счастливый, что ему поручили столь ответственное дело, забивал гвозди, смеясь и давясь своим же смехом.

— Ты-то чего так развеселился, Симионел?

— А что, — сказал тот, предварительно вытащив гвозди изо рта, — деньги зарабатываю.

— И сколько тебе дают?

— Пять рублей чистыми. За час управлюсь — тут же выплатят. Пять рублей в час!

«Это наша великая беда, — думал Хория. — Отца и мать продадут, лишь бы пять рублей в час платили...»

Директор трудился вовсю. В своей синей спецовке, в рабочих рукавицах, он носил заготовки от плотников к Симионелу, помогал их прилаживать на новое место, и при всей своей ненависти к нему Хория подумал: «Вот умеет же, сукин сын, организовать строительную работу! Я на его месте не знал бы, где раздобыть доски, сколько платить плотникам, сколько платить Симионелу, а он знает, он все это умеет». Хория поднялся и пошел к ним.

— А кто вам, собственно, дал право?!

Жанет, бледная, вскочила, догнала, взяла его под руку, прислонилась к нему так, что, если бы он резко сошел с того места, она бы, верно, упала. Директор трудился, притворившись, что не слышал этой фразы. Симионел продолжал лихо забивать гвозди, зарабатывая свои пять рублей, и только двое плотников вдруг перестали пилить. Они сидели и молча, выжидающе уставились на него, словно от Хории уже зависело, работать им дальше или нет.

— Да как у вас поднялась рука на памятник, простоявший сотни лет!!

Разочарованные плотники переглянулись, ничего не ответили, взяли пилу, и она снова застонала на все лады. С этой фразой, казалось, говорили они, лучше было дома просидеть. Это отношение плотников, а также звон пилы и перестук молотка приводили директора в восторг. Он был так счастлив, что в один миг решил Хории все простить и, завидев вдруг его, изрек самым дружеским голосом:

— А, привет, привет! Вот кого мы по-настоящему ждали: скоро Симионелу будет уже не достать, а ты, худобедно, при твоем росте еще поработаешь, пока привезут пожарную лестницу. С вечера было отдано распоряжение, и вот никак не очухаются.

— Вы мой рост оставьте в покое. Мои родители не это имели в виду...

— А в жизни всегда получается не так, как хотели родители... Мой отец хотел меня видеть полковником, а я до сих пор в рядовых хожу...

— Знаем мы этих рядовых... Рушат памятники, кото-

рые возводили верховные правители, и сами не устают при этом считать себя рядовыми... Что вы тут затеяли?

— Ремонт.

— Какой же это ремонт? Вы же забиваете досками и двери и окна! Это же все равно что ликвидировать памятник!

Балта рассмеялся.

— Да ты видел когда-нибудь в жизни, как делается ремонт?! Конечно же, забивают досками и окна, и двери, и верхние проемы...

— А что дальше, что потом будет?

— Так сказал же — ремонт.

— И когда вы его начнете?

— Когда будет составлена смета... Ты думаешь, ремонт — это так себе? Сначала составляется смета, потом она утверждается, потом по этой самой смете отпускаются деньги и стройматериалы...

— И у вас уже все это есть — деньги, и смета, и материалы?!

— Откуда они возьмутся?! Мы только готовим площадку...

— Да на кой же черт вы все это затеяли, когда ничего еще нету?!

— Как же мы тогда составим смету? — говорил Балта и смеется, нехорошо так смеется.

Увы, все было так, как он и предполагал, когда поднимался сюда, но руки уже не наливались свинцом, душа смирилась. Благородный гнев весь выгорел, и, к стыду своему, единственное, чего ему теперь хотелось, так это сесть на снежные доски, там, где сидела Жанет, и тоже спиной к ветру, и погреться, сидя рядом с ней. Все было впустую, и от понимания этого руки опускались. Даже на то, чтобы посоперничаться с директором, не хватало ни пороху, ни желания.

А между тем день двигался к закату, и люди спешили. Двое плотников лихо пилят доски, Симионел заколачивает гвозди, получая удовольствие от каждого удара, директор аккуратно перевозит срезки с места на место. Тесть закончил откапывать дички, аккуратно, как маленьких ребятишек, уложил в двух корзинках, стал с ними спускаться с горы, и Хория подумал: а не сходит ли он с ума? Вот тесть, честный труженик, потомок древних земледельцев, сажает сад как ни в чем не бывало. Эти двое пилят, а они ведь с ним односельчане, говорят на том же языке. Тот же Симионел забивает гвозди, Жанет, его

умная Жанет, млеет от любви, заглядывая ему в глаза. Внизу вон потомки бывших звонарей Штефана Великого спокойно занимаются своим делом, и только его одного, приехавшего бог знает из каких краев, трясет.

— Ты что-то мне хотела сказать, Жанечка?

— Хотела сказать, что я тебя люблю.

— Ну и как мне дальше поступать, после того, как я узнал эту великую истину?

— А никак. Пошли домой, мне тут холодно.

— Ну пошли!

Они шли долго, молча, не проронив ни единого слова за всю дорогу. Дома он обедать не стал. Разделся, лег лицом к стенке и пролежал неподвижно до вечера, разглядывая невамысловатый узор висевшего перед его носом коврика. Потом они вместе с тем узором погрузились во тьму, потом и в доме все утихли, улеглись, а он лежал в темноте и просил у судьбы одного: чтобы никогда больше не рассвело, потому что он не хочет больше играть в эти дурацкие игры. Под утро он уснул, а часов в одиннадцать проснулся от звонкого голоса Жанет:

— Послушайте, удивительная новость! Кто-то ночью сорвал доски со Звонницы и раскидал их по всему склону...

«Наконец! — сказал сам себе Хорня, точно он всю жизнь пробивал колодец, и все было впустую, все было понапрасну, но вдруг забил родник. — Наконец-то!!»

11

И началась невероятная история с этими досками. По утрам директор и три его помощника поднимались на гору, собирали их, заколачивали каждую на свое место, а ночью кто-то их снять срывал, раскидывал по мерзлому полю, и опять на следующий день четыре человека трудились там, на горе.

Поскольку доски с каждой ночью убывали, из колхоза завезли целую машину теса, несколько ящиков с гвоздями, две огромные лестницы. Иногда за день директор и его помощники успевали обшить Звонницу до самой крыши, так что, по идее, срывать доски в темноте было немыслимо, и все-таки рано утром она показывалась на горе такой, какой помнили ее люди много столетий кряду, — старенькая, серая, дряхлая, полная печали и достоинства.

Директор оставил молоток и сел за руль. Его машина кидалась во все стороны света, во все мыслимые и немыслимые инстанции, и кто только не приезжал в Каприяну по этому делу! Приезжали помощник прокурора и сам прокурор, приезжали заместитель начальника милиции и сам начальник районного отделения. Они заседали в школе и в правлении колхоза, они внимательно слушали и директора, и плотников, и всех других свидетелей, потом молча уезжали в район, бросив все на произвол судьбы. Ну заколачивают они досками ту Звонницу, ну воруют по ночам доски — господи, где это не бывает, стоит ли из-за этого поднимать такой шум?!

Потом наступил день, когда и район, и столица республики перестали реагировать на сигналы директора Каприянской средней школы, но, надо сказать, что Балта был на редкость упрям и настойчив. Он не сдавался. Он день за днем работал пилой и молотком; ночь за ночью сдирали доски, он их опять заколачивал, потом пришла та последняя темная ночь, в которую наступила развязка. Дни стояли в ту осень холодные, ночи были на редкость темными. И в одну из этих ночей, когда посвистывал ветер в кустарниках на горе, донесся до деревни дикий, нечеловеческий вопль. Каприяна проснулась. Люди стали включать свет в домах, но на улицу не выходили и на крик не бежали — подождем, сказали они себе, до утра, только при свете дня можно установить истину. Только когда совсем рассвело, человек пять из наиболее уважаемых и достойных поднялись на гору. Спустя полчаса один из них вернулся за телегой, и они провезли по деревне избитого до полусмерти Симионела.

И тут Каприяна осатанела. О, этот директор еще не знал, какого зверя он разбудил и во что это ему может обойтись! Люди погрузили Симионела в машину и повезли в райцентр, затем в городскую больницу Сорок, получили одинаковые медицинские заключения от двух разных экспертов, после чего повезли его в Кишинев, оформили документы о его психической аномалии, потом привезли парня домой, и, пока бабы его выхаживали, представители Каприяны сели в самолет и полетели в Москву, к главному прокурору Союза.

Директор школы, человек, обладавший большими связями, посмеивался над этой затеей. Ну побил он его в темноте, может, там лишний раз ударил, так ведь за дело же! Этот сукин сын каждый день брал с него по пять рублей, а ночью сам же сдирал со Звонницы доски, чтобы

днем опять заработать пятерку. Люди, однако, не смеялись над этой проделкой Симионела, им это казалось не таким уж смешным, и вот полетели телеграммы, запросы, приехали двое из Министерства внутренних дел Союза. После Нового года должен был начаться процесс. Директор никак не ожидал, что дело это будет взято под контроль Прокуратурой Союза, тут все его связи, все звонки и ходатайства оказались бессильны.

Николаю Трофимовичу Балте грозила тюрьма. Самая обыкновенная, с решетками, с конвоем, а в тюрьму ему как-то не хотелось, и вот он встал однажды утром и, как это издавна водится среди молдаван, пришел в маленький дом к своей жертве, к обиженному, побитому им человеку. Симионел, перепуганный спросонья, открыл было рот, чтобы опять завопить на всю деревню, он думал, что все начнется сначала, но на этот раз боевой дух Николая Трофимовича был на нуле.

— Не бойся, я не буду тебя бить. Я пришел помириться. Сколько же ты хочешь с меня?

Еще неделю тому назад он легко бы устроил это дельце за какие-нибудь десять-пятнадцать рублей, и Симионел был бы счастлив, но теперь у парня были опекуны — те самые пять человек, которые первыми пошли утром на гору узнать, в чем там дело. Они собрались вместе, чтобы обсудить предложение директора. Четверо сказали: «Никакого примирения, ни за какие деньги, истина дороже денег». Но пятый сказал: «А почему бы и нет? Ведь этот бедный Симионел — на нем никто не видел хорошего костюма, он вкусного куска бог знает с каких пор не ел, крыша лачуги, в которой он живет, протекает. Так почему бы и нет? Что ему за прок, если директор будет в тюрьме таскать землю тачкой?»

Опекуны запросили десять тысяч. Оскорбленный директор даже не нашел нужным ответить, но к вечеру предложил три. В конце концов сошлись на шести тысячах — пять тысяч получал Симионел, а шестая уходила на покрытие расходов, связанных с поездками в Кишинев и Москву.

Симионел был счастлив. В день получения денег жена одного из опекунов, женщина добрая, но бестолковая, поехала с ним в район, купила ему непомерно большой шерстяной костюм, огромную фетровую шляпу, черные ботинки и плащ болонью. Остальные жены опекунов накинулись на нее: зачем Симионелу такие дорогие, совершенно не по нему вещи? Но было уже поздно. Счастли-

вый Симионел надел на себя все обновки и с утра до вечера рыскал по деревне в поисках тех, кто не видел еще, до какой хорошей жизни он добрался. После длительных совещаний опекуны купили ему телку в колхозе — все равно дел у него никаких, пускай себе ходит и пасет, а оставшиеся деньги положили на сберкнижку.

К великому несчастью директора, Симионел оказался еще и франтом. Два раза в день, утром и вечером, он шествовал вдоль деревни — утром шел в лес пасти телку, вечером возвращался с ней из лесу, и было умилительно видеть его, важного, степенного, полного достоинства, ведущего за собой на веревке рыжую с белыми пятнами телку. Все учел бедный Николай Трофимович, но эти утренние и вечерние шествия Симионела не учел, а они-то и добили его.

В каждой деревне, в каждом колхозе, в каждом коллективе существует некий запас допустимых вольностей для людей, занимающих сколько-нибудь ответственное положение. И когда эти запасы исчерпываются и репутация опускается ниже уровня допустимого, тогда наступает критическая минута, и никакие связи, никакие заслуги, никакие увертки не могут помочь.

И наступил, конечно же, день, когда приехали два человека из Кишинева, из Министерства просвещения. Собрали педсовет, и, хотя повестка дня ни для кого ничего дурного не предвещала, все знали, что снимают Балту, наконец настал час, и его снимают. Он и сам понимал, что его песенка спета, и, кажется, смирился с этим. Сидел в уголочке, уступив свое председательское место приехавшим из центра товарищам, и с видом побитой собаки ждал, когда начнется, когда в него будут кидать камни. А между тем педсовет шел по другим рельсам, люди занимались другими вопросами, и по мере выступлений лицо директора прямо вытягивалось от удивления. Выступающие говорили о чем угодно, только не о нем. И он заерзал в уголочке на своем стуле. Он готовился к поражению, он готов был сложить с себя полномочия хотя бы в видимой драке, но чтобы совсем не упоминали даже его имени?!

Все ждали, когда выступит Хорин. Уж ему-то, казалось, невозможно будет обойти молчанием имя директора, а вместе с тем ему понравился этот деловой педсовет, и он решил поступиться своей личной обидой. Он как-то сумел построить свое выступление так, что тоже не упомянул имя директора, даже не посмотрел в тот угол, где

Балта сидел. Он говорил спокойно и деловито о программе, об учениках, об успеваемости, о посещаемости, и, как ни странно, именно это выступление потрясло директора. Должно быть, ему почудилось, что в голосе Хории пробиваются нотки будущего директора. А может, дело было не в этом. Просто директор ненавидел его люто, по-животному, и, пока Хория говорил о безобидных вещах, Балта поклялся про себя умереть, но не допустить торжества своего противника. Весь синий, со вздувшимися венами поперек лба, он ждал, когда тот умолкнет, и, как только буковинец закончил свое выступление, Николай Трофимович тут же встал и дрожащим голосом, обращаясь к представителям министерства, сказал:

— Тут нужно учесть то обстоятельство, что у товарища Холбана против меня личная ненависть.

Один из инспекторов министерства, человек, по-видимому, добрый, но вялый, спросил:

— Разве он говорил о вас?!

— Он, правда, мое имя не упомянул, но все, что он говорил, направлено против меня. И все только потому, что у нас с ним сугубо личное.

Второй инспектор без задней мысли спросил:

— Что значит сугубо личное?

Балта на минуту призадумался — он еще не знал, как бы это поделикатнее сформулировать.

— Видите ли... У меня любовь с его женой. Мы с ней, так сказать, в интимности...

Учителя, участвовавшие в педсовете, засмеялись, улыбнулся и сам Хория: надо было знать Жанет, ее бесконечную страсть к флиртам, танцам, к вечеринкам, и этого тупого, обрюзгшего человека, которого, видимо, даже собственная мать не любила. Но вдруг это всеобщее веселье стало как-то странно дробиться, стихать. Оглянувшись, Хория увидел, что все почему-то стыдливо опускают глаза, не знают, куда девать руки, очки, сумочки, а за книжным шкафом, возле окошка, на самом видном, на самом людном месте сидела пристыженная его жена. По ее лицу блуждали то красные, то белые пятна, крылатые ноздри трепетали и никак не могли ухватить столь нужный им в это мгновение воздух, опущенные глаза метались как у затравленного зверька, она потирала виски, чтобы не потерять сознание, и тут добрейший Харет Васильевич загрохотал что было мочи:

— Каналья!

Потом он еще что-то кричал, директор ему что-то от-

вечал, но, в чем состояла эта словесная перепалка, Хория уже не слышал. Для него день вдруг поблек, разноцветные круги поплыли, пересекаясь на разных уровнях, и он понял, что с ним случилась трагедия. Если он сию же минуту не выйдет, то его потом вынесут. И он сказал себе: «Самое важное — это продержаться, выйти самому, спокойно, с достоинством, уйти куда глаза глядят, забыть навеки, что есть такая деревня Каприяна, что есть такая двухэтажная школа и есть такая смуглая красивая Жанет».

Он вышел, низко опустив голову, ни на кого не глядя, затем в учительской надел куртку, шапку, взял портфель. Двор школы был совершенно пустой, и улицы тоже были пусты, безжизненны. Он долго шел по селу, разбитый, шел, низко опустив голову, ссутулившись, потому что мела буйная предвесенняя поземка. Вышел из села по той же тропинке, по которой спустился некогда в эту Каприяну, — тогда, правда, была осень, все золотилось, пахло айвой и виноградным соком, а теперь до самого шоссе одна поземка и мерзлая земля.

Машин ходило много — как раз в те дни колхозы развозили со станции минеральные удобрения, и он быстро добрался до вокзала. В зале ожидания сел неподалеку от огромной печки, чуть отогрелся и как-то тупо ни о чем больше не думал. Он знал по ритму сердца, по привкусу во рту, что разладилось что-то там, внутри, но что именно — не знал. Хотелось быстрее сесть в поезд и уехать — пусть то, что с ним должно произойти, произойдет не здесь, не на этой земле, не среди этих людей. Он решил уехать первым же поездом, в какую бы сторону он ни шел — если раньше пойдет на юг, уедет в Кишинев, если на север — вернется в Буковину. Через час с лишним пошел поезд на Кишинев, и он купил билет, сел. Поезд был пригородный, без спальных мест, но ему было плохо, и он лег. Он лежал, подобрав ноги, на короткой скамейке, на которой надо было сидеть троим, и хотя мест не хватало и многие торчали в проходе, его не трогали, понимая, что это неспроста, что-то произошло с ним.

В Кишиневе он сам слез с поезда, нашел на вокзале помещение медпункта, вошел и даже улыбнулся дежурившей там врачихе — должно быть, хотел сказать ей что-нибудь смешное, он всегда любил шутить при знакомстве, но духу уже не хватило. Лег на белую койку, послушал, что врачиха думает о молдаванах, о том, как

они относятся к своему здоровью, потом провалился куда-то и очнулся в республиканской больнице, в сердечной клинике профессора Анестиаде.

Легко сказать, а попробуй переживи все это. Но, как бы там ни было, худшее было позади, и вот теперь, через два месяца, он опять в поезде, опять едет туда же, на север. Едва закончив эту немыслимо тяжелую для него работу, пережив еще раз свою драму, переосмыслив все обстоятельства, связанные с ней, он тут же уснул. Невероятная тяжесть, давившая на него и чуть не раздавившая совершенно, уползла куда-то в неведомое. И ему стало легко, так легко стало, будто он заново на свет родился. А может, дело было вовсе не в этом, может, нужно было еще раз пройти все эти круги ада, чтобы своими руками сделать из этой драмы часть осмысленного жизненного опыта, а осмысленный опыт уже не давит, он уже не враг, а друг и союзник.

Как бы там ни было, колеса мирно стучат, человек спит на ватном матраце и во сне удивляется, до чего он сладко спит и как ему хорошо оттого, что он так сладко спит. И само сердце, его бедное сердце, которое вот уже второй месяц то пропадало, то срывалось со своего бега, теперь спокойно, ритмично работало, как и перестук колес, с той же методичностью отсчитывая секунды и метры. А это означало — все еще впереди!

12

Часа в три его окликнули. Он соскочил с полки, сунул ноги в ботинки и только потом оглянулся. Вокруг ни души — пассажиры вокруг спали, проходы были пусты, — и тем не менее он явно слышал молодой, юношеский голос, голос, по которому он так соскучился за эти два месяца. У него еще стоял в ушах тот отдаленный, отчаянный крик:

— Хория Миронович!

Была жалоба ребенка, был крик о помощи, и было еще в этом голосе столько тревоги, столько отчаяния, что на миг он забыл и Жанет, и больницу, и все свои невзгоды. Натянул куртку, надел шапку и отозвался хрипло, потому что был со сна:

— Ау!!

И смутился от собственного же голоса, потому что ва-

гон был в самом деле пустой — ни проводницы, ни пассажиров, ни контролера. Даже обычного перестука колес не слышно было, потому что поезд стоял на какой-то станции. Кинулся к окнам, посмотрел на улицу. По одну сторону поезда стояли сплошные товарные составы, а по другую сторону красовалась залитая лунным светом и потому сияющая белизной единственная побеленная станция на этой дороге...

Вережены!

Нужно было действовать быстро и решительно. В один миг он рассовал все хозяйство в портфель, схватил сетку с апельсинами и выпрыгнул из вагона, когда поезд уже трогался с места. Не успел даже попрощаться с проводницей. Хотя в последнюю секунду она вдруг откуда-то выросла на ступеньках своего вагона, красивая и загадочная, и когда поезд уже набирал скорость, так что ее фраза могла еще до него долететь, но на ответ наверняка не оставалось времени, она укоризненно покачала головой:

— А по душам мы с вами так и не поговорили!

Он успел только улыбнуться ей в ответ, потом долго еще провожал взглядом красный огонек, припечатанный к последнему вагону. И поезд, и проводница, и сам огонек — все это уходило туда, на север, где пахло дубовыми рощами и горными травами, где было солнечно и просторно, в страну детства, на Буковину, а он опять застревал в этом краю, где его чуть не угробили, сошел на станции, где его никто не ждал, никто не встретил.

«Должно быть, это и называется в мире судьбой, потому что иначе что же такое судьба?!»

Народу сошло мало, человек восемь. Стояла еще глубокая ночь, спешить было некуда, он подошел к скамеечке, поставленной у входа в зал ожидания, и сел. Заходить в само здание вокзала ему не хотелось. Нужно было как-то побыстрее очнуться, сообразить, что к чему, а на улице, на свежем воздухе, это как-то делалось само собой. Жалко было родную деревушку на Буковине — он так надеялся туда приехать, так он по ней соскучился, и вот снова поездка откладывается. И снова каким-то чудом до него донесся отдаленно, как эхо, тот встревоженный юношеский голос, который окликнул его и, можно сказать, высадил из поезда. Неужели тот голос хотел ему поведать, что ночью с десятого на одиннадцатое апреля была сильнейшая гроза, с громом и молниями? Ах, если бы это было так и если бы можно было еще дознаться, чей это голос...

С поезда вместе с ним сошли еще две учительницы из соседней деревни. Они сначала кинулись в зал ожидания, потом так же живо оттуда выскочили. Посмотрели на него мельком. Они не были знакомы, но Хория помнил их лица по многочисленным районным конференциям. На всякий случай поднял два пальца, прикоснулся ими к берету, но учительницы сделали большие, удивленные глаза. Потом, гуляя по перрону, они всякий раз обходили скамеечку, на которой он сидел, и Хория подумал: что это их так шокирует?

Ах да, конечно же. Уроки литературы. В человеке все должно быть красиво, особенно если этот человек — учитель. А на нем все было мято, все пахло больничной кладовой. Лицо небритое, на ботинках ссохшаяся глина Комсомольского озера. Чтобы больше не компрометировать их своим видом, он поднялся со скамейки, пошел на площадку, расположенную за зданием вокзала, откуда уходили во все направления автобусы, и стал прикидывать, как бы побыстрее добраться домой. Тот юношеский голос — он ведь неспроста окликнул его. Там, видно, что-то случилось. Может, даже что-то страшное. Когда ученик зовет учителя — это не значит, что только он один его и зовет, — как правило, тем голосом зовут все ученики, и ему нужно было спешить, потому что, так или иначе, а сегодня они были для него единственными близкими людьми в этом мире.

Ехать было не на чем. Первый автобус, который мог бы довезти его до поворота, откуда было всего два километра, шел только в пять сорок. Правда, у здания вокзала дремали две новенькие «Волги», уютно светили два зеленых огонька, но шоферы в этих машинах спали, сидя за рулем, и даже не отзывались, когда пассажиры стучали им в окошко. Спрос на такси здесь был огромен, шоферы были в основном народ состоятельный. Вышли на линию, потому что смена, а так сон под самое утро был им дороже любых денег.

Хория нервничал, он хотел поскорее вернуться и в конце концов растормошил одного из таксистов. Здоровенный детина сквозь глубокую дрему огрызнулся сердито: дескать, куда лезешь, занято. Тогда Хория спросил, почему же он не выключит зеленую лампочку. Ведь горит она, а если горит, то, стало быть, машина свободна. Шофер открыл один глаз и сказал, сожалеючи глядя на учителя:

— Горит, да не про вас горит, дорогой товарищ...

Было около четырех. Прождать еще час с лишним у него уже не было сил, и он поплелся пешком по шоссе, решив, что даже если придется идти часок, то потом так или иначе догонит какая-нибудь попутная машина, а прогуляться на рассвете все-таки лучше, чем торчать возле здания вокзала. Вон Амосов пишет, что у человека не может быть здоровое сердце, если он не пройдет пешочком семь-восемь километров в день. То же самое и японцы утверждают. И он пошел, и шел долго в темноте по обочине. Луна изредка выглядывала из-за туч, высвечивая на одно короткое мгновение стосковавшиеся за зиму поля, словно для того, чтобы он мог сообразить, куда и как идти, и тут же снова набегали тучи, и опять бесконечно долго приходилось шаркать в темноте по сухому асфальту.

Он уже был, верно, в пяти-шести километрах от станции, когда из-за поворота показался грузовик. Машина шла на большой скорости. Хория стал на обочине, деликатно, учтиво поднял руку. Приближаясь, шофер и в самом деле начал тормозить, но не для того, чтобы остановиться, а для того, чтобы проехать мимо. Хория хорошо знал все эти шоферские увертки, а кроме того, ему нужно было срочно, до зарезу нужно было вернуться в Каприяну. Недолго думая, он с поднятой рукой вышел на середину шоссе и встал как вкопанный. Шофер грузовика понял, что, если не остановит, тот так и будет стоять, а шофер он был еще молоденький, ему не хотелось в дальний путь, в казенный дом. Взяв чуть вправо, притормозил, и после немыслимого скрежета и свиста, связанного с непредвиденной остановкой такой колымаги, из кабины донеслась речь молдаванина, едва осваивающего обороты русского языка:

— Твоя душа мать...

Хория подошел к опущенному боковому стеклу и попросил:

— Слушай, будь другом, подвези до поворота. Мне срочно нужно в Каприяну.

— Куда я тебя, на голову, что ли, посажу? Не видишь — кабина занята.

В кабине и в самом деле дремала грузная женщина, которая только теперь по-настоящему проснулась и тупо озиралась, не понимая толком, что произошло.

— Да не надо мне кабины, я в кузове поеду...

Парень за рулем подумал и сказал:

— В кузове могут убить.

— Ничего, может, пожалеют. Я ведь человек незлой.

— Ну как знаешь, — сказал шофер. — Лезь давай. Только на свою ответственность.

Хория закинул свои вещи, затем и сам залез. Шофер куда-то очень спешил, машина тут же тронулась, не дав ему даже встать во весь рост. Сначала он попытался на корточках добраться поближе к кабине, потому что очень уж сквозило, но потом передумал и некоторое время ехал, никак не выдавая себя и оглядываясь, чтобы узнать, кто же тут собрался посягнуть на его жизнь. К счастью, луна снова на один короткий миг выглянула из-за туч, он все понял и улыбнулся.

Прижавшись к противоположному борту, храпел и одновременно вздрагивал молодой красивый жеребец. Он, видимо, был строптив на тех лугах, где родился и рос, но, на свою беду, оказался красивым. Он понадобился для размножения, и вот везут его к каким-то старым, глупым кобылам, которым все уже в жизни опостылело. Он был весь взмыленный. На правом боку и на передней ноге, когда светила луна, виднелись мокрые полосы — должно быть, кровь. У него дрожали все мускулы, он ненавидел эту ночь, эту машину, весь этот путь, и, когда снова засветилась луна, жеребец оглянулся, чтобы узнать, кто же это едет вместе с ним.

Хории стало его жалко. Всю жизнь, с детства, он мечтал иметь хорошего коня. Потом времена изменились, мода на лошадей стала сходить, пошла мода на велосипеды, на мотоциклы, на машины, но Хория все еще мечтал хотя бы один раз всласть покататься на хорошем коне. Увы, и это почему-то оказалось нереальным, и он уже стал подумывать, что хорошо бы просто пообщаться с лошадкой, покормить, попоить ее в благодарность за то, что ее предки сделали для этого народа на протяжении многих столетий, и опять же не вышло... Его жизнь шла по одному руслу, жизнь лошадей — по другому, и кто знает, если бы не сегодняшний, просто невероятный случай, он, возможно, так и не встретился бы со своей лошадкой.

— Милый ты мой друг...

Хория встал в темноте, на ощупь пробрался к кабине, туда, где была голова лошади. В темноте нашел ее, прикоснулся к жесткой гриве, погладил ее, затем достал из сетки апельсин. Жеребец на миг забыл свой страх и то обстоятельство, что его везут на машине. Понюхал

плод, но он ему не понравился. А может, он подумал, что это ловушка, что за этот плод придется потом не то что на машинах ездить, а и на самолетах летать.

— Мургушор ты мой, Мургушор, — сказал ему вдруг Хория ласково. — Не повезло нам с тобой. Тебя родили красивым, и меня родили красивым. Всю жизнь мы за это платим и попадаем из одной дурацкой истории в другую. Тебя вон везут на свадьбу, а я уже после свадьбы, после больницы, и все нам завидуют, что мы красивы, что любая дура за нами пойдет, и не знают эти чудаки, что вот едем мы глубокой ночью в грузовике, и трясемся, и дрожит душа, дрожит тело, и даже семя в нас и то дрожит.

Молодой шофер, видимо, понятия не имел, о каком повороте шла речь, и не сбавлял скорость, хотя поворот был уже близок. Хория постучал по кабине. Тот даже не остановил, только притормозил, дав ему возможность выбросить вещи и выпрыгнуть самому, а когда пассажир вытащил трешку, машина опять набирала скорость. Хория собрал в темноте вещи и подумал про себя: что-то тут непременно ворованное. То ли машина, то ли жеребец, то ли сонная тетка, дремавшая в кабине. Скорее всего тетка...

Под утро тучи затянули небо совершенно, и хотя дул уже свежий предрассветный ветерок, темно было так, что не видно было, куда ногой ступить. После больших хлопот он все же нашел тропинку, по которой нужно было спускаться, чтобы добраться побыстрее до Каприяны. Но, спускаясь, он зацепил сеткой за какой-то куст, сетка порвалась, апельсины высыпались. Он их с трудом, на ощупь, собирал, совал обратно в сетку. Они снова вываливались оттуда, и хотя опускаться, без конца собирая апельсины, было делом трудным и хлопотливым, он вдруг засмеялся. Ему пришла в голову мысль, что было бы здорово начать вот так большой художественный фильм: на экране полная темнота, и в темноте герой куда-то проваливается, что-то собирает, куда-то сует — все это похоже на драку, но никто ничего не может понять. Только потом выясняется, что это не драка: просто деревенский учитель возвращается ночью, спускается с горы и собирает апельсины, которые у него вываливаются из сетки.

13

Когда он входил в деревню, луна все-таки умудрилась в последний раз вырваться из плена темени, еще раз выглянула из-за туч и улыбнулась. Каприяна спала глубоким сном. Потомки древних звонарей спали так, что можно было всю деревню перетаскать из одной долины в другую — и никто не очнется. Спал директор школы, спал Симионел, спала его телка в сарае, спала где-то там, в низине, Жанет с сыном, и кто знает, может, в этом была высшая мудрость, потому что дела делами, а отдых отдыхом. Он шел по деревне привычной дорогой, и мысли его были добрые, привычные, но его сердце отчего-то вдруг заволновалось. Оно таяло, оно щемило, оно стучало в висках, стучало в кончиках пальцев, и он стал думать: с чем эти волнения могут быть связаны? Ах да, конечно же. Близится дом, в котором он жил, дом, в котором спали теперь предутренним сном жена и сын. О сыне он думал мало. Сын был немыслимо похож на Жанет, и в дни их счастливой семейной жизни Хория очень любил его, но если случалось им повздорить с Жанет, недовольство женой почему-то распространялось и на сына. Он понимал, что это глупо, он старался как-то отделить сына от матери, но они были так похожи — и лицо, и стать, и волосы, и голос...

А дом тот все ближе и ближе. До сих пор он толком еще не думал, куда он возвращается, да ему как-то было все равно, но сердце, его бедное сердце не могло больше находиться в состоянии неведения, потому что вон позади еще один переулок, а там перекресток, а там колодец. Все должно решиться через двести, через сто, через пятьдесят шагов, и сердце буйствует, стучит, стучит, стучит.

Нет, домой он не вернулся. Начало рассветать, его ждали где-то там ученики, их голос разбудил его среди ночи, заставил сойти с поезда, и он прошел, даже не посмотрев в сторону того дома, в котором сам еще недавно жил. Он шел и шел по дороге, ни о чем больше не думая, и все шел, пока не засветились впереди розовым отблеском огромные окна школы. Тетушка Арвира, уборщица, уже топила печи. У крыльца школы он сел передохнуть. Внутри стоял грохот передвигаемых парт, звон ведер, шлепанье мокрых тряпок; временами среди всего этого шума и гама прорывалась тихая песенка тетушки:

Ах, была у меня тропка
до самых дверей любимой...

Она всегда пела одну и ту же песенку — должно быть, со страху пела, потому что приходила сюда в полночь и до утра трудилась в этой пустой и темной двухэтажной громаде. Тихая и скромная женщина, отдавшая войне мужа и сына, она сделала из уборки школы главное дело своей жизни. Она переживала за каждое треснутое стекло, за каждую царапинку на парте, за двойки каждого ученика, за здоровье каждого учителя, и, сидя на крыльце и слушая возню этой старой женщины, он вдруг подумал как-то весело: нет, ничего еще не потеряно, ничего в мире не изменилось и не изменится, пока эта старушка будет приходить сюда глубокой ночью, передвигать парты, мыть полы и мурлыкать свою древнюю песенку.

Она смущалась, когда ее навещали неожиданно, во время исполнения служебных обязанностей, особенно если это бывали люди мужского пола, и он тихо прошел по коридорам в учительскую. В столике, там, где он хранил свои личные вещи, лежали несколько номеров еженедельника «Культура», которые пришли за время его отсутствия, и повестка из военкомата, в которой сурово предлагали месяц назад явиться в трехдневный срок. По коридору прошла тетушка Арвира и уже не пела — должно быть, увидела его следы в коридоре. Он ждал, когда она войдет, и при этом подумал: неужели ей так же будет неприятно видеть его, как и тем двум учителькам из соседней деревни? Подошел к книжному шкафу, к которому по просьбе учительниц было прилажено небольшое зеркало, и впервые за эти два месяца придирчиво осмотрел себя.

Увы, как говорится в народе, ничего из того, что нас касается, не пронесется мимо нас, и надо было быстро, пока не собрались учителя и ученики, привести себя хоть мало-мальски в порядок. Достал из портфеля электробритву, побрился, вышел с графином к крыльцу и умылся, потом увлажненной газетой принялся счищать грязь со своих ботинок и все чистил их до тех пор, пока в учительской не запахло опять, в который раз в его жизни, спелой айвой. Увы, похоже, что этот запах стал для него той самой судьбой, которую, как говорится, не объехать, не обойти.

В проеме открытых дверей учительской стояла Жанет. Давно он ее не видел, с того самого черного дня. Четыре раза приезжал к нему в Кишинев, в больницу, ее отец с передачами. Человек очень добрый, тактичный, в беседе

он почти каждый раз намекал, что приехал не один, вместе с ним приехал еще кое-кто из Каприяны и сидит где-то там на скамейке, но говорил это как-то вскользь: мол, если хочешь, могу позвать, но если тебе этого не хочется — избави бог. Хория не выражал тогда интереса узнать, кто же это вместе со стариком приехал, и она уезжала, не свидевшись с ним, но, конечно, должен же был настать день, когда они снова встретятся лицом к лицу.

Она похудела. В уголках рта появились первые складочки. «Наши годы летят» — была когда-то песня такая. Она стояла растерянная, встревоженная со сна, готовая принять любой удар покорно и безмолвно. Держала какой-то узел в правой руке и не знала, куда его положить. Но нет, между ними, похоже, все было уже кончено. Он чистил ботинки спокойно, методично, старательно. Жанет хотела что-то сказать и запнулась. Он поднял глаза, увидел, как дрожит ее подбородок, и ему стало ее жаль. Из уважения к их прошлому он не должен был ее унизить, даже если она в самом деле была перед ним бесконечно виновата.

— А я вот ждала и ждала... — сказала она вдруг.

— Чего же ты ждала?

— Ждала, когда ты вернешься и побьешь меня.

Он усмехнулся.

— Нет, Жанет, это ни к чему. То, что, может быть, помогало нашим родителям, нашим предкам, нам уже не поможет.

— Ты меня даже не спросил, правду ли он говорил и было ли что.

— Дело не в том, было там что или не было. Просто он единственный человек в мире, с которым у тебя вообще ничего не должно было быть, иначе ты меня предавала...

— К сожалению, я это поняла уже потом...

Она прошла через порог, развязала узел, положила на стул его костюм, чистую рубашку, полуботинки.

— Не мучайся с грязными ботинками. Я их сама дома почищу. Лучше переоденься во все чистое.

Он спросил, снимая с себя помятый костюм:

— Кто тебе сказал в такую рань, что я приехал?

— Отец.

— А он откуда узнал?

— Слышал, когда ты прошел мимо нашего дома.

— Он, что же, не спал?



— Да он уже давно, недели три, просыпается, когда проходит Черновцы — Одесса. И уже до утра не спит...

— А ты?

— Я тоже просыпаюсь, когда проходит поезд, но потом, от усталости, наверное, опять засыпаю...

«Вот, — подумал он, — еще один человек, ради которого стоило завернуть сюда. Знаменитый садовод, который сажает айву. Она только носит этот запах, а сажает айву и ухаживает за ней отец, хотя и несет от него табаком. Надо переодеться, чтобы покончить раз и навсегда с этой больницей». Стал отстегивать брючный ремешок, но отчего-то спохватился и замер. Хотя они около восьми лет жили вместе, и у них был сын, и они уже давно не стеснялись друг друга, ему не захотелось переодеваться при ней. И она поняла. Вышла, тихо прикрыв дверь. Некоторое время слышно было, как ходит она по коридору, слышен был ее тихий разговор с тетушкой Аривой, а когда она вернулась, он уже завязывал галстук. На полу валялось все то, что он с себя снял. Жанет робко переступила порог, нагнулась и принялась собирать его старые, больничные вещи с пола. Но ему не хотелось, чтобы она прикоснулась к его страданиям. Она это почувствовала. Остановилась, выпрямилась, спросила:

— Можно я все это унесу домой?

— Нет, не нужно.

— А что же ты с ними будешь делать?

— Пускай лежат здесь, в столике.

Потом была еще пауза, очень длинная пауза. У нее опять начал дрожать подбородок, и она поняла, что ей пора уйти. Уже приоткрыв двери, спросила:

— Ты знаешь, что сегодня не будет уроков?

— Почему?

— Субботник.

— Что ж, субботник так субботник, — сказал он... — Там апельсины в сетке. Возьми отнеси сыну.

Она долго смотрела на сетку, потом тихо сказала:

— Не могу.

— Почему не можешь?

Она аккуратно сложила платок, в котором принесла его вещи.

— А он может вдруг спросить, откуда они, эти апельсины?

— Ну скажешь.

Она аккуратно спрятала платок в карман плаща.

— Боюсь, что он не захочет.
— Чего не захочет?
— Апельсинов без отца.
— Ну тогда сама их съешь.
— А я тоже не хочу.
— Чего не хочешь?
— Апельсинов без мужа.
Он пожал плечами. Сказал сухо:
— Как знаешь...

Она ушла. На улице уже почти рассвело, но излишне яркая лампочка в учительской мешала смотреть в окно. Его рука потянулась к выключателю, и, только когда пальцы коснулись пластмассы, он вдруг понял, для чего ему это нужно было. Он любил, когда она уходила из школы, а он еще оставался, любил ее провожать, стоя у окна. Улочка сбегала от школы вниз, и видно было далеко, как Жанет, уходя, становится все меньше и меньше, все родней и родней. Но то было тогда, то было с той, другой женщиной, и рука, мягко соскользнув по выключателю, опустилась.

Арвира заканчивала уборку. Хория взял несколько последних номеров «Культуры», вышел в коридор, поднялся на второй этаж, вошел в тот класс, откуда он уже много лет изучает сочащийся сумрак из раскрытых дверей школьного сарая. Пол был уже вымыт, печка теплая. Пахло соляркой, которой они натирали пол, чтобы доски не прогнили, пахло теплой влагой и, увы, пахло детством, Буковиной, потому что и там тогда была такая же школа. Этим воспоминанием, подумал он, я обязан Арвире. Ну что за прелесть эта тетушка Арвира, чего бы стоила эта школа без нее и без ее песни! Взял стул, присел к окошку и подумал: а что, если снять фильм об этих самых раскрытых дверях школьного сарая, об этом самом квадрате сумрака? Показать, какой он бывает в солнечный день, в дождливую пору, каким он бывает зимой, летом, на рассвете и на исходе дня?..

Новостей в газете было мало. Опять те же статьи — сколько задавать ученикам на дом, чтобы они хорошо усваивали урок, потом отрывок из киносценария молодого писателя.

Хория очень любил читать отрывки из киносценариев, запоминая их удивительно точно, а когда фильм выходил на экраны, он сравнивал, что и как изменилось при съемке, что пошло на пользу фильму, а что было явно во вред.

Вдруг в разделе мелкой информации он нашел одну интересную подробность. В отчете о каком-то совещании он нашел имя своего любимого Иларие Семеновича Турку. Перед его фамилией красовался громкий и торжественный титул — член-корреспондент академии. Сначала Хория подумал, что он отнес этот титул не к тому лицу, затем перечитал информацию еще раз... Это казалось невероятным. Иларие Семенович был всего кандидатом, а в институтах академии десятка три докторов ждали своей очереди стать членкорами. Еще и еще раз прочитал информацию — да нет, титул принадлежал именно ему, И. С. Турку, он все-таки добыл это звание, потрудился не покладая рук, и дай ему бог, как говорят молдаване, еще выше и еще больше.

14

— Ну, стало быть, доброе утро, детки!

Они сбились в кучу у самых дверей. Стояли взволнованные, дышали тяжело, потому что бежали наперегонки из самой глубины школьного двора. Ему почему-то очень важно было увидеть своими глазами, как они воспримут весть о его возвращении. Он давно наблюдал за ними и видел, как все произошло. Сначала директор выстроил их по классам, распределил, кому что делать, а тем временем учителя, прослышавшие новость, забежали поздороваться. Потом они вышли, только-только принялись за работу, и вот уже поползли слухи. Ему даже казалось, что он видит их графически. Эти слухи расходились наподобие силовых волн, от класса к классу, от человека к человеку, и вот они наконец дошли до его любимого класса, и начавшие было копать землю ученики замерли, посовещались о чем-то меж собой... Одним движением побросали лопаты, и, хотя директор, стоявший на крыльце школы, высоко, протестующе поднял руки, они пронеслись мимо него, как стадо бизонов.

— Здравствуйте, Хория Миронович!!

Они стояли одетые кто во что, они пришли на субботник в своей одежке, которую носили дома, и он их больше всего любил именно в этой незамысловатой, трудом и потом подогнанной к своему телу одежке. В воскресных нарядах он их не любил, не у каждого хватало денег и вкуса на красивую вещь. Школьные формы он тоже не особенно жаловал. Становилось прямо обидно: разные лица, разные глаза, разные мысли, разные голоса, а на

все это один серый цвет для мальчиков, один коричневый для девочек. Нет, уж пускай лучше в своей, домашней.

— Что, вернулся Хория?! — спросил из коридора громким шепотом, чуть охрипшим от курева, Ион Скутару. Потом, увидев учителя, немного смутился, больше так, для вида. — Извините, опоздал немного. Здравствуйте. С приездом.

Он часто опаздывал и очень гордился своими опозданиями. Не давали появляться вовремя недокуренные сигареты. Все знали, что курит он уже по-настоящему, и ему нравилось, что у него есть уже непреодолимая страсть. Поди ж ты, всего шестнадцать лет, а уж ничего с собой поделать не может.

— Похудели вы, — сказала одна из девушек, искренне, по-бабьи его пожалев.

— Да нет, не очень, — деликатно возразили ей.

— А может, лучше будет, если мы рассядемся?

— Только, чур, каждый на свое место!

Пока они хлопотали и рассаживались, он стоял перед классом и думал: конечно же, кто-то из них окликнул его в три часа ночи, в три часа утра, и он правильно сделал, что сошел с поезда. Даже если он решит окончательно вернуться на Буковину, то и в том случае стоило вернуться и узнать, чей это был голос. Есть вещи, до которых человеку нужно непременно докопаться, чего бы это ему ни стоило. Тем временем его ученики шептались, обсуждали, видимо, его внешний вид, разные формы сердечных заболеваний, а он, в свою очередь, думал, что они тоже бледноваты — теперь, весной, с витаминами худо. Они растут вовсю, им нужно больше мяса, больше белков.

— Расскажите, как вы тут без меня...

Виолетта Замфир, полная, грудастая девушка, мечтавшая о замужестве еще с восьмого класса, пересела с задней парты на переднюю. Она была в него влюблена, она уже раза три писала ему любовные записочки, которые он оставлял без внимания. Теперь она, видимо, стосковалась по нему, и он прямо не знал, куда себя деть. На уроках он спасался тем, что все время спрашивал ее, запутывал дополнительными вопросами, а тут был субботник, она пришла в голубой, крупной вязки кофте, села на переднюю парту и прямо млела вся.

Хория прошелся между партами, потом снова подошел к окну, пододвинул стул, сел на свое излюбленное

место. И опять открытые двери школьного сарая. «Ну же, — сказал он себе, — будь мужчиной, есть вещи, которые недостойно без конца откладывать». И вот его взгляд пропелся по крышам соседних домов, и еще выше, по холму, и еще выше, к самому гребню Каприянской горы.

Это было сумасшествием. На глазах всего класса впервые после возвращения смотреть на Каприянскую гору, туда, где была самая большая его боль, но он был истинным бойцом, достойным потомком древних звонарей, и вот его взгляд наконец заметался по гребню совершенно лысой горы — никаких больше памятников, никаких колоколов...

Ребята обомлели. Виолетта как-то первой пришла в себя и пропела своим низким, грудным голосом:

— А кроме этого, что мы вам можем еще сказать...

Бесконечно благодарный ей за эти слова, Хория оставил гору в покое, посмотрел на нее. Она была красивой. За время его отсутствия ее голос чуть осел, приобрел низкую, грудную, задушевную мелодику, и она часто говорила, получая, видимо, сама удовольствие от своего голоса. Теперь она смутилась, умолкла, но ему захотелось, чтобы она еще порассказала чего-нибудь.

— А как с учением у вас?

— С учением хорошо, — сказала Виолетта беззаботно. — По будням троечки, на воскресные дни, глядишь, и четверки высветятся, ну а на самые большие праздники, на Май и на Октябрьские, кое у кого и пятерки бывают.

Ребята рассмеялись, и он тоже улыбнулся — он любил юмор, любил, когда они импровизировали. Без этой гимнастики ума, без этой пластики мысли все их учебные программы могли оказаться запыленным и никому не нужным хламом.

Увы... Существует время собирать и время разбрасывать камни, есть время радоваться, но и время печалиться... Болела душа, она выла от боли, и он опять вернулся к окну, и снова открытая дверь сарая, крыши, и опять глаза идут вверх по горе, потому что там было главное, и без этого главного ничего уже не нужно было. Говорить об этом не хотелось, но не говорить об этом тоже было нельзя, и тут кто-то из учеников выдавил из себя:

— Звонница вот сгорела...

Ему почему-то очень важно было, чтобы они сами

облекли словами эту великую для них всех трагедию. Они просто обязаны были это сделать. Он на них оставил Звонницу, они должны учиться нести на своих плечах ношу ответственности. И теперь, после того, как они сами сообщили ему об этом, он попросил сухим, обожженным болью голосом:

— Расскажите, как все это было...

Сначала кинулись все объяснять, потом так же скопом умолкли. Встала Виолетта и своим красивым, грудным голосом принялась рассказывать. Неделю тому назад, в субботу, ночью с десятого на одиннадцатое апреля, вдруг пошел немыслимо ранний для этого времени года дождь. Лил он как из ведра, и грохотал гром, и молнии шныряли по всему небу, как огненные змеи, — прямо страшно было в окно смотреть. И вдруг по деревне ударила молния — каждому казалось, что она ударила по его дому, и тут же запахло горелым. Когда Звонница запылала, дождь пошел еще сильнее, но она уже горела вовсю. Странно было видеть — льет дождь, а она горит, потому что, говорят, то, что́ загорится от молнии, уже ничем не потушишь.

— И — все?

Красивые метелки-реснички подтвердили окончание сообщения.

— Нет, не все! — крикнули из глубины класса, и над партами выросла крепко сбитая фигура Марии Москалу.

— Что же она упустила, Мария?

Девушка глубоко вздохнула, успокоилась и сказала тихо, сообщнически:

— Ходят по деревне слухи, Хория Миронович, что ни дождь, ни молнии ни при чем. Просто ими воспользовались и втихаря подожгли Звонницу...

Голос осекся, девушка сухо глотнула, опустила голову и села.

Ах, этот дождь,
Этот ранний-ранний дождь...

Уже недели две его мучило какое-то эпическое полотно, но дело не шло потому, что заклинило на первых же двух строчках.

— Спасибо, девочки.

Он знал, что Звонница сгорела, ему рассказал об этом колхозный бригадир, у которого жена лежала в той же больнице. Причем точно в таких же выраже-

ниях — молнии шныряли по всему небу, каждому казалось, что по его дому ударило. Видать, это уже становилось фольклором.

— Остановимся пока на том, что на горе горит Звонница...

Ему захотелось послушать их голоса, пока еще свеж был в памяти голос, разбудивший его в три часа ночи, в три часа утра. Увы, как бы красив и мелодичен ни был голос Виолетты, видит бог, не он высадил его с поезда. И правдивая Мария Москалу тоже, похоже, была ни при чем.

— Что же... Долго она горела?

Тут мнения разошлись: одни говорили, что мигом, за каких-нибудь два-три часа, другие утверждали, что, наоборот, пламени вовсе не было, она долго дымилась, а потом рухнул сверху колокол, все примял и придавил, а третьи утверждали, что и вовсе не так все было. Сначала Звонница рухнула от удара, от молнии то есть, а потом только загорелась. Хории трудно было в этом разнобое следить за их переплетающимися голосами, и он поднял руки.

— Нет, не все сразу. Пусть сначала расскажут те, что были на месте, кто видел все своими глазами.

И тут ребята как-то странно заерзали на партах, зашушукались: «Давай ты». — «А почему именно я? Ты не можешь, ишь барин какой!» — «Нет, пускай лучше он». — «А тот тоже не хочет». И наступила тишина, и в этой тишине учителю опять стало худо. Его знобило, тело размякло, как вата, а сердце опять поскакало куда-то на одной ножке. Надо было достать таблетку валидола, но ему неудобно было сосать ее перед всем классом. По своему положению, по своему нравственному долгу он должен был быть все время здоровым, сильным и мужественным, и он скорее согласился бы умереть, чем принять при них таблетку валидола.

— Я надеюсь, — сказал он глухо, с трудом силясь овладеть своими эмоциями, — я надеюсь, что если не половина, то, по крайней мере, несколько ребят из нашего класса были на Каприянской горе той ночью.

— Были, как же... — протянул Ион Скутару из глубины класса. — Многие бежали туда по дождю.

— Кто именно?

И опять стало тихо, очень тихо стало в классе.

— Ты-то сам, Скутару, был?

Тихо. Пауза. Потом, после долгого молчания, тот же голос:

— Мой дядя бегал. И ведро у него было с собой.

— И это все? От целого класса побежал тушить пожар один дядя Иона Скутару?

Тихо в школе на втором этаже, и на первом тоже, и во дворе тихо. Ребята из младших классов подожгли во дворе прошлогоднюю листву, и этот запах напомнил ему родную Буковину в весеннюю пору. Чистые, скромные деревни. Хоть и не очень богатые, но зато красивые, опрятные, полные здравого смысла. Там огонь не разгуляется, там не то что древней Звоннице — там курятнику и то не дадут догореть до конца.

И так его снова обожгла тоска, так ему захотелось туда, что в глазах потемнело. А тем временем двадцать четыре его ученика, или две дюжины апостолов, как он их в шутку называл, сидели на партах и молча сопели. Собственно, говорить больше не о чем было, но раз он завернул сюда, хотелось все же дознаться, кто и зачем окликнул его в три часа ночи. Вытянул ящик стола, но классного журнала там не оказалось. Подумав, подошел к стенке, снял висевший на кнопках график дежурств по уборке класса.

— Давайте на прощанье поставлю вам еще по одной отметке. Отметку за мужество. Я буду вас вызывать по списку, и пусть каждый скажет коротко, в двух-трех словах, почему не смог тогда, ночью, побежать на Каприянскую гору. Ну, стало быть, начнем. Анастасия Михаил.

Маленький, болезненного вида парень встал в правом ряду, у окна.

— У меня ангина, меня и сегодня не пускали в школу...

«Нет, — подумал он, — этот звать не станет. Ему не учитель, ему горячий компресс вокруг шеи нужен».

— Садись. Врабие Петру.

Встал, лицо хитрое, а сам косит глазом по сторонам: может, кто что подскажет?

— Да я, видите ли, как раз в тот день, вернее, как раз в ту ночь, ну это самое... повесил носки сушить на печке...

Хория улыбнулся — с носками он ничего придумал. Конкретно. Образно.

— Садись. Невое Елена.

— Мне выйти к доске или можно отсюда, с места?

Стоит сопит, а ее подружка, сидевшая рядом, сказала тихо, но так, что весь класс услышал:

— У нее вся голова была в бигудях.

Потом, когда дошла очередь до нее самой, до той, что подсказала, он ее не стал вызывать — ни та, ни другая не будили его в поезде. А время идет, список на исходе, и он в ужасе думает: неужели это была галлюцинация воспаленного мозга, неужели ему тот голос померещился? Такая тоска его охватила, что хоть бейся головой о стенку. И вот названа последняя фамилия, и наступила тишина. Такая тишина, такая пустыня легла между учителем и его учениками, что трудно было себе представить, как могут они находиться под одной крышей, дышать одним воздухом. И он улыбнулся им на прощанье, улыбнулся просто так, через силу, в память об их старой дружбе. И содрогнулся десятый класс.

— Вы нас больше не любите, Хория Миронович?

— Нет.

— Почему же вы нас больше не любите?!

— Того, кого не уважаешь, невозможно любить.

— Да мы, Хория Миронович, если вы хотите знать...

— Ладно, ребята. Идите. Вас там ждут.

Они вышли смущенные, виноватые. Тихо прикрыли за собой дверь, и если за все годы учебы они одно это от него усвоили — уходя, закрывать за собой дверь, — то и за это он был им благодарен. Срочно нужно было глотать валидол, а встать и закрыть дверь у него уже не было сил. Вытащил тюбик, кинул таблетку под язык, облокотился на стол, обхватил голову руками, и вдруг из статного, красивого учителя он превратился в буковинского горемыку, которого обстоятельства загнали в угол, и теперь он в отчаянии, теперь он не знает, как дальше быть.

Скрипнула дверь, но он таблетку уже принял, успокоился и даже не повернулся в ту сторону, даже не открыл глаза, чтобы узнать, кто вошел. Это уже не имело никакого значения. Могла быть Жанет, мог быть Харет Васильевич, или директор школы, или кто-то из его коллег, или сам господь бог, но это уже не имело никакого значения.

— Хория Миронович...

И тут он вздрогнул. Это был голос, окликнувший его, и он замер, сидел не шелохнувшись. Сидел и ждал. Ему нужно было утвердиться в этом мнении, нужно было еще немного, хотя бы еще несколько слов, сказанных тем же голосом.

— Хория Миронович, я вернулась, потому что...

Он встал вне себя от изумления. Перед ним стояла Мария Москалу, та самая Мария, которая не думала, что прошлое Каприяны тоже называется историей. Трудолюбивая, скромная девушка-крепыш, которую он про себя звал Картошкой. Она, правда, была некрасивой — низенького роста, с крупными чертами лица. Природа как будто ошалела, когда замыслила ее, но затем, в самом конце работы, спохватилась. Поскольку, однако, все уже было сделано, она поспешила выделить ее хотя бы глазами, и у Марии были удивительного цвета, огромные васильковые глаза, которые почти все время смеялись. И это несмотря на очень и очень нелегкую жизнь. У них была большая семья, мать часто болела, надорвала свое здоровье на табаке, так что Мария с пятого класса была хозяйкой в доме. Удивительным было то, что, когда она сообщила, какие ходят слухи по деревне, у нее был совершенно другой голос — он даже не подозревал, что у одного и того же человека в течение какого-то получаса может так измениться голос!

— Я вернулась назад, Хория Миронович, потому что...

Он был счастлив. Сердце тихо, размеренно билось, и это тоже было счастьем.

— Так почему же ты вернулась, Мария?

— Я вернулась сказать, что все, о чем мы тут говорили, было неправдой. Ни ангина, ни бигуди тут ни при чем. Мы из страха не побежали в ту ночь на Каприянскую гору.

— Кого же вы испугались?

— А директора.

— Да неужто он и вас держит в клещах страха?!

Мария оглянулась, как бы ища у кого-нибудь подмоги, но вокруг никого не было, так что пришлось ей самой еще раз собраться с духом.

— А попробуй не испугайся! Разве вы сами не видите, как он не хочет уезжать... Уже и место ему новое нашли: в соседних Петренах, говорят, вместо восьмилетки будет средняя школа, и его туда назначили ди-

ректором. Уже и вещи его жена стала собирать в ящики, а он что ни день является в школу, и куда ни ступит, там траве не расти...

— Милая моя Мария, трава, если хочешь знать, способна пробить асфальт, гранитные плиты, и что ей шаги какого-то директора Каприянской школы...

— Да, но он же всю злобу на нас вымещает! Видели бы вы, что он творит на уроке литературы! В те дни, когда его переводили в другую школу, пришел и облепил весь класс двойками. И вот сидим мы как-то вечерком и говорим меж собой. Как там с вами будет — неизвестно. Может, вернетесь, может, и не вернетесь больше, а нам тут надо и школу кончить, и характеристику получить, чтобы пойти дальше учиться. А он все собирается и собирается... А ну как дотянет до экзаменов и выдаст на прощанье плохую характеристику, куда с ней сунешься?

Она с трудом перевела дух и упрямо дернула головой, точно плыла против сильного течения, и нужно было еще немного, чуть-чуть, чтобы доплыть до конца.

— Вот так и получилось, что она там, наверху, горела, а мы тут, внизу, сидели и обливались слезами.

Этот молоденький, звонкий, как колокольчик, голос его зачаровал совершенно. Он стоял и ждал, может, она еще что скажет, в ней пробуждался и креп на его глазах дух гражданской зрелости, и как истинный педагог он знал, что этому мужанию духа нельзя мешать, нужно дать ему до конца обрести себя.

Но нет, она умолкла, сникла как-то после этой немыслимо тяжелой для нее работы. И тогда он спросил ее, спросил бодро и ласково:

— А как же ты вот взяла и не побоялась! Ведь директор стоит тут же, на крыльце, он видел и запомнил, как ты прошла мимо, со всем классом, а потом вышла и еще раз прошла, уже одна... Он ведь злопамятный, он не простит тебе этого.

— А, пускай не прощает, — сказала она с неподражаемой беззаботностью. — Он и так закопал меня по литературе, так что теперь и хорошая характеристика не поможет.

— То есть как закопал?!

— У меня же одни тройки. Последний раз я выучила наизусть всего Эминеску, всего Крученюка, а он думал-думал, потом взял и поставил еще одну тройку.

Хория улыбнулся про себя.

«Бедная родная литература, до чего ты дожила, если именем твоим казнят самых достойных твоих читателей...»

Встал из-за столика и долго, медленно шел к своей ученице, стоявшей у самых дверей. Подошел, взял в ладони ее по-девичьи нежные щеки. Голубые ее глаза засияли от счастья, это были даже не глаза, это были васильки в спелом пшеничном поле в жаркий солнечный день, и он стоял, купался в этой синеве, в этом сиянии.

— Мария, можно я тебя поцелую?

Он почувствовал в ладонях прилив крови засмущавшейся девушки, но ей еще не хотелось убрать щеки из его рук, и только реснички тихо опустились, наполовину потушив сияние неба.

— Не надо, Хория Миронович. Не надо бы.

Он опустил руки, но она все еще стояла, румяная, пунцовая, точно опять куличи пекла. Она стояла и ждала слова, без которого уйти не могла. Она понимала, что она что-то такое совершила, может, это была глупость, может, это был подвиг, но она не могла уйти, не узнав, что же это такое было, а учитель был ее единственным судьей. И он сказал:

— Спасибо тебе, Мария. Теперь иди.

Она повернулась, чтобы уйти, взялась за ручку двери, и в тот короткий миг, пока она поворачивалась и бралась за ручку, тот удивительный голос, который разбудил его в три часа ночи, или, лучше сказать, в три часа утра, исчез, словно сквозь землю провалился. И с порога она спросила уже обычным своим голосом:

— А что будет с историей нашего села? Она что, сгорела вместе со Звонницей?

Он засмеялся, потому что и сам боялся задавать себе этот вопрос. А дело было в высшей степени простое.

— О чем ты говоришь, Мария! История — это не только выкопанные в земле черепки, иконы и старинные звонницы на горах. История — это и межпланетная станция, которая позавчера опустилась на Марсе, и не убранная в поле кукуруза, и то, что происходит сегодня у нас в школе. И даже то, что ты сегодня вторично пришла сюда, и таблетка валидола, которую я перед твоим приходом принял, и костры, которые вот развели во дворе младшие классы, — все это история, Мария! Если хочешь знать, даже вот эта темная коф-

точка с белыми кармашками, в которую ты сегодня нарядилась, и она может стать достоянием истории.

Девушка сконфуженно улыбнулась.

— Ну уж вы скажете, Хория Миронович! Как же, попадет эта тряпка в историю, только ее там и ждали...

Она решительно открыла двери и вышла, а он подошел к окну посмотреть, как она пройдет в четвертый раз мимо директора. Такая вот картофелина с голубыми глазами, а сколько в ней духа, прочности и решимости! Директор широко расставил ноги, чтобы преградить ей путь, готовясь к длинным объяснениям, но она сделала вид, что не понимает, чего он хочет, и прошла мимо него с такой царственной независимостью, что он несколько даже опешил. Она шла заниматься своим делом, но она не была обычной ученицей десятого класса, она была уже человеком со своими убеждениями, и, казалось, нету в мире силы, которая могла бы ее сделать той самой Марией, какой она была еще час тому назад.

Она подошла к своим ребятам, взяла лопату, принялась умело ею орудовать, и, стоя у окна, Хория подумал, что отныне вот эта самая Мария Москалу стала самым верным, самым преданным его союзником. Придет время, выйдет она замуж, будут у нее дети, но и она, и ее муж, и ее дети будут всегда его союзниками, будут на его стороне, что бы с ним ни случилось, и это было, может быть, самое важное, чего он достиг в свои тридцать с лишним лет. А раз это так, то ехать ему больше некуда, потому что родина учителя есть родина его учеников, и нету другой родины у него.

Часов в десять он вышел из школы, поздоровался с директором, хотя руки ему и не подал. Вышел через калитку на большую дорогу, прошел по ней до самого конца, затем по узкому переулку стал медленно подниматься в гору. Он помудрел за вчерашний день. Сегодня он уже понимал, что от драмы не нужно убегать — наоборот, нужно идти на нее, смотреть ей в самые зрачки. Сгоревшая Звонница все еще оставалась его болью, и нужно было видеть скелет, слепок, графические очертания этой боли, посмотреть руинам в глаза, попрощаться с ними и начать жизнь сначала. Он шел долго,

петляя вместе с кривыми переулками, потом, выбравшись в поле, поднял воротник пиджака, потому что было холодновато.

Она сгорела вся, до основания, и он стоял в глубокой растерянности, потому что не знал, как себя вести при таких обстоятельствах. Он был человеком села, и он спрашивал свою родную деревеньку с Буковины: как ему быть? Известно, что села вырабатывают определенные модули поведения на все случаи жизни. Люди знают, как вести себя на свадьбах, на крестинах, на похоронах. Ну а когда соприкасаешься с тропками твоих предков, когда дело их рук, плод их духа, простоявший много веков на горе, и вдруг превращается в руины — как в таком случае быть человеку?

Что ж, сказала ему деревня с Буковины, это тот самый редкий, непредвиденный случай, когда каждый поступает сообразно своему уму и своей порядочности.

Хория снял берет, поклонился праху древнего памятника и, как это водится среди людей, присел на обожженных камнях, чтобы приобщить себя к этому горю. Он просидел долго, и эти своеобразные поминки подействовали на него успокаивающе. Потом он вдруг увидел, что из деревни вышел еще один чудак и тоже пошел полем к Звоннице. Он долго гадал, кто бы это мог быть — в помятой шляпе, в странном каком-то плаще, при галстуке... Увы, ненадолго хватило тех директорских тысяч, а может, правы были опекуны, считавшие, что не нужно было брать денег.

— А что, — сказал воинственно Симионел, добравшись до пепелища, — и добрый день!

Он был застенчив по натуре, этот Симионел. Самое трудное для него было встретиться лицом к лицу с человеком и поздороваться с ним. При встречах с односельчанами в его душе происходила какая-то борьба, и, споря с самим собой, выбираясь из омута своей застенчивости, он всегда здоровался зло, азартно: «А что, и добрый вечер» или: «А что, и добрый день». Хорошо относиться к Симионелу было одним из неписаных правил этой деревни, и Хория всегда с большим старанием следовал этому правилу.

— Будь здоров, Симионел.

— Что, сгорела Звонница? — спросил, но тут же его разобрал смех. Он быстро, обеими руками прикрыл лицо, потому что совладать с настроением уже не мог и

в то же время понимал, сколь кощунственным может показаться учителю этот смех.

Хория ответил, глядя в другую сторону, чтобы не смущать его:

— Сгорела вот, на нашу беду.

— А вы, говорят, все по больницам, — сказал Симионел. Сухо глотнул, подавился чем-то, стал откашливаться, потому что лез вовсю смех, а смеяться было не над чем.

— Был вот в больнице.

— Хорошо подлечили?

— Как будто ничего.

Нет, беседы у них решительно не получалось. Симионела мучил смех, и вот ведь напасть какая на его голову! Подумав, он присел рядом с учителем на другой такой же обгоревший камень и сказал тихо:

— Я вот с каким делом пришел сюда. Говорят, вы ищете ту самую книгу, что лежала здесь, в Звоннице, на столике...

У Хории ёкнуло все внутри.

— Да, я спрашивал одно время о ней... А что, уже показалась?

— Она, конечно, не показалась... — Он опять засмеялся и смеялся до конца, с удовольствием, потому что смех тут был кстати. — Она не показалась, но когда она вам будет нужна, вы мне скажите, и я ее вам принесу... На месяц, на год, насовсем — как скажете, так и будет.

— Спасибо, Симионел. Она мне скоро-таки понадобится.

— Ну тогда до свидания. Я спешу, у меня телка не поена.

Он встал, долго и весело спускался по склону холма, довольный тем, что смог быть учителю полезен, и, пока он спускался, в душе Хории все как-то прояснилось, стало на свое место. Конечно же, надо снова, теперь спокойно, вдумчиво, писать книгу о древних памятниках Молдавии. У него теперь был в руках документ, которого не было во всей академии, и важно теперь подчинить этому все силы, все планы, все возможности.

Через некоторое время, когда он возвращался, возле одного из колодцев несколько молодух сплетничали о том о сем, как это водится в каждой уважающей себя деревне. Он поздоровался, прошел дальше и, уже

спускаясь по переулку, услышал, как сказала одна молодуха:

— Все-таки вернулся к нашей Жене. Оставил свою Буковину и вернулся.

На что другая возразила:

— Да куда он денется, господи! Это же так редко бывает, когда и он красив, и она красива...

Хория замер вдруг от удивления, затем улыбнулся, потому что вокруг снова пахло спелой айвой. Он уже не гадал, откуда и что, а погружался в этот туманный дух сладости, как погружается лемех плуга в сырую землю, зная, что нету ему других трудов и жизни другой, кроме этого вот труда и этой вот жизни.

1972

Возвращение на круги своя

Начало столетия, глубь России. Темной ночью по остывшим полям Тульской губернии пробирается нищий с котомкой. Идет, балагуря сам с собой, чтобы не скучно было в пути, и, хотя на плече болтается пустая котомка, под лохмотьями угадывается еще крепкое тело с хорошим запасом сил. Ночью, как известно, подают мало, зато воли много; он идет себе не спеша, и его бунтарская натура словно светится от полноты жизни. И сама осень, и нехоженая дорожка, и таинственные гулы ночи — все это православная Россия, стало быть, все это — свое.

У спуска с пригорка вдруг остановился. На обочине дороги белели в темноте округлые каменные башенки, обозначавшие ворота яснополянской усадьбы. Эти два странника в белом одеянии поставлены были больше так, для порядка, а отсутствующие ворота как бы приглашали всех голодных, жаждущих, всех павших и отчаявшихся пройти и поделиться с хозяином этого небольшого каменного дома. Поразмыслив, нищий решительно шагнул меж молчаливых каменных постовых. Аккуратные дорожки, пруд, сад, тихий двор Ясной Поляны. У главного входа — знаменитое Дерево бедных с висящим на больной ветке колоколом, со скамейкой для тех, кто добирался из дальних далей.

Нищий тоже, видать, шел издали. Сел на скамеечку, привычным движением руки поймал над головой болтавшуюся веревку колокола, дернул раз, и два, и три и сильно удивился, потому что никакого звону.

— Эхма...

С некоторых пор, когда занемогал хозяин дома, колокол на ночь обвязывали мешковиной. Нищий пальцами прочесал себе бороду, размышляя, как быть. Можно бы и продолжить путь, но ноги, о эти бедные ноги ходоков из дальних далей... Сгоряча они запросто могут прошагать лишние пятнадцать-двадцать верст, но если вдруг их остановить и дать поостыть — все, баста. С места



не сдвинутся, пока не остынут и не отойдут. Пожурив свои ноги, нищий в конце концов снял котомку, стал укладываться на скамеечке, бормоча тихо и нудно, точно его собеседник стоял тут же, рядом:

— С вашего позволения, Лев Николаевич, посплю тут, под вашими стенами, раз уж мы, как говорится, братья...

В окнах темно, в доме тихо, только в коридоре, ведущем с первого на второй этаж, слабо потрескивает ночник. Большие английские часы пробили четыре раза. И тут же донесся слабый, старческий кашель. Человек кашлял тихо, глухо, чтобы не беспокоить домашних.

Небольшая комната второго этажа. Диван, на котором постлана постель, беспокойная, измаявшаяся фигура старика, которому не спится. Но душа и ум бодрствуют, и теперь, поздней ночью, старик думает: «Пятый час, а мне не спится. Боль в ногах, боль в затылке. Кажется, опять был приступ. Я с вечера чувствовал его приближение, но никого не позвал, боясь, что услышит Соня и опять будет истерика в доме. Хуже всего, когда после ссоры она становится на колени и целует мне руки. Это просто невыносимо».

Часы, тихо прошуршав пружинами, пробили еще одну четверть. Рядом, в соседней комнате, ворочается в постели Софья Андреевна. Нашла ощупью у изголовья пузырек, налила себе несколько капель. Поморщившись, запила глотком воды и вернулась к своим тяжелым предчувствиям: «Нет, определенно, он меня не любит. Ну что ж, не любит, так и бог с ним. На старости, говорят, чувства дряхлеют вместе с человеком. Но в таком случае почему он любит Черткова? Почему только ему он доверяет самое сокровенное? Почему он с каждым годом все больше и больше отстраняет меня от своих дел?»

Из соседней комнаты доносится кашель, и Софья Андреевна утихает.

Не спится и нищему. Ворочается на своей жесткой скамеечке и думает при этом: «Хорошо, когда в доме тепло и кругом перины. Тогда можно не только другую щеку подставить врагу своему заклятому, тогда и головы отдать не жалко».

Лев Николаевич, лежа с закрытыми глазами, улыбнулся. «Какая странная, какая удивительная моя судьба! Едва ли есть в мире забытый, страдающий от бесси-

лия бедняк, который бы чувствовал хотя бы сотую долю того, что чувствую я, видя весь ужас насилия и бесправия мужиков. Чувствовал я это давно, и чувство это с годами все росло и росло и дошло в последнее время до высшей степени. И, мучительно чувствуя это, я тем не менее живу в развращенной среде богатых и не могу, не нахожу в себе силы уйти из нее».

Софья Андреевна снова пьет успокоительные капли, и опять тяжкие предчувствия обступают ее: «Левочка, верно ли мое предположение, что ты уже подписал завещание, лишив всех наших детей наследства? Или же ты только собираешься на днях такое завещание составить?.. Левочка, каковы бы ни были твои убеждения, какова бы ни была твоя вера, я не дам пустить по миру детей. Сегодня ты весь вечер писал в своем дневнике, а я не знаю, что ты там писал, и потому не могу уснуть. Ты не можешь от меня ничего скрывать. Я нарожала тебе полон дом детей, всю жизнь переписывала твои бумаги, я твой самый близкий, самый верный друг, и я не усну, пока не прочту то, что ты вечером записал».

Часы пробили половину пятого, Софья Андреевна тихо встает, набрасывает на себя халат, входит в рабочий кабинет мужа, зажигает свечу и начинает рыться в его столе. Лев Николаевич слушает, как она шуршит бумагами в соседней комнате, борется с нахлынувшим приступом кашля и думает: «Милая Соня! Как я смолоду любил тебя, так, не переставая, несмотря на разные причины охлаждения, любил и люблю все сорок восемь лет нашей совместной жизни. Я не могу упрекать тебя за то, что ты не пошла за мной в моем духовном движении. Духовная жизнь каждого человека есть тайна самого человека, и требовать от других такого же таинства нельзя, это уже перестанет быть таинством. Но менять свой образ жизни, свои решения я не могу, потому что мысли мои и слова мои есть суть свободы моей, и я защищу ее перед любым человеком. Пожалуйста, Соня, не ройся по ночам в моих бумагах. А если ты не примешь этого условия, если ты лишишь меня свободы, я уеду из Ясной».

При последних словах Софья Андреевна вдруг замерла. Быстро задула свечу, вышла, и приступ кашля, который он так долго сдерживал, поднял его с постели.

Лев Николаевич встал, подошел к окну, приоткрыл одну половинку рамы. Свежий воздух успокоил кашель, в доме наступила глубокая тишина, и именно эта тишина разбудила спавшего на первом этаже доктора Маковиц-

кого. Душан Петрович быстро накинул на себя халат, надел очки, поднялся на второй этаж, в комнату Толстого.

— Вам плохо, Лев Николаевич?

Толстой, не оборачиваясь, сказал после небольшой паузы:

— Чего бы она стоила, эта наша жизнь, без страданий. Помните, как это выражено у Канта? Страдания заставляют нас действовать, и только в своих действиях мы чувствуем настоящую жизнь...

— Чего-чего, а жизнь художника в России никогда не была идиллией.

— Да. Но это все мелочи, больше травмирующие, чем заставляющие страдать, а как хотелось бы одно великое потрясение на закате...

Душан Петрович подошел близко к нему и спросил тревожно, сообщнически:

— Вы окончательно решили покинуть Ясную Поляну?

Толстой думал. Это было слишком важно и ответственно.

— Последнего решения еще нет, но ведь это может случиться с минуты на минуту!

Маковицкий помолчал, погладил свою густую, коротко остриженную бороду.

— Лев Николаевич, если будет на то ваша воля, я хотел бы сопровождать вас в этом пути.

Толстой посмотрел на него близорукими старческими глазами.

— Вы думаете, я так плох, что не смогу без посторонней помощи даже покинуть этот дом?

Маковицкий смущенно гладил свою бороду.

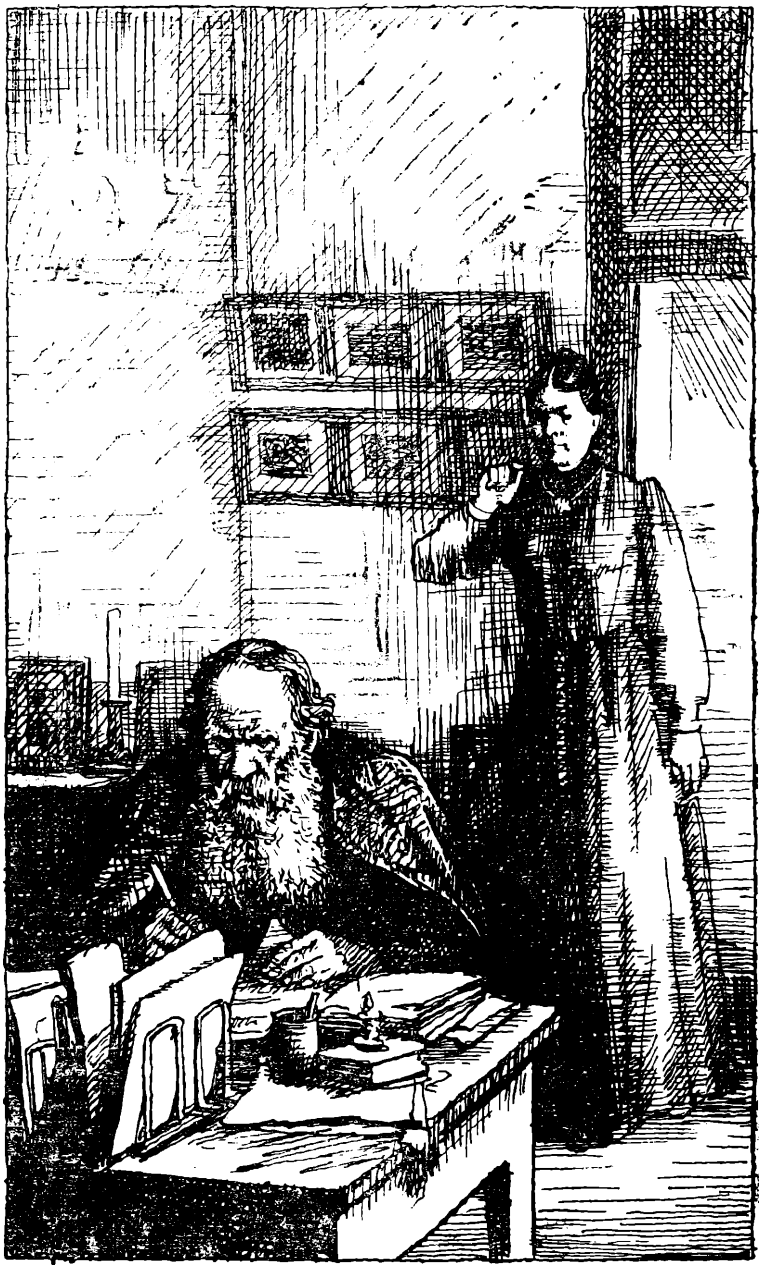
— Дело не в том, Лев Николаевич. Я ведь не только ваш врач. Я еще и ваш ученик, исповедующий вашу веру...

Лев Николаевич, расчувствовавшись, прослезился. Это произошло мгновенно, и он, подойдя еще ближе, скупо и неловко, одной рукой обнял доктора.

— Какое счастье, что я встретил вас в своей жизни! И какое опять-таки счастье, что я не одинок в эту трудную минуту!..

Маковицкий долго переводил про себя со словацкого на русский ту фразу, которую собирался произнести.

— Я могу в ответ на ваши слова только поклониться.



Часы тихо пробили три четверти. Маковицкий сказал:

— Скоро утро. Вам теперь особенно нужно беречь силы. Дорога может быть трудной.

— Я лягу. Постою у окна, успокою кашель совершенно и тогда лягу.

Душан Петрович спустился на первый этаж, в свою комнату, но оставил двери открытыми и все время прислушивался к тому, что творится наверху.

На дворе предутренний ветерок шумит в саду, сторож постучал деревянной колотушкой, залаяла собака, и опять все тихо. А Толстой все еще не ложился — как стоял, так и продолжал стоять у окна. Озабоченный доктор еще раз поднялся к нему.

— Вам чего-нибудь хочется, Лев Николаевич?

Толстой, не оборачиваясь, ответил шепотом:

— Одиночества. Мучительно хочется одиночества.

Нищий сладко спит на скамеечке. Спит и Софья Андреевна в окружении склянок, уснул добрейший Маковицкий, сидя в своей комнате за столиком, и только богатый русский барин Лев Николаевич Толстой никак не угомонится, никак не уснет.

Ранними утрами государь император начинал длинные свои прогулки по нескончаемым анфиладам Зимнего дворца. Поражение России в войне с Японией и нескончаемые брожения в обществе привели к тому, что государь потерял сон. Вернее, не то что сон, а глубину, действенность сна, то, что придворные врачи именовали «недостаточностью отдохновений».

Склонный к пребыванию в плену неразрешимых вопросов, замкнутый в себе, неразговорчивый, Николай II каждый день, чуть ли не с первых зорек, гулял по дворцу тяжелым шагом полковника пехоты, и печать обреченности, угасания как нимб неотступно следовала за ним. Причем витал этот черный ворон не то что над ним, а над всем родом Романовых, над их прошлым, над их будущим, и теперь, на рассвете, гуляя по залам Зимнего, император задавал себе один и тот же вопрос: где выход?

Устав от прогулки, от тоски, навеянной однообразием этого неразрешимого вопроса, он шел отдохнуть в просторный кабинет своего покойного отца, императора Александра III. Тень вселенских неустройств и неудовольствий проникла каким-то образом и в таинственный

мир взаимоотношений между сыном и памятью покойного отца. Желая как-то укрепить по крайней мере авторитет прошлого, Николай II приложил немало средств и стараний для того, чтобы воздвигнуть в столице памятник своему покойному отцу. Увы, когда дела империи начинают идти вразлад, это сказывается на всех, даже самых скромных и добропорядочных, начинаниях.

Теперь вот величественный монумент, обошедшийся в миллион рублей, стоял на Знаменской площади, а тайная полиция тем временем доносила, что петербуржцы посмеиваются над памятником, намекая, что скульптор Трубецкой выставил на посмешище покойного государя... Николай II, человек скрытный и неуступчивый, отвергал критику воздвигнутого памятника, но вот накануне они гостили у его дяди, Владимира Александровича. Когда пили чай на крытой веранде дворца, опять зашел разговор о воздвигнутом монументе, причем Владимир Александрович выразился в том смысле, что это не памятник, а карикатура на его покойного брата.

Теперь Николай II сидел в кабинете отца и, подверженный слабости к мистицизму, может быть, ждал появления духа усопшего, а может быть, думал, как бы ему выйти из этого деликатного положения. Он сидел, смотрел своими красивыми голубыми глазами, как качаются тонкие шелковые гардины на высоких окнах, и это движение подвешенной ткани вдруг зачаровало его. Кто-то из современников, хорошо его знавший, писал много времени спустя, что Николай II должен был родиться девушкой, но по какой-то странной игре природы в самую последнюю секунду ему были выданы атрибуты мужского пола, во всем же прочем он был оставлен женщиной, и при этом ему вручена судьба одной из крупнейших и сильнейших держав мира...

Послышались шаги. Вошел дежурный офицер дворца.

— Ваше величество, великий князь Николай Михайлович просит приема.

Государь недолюбливал великих князей еще с тех пор, когда они, оставшись наедине с ним, молодым царем, стучали по столу кулаками так, что дворец сотрясался. Теперь те времена давно канули в Лету, но он великих князей по-прежнему недолюбливал. Принять, однако, нужно было.

— Проси. Рад тебя видеть, — сказал он устало, когда в дверях появилась фигура великого князя. — Что-то давно не показывался...

— Одолели дела, ваше величество. А кроме того, к царям, говорят, надо ходить как можно реже, чтобы двери не скрипели...

Император был не расположен к такому тону, и великий князь после небольшой паузы начал все сначала:

— Я пришел вас поздравить с выздоровлением наследника. Говорят, мальчик окончательно поправился?

— Да, мальчик здоров. Почти здоров.

— А кроме того, — сказал великий князь, засунув руку во внутренний карман своего безукоризненного кремового пиджака, — я хотел бы передать вам...

— Прошение?

— Нет. Письмо, ваше величество...

Император подошел к окну и долго смотрел за тем, как менялись караулы. Он был сторонником пунктуальности и порядка. Ночами он читал огромнейшее количество сообщений и реляций, прорабатывал все, что поступало через его канцелярию, но прошения, которые шли к нему конфиденциально, его раздражали уже одним тем, что они изначально, априори пытались обойти установленные правила.

— Разве нельзя было передать письмо по инстанциям?

— Нет, ваше величество. Это письмо от графа Льва Николаевича Толстого.

Государь не любил художественную литературу. По вечерам они иногда читали в кругу семьи маленькие сборники рассказов Лейкина, Аверченко, но интересовались не столько текстом, сколько рисунками, смешными карикатурами.

— Там содержится какое-нибудь неуважение к трону?

— Очень может быть, ваше величество.

— Разве вам незнакомо содержание письма?

— Нет, ваше величество.

— Ну тогда откройте конверт и прочтите. Какой вам резон передавать письма, содержание которых вам неизвестно?

Николай Михайлович уселся за небольшой угловой столик и, вскрыв конверт, принялся читать:

— «Брат мой... Вас, вероятно, вводят в заблуждение относительно любви народа к самодержавию и его правителю — царю. Не верьте тому, что, встречая вас в Москве или в других городах, толпы народа бегут за вами с криком «ура!». Часто эти люди, которых вы принимаете за выразителей народной любви к вам, суть не что иное,

как полицией подстроенная толпа, долженствующая изображать преданный вам народ, как это было, например, с вашим дедом в Харькове, когда собор был полон ликующего народа, но весь народ состоял из переодетых агентов сыскной полиции...»

Стоя у окна, император долго следил за тем, как кружит воронье над прилегающим к Адмиралтейству парком.

— Вам известно что-нибудь о мотивах, побудивших графа написать столь странное письмо?

— Нет, ваше величество...

— Уж эта мне интеллигенция, — сказал государь, изобразив на лице брезгливое выражение при слове «интеллигенция». Потом, после небольшой паузы, спросил, все еще стоя у окна: — Вы, кажется, желали еще что-то сообщить?

— Да, ваше величество. Граф весьма озабочен, как бы это письмо не попало в третьи руки. Он не хотел бы, чтобы оно было использовано вашими врагами.

— Хорошо.

— И... и это будет вашим ответом?!

— Да, разумеется. Граф же у меня ничего не просит. Что до того — любит ли русский народ своего царя или нет, то ведь это касается только меня и моего народа.

После ухода великого князя государь, покинув кабинет покойного, вернулся в левое крыло дворца и, едва войдя к себе, послал за Столыпиным. После смерти своего наставника и ближайшего советника Победоносцева государь часто ощущал потребность в близком человеке — с кем можно было бы поделиться своими печалями и сомнениями.

Не имея такого друга, он часто посылал за Столыпиным, человеком, наиболее близко стоявшим к управлению страной. Однако государю не удавалось преодолеть свою скрытную, полную сомнений натуру, и, когда Столыпин приходил, от доверительности, служившей поначалу поводом для вызова, не оставалось и следа.

На этот раз, когда появился Столыпин, имевший резиденцию в том же Зимнем дворце, государь встретил его как никогда сухо.

— Вызовите в срочном порядке тульского губернатора для доклада, а сами тем временем подготовьте подробный отчет о состоянии дел в губернии.

— Вы имеете в виду, ваше величество...

— Истину.

И, подумав, добавил совсем тихо, но вне себя от бешенства:

— Какой бы она ни была, но ис-ти-ну!!

По глухому осеннему лесу пробирается старый, матерый волк. Судя по всему, за свою волчью жизнь он познал все. Были и молодость, и стая, в которой он главенствовал, и красивые молодые волчицы. Были и охотники, и разбой, и многочисленные раны. Все это, однако, было в прошлом. Теперь он идет по лесу один и не водит уже носом по ветру, не вострит уши при каждом шорохе. Он был стар, ему уже ничего не хотелось. Ему бы все лежать да подремывать, но что поделаешь, такова жизнь. В ту самую ночь, когда ему слаще всего дремалось, какие-то высшие силы — голос судьбы, голос рока — разбудили его и сказали: пора, пробил час. Он молча встал и пошел на север в свой самый трудный, в свой последний путь.

Яснополянские леса просыпаются медленно и нехотя. На заре какой-то таинственный гул, похожий на женский плач, томит душу, и нету ему покоя, хоть ты что. С мягким ропотом стекает роса с листьев высоких дубов, птицы копошатся в своих гнездах, а когда первые просветы зари стали сочиться между мокрыми стволами ельника, в широкой лесной просеке показался всадник. Конь был хороший, породистый, а всадник, человек с восточными чертами лица, сидел в седле с вызывающей молодцеватостью. Он ехал беззаботно, с некоторой ленцой. Не косил глаз по сторонам, ни к чему не прислушивался, но видно было по всему, что он здесь хозяин и потом он в седле и за спиной ружье, лучше с ним не связываться. Выбравшись из леса, он свернул на узкую тропку и галопом въехал на яснополянский двор.

А там уже день шел своим чередом. Скамеечка под Деревом бедных была вся уже занята — сидели крестьяне из соседних сел, странники, и меж ними сидел сердитый по причине того, что плохо выспался, вчерашний нищий. И хотя над ними мягко качалась на ветру веревка колокола, над всей округой стоял колокольный звон. Мир был в сплошных тревогах, и каждая тревога искала приют и утешение.

На первом этаже, в прихожей, Александра Львовна принимала двух бородатых толстовцев. Она была усталая

и хмурая. По дому прошел слух, что Лев Николаевич провел ночь плохо, только под самое утро уснул, а тут колокол звонит-разрывается. Бородатые ученики Льва Николаевича нудно и долго рассказывали одно и то же, и воспитанная, хорошо державшая себя Александра Львовна, выслушав их до конца, сказала тихо и доброжелательно:

— Нет, отец себя плохо чувствует и не сможет вас принять. Тем более что две недели назад, получив ваше письмо, он ответил вам самым обстоятельным образом.

Старый толстовец поскреб в затылке.

— Оно-то, конечно, письмо мы получили, и все уразумели, и в жисть бы не стали беспокоить Льва Николаевича, кабы не это, прямо скажем, исключительное обстоятельство.

Александра Львовна была несколько смущена.

— Извините, но я так и не поняла, в чем оно.

Молодой толстовец сделал шаг вперед, чтобы растолковать суть дела.

— Распадается наше братство, наше толстовское общество, если дозволено так сказать. И все из-за той газетной статьи, в которой писалось, будто Льву Николаевичу посулили миллион за издание его сочинений. Будто даже и договор составлен.

От них несло табаком, дегтем и еще чем-то нудным, беспросветным. Александра Львовна сказала сухо:

— Никто никаких договоров не составлял, но если ваше общество будет сотрясаться после каждой газетной статьи, то лично я думаю, что будет лучше, если оно сразу распадется.

Но не тут-то было, молодой толстовец уже сиял:

— Нет, с такой хорошей новостью мы еще продержимся!

Старик, обиженный, что разговор складывается без его участия, отстранил молодого, чтобы самому сказать.

— Вот как бы хорошо, если бы вы нас и насчет лошади успокоили...

Александра Львовна нахмурилась:

— Это насчет какой лошади?

— Дак в той же газете писалось, будто старый граф что ни день выезжает на прогулку на прекрасной, породистой лошади. После этого сообщения прямо волнения начались у нас на юге.

— Извините, я не совсем поняла, из-за чего начались волнения?

— Из-за лошади же!!

— А при чем тут лошадь Льва Николаевича?

Старик сказал совсем тихо, на одном дыхании:

— Дак не вяжется же.

— С чем не вяжется?

— С учением нашим.

Александра Львовна сухо глотнула, затем незаметно, как бы поправляя воротничок, успокоила кончиками пальцев задрожавший было подбородок. Встала, давая понять, что прием окончен.

— Насчет лошади ничем не могу вас обрадовать. Лев Николаевич действительно изредка выезжает верхом на прогулку. До свидания.

Старик опустился перед ней на колени.

— Барышня, я вас очень прошу, не уходите. Дайте нам еще какие-нибудь сведения, подробности, которыми бы я мог как руководитель общества...

Уже уходя, Александра Львовна остановилась в дверях и сказала вдруг низким, ставшим почти мужским голосом:

— Что мне вам сказать... Можете передать своим братьям по кружку, что Лев Николаевич очень старый, восьмидесятидвухлетний старец, что у него часто по ночам бывают приступы из-за закупорки вен на ногах, что ходил он в своей жизни пешком дальше и больше многих мужиков. Он прошел несколько раз пешком из Тулы до Москвы. Можете передать также, что он очень ослаб, отказавшись от мяса, что он готов отдать жизнь ради тех идей, которым служит, но если какому-нибудь беглому монаху захочется, чтобы отец бросил все и поехал странствовать вместе с ним, то отец вряд ли поедет. До свидания.

Некоторое время в доме было тихо, потом со второго этажа донесся стук пишущей машинки. Там была крохотная комнатка, названная ремингтонной — по марке пишущей машинки, которая там на столике стояла. Самуил Беленький старался стучать так, чтобы не будить треском Льва Николаевича, но, однако, работа есть работа. Вон целая кипа бумаг лежит на очереди, а за его спиной стоит секретарь Льва Николаевича Булгаков и умоляет:

— Голубчик, не откажите в любезности, всего полстраничку.

Самуил Моисеевич был непреклонен:

— Ничего не выйдет. У меня и так много самой срочной работы. К тому же было ведь условлено, что письма пишутся от руки.

— Это письмо исключительной важности. Лев Николаевич написал ответ Мунтьянову, тому самому революционеру, который требовал насилием уничтожить класс имущих и всех их отпрысков, вплоть до грудных младенцев. Мы с Александрой Львовной хотели бы сохранить несколько копий этого письма.

Самуил Моисеевич вытащил лист, заложил новый в машинку.

— Диктуйте.

Булгаков диктовал медленно, ровным голосом, как учитель:

— «Я долго думал, перед тем как ответить вам. По моему глубокому убеждению, ни вы, ни я, ни правительство, ни революционеры, никто на свете не призван к тому, чтобы устраивать жизнь человеческую по своему разумению и мстить тем, кто, по их мнению, дурно поступает. Есть только одно, к чему мы призваны и что в нашей власти, — прожить свою жизнь честно и хорошо».

По лестнице прошла, поднимаясь на второй этаж, очень встревоженная Татьяна Львовна, приехавшая накануне погостить у родных. Вошла в комнату Софьи Андреевны и сказала в большом недоумении:

— Мама, тебя там, внизу, спрашивает какая-то образина.

Софья Андреевна всегда бывала очень недовольна, когда ее отрывали от хозяйственных книг. Спросила нервно:

— Что значит «образина»?

— Ну извини за выражение. Я хотела сказать — тип с отталкивающей внешностью. Прямо разбойник какой-то.

Софья Андреевна отложила перо, подошла к окну и посмотрела во двор.

— Господь с тобой, Танечка! Этот черкес наш новый охранник Ахмет. Ты просто редко бываешь у нас и потому не видела еще его.

Татьяна Львовна стояла растерянная.

— Мама, мы всегда поражались, с каким умением вы с папой подбираете и воспитываете прислугу в доме. Они для нас свои, родные люди, и мне просто не верится, что среди этих добрых и милых людей окажется этот разбойник...

Софью Андреевну снова передернуло.

— Видишь ли, Танечка... Людей добрых и милых обворовывают кому только не лень. Я устала от их хороших и милых лиц, мне нужен человек, который бы не дал нашему состоянию растекаться по чужим карманам, а это могут делать только такие люди, как Ахмет.

— Но, мама, я надеюсь, что ты хоть положила ему какой-то срок, чтобы выяснить его способности, его характер...

— Да, конечно... Я дала ему две недели сроку, и сегодня как раз они вышли, потому он и заспешил чуть свет... Если тебе не трудно, передай, пожалуйста, — пусть напоят его чаем. Потом я выйду к нему.

— Чует мое сердце — будет большой скандал в доме из-за этого Ахмета.

— Ах, Танечка, у нас и так с утра до вечера одни скандалы. Ну будет еще один — так стоит ли беспокоиться?!

— Мама, мы на виду всего мира, у нас с утра до вечера поклонники папы, друзья литературы, наконец, его ученики.

Часов в десять Софья Андреевна вышла к дожидавшемуся в большом зале Ахмету. Она говорила с ним сухим и властным голосом русской барыни:

— Тебе по силам должность, на которую тебя наняли?

— Я сделаль ваши именья порядок.

— Ты грамотен?

— Немного. Печатная буква я хорошо умей.

— Доводилось ли тебе когда-нибудь читать сочинения моего мужа, Льва Николаевича?

— Если будет такое ваше приказание...

— Нет, такого приказания не будет... Просто так, к слову пришлось. Ружье тебе купили?

— Патронов мало. Моя служба требует много пороху и дробь.

— Есть у тебя еще какие-нибудь просьбы?

— Нет. Пороху, дроби и, если можно, еще одну порцию овса для лошадь.

— Хорошо.

Когда Софья Андреевна вернулась наверх, к себе, она застала Татьяну Львовну опечаленной и расстроенной. Это случалось редко с жизнелюбивой и веселой Та-

нечкой, и потому Софья Андреевна спросила, чем объяснить перемену в ее настроении.

— Папа видел уже этого Ахмета?..

— Право, не знаю... А почему это тебя так занимает?..

— Да ведь я помню, что было, когда наказали мужика, ловившего рыбу у нас в прудах...

Время шло, был уже одиннадцатый час, а Лев Николаевич все еще не выходил из своей комнаты. В молодости он сравнительно легко переносил приступы, а к старости мучительно долго и трудно выбирался обратно на свою стезю. Теперь он лежал на спине, а его старческие полусогнутые руки лежали на одеяле, словно он за пояс держался. Правая рука, вернее, три пальца правой руки, которыми он писал, вздрагивали, точно он водил пером по бумаге. Доктор Маковицкий сидел рядом на стуле, внимательно следил за правой рукой больного. Когда она стихала, он брал со стола чистый лист бумаги, подкладывал под нее, и она, спохватившись, опять бежала с красной строки.

Маковицкий сидел и думал про себя: «О, этот барин, этот великий труженик духа человеческого! Обычно самые глубокие жизненные инстинкты — реакция на свет, стоит лишь приподнять веко, ритм дыхания, откликающийся почти всегда на избыток или недостаток кислорода, вкусовые рефлексы, освежающиеся после глотка воды. У Льва Николаевича все иначе. Вернее, все эти инстинкты присутствуют, но они приглушены, и самым активным инстинктом, доказующим присутствие жизни в организме, стали три пальца на правой руке, которыми он водит по бумаге. И, будучи в беспамятстве, машинально исписав десяток страниц, он испытывает облегчение, приходит в себя и начинает поправляться...»

После поездки тульского губернатора в Петербург в его канцелярии был установлен аппарат для особо важной и срочной связи. Едва его установили, едва дежурный чиновник занял свое место, как аппарат застрекотал: 63293 12819 51392 55847 и так далее на двух страничках. До сих пор еще добрая часть зашифрованных телеграмм, которыми пользовалась царская охранка, не расшифрована. Подумать только — прочтены уже древнейшие гли-

няные таблички Египта, пролежавшие в земле не одну тысячу лет, а циркуляры командира жандармского корпуса генерала Курлова лежат, покрытые тайной...

Хотя тайной они стали теперь, а тогда кому нужно было, тот отлично умел читать эти колонки цифр, и не успела прийти шифровка, как из Тулы той же ночью вышла рота солдат. Идут молча, грузно, в колонне по четыре — впереди унтер, сзади унтер, а за колонной едет на лошади командир.

Дорога еле-еле виднеется впереди, вернее, не сама дорога, а лужи еле поблескивают в темноте. Сверху все льет и льет, вокруг мокрый лес да тишина, но эта выстроенная в колонну по четыре рота идет затылок в затылок, локоть в локоть, точно она на смотру, на параде, идет, словно это не группа солдат, выстроенных в колонну по четыре, а какой-то особый железный механизм, не знающий отказа в своей работе.

Осенью ночи длинны, глухие тульские дороги бесконечны, и за весь долгий путь ни одного слова, ни одного не предусмотренного уставом шороха, ни одного уставшего, ни одного несогласного — только мокрые шапки, только ружья солдат скатываются куда-то в темноту и выплывают оттуда в зависимости от перекатов мокрой проселочной дороги...

Кто их поднял ночью по тревоге и отправил их куда? Кто знает... Военные — народ суровый, молчаливый, и даже теперь, полвека спустя, ночной поход роты звучит только так — 63293 12819 51392...

Той же осенью на вечернем чаепитии, устроенном супругой графа Сергея Юльевича Витте, бывшего премьер-министра, по случаю их возвращения из-за границы, графиня Черткова в самом разгаре вечеринки подошла к генералу Рихтеру, взяла его под руку, отвела в сторону и сказала некогда красивым, теперь уже начавшим поддаваться непредвиденным нервным колебаниям голосом:

— А у меня к вам, Оттон Борисович, опять дело...

Генерал был весь внимание. Набожная графиня редко выходила из дому, еще реже обращалась к кому-либо с просьбой. В мрачном дворце, освещенном одними лампадами, графиня молитвами пыталась глушить в себе свою боль — единственный сын, образованный, блестящий офицер, которого вот-вот уже прочили в генералы, вдруг, уехав в Москву, пошел в Хамовнический переулок,

склонил свою голову перед графом Толстым и попросил позволения служить ему верой и правдой до конца своих дней.

— Что же вас заставило решиться на такой шаг? — согласно молве спросил сочинитель.

— Убеждение, что не в мощи оружия, а в мощи духа человеческого наше будущее...

Толстой подошел, обнял его и тем самым лишил царскую империю одного из лучших своих офицеров, столица лишилась своего любимца, а графиня Черткова лишилась сына. Тут же подав в отставку, Владимир Григорьевич вот уже много лет, когда в России, когда в Англии, когда в Петербурге, когда в Ясной Поляне, с той же стремительностью и упорством, с которым служил раньше царю и отечеству, теперь служил Слову и Художнику.

Вопрос, чему следовало бы отдать предпочтение — силе или духу, вопрос старый и древний, из категорий неразрешимых вопросов. Как и все великие, неразрешимые вопросы, он предпочитает не облекать себя в чью-нибудь конкретную судьбу, но бывает, что и поддастся этому соблазну, примет конкретный образ человеческой судьбы, и, может, потому Петербург вот уже столько лет следит за графом Чертковым во все глаза. Решительное большинство его осуждало. Графиня это отлично понимала и, может, потому предпочла пережить свою драму в одиночестве. Она редко выходила на люди, еще реже можно было услышать от нее слова, но чтобы вдруг сама обратилась к кому-нибудь... Хотя нет. Едва начав, она тут же перевела разговор на какие-то пустяки, и Оттон Борисович все понял. К концу вечера, когда гости стали расходиться, генерал Рихтер, пригласив графиню в свою коляску, отвез ее домой, помог подняться по ступенькам на второй этаж старинного особняка Чертковых и только там, в кабинете, усевшись перед теплым камином, произнес свою ответную реплику:

— Слушаю вас, Елизавета Ивановна.

Графиня отпила глоток чая — у нее на старости часто пересыхало горло, и она почти не расставалась с маленькой чашечкой, наполненной крепким чаем.

— Впрочем, — сказала она, — вы, верно, и без меня все знаете. Моего единственного сына, Владимира Григорьевича, опять выслали из Тульской губернии, где он проживал с женой и сыном.

Генерал долго думал, склонив седую голову набок.

— Его одного выслали или вместе с семьей?

— В том-то и дело, что одного. Отца разделили с сыном... — Голос графини дрогнул, и она опять отхлебнула из чашечки.

— Вам известно содержание постановления о его высылке?

— Нет, но, право, что там может быть нового... Опять Толстой, опять распространение его идей, или толстовство, как это теперь называется...

После долгого молчания Рихтер сказал, как бы думая вслух:

— Странный у вас сын, Елизавета Ивановна...

Графиня вспыхнула, и на ее старческих щеках стало розоветь что-то в виде румянца.

— Боюсь, что вы меня не так поняли, Оттон Борисович... Я ведь не собиралась жаловаться вам на своего сына...

Генерал улыбнулся:

— Да и вы мои мысли не совсем угадали... Я не то что осуждать, а хвалить собирался... У нас в России редко кто увлекается надолго, особенно таким эфемерным товаром, каким являются идеи, и вот, поди же ты, ему скоро пятьдесят, и половину своих лет он служит идеям, которых как-то и не уловишь сразу...

— А хвалить его тоже не за что, — сказала графиня сухо. — И если бы у меня было двое сыновей, вряд ли бы я подошла к вам сегодня. Но он у меня один.

— И чем я могу быть вам полезен?

Графиня встала, вышла в соседнюю комнату и вернулась оттуда с запечатанным сургучом пакетом.

— Будьте другом, Оттон Борисович. Сделайте так, чтобы это прошение попало на стол к императору в тот день, когда самые сложные и обреченные дела имеют хоть какой-нибудь шанс на благоприятный исход...

Она не передала конверт генералу, а положила на стол, так что Рихтер должен был протянуть руку и сам взять конверт, если он сочтет это возможным. Старому генералу эта щепетильность понравилась. Его рука поползла по белому мрамору столика, но замерла, едва пальцы коснулись бумаги.

— Елизавета Ивановна... Прошлый раз, когда мы с вами подавали императору прошение о разрешении Владимиру Григорьевичу вернуться из Англии, чтобы проститься с умирающим Толстым...

— Тогда нам отказали, я помню.

— Дело не в том, что отказали. Само появление этой

бумаги на столе императора вызвало невероятный приступ гнева его величества.

Графиня пересела на другой стул, поближе к Рихтеру. Долго думала над чем-то и вдруг спросила тихо, интимно:

— Скажи, Оттон, ты сильно боишься высочайшего гнева?

Генерал молодцевато выпрямился и улыбнулся.

— Не больше, чем это нужно для того, чтобы в империи царили мир и порядок.

Взял конверт, раскланялся и вышел.

Хотя было начало нового века, Россия все еще жила остатками славного девятнадцатого, при котором никто особенно не торопился и каждому непременно нужно было добираться до сути, до главного вопроса бытия. Очаровательный уголок природы в средней полосе России, Ясная Поляна тоже жила ритмами, проблемами, атмосферой ушедшего века. И может, потому гости здесь заживались подолгу, часто особо интересные споры переносились на следующий день, и не было ничего удивительного в том, что вот еще утро и тот же нищий Фаддей стоит под Деревом бедных у входа в яснополянский дом. Мимо него бегают дворовые, кухарки, конюхи, а он сидит, сонно зевает и изредка, не оборачиваясь, дергает висящую за его спиной веревку. Один из дворовых, пробегавших мимо, огрызнулся:

— Ты чего, Фаддей, чуть свет трезвонишь?

— Барина твоего давно не видамши.

— Соскучился, что ли?

— А то!

Поднимаясь в столовую, Лев Николаевич услышал звон. Подошел к окну, увидел знакомую могучую спину в лохмотьях. В столовой, едва поздоровавшись, попросил ожидавшего его секретаря:

— Валентин Федорович, голубчик, не можете ли вы мне одолжить рубль мелочью?

— Ради бога... А зачем вам деньги в такую рань?

— Так ведь звонят, все утро прозвонили.

— Ну нашли о чем печалиться! Этот самый Фаддей из Неменки на редкость бесстыж и бессовестен. Чуть ли не каждый день будит нас. Что же вы, так каждый день и будете подавать ему?

Лев Николаевич сказал шепотом:

— Этого Фаддея и опасаюсь. Он очень злой и рассказывает про меня разные гадости.

— Ну и пускай его!

— Да нет, все-таки мне это неприятно...

Получив мелочь у секретаря, Лев Николаевич внимательно ее сосчитал, распределил разными долями по карманам, после чего сел за приготовленный ему прибор. Есть не хотелось — все оглядывался и соображал что-то.

— Вы не очень хорошо выглядите. Плохо спали, Лев Николаевич?

— Где уж в мои годы свежим выглядеть по утрам!.. В мои годы, если во сне сделается складка на лбу, так полдня с той складкой и проходишь...

И все оглядывался, точно попал в чужую комнату. Что-то нарушало привычный, годами устоявшийся порядок. Наконец облегченно вздохнул, заметив в углу на маленьком столике граммофон.

— Это что, новая покупка?

— Как же, он у нас именинник! Как только привезли вчера с фабрики, тут народу набилось битком, и до позднего вечера слушали записанные на пластинки ваши беседы о Евангелии.

Лев Николаевич долго и мучительно припоминал вчерашний вечер. Сказал встревоженному Булгакову:

— Пусть это вас не беспокоит, у меня часто бывают такие провалы памяти... А скажите, кроме моих старческих дребезжаний, ничего не исполнялось?

— Было еще два цыганских романса.

Лев Николаевич засиял.

— Ну конечно, как я мог забыть! У меня даже возникла какая-то мысль относительно цыганского пения — не то записал, не то собирался только записать.

Вошла молодая девушка с завтраком. Лев Николаевич спросил удивленно:

— Почему только один прибор? Разве Валентин Федорович не будет завтракать со мной?

— Благодарю вас, Лев Николаевич. Я свой кофий давно уже выпил.

— Вот и вы отказываетесь... За всю жизнь я так и не смог найти охотников до овсяной каши. Завтракаю один. Она и вправду безвкусна, мне самому надоело ее есть, да ведь я не в том возрасте, когда человек может себе позволить менять привычки...

Заправляет салфетку за воротник, начинает завтракать, и в том, как он сидит и как обращается с приборами, на миг проглядывает сиятельный граф, сохранивший на всю жизнь основы хорошего воспитания.

— Валентин Федорович, вы можете пересесть подальше. Я ведь хорошо помню, что мне неприятно было смотреть, как беззубые старики чавкают за столом. Я думаю, и на меня смотреть тоже не очень большое удовольствие.

— Ну что вы, Лев Николаевич... До тех стариков, о которых вы говорите, вам еще далеко.

— Спасибо, голубчик.

Вошла Софья Андреевна. Подошла, поцеловала мужа в темя.

— Доброе утро, Левочка.

— Благодарю тебя, мой друг. Доброе утро.

— Тебе нездоровится?

— Да нет, я как будто нынче ничего.

— У тебя опять странные глаза. Не было ночью припадка?

— Не помню. Кажется, припадка в полном смысле слова...

Софья Андреевна всплеснула руками.

— О господи, но почему ты меня не разбудил! Ты же не можешь обходиться без моей помощи. Особенно после припадка, я знаю, как тебе бывает трудно...

Лев Николаевич долго и аккуратно подбирал ложечкой остатки овсяной каши, думая при этом: «Интимная жизнь остается неповторимой до тех пор, пока она окутана тайной. У каждого человека должен быть свой врожденный стыд, и это прекрасно, что он закрывает одеждой все то, что не нужно, и оставляет открытым только то, в чем выражается духовное, то есть лицо. У меня всегда было это чувство стыда, и, например, вид женщины с оголенной грудью мне всегда был отвратителен, даже в дни молодости. Тогда, правда, к этому примешивались и другие чувства, но все-таки было стыдно».

Вслух он сказал кротко:

— Давай сегодня проживем в мире, Сонечка.

Софью Андреевну задело то, что он подумал одно, но сказал другое, и она уронила сухо:

— Хорошо. Мне уйти?

— Нет, зачем же. Я очень рад тебя видеть. Кстати, вчера под вечер тебе была телеграмма. Ты видела ее?

— Да. Это от вдовы Маркса. Она обещает начать новое собрание сочинений в самое ближайшее время...

Лев Николаевич долго размешивал кофе.

— Сонечка, если ты помнишь, я тебя просил подсчитать все и найти возможность удешевить мои собрания сочинений. Все-таки они слишком дорого стоят, и

простому человеку может быть не по карману приобрести мои книги.

Софья Андреевна усмехнулась:

— Кажется, ты все еще носишься с заманчивой идеей пустить всех нас по миру?

— Сонечка, ну зачем такие крайности!.. Я издаю «Круг чтения» по самым низким ценам, я собираюсь достичь того, чтобы эти книги вообще бесплатно издавались, а цены на собрания сочинений растут с каждым годом... Мое имя не может одновременно печататься и на самых дешевых, и на самых дорогих книгах!

Софья Андреевна взорвалась:

— Я сейчас принесу расчеты, я покажу тебе бухгалтерские книги, я призову в свидетели бога, что ни копейкой дешевле не могу издавать твои сочинения. И вообще нам нужно поговорить в кругу семьи. Слишком много всего накопилось.

— Ну хорошо. Успокойся, Сонечка.

Как только Софья Андреевна заговорила о делах, в дверях показался один из младших сыновей Толстых — Андрей Львович.

— Доброе утро.

Софья Андреевна поцеловала его в лоб, а Лев Николаевич едва кивнул. Андрей Львович, чтобы не терять нити спора, спросил:

— Папа, можно ли истолковать твои последние слова в том смысле, что завещания, о котором говорит вся Россия, ты еще не писал и не собираешься писать?

«Ах, у нас еще и слух хороший», — подумал Лев Николаевич и, не глядя на него, сказал сухо:

— Я не желаю отвечать на ваш вопрос.

Вошла Татьяна Львовна. Села рядом с Львом Николаевичем, молча поцеловала его. Софья Андреевна, видя, что серьезного разговора все равно не получится, сказала более миролюбивым голосом:

— Не надо раздражаться. Раздражение — плохой советчик. Что поделаешь, у нас много детей. А кроме того, я должна еще и о тебе заботиться. Писатель должен иметь досуг для работы и, следовательно, деньги. Другими словами, он должен быть богатым, иначе не сможет исполнить то, к чему чувствует себя призванным. Если он целый день пробудет на службе, то когда — ночью, что ли, — работать ему?

Лев Николаевич снял салфетку, аккуратно вытер усы и бороду.

— Напротив, настоящий художник проработает целый день на службе да потом так увлечется, что пропишет еще и целую ночь. Бедность не помеха для таланта. Наоборот, я думаю, что при бедности одни истинные таланты и будут работать...

Софья Андреевна улыбнулась.

— А что будет делать его семья, когда он, наслаждаясь свободой, которую дает бедность, будет сочинять по ночам?

Лев Николаевич определенно чувствовал себя неуютно в этой комнате. Что-то все время стесняло, раздражало, он снова оглянулся, и его лицо опять нахмурилось.

— Как он противен — и этот граммофон, и его труба! И почему он обязательно должен тут торчать, разве его невозможно убрать куда-нибудь?

На улице методично и ровно продолжали звонить в колокол. Лев Николаевич дал Булгакову монетку, тот вышел, и звон сразу же утих. Когда Булгаков вернулся, Софья Андреевна сказала примирительно:

— Мы его поставили на видное место только потому, что это подарок граммофонной фабрики. Они же целую неделю промучились, записывая твои беседы.

Лев Николаевич махнул рукой.

— Глупости все это. Все технические изобретения интересны только поначалу, потом они надоедают, и глаз скользит по ним, даже не замечая их. А живое всегда неповторимо, в каждом отдельном случае. Живое не приедается. Интерес к лошади нисколько не спал со времен изобретения велосипеда, хотя эти велосипеды, возможно, со временем вытеснят лошадей совершенно. Но это еще не будет означать победы техники над живыми существами.

Татьяна Львовна улыбнулась.

— Слава богу. Когда ты начинаешь говорить о лошадях, это почти всегда признак выздоровления. Сказать, чтоб оседлали Делира? Ты уже недели две как не ездил на прогулки верхом.

Толстого занимало совсем другое:

— Нет, этот граммофон мне определенно не нравится. Вынесите его.

Валентин Федорович, хоть и пошел переносить граммофон, спросил:

— Лев Николаевич! А мне вчера показалось, что вам граммофон понравился. Весь вечер лицо светилось, и сидели вы ублаженный...

— Сидел ублаженный потому, что торчал весь вечер человек с фабрики. Нельзя же в самом деле! Это подарок, и, надо думать, не дешевый. А то, что лицо светилось, это не имеет никакого отношения к граммофону. Я думал весь вечер о цыганском пении, жалкое подобие которого вырывалось из этой трубы. Цыганское пение — великое искусство, еще не оцененное по достоинству. Нет ли у кого свободного клочка бумаги? Надо записать эту мысль, а то опять забуду.

Булгаков протянул ему чистый лист, но Лев Николаевич замахал руками:

— Ну что вы, это ценная бумага, она для художественной работы, с нее можно новый роман начать, а мне бы жалкий клочок для путаных мыслей восьмидесятилетнего старика...

Взял со стола чье-то письмо. Чистую, неисписанную часть листа аккуратно оторвал и начал писать. И в наступившей тишине, пока Лев Николаевич писал, разобрали граммофон, тихо вынесли, а Лев Николаевич, увлекшись, все выводил букву за буквой. Потом, когда граммофона не стало, домашние собрались и сидели тихо, пристально следя за его рукой, водившей пером по бумаге. Лев Николаевич писал и в то же время думал: «Мое горе состоит в том, что мои писания, рукописи вызывают у людей чувство алчности, чувство соревнования за обладание ими. Когда я работаю, они не думают о том, что я пишу, а думают единственно только над тем, куда попадет этот клочок бумаги и как бы заполучить его...»

По мере того как перо, устав, закругляло последние буквы, близкие Льва Николаевича вставали, уходили, остался один Валентин Федорович. И, как бы отвечая на внутренний монолог Толстого, молодой секретарь сказал вслух:

— Сами виноваты. Зачем так много пишете?

Лев Николаевич воодушевился:

— Вот-вот! Моя вина, конечно... Так же, как виноват я и в том, что народил много детей, а они все бестолковые и делают одни неприятности... Одним словом, держись, Лев Николаевич! И я держусь.

I

У выхода из барского дома человек семь странников-толстовцев сидели на маленькой скамеечке. Они сидели и ждали, когда выйдет Лев Николаевич. Сидели, как в театре, следили во все глаза за тем, как конюх вывел из конюшни красавца Делира, как поставил его под седло.



Часов в двенадцать вышел Лев Николаевич. Первое, что бросилось ему в глаза, — орава нищих и Делир, его большой любимец. Они настолько не вязались, нищие и красивый чистокровный скакун, что на мгновение Лев Николаевич смутился. Потом, легко преодолев свое состояние, подошел к ожидавшим его людям. Долго слушал их путаные, сбивчивые рассказы, и расспрашивал, и входил в положение каждого, после чего, без особой охоты покопавшись в карманах, дал им по медяку. Постоял, ожидая, когда они разойдутся, но они не расходились. Им хотелось еще посмотреть, как восьмидесятилетний старец сядет на такого красивого молодого коня. Лев Николаевич подошел, проверил, хорошо ли затянута подпруга. И тем временем думал: «Каждый раз, когда я собираюсь ехать на прогулку, толпа нищих провожает меня. Небось думают: проклятый старикашка! Говорит одно, а делает другое. И что они еще при этом думают, то позволь мне, Сонечка, знать лучше тебя...»

Лев Николаевич погладил морду лошади. Делир мягко, кончиками губ, тронул его в знак приветствия.

— Ну-ну... Зачем же так...

Осмотрел передние копыта, подозвал конюха:

— Отведи Делира на кузницу, передай — пусть расскуют и отдадут его в общий табун.

Похлопал еще раз лошадь по загривку, сухо, с достоинством попрощался, затем, с трудом преодолевая нахлынувшие чувства, медленно, нетвердым шагом поплелся в сторону леса.

Потеря равновесия ведет к непредсказуемости, касается ли это мальчика, впервые севшего на двухколесный велосипед, касается ли это крупнейшей державы мира. Россия начинала век, взбудораженная войнами, революциями, бесконечными брожениями в обществе. Она теряла равновесие, и это иногда приводило к неслыханным ранее явлениям. Вдруг в холодном и невозмутимом Петербурге заявляется Распутин.

Авантюрист и проходимец, по мнению одних, пророк и спаситель государства, по мнению других, он неистовствовал по всей России и, обладая недюжинным умом, твердым характером и магическим даром влиять на страждующие души, ко времени своего появления в Петербурге достиг уже славы небывалой. Одно из основных положений его учения — если то, что исповедовал Распутин,

можно назвать учением — состояло в том, что души людские должны очиститься только путем нового и уже сознательного прегрешения.

Женщин он легко уламывал на сожительство с ним, и они, едва выбравшись из его постели, уже кричали на всех перекрестках о своем очищении, о своем исцелении. Роняя тут и там чудеса духовного перерождения, Распутин присматривался к взбудораженной предреволюционными грозами столице и ждал. При всей своей взбалмошности этот пророк из сибирской глуши обладал прочным, незыблемым характером и прекрасно понимал, что теперь, когда все снялось с места и несется невесть куда, прочность, незыблемость его натуры еще скажет свое, возможно, великое слово.

Так оно в конце концов и произошло. Похоже, и в самом деле рок угасания витал над родом Романовых. Наследник русского престола страдал гемофилией — кровоточивостью, происходящей от плохой свертываемости крови. Уже несколько лет император и его супруга не ведали покоя, и никакие светила, никакие снадобья, ничего не помогало малышу. Поначалу, говорят, император сопротивлялся появлению во дворце Распутина, и тогда сама императрица Александра Федоровна тайно, ночью, впустила в спальню наследника святого отца. Распутин, подойдя к кровати мальчика, размашисто положил свою лапу на макушку больного и приказал своим громовым голосом:

— Встань, дитё, и улыбнись матери, тебя породившей...

И поскольку императрица стояла, окаменевшая, у окна, он сказал ей:

— Иди, мать, дитё тебе улыбается...

Мальчик действительно улыбался, после чего прекрасно провел ночь, затем с каждым днем чувствовал себя все лучше и лучше, свертываемость царской крови восстановилась, и это оказало непредвиденное влияние на судьбу всей Российской империи. Потому что с того самого дня уже не Государственный совет, не Дума, не совет министров и даже не сам император правил государством. Во всех приказах, постановлениях и законах чувствовалась рука Распутина. Он появлялся во дворце в любое время дня и ночи, присутствовал при обсуждении и решении всех вопросов: впрямую редко вмешивался, зато не переставал сыпать афоризмами собственного сочинения, над которыми долго потом император и его супруга ломали голову, находя в них все новые и новые глубины...

Влияние его на царскую чету и на решения судеб России было столь велико, что многие всерьез утверждали, будто Россия была втянута в первую мировую войну только потому, что не было Распутина в столице. Какая-то дура, с которой он некогда сожительствовал, пырнула его ножом, вынудив некоторое время отлеживаться в сибирской провинциальной больнице. Впрочем, Распутин и сам не раз утверждал, что, будь он тогда в Петербурге, он бы не допустил кровопролития.

Вернемся, однако, к событиям 1910 года. Однажды в кабинете государя разбирали сообщение о попытке террористов взорвать бомбу в доме бывшего председателя совета министров Витте. Деликатность положения состояла в том, что новая верхушка власти ненавидела старого премьера, многие подозревали, что попытка убийства была кем-то из них же инсценирована, но так или иначе попытка сорвалась, и теперь нужно было создать видимость соблюдения законов.

Сидевший возле белой фаянсовой печки Распутин, долго и шумно сморкавшийся, сказал вдруг своим низким басом:

— С графами, ваше величество, нам не повезло... Один граф, Витте, умен, да не в ту сторону, другой граф, Толстой, верит, да не в того бога...

Государя вдруг обожгло воспоминание о том письме, которое было передано ему конфиденциально. К тому же на днях ему передали еще какое-то прошение в связи с тульскими делами...

— Петр Аркадьевич, — обратился он к Столыпину, — а каково положение в Тульской губернии?

Столыпин принялся перелистывать полученные накануне рапорты губернаторов. Он не любил этого немытого мужлана Распутина. Еще больше Столыпин не любил видеть Распутина рассиживающим здесь, в кабинете, — в его присутствии государь вел себя очень агрессивно и, словно для того, чтобы показать своему Другу, как он называл Распутина, твердость характера, принимал иногда на редкость спорные и неожиданные решения. Теперь Столыпин тянул время, надеясь, что этого нечесаного проповедника распарит возле горячей фаянсовой печки и он наконец освободит их от своего присутствия. Но нет, Распутин был еще и жароустойчив — сопит, вытирает обильный пот и следит краешком глаза за происходящим.

— Положение в центральных наших губерниях...

Государь нетерпеливо дернул головой:

— Я вас не о центральных спрашивал. Я говорил об одной Тульской губернии.

— По вчерашнему донесению губернатора, положение в Туле после недавних крестьянских восстаний движется к нормальному...

— Зачем же вам тогда нужно было высылать Черткова, если положение движется к нормальному?

Столыпин стоял озадаченный. Чертков был выслан, разумеется, с согласия государя, но теперь либо произошли изменения в позиции государя, либо имели место какие-то события, о которых ему еще не доложили. На всякий случай Столыпин начал осторожно, издали, чтобы выиграть время:

— Ваше величество, мы вынуждены были принять эту меру потому, что толстовство, как мы и предполагали, из полурелигиозного, полупросветительского движения стало движением сугубо политическим. Основанный в Англии тем же Чертковым журнал «Свободное Слово» из номера в номер печатает нежелательную для нас информацию о всевозможных нарушениях в тюрьмах и штрафных батальонах...

— Чем торгуем! — грохнул наконец разопревший у печки Распутин. — Страданиями народа торгуем! Немцы бы до этого не допустили, нет. Но мы этим занимаемся, потому что мы народ погибающий... Настанет день, и очень скоро, когда пылинки от этого великого народа не останется и имя его неведомо миру будет...

Он встал, огромными шагами направился к выходу. В дверях остановился, сказал государю более тихо, интимно, миролюбиво:

— Сумерничать приду.

Петр Аркадьевич наконец облегченно вздохнул. Генерал Рихтер, войдя с какими-то срочными бумагами, замер у стола, заметив неудовольствие государя. Император, почувствовав себя пустым и заброшенным после ухода Друга, подошел к окну и долго следил за тем, как воронья стая облетает примыкающий к Адмиралтейству парк. Смотрел, какая ворона и куда садится, откуда взлетает, и Столыпин подумал, что государю ужасно хочется пострелять. Он знал, что государь любит в минуты отдыха пострелять по воронам. Видел ли он в них предвестников будущих бед и пытался своей двустволкой их предотвратить, или, может, ему действовали на нервы нескон-

чаемые «кар-кар-кар» и он жаждал насладиться той тишиной, которая после выстрелов наступала?

Вдруг государь спросил не оборачиваясь:

— Как воспринял граф Толстой высылку Черткова?

— Гораздо нервознее, ваше величество, чем мы ожидали. Он даже написал на имя министра юстиции письмо, в котором просит заключить его в острог и освободить оттуда всех его последователей, так как он является корнем всего движения...

— Ну нет, венца мученика он у нас не получит. Пускай носит свою шапочку вольнодумца. Она, говорят, ему идет.

Стоявший возле стола генерал Рихтер счел необходимым вмешаться в разговор.

— Такое решение вопроса мне представляется в высшей степени разумным. Единственное, о чем я сожалею, так это Елизавета Ивановна... Она уже в преклонных годах, и я думаю, что, памятуя о ее муже, генерале Черткове, честно служившем трем русским императорам...

Стоя у окна, государь вдруг вспомнил об этом прошении. Столыпин был раздражен вмешательством Рихтера. Это могло бы привести к крайне неожиданным и нежелательным последствиям.

— Нас должна прежде всего волновать судьба страны, а не самочувствие престарелой, хоть и достойной дамы... И хотя мое уважение к графине Чертковой огромно, то зло, которое приносит ее сын, пропагандируя учение Толстого, настолько велико и опасно, что меры, которые мы до сих пор применяли к Ясной Поляне, мне представляются совершенно недостаточными...

По плацу прошел эскадрон конногвардейцев, и государь сам как-то подтянулся, помолодел, глядя на них. Вернувшись на свое место за столом, он сказал:

— Так примите меры, которые покажутся вам достаточными. В России не могут одновременно править два императора. Я думаю, вы не станете спорить со мной по этому вопросу.

— Нет, ваше величество.

Рихтер ничего не сказал, ограничившись легким полупоклоном, что, разумеется, не могло пройти незамеченным. Чтобы как-то не обидеть его, государь сказал:

— Старой графине вы можете передать, что мы повелеваем приостановить постановление о высылке из Тульской губернии ее сына только на то время, пока сама Елизавета Ивановна будет находиться там...

Рихтер, который за минуту перед этим думал, что дело это гиблое, вдруг оживился и поклонился:

— Благодарю, ваше величество.

Столыпин, окрыленный распоряжением императора принять меры, какие найдет нужным, вдруг замер у самого выхода, потому что последнее решение государя об изменении статуса высылки Черткова в корне меняло все. О эта женственная мягкость государя, куда она заведет страну...

— Ваше величество, — сказал он вдруг весело, потому что мысль, которая посетила его, показалась ему чрезвычайно забавной. — Единственное, что меня во всем этом беспокоит, так это чрезмерная популярность Толстого, которой мы сами способствуем. Подумать только, с утра все говорят об одном — Толстой и революция. К обеду возникает другая тема — Толстой и крестьяне. Когда звонят к вечерне, появляется новая тема — Толстой и церковь. Да неужели так оскудела русская жизнь, что все отечество должно жить одними новостями из-под Тулы? А если это так, то не наша ли задача встряхнуть столицу, раздвинуть мир интересов наших соотечественников? Почему бы, скажем, теперь, осенью, не устроить нам настоящую царскую охоту, как это бывало в доброе старое время?!

— Если вы имеете в виду охоту на бурых лисиц...

— При чем тут бурые лисицы, ваше величество! Теперь самое время идти на волков!

Государь вдруг заулыбался — он вспомнил, как во время прохождения военной службы в Преображенском полку, которым командовал его дядя Сергей Александрович, они, молодые офицеры, обожали этот вид игры и спорта, который назывался «охота на волков».

— Так почему же вы мучаете меня делами, когда у вас в голове такая славная идея!!

Тем временем старый волк пробирался в одиночку на север по зарослям и мелколесью. Сначала он шел обходными путями, но стал быстро уставать и вдруг подумал: что, если не хватит сил, что, если погибнет в пути? И он пошел напрямик. Дни стояли холодные, сверху падала листва, и нюхом он чуял, что это не к добру. Он был старым волком и знал, что каждый раз вместе с холодами, вместе с опадающей желтой листвой приходит время охоты на волков. Он тешил себя надеждой обмануть судьбу,

прийти туда раньше, чем начнется главная охота года, найти хорошую стаю и вместе с нею прорваться сквозь цепь загонщиков, сквозь выстрелы, сквозь красные флажки, но, увы, все это были пустые фантазии, потому что на все это не оставалось уже ни времени, ни сил.

По широким и неуютным, оголенным поздней осенью полям шел одинокий старик с палкой. На девятом десятке идти трудно и душно, и мерещатся ему табуны прекрасных коней, несущихся по горизонту. Все эти армады однокопытных друзей человеческих выводит из неведомого и в неведомое уводит родной и неугомонный Делир. И думает Лев Николаевич про себя: «Ни от чего я так трудно не отвыкал, как от верховой езды. От куренья было трудно, но я себя заставил. От плотских желаний было трудно, но возраст помог, и я почти целиком оградил себя от этого соблазна, а если когда что и налетит, то это уже не бог весть что. От мясной пищи я с трудом, годами отвыкал, но все-таки победил себя, а вот быстро несущаяся лошадь мне видится даже во сне, и не могу я от верховой езды отвыкнуть, хоть плачь!»

Впереди, за пригорком, показалась деревушка, и Лев Николаевич остановился. Отдохнул в тени под одиноким деревом, разложил по карманам медяки, поправил бороду, усы и, придав себе более молодцеватый вид, вошел в деревню. Жители, должно быть, заметили его издали и уже стояли у своих ворот, чтобы поклониться барину. Лев Николаевич принимал их поклоны с достоинством и думал: «Хочется умереть, как умирают обычно старые крестьяне, — тихо, незаметно, словно вода в песок уходит».

У третьего с края домика он спросил кланявшуюся ему женщину:

— Послушай, милая, где Курносенковы живут?

— Здесь, ваше сиятельство. Мы Курносенковы.

— Это тебе моя дочь помогает?

— Точно так, ваше сиятельство.

Лев Николаевич достал из кармана заранее приготовленные деньги.

— Она занята, не смогла прийти и просила меня передать эти деньги.

Женщина держала двумя пальцами рубли, как будто не решив окончательно, брать их или не брать.

— Что муж-то, хворает?

— Хворает.

— Там три рубля. Смотри не спеши их тратить. Сначала хорошо обдумай свои недостачи, посоветуйся с добрыми людьми, перебери про себя все то, без чего ты пока можешь обойтись, пока не дойдешь до той нужды, обойти которую никак невозможно.

— Низко кланяемся, ваше сиятельство.

Лев Николаевич, удовлетворенный, с чувством исполненного долга пошел дальше, но уже у следующей избушки старушка чуть ли не в ноги ему кинулась, и он, несколько удивленный, остановился.

— Ты чья?

— Курносенкова, барин. Курносенкова я.

— Как Курносенкова? Я только что подал Курносенковой!

— Нет, та не Курносенкова, та Клячкина.

Лев Николаевич тут же вернулся обратно. Первая баба так и продолжала стоять у своих ворот с барскими рублями.

— Что же ты мне неправду-то сказала?!

— Я не обманывала вас, ваше сиятельство. Вы спросили: «Что муж, хворает?» Я сказала: «Точно, хворает». И можете войти в дом, посмотреть. Хворый он у меня.

— Но, однако, ты не Курносенкова!

— Это правда. Тут я утаила, но, простите меня, ваше сиятельство, у меня тоже большая недостача в доме.

— Раз у тебя муж хворый, то вот что... Я прощаю тебе тот грех, что ты сокрыла правду, но деньги-то все же верни.

Женщина вернула три рубля. Лев Николаевич подал их настоящей Курносенковой. Та кинулась ему снова в ноги, но Лев Николаевич быстро увернулся от ее признательности. Пошел дальше, но у следующего дома стояла точно такая же старушка и точно так же ему кланялась. Он остановился, посмотрел на нее долго и испытующе.

— Что так скособочилась? Страдаешь чем, что ли?

— Старость, ваше сиятельство.

Лев Николаевич долго вглядывался в черты ее лица.

— Послушай, не ты ли та самая молоденькая Маланья, которая все бегала в мой лес за хворостом?

Старуха сначала просияла, потом застыдилась и наконец сказала тихим голосом:

— Я самая и есть. Ваше сиятельство, спасибо, не забыли меня — и замуж хорошо выдали, и дом мне построили.

— Ну этим я тогда увлекался. Тут, помнится, многих замуж выдавал и дома им строил. А ты за кого выходила? Как мужа-то звали?

— Курносенков он у меня, ваше сиятельство.

— И что же, он тоже хворый у тебя?

— Да уж годов пять как помер.

Лев Николаевич долго рылся в карманах, достал несколько гривенников.

— Вот тебе на черный день, только смотри, попусту их не трать. Сначала пусть они у тебя с недельку полежат, за эту неделю все твои нужды промеж собой померяются, и когда выйдет вперед самая что ни на есть большая нужда...

— Спасибо за память, ваше сиятельство, а мы уж вас никогда не забываем и все молим бога за прощение вам грехов ваших...

— Ну-ну, хватит об одном и том же...

Эти Курносенковы ему настолько надоели, что он, не дойдя до конца деревни, свернул в переулок. Потом, за деревней, прошел напрямик через поле клевера и вышел на большак. Долго шел по широкой, хорошо укатанной после осенних дождей дороге и внизу, у маленького полуразрушенного мостика, нагнал тех же странников-толстовцев, которые утром были у него. Теперь они сидели чуть в сторонке, у маленького ручья, и отдыхали, и обедали, размачивая черные корки хлеба под тонкой струйкой родниковой воды.

Лев Николаевич подошел. Они, порывшись в своих котомках, достали и для него корку черного хлеба, и Толстой долго размачивал ее и старался прожевать не хуже других. Потом некоторое время они шли вместе и мирно беседовали, вернее, больше говорил Лев Николаевич, а они слушали. У какого-то перекрестка расстались, и опять Толстой пошел один.

Уже по всему было видно, что устал, что эта прогулка ему в тягость, но его натура не терпит сомнений, он должен пройти все до конца. И он идет и идет, углубленный в свои мысли, пока не возвращает его обратно к действительности громкий топот копыт. Двое всадников, заняв всю дорогу, неслись прямо на него. Пеший должен уступить конному, это испокон веков известно, но пешим был на этот раз Толстой, и Толстому не хотелось уступать дорогу. Он был старым, устал, он был графом, он был, наконец, Толстым, и этого уже было достаточно для того, чтобы не уступать дорогу двум

молодым франтам, которые выехали на прогулку. Он все шел своим обычным шагом и шел, пока лошади сами не шарахнулись в стороны. И когда топот утих за его спиной, он, не оборачиваясь, подумал: «Что значит тупость русского помещика! Лошадь и та понимает, что надо Толстому уступать дорогу, а он не понимает!»

В тот день ему пришлось долго кружить. Это было его слабостью — он все время выгадывал, как бы скоротать путь, припоминал древние, полузабытые, одному ему известные дорожки. Он все уверял себя, что это гораздо ближе, а на самом-то деле это было гораздо дальше. Дороги кружили, и он сам вместе с ними кружил, и теперь, слабый и усталый, еле плелся.

Какой-то мужик вызвался подвезти на телеге. Кроме него, на телеге сидел еще, свесив ноги, здоровенный сотский. Лев Николаевич, пока телега тряслась по неровной дороге, решил вступить с ним в беседу:

— А что, милый, должно, не сладко тебе на службе-то?

— Не сладко, да что поделаешь...

— Как что поделаешь! Разве мало мест, где ты смог бы честно заработать себе кусок хлеба?..

— Ну что ты, барин! Кто, окромя казны, даст мне восемь рублей в месяц?

Лев Николаевич долго ехал молча, потом подумал: «В сущности, все государства строятся именно так. Они платят восемь рублей в месяц человеку, который от силы стоит двух».

За поворотом Толстой спрыгнул и опять пошел один. Он шел долго, заложив руки за спину, поглощенный своими размышлениями, пока до него не донеслись тяжелые, гулкие удары по камню. Внизу, за перелеском, рабочие мостили дорогу. Их было много, и были они все бедные, плохо одетые. Голыми руками брали камень, били его на мелкие куски и тяжелыми бабами долго и надрывно утрамбовывали полотно дороги. Лев Николаевич, последив издали за этой тяжелой работой, сказал вслух:

— Все это чем-то напоминает времена египетских фараонов и тех бедных рабов, которые на своих плечах перетаскивали камни для будущих пирамид.

Он мог обойти работающих стороной. Была обходная дорога, и все пешие, все конные обходили строившийся

участок, но Льву Николаевичу совесть не позволила пройти мимо. Он был смелым реалистом, он всю жизнь заставлял себя смотреть правде в самые зрачки, какой бы ни была та самая правда.

И он свернул с обходной дороги, пошел по новому, не утрамбованному еще полотну. Рабочие приостановили работу, потом устало начали кланяться. Толстой видел только их большие, в ссадинах, в окровавленных повязках руки, его преследовали глухие удары трехпудовых баб. Он вдруг остановился и, осужденный на вечный самоанализ, подумал: «У меня такое чувство, точно меня прогоняют сквозь строй, и каждый норовит ударить по моему телу, и нету конца ни строю, ни ударам».

Вдруг он увидел среди рабочих человека, который не только не кланялся, а вообще отошел в сторонку и спокойно себе переобувался, точно понятия не имел о его появлении. Почему-то это задело Льва Николаевича: «Раньше все мужики спешили кланяться, а теперь при встречах я кланяюсь первым, а они если и снимут шапку, то с превеликим трудом».

Он подошел к рабочему, обувавшемуся в сторонке, опустился рядом с ним на корточки и долго вглядывался в усталые, но милые черты его лица.

— А что, ты не тот ли самый Федотка из Куреневки, который учился у меня в Яснополянской школе?

Польщенный Федотка, хотя успел обуть один только сапог, встал и поклонился.

— Я самый и есть.

— Что же ты, — пожурил его Лев Николаевич, — в детстве, помнится, стоял у доски — и слова из тебя не вытянешь, теперь рослый и тоже стеснительный?

Федотка улыбнулся.

— Это не совсем так, ваше сиятельство. Перед тем, как снова стать робким, я долгое время был бойким, да только жизнь бойких не любит. Она их быстро уминает.

Лев Николаевич подумал: «Это надо будет запомнить — жизнь быстро бойких уминает. Хорошо и просто сказано».

— А грамоту не забыл? Читаешь, пишешь?

— Изредка читаю псалтырь, а писать давно уже не пробовал.

— Что так?

— Да нечем, не на чем и не с чего мне писать-то...

Веяло большой печалью от этих слов, но Льву Николаевичу не хотелось, чтобы встреча была грустной.

— Школу-то нашу хорошо вспоминаешь?

Федотка опять заулыбался.

— Ну, жизнь была! Урок — и на санках катаемся. Урок — и блины едим. Хорошее было учение.

— Видно, не такое уж хорошее, раз одни санки да блины остались в голове.

Федотка не мог с этим согласиться:

— Нет, ученье было хорошее. Просто то, что пришло потом, было не очень сладким, оттого, видать, санки и блины так часто вспоминаются.

Он так и стоял с одной разутой ногой, не решаясь в присутствии Льва Николаевича обуть вторую, а Лев Николаевич сидел перед ним на корточках в свои восемьдесят два года, окунувшись всецело в чужую жизнь.

— Домой, что ли, собираешься?

— Домой.

— Что рано так? Твои товарищи еще работают, а ты уже собрался.

— Да мне-то идти далеко, дальше их будет.

— Отчего же дальше? Куреневка вона, за лесом.

Федотка долго сопел, переминался с одной ноги на другую, а ноги у него были чудные — одна обутая, другая босая.

— Что толку, что она за лесом, когда мне восемь верст кружить надо. Через лес уже не пускают.

— Кто не пускает?

— Да Ахмет, ваш охранник. Дерется, окаянный.

Несколько растерявшись, Лев Николаевич спросил:

— И что же он... сильно дерется?

— Да кому как повезет. У меня плечо за неделю отошло, а вот сосед мой Ермолай до сих пор на печи охает...

У Толстого по-стариковски затряслась голова, глаза наполнились слезами, и он, отвернувшись, долго откашливался.

— Ну вот что, Федотка... Если так, пойди еще раз в обход, а я сегодня же похлопочу перед Софьей Андреевной...

Когда он наконец вернулся с прогулки, в большой зале начинался обед. Рассаживались за стол многочисленные гости, родня, близкие. Веселое оживление, звон посуды, кто-то бренчит на рояле.

Лев Николаевич, усталый, с прилипшими к мокрой макушке волосами, появился в дверях и долго следил за тем, что творится вокруг. Заметив его, все начали утихать, и когда наступила глубокая тишина, он спросил прерывающимся от волнения голосом:

— Соня, почему в наших лесах избивают людей, которых я учил грамоте в нашей школе, чтобы облегчить им жизнь?

Софья Андреевна еще издали, из окна, увидела, что он возвращается не в духе. Все это, подумала она, оттого, что прогулялся пешком. В этом возрасте старым людям нельзя ходить так далеко. Ей не понравился ни тон, ни время, которое Лев Николаевич выбрал для каких-то объяснений. Не придав особого значения его сердитости, она ответила скороговоркой:

— Ах, уж этот черкес, опять что-то натворил! Сколько он мне хлопот доставляет, этот Ахмет!

Но Лев Николаевич не принял ее облегченного тона. Он стоял в дверях, усталый, злой и неподвижный, как каменное изваяние. Он вторично, тем же тоном сказал:

— Нет, ты меня совсем не поняла. Я тебя не об Ахмете спрашивал. Я спросил: почему в наших лесах избивают моих бывших учеников?! И кто этот Ахмет, откуда он взялся в нашем доме?!

Настойчивость мужа стала настораживать Софью Андреевну. Этот разговор мог испортить обед, она им, как всякая хозяйка, дорожила.

— Я его наняла в прошлом году, когда и в нашем уезде начались волнения среди мужиков. Наняла для того, чтобы не вырубили наши леса, для того, чтобы нас не подожгли в нашем же доме.

— Вот даже как! — сказал Лев Николаевич и вышел. Он умылся, переоделся, потом, вернувшись к столу, сел на свое место и сказал тихо, как будто размышлял вслух:

— Я скорее отдам под вырубку леса, скорее соглашусь сгореть в своем доме, чем поднять руку на своего ученика.

Софье Андреевне это начало надоедать.

— А, нашел тему для разговора! Они меня собой и дерутся, и калечат друг друга, а тут, видите ли, обидели...

Потом, после паузы, сказала другим тоном:

— Хотя эта новость имеет и свою хорошую сторо-

ну: она тебя разозлила, разогнала кровь по всему телу, и ты весь у меня как-то помолодел, глаза засияли. Тебе сколько — одну, две ложки супа?

Лев Николаевич опустил голову, закрыл глаза, и дух его, в глубоком своем тайнике, молвил: «Господи, я припадаю к стопам твоим и прошу дать мне самое большое терпение, какое ты только можешь отпустить обыкновенному смертному...»

Дубовый лес кончился, пошла одна сосна. Высокий корабельный лес, голые стволы с зеленой шапочкой на макушке, и видно окрест на много верст. А волк все шел и шел. Он шел уже белым днем, по открытому лесу, а если попадалась исхоженная тропинка, он и по ней шел, никого и ничего не остерегаясь более. Те древние инстинкты, которые некогда его оберегали, вымерли, да ему и остерегаться особо было нечего, потому что конец все равно мог быть только один.

Он был старым, мудрым волком и шел своей дорогой. Оставался еще какой-то запас жизненных сил, и честность по отношению к прожитой жизни требовала сначала израсходовать все силы до конца и только потом принять небытие. И он шел и шел и сам удивлялся тому, что откуда-то еще берутся силы. Должно быть, мать-волчица оставила ему про запас на самый черный день, и вот он уже сколько идет, и черные дни стоят стеной, а силы все еще есть...

Обед длился долго, до самого чая, потом настало время ужина, а на втором этаже яснополянского дома все еще стоял веселый гомон. Это было необычайно для дома Толстых, это было наперекор всем заведенным порядкам. После многих недель недомолвок, колких объяснений, истерических сцен и бессонных ночей вдруг наступила разрядка. Приехал Гольденвейзер, пианист и друг Толстых, приехали дети, приехали внуки. Новые лица, новые подробности, новые разговоры — и свежий ветер прорвался в яснополянский дом.

Один Лев Николаевич не принимал в этом участия. Сразу после обеда он ушел отдохнуть, соснул ненадолго, но потом почувствовал себя неважно и, извинившись перед гостями через Маковицкого, остался в своем кабинете. Горели свечи в маленьком бронзовом подсвеч-

нике, лежали наготове бумага и перо, но работа не шла. Укутав ноги теплым пледом, откинув голову, Лев Николаевич сидел в кресле и ждал. Он ждал терпеливо и долго, когда родится первая фраза, тот ключ, та тональность, тот нужный ритм для сочинения, но последние годы, под старость, эта первая фраза не приходила подолгу, другой раз день прождешь — и без толку. Сидя с закрытыми глазами, Лев Николаевич подумал, что, может, лучше бы сделать ежевечернюю запись в дневнике — работа все равно не идет. И вдруг к нему прорвался его собственный голос, но не нынешний, старческий, а громкий, резкий, голос времени «Войны и мира».

— Тысяча девятьсот десятого года, июля двадцать второго дня, я, нижеподписавшийся, граф Лев Николаевич Толстой, находясь в здравом уме и твердой памяти, на случай моей смерти делаю следующее распоряжение: все мои литературные произведения, когда-либо написанные по сие время и какие будут написаны мной до моей смерти, как уже изданные, так и неизданные, как художественные, так и всякие другие, оконченные и неоконченные, драматические и во всякой иной форме, переводы, переделки, дневники, частные письма, черновые наброски, отдельные мысли и заметки, — словом, все без исключения мною написанное по день моей смерти, где бы таковое ни находилось и у кого бы ни хранилось, как в рукописях, так равно и напечатано, — не составляли бы после моей смерти ничьей частной собственности, а могли бы быть безвозмездно издаваемы и перепечатываемы всеми, кто этого захочет...

Свечи догорают, капли воска растекаются по чистому листу. Лев Николаевич сидит в кресле с закрытыми глазами, но лицо его светлеет, становится одухотворенным, как в минуты напряженной и удачной работы. Он не записывает эти слова, но чувствует большое облегчение, потому что раз они обрели свою чеканную форму, то будут жить. Решение, над которым он бился больше десяти лет, наконец было принято теперь, этим вечером, и такой душевный покой, такое облегчение он почувствовал, что боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть то великое блаженство, которое охватило его.

Тем временем на втором этаже Софья Андреевна музицировала вместе со старшей дочерью в четыре руки. Она давно уже не садилась за фортепьяно, но в четыре руки любила играть. Долг, однако, довлел надо

всем, и, увлеченная музыкой, она все время следила за тем, что творится в кабинете Льва Николаевича. И вдруг она замерла. Игра потеряла ритм, потеряла смысл; она встала, тихо вышла и, не постучавшись, вошла в кабинет Льва Николаевича. Он сидел спиной к двери, и она прошла мимо мужа до самого окна, чтобы видеть его лицо, и это светлое, одухотворенное лицо привело ее в ужас. На нем лежала печать великого и неотвратимого, как рок, решения. Она прожила с ним сорок восемь лет и знала, что это такое. Она опустилась перед ним на колени и сказала:

— Левочка, да ты в своем уме?! Тебя окрутили злые силы Черткова, они внушили недобрые чувства к твоей семье! Я вызову психиатра из столицы и докажу, что старик восьмидесяти двух лет не может принимать такие важные решения...

Лев Николаевич ничего не ответил. Он даже не открыл глаз, а она все стояла, надеясь дождаться, когда ее заметят. Встревоженные гости начали уже расходиться. Софья Андреевна встала, прошла к себе. Стали медленно гаснуть огни в яснополянском доме, и, когда нищий Фаддей добрался наконец до скамеечки и собрался было позвонить, дом стоял окутанный мраком, а сам колокол висел обвязанный мешковиной.

— Эхма!.. А я хотел было о душе с ним поговорить...

Стал тоже укладываться на скамеечке.

Софья Андреевна приняла большую дозу снотворного и тут же уснула. Засыпают и гости. Один Лев Николаевич так и продолжает сидеть в кресле, и наперекор всему тот далекий, сильный и мужественный голос поры его зрелости продолжает чеканить строчку за строчкой:

— Еще и главное, прошу всех, и близких и дальних, не хвалить меня после моей смерти. Хотя я знаю, что будут, потому что делали это и при жизни самым нехорошим образом. Не нужно меня хвалить, а если уж заниматься моими писаниями, то прошу вникнуть в те места, в которых я старался вложить всего себя, и говорил не столько я, сколько мой дух. Часто я был так не чист, так испорчен страстями человеческими, что свет истины затемнялся моей темностью, но все-таки изредка Высшая истина проходила через меня, мой дух придавал ей форму, и это были счастливейшие минуты моей жизни.

Обсуждение плана предстоящей охоты началось легким, игривым, как ему и полагалось быть, докладом генерала от инфантерии, главного Егермейстера двора, графа Забегина:

— Северная часть финской балки закрыта обрывом, у подножия которого течет полноводная река. С этой стороны мы обеспечены непреодолимой для волков преградой, и потому сама обстановка диктует нам простейший из способов — подкову. Будем жать подкову загонщиков к реке, а сами, расположившись над обрывом, будем ждать добычу.

— Следы? — спросил государь.

— Следов много, ваше величество, и все идут на север, почему и решили выбрать эту балку.

Но тут помощник министра внутренних дел генерал Курлов спросил:

— Какие именно полки будут сопровождать двор при выезде из столицы и встречать у черты города после возвращения с охоты?

— Полки?! Я не ослышался?

— Да, именно что полки. Вы не ослышались.

Столыпин добавил:

— И путь следования давайте уточним сразу. Полагаю, что эти два момента — суть наиважнейшие из всего, что мы тут затеваем.

— Господа! — взмолился Забегин. — Охота есть одна из лучших форм отдохновения его императорского величества от державных дел, и никак не более!!

— Ну как сказать, — уклончиво возразил Курлов. — Все-таки не будем забывать, на каком свете живем, не будем забывать мир, нас окружающий, и только после этого скажем себе: охота есть охота.

— Позвольте, генерал, пойти дальше вас, — заявил Столыпин. — Я повторю ваши слова, но в еще более жесткой и неумолимой форме: охота есть охота!

«Напрасно, — думал про себя император, занимавший почетное, председательское место, — напрасно я согласился. Но, с другой стороны, кто мог предугадать, что мысль, поначалу казавшаяся совершенно невинной, в конце концов переродится, превратившись в сугубо политическое дело? Где же выход?»

Долгие и шумные споры привели к образованию двух партий. Одни утверждали, что императорский двор должен следовать на охоту по Невскому проспекту, но скромно, без особого шума и сопровождения. Государю,

утверждали они, нечего скрывать от своего народа, ибо он сам народ и есть. Другая партия придерживалась того мнения, что можно ехать на охоту и по более безлюдным улицам, но непременно в сопровождении, по крайней мере, двух полков, чтобы враги империи знали, что никому не будет позволено...

— Так и вижу в «Русском слове» огромное, на всю полосу, заглавие: «Задворками на охоту».

— Вы полагаете, будет лучше, если статья будет называться «По Невскому за серой шкурой»?

Император боролся с дремой. Когда заходил разговор о печати, его одолевала невозможно сладкая дрема. Он никак не мог взять в толк, почему этим листкам, испачканным типографской краской и продаваемым на каждом углу, придается такое значение!

«Дело нужно решить таким образом, — думал про себя государь император, — чтобы ни одна партия не возобладала над другой и не смогла бы потом почитать себя победившей...»

В конце концов порешили следовать по Невскому в сопровождении двух батальонов гвардейцев. Это никого не удовлетворило, но государь настоял на своем, и, собравшись в хорошей компании отдохнуть и посмеяться, решая пустячные вопросы, они разошлись злые, измотанные, крайне недовольные друг другом.

Впрочем, все это в конце концов пошло на пользу делу, потому что, как утверждают знатоки, при охоте на волков ничего нет полезней умеренной, ни к кому особенно не обращенной злости.

А волк тем временем лежал в какой-то сырой ложбине и грыз дубовую кору. Трудно сказать, чего это на него нашло. Может, это был обряд, при помощи которого живое существо общалось с другим таким же живым существом. Может, он надумал поточить зубы перед последней схваткой. А может, он вспомнил, как в детстве, чтобы показать себя, прогрыз дубовую кору. Тот горьковатый привкус жил в нем все время и теперь, в старости, стал поперек пути. Он сидел и грыз свое детство, свое прошлое, он грыз до крови, до изнеможения, и когда кора сошла на нет, он встал и с облегчением пошел дальше на север. Теперь воспоминания не мучили его. Теперь и в прошлом, так же как и в будущем, оставалась одна пустота.

На следующий день, во время утренней прогулки, Лев Николаевич наконец подписал в лесу свое знаменитое завещание.

Софья Андреевна после принятого снотворного спала долго, потом занялась хозяйством, но тяжелые предчувствия не покидали ее. После обеда Лев Николаевич вместе с Булгаковым принялся разбирать на веранде свежую почту, а доктор Маковицкий углубился тут же в чтение газет, которые он выписывал из Словакии и читал от корки до корки с жадностью тоскующего по родине человека.

Лев Николаевич все еще находился под впечатлением только что подписанного документа и, перебирая письма, думал о другом; вдруг, оторвавшись от чтения какого-то послания, спросил Булгакова:

— Валентин Федорович, голубчик, вы недавно окончили курс в университете. «Двадцать» пишется через «д» или через «т»?

— Через «д».

— Скажи, какой конфуз! Я написал через «т».

Маковицкий, имевший некоторые познания в области юриспруденции, оторвавшись на миг от газеты, предупредил:

— Официальные документы, а тем более завещания, не допускают никаких исправлений.

— А я и не буду исправлять. Пускай думают, что старик был к тому же еще и безграмотным.

С улицы доносился звон, и Лев Николаевич, измученный этим колоколом, попросил:

— Душан Петрович, голубчик, не сможете ли вы мне одолжить немного мелочи? Денег я с собой уже который год не ношу, но я распоряжусь, чтобы сегодня же вернули все мои долги.

— Помилуйте, Лев Николаевич, о чем разговор? Только я думаю, что этот Фаддей сопьется совершенно, получая от вас что ни день по гривеннику.

Лев Николаевич смущенно улыбнулся.

— Не могу переносить его звона. У него своя, особая манера звонить, и когда я его слышу, меня прямо переворачивает...

Получив от Маковицкого мелочь, он вышел — звон тут же утих, — потом, вернувшись, опять принялся за письма. Им было очень уютно в этой мужской компании, и они старались сохранить подольше уют этого молчаливого общения. Изредка сквозь опадающую лист-

ву на веранду проникали косые лучи осеннего солнца, и Лев Николаевич, несколько смущаясь, по-стариковски пересаживался вместе со своим плетеным креслом туда, куда еще светило скупое осеннее солнце.

— Вот, — сказал Булгаков после большой паузы, — издатель Сытин в третий раз просит ускорить правку корректуры «Круга чтения» и вернуть ее в типографию как можно быстрее...

— Быстрее нельзя, — сказал Лев Николаевич. — Я и так работаю помногу каждый день. Быстрее этого уж никак нельзя...

Взял письмо Сытина, почитал выборочно тут и там.

— Говорят вот, что лень — это среда, в которой зреют всякие пороки, и это правда, но почему-то никто не говорит о том, что и спешка сверх всякой меры тоже вредна. Возможно, спешка более пагубна для человека, чем лень. Я как-то начал роман о Петре Первом, потом забросил. Написал только начало, и единственное, что у меня там хорошо получилось, так это объяснение многих злодейств царя. Его совершенно разрывала спешка — прием министров, строительство кораблей, загул с любовницей, отливка пушек, пошивка сапог — тут не то что Петр Великий, тут любой голову потеряет...

Доктор Маковицкий скромно в уголочке быстро записывал за ним, Лев Николаевич, приметив это, поначалу смутился, а затем продолжил свою мысль в основном для того, чтобы запись у доктора не получилась совсем уж кущей:

— Каждый взрослый человек имеет свой разумный ритм согласованных с его возможностями и потребностями движений, и с этого ритма его снимать не нужно, потому что если его все время торопить и подгонять, то он не то что большего не сделает, но не сделает и того, что у него раньше получалось.

Молодой и несколько наивный Булгаков спросил:

— Все это написать Сытину?

— Нет, зачем же, пускай Сытин меня торопит, в этом у него свой резон, — другое дело, что сам я спешить не буду...

Маковицкий отложил свои записи.

— Простите мое любопытство, Лев Николаевич, но мне очень любопытно узнать, отчего вы не написали все-таки роман о Петре Великом?

Толстой пальцами прошелся по бороде, потом погладил ее.

— Он мне слишком долго не давался, тот роман... Верно, оттого, что слишком уж много изменилось в нашей жизни после Петровской эпохи — даже язык русский изменился, причем в довольно большой степени, а я принадлежу к тем писателям, которые превыше всего ставят истинность и достоверность того, о чем они пишут... Кроме того, мне долго не давало покоя определение Жуковского: Петр не столько шел вперед, сколько скакал от пункта к пункту, вперед ли, назад, все равно.

— Но ведь это же не есть истина!! — возразил Маковицкий.

— Друг мой, кто может сказать, что владеет истиной?! Покажите мне его, и я поклонюсь ему!

И снова шелестят письма, и Лев Николаевич ловит морщинистым старческим лбом запоздалые лучи осеннего солнца, и тепло, уютно им втроем на веранде.

А в это время Софья Андреевна в своей комнате на втором этаже раскроила из темного атласа широкую рубаху для Льва Николаевича. Скоро должна была наступить сорок восьмая годовщина их свадьбы, и она готовила ему подарок, а какой еще может быть подарок, кроме как своими же руками сшитый кафтан, тем более что тот, старый, который Лев Николаевич надевает по праздникам, довольно уже поизносился.

Кончив кроить, она принялась наметывать материю, и при этом почему-то ей припомнился первый кафтан, который она сшила Льву Николаевичу в дни своей первой беременности, — тогда он у нее совсем не получился, но Лев Николаевич, чтобы не огорчать ее, всячески расхваливал ее работу и надевал всегда перед гостями. И уже всплыла в ее памяти огромная вереница кафтанов, которые она сшила, припомнила она и ту великую гору белья, распашонок, кофточек, передничков, юбочек, свободных и в обтяжку, которые прошли через ее бедную старую машинку, так что временами трудно было сказать, кто она такая — то ли богатая барыня, то ли переписчица бумаг, то ли швея с бедной окраины Москвы...

Ах, если бы она знала в те длинные ночи, когда стрекотала вовсю зингеровская машина, если бы она знала, что наступят дни, когда не будут более нуждаться ни в ее кафтанах, ни в ее переписке, ни в ее люб-

ви и на всякое слово, которое она замолвит за своих детей, он ответит оскорбительным молчанием, готовый всегда сказать «нет», хотя и не знает еще толком, о чем она хочет его просить...

Слезы сначала редко, потом чаще и чаще стали капать на новую, только что раскроенную материю. Софья Андреевна быстро ее свернула и, горестно обхватив голову руками, зарыдала. И в этой боли, в этой обиде, в этой скорби она услыхала откуда-то издали голос Льва Николаевича. Он звал ее. И, как старый солдат, как самый верный слуга, она тут же вытерла лицо, привела себя в порядок. Быстро, насколько позволял возраст, спустилась по лестнице, вышла на веранду, спросила ласково:

— Левочка, ты меня звал?

Лев Николаевич был в тяжелом положении. Он всю жизнь, всегда оттаивал после ласкового слова, а тут нужно было проявить твердость характера. Подписание завещания было результатом многолетнего раздумья, это был итог целой эпохи в его жизни, и, если поддаться, все может пойти насмарку. Не отрывая глаз от писем, он сказал сухо:

— Нет.

Они были уже несколько дней в ссоре, и эта ссора давала ему право на такой тон. Но бедная Софья Андреевна, она жаждала примирения, она думала, что ее зовут, чтобы мириться, и тут это острое, кислое «нет»... Она судорожно глотнула раза два, повернулась и вышла, но какая-то тяжелая, нервозная атмосфера, созданная ее неожиданным приходом, все еще висела в комнате. Чтобы как-то разрядить ее, Булгаков спросил:

— Душан Петрович, что нового в словацких газетах?

Маковицкий на этот раз был недоволен своей прессой.

— А, какие там новости — одни интриги, одни козни... Соседи наши по-прежнему говорят о мире, а думают о войне...

Булгаков спросил:

— Кстати, о «Войне и мире». Гимназист просит написать ему, как правильно будет — Ростóвы или Рóстовы.

Лев Николаевич ответил чрезвычайно серьезно:

— Ростóвы. И непременно отпишите ему. Я люблю, когда у человека есть точный интерес к предмету, — это первый признак серьезности самого человека.

Тихо и незаметно вошла Александра Львовна с большой кипой корректуры.

— Я только на одну минутку. Не помешаю?

Лев Николаевич заулыбался.

— Саша, милая, разве ты можешь кому-либо мешать?

— Не надо меня хвалить, а то недолго человека и испортить. Вот я с той же самой антивоенной статьей — «Одумайтесь...». Владимир Григорьевич считает, что композиционно хорошо, что статья разбита на многие главки, но, однако, полагает, что предварять каждую главку отдельным эпиграфом вряд ли целесообразно. Он думает, что было бы лучше собрать все эпиграфы вместе, поставить их в самом начале, а дальше уже идти сплошным текстом...

Лев Николаевич взял у нее корректуру, подумал.

— Нет, пускай лучше остается так. Я, знаете ли, когда сам читаю что-нибудь с эпиграфом, то обычно перескакиваю через эпиграф и начинаю с основного текста. Если все эпиграфы собрать вместе, то читатель сможет легко, одним махом, через них перескочить, а если они будут разбросаны, то, глядишь, за какой-нибудь из них и зацепится...

Александра Львовна взяла у него корректуру и, смеясь, сказала:

— Ну уж по твоему аккуратному виду никак не скажешь, что ты пропускаешь эпиграфы...

И вышла, и опять тихо шелестит бумага на веранде, но зингеровская машина по-прежнему не хочет шить — запутываются нитки в челноке, ломаются иголки, слезы капают и капают на новый атласный материал. И опять рыдания, опять в этом гуле обиды чудится Софье Андреевне, что ее жалеют, что ее зовут, и она опять спускается по лестнице и выходит на веранду.

— Левочка, ты меня звал?

И опять сухое, жестокое, краткое:

— Нет.

— Странно. Второй раз я отчетливо слышу, что ты меня зовешь.

Она была на таком нервном пределе, что ее становилось жалко, но Толстой в тот день подписал завещание, он не мог жалеть ее.

— Тебе показалось, Сонечка. Вот свидетели, они подтвердят, что я тебя не звал.

— Ну хорошо, извините.

Ушла, но после ее ухода снова воцарилось тяжелое молчание. Шуршит бумага, и опять тихо. Молодой Булгаков делает еще одну попытку вернуть старику хорошее настроение:

— Лев Николаевич! Прелюбопытное письмо! Просят помочь открыть школу, которая работала бы по той же методике, по которой работала школа Ясной Поляны.

Лев Николаевич спросил с подозрением:

— Женщина пишет?

— Фамилия среднего рода, но почерк, мне кажется, женский.

— Тогда ответьте, что помочь не представляется возможным. И кратко, без реверансов. — После небольшой паузы пожаловался Маковицкому: — Устал я от этих дам-педагогов.

Маковицкий, улыбнувшись, спросил:

— Та молоденькая, которая вчера вас дожидалась, тоже была педагогом?

— Ах, не напоминайте мне о ней!

Маковицкий, почувствовав за раздражением Льва Николаевича готовность к тому, чтобы поделиться впечатлениями, попросил:

— А что было, Лев Николаевич? Расскажите, пожалуйста.

Толстой подумал, улыбнулся.

— Уморительная была сценка. Входит она в кабинет — такая молодая, веселая, хорошо одетая. Цепочка на шее, и на руках такая же цепочка. Дорогая, видимо. Говорят, что хочет открыть совершенно новую школу, по новой программе, но ей не хватает двух вещей, чтобы осуществить свою мечту. Образования и денег. Но она не унывает: образование она надеется получить на частных курсах, а денег просит у меня. Я ее спрашиваю: какая же новая программа будет в вашей школе? Она роется в своей сумочке, вынимает тетрадь, оттуда сыплются какие-то бумажки. И начинает читать мне: закон божий, математика, география, история. Я ее спрашиваю: что же в этом нового? Она говорит, нисколько не смущаясь: как же, тут все новое! Я на это говорю ей, что, к сожалению, ничем не смогу помочь. Она, знаете ли, нисколько не смутилась и тут же просит у меня волосок. Я говорю: как волосок? Да вот так, говорит она, волосок. На память. Я говорю: вам из бороды или лучше из виска? Ах, говорит, все равно, лишь

бы волосок был. А вот волоска я вам, барышня, не дам. Удивилась чрезмерно: как, почему? Да потому, что не желаю.

Маковицкий, отсмеявшись, спросил:

— С тем и отпустили?

— С тем и отпустил.

Булгаков, слушавший внимательно, тем временем все разбирал письма и, чтобы не дать разговору перейти на другую тему, достал тетрадный листок.

— Лев Николаевич, вот примерно в том же роде. Женщина раскаивается в прелюбодеянии. Пишет, что, будучи замужем, полюбила другого, находится с ним в преступной связи и спрашивает, как ей быть.

Толстой очень оживился:

— Ну-ка дайте... Это интересно, это я должен сам прочесть...

Надел очки, читал долго, внимательно, потом мягко, с любовью разглаживая лист, сказал своей корреспондентке, точно она была тут рядом:

— Милушка ты моя, а кто может поручиться, что за этим вторым не последует третий? Кажется, Ларошфуко писал, что можно встретить женщину, у которой не было любовников, но трудно встретить женщину, у которой был только один любовник...

И снова вошла, уже в третий раз, Софья Андреевна. Она встала у дверей, бледная, измученная, растерянная. Сказала, с трудом переводя дыхание:

— Надеюсь, на этот раз я не ослышалась...

Лев Николаевич ничего не ответил, и она опустилась у его ног. Тихо, по-деревенски, завыла и, захлебываясь горем, спрашивала:

— Левочка, почему ты на меня сердишься? И сколько эта наша ссора будет продолжаться? Ведь не может же она быть бесконечной...

Булгаков вышел первым. Маковицкий сначала дочитал статью в газете, потом тоже вышел. Оставшись вдвоем с мужем, Софья Андреевна долго и безутешно плакала, а Лев Николаевич сидел неподвижно, в том положении, в котором она его застала, когда вошла. Отплакавшись, Софья Андреевна попросила тихим голосом:

— Левочка, у меня сегодня на редкость тяжелый день. Мне все почему-то кажется, что в нашей семье произошла какая-то катастрофа, которая до меня еще не дошла, но с минуты на минуту дойдет. И я молю

бога отдалить от меня это испытание и прошу тебя помочь мне.

— Чем же я могу тебе помочь?

— Успокой меня. Или, если тебе этого не хочется, посиди со мной вот так, рядышком, и я постараюсь сама себя успокоить.

— Хорошо. Посидим.

Они сидят, молчат, и Лев Николаевич тем временем думает: «Что меня всегда в ней поражало, так это ее интуиция. Выдающаяся, прямо-таки дьявольская интуиция. Десять лет идут разговоры о моем завещании, десять лет она волнуется и не особенно волнуется, но вот этот документ подписан. Не прошло еще и дня, а она уже все знает, хотя новость до нее еще не дошла».

— Поговори со мной, Левочка. Я не люблю, когда ты, сидя рядом, думаешь о другом.

— О чем же нам с тобой поговорить?

— Ну хотя бы о нашем последнем утешении — о Ванечке.

— Давай поговорим о Ванечке.

— Ты знаешь, мне кажется, что он родился таким красивым и хорошим только потому, что бог его нам дал на старости лет, когда сами мы стали добрее, духовно богаче, чем были в молодости.

Лев Николаевич согласился:

— Может быть.

Софья Андреевна сияла: никого так глубоко и сильно она не любила, как своего последнего сыночка.

— И еще я подумала, Левочка, что не случайно в народных сказках эти самые Ванюши-дурачки, самые младшие дети, оказываются самыми сильными и мудрыми. Они впитывают опыт взрослых родителей и неудачи своих старших братьев.

— Очень хорошая и интересная мысль.

— И еще я думаю, что если бы он у нас тогда, после той болезни, выжил, то у нас теперь все было бы по-другому и сами мы были бы другие — более миролюбивые, более терпимые друг к другу.

— Возможно.

— А еще временами мне почему-то кажется, что и у него был дар сочинителя, что он тоже стал бы всемирно известным литератором. Его первое сочинение тоже называлось бы «Детство», и была бы эта книга о Ясной Поляне, книга о его детстве, о нашей старости. И, может, потому нам теперь так горько и маемся мы,

что перед концом жизни никто не увидит нас молодыми глазами и не запомнит молодой душой.

Лев Николаевич вдруг встал и долго смотрел, как осыпаются листья в саду. Красивые, желтые, они в полном безветрии, по каким-то высшим законам естества, отделясь от веток, долго кружили в своем последнем полете.

— Почему ты молчишь, Левочка?

— Грустно отчего-то стало, и к тому же вспомнились стихи Фета об осени:

С вечера все спится.
На дворе темно.
Лист сухой валится,
Ночью ветер злится
Да стучит в окно...

А тем временем по Невскому проспекту императорский двор и весь высший свет выезжали на охоту. Во главе колонны идет лейб-гвардии его величества полк, следом идут конногвардейцы. Гремят военные марши, стучат копыта сытых лошадей по каменным мостовым, зловеще чернеют стволами ружья, блестят на поясах патронташи. Озябшая было от первых осенних холодов столица ожила, канун большого и важного события вдохнул в нее новую жизнь. И те, что были за, и те, что были против, превратились в зрение, в слух. Это потом пойдут толки, догадки, газетная ирония, а пока люди стоят, кланяются и с завистью провожают взглядами охотников, потому что все они люди и в каждом человеке живет древнейший инстинкт охоты, каждому хочется выследить и добыть зверя, чтобы обеспечить свой завтрашний день. Другими словами, утвердить себя, уничтожая другого, ибо это и есть та кромка над пропастью, по которой мир гуляет вот уж много-много тысяч лет.

Измотанный, усталый волк, склонившись над лесным родничком, лакал холодную, студеную воду. Пить не хотелось, но был час, когда его обычно настигала жажда, и, хотя он теперь был голоден и измотан, он заставил себя свернуть с дороги и приникнуть к роднику. Уже слышен был лай собак и шум гонщиков, но он должен был оставаться верным себе, своим привычкам, он должен был всецело владеть собой, и он ритмично подхватывал языком холодные капли.

Он знал, что, как только кончит лакать, начнется облава, может быть, последняя в его жизни облава. А жить ему все еще хотелось, ему нестерпимо хотелось жить. Возглавить стаю, выследить зверя, подраться из-за молодых волчиц, умножить свой род, но ничего этого уже не было и быть не могло. Оставалась одна холодная вода, да оголенный лес, да сырая земля под ногами.

В полдень приехал из Петербурга вызванный семьей Толстых знаменитый профессор-психиатр Россолимо. До самого обеда Софья Андреевна гуляла с ним по осеннему опустевшему саду, потом представила гостям, но обедать не садились — ждали Льва Николаевича. А он, как назло, заработался и пришел довольно поздно — пришел угрюмый и усталый. Отвесил всем общий поклон и сел на свое привычное место. Софья Андреевна сказала веселым, несколько наигранным голосом:

— Левочка, познакомься, пожалуйста, Григорий Иванович, известный профессор медицины, был настолько любезен, что согласился приехать к нам из жуткой дали — из Петербурга.

Лев Николаевич встал и поклонился ему особо.

— Надеюсь, дорога вас не очень утомила?

— Да нет, наоборот. В дороге я лучше всего отдыхаю.

После небольшой паузы Лев Николаевич спросил:

— Вы какую медицинскую дисциплину практикуете?

Профессор несколько смутился:

— С вашего позволения, моя область не совсем точно называется нервно-психической...

— Это, вероятно, та самая область, которая призвана определить, до каких пор человек в здравом уме и когда он из него начинает выживать?

Профессор мягко улыбнулся.

— Не смею с вами спорить по этому вопросу.

Такая обнаженность разговора несколько смутила Софью Андреевну, и она после того, как прислуга разложила гостям кушанья, сказала:

— Как хотите, а я человек городской. И, прожив почти всю свою жизнь в Ясной, я все еще тоскую по городу. В городском укладе все-таки больше порядка. Здесь, на приволье, развелось столько нищих, воров, бродяг, что смотреть на них и то неприятно. Сегодня

утром выхожу и вижу под Деревом бедных мальчика с удивительно нехорошим лицом.

Лев Николаевич спросил, не отрываясь от еды:

— Хуже, чем наши с тобой лица?

Все засмеялись. Софья Андреевна тоже улыбнулась.

— Хуже.

Пауза. Едят. Звон ножей, вилок и чашек. Толстой думает: «Сегодня у нас опять блины. Дети думают, что блины — это кушанье так себе, а между тем много людей не могут их иметь».

Татьяна Львовна попросила профессора:

— Расскажите, пожалуйста, какие новости в столице?

Профессор доел свой блин, вытер губы салфеткой.

— Да новостей особых нету. А может, они до меня не доходят. Единственная новость — это португальская революция. Но вы, вероятно, уже знаете об этом.

Лев Николаевич кивнул.

— Мне вчера об этом сообщили, и я искренне обрадовался.

Софья Андреевна пожала плечами:

— Не понимаю, чему тут радоваться?

— Ну как же, все-таки есть движение. В современных государствах революции неизбежны, и эти короли и императоры, помяните мое слово, еще насидятся по тюрьмам.

— Не все так считают. Вот у Достоевского, например, в его «Братьях Карамазовых»...

При упоминании о Достоевском Толстой оживился:

— Достоевский не совсем прав. Его нападки на революционеров нехороши. Он судит о них по внешности, не входя в их настроение.

Андрей Львович, один из младших сыновей Толстого, счел нужным вступить в разговор:

— Настроение — дело случая, а внешность отличается постоянством. Я даже думаю, что характер больше проявляется во внешности, чем в настроении.

Лев Николаевич сказал сухо:

— Что касается вас, то это именно так.

Разговор снова обострился, и Софья Андреевна опять кинулась на выручку:

— Левочка, ты сегодня очень желчный. После пеших прогулок ты всегда возвращаешься желчным. А Делир тем временем бунтует в конюшне.

Пауза. Едят. Лев Николаевич думает: «На прошлой

неделе тоже обжирались блинами. Человек пять или шесть домашних сбивались с ног и жарили их, человек пятнадцать тут, за столом, жрали, а я сидел и слушал, как они чавкают, и мне было удивительно стыдно видеть перед собой их масленые, ублаженные лица».

Когда обед был закончен и гости, перебравшись в большую залу, отдыхали, вошел Булгаков с пачкой писем.

— Лев Николаевич, вы уже второй день не смотрите почту.

— Занят, голубчик, занят художественной работой. А что, там есть дельное, что-нибудь срочное?

— Да как вам сказать...

Булгаков сел за маленький столик и начал перебирать свежую почту.

— Вот телеграмма от петербургского студента — просит выслать несколько рублей, сидит без денег.

Лев Николаевич попросил телеграмму. Почитал, улыбнулся.

— Это уже нечто новое. Раньше с такими просьбами обращались письменно, телеграф применен впервые. Еще что?

— Много писем о душе, о религии, о боге, и русских, и иностранных.

— Этими мы займемся завтра. А что в тех конвертах?

— Стихи. На этой неделе пришло удивительно много стихов.

При одном упоминании о стихах Толстого передернуло.

— Валентин Федорович, голубчик, отпечатайте шапирографом несколько сот открыток с таким текстом: «Лев Николаевич прочел ваши стихи и нашел их очень плохими. Вообще он вам не советует заниматься этим делом». И как только по почте придут стихи, вы сразу, не читая их, отправьте адресату такую открытку.

Гости засмеялись, а Валентин Федорович замялся:

— Неудобно как-то, Лев Николаевич. Вдруг попадутся хорошие стихи?

— Да откуда они возьмутся! Теперь одни безумства в литературе.

— Ну а вдруг! Открываем конверт, а там — отличнейшие стихи!

Лев Николаевич помолчал, потом сказал сухо, поучительно:

— Отличными они быть не могут уже потому, что я вообще не люблю стихов. Мне нравятся всего несколько стихотворений Пушкина, и то главным образом потому, что Пушкин писал еще и великолепную прозу.

Андрей Львович выразил свое неудовольствие по поводу этих бесконечных отвлечений:

— Папа, господин профессор хотел бы как можно скорее вернуться в Петербург.

Профессор, смутившись, добавил:

— К сожалению, мои занятия в университете...

Толстой поднял голову. Взгляд его старческих, выцветших глаз долго блуждал по лицам родных, и тем временем все его существо молилось: «Господи, помоги мне овладеть собой, дай мне силу терпения апостолов твоих...»

Бог услышал молитву. Лев Николаевич, добрый и милый старик, успокоившись совершенно, спросил тихо, миролюбиво:

— И что я должен сделать для господина профессора?

Одна только Софья Андреевна была вправе назвать вещи своими именами:

— Левочка, Григорий Иванович меня осмотрел, выписал много новых лекарств, и мы хотели бы, чтобы он и тебя проконсультировал.

Лев Николаевич долго сидел и думал, а пока он думал, с улицы опять донесся мягкий звон колокола. Пошел дождь, нищим стало неуютно под деревом, и они просили графа выйти. Толстой подошел к окну, посмотрел во двор. Сказал тихо:

— Как я уже говорил, я теперь занят художественной работой. А кроме того, я думал, что сам факт нашего общения за столом уже мог бы послужить в какой-то степени материалом для той самой дисциплины, которую господин профессор...

Россолимо снова смутился:

— О, несомненно, что касается строго моей специальности, то для меня все ясно. Моя просьба сугубо личного характера. Конечно, если она вас не затруднит...

— Ради бога, я к вашим услугам...

Профессор сказал нетвердым голосом:

— Я слышал, что вы хорошо играете в шахматы. Сам я тоже люблю в минуты досуга...

Толстой улыбнулся.

— То, что я хорошо играю, — это для меня неожиданная и приятная новость. Я проигрываю девять партий из десяти, но если это поможет вам скоротать нынешний вечер у нас...

— Премного вам благодарен.

Толстой пошел было к двери. С улицы доносился звон колокола, и он, остановившись у самого выхода, повернулся к профессору и пожаловался ему:

— Жить на свете стало тяжело.

Софья Андреевна почувствовала себя задетой:

— Тебе-то почему тяжело? Все тебя любят.

— А отчего мне не тяжело-то может быть? Оттого, что кушанья хорошие, что ли?

— Да нет, я говорю, что все тебя любят.

— Любят, как же! Вон посмотри, сколько нищих во дворе, — каждый день собираются по пять-шесть человек, и нету им конца. Вот и от верховых прогулок пришлось отказаться.

Софья Андреевна опять вспылила:

— Да какое тебе дело до этих бродяг! Твое имя на устах всей России, о тебе пишут все газеты мира, письма и телеграммы приходят мешками! Вон и сегодня утром принесли две телеграммы из «Таймса» — просят срочно сообщить, как твое здоровье, как ты себя чувствуешь. Даже и не знаю, что ответить.

Толстой погладил свою седую бороду.

— Надо писать правду. Пиши, что помер, и похоронен, и на его поминках пол-России напилось так, что мир в ее глазах качался.

Андрей Львович сказал металлическим голосом:

— Мир в глазах России качается по совершенно другим мотивам.

Толстой сказал сухо:

— Благодарю вас за пояснения, без которых, слава богу, я так долго живу до сих пор.

И вышел.

Над бескрайними лесами русского Севера летает воронье. Птицы несутся единым потоком на большой высоте, их однообразное, тоскливое карканье баламутит душу людскую, и все ждут, когда они наконец пролетят, когда небо снова очистится, а они все кружат и кружат.

Березовые, сосновые, хвойные леса стоят тихо, безмолвно в ожидании первого снега, но это только так они

видятся нам, людям. А воронам, должно быть, видны конные егеря, костры, ружья, бесконечные цепи солдат. Они хорошо знают природу людскую. Знают они, что вот-вот последует пальба, что после этой пальбы одни уйдут с чувством победителей, другие останутся лежать в оврагах, и потому-то воронье и радуется, потому-то они и каркают там, в вышине...

Волк нашел огромную полуобглоданную кость и упал рядом с ней. В другие времена он из-за такой кости устроил бы драку, провел бы ночь, ломая и калеча на ней зубы, и это было бы лучшей ночью в его жизни. Теперь, однако, ему было не до кости, но пройти мимо он тоже не мог. Он лежал достаточно близко, чтобы видеть ее, вдыхать ее запах, потому что крепнет волк не только от той пищи, которую ест, но и от той, которую он съесть не может, но которая продолжает пребывать в его власти. Он лежал с закрытыми глазами и ждал. Ему крайне нужны были силы, хотя бы немного сил, чтобы достойно завершить свою длинную, трудную, тяжелую и прекрасную жизнь.

Часов около шести, сразу после чая, Лев Николаевич в большой зале второго этажа играл с профессором Россолимо в шахматы. Они сидели за маленьким столиком, нарочно приспособленным для этой игры, и Лев Николаевич съежился весь от напряжения. Игра не клеилась, а кроме того, все домашние и гости нашли себе в этом развлечение. Они стояли вокруг столика и ход за ходом во все глаза следили за игрой.

Толстой был чрезвычайно чувствителен к тому, что принято называть человеческим достоинством. Он сидел весь пунцовый. Игра была унизительна, в нее вкладывался не просто спортивный смысл, а нечто гораздо более значительное и важное. Каждый раз перед тем, как подвинуть фигуру, Лев Николаевич украдкой поглядывал на окружающих, ища сторонников, хотя бы сочувствующих, но все смотрели только на шахматную доску, на старые, дряхлеющие руки Толстого и на холеные, более мясистые и молодые руки профессора Россолимо.

Лев Николаевич чувствовал себя одиноким и заброшенным. Он расстроился и, как всегда, когда расстраивался, играл плохо и все оглядывался, пока вдруг не увидел среди столпившихся вокруг людей милое лицо

пианиста Гольденвейзера. Он тоже следил за ходом игры, но его занимали не шахматные фигурки, а прежде всего люди, передвигавшие их. Лев Николаевич улыбнулся ему благодарно. Александр Борисович смутился. Он только теперь понял, как одинок был Толстой во время этого поединка. По сути дела, их и было-то всего двое, хотя почему двое? Трое! Как бог свят — трое! Гольденвейзер повернулся, тихо ушел в соседнюю комнату, и несколько минут спустя через открытые двери донеслась музыка Шопена. Толстой весь засиял. Подумал: «Вчера приснилось, что вальсировал на балу с какой-то молодой красивой дамой и ужасно смущался тем, что я танцую по старинке, в то время как моя дама танцевала по-новому...»

Будучи уже в ином настроении, он сделал несколько удачных ходов, чем привел в смущение профессора.

— Вы собираетесь атаковать?

— А почему бы нет?

— Вы меня извините, но в вашем положении...

— Ах, голубчик, я уже вижу, что партия проиграна. Так лучше проиграть, имея за собой, по крайней мере, несколько смелых атак, чем проиграть, все время защищаясь...

— В философском плане это, может быть, и верно, но в данном конкретном случае...

Лев Николаевич мило, просительно улыбнулся ему.

— Если не возражаете, давайте послушаем эту пьесу Шопена.

— О, ради бога...

Все тихо сидели и слушали музыку Шопена, а Толстой думал: «Удивительный человек наш Александр Борисович... Он, видимо, догадывается, как я опечален тем, что он завтра уезжает, что мне очень будет не хватать его дружбы, его игры на фортепьяно, и, каким-то образом почувствовав это, он тихо вышел и подарил нам еще немного радости, еще немного того света, который называется Шопеном...»

Потом музыка утихла. После небольшой паузы Софья Андреевна спросила:

— Хорошо погуляли вечером?

Лев Николаевич сказал скороговоркой, так как все еще находился под влиянием музыки:

— Чудесно.

— Далеко ездили?

— Верст пятнадцать, должно, будет.

— Чего понеслись в такую даль?

Она решительно и безжалостно разрушала атмосферу, оставленную Шопеном, и нужно было вступать с ней в разговор. Толстой сказал:

— Поехали туда, потому что в деревне Кузьминки, как нам рассказывали, у крестьянина Митрия большое горе — пала лошадь.

Софья Андреевна была удивлена.

— Стоило ли из-за того, что пала какая-то кляча, тащиться бог весть куда!

Граф вздохнул и низко опустил голову.

— Человеческое горе, если оно искреннее и глубокое, заслуживает не то что пятнадцати верст в мягкой барской пролетке, а пятнадцати тысяч верст босиком или в легких сандалиях, какие носили апостолы.

Сын Толстого, Андрей Львович, видимо, связывал какие-то надежды с этой шахматной партией. Теперь он был крайне разочарован тем, что игра не оправдалась, и, усевшись удобно в кресле, сказал с некоторым высокомерием:

— В экономическом плане горе Митрия из Кузьминок измеряется всего тремя рублями, и незачем тащиться пятнадцать тысяч верст в сандалиях вместо того, чтобы отправить ему посыльным три рубля.

Этот разговор угнетал Толстого. Он вернулся к шахматам, сделал ход, потом сказал, не отрывая глаз от фигур:

— Еще протопоп Аввакум знал, что рублями в России многого не достигнешь. И, между прочим, раз зашел об этом разговор, то Митрию не столько три рубля нужны были, сколько нужен был незнакомый человек, которому бы он смог еще раз излить свое горе и тем самым облегчить себя. И он нам рассказал медленно и обстоятельно все, что с ним произошло, и мы унесли часть его горя с собой, а этого, должен тебе сказать, никакими рублями не измеришь.

Софья Андреевна, подумав, предложила:

— Но в таком случае передайте и вы нам часть того горя, которое унесли из Кузьминок, чтобы и мы облегчили вас!

Толстой искоса посмотрел на нее. Она выглядела усталой и измученной, ей не то что с чужим горем, она и со своим еле-еле справлялась. Ему не хотелось говорить, но воспитание и выдержка взяли верх.

— Изволь... Крестьянина зовут Митрий Сударионов.

Лошадь у него пала позавчера, под самый закат, а к нашему приезду он сидел на завалинке, задавленный, отрешенный, и мы с трудом уговорили его рассказать нам, как все было. Итак, лошадь у него пала еще позавчера. А вчера встал он рано утром и с этим павшим мерином прохлопотал весь день. Первое дело сходил к драчу в Андреевку. Пока дождался, пока сошелся в цене, было уже к обеду. Потом выпросил у соседа лошадь свести мерина на погост, нельзя лошадь закапывать там, где она пала. Сосед Степан пожалел. Дал лошадь, помог взвалить мерина на телегу. Ну, значит, стоит Митрий мой и смотрит. Отодрал подковы с передних ног, отдал бабе. От одной подковы осталась только половина, а другая ничего, целая была. Хорошая подкова, он ее нам показывал.

Софья Андреевна взмолилась:

— Левочка! Я не могу больше этого слушать! Все они пьяницы, эти наши крестьяне!

Андрей Львович поддержал Софью Андреевну:

— Русский мужик трус. Я сам видел, как пятеро драгун выпороли целую деревню — каждый четвертый двор пороли, — и что же? Они стояли смирно, как стадо овец, я даже думаю, что пятеро драгун — это слишком много. Такая работа под силу и трем, а то даже и двум драгунам.

Профессор сказал смущенно:

— Положим, боялись они не драгун, а той силы, которая стояла по казармам и пряталась за драгунами...

Толстой улыбнулся.

— Благодарю вас, господин профессор... Я с малых лет стараюсь втолковать ему эту мысль, но безуспешно.

Гольденвейзер перед тем, как снова вернуться к Шопену, долго перебирал клавиши.

После довольно длинной паузы Лев Николаевич сказал:

— Ты меня извини, Соня, но я все-таки доскажу... Мне неспокойно будет на душе, если я, начав рассказывать о человеческом горе, не довел рассказ до конца. Да... Ну, значит, погрузили они мерина и в полдень выехали со двора. Телега была маленькая, а мерин большой. К тому же уложили они его неловко — хвостом наперед. Голова мерина свисала до самой земли, и пока они везли его через всю деревню...

Софья Андреевна встала и стоя дрожала вся.

— Если ты не перестанешь, я тотчас же выйду.

Андрей Львович сказал поучительно:

— Важно существо дела, а не подробности.

Толстой улыбнулся.

— Нет, ты ошибаешься. Истина вне подробностей не стоит ломаного гроша. Библия бессмертна не своим замыслом, а своими подробностями.

Сидевшая тихо в своем уголочке Татьяна Львовна сказала:

— Мне не хотелось бы с тобой спорить, папа, но ведь многое еще зависит и от состояния общества, от его духа и умонастроения... Я недавно вычитала у Лескова такую мысль: если бы Христос жил в наше время в России и печатал бы Евангелие, то у него при случае попросили бы автограф, и тем бы дело и кончилось.

Лев Николаевич быстро отодвинул свой стул, встал и вышел.

Встревоженный профессор спросил:

— Что-нибудь случилось?

Татьяна Львовна вышла за ним, потом вернулась улыбаясь.

— Ну конечно, я так и знала. У него глаза всегда были на мокром месте. Его в детстве так и прозывали — Левушка-ревушка.

Минут через пять Лев Николаевич вернулся, сел за столик, сделал машинально какой-то ход, потом сказал:

— Это очень печальная истина еще и потому, что сегодня России как никогда нужна религия. Я тянул эту песенку и буду тянуть ее, сколько мне еще осталось жить...

Профессор Россолимо, смущенно поглаживая макушку, спросил:

— Если это вас не затруднит, я хотел бы узнать, что вы подразумеваете под религией...

Толстой долго, мучительно долго думал.

— На мой взгляд, религия есть установление такого отношения человека к бесконечности, которое определяет цель его жизни.

— Стало быть, за основу вы берете два элемента — человека и бесконечность?

— Да, но только в ином порядке — бесконечность и человека.

— Ну и стало быть...

Разговор не клеился, игра в шахматы тоже не шла, и когда все подумывали о том, как бы этот трудный вечер закруглить, из соседней комнаты опять донеслись звуки Шопена. Его нежная и мудрая грусть, его неистов-

ство опять наполнили собой оба этажа яснополянского дома. Люди сидели завороженные, сидели не шелохнувшись, и когда Гольденвейзер кончил, Татьяна Львовна сказала:

— Ревность сделала Шопена гением. Эта фуга написана как раз той ночью, когда от него ушла Жорж Санд.

Софья Андреевна была удивлена:

— Разве она ночью уходила?

— Ну как же, это описано десятки раз! Они премило поужинали, и пока они наслаждались уединением, горничная собирала ее вещи. Бедный Шопен! Он встал, чтобы пожелать ей спокойной ночи, а у подъезда ждала карета, и в карете сидел ее новый любовник. Говорят, после того, как она ушла, он плакал, словно малое дитя, а потом сел за рояль и той же ночью за какие-нибудь полчаса написал эту фугу.

Толстой был вне себя от возмущения.

— Танечка, ну зачем ты эти гадости рассказываешь? Творчество — это нечто духовное, божественное, а половая любовь — животное чувство. Но вот поди же ты, одно выводят из другого. Шопен оттого-де стал хорошо писать, что она ушла гулять с другим...

Гольденвейзер перебирал клавиши, и разговор прервался. Между тем Толстой подумал: «А может, я и не совсем прав. С похотью трудно бороться. Я сам каких-нибудь полтора года как избавился от этого соблазна, но даже и теперь, победив его, все еще не обрел полного покоя...»

Когда и эта новая фуга была сыграна, Андрей Львович, весь вечер не отходивший от шахматного столика, сказал профессору, чтобы раззадорить его:

— Мне кажется, ваша позиция, господин профессор, несколько предпочтительней...

Профессор замялся.

— Да нет, что вы! У нас шансы примерно равные, и я бы предложил графу, если, конечно, он согласится, оставить партию в этом состоянии.

Толстой засиял:

— То есть ничья?

— Да не совсем так. Можно выиграть партию у Толстого, можно проиграть, можно сделать с ним ничью. Но иметь одну не сыгранную до конца партию и говорить себе при каждом удобном случае: «Ах да, мне еще с Толстым надо доиграть» — это, знаете ли, было бы большим счастьем для меня...

Толстой отодвинул шахматный столик и сказал:

— Благодарю вас, Григорий Иванович. Вы очень хороший человек.

Строптивый сын Толстого возмутился:

— Но, господин профессор, когда мы с вами условливались...

Профессор удивленно оглянулся, точно хотел проверить по реакции других — неужели он не ослышался, неужели все это было сказано, после чего ответил:

— Я не считаю возможным ставить сомнительные диагнозы человеку, перед которым преклоняется весь мир. Именно поэтому я отказался и от гонорара, и от возмещения расходов по поездке. Я вам чрезвычайно благодарен за очень лестное для меня знакомство.

И снова Шопен, и снова фуга. Глубокая тишина, все замерли. Толстой слушает, и даже в эти минуты счастья и блаженства его дух мечется и мысль работает: «Как удивительно умирал Сократ! Он говорил своим ученикам, что ему неведомо, что будет после его смерти. Сам вымылся, чтобы не заставить другого человека омывать его тело. Очень трогательно. Сегодня я тоже весь день думаю о своих похоронах. Хотелось бы скромно и достойно покинуть этот мир и вернуться в свою родную глину, из которой все мы созданы, вернуться в вечный покой, вернуться на круги своя».

Когда фортепьяно утихло, вошел Гольденвейзер.

— Ну как, Лев Николаевич? Выиграли?

Толстой встал и молча поцеловал его. Александр Борисович смутился и тоже поцеловал его в висок. После чего Лев Николаевич вытирал украдкой глаза, а Гольденвейзер оправдывался:

— Если бы я знал, что вы слушаете, сыграл бы и получше, а то я так, для себя...

Толстой, подняв руку, прервал его:

— Вот это и есть высшая ступень творчества, когда человек не для кого-то, а так, для себя, пишет или играет... — И после некоторого раздумья сказал: — Я часто думаю по ночам, что будет с нашим миром в двадцатом, в двадцать первом веке... Иногда я вижу все в мрачном свете, другой раз — как будто мрак рассеивается. Но основной вопрос — куда и зачем, — он так и висит, и, не вдаваясь в его существо, я должен сказать, что вся эта цивилизация, если к тому дело пойдет, пусть летит в бездонную пропасть небытия, только музыки вот жалко очень...

Походил по комнате в большом волнении и снова подошел к Гольденвейзеру и близоруко, в самые зрачки его, посмотрел, и спросил тихо, почти шепотом:

— Голубчик, как вы думаете, способен ли простой рабочий получить наслаждение от этих пьес Шопена?..

Гольденвейзер замялся:

— Да ведь на это так, сразу, не ответишь...

Толстой глубоко вздохнул.

— Я потому так пристрастно спрашиваю, что очень уж хотелось бы получить утвердительный ответ. В этом ответе суть будущего.

Поздно ночью легли, но долго еще, часов до трех, Льву Николаевичу чудилось, что откуда-то из глубины сада плывут, и плывут, и плывут мелодии, и ему становилось совестно, что он лежит укрытый одеялом, когда играют Шопена.

Влажные бока дымились, щелки глаз сузились, он еле перебирал лапами, когда добрался наконец до кромки обрыва. Дальше зияла пустота, дальше была смерть, а обратный путь был отрезан солдатами, собаками, охотниками. Волк растянулся, усталый, на поросших мхом камнях и замер. Ему уже было все равно, что бы с ним ни случилось. Он устал, он смертельно устал и лежал на влажном мху, благодарный судьбе за то, что она ниспослала ему эту великую усталость, без которой ничто живое не может спокойно покинуть мир живых. Угасающий в зрачках свет кричал «нет!», никогда и ни за что, а рок, витавший над ним, твердил «да»; ныне, и присно, и во веки веков.

Рано утром, часов в семь, в дверь яснополянского дома властно и требовательно постучали. Обычно в барский дом Ясной Поляны стучали редко, а если и стучали, то по одному уже стуку хозяева угадывали, в чем там дело, — либо кто-нибудь из своих приехал ночным поездом, либо телеграммы пришли, либо кто из прислуги по какому-нибудь срочному делу. На все ночные стуки выходила обычно одна из служанок, спавшая в комнатке рядом с комнатой Софьи Андреевны, и если бывало что-нибудь важное, она докладывала своей хозяйке. На этот раз она почему-то не выходила. Стук повторился несколько раз, все требовательнее и требовательнее, и тогда поднялась с постели сама Софья Андреевна. Заглянула

в чуланчик, где спала служанка, и увидела ее стоявшей у окна.

— Дуняша, почему же ты не выходишь? Стучат вон!..

Дуняша дрожала как осиновый лист.

— Я боюсь, очень боюсь...

— Кого же ты боишься?

— Да вон сколько их...

Софья Андреевна подошла к окну. У подъезда стояли исправник и человек пять в мундирах, при полном вооружении. Накинув на себя стеганый халат, Софья Андреевна спустилась на первый этаж, открыла входные двери и спросила тихо, чтобы, не разбудить домашних, но в то же время с достаточной высокомерностью, чтобы исправник не забывался:

— Что вам угодно, сударь?

— В вашем доме укрывается некий Николай Николаевич Гусев.

— Он не укрывается, — сказала поучительно Софья Андреевна, — а проживает наряду со всеми. И потом, он не «некий», как вы себе позволили выразиться, а помощник моего мужа по литературным занятиям, другими словами — его секретарь.

Широко расставив ноги, точно приготовился к большой и длительной схватке, исправник сопел, тупой, неумолимый, и все стоял, как никому не нужная каменная глыба, свалившаяся с чьей-то телеги и загородившая проезжую часть дороги.

— Но прежде чем его позвать, я полагаю, имею право, как хозяйка дома, как супруга Льва Николаевича, узнать, в чем суть того дела, по которому вы столь рано...

— Ну если вы настаиваете...

И, достав из-за обшлага какую-то бумагу, исправник начал торжественное шествие по казенному распоряжению:

— «Именем Его императорского величества...»

Той же ночью у Толстого опять был приступ. Совершенно ослабла деятельность сердца. К тому же он страдал закупоркой вен, и эти тяжелые удары почему-то настигали его по ночам, во сне, и вот он опять лежит измотанный. У его изголовья Маковицкий, Софья Андреевна, дочь Александра. Он еще не совсем успокоился после перенесенного приступа. Старческое холодное тело все еще вздрагивает, но мысль и сознание художника ра-

ботают, им нельзя остановиться. Он лежит и думает про себя: «У Ганди все прекрасно, за исключением его индийского патриотизма, который все портит. Великая мысль не должна стоять привязанная к столбу, она не жеребенок, чтобы бегать за маткой. Чем шире и глубже мысль, тем безбрежней границы той родины, которой она принадлежит».

Маковицкий взмолился:

— Лев Николаевич, я очень прошу вас выключиться из литературной работы.

— Откуда вы можете знать, чем мой мозг занят?

— Я вижу по пульсу.

— Да нет, ничего, я только так, мельком, подумал о Ганди.

— Мельком тем более нельзя, потому что короткие вспышки мысли требуют максимальной работы мозга.

— Ну а как же в таком случае быть с тем, что потребность в работе возрастает по мере утечки сил?

— А вы записывайте или диктуйте нам. Любую мысль перед тем, как обдумать ее всесторонне, вы ее продиктуйте, и она отвяжется. Потом, когда поправитесь, все обдумаете, обработаете.

— Ну-ка, попробуем.

Долго лежал с закрытыми глазами. Казалось даже, что он уснул, а когда снова открыл их, Софья Андреевна спросила:

— Левочка, тебе легче?

— Несколько лучше. А почему ты так заинтересованно спрашиваешь?

— Я очень хотела бы, чтобы ты завтра выглядел у нас молодцом.

— А что будет завтра?

— Как, неужели ты не помнишь? Завтра годовщина нашей свадьбы. Самый старый, самый светлый праздник нашего дома. Помнишь, как мы, бывало, в дни нашей молодости...

— Я все помню, Сонечка, но на этот раз вряд ли смогу.

— Ты должен суметь, Левочка. Человек, который сумел сорок семь раз, должен суметь и в сорок восьмой.

Следующий день выпал на воскресенье, и погода была на редкость хорошей. Это был последний светлый день в его жизни. По небу неслись редкие тучи, но синевы

было много, и солнце грело. В саду Ясной Поляны убирали, жгли опавшую листву, и приятный запах осеннего дыма стоял на много верст окрест. Празднично звонили колокола в Туле, по полям неслись брички, фаэтоны, и все заворачивали к каменным башенкам ворот, а в большой зале барского дома семья Толстых отдыхала после долгой прогулки. Софья Андреевна давала прислуге распоряжения относительно обеда, Татьяна Львовна перелистывала только что полученный том нового собрания сочинений отца, а сам Лев Николаевич в уголочке просматривал старый альбом.

Татьяна Львовна, вчитавшись в какое-то место, воскликнула:

— Нет, вы только послушайте, какие папа писал тогда письма! «Пишу из деревни и слышу наверху голос жены, которая говорит с братом и которую я люблю больше всего на свете. Я дожил до 34 лет и не знал, что можно так любить и быть таким счастливым. Когда буду спокойнее, напишу вам длинное письмо. Теперь у меня постоянное чувство, как будто я украл незаслуженное, незаконное, не мне предназначенное счастье. Вот она идет, я слышу ее голос, и так все хорошо...»

Софья Андреевна поначалу засмущалась, но потом отмахнулась:

— Ах, много ли правды в письмах!

Лев Николаевич перелистывает в уголочке старый альбом, не обращая внимания на разговоры, которые идут вокруг. Но Софье Андреевне все-таки не хотелось бы, чтобы нить разговора была утеряна.

— В его старых дневниках я где-то вычитала, что в те годы, когда он собирался на мне жениться, он хотел покончить с собой, если я ему откажу.

— Ужас какой! И вы думаете?..

— Нет, — сказала Софья Андреевна с деланным безразличием, — лично я думаю, что ничего такого не случилось бы и он легко утешил бы себя с другой.

Лев Николаевич сидел хмурый, усталый, думая о чем-то другом, и хотя разговоры, шедшие вокруг, не проходили мимо его внимания, его дух, его сердце, его чувство юмора совершенно не реагировали на то, что развертывалось рядом. Это был час усталости, великой, нечеловеческой усталости, и чтобы как-то вывести его из этого состояния, Татьяна Львовна поспешила направить разговор в другое русло:

— А что, выглядел он тогда лучше?

Софья Андреевна улыбнулась.

— Да нет же, наоборот, он теперь выглядит гораздо красивее. Раньше у него нос торчал башмаком, а теперь опустился, выпрямился. Лицо у него было страстное, беспокойное, задорное, а теперь стало добрым, милым, кротким. Он никогда не любил меня так, как я любила его.

Лев Николаевич перелистывает альбом и думает: «Очень интересно рассматривать старые фотографии. Выясняешь многие характеры. Вот Урусов, например. Многие очень глупые люди говорили про него, что он очень глуп, а он был умнее многих умных людей».

Софья Андреевна попросила старшую дочку:

— Почитай еще что-нибудь из писем.

Татьяна долго перелистывала томик, потому что все вокруг пылало, блистало и требовало прочтения вслух.

— «Ребенком я верил горячо, сентиментально и необдуманно, потом лет в 14 стал думать о жизни вообще и наткнулся на религию, которая не подходила под мои теории, и, разумеется, счел за благо разрушить ее. Без нее мне было очень покойно прожить лет десять. Все открывалось предо мной ясно, логично, и религии не оставалось места. Потом пришло время, когда все в жизни стало открыто, тайн больше не существовало, но сама жизнь уже начала как-то терять свой смысл. В это время, живя на Кавказе, я был одинок и несчастлив как никогда. Я стал думать так, как только раз в жизни люди имеют силу думать. Это было и мучительное и хорошее время. Никогда, ни прежде, ни после, я не доходил до такой высоты мысли, не заглядывал так далеко туда, куда нельзя обыкновенному смертному заглядывать. Это длилось около двух лет, и все, что я нашел тогда, навсегда стало моим убеждением. Ради бога, не думайте, что вы сможете понять из моих слов всю силу и сосредоточенность моего тогдашнего искания. Это одна из тех тайн души, которая есть у каждого из нас: могу, однако, сказать, что я редко встречал в людях такую страсть к истине, какая была в то время во мне...»

Лев Николаевич, перелистывая старый альбом, думает: «Надо бы как-то включить в завещание, чтобы из дневников моей молодости выбрали для печати только то, что может представлять интерес, выбросив все дрянное, что там есть. А впрочем, пускай дневники остаются такими, какие они есть. Из них по крайней мере видно, что, несмотря на всю пошлость моей молодой жизни, я все-

таки не был оставлен богом и хоть под старость начал понимать и любить его».

Душан Петрович, сидевший рядом с Татьяной Львовной, сказал:

— Я очень люблю письма Льва Николаевича к Александре Андреевне.

Чтобы доставить всем удовольствие, Татьяна Львовна быстро нашла одно из тех писем:

— «Милая бабушка, зачем вам мои письма! У вас там в Петербурге много хорошего, а вот я — это другое дело. Я приду из деревни после толкования мужикам о том, что не только в кровь не надо бить друг друга, но не надобно и просто драться; или растолкую соседям, что в наше время помещикам не следует насильно выдавать девиц замуж!..»

Софья Андреевна вставила реплику:

— Лев Николаевич красуется перед ней, показывая свою лучшую, художественную сторону.

Татьяна Львовна выждала, не последуют ли еще какие замечания, и продолжала:

— «Впрочем, есть и у меня прелестное дело, от которого нет сил оторваться, — это моя школа. Нельзя рассказывать, что такое крестьянские дети, — их надо видеть. В нашем милом сословии я таких детей не видал. Подумайте — в продолжение двух лет и ни одного наказания. Никогда лени, грубой шутки, неприличного слова. Дом школы почти отделан заново, и стоит мне войти в это помещение...»

Лев Николаевич оставил альбом с фотографиями. Слушает очень внимательно, и его старческое лицо озаряется — он видит себя молодым, видит себя в окружении детворы Яснополянской школы, но вдруг открывается дверь, и входит старый, чудаковатый человечек. Стоит нелепо у дверей, и, когда Татьяна Львовна на минуту прерывает чтение, чтобы выяснить, что ему нужно, фотограф говорит Софье Андреевне:

— Мадам, я прошу прощения за свое вмешательство, но после полудня солнце слабеет, и уже после пяти часов я не смогу поручиться за качество снимков.

Лев Николаевич вспыхнул:

— Кто этот человек и о чем речь?

Старик фотограф решил, что по этикету он должен сам представиться. Долго, неуклюже раскланивался и сказал:

— С вашего позволения, Лев Николаевич, я Шапиро,

фотограф из Петербурга. Лучшие писатели России, во всяком случае все те, кого мне удалось застать в живых, сфотографированы мной. Из этих фотографий я намерен создать альбом, своеобразную документальную галерею...

— Так! Галерею, стало быть! А почему не батарею, почему не эскадрон?

Софья Андреевна быстро встала, подошла, села рядом с Львом Николаевичем и сказала ласково:

— Левочка, ради бога, не волнуйся. Я пригласила фотографа сделать несколько снимков в годовщину нашей свадьбы и почти была уверена, что ты не откажешь...

К несчастью, у Шапиро была слабость входить в близкие отношения со всей своей клиентурой.

— Если не секрет, мадам, я хотел бы знать, сколько ровно лет тому назад...

Софья Андреевна смерила его грозным взглядом:

— Мы с вами, кажется, условились, что вы установите там свою аппаратуру и будете ждать...

Когда Шапиро вышел, Лев Николаевич заявил решительно:

— И не подумаю стать перед аппаратом. Фотографирование меня всегда угнетает.

— Левочка, да сколько это длится! Минута, не больше минуты.

— Тут дело не во времени, а в моем отношении к этому делу. К тому же у нас и так полон дом моих старческих фотографий! Что изменится, если к ним прибавится еще одна фотография бородатого деда?

Андрей Львович сказал с достоинством:

— Многое изменится. В печати давно пишут о разногласиях в нашем доме, и печатание фотографии о только что отпразднованной годовщине свадьбы...

Лев Николаевич был вне себя от возмущения:

— Так это еще и для печати! Ну этого только нам и недоставало. Устраивать в Ясной концертные представления для успокоения публики!

Софья Андреевна попросила:

— Левочка, если не хочешь сделать это ради меня, то сделай хотя бы в память того милого существа, которое мы оба так любили. Если б он был жив, мы бы его наверняка взяли с собой и сфотографировались бы втроем...

Толстой отошел в угол и, отвернувшись от всех, долго успокаивал себя. В эти минуты он бывал трогателен, чем-то похож на ласкового, послушного ребенка. Вот он наконец пересилил себя, чуть-чуть улыбнулся, молча кивнул.

Софья Андреевна встала.

— Спасибо, друг мой.

И, направившись к выходу, попросила сына:

— Идем. Ты станешь за Льва Николаевича, чтобы фотограф смог хорошо нацелить аппарат, а Лев Николаевич потом прямо станет на твое место, и снимок будет сделан.

Все ушли смотреть, как фотограф будет перед домом нацеливать аппарат, остался только Лев Николаевич с Булгаковым. Лев Николаевич спросил его тихо:

— Скажите, Валентин Федорович, как вы переносите эти позы перед аппаратом? Я, знаете ли, едва удерживаюсь, чтобы не выкинуть штуку какую-нибудь — задрать ногу или высунуть язык...

Булгаков улыбнулся.

— По-моему, это испытывает каждый нормальный человек, ставший перед аппаратом. Свободолюбивый наш дух не терпит гнета этих железных конструкций.

— Вы думаете? Вы уверены, что и Софья Андреевна чувствует то же самое?..

— Насчет Софьи Андреевны я не могу поручиться...

Тем временем вошел Шапиро и, низко поклонившись второй раз, сказал:

— Ваше сиятельство, все готово.

— Да не надо так низко кланяться, это я и сам умею.

— Прошу прощения...

— Да нет же, это я должен перед вами извиниться, что не очень вас приветливо встретил. Вы простите меня великодушно. То, что я говорил, относилось не к вам и не к вашему ремеслу, а сказано было совершенно по другому поводу.

Старик фотограф был готов к примирению:

— О, не стоит беспокоиться! Мы, фотографы, так же как и врачи, умеем хранить семейные тайны. Это наш профессиональный долг.

Толстой был несколько удивлен таким заявлением.

— Вот как! А что, вы хороший к тому же фотограф?

— Мне неудобно самого себя представлять, но мои снимки украшают лучшие дома русской знати, не говоря уже об иллюстрированных журналах...

У Толстого была какая-то мысль, связанная с этим делом, и он хотел ее выяснить, но долго не мог припомнить, в чем она заключается. Потом, у самых дверей, вспомнил:

— Скажите, а что вы думаете по поводу цветной фотографии? Возможно ли снять такую открытку, чтобы на

ней сохранить цвет волос и глаз, и вообще цвет окружающей природы?

Старик фотограф еще раз поклонился; на этот раз у него получилось совсем хорошо.

— Я надеюсь сам дожить до того времени, и поверьте моему слову, что первый цветной снимок в России...

Толстой открыл двери, сказав сухо:

— Нет, не нужно. Я вряд ли доживу до того времени. К тому же, сказать по правде, я совершенно не верю в цветную фотографию. Чертков мне многое рассказывал об этом, но я не верю. Этого не может быть, нет.

Они вышли. Перед барским домом собралось довольно много народу: и гости, и дворовые, и нищие, и богомольцы. Софья Андреевна всем улыбалась, кланялась, и этот театр опять вывел Толстого из себя. Он встал рядом с Софьей Андреевной. Она его любовно взяла под руку, она была ласкова и добра, а он стоял усталый, сердитый, и старик фотограф так и запечатлел эту чету на сорок восьмом году после свадьбы, и это стало последней фотографией Толстого.

Весь тот день волк пролежал, не шелохнувшись, на голых скалах. Он сливался по цвету, по контуру со скалами, он, казалось, сросся с ними, став такой же скалой, но какая-то маленькая частица его существа все еще надеялась, ждала чуда, потому что такова природа всего сущего. Когда все пройдено, потеряно, проиграно, тогда ждут чуда. Бывает, оно и заявится, но редко, крайне редко; что до волков, то к ним оно вообще дорогу позабыло. Рассчитывать приходилось только на себя. В сумерках, открыв глаза, он увидел внизу под собой пропасть и долго, завороженно смотрел, как она заполняется сумерками, как тает в темноте, и эта пропасть стала последним окном в его угасающей жизни.

Ночью, когда все в яснополянском доме уже спали, когда часы пробили три, Лев Николаевич встал с постели, подошел к письменному столу, зажег свечи и записал в дневнике: «Осталась одна, последняя возможность. Надо бороться против нее добром. Только добром я смогу продлить свое пребывание в этом доме, если такое продление вообще возможно».

И вздрогнул. За его спиной, у дверей, стояла Софья Андреевна в своем ночном халате. Сказала тихо:

— Левочка, я хочу прочесть то, что ты записал.

Толстой накрыл строчки рукой.

— Я не могу тебе эту запись показать.

— Но ведь она касается меня?

— Да, это относится к тебе.

— Я не смогу нынче уснуть, если ты не покажешь мне эту запись. Я должна каждый день знать, что ты думаешь обо мне. Я твоя жена перед людьми и перед богом.

Лев Николаевич встал. Его знобило, его трясло от возмущения.

— Мои слова и мои мысли есть суть свободы моей, и я их защищу перед кем бы то ни было...

Софья Андреевна вышла, он потушил свечу и лег. Судьба всю жизнь была рядом с ним, он почти физически ощущал ее присутствие. На этот раз Судьба предсказывала, что близится, секунда за секундой, великое событие его земного бытия, и он, весь напряженный, весь внимание, лежал и вслушивался в тишину ночи. Даже его внутренний голос, его великий помощник, не ведавший ранее покоя, не признававший никаких норм, никаких пределов, вдруг умолк. Потом, после долгого ожидания, его как-то укачало, он забылся ненадолго коротким сном, а в пятом часу опять проснулся. Из соседней комнаты, из кабинета, проникал слабый свет и слышен был шелест бумаги. Лев Николаевич лежал, но его дух, его внутренний голос вдруг заговорил как никогда спокойно и решительно: «Теперь я уеду. Уеду немедленно, этой же ночью, как только стихнет шум в доме. Для того чтобы уйти из дома, мне нужно беречь силы, я не должен расстраивать себя. Теперь самое важное — сосчитать свой пульс. Ну не думай теперь ни о чем, теперь нет ничего важнее, кроме пульса правой руки. Итак, считаем: раз, два, три, четыре... Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать...»

Софья Андреевна задула свечу. Вышла тихо из кабинета, ее шаги стихли в коридоре. Часы пробили половину пятого. Лев Николаевич лежит, ждет, когда все в доме стихнет, и считает:

«Семьдесят семь, семьдесят восемь...»

И волк прыгнул. Чувство отчаяния, что ничто из прожитой жизни более не вернется; чувство страха, что его найдут мертвым на скале и он станет пылью, ничем не

проявив своей последней воли, ощущение ловушки, точное знание законов облавы; одиночество, жуткое одиночество последних дней и эта пропасть, вдруг выросшая перед ним и таинственно окутавшая себя ночными сумерками, — все это удивительно сплелось в одно мгновение, в одно дыхание, в один прыжок.

И он прыгнул.

И стало тихо и покойно, и за этой тишиной и покоем уже ничего более не последовало.

Глубокой ночью сонный конюх медленно, стараясь не шуметь, запряг лошадей и вывел их за каменные ворота Ясной Поляны.

Лев Николаевич, уже одетый в дорогу, сел за свой рабочий стол, зажег свечи, взял перо. Последние строчки за этим столом, в этом доме, этой рукой. «Благодарю тебя за твою честную 48-летнюю жизнь со мной и прошу простить меня во всем, чем я был виноват перед тобой, так же, как и я от всей души прощаю тебя во всем».

Александра Львовна вынесла теплые вещи. Душан Петрович, светя керосиновым фонарем, помог Льву Николаевичу усесться. Лошади тронулись. Шуршит под копытами опавшая листва. Привычно постукивают колеса. Светлеет в вышине ночная темень, в воздухе носится уже дыхание свежего, вот-вот нарождающегося дня, за лесом, вдали, небо в самом деле начинает светлеть, но отчего душа так мается, отчего так сердце щемит и почему всегда молчавшие колокола судьбы вдруг зашлись набатом? Что они предвещают — начало? Конец?

В ту далекую ночь тысяча девятьсот десятого года мир спал глубоким и безмятежным сном. Люди спали, устав от сплетен, от погони за наживой, от предвыборных кампаний. Но хотя они спали и все в мире было тихо и спокойно, по маленькой проселочной дороге, ведущей из Ясной Поляны к железнодорожной станции Засека, тарахтела телега, и мир был разбужен рано утром слабым писком нового еще в то время телеграфного аппарата. Газеты вышли с огромными заголовками: «Толстой ушел из Ясной Поляны двадцать восьмого октября в пять часов утра, когда было еще совсем темно». Сообщалось, что Лев Николаевич ушел вместе с доктором Маковицким.

В оставленном на имя Софьи Андреевны письме он трогательно прощается с семьей и пишет, что не может более жить в условиях роскоши, и, как истинный христианин, уходит из мира в одиночество. Английская «Таймс» писала: мир потерял точку опоры. Пока этот великий старец вел свою земную жизнь в усадьбе под Тулой, человечество знало, что ничего непредвиденного не может с ним случиться, но вот Толстой покинул свою обитель, и мир не знает, что принесет ему завтрашний день...

А пока продавцы газет выкрикивали его имя на улицах крупнейших городов мира, восьмидесятидвухлетний Толстой ехал в битком набитом рабочем вагоне, или, как их тогда называли, вагоне третьего класса. Шум, грохот, всюду накурено, а тут еще рядом примостился напыщенный чиновник, считающий своим долгом ознакомить Льва Николаевича со своей концепцией современного мира. В Козельске утомленный Лев Николаевич сошел с поезда. Поехали с Маковицким на лошадях в известный тогда в России монастырь Оптина пустынь. Переночевали кое-как, а на следующий день опять двинулись в путь, на этот раз в Шамордино.

В Шамординском монастыре проживала уже много лет младшая сестра Льва Николаевича, Марья Николаевна. У нее была семья, двое детей, но, вырастив их, как это было тогда принято среди благочестивой русской знати, она ушла в монастырь. Толстой отрицательно относился к этой затее своей сестры и в одном из писем к ней назвал Марью Николаевну дурой. В ответ на эту критику тихая и ласковая Марья Николаевна вышила ему в подарок диванную подушечку и по краям вывела черным по белому: «Льву Николаевичу от одной из четырехсот шамординских дур».

Отлучение Льва Николаевича от церкви, надо думать, глубоко задело добрую и набожную Марью Николаевну. И хотя она никогда ни одним словом не попрекнула своего брата, после отлучения Толстого она вдруг осунулась, постарела совершенно. Толстой не мог этого не знать и, покидая навсегда Ясную Поляну, прощаясь со своей родней и с миром, в котором жил, конечно, не случайно направился в Шамординский монастырь. Толстой, видимо, чувствовал, что времени осталось мало, и он очень спешил. В то утро, когда они выехали из Оптиной пустыни в Шамордино, шел холодный дождь. Маковицкий был того мнения, что, может, лучше переждать непогоду, но Тол-



стой торопился. Они поехали на открытой телеге по дождю, и этот дождь вогнал Льва Николаевича в простуду, которая оказалась последней в его жизни.

Бедная Марья Николаевна, когда увидела его, мокрого, озябшего и растерянного, в своей келье, пришла в ужас:

— Левочка, милый, я очень рада тебя видеть, но боюсь, что у вас дома нехорошо...

— Дома ужасно, — сказал Лев Николаевич. Голос его задрожал, хлынули слезы. Потом, несколько успокоившись, добавил: — Соня, узнав о моем уходе, кинулась в пруд, хотела топиться, насилу вытащили. В общем, ужасно все.

Он был бессилен, несчастен, и, как всегда в минуты большой своей слабости, он искал приюта, искал укромного уголка, чтобы там отогреть себя заново, обрести духовное равновесие. А угла уже не было, он сам покинул его, и вот Лев Николаевич строит лихорадочные планы: сначала собрался там же, в Шамордине, купить крестьянскую избу и жить в ней, как живут все крестьяне, но затем его настигли новые телеграммы с известиями, что младшие сыновья, особенно Андрей Львович, рвутся следом за ним, чтобы привезти его обратно домой, а в Ясную Поляну не хотелось, из Ясной он только что ушел, и вот, не успев толком погостить у сестры, он уже должен думать, куда дальше направить свои стопы.

В Шамордине они с Маковицким и приехавшей к ним Александрой Львовной жили в небольшой гостинице. Вернувшись от сестры, он застал дочь Сашу вместе с Маковицким сидящими за развернутой картой. Они выглядели оба усталыми, угнетенными, и, когда Толстой вошел к ним, Маковицкий сказал, расправляя уголки карты:

— Если ехать, то по крайней мере нужно знать куда.

Всю свою жизнь Толстой остерегался составлять какие-либо планы. Он был реалистом, он жил сегодняшним днем, сиюминутными проблемами, и самое большое, что он мог себе позволить, — это прикинуть объем работы на будущий день, и то под этими наметками непременно добавлял три буквы — «е.б.ж.», то есть «если буду жив». Но теперь делать было нечего, посидели втроем, погадали о достоинствах и недостатках тех или иных краев.

— По-моему, — сказала Александра Львовна, — нужно ехать в Бессарабию. Тамошние толстовцы...

— Саша, милая, — сказал Лев Николаевич. — Я не толстовец. Я Толстой. Пошли спать. Утро вечера мудренее.

В полночь, задолго до рассвета, он разбудил Маковицкого и Александру Львовну:

— Пора ехать.

Почему-то нужно было ехать срочно, тотчас же, и в этой большой спешке они уехали из Шамордина, даже не успев проститься с Марьей Николаевной.

Как только сели в поезд, выяснилось, что у Льва Николаевича высокая температура, он то засыпал, то просыпался и в жару повторял все время:

— Удрать... Удрать, а то догонят...

Они ехали на юг, надеясь добраться хотя бы до Ростова, но Льву Николаевичу становилось совсем плохо. Пришлось сойти на первой же станции. И поскольку она была битком набита, больного старика ввели в дамскую комнату, и дамы, поправлявшие перед зеркалом шляпы, были крайне удивлены появлением бородатого и задумчивого старца. Послали за доктором, станционный доктор привел начальника станции. Ехать дальше было невозможно, но и уложить больного писателя было некуда, и тогда начальник станции предложил Толстому свой дом. Старый художник принял это приглашение, и таким образом никому не известная станция Астапово стала в один вечер всемирно известным центром России, и на протяжении целой недели мир жил новостями, помеченными названием этого забытого богом уголка.

Медленно, грузно и как бы нехотя стала приходить в движение огромная николаевская империя. Две силы, два полюса, два враждебных мира более полувека существовали бок о бок. Но вот настал день, когда обыкновенные житейские невзгоды, и старость, и жажда истины, и вечный поиск, на который осужден художник, заставили одно из этих государств, под именем Льва Толстого, перейти границы другого и углубиться на его территорию.

Еще не вся прислуга Ясной Поляны знала об уходе барина, еще сама Софья Андреевна ничего об этом не ведала, а телеграмма об уходе Толстого уже лежала на столе главы правительства Столыпина. Из Петербурга немедленно последовал приказ, объявляющий боевую тревогу, и три генерал-губернатора, на чьих территориях разыгрывался последний акт яснополянской драмы, вступили в беспрерывную телеграфную связь меж собой. Что

только не выстукивал телеграф в те дни, какие только запросы не летели из сердца России в центр и обратно! Ну, например, как быть с тем, что Толстой покинул Ясную Поляну, не прихватив с собой паспорта? Ибо, путешествуя без документа, Толстой таким образом нарушал установленный паспортный режим. Были выдвинуты две альтернативы: либо разрешить беспаспортному старцу продолжить путешествие, либо вернуть его силой на постоянное местожительство. После долгих консультаций рязанский губернатор разрешил в виде исключения проживание на станции Астапово больному беспаспортному писателю.

Другой не менее важный вопрос: кто дал право?! Генерал Львов запрашивает телеграфно ротмистра Савицкого, имевшего постоянное пребывание на станции Астапово: «Кем разрешено Толстому пребывание казенном станционном помещении, не предназначенном для помещения больных? Губернатор требует принять меры отправления лечебное заведение или место постоянного жительства». Ротмистр лопочет в ответ: болен же, а другого помещения, кроме казенной квартиры, нет...

На третий день болезни Толстого губернаторы уже стали шифровать свои телеграммы. Калужский губернатор запрашивает рязанского: 252 4325 8301 319 246 427 64 7563852... После революции, при расшифровке, эти цифры обрели следующий смысл: «Если нужна помощь для поддержания порядка, могу выслать городовых и стражников». В ответ последовало уже без шифра: «Ждем в Астапово с оружием и патронами...»

Сначала небольшие подразделения, а затем целые полки стали подтягиваться к станции Астапово. Они стояли в близлежащих населенных пунктах, готовые, если вдруг глубокая боль всколыхнет сердце России и она снимется с места, чтобы проститься с останками этого великого старца, встать на ее пути.

А в это время Лев Николаевич лежал в домике начальника станции, умиляя всех своей послушностью и аккуратностью. Сам себе мерил температуру, вел учет принятых лекарств. Эта его доброта прямо нервировала врачей, мешая им хладнокровно исполнять свои обязанности. После первой же ночи, чуть отдохнув, он подозвал к себе зареванную Александру Львовну, чтобы спросить:

— Ну что, Саша?

— Да что же, нехорошо вот...

— Не унывай, — сказал Лев Николаевич, — в мире много хороших людей, а вы все Лев да Лев...

Температура то падала, то снова поднималась к сорока градусам. Врачи установили двустороннее воспаление легких. Съехалась семья, приехал Чертков, на станции дежурили корреспонденты крупнейших газет. Однажды в бреду Толстой заметил под головой свою яснополянскую подушку и спросил, как она попала на станцию Астапово. От него скрывали, что съехалась семья, чтобы излишне не волновать его и без того слабое сердце, но из-за подушки пришлось сказать, что приехала Татьяна Львовна. Он попросил, чтобы она пришла к нему, и, когда она вошла, он сказал восхищенно:

— Какая ты сегодня нарядная, авантажная...

А между тем состояние его ухудшалось с каждым часом. Пришлось вызвать из Москвы еще двух профессоров — Шуровского и Усова, и телеграфный центр, установленный по распоряжению правительства на станции Астапово, круглосуточно отстукивал во все концы мира: Толстой жив, Толстой жив, Толстой жив. Пульс, дыхание, температура. Подписи — Маковицкий, Никитин, Шуровский, Усов, Беркенгейм. Через два часа новый бюллетень, и опять новая серия телеграмм: Толстой жив. Пульс, дыхание, температура. И опять подписи знаменитых профессоров, а между тем всему миру было ясно, что жизнь Толстого угасает.

Стоит глубокая, холодная ночь, последняя ночь Толстого. Ему в жару, должно быть, привиделся Делир, он слышит топот его копыт, он хочет осадить коня, направить на верный путь, но его милый и послушный Делир впервые в жизни сорвался, несет старого графа бог знает куда, и Толстой стонет, мечется на маленькой железной кровати... В уголке за столиком сидит Александра Львовна. Вдруг Лев Николаевич утих. Эта тишина обманула ее. Она начала подремывать, как вдруг в ужасе проснулась. Больной, спустив ноги с кровати, пытался встать, и она кинулась к нему:

— Да нет же, врачи запретили тебе подниматься с постели.

— Мне надо уйти. Мне непременно надо уйти.

Лев Николаевич стоит на слабых ногах, отчитывая дочь:

— Ты не смеешь, ты не должна меня силой удерживать...

В домике поднялся переполох. Прибежали Чертков,

доктор Никитин, Душан Петрович и Татьяна Львовна. С трудом уложили больного, впрыснули камфару. Лев Николаевич на время утих, и когда все решили, что он уснул, и начали тихо выходить, он вдруг поднял слабую руку. Подозвал Черткова к себе, попросил еле слышным голосом:

— Голубчик, я уже два дня ничего не правлю, и накопилось много незавершенной работы. Как бы мне выправить рукопись...

Чертков, наклонившись, спросил:

— Какую рукопись вы имеете в виду?

Толстой передохнул, потом сказал:

— Все равно какую. Я ведь последние два дня не переставая диктую.

Чертков подошел к Александре Львовне. Та подняла руки вверх, показывая, что ничего нет. Прошептала:

— Маленький дневник у него под подушкой, а остальное мы не записывали, остальное было в бреду.

Толстой спешил, у него оставалось мало времени.

— Ну прочтите же невыправленный текст.

И поскольку Чертков замешкался что-то, Лев Николаевич сказал:

— Вот ведь какой милый человек, а читать не хочет...

Чертков заметался по комнате. Александра Львовна прошептала:

— Есть, правда, набросок к статье об отмене смертной казни, но я как-то не решаюсь дать его на правку — это будет неуместным.

Чертков вырвал у нее страницы, пробежал их. Спросил:

— Это когда было продиктовано?

— Позавчера. В поезде.

Он сел у изголовья больного и принялся читать:

— «В наше время для борьбы со смертной казнью нужно не проламывание открытых дверей, не выражение негодования против безнравственности, жестокости и бессмысленности смертной казни. Нужно...»

Чертков тихо спросил Маковицкого:

— Можно прочесть все до конца?

Маковицкий прощупал пульс, ничего не ответил, и Чертков, выждав паузу, продолжает чтение:

— «Как прекрасно говорит Кант, есть такие заблуждения, которые нельзя опровергнуть. Нужно только сообщить заблуждающемуся уму такие знания, которые

просветят его, тогда заблуждение исчезнет само собою. И потому, если уж бороться со смертной казнью, то бороться только тем, чтобы внушить людям, в особенности сильным мира сего, то знание, которое может одно освободить их от заблуждений».

Чертков умолк. Наступила пауза. Лев Николаевич поднял руку и попросил:

— Еще. До конца.

Чертков опять принялся читать:

— «Знаю, что дело это нелегкое. Наемщики и одобрители палачей, инстинктом самосохранения чувствуя, что знания эти сделают для них невозможным удержание того положения, которым они дорожат, и потому не только сами не усвоят эти знания, но всеми средствами власти, насилия, коварства и жестокости постараются скрыть от людей эти знания, извращая их и подвергая распространителей знаний всякого рода лишениям и страданиям».

Хотя Чертков читал внимательно, не отрывая глаз от листа, какое-то чувство подсказало ему, что больному плохо. Он отложил лист, наклонился над больным. Рука Льва Николаевича, мелко вздрагивая, бежала по одеялу. Не успев до конца дослушать свою последнюю статью, он спешил ее править. Он всю жизнь правил, неисчислимое количество раз правил — инстинкт совершенствования своего труда был самой глубокой жизненной потребностью этого величайшего из художников.

Маковицкий сосчитал пульс, послушал дыхание и, обычно спокойный, вдруг крикнул на весь дом:

— Камфару! Морфий!!

Когда рано утром рядом с телеграфным аппаратом лег первый лист с печальным известием о смерти Толстого, усталый от бессонной ночи телеграфист вздрогнул. Потом встал со стула. Попятился, прижался к стенке.

— Нет, я не смогу, я не смею этого сделать. Я трое суток стучал ключом, что он жив, весь мир на меня надеялся, и я не смогу им это сообщить...

И он долго плакал у стены, потом, взяв себя в руки, вернулся к аппарату, отстучал позывные, но рука сползла с ключа, и он сказал тихо:

— Нет, не могу. Меня Россия проклянет, у меня отсохнут руки. Разбудите сменщика.

А между тем дожди прошли, над Россией стояло прекрасное, солнечное утро. В полдень, когда на стол царя легло донесение о смерти Льва Николаевича, император вывел по обыкновению в левом утлу: «Толстой был великим художником...» Потом, подумав, добавил: «В остальном пусть бог ему будет судьей». Он не любил и не понимал своего великого соотечественника, и только семь лет спустя, будучи в тобольской ссылке, он впервые раскрыл том «Войны и мира». Но, увы, было поздно. И для войны было поздно, и тем более для мира...

В тот же самый, такой прекрасный и такой солнечный день на маленькой станции Засека собралась огромная толпа. Люди простояли там всю ночь, жгли костры в ожидании поезда с телом покойного. Гроб привезли рано утром в товарном вагоне. Крестьяне из окрестных сел понесли покойного на грубых домотканых полотнах по заброшенной полевой дорожке напрямик к яснополянской усадьбе, а за ними пошла нескончаемая вереница людей.

Впереди всех шли яснополянские крестьяне. Они несли на двух шестах полотнище с надписью: «Лев Николаевич! Память о твоем добре не умрет среди нас, осиротевших крестьян Ясной Поляны». За гробом шли родные и близкие, а дальше шли люди всех возрастов, классов, национальностей, и последним в этой процессии шел простуженный, облитый горючими слезами нищий Фаддей.

Хоронили Льва Николаевича поздно вечером в яснополянском лесу. Не было ни речей, ни венков, ни причитаний. Когда в последний раз родные и близкие прощались с покойным, уже у самого края могилы, Черткову показалось, что указательный палец правой руки Толстого все еще вздрагивал. Рука, которая полвека работала и подарила миру бессмертные шедевры, теперь, на третий день после кончины, все еще была в движении. Но какие строчки она выводила и в чем был их смысл — этого мы так никогда и не узнаем.

1969—1970

ПРИМЕЧАНИЯ

Вошедшие в том I рассказы написаны автором в основном в 1954—1958 годах и впервые опубликованы на молдавском языке в сборнике «Дор де оамень» («Тоска по людям») в 1959 году. Рассказ «Падурянка» печатался впервые в «Литературной газете» 14 мая 1960 года, как и «Разговор о погоде», публиковавшийся там же 28 января 1961 года.

Рассказ «Арионешты» впервые был опубликован в «Неделе» под названием «Театр из Арионешты». Рассказы неоднократно включались в различные сборники писателя.

Повесть «Недолгий век зеленого листа» впервые увидела свет на молдавском языке в республиканском журнале «Нистру», № 3—4 за 1957 год. В 1958 году в переводе на русский язык М. Отрешко она была выпущена издательством «Советский писатель» под названием «Георге, вдовий сын». В последующие годы автор несколько раз дорабатывал произведение. В 1965 году повесть выходила в Гослитиздате под названием «Листья грусти» и наконец в своем настоящем виде печаталась в Кишиневе в издательстве «Литература артистикэ» в 1982 году.

Повесть «Последний месяц осени» была впервые напечатана на молдавском языке в журнале «Нистру», № 1 за 1964 год и в том же году была опубликована в журнале «Новый мир» в авторском переводе на русский язык (№ 4). В 1965 году на основе повести киностудией «Молдова-фильм» была создана одноименная кинолента, получившая несколько международных премий. В 1974 году повесть была включена в состав сборника И. Друцэ «Возвращение на круги своя», вышедшего в издательстве «Молодая гвардия», и затем неоднократно включалась в другие издания писателя.

«Моцарт в конце лета». Большая часть очерка печаталась частями в «Литературной газете»: «Глыба красного мрамора», «Березы, хлеб и мужество». В 1974 году очерк был полностью опубликован в издательстве «Молодая гвардия» в сборнике «Возвращение на круги своя».

Повесть «Запах спелой айвы» впервые была опубликована в журнале «Юность», № 9 за 1973 год. Первое книжное издание — сборник «Возвращение на круги своя» («Молодая гвардия», 1974). На основе повести автором была создана пьеса под названием «Именем земли и солнца» («Хория»), которая игралась и продолжает играться на многих театральных сценах страны.

Повесть «Возвращение на круги своя» впервые увидела свет на страницах журнала «Дружба народов» (№ 2 за 1972 г.) и затем была включена в состав одноименного сборника, вышедшего в издательстве «Молодая гвардия» в 1974 году. На основе повести автором была написана одноименная пьеса, которая игралась в Малом театре и прошла по многим другим театральным сценам.

СОДЕРЖАНИЕ

Древо народной жизни. Вступительная статья В. Кравченко 3

РАССКАЗЫ

По-молдавски. *Перевод М. Хазен* 21
Пошел, гнедой, пошел... *Перевод М. Хазен* 27
Следы. *Перевод М. Хазен* 34
Тоска по людям 38
Клен — он знает свое дело... *Перевод М. Хазен* . . 44
Клочок своей земли 49
Гусачок. *Перевод М. Хазен* 53
Падурянка 60
Темные очки в деревне 66
Искушение. *Перевод М. Хазен* 69
Арионешты 72
Бадя Чиреш. *Перевод М. Хазен* 79
Сани 89
Разговор о погоде 97

ПОВЕСТИ

Недолгий век зеленого листа 111
Последний месяц осени 255
Моцарт в конце лета 306
Запах спелой айвы 339
Возвращение на круги своя 455

Примечания 540

Друцэ И. П.

Д 76 Избранное: В 2-х т. Т. 1. Рассказы и повести/ Предисл. В. Кравченко; Оформл. Ю. Боярского; Рис. Ю. Иванова. — М.: Мол. гвардия, 1984. — 542 с., ил.

В пер.: 2 р. 30 к. 120 000 экз.,
В обл.: 2 р. 80 000 экз.

В первый том избранных произведений вошли повести и рассказы о молдавском селе первых послевоенных лет, 50-х и 60-х годов нашего столетия. Они посвящены первой любви («Недолгий век зеленого листа»), прощанию сыновей с отчим домом («Последний месяц осени»), сельскому учителю («Запах спелой айвы»). Читатель найдет здесь также очерк о путешествии по Прибалтике («Моцарт в конце лета») и историческую балладу об уходе Л. Н. Толстого из Ясной Поляны («Возвращение на круги своя»).

Д $\frac{4702010200-215}{078(02)-84}$ 82—84

ББК 84Мол7
С(Молд)2

ИБ № 3728

Ион Пантелеевич Друцэ

ИЗБРАННОЕ. Т. 1

Редактор **А. Гремицкая**
Художественный редактор **А. Романова**
Технический редактор **Е. Михалева**
Корректоры **Т. Пескова, И. Ларина, Е. Дмитриева**

Сдано в набор 19.01.84. Подписано в печать 11.07.84. А00748. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 28,56+ +0,10 вкл. (в обложке 28,56). Усл. кр.-отт. 28,66 (в обложке 28,86). Учетно-изд. л. 31,1 (в обложке 31,0). Тираж 200 000 экз. (80 001—200 000 экз.). Цена в переплете 2 р. 30 к. (120 000 экз.), цена в обложке 2 руб. (80 000 экз.). Заказ 2105.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.